

ЯН ПОТОЦКИЙ ~ РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ

ЯН ПОТОЦКИЙ



РУКОПИСЬ,
НАЙДЕННАЯ
В САРАГОСЕ



ЯН ПОТОЦКИЙ
Портрет, приписываемый Гойе

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

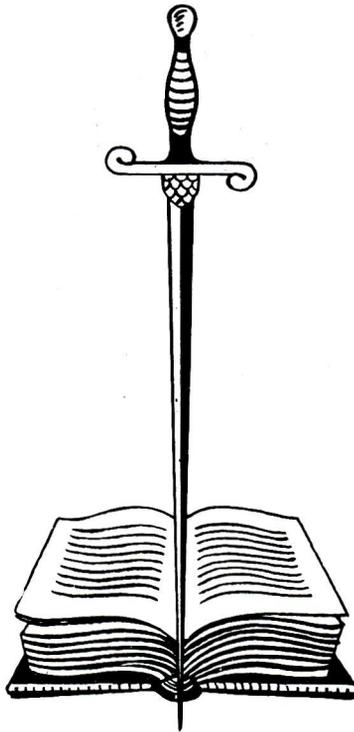
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



JAN POTOCKI



REKOPIS
ZNALEZIONY
W SARAGOSSIE



ЯН ПОТОЦКИЙ



РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ



ПЕРЕВОД
А. С. ГОЛЕМБЫ
СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
И. Ф. БЭЛЗЫ

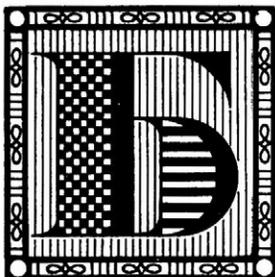
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1968

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»:

*М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Д. Д. Благой,
И. С. Брагинский, В. В. Виноградов, И. Н. Голенищев-Кутузов,
А. А. Елистратова, В. М. Жирмунский,
Н. И. Конрад (председатель), Д. С. Лихачев,
Д. В. Ознобишин (ученый секретарь), Ю. Г. Оксман,
Ф. А. Петровский, А. М. Самсонов,
С. Д. Сказкин, С. Л. Утченко*

*Ответственный редактор
И. Ф. БЭЛЗА*

Предисловие



удучи офицером французской службы, я участвовал в осаде Сарагосы¹. Спустя несколько дней после взятия города, забредя в один из довольно отдаленных кварталов, я обратил внимание на небольшой, но красивый домик; почему-то я сразу решил, что солдаты наши еще не успели его разграбить.

Влекомый любопытством, я поднялся на крыльцо и постучался. Оказалось, что двери не заперты, — я легонько толкнул их и вошел внутрь. Я крикнул — никто не отозвался, в доме не было ни души. Мне показалось, что все мало-мальски стоящее уже вывезено; на столах и в шкафах остались мелочи, не имеющие ни малейшей ценности. Только в уголке, на полу, мне бросились в глаза несколько исписанных тетрадей; я просмотрел их. Это была испанская рукопись; хотя я и не силен в этом языке, я все же сумел разобрать, что содержание ее чрезвычайно занимательно: то были истории о каббалистах, разбойниках и упырях. Я решил, что чтение этих удивительных повествований поможет мне развеяться и отвлечься от тягот похода. Рассудив, что рукопись навсегда лишилась законного владельца, я без долгих раздумий прихватил ее с собой.

Спустя некоторое время нам пришлось оставить Сарагосу. К несчастью, я находился вдали от главного корпуса армии и вместе с моим отрядом попал в руки неприятеля. Я полагал, что пробил мой последний час. Когда мы дошли туда, куда нас вели, испанцы начали повальный грабеж. Я умолял их позволить мне сохранить при себе одну только вещь, которая, впрочем, не представляла для них ни малейшей ценности, а именно: найденную мною рукопись. Сперва они всячески препятствовали мне в этом, затем решили обратиться за разрешением к своему капитану. Тот, полистав тетради, поблагодарил меня за спасение записок, которые были ему чрезвычайно дороги, ибо рукопись заключала в себе историю одного из его предков. Испанец взял меня к себе на квартиру, где я пробыл довольно долго. Он был — сама учтивость, и я, осмелев, упросил его перевести рукопись на французский: он переводил, а я тщательно записывал его слова.



День первый

В те времена, когда граф Олавидес¹ еще не расселил колонистов в горах Сьерра-Морены, эту крутую горную цепь, отделяющую Андалузию от Манчи, населяли одни только контрабандисты, разбойники да кучка цыган, о которых ходили слухи, что они пожирают тела убитых ими путников. Отсюда и пошла испанская поговорка: *Las gitanas de Sierra-Morena quieren carne de hombres*^{2*}. И это еще не все. Путника, который решился захватить в эти дикие края, ожидали, если верить слухам, тысячи ужасов, способных охладить даже и самую пылкую отвагу. Ему слышались заунывные голоса, сливающиеся с рокотом горных рек; среди рева бурь его сбивали с дороги блуждающие огоньки, а незримые руки безжалостно толкали в бездну.

Правда, порой на этой странной дороге можно было найти какую-нибудь венту, то есть одинокий трактир; но духи, куда более дьявольские, чем сами трактирщики, вынудили этих последних уступить им место и удалиться в края, где только голос совести нарушал их отдых; а голос совести — это призыв, с которым трактирщики предпочитали иметь дело более, чем со всеми другими. Впрочем, беседа со мной, сам трактирщик из Андухар поклялся именем святого Иакова Компостельского³, что в волшебных рассказах этих нет ни капли лжи. Затем он прибавил, что лучники святой Германдад⁴ избегают совершать вылазки в горы Сьерра-Морены, да и путешественники тоже предпочитают ехать по хаэнской или эстремадурской дороге. Я отвечал ему, что такой выбор мог быть по вкусу лишь путникам обыкновенным и заурядным, но, так как король Дон Филипп V⁵ удостоил меня звания капитана валлонской гвардии⁶, священные законы чести повелевают мне пуститься в Мадрид кратчайшей дорогой, хотя бы она была самой опасной.

— Юный кабалеро, — ответил трактирщик, — ваша милость позволит мне заметить, что, ежели король удостоил вас капитанского звания прежде, чем даже нежнейший пушок не оказал той же чести подбородку вашей милости, вам следовало бы сначала дать доказательства вашего благоразумия и рассудительности, ибо если демоны и злые духи привяжутся к какому-нибудь месту...

Он наболтал бы еще с три короба, но я пришпорил коня и остановился, лишь обретя уверенность, что предостережения его уже не достигнут моих ушей. Тогда я обернулся и увидел, что он размахивает руками, пытаюсь заставить меня избрать дорогу на Эстремадуру. Мой слуга Лопес и мой погонщик мулов Москито глядели на меня жалобно; взоры их, казалось, подтверждали слова трактирщика. Но я сделал вид, что ничего не понял, и пустился рысцой меж зарослей, там, где в позднейшие годы было основано поселение, названное Ла Карлота.

На месте, где теперь стоит почта, находился тогда постоянный двор, отлично известный погонщикам. Они называли его Лос Алькорнокес, или Пробковые Дубы, ибо два этих прекрасных дерева осеняли там обильный источник, выложенный белым мрамором. На всем пути от Андухар до трактира, называемого Вента Кемада, нигде не было ни воды, ни тени. Этот трактир, одиноко стоящий среди пустыни, был велик и просторен. Собственно говоря, это был древний мавританский замок, который маркиз Пенья Кемада приказал отстроить заново, отсюда и название «Вента Кемада». Маркиз затем сдал его в аренду некоему горожанину из Мурсии, который и устроил в древнем замке лучшую на всей этой дороге таверну. Путешественники выезжали поутру из Андухар, затем в Лос Алькорнокес съедали привезенные с собой припасы и отправлялись на ночлег в Вента Кемада. Там они обычно проводили и следующий день, чтобы набраться сил перед переездом через горы и запастись свежей провизией.

Таков был план и моего путешествия.

Но когда мы уже приближались к Пробковым Дубам и я напомнил Лопесу о необходимости подкрепить свои силы, я заметил, что погонщик Москито исчез вместе с мулом, навьюченным всей нашей провизией. Лопес ответил мне, что этот малый остался в нескольких сотнях шагов позади нас, чтобы поправить вьюки. Мы ожидали его, проехали еще немного вперед, потом снова задержались, звали его, потом возвратились той же дорогой, чтобы его найти; но все напрасно.

Москито исчез, исчез бесследно и унес с собой наши драгоценнейшие упования на то, что обед наш все еще в целости и сохранности. Правда, только я был голоден, ибо запасливый Лопес все время жевал тобосский сыр, который взял с собой в дорогу, но, несмотря на это обстоятельство, он был не веселее меня и ворчал сквозь зубы, что, дескать, андухарский трактирщик был прав и что; конечно, дьяволы похитили несчастного Москито.

Когда мы прибыли в Лос Алькорнокес, я увидел рядом с родником корзинку, прикрытую виноградными листьями; должно быть, в ней были фрукты, забытые каким-нибудь рассеянным путником. Заинтересовавшись, я погрузил руку в корзинку и не без приятности обнаружил там четыре великолепные фиги и один апельсин. Две фиги я предложил Лопесу, но он поблагодарил меня, говоря, что может подождать до вечера, поэтому

я все съел сам и затем пожелал утолить жажду водой из соседнего родника. Лопес удержал меня от этого, уверяя, что вода после фруктов может только повредить, и дал мне немного оставшегося еще у него аликанте. Я принял угощение, но едва вино оказалось у меня в желудке, как сердце мое внезапно сжалось, небо и земля завертелись у меня перед глазами, и я, конечно, упал бы в обморок, если бы Лопес не поспешил мне на помощь. Он привел меня в чувство, говоря, что я не должен удивляться своему состоянию, ибо оно вызвано голодом и усталостью. Вскоре силы не только вернулись ко мне, но я даже ощутил себя в особенно необычном и приподнятом состоянии. Мне показалось, что вся округа переливается тысячью красок, предметы засверкали в моих глазах, будто звезды в летнюю ночь, и кровь начала сильно стучать в жилах, особенно в висках и на шее.

Лопес, видя, что я быстро пришел в себя, начал снова упрекать меня:

— Увы, — сказал он, — отчего это я не посоветовался со святым братом Херонимо Тринидадским, монахом, проповедником, исповедником и оракулом-прорицателем нашего семейства! Недаром он, будучи зятем пасынка тещи отчима моей мачехи, стало быть, нашим ближайшим родственником, не позволяет, чтобы что-нибудь в доме нашем случилось без его ведома и совета. Я не хотел его слушать — и справедливо наказан за это. Ибо частенько он говаривал мне, что офицеры валлонской гвардии — народ еретический⁷ и что это легко узнать по их светлым волосам, голубым глазам и румяным щекам, тогда как у всех истинных древних христиан цвет лица подобен цвету мадонны из Аточи⁸, воссозданной святым Лукой.

Я остановил этот поток дерзостей, приказав Лопесу подать мне мою двустволку и остаться с лошадьми, в то время как сам намеревался взобраться на одну из окрестных скал в надежде, что отыщу заблудившегося Москито или, по крайней мере, его следы. Но, выслушав это мое предложение, Лопес залился слезами и, бросившись к моим ногам, заклинал меня во имя всех святых не покидать его одного в столь опасном месте. Я хотел было сам постеречь лошадей, а его отправить на поиски Москито, но это намерение еще более испугало Лопеса. Однако, в конце концов, я привел ему такое великое множество разумных доводов, что он все же позволил мне уйти. Затем он извлек из кармана четки и начал горячо молиться.

Вершины гор, на которые я собирался подняться, были гораздо больше удалены от меня, чем это показалось мне на первый взгляд, и лишь после часа пути мне удалось до них добраться, — впрочем, взглянув с вершины, я увидел перед собой пустынное и дикое пространство: ни следа людей, животных или какого-либо жилья; ни одной дороги, кроме той, большой, по которой я прибыл сюда, и никаких путников; полнейшая пустота и немое молчание. Я нарушил его громким криком: одно только эхо отвечало мне в отдалении. В конце концов я пустился в обратный путь, вернулся к источнику, где нашел своего коня привязанным к дереву, но Лопес... Лопес исчез бесследно.

Передо мной было два пути: либо возвратиться в Андухар, либо продолжать свое странствие. Но о том, чтобы осуществить первое, я даже и не подумал. Я сел на коня и, пустив его крупной рысью, два часа спустя прибыл к берегам Гвадалквивира, который там еще не разливается столь широко и великолепно, как под стенами Севильи. Вырываясь из горной теснины, Гвадалквивир несетя быстрым потоком, бездонным и безбрежным, разбивая свои волны о скалы, непрестанно пытающиеся прервать его бег.

Долина Лос Эрманос начинается в том месте, где Гвадалквивир течет по равнине; долина эта названа в честь троих братьев, которых общая склонность к разбоям соединяла куда крепче, нежели узы кровного родства; именно это место долгое время было ареной их гнусных подвигов. Из троих братьев двое были пойманы, и, въезжая в долину, можно было видеть тела их, качающиеся на виселице, однако старший, по имени Зото, бежал из королевской тюрьмы и, как говорили, укрылся в горах Альпухары.

Удивительные вещи рассказывали о двоих братьях-висельниках; правда, никто не утверждал, что это призраки, но все уверяли, что не однажды по ночам тела их, оживленные чарами сатаны, срываются с виселицы и тревожат живых. Эту историю считали настолько правдивой, что некий богослов из Саламанки сочинил обширный трактат, в котором возвещалось, что висельники эти есть не что иное, как упыри, чему уже не раз на белом свете бывали примеры, так что в конце концов и наиболее сомневающиеся вынуждены были поверить. Ходили также слухи, что эти двое были осуждены безвинно и, следовательно, несправедливо наказаны и что теперь, мстя с дозволения небес, они наводят ужас на путешественников и окрестных жителей, на проезжих и прохожих. Я много наслушался об этом в Кордове и теперь, терзаемый любопытством, приблизился к виселице. Зрелище это было тем более ужасным, что, когда ветер раскачивал гнусные трупы, кровожадные коршуны терзали их внутренности и выклевывали остатки мяса; с трепетом я отвратил взор и пустился по дороге в гору.

Следует признать, что долина Лос Эрманос была как нельзя более пригодна для разбойничьих подвигов, ибо она обеспечивала злоумышленникам места, где можно было безопасно укрыться. Что ни шаг, путнику преграждали дорогу обломки утесов либо старые деревья, выкорчеванные бурей. Во многих местах дорога прерывалась мостками через ручьи и обходила глубокие пещеры, зловещий вид которых пробуждал в душе самые мрачные подозрения.

Оставив за собой эту долину, я въехал в другую и вскоре увидел трактир, в котором должен был искать пристанища, но уже издаലെка вид его показался мне весьма зловещим. Я обнаружил, что в строении нет ни окон, ни ставен; дым не шел из трубы, вокруг не было ни души, и ни один пес

лаем своим не возвещал о моем прибытии. Отсюда я сделал вывод, что трактир этот — один из тех, которые, если верить рассказу трактирщика из Андухар, покинуты раз навсегда. Наконец, я подъехал поближе и увидел у крыльца кружку для пожертвований. Присмотревшись, я прочел на ней следующую надпись: «Господа путешественники, исполняя сострадания, молитесь за упокой души Гонсалеса из Мурсии, бывшего трактирщика в Вента Кемада. Ради всего святого, покиньте это место и ни за что на свете не останавливайтесь тут на ночлег!»

Я решил смело встретить опасности, которыми угрожала надпись. И вовсе не потому, что я не был убежден в существовании духов; но потому, что, как покажет продолжение этой истории, во всем моем воспитании больше всего обращали внимание на то, чтобы выработать во мне чувство чести, а честь, как я полагал, и заключалась именно в том, чтобы никогда не проявлять тревоги и боязни.

Солнце еще не совсем зашло, и я воспользовался последними его лучами, чтобы осмотреть это жилье, по правде говоря, не столько для того, чтобы обезопасить себя на случай адских искушений, но скорее для того, чтобы найти что-либо съедобное, ибо те пустыки, которые я нашел было в Лос Алькорнокес, разве что могли только ненадолго утишить, но отнюдь не утолить голод, который терзал меня по-прежнему. Я прошел через несколько комнат и зал. Большая часть из них была украшена мозаикой в рост человека, а потолки были покрыты великолепными резными арабесками, которыми в былые времена по праву гордились мавры. Я побывал на кухне, на чердаке и в подвалах — эти последние были выдолблены в толще скалы, некоторые из них соединялись с подземельями, которые, по-видимому, продолжались далеко в глубь гор, но нигде так и не смог отыскать, чем подкрепиться. Наконец, когда уже начало смеркаться, я пошел за конем, который до тех пор стоял привязанный во дворе. Я ввел его в стойло, где нашел клоч сена, а потом прошел в одну из комнат, где оставлено было убогое ложе. Впрочем, это все же была постель, единственная во всем трактире. Я пытался заснуть, но тщетно, а тут не только еды, но и света не мог найти!

Чем чернее становилась ночь, тем более мрачное направление принимали мои мысли. Я думал то о внезапном исчезновении моих слуг, то вновь о том, как бы мне утолить голод. Я полагал, что злоумышленники, выйдя внезапно из зарослей или какого-нибудь подземного укрытия, схватили Лопеса и Москито, а меня все же побоялись тронуть, видя, что я вооружен до зубов и им все же нелегко будет одержать надо мной победу.

Более всего я думал о том, как бы мне утолить голод; правда, под вечер я видел коз на горах, несомненно и козопас должен был при них обретаться, и было бы очень странно, если бы у него не оказалось молока и хлеба. Кроме того я рассчитывал также на свое ружье. Но ни за что на свете я не возвратился бы в Андухар, ибо я слишком страшился тамош-

него трактирщика, вернее, его издевательских расспросов. Одним словом, нисколько не колеблясь, я решил пуститься в дальнейший путь.

Когда все это было уже продумано и передумано до конца, я не смог удержаться, чтобы не вспомнить известной истории фальшивомонетчиков и многих других подобных легенд, легенд, которые убаюкивали меня в мои младенческие годы. Мне также вспоминалась надпись на кружке для милостыни. Я не допускал, чтобы дьявол свернул шею трактирщику, но никак не мог объяснить себе горестной кончины этого последнего.

Таким образом в немой тишине проходили часы, пока я не вздрогнул от неожиданного колокольного звона. Я услышал двенадцать ударов, а ведь, как всем известно, злые духи обладают властью только от полуночи до первого крика петуха. Да и в самом деле, было чему удивиться, ибо часы не отбивали предшествующих ударов, и бой их отдавался в моих ушах погребальным звоном. Вскоре двери комнаты отворились, и я увидел черную, но, впрочем, нисколько не страшную фигуру, ибо это была красивая полунагая негритянка с двумя факелами в руках.

Негритянка приблизилась ко мне, отвесила мне глубокий поклон и так обратилась ко мне на чистейшем кастильском наречии⁹:

— Сеньор кавалер, две чужестранки, которые остановились на ночь в этом трактире, просят, чтобы ты оказал им честь разделить с ними их ужин. Благоволи следовать за мной.

Я поспешил за негритянкой и, пройдя по нескольким коридорам, очутился в ярко освещенной комнате, посреди которой стоял стол с тремя приборами, ломившийся под тяжестью японского фарфора и бокалов из горного хрусталя. В глубине комнаты возвышалось великолепное ложе. Несколько прислужниц-негритянок хлопотало вокруг стола, но внезапно они расступились в две шеренги и я увидел двух входящих женщин; цвет лица их, как бы сотканный из роз и лилий, дивно отличался от эбенового цвета их наперсниц. Молодые девушки держались за руки. Они были одеты весьма странно, во всяком случае, так мне это тогда показалось, хотя впоследствии, в дальнейших моих странствиях, я убедился, что это был обычный наряд, какой носят на берберийском побережье¹⁰. Наряд этот состоял, собственно, только из рубашки и лифа. Платье, или, вернее, туника, в верхней половине было полотняное, а от пояса — сшитое из меккинского газа, то есть из ткани, которая была бы совершенно прозрачной, ежели бы широкие шелковые ленты, спускающиеся одна рядом с другой, не скрывали бы престелей, которые так выигрывали под этим легчайшим покровом. Корсаж или безрукавка, богато расшитая жемчугом и украшенная бриллиантовыми аграфами, тесно сжимала белоснежную грудь, а рукава от сорочки, также газовые, были связаны на спине. Руки унизаны были драгоценными браслетами. Ножки этих незнакомок, ножки, повторяю, которым следовало быть кривыми и заканчиваться когтями, если бы они принадлежали злым духам, напротив, отличались стройностью. Они были обуты в изящные

восточные туфельки, отнюдь не скрывавшие пальчиков. У щиколоток сверкали браслеты с бриллиантами.

Незнакомки приблизились ко мне с приветливой улыбкой. Каждая была в своем роде необыкновенной красавицей. Одна — высокая, стройная, ослепительная, другая же — кроткая и боязливая. Фигура и черты старшей с первого взгляда поражали правильностью. У младшей, пухленькой, были чуть выпяченные губки, а ее прищуренные глаза оттенены были ресницами необычайной длины. Старшая обратилась ко мне с такими словами на чистейшем кастильском наречии:

— Сеньор кавалер, благодарим тебя за любезность, с которой ты соблагволил разделить этот скромный ужин. Мы полагаем, что ты ощущаешь в нем потребность.

Слова эти она произнесла со столь злорадной усмешкой, что я на миг заподозрил ее в том, что это она приказала увести моего мула с припасами. Но, так или иначе, мне нельзя было гневаться, ведь утрата моя была возмещена сторицей.

Мы уселись за стол, и та же незнакомка сказала, придвигая ко мне вазу японского фарфора:

— Сеньор кавалер, ты найдешь тут олью-подриду¹¹, состоящую из всех видов мяса, кроме одного, ибо мы верные, то есть мусульманки.

— Прекрасная незнакомка, — отвечал я, — без сомнения, ты сказала правду; кому же более пристало говорить о верности? Это религия истинно любящих сердец. Во всяком случае, прежде чем вы утолите мой голод, прошу утолить мое любопытство и сказать мне, кто вы.

— Ешь пока, сеньор кавалер, — возразила прекрасная мавританка, — от тебя у нас нет никаких тайн! Меня зовут Эмина, а мою сестру — Зибельда; мы живем в Тунисе, но семейство наше родом из Гранады, и некоторые из наших родичей остались в Испании, где тайно исповедуют веру отцов¹². Неделю назад мы покинули Тунис и высадились на пустынном берегу, неподалеку от Малаги. Затем, между Лохой и Антекверой, мы перешли горы и, наконец, прибыли сюда, чтобы сменить платье и предпринять все необходимое для нашей безопасности — ведь нас могут искать. Ты видишь поэтому, сеньор, что наше путешествие — важная тайна, которую мы доверяем твоей честности и порядочности.

Я заверил прекрасных путешественниц, что с моей стороны им нечего опасаться, и начал подкреплять свои силы, хотя и с известной прожорливостью, но, однако, не без некоторой жеманной эlegantности, о какой никогда не забывает молодой человек, находясь в женском обществе.

Когда дамы увидели, что первый голод утолен и что я принимаюсь за то, что в Испании называют *los dulces* *, прекрасная Эмина приказала негритянкам показать мне, как пляшут в их родном краю. Казалось,

* Сладости (исп.).

ни один приказ не мог быть для них приятнее. Они исполнили его с живостью, которая даже несколько переходила в своеволие и проказливость. Конечно, я никогда не был бы в состоянии положить конец этим пляскам, если бы не спросил прекрасных незнакомок, а не предаются ли порой этому развлечению они сами. Вместо ответа они поднялись и приказали подать им кастаньеты. Танец их напоминал болеро, которым славится Мурсия, и фоффу, которую танцуют в Альгарве; те, которые бывали в тех краях, легко могут себе вообразить его. Однако они никогда не смогут представить очарования, которое придавали ему прелести обеих мавританок, едва прикрытые прозрачными складками, как бы стекающими по их стройным фигурам.

В течение некоторого времени я спокойно смотрел на восхитительных танцовщиц, но, в конце концов, движения их, все более яростные, одурманивающие звуки мавританской музыки, чувства, распаленные обильной трапезой, все это вместе невольно повергло меня в неведомое мне доселе иступление. Я и в самом деле не знал, женщины ли это или какие-то коварные призраки. Я не смел взглянуть на них, не хотел ничего видеть, закрыл глаза руками и в этот миг ощутил, что теряю сознание.

Сестры приблизились ко мне и взяли меня за руки. Эмина участливо осведомилась о моем здоровье, я успокоил ее. Зибельда тем временем попыталась, что за медальон у меня на груди, не портрет ли это моей возлюбленной.

— Это талисман, — возразил я, — который дала мне мать и который я поклялся не снимать никогда. В нем хранится частица истинного креста.

При этих моих словах Зибельда смутилась и побледнела.

— Ты в тревоге, — продолжал я, — а ведь одни только злые духи страшатся креста.

Эмина отвечала за сестру:

— Сеньор кавалер, ты знаешь, что мы мусульманки, и ты не должен дивиться обиде, которую ты невольно причинил моей сестре. Признаюсь, что и я испытала то же чувство, и горестно нам, что ближайший наш родственник исповедует веру Христову. Эта речь тебя удивляет, но разве твоя матушка родом не из Гомелесов? Мы также принадлежим к этой семье, которая ведет свой род от Абенсеррагов¹³... но присядем на эту софу, и я расскажу тебе гораздо больше.

Негритянки удалились. Эмина посадила меня в угол софы и, поджав под себя ноги, села рядом со мной. Зибельда легла с другой стороны, опираясь о мою подушку, и мы были столь близко друг от друга, что наше дыхание смешивалось. Эмина, казалось, задумалась на миг; потом, метнув на меня взор, исполненный чувства, взяла меня за руку и начала с таких слов:

— Я вовсе не хочу скрывать от тебя, дорогой Альфонс, что нас привел сюда не простой случай. Мы дожидались здесь тебя, и если бы, гонимый

боязнию, ты избрал иную дорогу, наше уважение к тебе исчезло бы навсегда.

— Ты льстишь мне, прекрасная Эмина, — возразил я, — не понимаю, почему тебя так трогает моя храбрость?

— Твоя особа чрезвычайно занимает нас, — продолжала мавританка, — но, может быть, это менее польстит тебе, если ты узнаешь, что ты первый мужчина, которого мы встречаем в своей жизни. Ты удивлен моими словами и как будто сомневаешься, правдивы ли они. Я обещала тебе рассказать историю наших предков, но, конечно, лучше будет, если я начну с нашей собственной истории.



*История Эмины
и сестры ее Зибелды*

— Отец наш Газир Гомелес, дядя дея¹⁴, правящего ныне в Тунисе. У нас не было брата, мы никогда не знали отца, и, так как с самых юных лет были заперты в стенах сераля, у нас отсутствовало какое бы то ни было понятие о существах вашего пола. Однако природа одарила нас несказанной склонностью к любви, и, так как у нас не было иного выбора, мы взаимно влюбились друг в друга. Привязанность эта началась с раннего детства. Мы рыдали, когда нас хотели разлучить хоть на миг; когда одну из нас наказывали, другая начинала плакать. Днем мы играли вместе, а ночью делили одно ложе. Столь живое чувство, казалось, начало расти вместе с нами и крепнуть из-за обстоятельства, о котором я тебе сейчас расскажу. Мне было тогда шестнадцать лет, а моей сестре четырнадцать. С давних пор мы заметили, что матушка старательно прячет от нас некоторые книги. Сперва мы обращали на это мало внимания, ибо нам уже достаточно наскучили книги, по которым нас учили читать, но с возрастом у нас пробудился интерес к ним. Мы подстерegli минуту, когда запретный шкафчик был открыт, и мгновенно похитили маленький томик, который заключал в себе историю Меджнуна и Лейли¹⁵, переведенную с персидского Бен-Омаром¹⁶. Это увлекательное творение, пламенными красками описывающее наслаждения любви, воспламенило наши юные головы. Мы не могли понять, в чем суть этих наслаждений, не выдав никогда существ вашего

пола, но повторяли вслух и про себя новые для нас выражения. Мы обращались друг к другу языком влюбленных и, в конце концов, попытались любить друг друга как они. Я взяла на себя роль Меджнуна, а сестра моя — роль Лейли. Прежде всего я свидетельствовала ей мою страсть, составляя цветы в букет (это способ объяснения в любви, употребляемый по всей Азии), затем я бросила ей взгляд, полный огня, упала перед ней на колени, целовала ее следы, заклинала ветерок, чтобы он принес ей мои жалобы, и непрестанно пыталась воспламенить ее сердце жаркими вздохами.

Зибельда, верная науке поэта, назначила мне свидание. Я припала к ее коленям, сжимала ей руки, обливала слезами ее ноги. Возлюбленная моя сперва оказывала мне легкое сопротивление, но вскоре позволила мне похитить несколько лобзаний и, наконец, вполне разделила мои пылкие чувства. Души наши, казалось, сливались воедино, и более совершенного счастья мы не ведали.

Я не помню, как долго развлекали нас эти страстные сцены, но вскоре ярость наших чувств значительно поутихла. Мы проявили охоту к некоторым наукам, в особенности к познанию растений, признаки коих мы узнавали из трудов прославленного Аверроэса¹⁷. Матушка моя, будучи убеждена, что никто не может достаточно вооружиться против скуки серала, с удовольствием взирала на наши занятия и, желая нам облегчить учение, приказала выписать из Мекки святую женщину, прозванную Хазарета, или «святая из святых». Хазарета учила нас заветам пророка и излагала нам науки тем чистым и мелодичным языком, какой употребляют ныне лишь потомки корейшитов¹⁸. Мы не могли ее вволю послушаться и вскоре знали на память почти весь коран. Затем матушка поведала нам историю нашего семейства и показала нам множество дневников и записок, из коих одни были писаны по-арабски, а другие по-испански.

Милый Альфонс, ты не поверишь, до чего нам опротивела ваша религия, как мы возненавидели ее священнослужителей. Зато, с другой стороны, судьбы и злоключения семьи, кровь которой текла в наших жилах, неслыханно нас занимали. Мы то восторгались Саидом Гомелесом, который терпел муки в узилищах инквизиции, то его племянником Леиссом, который долгое время влачил в горах существование дикое и почти ничем не отличимое от существования хищных зверей. Такие описания пробуждали в нас восторженный интерес к мужчинам, нам хотелось их увидеть, и мы часто выходили на террасу в саду, чтобы хоть издалека поглядеть на корабельщиков с озера Голетта или правоверных, спешащих в бани Хамам-Неф¹⁹. Хотя мы с Зибельдой и не забывали науки влюбленного Меджнуна, однако с тех пор мы никогда уже больше не повторяли с ней его уроков. Я полагала даже, что страстные чувства, которые я питала к сестре своей, совершенно угасли, но в это время неожиданный случай убедил меня в том, что я ошибалась.

Однажды матушка привела к нам некую принцессу из Тафилета, женщину преклонных лет. Мы приняли ее как можно лучше. Когда визит окончился, матушка сообщила мне, что принцесса просит моей руки для своего сына, моя же сестра предназначена в жены одному из Гомелесов. Известие это как громом поразило нас. Сперва мы не могли вымолвить ни слова, а потом горести этой разлуки столь живо предстали перед нашим взором, что мы предались страшнейшему отчаянию. Мы вырывали себе волосы, и весь сераль огласился нашими стонами. Наконец, когда наша печаль начала переходить в истинное безумие, матушка в испуге обещала не принуждать нас и предложила нам на выбор оставаться незамужними или же обеим выйти замуж за одного и того же избранника. Эти обещания несколько успокоили нас.

Вскоре затем матушка пришла нам сказать, что говорила с шейхом нашего рода и что он согласился, чтобы мы были отданы в жены одному и тому же человеку, при условии, чтобы супруг этот происходил из семьи Гомелесов.

Мы ничего на это не ответили, но мысль иметь одного мужа с каждым днем все больше нам улыбалась. Доселе мы не видели ни старого, ни молодого мужчины — разве уж очень издалека! Но, так как молодые женщины казались нам приятнее, чем старые, мы весьма жаждали, чтобы наш супруг тоже был молодым. Мы надеялись, что нам удастся истолковать с его помощью некоторые отрывки из книги Бен-Омара, которые мы сами были не в состоянии уразуметь.

Тут Зибельда прервала сестру свою и, сжимая меня в объятиях, сказала:

— Милый Альфонс, отчего ты не мусульманин! Как бы я была счастлива, если бы, видя тебя на ложе Эмины, я могла бы участвовать в ваших наслаждениях и соединиться с вами в объятии!

В нашем семействе, так же, как и в семействе пророка²⁰, потомки по женской линии имеют такие же права, как и потомки по мужской линии, и поэтому от тебя зависит, быть может, стать главой нашего рода, который уже клонится к упадку. Для этого тебе было бы достаточно раскрыть свое сердце навстречу святым лучам нашей веры!

Слова эти показались мне настолько похожими на дьявольские козни, что я все высматривал, не замечу ли следы рогов на прекрасном челе Зибельды. Я пробормотал несколько слов о святости моей религии. Сестры отодвинулись от меня. Лицо Эмины приняло серьезное выражение, после чего прекрасная мавританка так продолжала свою речь:

— Сеньор Альфонс, я слишком много рассказывала о себе и о Зибельде. Это не входило в мои намерения; я здесь рядом с тобой, чтобы сообщить тебе подробности о семействе Гомелесов, от коих ты происходишь по женской линии. Вот о чем я хотела бы, чтобы ты узнал:

История замка Кассар-Гомелес



Первым шейхом нашей семьи был Масуд Бен-Тахер, брат Юсуфа Бен-Тахера²¹, который вторгся в Испанию во главе арабов и дал свое имя горе Джебаль-Тахер, или, как вы произносите, Гибралтар. Масуд, много сделавший для успеха арабского оружия, получил от калифа Багдада должность правителя Гранады, которую он и исправлял вплоть до самой смерти своего брата. Он оставался бы в этой должности и дольше, ибо его глубоко уважали как мусульмане, так и мосарабы, то есть христиане, оставшиеся под владычеством мавров, но у него были сильные враги в Багдаде, которые очернили его в глазах калифа²². Масуд узнал, что гибель его неизбежна, и решил удалиться сам. Он собрал горстку верных и поселился в Альпухаре²³, которая, как ты знаешь, является отрогом Сьерра-Морены и отделяет королевство Гранады²⁴ от королевства Валенсии.

Визиготы²⁵, у которых мы завоевали Испанию, так никогда и не провались в Альпухару; большая часть долин была совершенно заброшена. Только в трех из них обитали потомки древнего иберийского племени, называемые турдулами²⁶. Не знали они ни Магомета, ни твоего пророка-назарейнина; принципы их религии и законов содержались в песнях, которые передавались от отцов к детям. Некогда у них были книги, но с течением времени эти книги погибли.

Масуд покорила турдулов скорее словом, чем силой; он научился их языку и проповедовал им ислам. Оба народа смешались посредством взаимных браков; именно этому слиянию родов, как и горному воздуху, я и моя сестра обязаны той румяной кожей, которая отличает дочерей Гомелесов. Можно, правда, и у мавров встретить немало белых женщин, но обычно они бледны.

Масуд принял титул шейха и приказал воздвигнуть укрепленный замок, которому дал имя Кассар-Гомелес. Более судья, нежели повелитель своего племени, Масуд был доступен для всякого, двери его дома открывались равно для всех, только в последнюю пятницу каждого месяца он прощался с семьей, спускался в подземелье замка и, запершись там, проводил целую неделю. Эти исчезновения дали повод к разнообразным толкам. Одни считали, что шейх ведет беседы с Двенадцатым имамом²⁷, который должен

явиться накануне светопреставления, другие же предполагали, что в подземелье сидит заключенный антихрист²⁸; третьи, наконец, доказывали, что там почивают семеро спящих братьев вместе со своим верным псом Калембом²⁹. Шейх совершенно не обращал внимания на эти досужие толки и правил своим народом до тех пор, пока у него хватало сил. В конце концов он выбрал разумнейшего из всего племени, нарек его своим преемником, вручил ему ключ от подземелья, а сам уединился в пустыне, где прожил еще долгие годы.

Новый шейх правил подобно своему предшественнику и так же, как и он, исчезал в последнюю пятницу каждого месяца. Это длилось до тех пор, пока Кордова не получила своих калифов³⁰, совершенно не зависимых от владык Багдада. Тогда горцы Альпухары, которые принимали деятельное участие в этих переменах, начали селиться на равнинах, где вскоре они прославились под именем Абенсеррагов, другие же, которые остались верными шейху из Кассар-Гомелеса, сохранили имя Гомелесов.

А между тем Абенсерраги скупили богатейшие имения в королевстве Гранады и великолепнейшие дворцы. Чрезмерная их роскошь привлекла всеобщее внимание. Возникло подозрение, что подземелья шейхов таят неисчислимые богатства, но никто не был в состоянии проверить эти предположения, так как сами Абенсерраги не знали источника своих сокровищ. Наконец, когда прекрасные эти королевства навлекли на себя гнев божий, алах отдал их в руки неверных. Гранада была взята штурмом, и спустя несколько дней знаменитый Гонзальв³¹ из Кордовы во главе трех тысяч испанцев ворвался в Альпухару. Хатем Гомелес был тогда шейхом нашего рода. Он вышел навстречу Гонзальву и вручил ему ключи от замка. Испанец потребовал ключи от подземелья, шейх и их ему тут же принес. Гонзальв спустился в подземелье, но, увидя вместо сокровищ надгробье и несколько ветхих книг, начал громко издеваться над пустыми домыслами своих единоплеменников и поспешил затем вернуться в Вальядолид, куда его призывали любовь и любовные интриги.

До самого вступления Карла на престол в наших горах царил мир. Шейхом тогда был Сефи Гомелес. Этот человек по неизвестным причинам донес императору, что откроет ему важную тайну, если Карл³² захочет послать в Альпухару какого-нибудь знатного испанца, к которому он питает полное доверие. Прежде чем прошло пятнадцать дней, к Гомелесам в качестве императорского посла прибыл дон Руис из Толедо, но нашел шейха мертвым. Его убили накануне приезда посла. Дон Руис заподозрил нескольких человек, но затем, устав от напрасных усилий, вернулся к императорскому двору.

Тут Зибельда вновь прервала сестру, говоря:

— Милая Эмина, не думаешь ли ты, что Альфонс выдержал бы все эти испытания? Ах, кто же посмеет сомневаться в этом! Дорогой Альфонс,

как жаль, что ты не мусульманин; без сомнения, ты стал бы властелином неисчислимых сокровищ!

Это было уж совсем похоже на новое искушение. Князь тьмы, не сумев соблазнить меня наслаждением, старался теперь пробудить во мне жажду золота. Тем временем прекрасные мавританки прильнули ко мне, и я ощутил прикосновение живых тел, а вовсе не теней. После минутного молчания Эмина так продолжала свою речь:

— Дорогой Альфонс, ты прекрасно знаешь о преследованиях, которым подвергся наш род в царствование Филиппа³³, сына Карла. Похищали детей, воспитывали их в вере христовой и передавали им имена родителей, которые не хотели отказаться от веры предков. Тогда-то один из Гомелесов был принят в теку дервишей святого Доминика и занял должность великого инквизитора³⁴...

Тут мы услышали пенье петуха, и Эмина прервала свою речь. Снова пропел петух. Человек суеверный, конечно, ожидал бы, что обе красавицы внезапно ускользнут через дымоход. Однако этого вовсе не произошло, только девушки внезапно помрачнели и погрузились в размышления.

Эмина первая прервала молчание:

— Милый Альфонс, — сказала она, — уже занимается день, слишком дороги часы, которые мы можем провести с тобой, чтобы мы могли потратить их на рассказывание давних историй. Мы не можем стать твоими женами, разве только ты признаешь закон пророка. Но тебе позволено будет увидеть нас во сне. Ты согласен на это?

Я был согласен на все.

— Но этого недостаточно, милый Альфонс, сказала Эмина с выражением высочайшего достоинства, — нужно, чтобы ты присягнул священнейшими принципами чести, что никогда не выдашь тайны наших имен, самого нашего существования и всего того, что ты знаешь о нас. Отважишься ли ты принять на себя подобные обязательства?

Я поклялся исполнить все, чего от меня ожидали.

— Хорошо, — сказала Эмина, — теперь, сестра, принеси чашу, освященную Масудом, шейхом нашего рода.

В то время как Зибельда ходила за волшебной чашей, Эмина пала на колени и стала читать арабские молитвы. Зибельда возвратилась с чашей, которая показалась мне вырезанной из одного большого изумруда. Сестры омочили в ней уста и приказали мне выпить остальное. Я повиновался. Эмина поблагодарила меня за покорность и нежно обняла. Затем Зибельда прильнула к моим устам, запечатлела на них проникновеннейший поцелуй и долго не могла от них оторваться. Потом они обе покинули

меня, говоря, что вскоре я снова их увижу и что пока они советуют мне попытаться поскорее заснуть.

Столько удивительных случаев, чудесных рассказов и неожиданных впечатлений дали бы мне пищу для размышлений на всю ночь, но должен признаться, что обещанные сновидения занимали меня более всего. Я быстро разделся и, когда уже улегся на приготовленное для меня ложе, заметил не без удовольствия, что постель широка и что для приятных сновидений места на ней более чем достаточно. Но едва я успел заметить это, как неодолимый сон сковал мои веки и все обманы ночи повили пеленой мои чувства. Не переставая, блуждал я во все новых и новых дебрях фантастических очарований, а мысль моя, летящая на крыльях желания, помимо воли переносила меня в африканские серали, открывала прелести, сокрытые в их околдованных стенах, и погружала в омуты неописуемых наслаждений. Я чувствовал, что сплю, и однако был уверен, что сжимаю в своих объятиях отнюдь не сонные видения. Я терялся в бесконечном пространстве безумнейших иллюзий, но отлично помню, что все время был с моими прекрасными кузинами. Засыпал на их груди и пробуждался в их объятиях. Не помню, сколько раз испытывал я эти волшебные метаморфозы. . .



День второй

Наконец, я и в самом деле очнулся. Солнце жгло мне веки, и я с трудом сумел их поднять. Увидев небо, я понял, что нахожусь на вольном воздухе. Но глаза мои все еще слипались. Я уже не спал, но не вполне пробудился. Ужасные картины пронеслись перед моим умственным взором. Тревога снесла меня. Я вдруг приподнялся и сел.

Где найду слова, чтобы описать ужас, овладевший мною? Я лежал под виселицей Лос Эрманос. Трупы обоих братьев Зото уже не висели, а лежали рядом со мной. Я несомненно провел между ними целую ночь. Я валялся на оборванных постромках, обломках колес, чьих-то костях и гнилых лохмотьях, еще не тронутых тлением.

Мне показалось, что я сплю и что отвратительный сон гнетет меня. Я закрыл глаза, сиюсья припомнить впечатления прошедшей ночи. И вдруг ощутил когти, впивающиеся в грудь мою. Это был коршун, который упал на меня и терзал тело одного из моих товарищей по ночлегу. Боль, которую причинили мне эти когти, окончательно разбудила меня. Платье мое лежало рядом со мной, и я начал поспешно одеваться. Одевшись, я хотел выйти из ограды, окружавшей виселицу, но ворота были заперты, и я, как ни старался, не смог их отпереть. Мне пришлось, в конце концов, взобраться на эту угрюмую ограду. Взобравшись туда, я оперся на столб виселицы и оглядел окрестность. Я уже знал это место. Я и в самом деле находился у входа в долину Лос Эрманос, неподалеку от берегов Гвадалквивира.

Вот так, блуждающими глазами озирая окрестность, я увидел над рекой двух путников, один из которых готовил завтрак, а другой держал под уздцы пару лошадей. Я был так счастлив, что вижу людей, что сразу же начал кричать: «Agur! Agur!», что означает по-испански «Добрый день» или, пожалуй, «Как поживаете?»

Путники, заметив знаки внимания, которые кто-то оказывал им с верушки виселицы, на миг остолбенели, но тут же оседлали коней и во весь дух поскакали по дороге, ведущей в Лос Алькорнокес. Я кричал им, чтобы они остановились, но напрасно: чем громче я кричал, тем быстрее они уносились и тем глубже вонзали шпоры в бока своих лошадей. Когда я, наконец, совершенно потерял их из виду, я прежде всего подумал о том, чтобы покинуть свой пост. Спрыгнул наземь и, падая, довольно сильно ушибся.

Ковыляя, я добрался до берега Гвадалквивира; я нашел там приготовленный ужин, который с такой поспешностью бросили оба путника. Это угощение было очень кстати, более того, оно было даже весьма утончен-

ным. Я нашел варящийся еще шоколад, эспонхад¹, смоченные вином аликанте, хлеб и яйца.

Я подкрепился, а потом принялся вспоминать события прошедшей ночи. Воспоминания мои совершенно перепутались, однако я отлично помнил, что дал честное слово сохранять тайну, и решил свято хранить верность присяге. Окончательно развеяв всяческие сомнения, я стал раздумывать о дальнейшей моей судьбе, вернее, о том, какую дорогу выбрать. Теперь более, чем когда-либо, я считал, что священные законы чести велят мне ехать через Сьерру-Морену.

Может показаться странным, что я столько занимался делами моей чести и столь мало событиями минувшей ночи, но этот образ мыслей был следствием моего воспитания, как это выяснится из дальнейшего течения этой повести. А теперь я возвращаюсь к моему путешествию.

Мне было весьма интересно узнать, что за штуки выкидывали дьяволы с моим конем, которого я оставил в Вента Кемада; и, так как мне следовало держать путь туда, я решил заглянуть в трактир. Мне пришлось пешком пройти всю долину Лос Эрманос и следующую, вплоть до самой венты; я был настолько измучен, что с нетерпением ожидал мгновения, когда отыщу моего коня. И в самом деле, я нашел его в том самом стойле, где его вчера оставил. Добрый мой гнедой не утратил обычной веселости, шкура его лоснилась, из чего следовало, что кто-то о нем тщательно заботился. Я не мог понять, кто это сделал, но я уже столько перевидал необычайных вещей, что не стоило долго ломать голову над подобной безделицей. Я конечно тут же пустился бы на нем в путь, если бы мне не пришла вдруг охота вновь осмотреть трактир. Я нашел комнату, в которой сперва расположился, но, несмотря на самые старательные поиски, не смог обнаружить покои, где я познакомился с прекрасными мавританками. Мне надоело бессмысленно слоняться по углам, и вот я оседлал коня и пустился в дальнейший путь.

Когда я проснулся под виселицей Лос Эрманос, солнце совершило уже почти половину своего пути, с того момента я два часа потратил на дорогу к трактиру; итак, когда я проехал следующие несколько миль, мне нужно было уже подумать о новом приюте, но, не видя нигде ни одного строения, я поехал дальше. Наконец, я увидел вдалеке готическую часовню, к стене которой прилепилась маленькая хижина, похожая на жилище отшельника. Строение это находилось в весьма значительном отдалении от большой дороги, но, так как голод начал уже мучить меня, я, не колеблясь, свернул с дороги, надеясь подкрепить свои силы.

Добравшись до хижины, я привязал коня к дереву, постучался у дверей хижины и увидел выходящего из нее монаха чрезвычайно благообразной наружности. Отшельник обнял меня с отцовской заботливостью и сказал:

— Войди, сын мой, войди скорее, не проводи ночь под открытым небом, остерегайся искушений, ибо господь отвел от нас десницу свою.

Я поблагодарил отшельника за доброту, которую он ко мне проявил, и напомнил ему о голоде, терзающем меня.

— Подумай сперва о спасении души, сын мой, — ответил он, — иди в часовню, преклони колени и молись перед распятьем. Я подумаю о потребностях тела твоего; но тебе придется ограничиться скудной трапезой, которую может предоставить тебе отшельник в своей бедной хижине.

Я пошел в часовню и в самом деле начал молиться, ибо не только сам никогда не был безбожником, но даже не понимал, как их только земля носит. Всему этому причиной было полученное мною воспитание.

Спустя четверть часа отшельник зашел за мной и ввел меня в хижину, где я нашел весьма пристойно накрытый стол. Ужин состоял из великолепных маслин, артишоков, маринованных в уксусе, соуса с испанским луком и сухарей вместо хлеба; затем нашлась и бутылка вина, которого отшельник не пил, но употреблял только служа святую обедню. Узнав об этом, я также не прикоснулся к вину.

В то время, как я не без удовольствия подкреплял свои силы, в хижину вошло такое ужасное создание, какого я еще никогда в жизни не видел. Это был человек, как мне показалось, молодой, но устрашающей худобы. Волосы у него стояли дыбом, один глаз был выколот, и рана все еще кровоточила. Изо рта у него вываливался язык, покрытый пеной. Он был в весьма приличном черном платье, но это была вся его одежда — ни чулок, ни сорочки на нем не было.

Страшный пришелец, не говоря ни единого слова, уселся в углу, согнувшись в три погибели, и, неподвижный, как статуя, единственным взглядом своим всматривался в распятье, которое сжимал в руках. Покончив с ужином, я осведомился у отшельника, что это за человек.

— Сын мой, — ответил старец, — это бесноватый, из которого я изгоняю дьяволов. Страшная история его является явным доказательством той власти, какую ангел тьмы приобрел над сею злосчастной округой. Рассказ его может послужить к твоему спасению, потому-то я и прикажу ему, чтобы он его начал.

Окончив эту фразу, он обратился к бесноватому и молвил:

— Пачеко! Пачеко! Во имя твоего искупителя я велю тебе поведать твою историю.

Пачеко отвратительно зарычал, а потом повел такую речь:



История бесноватого Пачеко

Родился я в Кордове, где отец мой жил в достатке. Мать моя скончалась три года назад. Отец сперва казался безутешным, но, когда несколько месяцев спустя ему случилось съездить в Севилью, влюбился там в молодую вдову по имени Камилла де Тормес. Женщина эта пользовалась недоброй славой, и друзья моего отца пытались отворотить его от этого знакомства, но именно как бы им наперекор отец обвенчался с ней спустя два года после кончины первой жены. Бракосочетание состоялось в Севилье, и через несколько дней отец мой вернулся в Кордову с новой супругой и сестрой ее Инезильей.

Поведение моей мачехи вполне соответствовало молве, которая о ней ходила. Едва прибыв к нам в дом, она начала бросать на меня нежные взгляды. Намерения ее не увенчались успехом, но я безумно влюбился в ее сестру. Эта страсть вскоре настолько овладела мною, что я бросился к ногам отца, умоляя его отдать мне в жены Инезилью.

Отец, благодушно улыбаясь, поднял меня и сказал:

— Запрещаю тебе, сын мой, думать об этом браке — и это по трем достаточно веским причинам: во-первых, не подобает, чтобы ты стал своим собственным отцом; во-вторых, священные законы церкви запрещают такие браки; и, в-третьих, — я не хочу, чтобы ты женился на Инезилье.

Изложив мне эти три причины, отец отвернулся от меня и ушел. А я заперся в своей комнате и предался страшнейшему отчаянию. Мачеха моя, узнав о том, что произошло, заглянула ко мне и стала уверять меня, что напрасно я так убиваюсь, ибо, хотя я не могу быть мужем Инезильи, это не беда, ничто не мешает тому, чтобы я стал ее кортехо, то есть возлюбленным, и что она все это берет на себя. При этом она, однако, много говорила о любви и о жертве, на которую идет, уступая сестре своей первенство. Я с наслаждением выслушал эти слова, льстящие моему чувству, однако, зная скромность Инезильи, нисколько не надеялся на то, что мои упования когда-нибудь осуществятся.

Вскоре отец мой отправился в Мадрид, ибо он хотел добиться должности коррехидора² Кордовы, и захватил с собой жену и свояченицу. Поездка эта должна была продлиться всего лишь два месяца, но для меня,

который не мог прожить и дня, не видя Инезили, время это казалось неслыханно долгим. На исходе второго месяца я получил от отца письмо, в котором он приказывал мне выехать ему навстречу и ожидать его в Вента Кемада, у подножья Сьерра-Морены. Несколько недель назад у меня не хватило бы смелости отправиться в Сьерру-Морену, но как раз незадолго перед тем повесили обоих братьев Зото, шайка распалась, и никто уже не вспоминал ни о каких опасностях.

Итак, около десяти утра я выехал из Кордовы и прибыл на ночлег в Андухар, к самому болтливому во всей Андалузии трактирщику. Я приказал приготовить себе обильный ужин и, съев половину, другую сохранил на остаток пути.

Наутро я подкрепился остатками этого ужина в Лос Алькорнокес и к вечеру прибыл в Вента Кемада. Я еще не застал там отца, но, так как он настоятельно приказал мне дожидаться его, согласился на это тем охотней, что нашел трактир просторным и удобным. Трактирщик, некий Гонсалес из Мурсии, добрый человек, хотя и великий пустобрех, обещал мне приготовить ужин, достойный гранда первого класса³. Пока он стряпал, я отправился прогуляться по берегу Гвадалквивира, а возвратившись, и в самом деле нашел, что ужин весьма недурен.

Подкрепившись, я приказал Гонсалесу постлать мне. Он смутился и пробормотал несколько вздорных слов. В конце концов, он признал, что в трактире поселились духи. Сам он, вместе с семейством, отправлялся спать в соседнюю деревню, расположенную на берегу реки; и прибавил, что если я хочу провести ночь спокойно, то он постелет мне рядом с собой.

Предложение трактирщика показалось мне полнейшим вздором, и я ответил ему, что пусть он отправляется спать куда хочет, а мне пусть позовет моих слуг. Гонсалес не противился; он отошел, качая головой и пожимая плечами.

Вскоре явились мои слуги; они слышали уже о предостережениях трактирщика и хотели уговорить меня провести ночь в ближайшем селе. Я отверг их советы и приказал им приготовить мне постель в той самой комнате, где я ужинал. Не противореча, хотя и неохотно, они выполнили поручение и, когда постель была уже готова, вновь со слезами начали умолять меня, чтобы я отказался от мысли провести ночь в трактире. Терпение мое лопнуло. Я разгневался и приказал им убираться вон. Я легко обошелся без их помощи, ибо имел обыкновение раздеваться сам, но убедился, что они заботились обо мне больше, чем я того заслуживал своим поведением: они оставили рядом с моей постелью зажженную свечу и вторую — про запас, а также пару пистолетов и несколько книг. Эти последние должны были заполнить мне часы бодрствования, да я и впрямь потерял уже охоту спать.

Несколько часов еще я провел, то читая, то ворочаясь на постели, как вдруг услышал звук колокола, или, скорее, часов, бьющих полночь. Я уди-

вился, тем более, что до этого не слышал боя. Внезапно двери открылись, и я увидел свою мачеху в легчайшем дезабилье, со свечой в руке. Она приблизилась ко мне на цыпочках, жестом приказала молчать, поставила свечу на столик, уселась рядом со мной, взяла мою руку в свои и начала с таких слов:

— Милый Пачеко, настал миг, когда я могу исполнить данное тебе обещание. Час назад мы прибыли в этот трактир. Твой отец отправился на ночлег в деревню, но я, узнав, что ты здесь, получила позволение остаться с моей сестрой. Инезилия ждет тебя! Ни в чем тебе не откажет, но помни об условиях твоего счастья. Ты любишь Инезилию, а я люблю тебя. Из нас троих двое не должны наслаждаться счастьем за счет третьего. Я хочу, чтобы мы все спали в одной постели. Иди за мной.

Мачеха моя не дала мне времени на ответ; взяла меня за руку и повела через множество коридоров к последним дверям и там припала к замочной скважине. Достаточно наглядевшись, сказала:

— Все идет хорошо, убедись сам.

И в самом деле, я увидел прелестную Инезилию, она раскинулась на великолепном ложе, но от привычной скромности в ней не осталось ничего: щеки пылали, весь облик ее не оставлял сомнений в том, что она нетерпеливо ожидает прихода возлюбленного.

Камилла, позволив мне наглядеться, сказала:

— Останься тут, милый Пачеко; скоро наступит миг, когда я приду к тебе.

Когда она вошла в комнату, я вновь прильнул к замочной скважине и увидел тысячу вещей, которые мне нелегко описать. Камилла неторопливо разделась и, улегшись в постель своей сестры, сказала ей:

— Несчастная Инезилия, неужели ты и вправду жаждешь любовника? Бедное дитя! Ведь ты ничего не знаешь о боли, которую он тебе причинит. Бросится на тебя, прижмет, изранит...

Решив, что она уже достаточно поучила свою воспитанницу, Камилла открыла двери, подвела меня к ложу своей сестры и легла вместе с нами. Что мне сказать об этой злосчастной ночи? Я достиг вершин греха и наслаждения. Долго боролся с сонливостью и естественной усталостью, чтобы как можно более продлить адские утехы. В конце концов я заснул, а наутро пробудился под виселицей братьев Зото — я лежал между их трупами.

Тут отшельник прервал бесноватого и сказал, обращаясь ко мне:

— Что же, однако, ты, сын мой, думаешь обо всем этом? Полагаю, что ты испытал бы неслыханную тревогу, если бы вдруг оказался между двумя висельниками.

— Ты оскорбляешь меня, отец мой, — возразил я, — дворянин ничего не должен бояться, в особенности когда он имеет честь быть капитаном валлонской гвардии.

— Однако, сын мой, — прервал меня пустынный, — разве ты слышал, чтобы с кем-нибудь приключилось нечто подобное?

Минуту поразмыслив, я возразил:

— Если такая история случилась с сеньором Пачеко, она могла бы очень легко случиться и с любимым другим человеком. Но я скорее выскажу свое мнение, если ты прикажешь ему говорить дальше.

Отшельник обратился к бесноватому и сказал:

— Пачеко! Пачеко! Во имя искупителя твоего, приказываю тебе говорить дальше.

Пачеко отвратительно зарычал и так продолжал свой рассказ:

— Полумертвый от ужаса, я убежал из-под виселицы. Влачил, сам не помня, куда, пока наконец не встретил путников, которые сжалились надо мной и проводили меня в Вента Кемада. Я застал там трактирщика и моих слуг, пребывающих в большом беспокойстве из-за меня. Я спросил их, действительно ли мой отец провел ночь в ближнем селении. Они ответили, что никто из моей семьи до сих пор не прибыл.

Я не мог больше оставаться в Вента Кемада и вернулся в Андухар. Добрался туда я уже после захода солнца; в трактире было полно народу, и меня послали на кухню. Я расположился на ночь, но тщетно силился уснуть; ужасы минувшей ночи непрерывно возникали в моем мозгу. Близ очага я поставил зажженную свечу, но она вдруг погасла, и я почувствовал, как смертельный ужас леденит кровь в моих жилах. Кто-то потянул за одеяло, и вдруг услышал тихий голос, произносящий такие слова:

— Это я, Камилла, твоя мачеха; я вся дрожу от холода. Милый Пачеко, уступи мне местечко под одеялом.

Миг спустя другой голос прервал:

— Это я, Инезилья, позволь мне прилечь на твою постель. И мне тоже холодно.

И вдруг я ощутил, как холодная рука треплет меня по подбородку. Я собрал все силы и воскликнул:

— Изыди, сатана!

На что оба голоса вновь тихо отвечали:

— Как? Ты гонишь нас? Разве ты нам не муж? Нам холодно, мы разведем огонь в печи.

И в самом деле, вскоре потом слабое пламя вспыхнуло в кухонном очаге. Когда немного рассвело, я увидел не Камиллу и Инезилью, а двоих братьев Зога, висящих над самым очагом.

При этом ужасном зрелище я едва не лишился чувств; вскочил с постели, выбросился в окно и побежал в поле. Вскоре я счел, что мне повезло и я счастливо избежал всех этих ужасов, но, обернувшись, заметил, что висельники гонятся за мной. Я помчался что есть мочи и вскоре оставил упырей далеко позади. Но радость моя была, увы, недолгой.

Гнусные создания стали вращаться колесом на руках и ногах и мгновенно настигли меня. Я снова пробовал убежать, но в конце концов лишился сил.

Тогда я почувствовал, что один из висельников хватает меня за щиколотку левой ноги; я хотел вырваться, но другой стал мне поперек дороги. Остановился, вытаращил на меня гнусные глазищи и высунул язык, красный, будто железо, выхваченное из огня. Я умолял смилостивиться надо мной, но тщетно. Одной рукой он схватил меня за горло, другой же вырвал мне глаз, место это и доселе не заживает. Туда, где был глаз, он всунул свой раскаленный язык и начал лизать мне мозг с такой яростью, что я рычал от боли.

Тогда другой висельник, который схватил меня за левую ногу, также пустил в ход когти. Сперва он начал мне щекотать ногу, за которую держал меня; затем сей гнусный обитатель преисподней содрал кожу с моей ноги, вытащил все нервы, очистил их от крови и играл на них, перебирая пальцами, как на музыкальном инструменте. Видя, однако, что все это вовсе не издает приятных звуков, висельник запустил мне когти под колено, зацепил жилы и начал их настраивать, совершенно так же, как если бы имел дело с арфой. Потом он стал играть на моей ноге, из коей соорудил нечто, напоминающее гусли. Я слышал его дьявольский смех, адский вой сливался с моими пронзительными криками, в ушах моих звучал зубовой скрежет проклятых висельников; мне казалось, что они раздирают все фибры моего тела, и, наконец, я лишился чувств.

Наутро пастухи нашли меня в поле и принесли в эту хижину. Здесь я исповедался в грехах и у подножья алтаря обрел известное утешение в страданиях своих.

После этих слов бесноватый отвратительно зарычал и смолк. А отшельник промолвил:

— Ты убедился вновь в могуществе сатаны, итак, молись и плачь. Но уже поздно, нам следует расстаться. Я не предлагаю тебе на ночь моей кельи, ибо вопли Пачеко не дали бы тебе уснуть. Иди, ложись в часовне, там под сенью креста ты найдешь защиту от злых духов.

Я отвечал отшельнику, что буду спать там, где ему будет угодно. Мы внесли в часовню узенькую походную койку, и отшельник ушел, пожелав мне спокойной ночи.

Оставшись один, я начал вспоминать рассказ Пачеко.



День третий

Я проснулся от голоса отшельника, который, казалось, был необычайно обрадован, что видит меня здоровым и веселым. Он обнял меня со слезами на глазах и сказал:

— Сын мой, удивительные вещи творились этой ночью. Скажи правду, провел ли ты ночь в Вента Кемада и не имел ли ты там дела с осужденными на вечные муки? Еще можно преградить дорогу злу. Пади на колени у подножья алтаря, признайся в твоих прегрешениях и покайся.

Он уговаривал меня так довольно долго, после чего смолк, ожидая моего ответа.

— Отец мой, — сказал я ему, — я исповедовался перед самым выездом из Кадиса и не думаю, что с того времени я совершил какой-либо смертный грех, разве что во сне. Я и в самом деле ночевал в Вента Кемада, но если там что и видел, то у меня есть свои причины, по которым я не хочу об этом вспоминать.

Отшельник, казалось, чрезвычайно удивился этому моему ответу; он упрекнул меня в том, что я дал сатанинской гордыне совратить себя, и настоятельно стал убеждать меня в том, что мне необходимо исповедаться. Однако вскоре, видя, что я непреклонен в своем решении, он смягчился и уже не прежним апостольским тоном, а совершенно по-дружески молвил:

— Сын мой, меня удивляет твоя отвага. Расскажи мне, кто ты такой, кто воспитал тебя и веришь ли ты в привидения. Утоли, прошу тебя, мое любопытство.

— Отец мой, — ответил я, — ты делаешь мне честь, желая ближе познакомиться со мной, и будь уверен, что я умею это ценить. Разреши мне встать, и тогда я приду в твою хижину и расскажу тебе все подробности обо мне, все, что ты только пожелаешь.

Отшельник вновь обнял меня и ушел.

Одевшись, я прошел в его скромную обитель. Старец варил козье молоко; он подал его мне вместе с сахаром и хлебом, а сам удовольствовался несколькими вареными кореньями. Закончив трапезу, отшельник обратился к бесноватому и сказал:

— Пачеко! Пачеко! Во имя искупителя твоего, приказываю тебе отправиться с козами в горы.

Пачеко ужасающе зарычал и вскоре ушел.

Тогда-то я и начал следующим образом рассказывать о своих приключениях:



История Альфонса ван Вордена

Я отпрыск древнего рода, который, однако, не очень изобиловал прославленными мужами и еще менее изобиловал доходами. Все наше имение составлял рыцарский лен, называвшийся Ворден, входивший в состав Бургундского округа¹ и расположенный в Арденнах.

Отец мой, будучи младшим в семье, вынужден был удовольствоваться малой частью наследства, которой ему, однако, хватало для достойного прокормления и экипировки в бытность его на военной службе. Он служил всю войну за наследство², а по заключении мира король Филипп V удостоил его звания подполковника валлонской гвардии.

В испанском войске тех времен обязательным был кодекс чести, продуманный и расписанный с необыкновенной тщательностью, которую отец мой считал еще недостаточной. Не следует вменять ему это в вину, ибо и вправду сказать — честь должна быть душою воинской жизни. В Мадриде не происходило ни одной дуэли, чтобы мой отец не составлял ее условий, и когда он заявлял, что сатисфакция была достаточной, никто уже не смел сопротивляться этому приговору. Если же, однако, бывало и так, что кто-нибудь был не вполне удовлетворен, то ему приходилось иметь дело с моим отцом, который острием шпаги поддерживал и подкреплял каждую свою фразу. Кроме того, отец мой вел большую книгу, в которую с величайшими подробностями записывал историю каждого поединка и обыкновенно в чрезвычайных случаях прибегал к ее советам.

Вечно занятый только своим кровавым трибуналом, отец мой несколько не внимал соблазнам любви; и однако, наконец, его сердце тронули прелести еще совсем юной девушки, Ураки Гомелес, дочери оидора³ Гранады, потомка древних королей этого края. Общие друзья вскоре сблизили обе стороны, и брак был заключен.

Отец мой решил пригласить на свадьбу всех тех, с которыми когда-либо дрался на дуэли и которых, само собой разумеется, не убил. Сто двадцать два человека уселись за стол; тринадцати не было в Мадриде, а о местопребывании еще тридцати трех, с которыми он дрался в армии, он не смог получить никаких сведений. Мать рассказывала мне, что никогда она не видела такого веселого пира, пира, на котором царил стол

полная искренность. Я легко поверил этому, ибо у отца было превосходное сердце и он был всеми любим.

Со своей стороны, отец мой, сильно привязанный к Испании, никогда не покинул бы службы, если бы спустя два месяца после заключения брака не получил письма, подписанного мэром города Буйон. Ему сообщали, что его брат скончался, не оставив потомства, и все состояние перешло к моему отцу. Весть эта необычайно смутила моего родителя, и мать говорила мне, что он впал в такое отчаяние, что с ним нельзя было и слова сказать. Наконец он раскрыл книгу дуэлей, отыскал двенадцать человек, у которых было наибольшее число поединков во всем Мадриде, пригласил их к себе и обратился к ним с такими словами:

— Дорогие мои товарищи по оружию, вы знаете, сколько раз я успокаивал вашу совесть, когда честь ваша была под угрозой. Ныне я сам вынужден прибегнуть к свету вашего разума, ибо я страшусь, что мой собственный не был бы достаточно ясным, а скорее, что чувство привязанности могло бы мне стать помехой. Вот письмо от буйонского мэра, свидетельство коего заслуживает уважения, хотя этот чиновник отнюдь не дворянин. Скажите мне, приказывает ли мне честь поселиться в замке моих предков или по-прежнему служить королю Дону Филиппу, который осыпал меня благодеяниями и в последнее время присвоил мне даже чин бригадного генерала. Оставляю письмо на столе и сам уйду; через полчаса я вернусь к вам и узнаю о вашем решении.

Говоря это, отец мой вышел из комнаты. Когда он вернулся спустя полчаса, началось голосование. Пять голосов было за то, чтобы он остался служить, но семь — за то, чтобы он перебрался в Арденнские горы. Отец мой безропотно поступил так, как решило большинство.

Мать моя охотно бы осталась в Испании, но она столь пламенно любила своего мужа, что без малейшего сожаления согласилась покинуть отечество. С тех пор они занимались только приготовлениями к предстоящим странствиям и приемом на службу лиц, которые могли бы напоминать им Испанию среди Арденнских гор. Хотя меня тогда еще не было на свете, однако отец, нисколько не сомневаясь в неминувости моего появления на свет, подумал, что самое время подыскать для меня учителя фехтования. С этой целью он обратился к Гарсиасу Иерро, самому ловкому во всем Мадриде фехтмейстеру. Этот молодой человек, которому наскучили тумачи, каковые он каждодневно собирал на Пласа де ла Себада, охотно согласился принять предложенные ему условия. С другой стороны, моя мать, не желая пускаться в путешествие без исповедника, выбрала Иньиго Велеса, богослова, дипломированного в Куэнке, который должен был обучать меня принципам католической религии и испанскому языку. Все эти распоряжения были сделаны за полтора года до моего появления на свет.

Так как все уже было готово к отъезду, отец мой отправился проститься с королем и, согласно обычаю, принятому при испанском дворе,

упал на одно колено, чтобы поцеловать ему руку, но внезапно печаль так сжала ему сердце, что он лишился чувств и его отнесли без сознания домой. Наутро он пошел проститься с доном Фернандо ле Лара, который был тогда первым министром. Дон Фернандо принял его весьма ласково и уведомил его, что король назначает ему двенадцать тысяч реалов пожизненной пенсии вместе со званием *серхенто хенераль*, которое соответствует нынешнему дивизионному генералу. Мой отец половину собственной крови отдал бы за счастье броситься еще раз к стопам монарха, однако, поскольку он уже получил прощальную аудиенцию, то вынужден был на сей раз ограничиться письменным выражением горячего чувства признательности, которое переполняло все его существо. Наконец, не без горьких слез он покинул Мадрид. Выбрал дорогу через Каталонию, чтобы еще раз увидеть поля, на которых он дал столько доказательств мужества, и проститься с некоторыми давними товарищами, которые командовали военными частями, расквартированными на границе. Оттуда через Перпиньян он прибыл во Францию.

Все путешествие вплоть до самого Лиона протекало без всяких приключений. Из Лиона мы выехали на перекладных, и нашу карету обогнал экипаж с гораздо меньшей поклажей, который первым прибыл на станцию. Вскоре отец мой тоже подъехал к зданию почты, где увидел, что кучер, который его опередил, уже меняет лошадей. Отец тотчас же взял шпагу и, приблизившись к путешественнику, попросил уделить ему минутку, чтобы поговорить с глазу на глаз. Путешественник, некий французский полковник, видя моего отца в генеральском мундире, чтобы не проявить к нему неуважения, тоже взял шпагу. Они оба вошли в трактир, расположенный против почты, и попросили предоставить им отдельную комнату. Когда они остались наедине, отец мой обратился к путешественнику с такими словами:

— Сеньор кавалер, твой экипаж опередил мою карету, стремясь непременно первым подъехать к почте. Поступок этот, хотя он сам по себе и не является оскорблением, чем-то, однако, для меня неприятен, из чего и следует, что ты, сеньор, должен мне дать объяснение своего поступка.

Полковник, сильно удивленный, свалил всю вину на почтальона и заверил, что во всяком случае ни во что не вмешивался.

— Сеньор кавалер, — прервал его мой отец, — я не считаю этого, впрочем, делом чрезмерной важности и поэтому останавлиюсь на первой крови.

С этими словами он обнажил шпагу.

— Сеньор, погодите мгновение, — сказал француз, — я полагаю, что это вовсе не мои почтальоны опередили ваших, а, напротив, ваши еле тащились и поэтому остались сзади.

Мой отец немного подумал и сказал полковнику:

— Мне кажется, что вы, сеньор, правы, и если бы вы раньше сделали мне это замечание, то есть прежде, чем я обнажил шпагу, без сомнения,

все обошлось бы без поединка; но теперь, вы сами понимаете, сеньор, что без небольшого кровопролития мы разойтись не можем.

Полковник, видимо, нашел эту причину вполне уважительной и также обнажил шпагу. Дуэль продолжалась недолго. Мой отец, почувствовав, что ранен, тут же опустил свою шпагу и стал просить у полковника прощения, что посмел его затруднить, на что тот в ответ сказал, что он всегда к его услугам, назвав место, где его можно найти в Париже, после чего сел в экипаж и уехал.

Отец мой сперва хотел пренебречь нанесенным ему ранением, но тело его было настолько покрыто прежними ранами, что этот новый удар попал в прежний шрам. Удар полковничьей шпаги вскрыл рану от выстрела из мушкета, где еще сидела пуля. Теперь свинец этот вышел на поверхность, и только после двухмесячных припарок и перевязок родители мои пустились в дальнейший путь.

Отец мой, прибыв в Париж, тотчас же поспешил навестить маркиза д'Юрфэ (так звали полковника, с которым у него была стычка). Это был один из людей, чрезвычайно уважаемых при дворе. Он принял моего отца с несказанной любезностью и обещал представить министру, а также и первейшим вельможам Франции. Мой отец поблагодарил его и попросил только представить его герцогу де Таванн, который был тогда старейшим маршалом, ибо хотел получить более точные сведения касательно суда чести⁴, о котором до сих пор имел высокое понятие и часто рассказывал о нем в Испании как о необыкновенно мудром установлении и всеми силами старался ввести его в своей стране. Маршал также был рад моему отцу и представил его кавалеру де Бельевру, первому секретарю господ маршалов и референдариев означенного трибунала.

Кавалер, часто посещая моего отца, заметил однажды у него хронику дуэлей. Это творение показалось ему настолько единственным в своем роде, что он просил разрешения ознакомиться с ним господ маршалов, которые разделяли мнение своего секретаря и послали к моему отцу с просьбой, чтобы он позволил им снять с вышеназванной хроники копию, которая на вечные времена была бы оставлена на хранение в делах трибунала чести. Эта просьба была невероятно лестной для моего отца, и он с радостью дал согласие.

Подобные знаки уважения постоянно услаждали моему отцу его пребывание в Париже, но совершенно иначе было с моей матерью. Она решила не только не учиться по-французски, но даже не слушать, когда говорят на этом языке. Исповедник ее, Иньиго Велес, все время горько высмеивал терпимость галликанской церкви⁵, а фехтмейстер Гарсиас Иерро завершал каждый разговор уверением, что французы — увальни и трусы.

Наконец, родители мои покинули Париж и после четырех дней пути прибыли в Буйион. Отец мой доказал свои права перед надлежащими

властями и вступил во владение поместьем. Дом наших предков с давних пор лишен был не только присутствия своих хозяев, но и черепиц, а посему настоятельно требовал починки; дождь лил в комнатах так же, как и на дворе, с той только разницей, что мостовая вскоре просыхала, а лужи в комнатах постоянно увеличивались. Это затопление семейного очага разбушевавшимися водами очень нравилось моему отцу, ибо напоминало ему осаду Лериды, во время которой он провел три недели, стоя по пояс в воде.

Однако, наперекор этим приятным воспоминаниям, он постарался все же поместить ложе своей молодой супруги в местечке посуше. В просторной спальне высилась громадная фламандская печь, около которой полтора десятка человек могли греться самым удобным образом. Выступающий свод этой печи создавал нечто вроде крыши, подпертой с каждой стороны двумя столбами. Итак, дымоход был забит, и под этой крышей водрузили ложе моей матери, столик и один стул, однако, так как топка была на один фут выше уровня пола, то эта печь и оказывалась как бы островом, неприступным для подступающих к нему разбушевавшихся вод.

Отец поселился в противоположном конце комнаты на двух столах, скрепленных досками, и оба ложа соединили мостками, подкрепленными посередине комнаты чем-то вроде дамбы из ящиков и дорожных сундуков. Сооружение это было завершено в первый же день нашего прибытия в замок, а ровно девять месяцев спустя явился на свет и ваш слуга покорный.

В то время, как все домашние с немалым рвением занимались приведением в порядок нашего жилища, отец мой получил письмо, которое переполнило его радостью. В этом письме маршал, герцог де Таванн, просил его рассудить первое дело чести, которое всему трибуналу казалось слишком трудным. Отец с такой радостью принял это доказательство особенного благоволения, что решил устроить по этому поводу большой бал для соседей. Но, так как у нас не было никаких соседей, то бал окончился фанданго, исполненным моим учителем фехтования и синьорой Фраской, первой горничной моей матери.

Отец мой в ответ на письмо маршала просил, чтобы ему в будущем присылались выписки из приговоров трибунала. Эта любезность была ему оказана, и с тех пор в начале каждого месяца он получал огромный пакет бумаг, содержания которых хватало на домашние разговоры и пререкания в течение четырех недель, в долгие зимние вечера — у камина, а летом — на двух скамьях, пристроенных у ворот замка.

Коротая месяцы перед моим появлением на свет, отец постоянно вел с моей матерью долгие разговоры о сыне, которого ожидал, и о выборе крестного отца. Мать настаивала на том, чтобы крестным был герцог де Таванн или же маркиз д'Юрфэ, отец же, хотя также полагал,

что это было бы для нас величайшей честью, опасался, однако, как бы эти господа не решили, что они оказывают ему чрезмерно большую честь. Руководимый вполне понятной осторожностью, он наконец решил просить об этом кавалера де Бельевра, который, со своей стороны, принял приглашение с уважением и благодарностью.

В конце концов, я появился на свет. На третьем году я уже ловко владел маленьким эскадром, на шестом — стрелял из пистолета не жмурясь. Когда мне было около семи, мой крестный приехал к нам погостить. Кавалер с тех пор женился, обосновался в Турней и исполнял там должность наместника коннетаблии⁶ и референдария суда чести. Истоки этих установлений относятся ко временам божьих судов⁷, однако же чемпионов-заместителей причислили со временем к трибуналу маршалов Франции.

Мадам де Бельевр была весьма слабого здоровья, и муж вез ее с собой на воды в Спа. Оба они вскоре необычайно меня полюбили, а так как своих детей у них не было, то они упросили моего отца, чтобы он доверил им мое воспитание, которое не могло быть достаточно тщательным в нашем уединенном краю. Отец охотно согласился на их предложение, в особенности соблазненный уверениями референдария суда чести, который ему поклялся, что в доме Бельевров все с давних пор проникнуто принципами, каковые должны будут обеспечить дальнейшее мое совершенствование.

Сперва хотели, чтобы меня сопровождал Гарсиас Иерро, ибо отец мой всегда был того мнения, что благороднейший поединок — это поединок со шпагой в правой руке и с кинжалом в левой. Однако во Франции фехтование такого рода совершенно неизвестно. Поскольку же отец мой привык каждое утро меряться силами с Гарсиасом у стен замка и это развлечение сделалось необходимым для его здоровья, то он решил удерживать фехтмейстера при себе.

Намеревались также отправить со мной достопочтенного богослова Иньиго Белеса, но так как матушка моя умела говорить только по-испански, то было бы немислимым делом лишить ее исповедника, для коего этот язык был родным. Итак, я оказался разлученным с двумя людьми, которым еще до моего рождения было предназначено стать моими наставниками. Впрочем, мне дали слугу кастильца, полагая, что в его обществе я не разучусь говорить по-испански.

Я выехал с моим крестным в Спа, где мы провели два месяца, оттуда отправились в Голландию и, наконец, ближе к зиме возвратились в Турней. Кавалер де Бельевр превосходно оправдал доверие, оказанное ему моим отцом, и в течение шести лет не щадил никаких усилий, чтобы дать мне такое образование и воспитание, какое со временем позволило бы мне стать отличным военным. В конце шестого года моего пребывания в Турней госпожа де Бельевр умерла. Муж ее покинул Фландрию и переехал в Париж, я же вернулся в родительский дом.

Путешествие наше из-за дождливого времени было мучительным. Когда спустя два часа после захода солнца я подъехал к замку, то увидел всех его обитателей, собравшихся около большого камина. Отец, хотя и осчастливленный моим приездом, тем не менее скрывал свою радость, опасаясь выставить на посмеяние то, что вы, испанцы, называете *la gravedad* *, однако же матушка приняла меня со слезами на глазах. Теолог Иньиго Велес приветствовал меня благословениями, а фехтмейстер Иерро тут же подал мне эспадрон. Я ринулся на него и нанес ему несколько ударов, которые дали присутствующим понятие о моей необыкновенной ловкости. Отец мой был тончайшим знатоком фехтования: именно поэтому с этого самого мига его прежняя холодность улетучилась — он был растроган донельзя.

Был накрыт ужин, и все весело уселись за стол. После ужина все снова придвинулись к камину, и отец сказал богослову:

— Достопочтенный падре, сделай мне такую милость, принеси большую книгу с волшебными историями и прочитай нам какую-нибудь из них.

Богослов отправился в свою комнату и вскоре вернулся с огромным фолиантом, переплетенным в белый пергамент, уже пожелтевший от старости. Он наудачу раскрыл книгу и прочел следующие слова:



История Тривульцио из Равенны

Жил-был некогда в итальянском городе, прозванном Равенной, юноша по имени Тривульцио — красивый, богатый, но при всем том чрезвычайно надменный. Равеннские девицы выглядывали из окон, чтобы увидеть его, когда он проходил по улице, но ни одна из них не смогла произвести на него впечатления. Ежели, однако, случайно какая-нибудь из них и приходилась ему по вкусу, он молчал из опасения, что чувством своим окажет ей слишком большую честь. Наконец, прелести юной Нины деи Джерачи сокрушили его надменность, и Тривульцио признался ей в своей

* Достоинство (исп.).

любви. Нина на то отвечала, что он оказывает ей этим превеликую честь, но она с детства любит своего кузена Тебальда деи Джерачи и что, конечно, не перестанет любить его до самой смерти. После этой неожиданной отповеди Тривульцио вышел, являя признаки яростнейшего бешенства.

Спустя неделю, а было это в воскресенье, когда все жители Равенны устремились в собор святого Петра, Тривульцио узнал в толпе Нину, опирающуюся на плечо родича. Он завернулся в плащ и поспешил за ними.

В церкви, где нельзя было прикрывать лицо плащом, возлюбленные могли бы легко заметить, что Тривульцио следит за ними, но они настолько были заняты любовью, что даже не следили за обедней, а это, правду сказать, превеликий грех.

Тем временем Тривульцио уселся на скамье позади них, слушал их разговоры и распалял в себе ожесточение. Тут священник вступил на амвон и произнес:

— Милые братья, я оглашаю помолвку Тебальда и Нины деи Джерачи. Никто из вас не имеет ничего против их бракосочетания?

— Я против! — крикнул Тривульцио, — и в тот же миг нанес обоим возлюбленным множество ударов кинжалом.

Его пытались задержать, но он опять схватился за кинжал, выскользнул из храма, а затем покинул город и бежал в Венецию.

Тривульцио был горделив и развращен, ибо такова была его судьба, но душу имел чувствительную; угрызения совести были ему отпущением за несчастные жертвы. Он скитался из города в город и проводил жизнь в отчаянии. Спустя несколько лет родичи его замяли все дело, и он вернулся в Равенну; но это был уже не тот прежний юноша, сияющий от счастья и гордый своей красотой. Он настолько изменился, что собственная кормилица не могла его узнать.

В первый же день по возвращении Тривульцио спросил, где могила Нины. Ему сказали, что она вместе со своим возлюбленным погребена в храме святого Петра, там, где они были убиты. Тривульцио, трепеща, отправился в церковь, упал на могилу и оросил ее пламенными слезами. Несмотря на всю боль, которую несчастный убийца испытал в это мгновение, слезы принесли облегчение его сердцу; он отдал свой кошелек ризничему и получил дозволение входить в храм, когда ему только заблагорассудится. С тех пор он приходил каждый вечер, и ризничий так к нему привык, что не обращал на него ни малейшего внимания.

Однажды вечером Тривульцио, проведя предыдущую ночь без сна, задремал на могиле, а когда проснулся, нашел церковь уже запертой; он решил храбро провести ночь в месте, которое так сочеталось с его глубокой печалью. Он слушал, как бьют часы, внимал ударам, следующим один за другим, и жалел только, что каждый удар не отмечает последний миг его жизни.

Наконец пробило полночь. Двери в ризницу отворились, и Тривульцио увидел ризничего, входящего с фонарем в одной руке и с метлой — в другой. Однако это был не обычный ризничий — это был скелет; правда, у него оставалось немного кожи на лице и что-то вроде запавших глаз, но по складкам прикрывающей его епанчи было заметно, что под ней — одни голые кости.

Ужасный ризничий поставил фонарь у большого алтаря и затеплил свечи как для вечерни; затем он начал подметать в храме и смахивать пыль со скамей; он даже несколько раз прошел мимо Тривульцио, но, казалось, не замечал его. Наконец он приблизился к дверям ризницы и начал звонить в колокольчик; по этому звонку отверзлись гробовые камни, вышли умершие, окутанные саванами, и мрачными голосами затянули литанию.

И когда они так некоторое уже время распевали, один из мертвецов, облаченный в стихарь и епитрахиль, вступил на амвон и молвил:

— Милые братья, я провозглашаю помолвку Тебальда и Нины деи Джерачи. Проклятый Тривульцио, ты ничего не имеешь против этого?

Тут отец мой прервал богослова и, обращаясь ко мне, сказал:

— Сын мой, Альфонс, а ты бы испугался, если бы очутился на месте Тривульцио?

— Дорогой отец, — ответил я, — думаю, что испугался бы необычайно.

При этих словах моих отец вскочил, как будто подхваченный безумным гневом, схватил шпагу и хотел пригвоздить меня ею к стене.

— Сын, недостойный отца, никчемность твоя в немалой мере позорит полк валлонской гвардии, в который я хотел бы тебя определить!

После этих горьких упреков, внимая которым я думал, что умру со стыда, воцарилось глубокое молчание. Гарсиас первый нарушил это молчание и, обратившись к отцу моему, сказал:

— Не лучше ли было бы, ваше превосходительство, если бы вместо всего этого можно было бы убедить сына вашего превосходительства, что на свете нет ни призраков, ни упырей, ни мертвецов, которые поют литанию. Тогда бы ваш отпрыск не задрожал бы при упоминании о них.

— Сеньор Иерро, — сухо отвечал мой отец, — вы забываете, что вчера я имел честь показывать вам историю о духах, написанную собственно ручно моим прадедом.

— Я во всяком случае, — ответил Гарсиас, — не вчиню иска о подлоге прадеду вашего превосходительства.

— Как это понимать? — сказала отец, — «во всяком случае не вчиню иска о подлоге»? Или ты думаешь, что это выражение допускает возможность, что вы, каковы вы ни есть, можете вчинить иск моему прадеду?

— Ваше превосходительство, — сказал далее Гарсиас, — я знаю, что я слишком малозначительная особа, чтобы сиятельный прадед вашего сиятельства мог требовать от меня какой бы то ни было сатисфакции.

Тогда отец мой вскричал леденящим душу голосом:

— Иерро! Пусть всевышний оградит тебя от оправданий, ибо ты допускаешь возможность оскорбления!

— В таком случае, — молвил Гарсиас, — мне остается только смиренно подчиниться наказанию, которому вы, ваша милость, подвергаете меня именем вашего прадеда. Смеею только молить, чтобы, ради охраны достоинства моей профессии, это наказание было мне определено нашим исповедником, таким образом я мог бы счесть его церковным покаянием.

— Эта мысль недурна! — сказал мой отец, значительно успокоившись. — Помнится мне, я когда-то написал небольшой трактат о сатисфакциях, в случае которых поединок не мог бы состояться; я должен над этим основательнее поразмыслить.

Отец мой сперва, казалось, погрузился в размышления об этом предмете, но, переходя от одних замечаний к другим, заснул, наконец, в своем кресле. Матушка моя и богослов давно уже спали, и Гарсиас вскоре последовал их примеру.

Тогда я отправился в свою комнату, и так прошел день моего пребывания под заново обретенным родительским кровом.

На следующее утро я фехтовал с Гарсиасом, затем поскакал на охоту, а после ужина, когда все вновь уселись около камина, отец снова послал теолога за большой книгой. Преподобный Иньиго принес ее, раскрыл наобум и начал читать нижеследующее:

История Ландульфа из Феррары



В итальянском городе, прозванном Феррарой, жил некогда юноша по имени Ландульф. Это был развратник без чести и совести, наводивший ужас на всех набожных обывателей. Негодник этот пребывал всего охотней в обществе распутных женщин, знал их всех, однако ни одна из них не нравилась ему так, как Бьянка де Росси, ибо она превосходила всех

прочих своих товаров в разврате и разнузданности. Бьянка была не только распутна до мозга костей, но она еще требовала всегда, чтобы ее любовники опускались до нее, унижая себя позорными поступками. Однажды она потребовала от Ландульфа, чтобы он повел ее на ужин к своей матери и сестре. Ландульф тут же пошел к матери и сообщил ей об этом намерении так, как будто не видел в нем ничего непристойного. Бедная мать залилась слезами и заклинала сына подумать о добром имени сестры. Ландульф остался глух к этим мольбам и согласился только сохранить по возможности все в тайне, после чего пошел и ввел Бьянку в дом. Мать и сестра Ландульфа приняли негодницу гораздо лучше, нежели она того заслуживала, но Бьянка, видя их доброту, удвоила свою дерзость, начала рассуждать о непристойностях и учить сестру своего возлюбленного тому, без чего та превосходно бы обошлась. Наконец, она выставила обеих из комнаты, говоря, что она хочет остаться с Ландульфом наедине.

Наутро бесстыдница разнесла эту историю по всему городу, так что несколько дней подряд ни о чем другом и не толковали. Вскоре весть об этом случае достигла ушей Одоардо Дзампи, брата матери Ландульфа. Одоардо вовсе не был человеком, прощающим оскорбления, он почувствовал себя обиженным за свою сестру и в тот же день приказал убить негодницу Бьянку. Когда Ландульф явился к своей любовнице, он нашел ее окровавленной и мертвой. Вскоре он узнал, что это дело его дяди и побежал, желая ему отплатить, но верные друзья, окружавшие Одоардо, подтрунивали над бессильной злостью молодого распутника.

Ландульф, не зная, на ком выместить свою ярость, кинулся к матери, чтобы отомстить ей за свое оскорбление. Бедная женщина как раз села с дочерью за ужин и, видя входящего сына, спросила, придет ли Бьянка к трапезе.

— Если бы она могла придти, — крикнул Ландульф, — и свести тебя в ад вместе с братом твоим и со всем семейством Дзампи!

Несчастливая мать упала на колени, крича:

— Великий боже, прости ему его кощунства!

В этот миг двери с грохотом распахнулись, и все увидели входящий страшный призрак, покрытый ранами от кинжала, призрак в котором, однако, нельзя было не узнать Бьянки.

Мать и сестра Ландульфа начали горячо молиться, и бог смилостивился над ними: дал им вынести это ужасное зрелище и не умереть со страху.

Привидение приблизилось медленными шагами и уселось за стол, как если бы желало ужинать вместе со всеми. Ландульф с отвагой, которую лишь самый ад мог в него вселить, подал тарелку. Призрак раскрыл такую громадную пасть, что голова его, казалось, должна была расколоться надвое, и изверг пламя; затем вытянулась черная от смолы рука,

схватила кусок, отправила его в пасть, но тут же все услышали, как кусок этот упал под стол.

Таким же образом привидение проглотило все, что было на тарелке, но все куски падали под стол. Тогда, обратив свои страшные очи на хозяина, оно сказала:

— Ландульф, так как я у тебя поужинала, я проведу ночь также с тобой. Иди со мной в постель.

Тут мой отец, прерывая исповедника, обратился ко мне и сказал:

— Сын мой, Альфонс, ты испугался бы, если бы очутился на месте Ландульфа?

— Милый отец, — ответил я, — клянусь тебе, что вовсе бы не испугался.

Этот ответ обрадовал моего отца; весь вечер он был весел и с радостью на меня поглядывал.

Так проводили мы дни, один за другим, с той разницей, что зимою усаживались у камина, а летом — на скамье у ворот замка. Шесть лет протекло в этом сладостном покое, и когда теперь я их себе припоминаю, мне кажется, что каждый год длился не более недели.

Когда мне исполнилось семнадцать, отец решил определить меня в полк валлонской гвардии и для этого написал к нескольким старым товарищам, на коих более всего рассчитывал. Эти давние друзья, почтенные и уважаемые воины, соединенными усилиями добились для меня патента на капитанское звание. Отец, получив это известие, столь глубоко был взволнован им, что опасались за его жизнь; однако вскоре он пришел в себя и с тех пор занимался только приготовлениями к моему отъезду. Он хотел, чтобы я отправился морем и, высадившись в Кадисе, прежде всего представился бы дону Энрике де Са, наместнику провинции, больше всего сделавшему для получения мною этого звания.

Когда почтовая карета въехала уже во двор замка, отец ввел меня в свою комнату и, закрыв двери за собой на засов, молвил:

— Любимый мой Альфонс, я жажду доверить тебе тайну, которую получил от отца и которую ты передашь когда-нибудь своему сыну, ежели сочтешь его достойным.

Я был убежден, что тайна касалась какого-нибудь скрытого клада, и посему отвечал, что всегда считал золото всего лишь средством, которое позволяет помогать несчастным.

— Ты ошибаешься, любимый Альфонс, — возразил мне мой отец, — тут речь вовсе не идет ни о золоте, ни о серебре. Я жажду научить тебя не известному тебе доселе выпаду, с помощью которого, отражая нападения и обезопасив себя от выпада сбоку, ты всегда сумеешь выбить оружие из рук противника.

Говоря это, он взял эскадроны и научил меня этому удару, благословил на дорогу и проводил к карете. Я обнял мою матушку и миг спустя покинул родительский замок.

Я ехал сушей до самого Флиссингена, там сел на корабль и высадился в Кадисе. Дон Энрике де Са обращался со мною как с родным сыном, помог мне достойно экипироваться и дал мне двоих слуг, из которых одного звали Лопес, а другого — Москито. Из Кадиса я прибыл в Севилью, из Севильи — в Кордову и наконец — в Андухар, откуда решил отправиться через Сьерра-Морену. К несчастью, у источника в Лос Алькорнокес слуги покинули меня. Несмотря на это, я в тот же день добрался до Вента Кемада, а вчера — до твоей хижины.

— Любимый сын мой, — сказал пустынный, — история твоя сильно меня тронула, и я благодарен тебе за то, что ты согласился мне ее рассказать. Я вижу теперь, что по характеру твоего воспитания страх для тебя — чувство совершенно неведомое; но, так как ты провел ночь в Вента Кемада, опасаясь, не был ли ты там свидетелем назойливых нападений двух висельников, и страшусь, чтобы ты когда-нибудь не разделил горестную судьбу бесноватого Пачеко.

— Преподобный пастырь, — отвечал я, — я долго размышлял этой ночью над злоключениями сеньора Пачеко. Хотя в него и вселился дьявол, однако он дворянин, следовательно, я не сомневаюсь, что все сказанное им истинная правда. С другой стороны, впрочем, Иньиго Велес, исповедник нашего семейства, уверял меня, что если в давно прошедшие времена и встречались, особенно в первые века христианства, бесноватые, то теперь их уже совершенно не бывает, и его свидетельство кажется мне тем более заслуживающим внимания, что отец мой приказал мне в вопросах религии нашей слепо верить достопочтенному Велесу.

— Как же это? — возразил отшельник. — Неужели тебя не испугал страшный образ бесноватого, у которого дьяволы вырвали глаз?

— Ну и что же, отец мой, ведь сеньор Пачеко мог каким-либо иным образом приобрести это увечье. К тому же со всем, что касается подобных вещей, я всегда обращаюсь к людям, которые знают больше, нежели я. С меня достаточно, что я не страшусь никаких призраков или упырей. Однако, ежели ты хочешь ради сохранения спокойствия моей души дать мне какую-нибудь священную реликвию, клянусь носить ее с верой и уважением.

Отшельник, казалось, улыбнулся моему простодушию, после чего сказал:

— Я вижу, сын мой, что в тебе еще есть вера, но сомневаюсь, долго ли ты сможешь пребывать в ней. Те Гомелесы, от которых ты ведешь свой род по женской линии, христиане лишь с недавних пор; некоторые из них даже, кажется, в глубине души исповедуют ислам. В случае, если бы они

предложили тебе безмерные богатства, при условии перехода в их веру, как бы ты тогда поступил?

— Я не принял бы ничего, — отвечал я, — ибо полагаю, что отречение от веры или спуск флага всегда могут только опозорить.

Тут пустынный вновь как бы усмехнулся и молвил:

— С грустью замечаю, что добродетели твои зиждутся на явно превеличенном чувстве чести, и предупреждаю тебя, что теперь уже нет стольких дуэлей в Мадриде, сколько их бывало во времена твоего отца. Кроме того добродетели покоятся теперь на иных, гораздо более прочных принципах. Но не хочу тебя более задерживать, так как перед тобой еще длинная дорога, прежде чем ты окажешься в Вента дель Пеньон, или в Трактире под Скалой. Трактирщик живет там, не страшась воров, ибо он рассчитывает, что его защитит банда цыган, которая кочует в окрестностях. А послезавтра ты придешь в Вента де Карденас и тогда окажешься уже за Сьерра-Мореной. Кое-какие припасы на дорогу ты найдешь притороченными к седлу.

Сказав это, отшельник нежно обнял меня, но не дал мне никакой реликвии для сохранения спокойствия моей души. Мне не хотелось напоминать ему об этом; я сел на коня и вскоре потерял из виду приют анахорета.

В дороге я размышлял об удивительнейших словах отшельника, ибо никак не мог уразуметь, каким образом добродетель может опираться на более прочные основания, нежели чувство чести, каковое само по себе объемлет все добродетели, какие только существуют.

Я как раз размышлял обо всех этих странностях, как вдруг некий всадник показался из-за скалы, преградил мне путь и сказал:

— Сеньор, не ты ли Альфонс ван Ворден?

Я ответил, что это я.

— В таком случае я арестую тебя именем короля и святейшей инквизиции; благоволи отдать мне шпагу.

Я молча исполнил его требование, после чего всадник свистнул, и его со всех сторон окружили вооруженные люди. Они бросились на меня, связали мне руки за спиной, пустились окольными путями в горы, и после часа езды я увидел перед собой укрепленный замок. Разводной мост был опущен, и мы въехали во двор. Когда мы оказались возле угловой башни замка, меня через боковую дверь втолкнули в узилище, нимало не заботясь хотя бы развязать мои весьма стеснительные путы.

Камера была совершенно темная; руки я вытянуть не мог. Боясь, что я тут же ударюсь головой о стену, я уселся там, где меня поставили, и — как легко можно понять — предался размышлениям о причинах столь жестокого со мной обращения. Я сразу подумал, что инквизиция схватила Эмину и Зибельду и что мавританки рассказали все, что творилось в Вента Кемада. В таком случае, несомненно, у меня станут выпы-

тывать все, что мне известно о прекрасных африканках. Итак, передо мной два пути: либо предать моих кузин и нарушить данное им слово чести, либо отречься от знакомства с ними; поддерживая эту вторую версию, я увяз бы в трясине бессовестной лжи. Поразмыслив, я решил хранить глубочайшее молчание и на все вопросы не отвечать ни слова.

Засим, устранив всяческие сомнения, я начал размышлять о событиях двух прошедших дней. Я был твердо убежден, что имел дело с женщинами из плоти и крови, — некое таинственное чувство, более могущественное, нежели какие бы то ни было соображения и предположения о могуществе злых духов, утверждало меня в этом мнении; однако меня оскорбляло гнусное деяние, жертвой которого я стал: пришло же каким-то озорникам в голову перенести меня к подножью виселицы!

Так проходили часы. Голод стал терзать меня; зная, что в тюрьмах никогда нет недостатка в хлебе и кувшинах с водой, я стал шарить ногами — не найдется ли чем подкрепиться. И, в самом деле, вскоре я нащупал некий ком, который и впрямь оказался хлебом. Дело было только в том, каким образом поднести его ко рту. Я лег рядом с хлебом, желая ухватить его зубами, но с каждым разом он откатывался от меня из-за отсутствия опоры; наконец, я прижал его к стене и, найдя, что хлеб надрезан, сумел надкусить его. Засим я нащупал кувшин, но опять-таки никаким способом не мог наклонить его ко рту; в самом деле, как только я чуть смачивал губы, вся вода тут же проливалась наземь. Продолжая поиски, я нашел в углу охапку соломы и улегся на ней. Руки мне связали столь искусно, что я не испытывал ни малейшей боли и вскоре заснул.

День четвертый

Мне казалось, что я проспал уже несколько часов, когда вдруг меня разбудили. Я увидел входящего доминиканца, а за ним несколько человек чрезвычайно отталкивающей наружности. Одни из них несли факелы, другие — известные мне орудия, предназначенные, наверное, для пыток.

Я вспомнил о моем решении и вознамерился ни на волос от него не отступать. Потом я освежил в памяти родительские советы; правда, отца моего никогда не подвергали пыткам, но я знал, что во время бесчисленных и сугубо болезненных хирургических операций, которые ему пришлось перенести, он никогда даже не крикнул.

— Я буду ему подражать, — сказал я себе, — не вымолвлю ни слова и даже стона не издам!

Инквизитор приказал принести себе кресло, уселся рядом со мной и с необычайной кротостью и елейностью во взоре обратился ко мне с такими словами:

— Дорогой, любимый сын, возблагодари небо, что оно привело тебя в эту темницу. Но какой ты подал для этого повод? Какой грех совершил? Исповедуйся в слезах и покорно ищи утешения на моей груди. Все молчишь? Увы, сын мой, дурно, очень дурно ты поступаешь. Мы, согласно нашей системе, оставляем виновному свободу обвинять самого себя. Такое признание, пусть и несколько вынужденное, имеет, впрочем, свою хорошую сторону, в особенности когда виновный склонен назвать соучастников. Ты все еще упорствуешь в заpiresательстве? Тем хуже для тебя; вижу, что вынужден буду сам наставить тебя на путь истинный. Знаешь ли ты двух африканских принцесс или, скорее, двух гнусных волшебниц, отвратительных ведьм, воплощенных дьяволиц? Не говоришь ни слова? Ну так пусть введут этих двух инфант Люциферова двора.

Тут ввели обоих моих кузин, у которых, как и у меня, руки были связаны за спиной, после чего инквизитор продолжал свою речь следующим образом:

— Ну, что же, любимый сын мой, признаешься? Все молчишь? Дорогой сын, пусть тебя отнюдь не устроит то, что я тебе скажу. Тебе причинят небольшую боль; видишь эти две доски? Ноги твои поместят между этими досками и веревками скрутят их, потом забьют тебе молотом меж колен вот эти клинья. Сначала ноги у тебя распухнут, потом кровь потечет у тебя из больших пальцев, а с других сойдут ногти; стопы у тебя растрескаются и вытечет жир, смешанный с растерзанным мясом. Это причинит тебе уже большую боль. Все еще ничего не отвечаешь? Ты прав, это все пока только подготовительные муки. Несмотря на это, ты, однако, лишишься чувств, но вскоре с помощью этих вот солей и спиртов тебя

приведут в чувство. Тогда вынут эти клинья и забьют вот эти, другие, побольше. После первого удара тебе разmozжат колени и кости, после второго — ноги у тебя лопнут вдоль, выступит сало и вместе с кровью окропит эту солому. Ты упорствуешь? Ну, хорошо, пускай ему стиснут пальцы!

После этих слов палачи схватили меня за ноги и положили между двумя досками.

— Не хочешь говорить? Вгоните клинья! Молчишь? Занесите молоты!

В этот миг послышались беспорядочные ружейные выстрелы.

Эмина крикнула:

— О, пророк! Мы спасены! Зото пришел нам на помощь.

Зото вошел со своей свитой, выкинул за двери палачей и приковал инквизитора к железному кольцу, вбитому в стену темницы. Затем он освободил от уз меня и двух мавританок. Как только девушки почувствовали, что руки их свободны, они тут же бросились мне на шею. Нас разлучили. Зото приказал мне сесть на коня и ехать вперед, уверяя, что скоро с женщинами поспешит вслед за мной.

Передовой отряд, с которым я пустился в путь, состоял из четырех всадников. На рассвете в пустынной местности мы сменили лошадей; потом мы долго карабкались по вершинам и склонам крутых гор.

Около четверти часа пополудни мы добрались до скалистого грота, где намеревались провести ночь. Я радовался, что солнце еще не зашло, потому что вид был великолепный и поразительный, в особенности для меня, ибо я доселе видел лишь Арденны да Зеландию. У ног моих простиралась очаровательная Вега де Гранада, которую жители этого края горделиво именуют *la Nuestra Vegilla* *. Я видел ее всю, все ее шесть городов и сорок селений, извилистое русло Хениля; потоки, с грохотом ниспадающие с вершин Альпухары; тенистые рощи, беседки, дома, сады и бесчисленное множество хуторов и усадеб. Захваченный этим чарующим зрелищем, этой прелестной картиной изобилия и многообразия, я все свои чувства сосредоточил в зрении. Во мне пробудился любитель природы, я совсем забыл о моих кузинах, которые вскоре прибыли в лектиках, влекомых лошадьми. Когда сестры уселись на подушках, разложенных в пещере, и немного отдохнули, я сказал им:

— Сударыни, я несколько не жалею о ночи, проведенной мною в Вента Кемада, но откровенно признаюсь, что событие, которым она завершилась, абсолютно не пришлось мне по вкусу.

— Обвиняй нас, Альфонс, — молвила Эмина, — лишь в приятной стороне твоих сновидений. Впрочем, на что ты сетуешь? Разве тебе не выпал случай выказать нечеловеческую отвагу?

* Наш Цветник (исп.).

— Как? — прервал я, — неужели кто-нибудь может усомниться в моей отваге? Если бы я встретил такого, я дрался бы с ним сквозь плащ или с завязанными глазами.

— Сквозь плащ, с завязанными глазами? Не знаю, что ты под этим понимаешь, — ответила Эмина. — Есть вещи, о которых я тебе еще не вправе поведать. Есть даже такие, о которых и сама до сих пор ничего не знаю. Я лишь выполняю приказы главы нашего семейства, преемника шейха Масуда, который владеет тайной Кассар-Гомелеса. Могу тебе только сказать, что ты наш близкий родич. Оидор Гранады, отец твоей матери, имел сына, который стал достойным открытия ему тайны, принял веру пророка и женился на четырех дочерях дея, правившего тогда в Тунисе. Только младшая из них имела детей — это именно и была наша мать. Вскоре после рождения Зибельды мой отец и три его жены умерли в дни морового поветрия, которое в ту пору опустошало берега Берберии. . . Но оставим пока эти предметы, о которых позднее ты сам узнаешь подробнее. Поговорим о тебе, о признательности, которой мы тебе обязаны, или, скорее, о нашем восхищении твоей отвагой. С каким равнодушием ты взирал на приготовления к пыткам! Какую нерушимую верность сохранял своему слову! Да, Альфонс, ты превзошел всех героев нашего рода, и с этих пор мы принадлежим тебе.

Зибельда, которая не мешала сестре, когда беседа шла о вещах серьезных, вступала в свои права в мгновения чувства. Я был награжден нежнейшими ласками и лестными словами и был доволен собой и другими.

Вскоре вошли негротянки, и был накрыт ужин, во время которого прислуживал сам Зото, оказывая нам знаки глубочайшего почтения.

После ужина негротянки постлали в пещере удобное ложе для моих кузин, а я отыскал себе другую пещеру и вскоре предался сну, сильнейшую потребность в котором мы испытывали.



День пятый

На рассвете караван был готов к походу. Мы сошли с гор и спустились в глубокие долины, или, скорее, в пропасти, которые, казалось, достигали недр земли. Они прорывали горную цепь в самых разнообразных направлениях, так что невозможно было понять, где мы находимся, или определить место, куда мы направляемся.

Так мы двигались в течение шести часов и, наконец, добрались до развалин покинутого города. Там Зото велел нам спешиться и, подведя меня к колодезю, сказал:

— Сеньор Альфонс, будь добр, взгляни в этот колодезь и скажи мне, что ты о нем думаешь.

Я ответил ему, что вижу воду и ничего более и полагаю, что это самый обыкновенный колодезь.

— Ошибаешься, — сказал Зото, — это вход в мой дворец.

Говоря это, он склонил голову над отверстием колодезца и издал странный крик.

После этого возгласа я увидел, как с боков колодезного сруба выдвинулись доски и поднялись на несколько футов над водой, затем некто, вооруженный до зубов, вышел из этого самого отверстия, а за ним другой. Когда эти люди выбрались из колодезного сруба, Зото сказал мне:

— Сеньор Альфонс, я имею честь представить тебе двух моих братьев — Чичо и Момо. Без сомнения, ты видел их болтающимися на некоей, хорошо знакомой тебе виселице, но это нисколько не мешает тому, что оба они пребывают в добром здравии и будут всегда служить, повинаясь твоим приказам, ибо они, так же, как и я, находятся на службе и на жаловании у великого шейха Гомелесов.

Я ответил ему, что чрезвычайно рад видеть братьев человека, который оказал мне столь важную услугу.

Поневоле нам пришлось спуститься в колодезь. Нам принесли веревочную лестницу, которой сестры-мавритуанки воспользовались гораздо ловчее и проворнее, чем я мог предположить. Я последовал за ними. Став на доски, мы обнаружили маленькую боковую дверь, в которую нужно было войти, согнувшись в три погибели. Вскоре, однако, мы увидели широкую лестницу, выдолбленную в скале и озаренную лампами. Мы долго сходили вглубь (я насчитал более двухсот ступеней) — и, в конце концов, очутились в подземелье, разделенном на множество больших и малых покоев. Все жилье для охраны от влаги было выложено изнутри пробкой. Я видел впоследствии в Чинтре, неподалеку от Лиссабона, монастырь, выдолбленный в скале, кельи которого были также выложены изнутри пробкой и который по этой причине назывался Пробковым монастырем¹. Кроме того, под-

земелье Зото отапливалось; в нем постоянно поддерживалось приятное тепло. Лошади, служащие ему для его поездок, размещены были в окрестностях — на поверхности земли, но в случае необходимости их можно было укрыть в подземелье, для этого служило широкое отверстие, выходящее в соседнюю долину. Был сооружен даже особый ворот, чтобы облегчить их подъем и спуск, хотя его и редко когда применяли.

— Все эти чудеса, — молвила Эмина, — дело рук Гомелесов. Они выдолбили пещеры в этих скалах, когда были еще владыками края, или, вернее, завершили работы, начатые язычниками, обитавшими в Альпухаре, когда Гомелесы прибыли туда. Ученые считают, что в этом самом месте некогда находились копи чистого бетийского золота², а древние предания гласят, что всей этой округой когда-нибудь вновь завладеют Гомелесы. Что ты об этом думаешь, Альфонс? Это было бы прекрасное наследство.

Мне не понравились слова Эмины, и я недвусмысленно дал ей это понять; и затем, переводя разговор, спросил, каковы ее намерения на будущее.

Эмина ответила, что после всего того, что произошло, они не могут дольше оставаться в Испании, но хотят немного отдохнуть, пока не будет приготовлен для них корабль.

Был сервирован обед, изобилующий в особенности дичью и цукатами. Три брата прислуживали нам с необычайным рвением. Я заметил моим кузинам, что едва ли можно отыскать более приветливых и предупредительных висельников. Эмина признала мою правоту и, обращаясь к Зото, сказала:

— Ты и твои братья, несомненно, должны были испытать в жизни множество необыкновенных приключений, о которых мы послушали бы с величайшим удовольствием.

Все тоже стали настаивать, и вскоре Зото уселся рядом с нами и начал свой рассказ такими словами:



История Зото

— Родился я в городе Беневенто, столице одноименного герцогства. Отец мой, которого звали Зото, так же, как и меня, был оружейником, чрезвычайно искусным. Так как, однако, оружейников в городе было трое и тем двоим больше повезло, то заработков от ремесла его еле хватало, чтобы кормить жену и троих детей, то есть меня и двух моих братьев.

Спустя три года после свадьбы моих родителей, младшая сестра моей матери вышла замуж за торговца оливковым маслом, по фамилии Лунардо, который подарил ей к свадьбе пару золотых сережек и такую же цепочку на шею. Мать, возвратившись со свадьбы, была, казалось, погружена в глубокую печаль. Муж хотел узнать у нее о причине, она долго отнекивалась, не желая говорить, в чем дело, но в конце концов призналась, что ее терзает грусть, что у нее нет таких, как у сестры, сережек и цепочки. Отец ничего на это не сказал. У него было чудесно отделанное охотничье ружье с такими же пистолетами и охотничьим ножом. Ружье, над которым мой отец корпел четыре года, давало четыре выстрела после одного заряда. Отец оценил его в триста золотых неаполитанских унций³, но, однако, вышел в город и все это оружие продал за восемьдесят унций, а затем купил сережки и цепочку и принес их жене. Мать в тот же самый день пошла похвалиться перед женой Лунардо и неслышанно утешилась тем, что ее сережки были признаны куда более красивыми и богатыми.

Спустя неделю жена Лунардо пришла навестить мою мать. На этот раз волосы у нее были заплетены в одну толстую косу, заколотую большой золотой булавкой, на конце которой была рубиновая роза. Эта роза пустила в сердце моей матери весьма ощутимые шипы. Матушка моя снова начала донимать отца и не отстала, пока отец не посулил ей купить такую самую булавку. Однако подобная булавка стоила сорок пять унций, и отец, так как у него не было таких денег, равно как и способа их приобрести, вскоре впал в грусть, в какой несколько дней назад пребывала моя мать.

Между тем однажды отца навестил тамошний браво, по имени Грилло Мональди, и принес ему пистолеты в чистку. Заметив, что отец мой мрачен, Мональди осведомился о причине, и тот ему все рассказал. Недолго поразмыслив, Мональди обратился к нему с такими словами:

— Синьор Зото, я должен тебе гораздо больше, чем ты предполагаешь. Несколько дней назад по чистой случайности обнаружили мой кинжал в теле человека, убитого на неаполитанской дороге; суд посылал этот кинжал ко всем оружейникам, и ты великодушно свидетельствовал, что в первый раз его видишь, а ведь кинжал — твоей работы, ты сам мне его продал. Признав правду, ты мог ввести меня в ненужные хлопоты. Возьми сорок пять унций, которые тебе так нужны; кроме того запомни, что с этих пор кошелек мой к твоим услугам.

Отец мой с благодарностью принял деньги и тут же пошел купить золотую булавку, украсившись которой, мать моя в тот же день навестила свою надменную сестру.

Возвратившись домой, мать не сомневалась, что синьора Лунардо вскоре покажется, украшенная какой-либо новой драгоценностью. Но у той возникло совершенно иное желание. Она захотела пойти в церковь в сопровождении наемного ливрейного лакея и поделилась этим замыслом со своим мужем. Лунардо, от природы неслыханно скупой, легко соглашался на покупку кусочка золота, которое казалось ему на голове жены в такой же безопасности, как и в его собственной шкатулке, но зато начинал упрямяться, когда у него просили об унции золота для бездельника, который неизвестно для чего битых полчаса должен будет торчать за скамьей, на коей расположится его, Лунардо, законная супруга. Однако синьора Лунардо так мучила и терзала его, что он решил, наконец, бережливости ради, сам облачиться в ливрею и последовать за женой в церковь. Синьора Лунардо сочла, что ее супруг точно так же пригоден для этого ремесла, как любой другой, и с ближайшего воскресенья решила показываться в церкви с лакеем этого нового рода. Правда, соседи посмеивались над этим маскарадом, но тетка моя приписывала это чувству неудержимой зависти.

Когда она приближалась к церкви, нищие начали галдеть во все горло на свойственном им жаргоне:

— *Mira Lunardu, che fa lu criadu de sua mugiera!* *

А так как только бедняки до известной степени простирают свою смелость, то синьора Лунардо спокойно вошла в храм, где перед ней расступались с должным уважением. Ей подали святую воду, усадили на скамью, в то время как моя мать стояла среди женщин простого звания.

Моя мать, вернувшись домой, тотчас же начала обшивать голубой кафтан отца старым желтым галуном, отпоротым от патронташа какого-то мушкетера. Отец, удивленный, спросил, зачем это, на что она рассказала ему о поступке сестры, муж которой был столь любезен и учтив, что, облачившись в ливрею, пошел вслед за ней в церковь.

* Взгляните на Лунардо, который сделался слугой собственной жены (*ит. диалект*).

Отец заверил ее, что у него никогда не хватит на это учтивости, однако в следующее воскресенье нанял за унцию золота лакея в галунах, который пошел за матерью в церковь, и синьора Лунардо снова вынуждена была уступить сестре.

В тот же самый день, сразу же после обедни, Мональди пришел к моему отцу и обратился к нему с такими словами:

— Милый мой Зото, я узнал о соперничестве в чудачествах между твоей женой и ее сестрицей. Если ты сразу этому не положишь конец, то будешь несчастным до конца дней своих. Итак, перед тобой два пути: либо хорошенько проучи свою жену, либо займись ремеслом, которое удовлетворило бы ее склонность к мотовству. Если ты выберешь первую дорогу, я жертвую тебе мою ореховую трость, которую часто применял на моей покойнице-жене. Это, правда, вовсе не один из тех ореховых прутиков, который, когда возьмешь его за оба конца, переворачивается в руках и служит для открывания родников, а порою даже и кладов, но если ты возьмешь его за один конец, а другим коснешься спины твоей супруги, то ручаюсь, что вскоре без труда излечишь ее от всех капризов. С другой стороны, если ты жаждешь удовлетворить все ее желания, я предлагаю тебе дружбу отважнейших людей во всей Италии. Сейчас они как раз добровольно пребывают в Беневенто, ибо это город пограничный⁴. Я полагаю, что ты меня понял, поразмысли на досуге и дай мне ответ.

С этими словами Мональди положил ореховый прутик на отцовский верстак и вышел.

Тем временем матушка моя после обедни пошла на корсо⁵ и к несколькими подругам, чтобы похвалиться своим лакеем. Наконец, вся сияя от счастья, она возвратилась домой, но отец принял ее совсем иначе, чем она ожидала. Он схватил ее левой рукой за плечо, правой же, взяв ореховый прутик, начал выполнять советы своего друга. Он до того ретиво принялся поучать ее, что она упала без чувств, и, видя это, мой испуганный родитель отбросил трость и стал просить у жены прощения, получил это прощение, и в семье снова воцарился мир.

Спустя несколько дней отец пошел к Мональди и, сказав ему, что ореховая тросточка не оказала воздействия, попросил о дружбе отважных товарищей, о которых тот ему говорил.

Мональди ответил ему так:

— Меня удивляет, что ты, у которого не хватает духу наказать собственную жену, думаешь, что у тебя достанет отваги, чтобы нападать из засады на путников у опушки леса. Впрочем, это вполне возможно, ибо сердце человеческое таит в себе множество противоречий. Я охотно представлю тебя моим друзьям, но прежде всего ты должен совершить по крайней мере одно убийство. Каждый вечер, окончив работу, бери длинную шпагу, заткни за пояс кинжал и, приняв бесшабашный вид, прохаживайся перед воротами храма Пресвятой Богородицы. Быть может, кому-нибудь

понадобится твоя помощь. А пока будь здоров; пусть небо благоприятствует твоим начинаниям.

Отец послушался совета Мональди и вскоре заметил, что подобные ему вояки и даже сбирь⁶ приветствуют его и понимающе на него поглядывают. После двух недель таких прогулок какой-то незнакомец в богатом платье подошел к нему и молвил:

— Вот сто унций золотом, которые я даю тебе. Через полчаса ты увидишь проходящих здесь двух молодых людей с белыми перьями на шляпах. Подойди к ним, как будто хочешь поведать им некую тайну, и скажи вполголоса: «Который из вас, синьоры, маркиз Фельтри?» Один из них ответит: «Это я». Тогда ты ударишь его кинжалом в сердце. Второй молодой человек — никчемный трус, он сразу пустится наутек. Тогда ты добьешь Фельтри. Когда все уже будет кончено, возвращайся домой как ни в чем не бывало, но ни в коем случае не старайся укрыться в церкви. Я буду уже там, у тебя.

Отец мой точно выполнил данное ему поручение и, когда вернулся домой, уже застал незнакомца, ненависти которого столь блистательно услужил.

— Синьор Зото, — сказал тот, — я очень тебе признателен за оказанную услугу. Вот еще один кошелек с сотней унций, который ты примешь, и еще один с такой же суммой, ты сунешь его в руку тому из служителей правосудия, который первым явится к тебе домой.

С этими словами незнакомец завернулся в плащ и ушел.

Вскоре начальник сборов навестил моего отца, однако, отобрав у него сто унций, предназначенных для юстиции, пригласил его к себе на дружеский ужин. Они отправились на квартиру, примыкающую к общественной тюрьме, и нашли там уже за столом надзирателя тюрьмы и исповедника заключенных. Мой отец был несколько взволнован, как это обычно бывает после первого убийства. Духовник, заметив его смущение, сказал:

— Синьор Зото, забудь свои печали. За мессу в кафедральном соборе платят по двенадцать таро⁷ за штуку. Ходят слухи, что убит маркиз Фельтри. Закажи два десятка месс за упокой его души и получишь полное отпущение грехов.

После этих слов о происшедшем уже больше не вспоминали, и ужин прошел весело.

Наутро Мональди пришел к моему родителю поздравить его со славным деянием. Отец хотел вернуть ему сорок пять унций, которые прежде у него занял, но Мональди сказал:

— Зото, ты оскорбляешь меня; если ты еще раз напомнишь мне об этих деньгах, я сочту, что ты укоряешь меня за то, что я оказался тогда слишком прижимистым. Кошелек мой к твоим услугам, и ты можешь быть уверен в моей дружбе. Не стану скрывать от тебя, что я атаман и предводитель сотоварищей, о которых тебе говорил; это все люди чести и испы-

танной порядочности. Если хочешь к ним примкнуть, скажи, что едешь в Брешию покупать стволы для мушкетов, и соединишься с нами в Капуе. Заедешь прямо в трактир «Под золотым крестом», а о прочем не тревожься.

Спустя три дня отец мой выехал и совершил экспедицию столь же славную, сколь и выгодную. Так как климат Беневенто весьма благотворен, отец, который пока еще не привык к новому ремеслу, не хотел во время сезона дождей пускаться в новые похождения. Итак, он оставался до поры, до времени в кругу семьи, на зимних квартирах, если так можно выразиться.

С тех пор каждое воскресенье лакей в галунах сопровождал мою мать в церковь, и кроме того соседки дивились ее золотым аграфам, ее черному бархатному корсажу, а также золотому кольцу для ключей.

С наступлением весны какой-то незнакомый слуга подошел к моему отцу на улице и стал просить, чтобы тот пошел с ним к городским воротам. Там он встретил дворянина преклонных лет и четырех всадников. Незнакомый дворянин сказал ему:

— Синьор Зото, вот кошелек с пятьюдесятью цехинами⁸; поспеши за мной к ближнему замку, но позволь пока завязать тебе глаза.

Отец согласился на все и после долгой езды прибыл, наконец, с незнакомцем к замку. Его провели внутрь, и с глаз у него сняли повязку. Тогда он увидел женщину в маске и с кляпом во рту привязанную к креслу.

— Синьор Зото, вот тебе еще сто цехинов; теперь будь столь любезен заколоть мою жену.

Но мой отец ответил:

— Сударь, вы заблуждаетесь, думая обо мне так. Я и в самом деле нападаю на людей из-за угла или подстерегаю их в темном лесу, как подобает человеку чести, но никогда не исполняю обязанностей палача.

Сказав это, мой отец швырнул оба кошелька к ногам мстительного супруга, который не настаивал более, приказал снова завязать ему глаза и велел слугам, чтобы они проводили его к городским воротам. Этот великодушный и благородный поступок принес отцу много чести, а вскоре другое деяние подобного же роданискало ему еще большие похвалы.

В Беневенто было два богатых и родовитых человека; одного из них звали граф Монтальто, другого — маркиз Серра. Монтальто приказал позвать моего отца и предложил ему пятьсот цехинов за убийство маркиза. Отец согласился сделать это, но просил только об отсрочке, ибо знал, что Серра всегда начеку.

Два дня спустя маркиз Серра приказал привести моего отца в уединенное место и сказал ему:

— Этот кошелек с пятьюстами цехинами будет твоим, любезный Зото, ежели ты дашь мне честное слово, что убьешь графа Монтальто.

Мой отец взял кошелек и сказал:

— Господин маркиз, даю тебе слово чести, что убью графа Монтальто, но должен признаться, что уже обещал ему убить тебя.

— Надеюсь, что ты этого не сделаешь, — сказал маркиз, смеясь.

— Прости меня, господин маркиз, — прервал мой отец, — я обязался и сдержу обещание.

Маркиз отскочил на несколько шагов и обнажил шпагу. В тот же миг отец выхватил пистолеты из-за пояса и разможил маркизу голову, после чего отправился к Монтальто и заявил ему, что его недруг погиб. Граф обнял его и отсчитал ему пятьсот цехинов. Тогда мой отец, несколько смущенный, признался ему, что маркиз перед смертью дал ему за убийство графа пятьсот цехинов. Монтальто высказал свою радость, что успел опередить врага.

— Это не имеет никакого значения, господин граф, — прервал его мой отец, — ибо я честным словом поклялся ему убить тебя.

Говоря это, он пронзил его кинжалом. Падая, граф издал ужасный крик, на который сбежались его слуги. Отец кинжалом проложил себе дорогу и бежал в горы, где нашел банду Мональди.

Все храбреды, составляющие ее, не могли найти достойных слов, чтобы выразить свой восторг столь щепетильным отношением к своему слову и столь скрупулезной верностью оному. Клянусь вам, что поступок этот до сих пор на устах у всех жителей Беневенто.

Когда Зото окончил рассказ об этом приключении своего отца, один из его братьев пришел сообщить ему, что моряки ожидают его приказа относительно приготовления корабля. Зото покинул нас, попросив разрешения отложить на завтра продолжение своей истории. Что касается меня, то все, что я до сих пор услышал, сильно меня поразило. Меня удивляло, что он постоянно восхвалял честь, приверженность слову и непогрешимую порядочность людей, которые должны были бы считать величайшей милостью, если бы их просто повесили. Злоупотребление теми выражениями, которыми он пользовался с такой самоуверенностью, привело меня в замешательство.

Заметив мою задумчивость, Эмина осведомилась о ее причине. Я отвечал ей, что история отца Зото напоминает мне то, что я два дня тому назад слышал от некоего отшельника, который придерживался мнения, что общественные добродетели основываются в наши дни на принципах гораздо более надежных, чем чувство чести.

— Дорогой Альфонс, — сказала Эмина, — уважай этого отшельника и верь всему тому, что он тебе сказал. Ты еще не раз встретишь его.

Затем обе сестры встали и вместе с негрityнками отправились к себе, то есть в ту часть подземелья, которая предназначалась для них. Они возвратились к ужину, после которого все удалились на покой.

Когда в пещере все стихло, я увидел входящую Эмину. Одной рукой она, как Психея, держала лампу, а другой вела свою младшую сестру. Моя постель была постлана таким образом, чтобы они обе могли на нее усесться. Эмина обратилась ко мне:

— Милый Альфонс, я уже говорила, что мы принадлежим тебе. Великий шейх простит нам, что мы несколько опережаем его позволение.

— Прекрасная Эмина, — ответил я, — прости меня. Если это еще одно испытание, которому вы подвергаете мою добродетель, боюсь, что я на сей раз не смогу выйти из него без ущерба для оной.

— Не страшись, — прервала прекрасная мавританка и, взяв мою руку, положила ее себе на бедро. Я ощутил под пальцами пояс, который не имел ничего общего с поясом Венеры, хотя и заставлял вспоминать о ремесле супруга этой богини. У кузин моих не было ключика от замка, во всяком случае они утверждали, что его у них нет.

Прикрывая самое средоточие, они не отказывали мне в счастье доступа к иным пределам. Зибельда вспомнила роль любовницы, которую некогда репетировала со своей сестрой. Эмина узрела во мне предмет своих тогдашних любовных восторгов и со всем пылом отдалась сладостному воображению; ее младшая сестра, проворная, живая, полная огня, награждала меня своими ласками. Мгновения наши заполняло кроме того нечто совершенно неопишное — замыслы, о коих мы только слегка намекали, и весь тот сладостный лепет, который в юные годы служит как бы интермеццо, отделяющим свежие воспоминания от упований на близкое счастье.

Наконец, сон стал смежать веки прекрасных мавританок, и они удалились к себе. Оставшись один, я подумал, что мне было бы крайне неприятно, если бы наутро я вновь проснулся под виселицей. Я рассмеялся, подумав об этом, но мысль эта все время вертелась у меня в голове, пока я не заснул.

День шестой

Зото разбудил меня, объявив, что я порядочно проспал и что обед уже приготовлен. Я наспех оделся и пошел к моим кузинам, которые ожидали меня в трапезной. Их глаза еще ласкали меня; девушки, казалось, больше были заняты воспоминаниями прошедшей ночи, чем пиром, который для них приготовили. Когда обед был закончен, Зото уселся рядом с нами и так продолжал рассказ о своих приключениях:



Продолжение истории Зото

Мне шел седьмой год, когда отец мой примкнул к банде Мональди, и я отлично помню, как мою мать, меня и двоих моих братьев отправили в тюрьму. Однако все это было только для видимости, ибо отец мой не забывал делиться своими заработками со служителями Фемиды, которые легко дали себя убедить, что мы с отцом никак не были связаны. Начальник сборов во время нашего заключения ревностно занимался нами и даже сократил нам срок пребывания в неволе.

Мать моя, выйдя на свободу, была с великим почтением встречена не только всеми своими соседками, но и всеми обитателями квартала, ибо на юге Италии разбойники — такие же народные герои, как контрабандисты в Испании. Частица всеобщего уважения пала также и на нас: в особенности меня считали принцем сорванцов на нашей улице.

Между тем Мональди погиб во время одной из вылазок, и мой отец, возглавив банду, пожелал блеснуть каким-нибудь великолепным подвигом. Он устроил засаду по дороге в Салерно, намереваясь заманить в нее конвой, охранявший транспорт денег, высланных вице-королем Сицилии¹. Предприятие увенчалось успехом, но отец мой был ранен мушкетной пулей в крестец и не мог уже больше заниматься своим ремеслом. Минута, когда он прощался с товарищами, была несказанно трогательной. Смею вас уверить, что несколько разбойников громко рыдали, чему я с тру-

дом бы поверил, если бы раз в жизни сам не плакал горько, заколов кинжалом мою любовницу, о чем я вам позднее расскажу.

Банда не могла долго просуществовать без вожака: несколько бандитов сбежало в Тоскану, где их повесили; остальные же соединились с Теста-Лунгой, который тогда начинал приобретать некоторую известность в Сицилии. Мой отец пересек пролив и отправился в Мессину, где попросил убежища у августинцев в монастыре дель Монте. Он отдал монахам награбленные деньги, публично покаялся и поселился близ паперти монастырского храма, а прогулки ему позволено было совершать по этой смиренной обители. Монахи давали ему супу, за остальными же блюдами он посылал в соседний трактир; кроме того, орденский цырюльник ухаживал за его ранами.

Полагаю, что отец должен был часто присылать нам деньги, ибо в нашем доме царило изобилие. Мать моя участвовала во всех забавах карнавала, а в великий пост устраивала нам «презепио», или «ясли» — ящик с куклами, сахарными дворцами, игрушками и тому подобными безделками, в роскоши которых жители Неаполитанского королевства вечно стараются превзойти друг друга. У тетки Лунардо тоже был такой ящик с куклами, но далеко не столь роскошный.

Матушка моя, насколько я помню, была удивительно добра, и мы частенько видели, как она плачет, думая, должно быть, об опасностях, на которые обрекает себя ее супруг; но вскоре, однако, ее слезы высохали, когда она, назло сестре или соседкам, появлялась в каком-нибудь новом наряде или с новой драгоценностью. Впрочем, радость от роскошных «яслей», которые она нам подарила, была последней радостью, испытанной ею. Не знаю отчего, она простудилась, занемогла, и воспаление легких в несколько дней свело ее в могилу.

После ее кончины мы не знали бы, как нам быть, если бы смотритель тюрьмы не взял нас к себе. Мы пробыли у него несколько дней, после чего нас отдали в опеку некоему погонщику мулов. Он провез нас через Калабрию и на четырнадцатый день привез в Мессину. Отец мой знал уже о смерти жены, он принял нас растроганно, велел постлать нам цыновки рядом со своими и представил монахам, которые приняли нас в число малолетних служек.

Итак, мы прислуживали во время обедни, обрезали фитили у свеч, зажигали лампы, а весь остаток дня бездельничали на улице, точно так же, как и в Беневенто. Похлебав супу, присланного нам монахами, и получив от отца по одному таро на каштаны и бублики, мы шли проводить время в гавани и возвращались лишь поздно ночью. Словом, на свете не было уличных мальчишек счастливее нас, но, увы, случай, о котором я и сейчас еще не могу говорить без ярости, решил всю мою судьбу.

Однажды в воскресенье, как раз перед самой вечерней, я прибежал к церкви с целой кучей каштанов, которые купил себе и братьям, и начал

одевать их любимым лакомством. В это время к церкви подкатил роскошный экипаж, запряженный шестеркой лошадей, перед которым бежала пара незапряженных лошадей той же масти — роскошество, которое мне доводилось видеть только в Сицилии. Дверцу отворили, и вперед вышел дворянин, так называемый браччьеро, подавая руку красивой даме; за ними вышел священник и, наконец, прехорошенький мальчуган моих лет, облаченный в венгерку, — это был наряд, который тогда обыкновенно носили дети богатей.

Венгерка голубого бархата, расшитая золотом и отороченная соболями, ниспадала ему ниже колен и прикрывала голенища его желтых сафьяновых сапожек. На голове у него был колпачок, также голубого бархата, опушенный соболями и украшенный султаном из жемчужин, который свисал ему на плечо. На нем был пояс из золотых шнурков и желудей, а у пояса висел маленький палаш, украшенный драгоценными камнями. Наконец, в руках у него был молитвенник в золотом переплете.

Увидя столь прекрасное платье на мальчишке моих лет, я пришел в такой восторг, что, сам не зная, что творю, приблизился к мальчугану и подарил ему два каштана, которые держал в руке; однако негодник вместо того, чтобы поблагодарить меня за любезность, изо всех сил стукнул меня молитвенником по носу. Он чуть не выбил мне заодно и левый глаз, царапина едва не разодрала мне ноздрю, и в единый миг я залился кровью. Мне кажется, что я слышал, как маленький барчук начал пронзительно визжать, но я не помню этого ясно, ибо упал в обморок. Придя в себя, я увидел, что нахожусь в монастырском саду, у колодца, окруженный отцом и братьями, которые обмывали мне лицо и старались остановить кровотечение.

Когда я, окровавленный, еще лежал так, мы увидели маленького барчука с тем дворянином, который первый вышел из кареты, — они явились вместе со священником и двумя лакеями, из коих один нес пук розог. Дворянин кратко сообщил, что принцесса де Рокка Фиорита приказала, чтобы меня выдрали до крови за то, что я решился напугать ее и ее маленького Принчипино. Лакеи тут же взялись приводить приговор в исполнение.

Отец мой, боясь, чтобы монастырь не отказал ему в убежище, сначала помалкивал, но, видя, что меня безжалостно терзают, не мог уже долее выдержать и, обращаясь к дворянину, сказал с глубоким негодованием:

— Прикажи, синьор, прекратить это мучительство или запомни, кстати, что я уже отправил на тот свет не одного из господ, что стоили десятка таких, как ты.

Дворянин почувствовал, вероятно, что слова эти весьма многозначительны, и приказал прекратить экзекуцию, но, когда я лежал еще на земле, Принчипино подбежал и ткнул мне ногой в лицо, говоря:

— Managia la tua faccia de banditu*.

Это последнее оскорбление переполнило чашу моей ярости. Могу сказать, что с этого мгновения я перестал быть ребенком, или, вернее, с тех пор уже не вкушал ни одной из радостей этого возраста и долго потом не мог хладнокровно глядеть на человека в богатом платье.

Без сомнения, мстительность именно и является первородным грехом нашего отечества, ибо, хотя мне было тогда всего лишь восемь лет, я денно и ночью думал только о том, как наказать Принчипино. Не раз я пробуждался ото сна, мечтая, что держу его за волосы и осыпаю ударами, а наяву все время обдумывал, как можно отомстить ему издалека (ибо предвидел, что мне не позволят приблизиться к нему) и, утолив свою ярость, тут же пуститься наутек. Наконец, я решил, что запущу ему в лицо камень, ведь я был очень ловок; тем временем, однако, чтобы получше набить руку, целые дни швырял камни в цель.

Однажды отец спросил меня о причине, по которой я с такой страстью предаюсь этому новому развлечению. Я отвечал, что собираюсь разбить в кровь личико Принчипино, а потом убежать и стать разбойником. Отец сделал вид, что мне нисколько не верит, однако по его улыбке я заметил, что он одобряет мое намерение. Наконец, пришло воскресенье — вождеденный день моей мести. Когда карета подъехала и я увидел выходящих из нее, я смутился, но вскоре вновь набрался храбрости. Мой маленький недруг заметил меня в толпе и показал мне язык. Я держал камень в руке, швырнул его — и Принчипино упал навзничь.

Я тут же бросился бежать и остановился лишь на другом конце города. Потом я встретил знакомого трубочиста, который спросил меня, куда я иду. Я рассказал ему все мое приключение, и он проводил меня к своему хозяину. Тому как раз нужны были мальчики; он не знал, где их искать для такого противного ремесла, и поэтому охотно меня взял. Он ручался, что никто меня не узнает, так как сажа зачернит лицо, и что лазанье по крышам и трубам есть умение порою чрезвычайно полезное. Он был прав — впоследствии я не раз бывал обязан жизнью ловкости, приобретенной в те времена.

Поначалу дым и запах сажи сильно мне докучали, но, к счастью, я был в возрасте, в котором можно привыкнуть ко всему. Уже в течение шести месяцев я занимался новым ремеслом, когда со мной приключилась следующая история.

Я был на крыше и прислушивался, из какого дымохода донесется до меня зов моего мастера, когда мне показалось, что я слышу голос в соседней трубе. Я спустился как можно быстрее, но под крышей обнаружил, что дымоход разветвляется в две противоположные стороны. Мне следовало позвать еще раз, но я не сделал этого и легкомысленно начал проле-

* Будь проклята твоя бандитская рожа (ит. диалект).

зять через первое попавшееся отверстие. Соскользнув по дымоходу, я очутился в богатой комнате и первое, что я увидел, был мой Принчипино, в сорочке, играющий в мяч.

Хотя маленький глупец наверно уже часто видел в своей жизни трубочистов, на этот раз, однако, он принял меня за дьявола. Пал на колени, молитвенно сложил руки и начал умолять, чтобы я не уносил его с собой, клянясь мне, что будет хорошим. Быть может, я дал бы себя смягчить этими обещаниями, но у меня в руке была метелка для чистки труб — соблазн применить ее был слишком силен; тем более, что хотя я уже отомстил за удар молитвенником и в известной мере за розги, но тут мне вспомнилась минута, когда Принчипино ткнул меня ногой в лицо, говоря: «*Managia la tua faccia de banditu*». А ведь когда дело касается мести, всякий неаполитанец склонен скорее передать, чем недодать.

Итак, я вырвал пук розог из метлы, разорвал сорочку Принчипино и, заголив ему спину, начал здорово его хлестать; однако, удивительное дело: мальчишка от страха даже не пискнул.

Когда я решил, что с него хватит, то отер лицо и сказал:

— *Ciucio maledetto, io no zuno lu diavolu, io zuno lu piciolu banditu delli Augustini **.

Тут к Принчипино мгновенно вернулся голос и он начал вопить, зовя на помощь. Разумеется, я не стал дожидаться, пока кто-нибудь войдет, и ускользнул той же дорогой, какой и пришел.

Я оказался на крыше, услышал еще раз голос мастера, но не счел нужным отвечать. Пустился с одной крыши на другую, добежал до крыши какой-то конюшни, перед которой стоял воз с сеном, спрыгнул на воз, с воза на землю и что было духу понесся в монастырь августинцев. Там я все рассказал отцу, который слушал меня с величайшим интересом, после чего сказал:

— *Zoto, Zoto! gia vegio che tu sarai banditu! ***

А потом, обращаясь к какому-то незнакомцу, который стоял рядом с ним, молвил:

— *Padron Lettereo, prendete lo chiutosto vui ***.*

Леттеро — это христианское имя, употребительное в Мессине. Происходит оно от некоего письма, которое Пречистая Дева якобы написала обитателям этого города, поставив на нем следующую дату: «Год 1452 от рождения моего сына». Жители Мессины чтят это письмо не меньше, чем неаполитанцы — кровь святого Януария. Я объясняю вам эту подробность, ибо полтора года спустя я возносил к Мадонне дела Леттера молитву, которая, как я полагал, будет последней в моей жизни.

* Проклятый осел, я не дьявол, я маленький разбойник из обители августинцев (ит. диалект).

** Зото, Зото! Я уже вижу, что ты станешь разбойником! (ит. диалект).

*** Падрон Леттеро, благоволиите взять его к себе (ит. диалект).

Падрон Леттерео был капитаном вооруженной пинки — плоскодонного парусного суденышка, предназначенного якобы для ловли кораллов, на самом же деле этот достойный мореход занимался контрабандой и даже разбоем, когда обстоятельства благоприятствовали этому. Правда, это не часто с ним случалось, ибо, не имея пушек, он вынужден был ограничиваться тем, что грабил корабли, севшие на мель у безлюдных побережий.

Обо всем этом отлично знали в Мессине, но Леттерео возил контрабанду для богатейших купцов города, таможенники тоже наживались на этом; с другой стороны, не было тайной, что падрон большой молодец по части поножовщины, и это его качество предостерегало тех, кто, быть может, жаждал вмешаться в его дела.

Папаша Леттерео отличался незабываемой внешностью, самый его рост и широкие плечи достаточно выделяли его в толпе, тем более, что вся его фигура настолько точно соответствовала роду его занятий, что люди пугливые не могли смотреть на него без некоторого внутреннего содрогания. Его сильно загорелое лицо еще подчеркнул заряд пушечного пороха; кроме того, он покрыл свою опаленную кожу разными удивительными рисунками.

У матросов на Средиземном море есть обычай накалывать себе на плечах и на груди цифры, кресты, кораблики и прочие тому подобные украшения. Леттерео в этом смысле превосходил всех. На одной щеке он наколол себе Мадонну, на другой — распятое, однако можно было видеть лишь верхушки этих картинок, ибо прочее закрывала густая борода, которой никогда не касалась бритва и которую только ножницы удерживали в известных границах. Прибавьте к этому огромные золотые серьги в ушах, красный колпак, пояс того же цвета, кафтан без рукавов, короткие матросские штаны, руки, голые до локтей, и ноги, обнаженные до колен, и полные карманы золота!

Ходили слухи, что смолоду он имел большой успех у женщин самого высшего круга, но теперь он был только возлюбленным женщин своего сословия и кошмаром их мужей.

Наконец, чтобы завершить портрет Леттерео, я скажу вам, что много лет назад он был в тесной дружбе с одним истинно достойным человеком, который позже приобрел широкую славу под именем капитана Пепо. Они вместе служили у мальтийских корсаров, позднее Пепо вступил в королевскую службу, Леттерео же, которому честь была менее дорога, чем деньги, решил разбогатеть любыми средствами и тут же стал заклятым врагом былого своего приятеля.

Мой отец, все занятие которого в монастыре заключалось в перевязывании ран, от которых он никогда уже не надеялся исцелиться, охотно вступал в разговоры с подобными ему рыцарями. Он завел дружбу с падроном Леттерео и надеялся, поручая меня его заботам, что старший

корсар не откажет ему. На этот раз он не ошибся. Леттерео, растрогавшись от этих знаков доверия, поклялся моему отцу, что искус мой будет менее неприятен, чем у других юнг, и уверил, что тот, кому знакомо ремесло трубочиста, за два дня с легкостью научится лазить по мачтам.

Эта перемена в моей судьбе несказанно меня осчастливила, ибо новое мое занятие казалось мне куда благороднее, чем выскребывание труб. Я обнял отца и братьев и весело отправился с падроном на его корабль. Прибыв на борт, Леттерео собрал своих двадцать матросов, фигуры которых отлично гармонировали с его собственной, представил меня этим господам и затем обратился к ним с такими словами:

— *Anime managie, quistra criadura e lu filiu de Zotu, se uno de vui a outri li mette la mano sopra, io li mangio l'anima **.

Это предостережение дало ожидаемые результаты, хотели даже, чтобы я ел вместе со всеми, но, видя, что двое других юнг прислуживали матросам и съедали остатки, я предпочел присоединиться к юнгам. Этот поступок снижал мне всеобщее благоволение. Когда же вскоре увидели, как проворно я лазаю по длинным рейкам, отовсюду раздалась возгласы изумления. На кораблях с латинскими парусами рейки выполняют функции рей, но удержаться на длинной рейке гораздо труднее, чем на рее, ибо рей всегда находятся в горизонтальном положении.

Мы распустили паруса и на третий день вошли в пролив святого Бонифация, который отделяет Сардинию от Корсики. Мы нашли там около шестидесяти барок, занятых ловом кораллов. Мы начали также ловить, или, вернее, делать вид, что ловим кораллы. Что касается меня, то я отлучно использовал это время, ибо спустя четыре дня плавал и нырял не хуже, чем самый проворный из моих товарищей.

Спустя восемь дней грегалада — название это на Средиземном море дают порывистому северо-восточному ветру — разогнала наш маленький флот. Каждый спасался, как мог. Мы бросили якорь у побережья Сардинии, на рейде святого Петра, в месте пустынном и безлюдном. Мы застали там венецианскую полякру, которая казалась сильно потрепанной бурей. Папаша Леттерео тут же начал что-то замышлять относительно этого корабля, — нашу пинку он поставил бок о бок с венецианской посудыной. Затем половину своих матросов он поместил в трюм пинки, чтобы экипаж выглядел не столь многочисленным. Эта последняя предосторожность была, впрочем, почти совершенно излишней и даже бесполезной, ибо на трехмачтовиках с латинскими парусами (как на нашей пинке) команда всегда несколько больше, чем на других судах подобного же размера.

Леттерео, постоянно наблюдая за венецианским кораблем, заметил, что экипаж его состоит из капитана, боцмана, шести матросов и одного юнга.

* Проклятые негодяи, этот малыш — сын Зото, если кто-нибудь из вас его тронет, то я ему душу вытрясу (ит. диалект).

Кроме того, он увидел, что марсель, второй снизу парус, растерзан в клочья и что его спустили для починки, ибо на купеческих кораблях обычно не бывает запасных парусов на смену. Закончив все эти наблюдения, он погрузил в шлюпку восемь ружей и столько же сабель, укрыл все это просмоленным полотном и решил дожидаться благоприятного момента.

Когда распогодилось, матросы влезли на марс-рееу, чтобы прикрепить парус, но так неловко принялись за дело, что боцману, а затем и капитану пришлось взобраться вслед за ними. Тогда Леттерео приказал спустить шлюпку на море, сел в нее потихоньку с семью матросами и с тыла зацепился за полякру.

Видя это, капитан, стоящий на рее, закричал:

— *A larga ladron! a larga!* *

Однако Леттерео взял его на мушку, грозя пристрелить каждого, кто захочет спуститься на палубу. Капитан, человек, по-видимому, не робкого десятка, пренебрегая угрозой, бросился между снастями. Леттерео убил его на лету; капитан упал в море, и больше его не видели. Матросы сдались на милость победителя. Леттерео оставил четырех своих людей, чтобы держали венецианцев на мушке, а с тремя остальными спустился в жилую часть корабля. В каюте капитана он обнаружил бочонок, такой, в котором обычно хранят оливки, но, так как бочонок был тяжелее и тщательно обит обручами, падрон рассудил, что, быть может, в нем находятся какие-нибудь более интересные предметы. Он разбил бочонок и, к своему удовольствию, увидел вместо оливок несколько мешочков с золотом. Он ограничился этой добычей и протрубил отбой. Отряд вернулся на борт своей пинки, развернул паруса, и, проходя мимо венецианского корабля, мы крикнули ограбленным с величайшим презрением:

— *Viva san Marco!* **

Спустя пять дней мы прибыли в Ливорно. Леттерео с двумя матросами тотчас же явился к неаполитанскому консулу и доложил обо всем: как произошла драка между его людьми и командой венецианской полякры и как капитан этой последней, которого случайно толкнул один из матросов, упал в море. Известная доля оливок из приснопамятного бочонка придала этому свидетельству характер непререкаемой истины.

Леттерео, который страдал непреодолимым влечением к разбою на море, без сомнения, и дальше продолжал бы заниматься своим ремеслом, если бы ему не представились в Ливорно другие возможности, которым он и отдал предпочтение. Некий еврей, которого звали Натан Леви, приметив, что папа и король Неаполитанский извлекают огромную выгоду, чеканя медную монету, также захотел извлечь из этого дела некую при-

* Прочь, разбойник! прочь! (ит. диалект).

** Да здравствует Святой Марк! (ит.).

быль. В этих целях он приказал сфабриковать значительное количество таких денег в одном английском городе, который называется Бирмингам. Когда заказанный товар был готов, еврей поселил своего фактора в Флариоле, рыбацкой деревушке, расположенной на границе обоих государств, Леттерео же обязался перевозить и выгружать этот сомнительный товар.

Торговля эта приносила нам большие доходы, и в течение всего года наш корабль, груженный римской и неаполитанской монетой, постоянно совершал одни и те же рейсы. Быть может, мы куда дольше занимались бы этим прибыльным делом, но Леттерео, у которого был явный талант к торговым предприятиям, уговорил еврея, чтобы он применил тот же способ к золотой и серебряной монете. Еврей послушался его советов и в самом Ливорно основал небольшую фабричку цехинов и скудо². Наши доходы вызвали зависть у властей предержащих. Однажды, когда Леттерео находился в Ливорно и только еще должен был уйти в море, ему донесли, что капитан Пепо получил от короля Неаполитанского приказ схватить его, Леттерео, но что этот честный капитан лишь в конце месяца сможет пуститься в море.

Это коварное донесение выдумал не кто иной, как сам Пепо, который уже целых четыре дня крейсировал близ берегов. Леттерео дал себя провести, к тому же ветер благоприятствовал ему, наш падрон решил, что сможет совершить еще один рейс, и распустил паруса. Назавтра на рассвете мы оказались посреди эскадры Пепо, состоящей из двух галиотов³ и стольких же скампавий. Пепо намеревался захватить нашу пинку. Мы были окружены отовсюду без малейшей надежды на бегство. Падрон не испугался смерти, он поднял все паруса и приказал держать курс прямо на главный галиот. Пепо, стоя на мостике, отдавал приказания, намереваясь захватить наш корабль. Леттерео схватил ружье, взял неприятеля своего на мушку и пробил ему плечо. Все это совершилось в несколько секунд.

Вскоре все четыре неприятельских корабля повернули на нас, и мы услышали со всех сторон:

— *Maina ladro! Maina can senza fedel!* *

Леттерео направил наш кораблик в наветренную сторону так, что правый борт нашей пинки скользил по поверхности моря; затем, обратившись к экипажу, завопил:

— *Anime managie, io in galera non ci vado. Pregate per me la santissima Madonna della Lettera* **.

При этих словах все мы пали на колени. Леттерео вложил в карманы два пушечных ядра; мы думали, что он хочет броситься в море, но наме-

* Сдавайся, разбойник! Сдавайся, безбожный пес! (ит. диал.).

** Проклятые мерзавцы, я не пойду на галеры. Молитесь за меня Пресвятой Богородице делла Леттера (ит. диал.).

рение злорадного разбойника было иным. На противоположной — подветренной стороне корабля была укреплена большая бочка, наполненная медью. Летерео схватил топор и перебил удерживающие ее канаты. Бочка тотчас же покатила на противоположный борт. И, поскольку корабль уже сильно накренился, он не мог выдержать этого сотрясения и перевернулся. Мы все, стоявшие на коленях, повалились на паруса, которые, когда корабль шел ко дну, пружиня, отбросили нас на пятнадцать—двадцать локтей.

Пепо вытащил всех нас из воды, кроме капитана, одного матроса и одного юнга. Как только кого-нибудь вытаскивали из воды, его тут же вязали и швыряли в трюм. Спустя четыре дня мы высадились в Мессине. Пепо предупредил чиновников, что намерен передать в их руки нескольких удальцов, заслуживающих пристального внимания. Выход наш на берег происходил не без известной помпы. Было это как раз в часы корсо, когда весь большой свет совершает прогулку по набережной. Мы шли медленным шагом; спереди и сзади нас стерегли сбиры.

В числе зрителей оказался и Принчипино. Как только он меня увидел, он тут же узнал и закричал:

— Ecco lu piciolu banditu delli Augustini! *

В тот же миг он прыгнул на меня, схватил за волосы и стал царапать лицо. Руки мои были связаны, поэтому мне трудно было защищаться. Однако я вспомнил прием, употребляемый английскими моряками в Ливорно, наклонил голову и изо всей силы ударил Принчипино в живот. Негодник упал навзничь. Вскоре, однако, он с яростью поднялся на ноги и выхватил из кармана маленький нож, которым хотел меня ранить. Чтобы избежать удара, я подставил ему ногу; он с силой грохнулся наземь и, падая, поранил себя собственным ножом. В эту самую минуту явилась принцесса и приказала лакеям, чтобы они повторили памятную монастырскую сцену, но сбиры воспротивились этому и проводили нас в тюрьму.

Суд над нашим экипажем длился недолго: всех приговорили к плетям и пожизненному заключению на галерах. Что касается юнга, который спасся, и меня, то нас по малолетству выпустили на свободу.

Как только я выбрался из тюрьмы, я побежал в августинский монастырь, но не нашел уже в нем моего отца; брат-привратник сказал мне, что он умер и что братья мои служат юнгами на каком-то испанском корабле. Я попросил разрешения поговорить с отцом-настоятелем; меня ввели к нему. Я рассказал ему о всех своих похождениях, не упуская ни подножки, ни удара головою в живот Принчипино. Его преосвященство выслушал меня с превеликой добротой, после чего изрек:

— Дитя мое, отец твой, умирая, оставил монастырю значительную сумму денег. Это было имущество, добытое дурными средствами, имуще-

* Это тот маленький разбойник из обители августинцев! (ит. диалект).

ство, на которое вы не имели никакого права. Теперь оно в руках всевышнего и должно быть употреблено на прокормление слуг его. Однако я осмелился взять из него несколько скудо для испанского капитана, который решил обеспечить судьбу твоих братьев. Что же касается тебя, мы не можем предоставить тебе убежища в нашей обители, ибо нам следует считаться с принцессой де Рокка Фиорита, нашей знатной благодетельницей. Пойдешь, дитя мое, в селение, которое принадлежит нам у подножья Этны, и там с приятностью проведешь свои детские годы.

После этих слов приор позвал послушника и дал ему соответствующие указания относительно дальнейшей моей судьбы.

Наутро мы с послушником пустились в путь. Мы прибыли в упомянутое селение, там мне дали кров, и с тех пор единственной моей обязанностью было хождение в город — я стал чем-то вроде мальчишка на побегушках. В этих маленьких путешествиях я старался по возможности избегать встречи с Принчипино. Однако в один прекрасный день он увидел меня на улице, когда я покупал каштаны, конечно, узнал и приказал своим лакеям немилосердно избить меня. Спустя некоторое время я вновь проскользнул переодетый в его комнату и, без сомнения, легко мог бы его убить, — до сих пор даже жалею, что не сделал этого; но тогда я еще не вполне освоился с поступками подобного рода и ограничился тем, что порядочно вздул его.

Несчастливая моя звезда, как видите, была причиной, что в первые годы моей юности не проходило и шести месяцев, чтобы у меня не было какой-нибудь стычки с этим проклятым Принчипино, на чьей стороне всегда была сила. Когда мне исполнилось пятнадцать, хотя по возрасту и разуму я был еще ребенком, однако что касается силы и храбрости, я был уже взрослым мужчиной; это никак не должно вас удивлять, ежели вы вспомните и рассудите, что свежий морской и горный воздух отлично содействовал моему развитию.

Мне было пятнадцать лет, когда я впервые узрел прославленного образом мыслей и отвагой Теста-Лунгу, честнейшего и благороднейшего из разбойников, когда-либо обитавших на Сицилии. Завтра, ежели вы склонны будете разрешить мне, я расскажу вам об этом человеке, память о котором вечно будет жить в моем сердце. А теперь я должен вас покинуть, распоряжения по управлению подземельем требуют с моей стороны внимания и старания, которыми мне не следует пренебрегать.

Зото ушел, и каждый из нас, соответственно своему характеру, задумался над тем, что услышал. Признаюсь, что я не мог отказать в своего рода уважении людям, столь отважным, какими были те, которых Зото живописал в своем рассказе. Эмина считала, что отвага только тогда заслуживает нашего уважения, когда употребляется на поддержание принци-

пов добродетели. Зибельда добавила, что можно было бы влюбиться в нашего шестнадцатилетнего разбойника. После ужина каждый ушел к себе, однако вскоре сестры снова пришли ко мне поболтать. Они уселись, и Эмина сказала:

— Милый Альфонс, не мог бы ты пойти для нас на одну жертву? Дело тут идет больше о тебе, чем о нас.

— Все эти иносказания не нужны, прекрасная кузина, — ответил я, — скажи мне попросту, чего ты хочешь от меня.

— Дорогой Альфонс, — прервала Эмина, — этот талисман, который ты носишь на шее и называешь частицей истинного креста, уязвляет нас и пробуждает в наших душах невольное отвращение.

— О! Что касается этого талисмана, — быстро ответил я, — не требуйте его от меня. Я поклялся моей матушке, что никогда не сниму его, и думаю, что ты не должна сомневаться в том, как я умею придерживаться своих клятв.

При этих моих словах кузины мои немножечко надулись и замолчали; вскоре, однако, они примирились с этим, и ночь пробежала у нас так же, как и предыдущая. Впрочем, я должен заметить, что пояса моих кузин не были развязаны.



День седьмой

На следующее утро я проснулся очень рано и пошел проведать моих кузин. Эмина читала коран, а Зибельда примеряла жемчуга и шали. Я прервал эти важные занятия сладостными ласками, в которых проявлялись как любовь, так и чувство живейшей привязанности. Потом мы пообедали, а после обеда Зото такими словами начал рассказ о своих дальнейших приключениях:



Продолжение истории Зото

Я обещал говорить о Теста-Лунге и сдержу свое слово. Друг мой был мирным жителем Валь Кастеры, маленького городка, расположенного у подножья Этны. У него была жена поразительной красоты. Молодой принц де Валь Кастера, навестив как-то раз свои владения, увидел эту женщину, когда она пришла приветствовать его вместе с другими женами нотаблей¹. Надменный юноша вместо того, чтобы благодарно принять хвалу, которую воздавали ему подданные устами красавицы, увлекся прелестями сеньоры Теста-Лунга. Без каких-либо недомолвок он высказал ей впечатление, которое она произвела на него, обнял ее и запустил ей руку за корсаж. В то же мгновение муж, который стоял за спиной жены, выхватил из кармана нож и вонзил его в сердце юного принца. Мне кажется, что всякий порядочный человек на его месте поступил бы точно так же.

Теста-Лунга, совершив это деяние, укрылся в церкви и оставался там до самой ночи. Решив, однако, что ему следует принять более надежные меры для своего спасения, он решил соединиться с несколькими разбойниками, которые вот уже в течение некоторого времени укрывались на вершине Этны. Он пошел к ним, и они провозгласили его своим атаманом.

Этна в то время извергала неслыханные массы лавы; среди пламенных потоков ее Теста-Лунга расположился со своей бандой, воспользовавшись гротами, которые были известны только ему одному. Когда он уже обеспе-

чил себя так полно и всесторонне, храбрый этот главарь обратился к вице-королю, испрашивая помилования для себя и своих товарищей. Правительство отказало, как я полагаю, страшись подорвать свой авторитет. Тогда Теста-Лунга вошел в соглашение с самыми богатыми арендаторами в округе.

— Договоримся, — сказал он им, — когда я прибуду к вам, вы дадите мне то, что сами пожелаете, а за то вы, пред лицом ваших господ, будете сваливать на меня все совершенные вами кражи.

Правда, это тоже был грабеж, но Теста-Лунга справедливо делил все между товарищами, сохраняя для себя лишь столько, сколько ему было необходимо для пропитания. Мало того, всякий раз, когда он со своими удальцами проходил через какое-нибудь селение, он приказывал за все платить вдвойне, так что вскоре сделался кумиром народа обеих Сицилий.

Я говорил вам уже, что некоторые разбойники из банды моего отца соединились с Теста-Лунгой, который в течение нескольких лет находился на южном склоне Этны, совершая непрерывные набеги на Валь ди Ното и Валь ди Мазара. Но в ту пору, о которой я вам рассказываю, то есть когда мне исполнилось пятнадцать, банда вернулась в Валь Демони и в один прекрасный день мы увидели ее вступающей в селение, принадлежавшее августинцам.

Все, что я только мог бы вообразить себе прекрасного и пышного, даст вам лишь слабое представление о сподвижниках Теста-Лунги. Они были в мундирах, а их кони покрыты были шелковыми сетками; пояса, ошетилившиеся пистолетами и кинжалами, длинные шпаги и ружья такого же размера — вот предметы, составлявшие вооружение и снаряжение банды.

Три дня подряд разбойники пожирали наших кур и потягивали наше вино, на четвертый день им донесли, что приближается отряд драгун из Сиракуз, намереваясь окружить их. Услыхав эту весть, разбойники расхохотались от всей души. Они устроили засаду на перекрестке дорог, ударили по драгунам и разбили их наголову. Правда, они бились один против десяти, но зато у каждого разбойника было десять или пятнадцать пуль, и ни одна из них не пролетела мимо цели.

Одержав победу, банда возвратилась в селение, а я (мне выпало счастье видеть всю битву издалека!) пришел в такой восторг, что упал к ногам атамана и умолял его, чтобы он согласился принять меня в банду. Теста-Лунга спросил, кто я такой.

— Сын разбойника Зото, — отвечал я.

Услыхав это почтенное имя, все те, которые служили прежде под началом моего отца, издали радостный клич. Затем один из них сжал меня в своих объятиях, поставил на стол и сказал:

— Друзья мои, в последней битве у нас убили лейтенанта, и теперь мы озабочены тем, кем его заменить. Мы часто видим, что начало над полками доверяют сыновьям принцев или графов, так почему бы нам не сде-

лать этого для сына отважного Зото? Ручаюсь, что он окажется достойным такой чести.

Эти слова были покрыты шумными рукоплесканиями, и меня единогласно избрали лейтенантом.

Звание мое поначалу казалось им забавным, и каждый разбойник чуть не лопался от смеха, именуя меня *signor tenente* *, вскоре, однако, они вынуждены были изменить свое предвзятое мнение. Я не только всегда был первым в атаке и последним в отступлении, но ни один из них не умел лучше меня выследить неприятельские маневры или обеспечить банде безопасное укрытие. Я то вскарабкивался на вершины скал, чтобы шире охватить взором окрестность и подать условные сигналы, то вновь целые дни проводил среди врагов, прыгая с одного дерева на другое. Часто мне случалось даже целые ночи не слезать с самых высоких каштанов Этны, и, когда я уже не в силах был бороться с усталостью, я засыпал, привязав себя сперва ремнем к ветви. Все это было не слишком трудно для того, кто отлично знал ремесло трубочиста и юнги.

Так, постепенно продвигаясь, я снискал всеобщее доверие, и мне поручено было обеспечивать безопасность всей банды. Теста-Лунга любил меня, как родного сына, более того, смею признаться, что прошло немного времени и я приобрел славу, которая превосходила известность атамана, и вскоре во всей Сицилии ни о чем другом не говорили, кроме как о подвигах маленького Зото. Эта громкая слава не сделала меня нечувствительным к развлечениям, свойственным моему возрасту. Я уже сказал вам, что разбойники у нас — народные герои, так судите сами, колебались ли прекраснейшие из пастушек на склонах Этны, отдать ли мне сердце; однако я был предназначен для того, чтобы поддаться более утонченным чарам, и любовь уготовила мне более лестную добычу.

Уже в течение двух лет я был лейтенантом, и мне исполнилось семнадцать, когда новое извержение вулкана уничтожило все укрытия, какие были у нас до сей поры, и вынудило банду искать убежище поближе к южной оконечности острова. После четырехдневного марша мы прибыли к замку, называемому Рокка Фиорита, резиденции и главному поместью моего недруга Принчипино.

Я давно уже забыл о несправедливостях, которые испытал по его вине, но название замка вновь пробудило во мне жажду мести. Это отнюдь не должно удивлять вас — в нашем климате сердца неумолимы. Если бы Принчипино находился тогда в своем замке, полагаю, что я огнем и мечом опустошил бы проклятое гнездо.

На сей раз я, однако, ограничился причинением как можно большего ущерба, в чем сподвижники мои, для которых не были тайной мои поводы к мести, отважно мне помогли. Слуги замка, которые сперва пытались ока-

* Господин поручик (ит.).

зять нам сопротивление, вскоре упились господским вином, которое мы извлекли из подвала, а затем перешли на нашу сторону. Одним словом, мы превратили замок Рокка Фиорита в истинный остров изобилия.

Гульба длилась целых пять дней. На шестой день лазутчики предупредили меня, что против нас направлен целый полк из Сиракуз и что Принчипино вместе с матерью, которую сопровождает многочисленная женская свита, вскоре должен прибыть из Мессины. Я отослал банду, а сам пожелал остаться, и расположился на верхушке развесистого дуба в конце сада. Чтобы облегчить бегство в случае необходимости, я пробил отверстие в каменной садовой ограде.

Наконец, я увидел приближающийся полк, который остановился перед воротами замка и расставил вокруг пикеты. Сразу же за полком тянулась череда крытых носилок, в которых восседали дамы, а в последней лэктике на груде подушек развалился сам Принчипино. Он с трудом сошел с носилок, поддерживаемый двумя конюшими, выслал вперед отряд войска и только тогда, когда его заверили, что ни одного из нас уже нет в его владениях, вошел в замок с женщинами и несколькими дворянами, принадлежавшими к его окружению.

Под моим дубом струился прозрачный родник, тут же стоял мраморный стол, а вокруг него — скамьи. Это была красивейшая часть сада; я не сомневался, что все общество прибудет сюда, и решил не слезать, чтобы поближе присмотреться к нему. И в самом деле, спустя полчаса я увидел приближающуюся юную особу почти моих лет. Ангелы не могут быть прекрасней; увидев ее, я испытал столь внезапное и сильное потрясение, что, наверно, свалился бы с верхушки дуба, если бы, благодаря привычной осторожности, не привязал себя поясом накрепко к его ветвям.

Юная девушка шла, потупившись, лицо ее выражало глубокую печаль. Она присела на скамью, оперлась о мраморный стол и горько зарыдала. Не зная сам, что делаю, я слез с дерева и стал так, что мог ее видеть, не будучи сам замечен ею. И тут я увидел Принчипино, приближающегося с цветами в руках. За те три года, с тех пор, как я потерял его из виду, он сильно вырос, лицо у него было красивое, но совершенно невыразительное.

Увидев его, юная девушка метнула взор, исполненный презрения, за который я был ей весьма признателен. Несмотря на это, Принчипино, довольный собой, весело подошел к ней и сказал:

— Возлюбленная невеста моя, вот цветы, предназначенные для тебя. Если ты поклянешься мне не вспоминать об этом подлом негодяе.

— Милостивый принц, — ответила девушка, — мне кажется, что ты несправедливо ставишь мне условия своей благосклонности. Ведь если бы я никогда и не произнесла перед тобой имени Зото, весь дом вечно будет напоминать о нем тебе. Даже твоя кормилица поклялась в твоем присутствии, что никогда в жизни не видала более красивого юноши.

— Синьора Сильвия! — прервал ее Принчипино, задетый за живое, — не забывай, что ты моя невеста.

Сильвия ничего не ответила, только залилась слезами.

Тогда Принчипино в величайшей ярости завопил:

— Негодная, ты влюбилась в разбойника! Вот тебе, вот тебе то, чего ты заслуживаешь!

Говоря это, он ударил ее по лицу.

— Зото!.. Зото!.. — крикнула бедная девушка, — почему ты не явишься, чтобы наказать этого мерзавца!

Она еще не успела договорить этих слов, как я внезапно вышел из моего укрытия и обратился к принцу:

— Узнаешь меня? Я разбойник и мог бы убить тебя, но я слишком уважаю синьорину, которая изволила позвать меня на помощь, и предлагаю тебе поединок, который приличествует вам, дворянам.

При мне была пара кинжалов и четыре пистолета; я разделил оружие поровну, положил одну часть на расстоянии в десять шагов от другой и предоставил ему выбор. Но несчастный Принчипино, лишившись чувств, повалился на скамью.

Сильвия тотчас же обратилась ко мне с такими словами:

— Я благородного происхождения, но бедна, завтра я должна выйти замуж за принца или уйти до конца дней моих в монастырь. Вместо того или другого я хочу быть твоей навеки!

С этими словами она упала в мои объятия.

Можете представить, что я не заставлял себя долго упрашивать. Однако нужно было сделать все, чтобы принц не помешал нашему бегству. Я взял кинжал и камнем прибил его руку к скамье, на которой он лежал. Он закричал от боли и вновь лишился чувств. Мы выбрались через отверстие в садовой ограде и бежали в горы.

У всех моих товарищей были любовницы, и, естественно, они с радостью приветствовали мою, женщины поклялись, что будут безоговорочно повиноваться Сильвии.

Уже истекал четвертый месяц нашей совместной жизни с Сильвией, когда я был вынужден покинуть ее, чтобы осмотреть, что произошло после извержения вулкана на северном склоне. Во время поездки я открыл в природе новые прелести, на которые дотоле не обращал ни малейшего внимания. Мне встречались роскошные лужайки, гроты, рощицы в местах, которые прежде казались мне пригодными только для обороны или для нападения из засады. Сильвия смягчила мое разбойничье сердце, которому, однако, вскоре суждено было обрести свою прежнюю суровость.

Я возвратился из поездки на северные склоны горы. Выражаюсь таким образом потому, что сицилийцы, упоминая об Этне, всегда называют ее *il monte* или попросту «гора». Я направился сперва к тому сооружению, которое называют Башней Философа, но не смог туда добраться. Из про-

пасти, которая разверзлась на склоне вулкана, вырвался поток лавы, разделившийся несколько выше башни, он опоясывал ее как бы двумя огненными рукавами и потом, соединившись милей ниже, окружил ее непроходимыми расщелинами, создав нечто вроде совершенно неприступного острова.

Я сразу оценил всю важность этого расположения. Дело в том, что в самой башне мы хранили запасы каштанов, которые я считал необходимым припрятать. Я внимательно обыскал всю эту местность, мне удалось заново обнаружить подземный ход, которым в былые времена мне уже часто приходилось проходить. Подземный ход этот привел меня прямо на самую башню. Я тотчас же решил поместить на этом острове всех женщин из нашей банды. Приказал устроить шалаши из листьев и один из них украсил особенно старательно. Затем я возвратился на юг и привел оттуда всю нашу женскую колонию, радуясь, что у нас появилось это новое убежище.

Теперь, когда память переносит меня в те счастливые мгновения, которые я провел на этом острове, я вижу, сколь сильно они отличаются от ужасных потрясений, которые повелевали всей моей жизнью. Огненные потоки отделяли нас от всех прочих людей, огонь любви охватил наши чувства. Все слушались моих приказов, и все повиновались малейшим капризам возлюбленной моей Сильвии. Наконец, в довершение моего счастья, ко мне прибыли мои братья. Оба испытали необычайные приключения, и смею вас уверить, что если вы когда-нибудь захотите послушать их рассказы, они развлекут вас несравненно больше, чем я.

Мало на свете людей, которые не пережили бы хотя бы несколько счастливых дней, но не знаю, есть ли кто, который мог бы измерять свое счастье годами. В моем, по крайней мере, случае оно не продлилось и года. Мои сподвижники относились друг к другу весьма учтиво, ни один из них не осмелился бы заглядеться на чужую любовницу, а тем более на любовницу атамана. Ибо ревность была нам незнакома, или, вернее, на некий срок изгнана с нашего острова, так как безумная эта страсть всегда слишком легко находит доступ в места, в которых пребывает любовь.

Молодой разбойник по имени Антонино столь страстно влюбился в Сильвию, что не был даже в состоянии утаить свою страсть. Я и сам заметил это, но, видя его печальным и удрученным, полагал, что любовница моя не отвечает ему взаимностью, и сохранял спокойствие. Я был бы только рад исцелить Антонино, ибо любил его за отвагу. Был также в банде и разбойник по имени Моро, которого, напротив, за никчемность его характера я ненавидел от всей души, и, если бы Теста-Лунга захотел мне поверить, я давно уже выгнал бы этого Моро.

Моро сумел вкрасься в доверие к Антонино и поклялся помочь ему в любви; он снискал также доверие Сильвии и убедил ее, что у меня есть любовница в соседней деревушке. Сильвия боялась высказать мне зародив-

шиеся у нее подозрения, но поведение ее становилось все более принужденным, и я понял, что прежний любовный пыл поостыл в ее душе. Со своей стороны, Антонино, осведомленный обо всем от Моро, удвоил свои ухаживания за Сильвией и принял удовлетворенный вид, давая понять, что он, Антонино, счастлив.

Я не был достаточно изощренным в разоблачении такого рода интриг. Я убил Сильвию и Антонино. Этот последний за миг до смерти открыл мне измену Моро. С окровавленным кинжалом я побежал к изменнику; Моро испугался, упал на колени и простонал, что принц де Рокка Фиорита заплатил ему, чтобы он меня и Сильвию сжил со свету, и что единственно ради осуществления этого намерения он примкнул к нашей банде. Я вонзил свой кинжал в его грудь. Затем я отправился в Мессину, проник там перелетевший во дворец принца и отправил его вслед за его доверенным и двумя жертвами его мести.

Таков был конец моего счастья и в то же время моей славы. Моя отвага обернулась полнейшим равнодушием к жизни, а так как я проявлял такое же равнодушие к безопасности моих товарищей, то всецело утратил их доверие. Оканчивая рассказ, могу вас уверить, что с тех пор я стал одним из зауряднейших разбойников.

Вскоре после этого Теста-Лунга умер от гнилой горячки, и банда его рассеялась. Мои братья, хорошо зная Испанию, уговорили меня отправиться туда. Возглавив шайку из дюжины удальцов, я прибыл в Таорминский залив и укрывался там в течение трех дней. На четвертый день мы угнали двухмачтовое суденышко и благополучно добрались на нем до берегов Андалузии.

Хотя в Испании нет недостатка в горах, которые обеспечивали бы нам безопасное убежище, я, однако, отдал предпочтение Сьерра-Морене и не имел повода жалеть о своем выборе. Я захватил два транспорта пиастров² и совершил позднее несколько не менее прибыльных налетов.

Слух о наших успехах докатился до самого Мадрида. Губернатор Кадиса получил приказ доставить нас живыми или мертвыми и направил против нас несколько полков. С другой стороны, великий шейх Гомелесов предложил мне службу у себя и надежное убежище вот в этой пещере. Не рассуждая, я принял его предложение. Трибунал в Гранаде, не желая показать своего бессилия, но не сумев нас найти, приказал схватить двух пастухов из долины и повесить их под именем братьев Зото. Я знал этих молодчиков и знаю, что они совершили несколько убийств. Говорят, однако, что у них вызывает гнев то, что их повесили вместо нас и что по ночам они отвязываются с виселиц и проделывают тысячи нелепостей. Я не убеждался в этом собственными глазами и, следовательно, не могу вам ничего об этом сказать. Впрочем, не раз, проходя мимо виселицы, особенно в лунную ночь, я ясно видел, что ни одного висельника на ней нет, а под утро они снова возвращались на виселицу.

Вот история моей жизни, которую вы жаждали услышать. Полагаю, что мои братья, жизнь которых протекала более спокойно, могли бы вам поведать более занимательные вещи, но у них не будет для этого времени. ибо корабль уже приготовлен и я получил ясные приказания отправить его завтра в море.

Когда Зото ушел, прекрасная Эмина молвила с выражением глубокой печали:

— Этот человек прав; мгновения счастья в жизни людской слишком мимолетны. Мы провели здесь три дня, какие уже, может быть, никогда в нашей жизни не повторятся.

Ужин вовсе не был веселым, и я поспешил пожелать моим кузинам доброй ночи. Я надеялся, что увижу их в моей комнате и тогда легче смогу развеять их печаль.

И в самом деле, они пришли раньше, чем обычно, и в довершение своего счастья я заметил, что на них нет поясов — они держали их в руках. Символическое значение этого жеста легко было понять, однако Эмина, не доверяя моей сообразительности, сказала:

— Любимый Альфонс, твое самопожертвование ради нас не знало границ, и мы хотим, чтобы такой же самой оказалась и наша признательность. Может быть, нам уже никогда не суждено увидеться. Для других женщин это было бы поводом к воздержанности, но мы хотим вечно помнить о тебе, и, если дамы, которых ты встретишь в Мадриде, превосходят нас образованностью и обхождением, ни одна, тем не менее, не будет более нежной и более страстной, чем мы. Однако же, дорогой Альфонс, ты должен снова присягнуть, что сохранишь нашу тайну и не будешь верить тем, которые стали бы тебе говорить о нас дурно.

Я слегка улыбнулся, услышав это последнее условие, но согласился на все и был вознагражден нежнейшими ласками.

Миг спустя Эмина сказала:

— Любимый Альфонс, наши чувства уязвляет та реликвия, которую ты носишь на шее. Не можешь ли ты ее на минутку снять?

Я дал отрицательный ответ, но Зибельда обняла меня за шею и ножничками, которые держала в руке, перерезала ленточку. Эмина тут же схватила реликвию и бросила ее в расщелину скалы.

— Завтра ты вновь наденешь ее, — сказала она, — а пока повесь на шею эту вот плетенку из наших волос вместе с привязанным к ней талисманом, который уберет тебя, быть может, от неверности и непостоянства, если хоть что-нибудь на свете способно уберечь от этого влюбленных.

Затем Эмина вынула из своих волос золотую булавку и старательно заколола ею занавеси моего ложа.

Я пойду по ее следам и опущу занавес над продолжением этой сцены. Достаточно знать, что мои приятельницы сделались моими женами. Существуют, несомненно, ситуации, когда насилие, вызывая пролитие невинной крови, является преступлением; но бывают также и такие случаи, в которых жестокость служит самой невинности, позволяя ей явить себя во всем блеске. Именно так случилось с нами, из чего я сделал вывод, что мои кузины не были истинными участницами моих сновидений в Вента Кемада.

Чувства наши улеглись, мы были уже совсем спокойны, когда вдруг печально застонала колокольная медь. Часы били полночь. При этом звуке я не мог удержаться от волнения и сказал моим кузинам, что опасаясь, не угрожает ли нам какая-нибудь горестная случайность.

— И я тоже боюсь, — ответила Эмина. — Опасность близка, но послушай то, что я тебе говорю: не верь ничему худому, что бы тебе о нас ни говорили, не верь даже собственным глазам.

В этот самый миг кто-то внезапно разорвал занавеси моего ложа, и я увидел человека благородной наружности, одетого по-мавритански. В одной руке он держал алкоран, в другой же — обнаженную саблю; кузины мои бросились к его ногам, говоря:

— Могущественный шейх Гомелесов, прости нас!

На что шейх ответил страшным голосом:

— *Adonde estan las fajas?* *

Затем, обращая ко мне, сказал:

— Несчастный назарейнин, ты опозорил кровь Гомелесов. Ты должен перейти в веру пророка либо умереть.

В этот миг я услышал ужасный вой и увидел бесноватого Пачеко, который подавал мне знаки из глубины комнаты. Мои кузины также его заметили, ужасно разгневались, вскочили и, схватив за плечи, мгновенно вытолкнули его из комнаты.

— Несчастный назарейнин, — снова повторил шейх Гомелесов, — осуши единым духом эту чашу или ты погибнешь позорной смертью, а труп твой, повешенный между останками братьев Зото, станет пастбищем коршунов и игральным духов тьмы, которые будут пользоваться им для своих адских метаморфоз.

Я решил, что в подобных обстоятельствах честь велит мне покончить с собой. И я горестно воскликнул:

— Ах, отец мой, на моем месте ты поступил бы точно так же!

После этих слов я взял чашу и осушил ее всю до дна. Я ощутил ужасающую слабость и лишился чувств.

* Где пояса? (исп.).



День восьмой

Поскольку я имею честь рассказывать вам о своих приключениях, вы, конечно, без труда сообразите, что я не умер от выпитой мною — как я полагал — отравы. Я только лишился чувств и не ведаю, как долго оставался в этом состоянии. Помню, однако, что снова проснулся под виселицей Лос Эрманос, но на сей раз я испытывал своеобразное удовлетворение, ибо, по крайней мере, был уверен, что еще не умер. Кроме того я не находился уже между двумя висельниками: я лежал слева от них, а справа был какой-то человек, который не подавал признаков жизни, причем на шее у него темнела веревка. Вскоре, однако, я обнаружил, что он только спит, и разбудил его. Незнакомец, оглядев место своего ночлега, засмеялся и сказал:

— Следует признать, что в каббалистической практике случаются порой пренеприятные недоразумения. Злые духи умеют принимать столько образов и форм, что нельзя знать, с кем имеешь дело. Однако же, — прибавил он, — откуда взялась эта петля вместо плетенки из волос, которая еще вчера была у меня на шее?

Позднее, заметив меня, он сказал:

— И сеньор тут?.. Сеньор, ты еще слишком молод для каббалиста, хотя у тебя тоже веревка на шее.

И, в самом деле, я убедился, что он прав. Я вспомнил, что Эмина вчера повесила мне на шею плетенку из волос своих и Зибельды, и тоже не знал, как объяснить эти метаморфозы.

Каббалист окинул меня быстрым взором и сказал:

— Нет, ты не принадлежишь к нам. Тебя зовут Альфонс, твоя матушка родом из Гомелесов, ты капитан валлонской гвардии, ты весьма отважен, но весьма неопытен. Впрочем, хватит об этом, нужно сперва отсюда выбраться, а потом увидим, как нам быть.

Ворота ограды были распахнуты, мы вышли и снова увидели перед собой проклятую долину Лос Эрманос. Каббалист спросил меня, куда я думаю направиться. Я ответил, что решил непременно добраться до Мадрида.

— Согласен, — сказал он, — я также иду в ту сторону, но давай сперва немного подкрепим свои силы.

Говоря это, он вытащил из кармана позолоченную чарку, баночку, наполненную неким родом опиата, и хрустальный флакон, в котором находилась какая-то желтоватая жидкость. Он бросил в чарку ложечку опиата, влил несколько капель жидкости и приказал мне выпить все сразу. Мне не нужно было это повторять, ибо у меня сосало под ложечкой. Действительно, это был волшебный напиток. Я почувствовал себя настолько окреп-

шим, что смело мог предпринять дальнейшее путешествие, что до тех пор было бы совершенно невозможно.

Солнце стояло уже высоко, когда мы увидели злосчастный трактир Вента Кемада. Каббалист остановился и сказал:

— Вот место, в котором этой ночью со мной забавлялись самым подлым образом. Нам нужно, однако, войти в этот проклятый трактир, ибо я оставил тут кое-какие припасы, которыми мы сможем подкрепиться.

Мы вошли в проклятую венту и обнаружили в столовой паштет из куропаток и две бутылки вина. Каббалист, казалось, обладал прекрасным аппетитом; пример его придал мне храбрости, ибо сомневаюсь, отважился ли бы я иначе поднести что-либо ко рту. Все то, что я видел в течение нескольких дней, настолько смутило мое воображение, что я сам не знал, что делаю, и если бы кто-нибудь принялся за это, он мог бы заставить меня усумниться в моем собственном существовании.

Отобедав, мы прошлись по комнатам и вошли в ту, где я спал в первый день после выезда из Андухара. Я узнал мою несчастную постель и, усевшись на ней, стал размышлять над всем тем, что со мной стряслось, в особенности же над историями, которые произошли в пещере. Мне вспомнилось, что Эмина предупредила меня, чтобы я не верил, если бы мне стали говорить о них что-либо дурное. Я был все еще погружен в эти раздумья, когда каббалист обратил мое внимание на что-то, поблескивающее между щелями пола. Я присмотрелся и убедился, что это была реликвия, отнятая у меня двумя сестрами в пещере.

Я видел, как ее швырнули в расщелину скалы, а теперь она находилась в щели пола. И в самом деле, я начал сомневаться, выходил ли я когда-нибудь из этого проклятого трактира и не были ли отшельник, инквизитор, братья Зото — видениями, порожденными безумием, навеянным колдовскими чарами. Тем временем я с помощью шпаги извлек реликвию и повесил ее на шею.

Каббалист засмеялся и сказал:

— Это твоя собственность, сеньор кавалер. Если ты проведешь тут ночь, не удивляйся, проснувшись под виселицей. Но довольно об этом; пора выйти отсюда, мы должны еще нынче вечером остановиться на привал в хижине отшельника.

Мы покинули трактир и не прошли еще и половины пути, когда встретили отшельника, который, с трудом волоча ноги, брел, опираясь на клюку. Едва лишь завидев нас, он воскликнул:

— Ах, мой юный друг, я как раз искал тебя; возвращайся в мою хижину, вырви свою душу из когтей сатаны, а пока — подай мне руку. Ища тебя, я выбился из сил.

Минутку отдохнув, мы пустились в дальнейший путь; старец передвигался, опираясь на плечо то одного, то другого из нас. Наконец мы добрались до хижины отшельника.

Едва войдя, я увидел Пачеко, растянувшегося на полу посреди комнаты. Казалось, что он умирает, во всяком случае, из груди его вырывался тот жуткий крик, который сопровождает агонию.

Я хотел обратиться к нему, но он не узнал меня; тогда отшельник, зачерпнув святой воды, окропил его бесноватого и произнес:

— Пачеко! Пачеко! Именем искупителя твоего приказываю тебе рассказать то, что с тобой случилось в эту ночь.

Пачеко задрожал, издал отвратительное рычанье и начал так:



Рассказ Пачеко

Отец мой, ты как раз находился в часовне и пел литанию, когда я услышал стук в дверь и блеяние, такое, какое издает наша белая коза. Я подумал, что забыл ее подоить и благонаравное животное пришло напомнить мне о моей обязанности. Я тем паче продолжал пребывать в этом убеждении, что несколько дней тому назад со мной произошел подобный случай. Выйдя из хижины, я и в самом деле увидел нашу белую козу, которая повернулась ко мне задом, показывая раздутое вымя. Я хотел ее схватить, чтобы оказать ей требуемую услугу, но она вырвалась у меня из рук и, ни на миг не останавливаясь и вновь убегая дальше, привела меня на край пропасти, которая как раз неподалеку от твоей хижины.

Доскакав туда, белая коза внезапно превратилась в черного козла. Я испугался при виде этой метаморфозы и хотел бежать к нашему жилью, но черный козел преградил мне дорогу и, встав на дыбы, взглянул на меня огненными глазами. Ужас оледенил кровь в моих жилах.

Тогда черный козел стал бодаться и толкать меня к пропасти. Когда он уже загнал меня на самый край, он задержался на миг, как бы желая насладиться зрелищем моих мук. Наконец, он столкнул меня в пропасть. Я думал, что расшибусь вдребезги, но козел встал передо мной на дне пропасти и принял меня к себе на спину, — словом, я не причинил себе никакого вреда.

Тут новый страх охватил меня, ибо как только проклятый козел ощутил меня на своем хребте, он тут же удивительным образом понесся гало-

пом. Одним прыжком он перескакивал с горы на гору и преодолевал глубочайшие пропасти, словно бы это были мелкие рвы, наконец, отряхнувшись, и, сам не знаю как, я очутился в пещере, где увидел молодого путешественника, который несколько дней назад ночевал под нашим кровом.

Юноша сидел на ложе, а рядом с ним я увидел двух прехорошеньких молодых девушек, одетых по-мавритански. Девушки, осыпая его ласками, сняли у него с шеи реликвию и в тот же миг утратили в моих глазах всю свою красоту, ибо я узнал в них двоих висельников из долины Лос Эрманос. Однако молодой путешественник, по-прежнему принимая их за прекрасных женщин, обращался к ним с нежнейшими словами. Тогда один из висельников снял петлю со своей шеи и затянул ее на шее юноши, который ласками являл свою благодарность. Потом они задернули занавеси, и я не знаю, что делали, но думаю, что совершали какой-то смертный грех.

Я хотел кричать, но лишился голоса. Это продолжалось некоторое время, а потом пробило полночь, и я узрел входящего сатану с огненными рогами и пламенным хвостом, который несли за ним несколько бесенят.

Сатана держал в одной руке книгу, в другой — вилы. Он угрожал юноше смертью, если тот не перейдет в веру Магомета. Тогда, видя христианскую душу в опасности, я собрался с силами, крикнул, и мне кажется, что юноша услышал. Но в тот же миг висельники подскочили и вытолкнули меня из пещеры во двор, где я нашел того же самого козла. Один висельник сел верхом на козла, другой на меня, и так они вновь вынудили нас обоих скакать галопом, неся через горы и пропасти. Висельник, который сидел на моих плечах, стиснул мне бока пятками, но считая, вероятно, что я бегу недостаточно быстро, поднял с дороги двух скорпионов, прицепил их к ногам вместо шпор и начал раздирать мне бока с неслыханной жестокостью. Наконец, мы оказались у дверей твоей хижины, где страшилища покинули меня. В то утро, отче, ты нашел меня без чувств. Узрев себя в твоих объятьях, я полагал, что спасен, но яд скорпионов отравил мою кровь. Яд этот жжет мои внутренности, и я чувствую, что не переживу этих мук.

Сказав это, бесноватый ужасно зарычал и смолк.

Тогда отшельник возвысил голос и сказал мне:

— Сын мой, может ли быть, чтобы ты имел плотское соитие с двумя дьяволами? Пойди исповедайся, признай твои прегрешения. Милосердие божие беспредельно. Ты не отвечаешь? Неужели ты уже настолько закопался в грехах?

Задумавшись на миг, я ответил:

— Отец мой, этот бесноватый дворянин видел вещи совсем в ином свете. Один из нас несомненно был введен в заблуждение, а может быть, мы и оба худо видели. Но вот перед тобой благородный каббалист, кото-

рый также провел ночь в Вента Кемада. Быть может, он захочет нам рассказать свои приключения, которые прольют новый свет на происшествия, которые занимают нас вот уже несколько дней.

— Сеньор Альфонс, — прервал меня каббалист, — люди, которые, подобно мне, предаются тайным наукам, не вправе высказывать все. Постараюсь, однако, по мере возможности удовлетворить твое любопытство, но, если позволишь, не сегодня. Давайте поужинаем и отправимся спать; утром наши головы будут свежее и восприимчивей.

Отшельник подал нам скромный ужин, после которого каждый ушел к себе. Каббалист считал, что должен провести ночь рядом с бесноватым, я же удалился в часовню. Улегся на той самой походной койке, на которой провел уже одну ночь; отшельник пожелал мне приятного сна и предупредил, что для пущей надежности, уходя, запрет за собой дверь.

Оставшись один, я начал размышлять над рассказом Пачеко. Не могло быть сомнений, что он находился вместе со мной в пещере, я видел также, как мои кузины подскочили к нему и вытолкнули его из комнаты, но Эмина предупредила меня, чтобы я не верил, если мне будут говорить что-либо худое о ней и о ее сестре. Впрочем, бесы, которые вселились в Пачеко, могли помутить его рассудок и ввести в заблуждение иллюзиями всяческого рода.

Так я искал разные средства оправдать моих кузин и сохранить любовь к ним, когда вдруг услышал, что пробило полночь. Вскоре после этого раздался стук в дверь и как бы бляение козы. Я взял шпагу, подошел к двери и закричал во все горло:

— Ежели ты сатана, попытайся сам отворить эту дверь, которую запер отшельник.

Коза умолкла. А я лег спать и проспал до самого утра.



День девятый

Отшельник пришел меня будить, присел на моем ложе и молвил:

— Дитя мое, злые духи этой ночью вновь осаждали хижину. Пустынники Фиваиды¹ не более подвергались сатанинским искушениям, притом я не ведаю, как я должен судить о человеке, который прибыл с тобой и называет себя каббалистом. Он взялся исцелить Пачеко и в самом деле много ему помог, хотя совершенно не заклинал бесов, согласно ритуалу, предписанному нашей святой церковью. Пойди в мою хижину, нас ждет завтрак, после которого мы, верно, услышим приключения этого странного незнакомца.

Я встал и пошел за пустынником. И в самом деле, я нашел Пачеко в гораздо лучшем состоянии, а лицо его показалось мне менее отталкивающим. Он по-прежнему был слеп на один глаз, но уже не высовывал языка так отвратительно, как прежде. Изо рта у него перестала идти пена, и взгляд уцелевшего глаза стал менее блуждающим. Я поздравил каббалиста, который возразил мне, что это лишь слабое доказательство его могущества. Затем отшельник принес завтрак, состоящий из горячего молока и каштанов.

Совершая эту скромную трапезу, мы увидели входящего в хижину человека, худого и бледного, во всем облике которого было нечто отталкивающее, хотя и трудно было сказать, что именно вызывает такое впечатление. Незнакомец пал передо мной на колени и снял шляпу. Тогда я увидел повязку на его лбу. Он протянул ко мне шляпу, как будто прося подаяния. Я швырнул ему золотой. Станный нищий поблагодарил меня и прибавил:

— Сеньор Альфонс, твой добрый поступок не останется втуне. Предупреждаю, что тебя ожидает важное письмо в Пуэрто-Лапиче. Прочти его прежде, чем въедешь в Кастилию.

Сделав мне это предостережение, незнакомец пал на колени перед отшельником, который наполнил его шляпу каштанами, а затем совершил то же самое перед каббалистом, но сразу же поднялся, говоря:

— От тебя я ничего не хочу. Если ты скажешь, кто я такой, то когда-нибудь горько пожалеешь об этом.

Сказав это, он вышел из хижины пустынника. Когда мы остались одни, каббалист рассмеялся и заметил:

— Чтобы доказать вам, сколь мало я боюсь угроз этого человека, сразу же вам скажу, что это Вечный Жид², о котором вы, конечно, должны были слышать. Вот уже семнадцать веков, как он ни разу не присел, не улегся, не отдохнул, не заснул. Идя все вперед и вперед, он съест ваши каштаны и завтра утром будет уже примерно в шестидесяти милях

отсюда. Обычно он скитается по беспредельным пустыням Африки. Питается дикими плодами, а хищные звери проходят мимо него, не причиняя ему вреда, ибо на челе его запечатлено священное тавро Тау. Поэтому он, как вы заметили, носит на голове повязку. Он никогда не бывает в наших краях, разве что по заклинанию какого-нибудь каббалиста. Впрочем, ручаюсь вам, что я его вовсе сюда не призывал, ибо терпеть его не могу. Однако же должен признать, что он нередко знает о многом, советую тебе поэтому, сеньор Альфонс, не пренебрегать его предостережениями.

— Сеньор каббалист, — ответил я, — Вечный Жид сообщил мне, что в Пуэрто-Лапиче меня ожидает письмо. Я надеюсь прибыть туда послезавтра и не забуду осведомиться о письме у трактирщика.

— Не стоит так долго ждать, — возразил каббалист. — Я очень мало значил бы в мире духов, если бы не мог доставить тебе это письмо раньше.

Говоря это, он склонил голову на правое плечо и произнес несколько фраз повелительным тоном. Спустя пять минут на стол упал большой пакет, адресованный мне. Я распечатал его и прочитал нижеследующее:

Сеньор Альфонс!

По приказу его королевского величества, нашего всемилостивейшего государя, Дон Филиппа V, предупреждаю Вас, чтобы Вы повременили с приездом в Кастилию. Суровую эту меру Вы должны приписать единственно только несчастью, из-за коего на Вас разгневался священный трибунал, которому доверено блюсти чистоту веры в Испании. Пусть, однако, этот случай нисколько не уменьшит Вашего ревностного желания служить королю. Вместе с настоящим посланием предоставляю Вам трехмесячный отпуск. Проведите это время на границе Кастилии и Андалузии; однако не путешествуйте слишком много ни по одной из этих провинций. Мы уже подумали о спокойствии Вашего почтенного отца и представили ему все это дело в свете, отнюдь его не уязвляющем.

Благосклонный к Вам

Дон Санчо де Тор де Пеньяс

Военный министр

К этому письму было приложено свидетельство о трехмесячном отпуске, снабженное всеми надлежащими подписями и печатями.

Мы подивились проворству гонцов каббалиста и затем попросили его, чтобы он сдержал данное нам обещание и рассказал о том, что случилось с ним минувшей ночью в Вента Кемада. Он возразил так же, как и накануне, что мы не пойдем многого в его рассказе, но, помолчав мгновение, начал такими словами:

История каббалиста



В Испании меня называют дон Педро де Узедра, и я владею прекрасным замком того же имени в миле отсюда. Но настоящее мое имя: рабби Садок Бен-Мамун, ибо я еврей. Признаваться в этом здесь в Испании небезопасно, но, помимо того, что я доверяю вашей порядочности, предупреждаю вас, что мне не так легко было бы повредить. Влияние звезд на мою судьбу начало проявляться с первых же мгновений моей жизни. Отец мой, начертав мой гороскоп, был охвачен радостью, когда узрел, что я явился на свет именно тогда, когда солнце вступало в знак Девы. Воистину он употребил все свое умение на достижение этой цели, но не надеялся, что все так точно сойдется.

Мне не нужно вам говорить, что отец мой, Мамун, был первым звездочетом своего времени. Однако астрология была одной из незначительнейших среди известных ему наук; особенно далеко ушел он в знании каббалистики³, в ней он достиг степени, какой дотоле не достигал ни один раввин.

Спустя четыре года после моего рождения, у отца моего явилась на свет дочь под знаком Близнецов. Несмотря на эту разницу в возрасте, нас воспитывали одинаково. Мне не было еще двенадцати лет, а сестре моей, стало быть, восьми, когда мы умели уже говорить по-древнееврейски, по-халдейски, по-сирохалдейски, знали языки самаритян, коптов, абиссинцев и разные иные мертвые, либо умирающие языки. Кроме того, не пользуясь карандашом, мы могли разложить буквы каждой фразы согласно всем принципам, предписанным правилами каббалистики.

Мне как раз исполнилось двенадцать, когда нас с необычайной старательностью начали завивать, а затем, чтобы не оскорбить стыдливости, свойственной знакам, под которыми мы родились, нам давали есть мясо чистых животных, выбирая для меня самцов, а для сестры моей — самок.

Когда мне пошел шестнадцатый год, отец решил допустить нас к тайнам каббалы «Сефирот». Сначала он дал нам в руки «Сефер Сохар», или так называемую «Светлую Книгу», из которой ничего нельзя понять, настолько этот светоч ослепляет очи взирающих на него. Затем мы углубились в бездны «Сифра Дизениуты», или «Таинственной книги», в которой

самую понятную часть можно попросту счесть загадкой. В конце концов мы приступили к «Идра Рабби» и «Идра Сути», то есть к «Большому и Малому Синедриону». Это разговоры, в которых рабби Шимон, сын Йехая, автор двух предыдущих творений, снижая стиль до будничной беседы, делает вид, что обучает своих друзей простейшим вещам, а между тем, однако, поверяет им наиболее поразительные тайны, а скорее всего откровения, исходящие непосредственно от пророка Илии, который тайком покинул небесные страны и присутствовал среди собеседников под произвольно взятым именем раввина Аввы.

Быть может, вы все воображаете, что приобрели истинное понятие об этих божественных книгах из латинского перевода, изданного вместе с халдейским оригиналом в 1684 году в маленьком немецком городишке, называемом Франкфуртом; но мы смеемся над высокомерием тех, которые полагают, что достаточно обычного людского зрения, чтобы читать эти книги. Этого, конечно, достаточно в некоторых нынешних современных языках, но в древнееврейском каждая буква есть число, каждое слово — премудрая комбинация, каждая фраза — ужасающая формула, которая, если кто сумел произнести ее с требуемыми придыханиями и ударениями, без труда способна сдвигать горы и осушать реки.

Вы хорошо знаете, что Адонай⁴ словом сотворил мир и затем сам превратился в слово. Слово приводит в движение воздух и разум, действует на чувства и души одновременно. Хотя вы не посвящены в тайну, вы, однако, можете отсюда сделать вывод, что слово является необходимым посредником между материей и любым разумом, каким бы он ни был.

Единственно могу вам сказать, что не только с каждым днем мы приобретали новые сведения, но также и новое могущество. Если даже не смели его еще применять, то во всяком случае утешались, гордые, что, согласно внутреннему нашему убеждению, сила эта таится в нас. Вскоре, однако, печальнейший случай прервал наши каббалистические утехы.

Каждый день мы с моей сестрой замечали, что отец наш Мамун все более теряет силы. Он казался уже всего лишь духом, который для того только принял образ человеческий, чтобы обитатели подлунной легче могли его видеть. Наконец, однажды он приказал позвать нас в свою рабочую комнату. Облик его был столь божественным и почтенным, что мы невольно упали перед ним на колени. Он оставил нас в этом положении и, указав на песочные часы, сказал:

— Прежде чем пересыплется этот песок, меня уже не будет на сем свете. Запомните все мои слова, что я скажу вам. Сын мой, к тебе первому я обращаюсь. Я предназначил тебе в супруги небожительниц — дочерей царя Соломона и царицы Савской. Перед появлением их на свет никто не думал, что они станут бессмертными, но Соломон научил царицу произносить имя того, который есть. Царица произнесла это имя в миг разрешения от бремени. Прилетели гении великого востока и приняли двух

близнецов, прежде чем те прикоснулись к нечистому обиталищу, которое зовется землей, а затем унесли их в сферы дочерей Элоима⁵, где им было даровано бессмертие вместе с правом разделить его с тем, которого когда-нибудь сестры-близнецы выберут своим общим супругом. Об этих двух неизреченных супругах отец их вспоминает в своем «Шир гаш-ширим, или Песне Песней»⁶. Поразмысли над этой божественной эпитафией, задерживаясь после каждых девяти стихов.

Для тебя, дочь моя, я предназначил еще более великолепное супружество. Два Тоамима, те самые, которых греки знали под именем Диоскуров⁷, а финикийцы — Кабиров⁸, одним словом, Близнецы Зодиака будут твоими мужьями. Что я говорю?.. сердце твое слишком нежно... боюсь, как бы какой-нибудь смертный... но уже пересыпался песок... умираю...

После этих слов отец исчез, и в единый миг там, где он прежде покоился, мы нашли только горсть легкого и светящегося пепла. Я собрал эти бесценные останки, сложил их в урну и поместил в скинии завета, под крыльями херувимов.

Вы поймете, что надежда приобрести бессмертие и двух небесных жен удвоила мое рвение к каббалистическим наукам. Однако в течение долгих лет я не посягал на достижение беспредельных высей и довольствовался тем, что посредством моего заклятия приобрел власть над несколькими гениями восемнадцатой степени. Впрочем с каждым годом я набирался все большей смелости. Прошлым летом я начал трудиться над первыми строками «Шир гаш-ширим». Едва я разложил первый стих, как сразу же мой слух поразила всезаглушающий грохот, как если бы весь замок рухнул с устоев. Но я вовсе не испугался; напротив, я был убежден, что труд отлично мне удастся. Я перешел ко второму стиху, и, когда я его окончил, лампа с моего стола слетела на пол, подскочила несколько раз и остановилась, встав неподвижно перед большим зеркалом, висящим в глубине комнаты. Я взглянул в зеркало и увидел кончики пары прелестных женских ножек. Вскоре за ними показались кончики еще одной пары маленьких ножек. Я льстил себя надеждой, предположив, что эти соблазнительные ножки принадлежат, наверно, небесным дочерям Соломона, но не смел производить дальше моих исследований.

На следующую ночь я вновь принялся за дело и увидел две пары ножек до щиколоток; двадцать четыре часа спустя я уже начал замечать колени, но тут солнце вышло из-под знака Девы, и я вынужден был прервать свои труды.

Когда солнце вступило в знак Близнецов, сестра моя совершила подобные же деяния и узрела не менее поразительное явление; но я не намерен вам рассказывать того, что никак не связано с моей собственной историей.

В этом году я хотел вновь приняться за прерванный труд, когда узнал, что как раз через Кордову должен проезжать славный адепт. Я повздорил по этому поводу с моей сестрой, и это она склонила меня навестить

его. Я несколько опоздал с выездом из дому и к вечеру был только в Вента Кемада. Я нашел трактир покинутым из-за духов, которые его осаждали, но так как я их вовсе не боюсь, я расположился в столовой и приказал маленькому Немраэлю принести мне ужин. Немраэль — это маленький гений чрезвычайно низкой степени, которого я посылаю с такого рода поручениями, и именно он принес твое письмо из Пуэрто-Лапиче. Немраэль отправился в Андухар, где ночевал какой-то приор бенедиктинцев, бесцеремонно похитил у него ужин и принес мне его в трактир. Вот это и был тот самый паштет из куропаток, который ты видел еще на следующее утро. Однако я был настолько утомлен, что почти не прикоснулся к нему; итак, я отослал Немраэля к моей сестре, а сам лег спать.

Среди ночи меня разбудил звон часов, бьющих полночь. После этого сигнала я ожидал появления какого-нибудь духа и приготовился отогнать его, ибо, как правило, это пренеприятные и непрошеные гости. Занятый этими приготовлениями, я увидел вдруг яркий свет на столе, стоящем в комнате, а потом невесть откуда выскочил маленький небесно-голубой раввинчик, который начал отбивать поклоны перед наемом, как это привыкли делать раввины во время молитвы. Он был всего в фут высотой, и не только его одежды были небесно-голубого цвета, но даже лицо, борода, налож и книга. Я тотчас же узнал, что это не дух, но гений двадцать седьмой степени. Я не знал, как его зовут, и вообще видел его впервые в жизни. Однако я применил формулу, которой всегда подчиняются все духи. Тотчас же маленький голубой раввин обратился ко мне и молвил: — Ты начал всю свою работу не в том порядке, в котором следовало, и в этом причина, почему ты увидел сперва ноги дочерей Соломоновых. Начни с последней строки и старайся прежде всего отгадать имена небесных красавиц.

Произнеся это, маленький раввин исчез, не оставив ни малейшего следа. То, что он мне сказал, противоречило всем принципам каббалистики, однако я был настолько неосмотрителен, что послушался его совета. Начал составлять последний стих «Шир гаш-ширим» и, ища имена двух бесмертных, нашел следующие: Эмина и Зибельда. Я был чрезвычайно удивлен, однако сотворил заклятье. Тогда земля ужасно задрожала под моими ногами, мне показалось, что небо разверзается у меня над головой, и я упал без чувств.

Придя в себя, я увидел, что нахожусь в месте, где все лучилось необыкновенным сиянием. Несколько юношей, которые были прекрасней ангелов, держали меня в объятьях, а один из них сказал мне:

— О сын Адама! Приди в чувство. Ты в обители тех, которые не умирают. Нами правит патриарх Енох⁹, который шествовал перед Элоимом и был похищен с земли. Пророк Илия¹⁰ — наш первосвященник, и колесница его всегда к твоим услугам, как только ты захочешь совершать прогулки по какой-нибудь из планет. Мы — эгрегоры¹¹, или дети, рожден-

ные от связи сынов Элоима, то есть сынов божеских, с дочерьми человеческими. Ты увидишь между нами также несколько нефилимов¹², однако в малом числе. Идем, мы представим тебя нашему владыке.

Я пошел с ними и остановился у подножья престола, на котором восседал Енох. Я взглянул на патриарха, но никак не мог вынести сияния его очей и поэтому не мог поднять глаз выше его бороды, которая была подобна тому бледному сиянию, которое окружает луну в сырые ночи. Я страшился, что уши мои не вынесут раскатов его голоса, но голос этот был сладостней, чем гармония божественных органов. Кроме того, он еще смягчил его, обращаясь ко мне:

— Сын Адама, тебе сейчас же приведут твоих жен.

В это самое мгновение я увидел входящего пророка Илию, он держал за руки двух красавиц, прелестней которых смертные никогда не сумели бы постичь. Сквозь прозрачные их тела можно было видеть души и ясно разглядеть, как пламя страсти разливается по их жилам и смешивается с кровью. За ними два нефилима несли треножник из металла, настолько драгоценнее золота, насколько золото драгоценней свинца. Дщери Соломоновы подали мне руки и повесили на шею плетенку, сотканную из своих волос. В тот самый миг живой и чистый пламень вспыхнул над треножником и поглотил все то, что было во мне смертного. Нас ввели в спальню, сверкающую красотой и пламенной любовью, распахнули огромное окно, которое выходило на третье небо, и тогда зазвучали божественные напевы ангелов. Наслаждение овладело всем моим существом.

Но что же я вам могу еще сказать? На следующее утро я проснулся под виселицей Лос Эрманос между двумя гнусными трупами, так же точно, как и этот юный путешественник. Из этого я сделал вывод, что имел дело с неслыханно злобными духами, сущности которых я толком не знаю; боюсь даже, как бы это приключение не повредило мне в глазах истинных дочерей Соломона, лишь ножки коих мне довелось увидеть.

— Злополучный слепец, — сказал отшельник, — отчего ты об этом сожалеешь? Все обольщение — в твоей проклятой науке. Духи тьмы, которые только натешились тобой, причинили куда более страшные мучения несчастному Пачеко. Без сомнения, такая же судьба ожидает того молодого военного, который, побуждаемый пагубным ожесточением, не желает признаться в грехах своих. Альфонс, сын мой, Альфонс! покаяйся в грехах, у тебя еще есть на это время.

Мне наскучило упорство отшельника, явно желающего добиться от меня признаний, которых я не хотел ему сделать. Я холодно ответил, что весьма уважаю его священные наиздания, но что чувство чести является основой всего моего поведения, после чего мы начали говорить о чем-то другом.

— Сеньор Альфонс, — сказал каббалист, — так как инквизиция тебя преследует, а король приказывает тебе три месяца провести в этой пустыне, я предлагаю к твоим услугам мой замок. Ты познакомишься с моей сестрой Ревеккой, которая столь же прекрасна, как и учена. Пойдем со мной, ты приходишь из Гомелесов, а Гомелесы всегда вправе рассчитывать на наше сочувствие.

Я взглянул на отшельника, чтобы угадать по его глазам, что он думает об этом. Казалось, что каббалист догадался о моих сомнениях, ибо, обратившись к отшельнику, он сказал:

— Отец мой, я знаю тебя лучше, чем ты полагаешь. Вера придает тебе великую мощь. Мои средства, хотя и не столь священные, однако же — не дьявольские. Благоволи также погостить у меня вместе с Пачеко, которого — будь в этом уверен — я вполне исцелю.

Прежде чем дать ответ, отшельник начал молиться; после недолгого размышления он подошел к нам с веселым лицом и сказал, что готов присоединиться к нам. Каббалист склонил голову на правое плечо и приказал привести лошадей. Тут мы увидели у дверей хижины пару прекрасных коней для нас обоих и пару мулов для отшельника и бесноватого. Хотя до замка был целый день пути, как сказал нам Бен-Мамун, однако через час мы завершили наше путешествие.

Все это время Бен-Мамун рассказывал мне о своей ученой сестре, так что я надеялся узреть некую черноволосую Медею с волшебной палочкой в руке, бормочущую непонятные каббалистические словеса. Я обманулся в своих ожиданиях. Великолепная Ревекка, которая встретила нас у ворот замка, была роскошнейшая блондинка, какую только можно себе вообразить. Белоснежное платье, поддерживаемое драгоценнейшими аграфами, пышно облекало ее несравненный стан. Поначалу казалось, что она мало заботится о своем наряде; однако, если бы даже было наоборот, она не могла бы привлекательней оттенить красоту своих волшебных прелестей.

Ревекка бросилась брату на шею, говоря:

— Как я беспокоилась о тебе, особенно в первую ночь, когда никак не могла узнать, что с тобой. Что ты делал все это время?

— Позднее я расскажу тебе, — ответил Бен-Мамун. — А теперь постарайся получше принять гостей, которых я привел. Это отшельник из долины, а юноша происходит из рода Гомелесов.

Ревекка равнодушно взглянула на отшельника, но, бросивши взгляд на меня, легонько зарумянилась и сказала с грустью:

— Надеюсь, что, к счастью, ты, сеньор, не из нашего круга.

Мы вошли в замок, и тут же за нами развели подъемный мост.

Замок был просторный и поддерживался в величайшем порядке, хотя слуг было всего двое — мулат и мулатка, молодые и красивые. Бен-Мамун проводил нас сперва в свою библиотеку; это была маленькая круглая

комната, служащая одновременно столовой. Мулат разостлал скатерть, принес олю-подриду и четыре прибора, ибо Ревекка не села с нами к столу. Отшельник, убогатворенный, ел больше, чем обычно. Пачеко, хотя по-прежнему слепой на один глаз, заметно успокоился, но лицо его было по-прежнему мрачным и сидел он молча. Бен-Мамун ел с аппетитом, но все время пребывал в рассеянности и признался нам, что вчерашнее приключение не выходит у него из головы.

— Дорогие гости, вот книга для вашего развлечения. Мой мулат к вашим услугам; а пока позвольте мне удалиться, у меня кое-какие важные занятия с моей сестрой. Мы увидимся завтра в час обеда.

Бен-Мамун ушел и оставил нас, если так можно выразиться, хозяевами всего замка. Отшельник взял из библиотеки легенду о первых отцах церкви, живущих уединенно в пустыне, и приказал Пачеко, чтобы тот прочитал ему несколько глав. Я вышел на террасу замка, повисшую над пропастью, в глубине которой громко журчал незримый ручей. Хотя окрестные места выглядели печально, лицезрение их доставляло мне неслыханное наслаждение — я весь отдавался впечатлениям необычайного зрелища. Я не грустил, пожалуй, но все чувства мои оцепенели из-за ужасных волнений, испытанных мною на протяжении этих нескольких дней. Чем больше я раздумывал о престранных моих приключениях, тем меньше я их понимал; наконец я не смел больше думать о них из опасения, чтобы мой разум совсем не помутился. Надежда провести несколько спокойных дней в замке Узеды несколько успокоила мою истерзанную душу. Размышляя таким образом, я вернулся в библиотеку. На склоне дня мулат принес нам ужин, состоящий из холодного мяса и сушеных фруктов; не было, однако, мяса нечистых животных. Затем мы расстались: отшельника и Пачеко проводили в одну комнату, а меня — в другую.

Я лег и заснул, но прекрасная Ревекка разбудила меня, говоря:

— Сеньор Альфонс, прости, что я решаюсь прервать твой сон. Я возвращаюсь от моего брата, с которым мы творили ужаснейшие заклятья, дабы постигнуть сущность духов, которые осаждали его в Вента Кемада, но усилия наши остались безуспешными. Мы полагаем, что он стал игрушкой баалимов, над которыми мы не обладаем ни малейшей властью. Впрочем, страна Еноха именно такова, какой он ее видел. Все это для нас необычайно важно, и я умоляю тебя, чтобы ты рассказал нам твои приключения.

Говоря это, Ревекка присела на ложе рядом со мной, но казалась мне занятой единственной только тайной, разъяснения которой она от меня ждала. Тем не менее, я продолжал молчать обо всем и ограничился замечанием, что дал честное слово не рассказывать никому о том, что я видел.

— Как же ты можешь думать, сеньор Альфонс, — продолжала Ревекка, — будто честное слово, данное двум сатанинским исчадиям, к чему-то

тебя обязывает? Мы уже узнали, что это два женских духа, из которых один зовется Эмина, а другой — Зибельда, но тем не менее мы до сих пор не можем проникнуть в сущность этих двух диаволиц, так как и в нашей науке, как и во всех прочих, нельзя знать всего.

Я вновь дал отрицательный ответ и просил прекрасную девушку, чтобы она мне больше об этом не напоминала. Тогда она взглянула на меня с выражением неопишуемой кротости и молвила:

— Какой же ты счастливец, что можешь придерживаться принципов добродетели, которые руководят всеми твоими поступками. Каким спокойствием совести ты можешь наслаждаться! Насколько же наша судьба отличается от твоей! Мы хотели узреть вещи, неуловимые для смертного взора, и постичь то, чего человеческий разум постичь не в состоянии. Я не создана для этих неземных познаний; что мне в тщетной власти над злыми духами? Я во сто крат больше предпочла бы властвовать над сердцем любимого супруга, но так хотел мой отец, и я должна повиноваться своему жребию.

При этих словах Ревекка достала платочек и утерла слезы, перлами струящиеся по ее прекрасным ланитам, после чего добавила:

— Сеньор Альфонс, позволь мне вернуться завтра в этот самый час и еще раз попытаться преодолеть твое упорство, или, как ты это называешь, стойкую приверженность своему слову. Вскоре солнце войдет в знак Девы, тогда не будет уже времени, и жребий исполнится.

На прощанье Ревекка дружески пожала мне руку, и мне казалось, что она с отвращением возвращается к своим каббалистическим занятиям.



День десятый

Я пробудился раньше, чем обычно, и вышел на террасу, чтобы подышать свежим воздухом, прежде чем лучи солнца станут особенно жгучими. Вокруг царил покой, даже ручей, казалось, струился с меньшим рокотом, не заглушая гармонического пения птичек. Безмятежность, царившая вокруг, отразилась в моей душе, и я смог спокойно поразмыслить обо всем, что со мной случилось со времени моего выезда из Кадиса. Только теперь мне вспомнились несколько слов, которые случайно вырвались у дона Эммануэля де Са, наместника провинции, и я рассудил, что он также должен был что-нибудь знать о таинственном существовании Гомелесов и даже в какой-то степени быть посвященным в тайну. Ведь он сам навязал мне двоих слуг, Лопеса и Москито, и я допускал, что по его приказанию они покинули меня у входа в злосчастную долину Лос Эрманос. Мои кузины часто давали мне понять, что меня хотели подвергнуть испытанию. Я подумал, что в Вента Кемада мне дали сонное питье и потом, спящего, перенесли под виселицу. Пачеко мог окриветь на один глаз по совершенно иной причине, а его любовные интрижки и ужасное приключение с двумя висельниками могли быть сказкой. Отшельник, который с помощью исповеди хотел вырвать у меня тайну, казалось мне, мог быть попросту орудием Гомелесов, чтобы испытать мою стойкость.

Наконец, я начинал уже обретать некую путеводную нить в тумане моих приключений и объяснять их себе, не допуская участия сверхъестественных существ, как вдруг услышал звуки веселой музыки в дальних горах, окружающих замок. Музыка все приближалась, и я увидел подходящую все ближе ораву цыган, которая двигалась в такт под звон бубнов и медных тарелок. Они расположились тут же, под террасой, так что я во всех подробностях мог дивиться своеобразной утонченности их нарядов и всего табора. Я подумал, что это те самые цыгане-воры, у которых нашел спасение трактирщик из Вента Кемада, как мне об этом рассказывал отшельник; но они показались мне, пожалуй, слишком уж вежливыми и отесанными для мошенников. Покамест я присматривался к ним, они разбивали шатры, ставили котелки на огонь и укладывали детишек в колыбели, прикрепленные прямо к ветвям деревьев. Закончив все эти приготовления, они отдались приятностям кочевого существования, среди которых первое место занимает праздность.

Шатер вожака отличался от других не только большой булавой с серебряным шаром, воткнутой у входа, но и гораздо более нарядным видом и завесами с пышной бахромой, какой обыкновенно не бывают украшены шатры простых цыган. Но каково же было мое изумление, когда из отворяющегося шатра я увидел выходящими обеих моих кузин в том при-

влекательном наряде, который в Испании называют a la gitana maja *. Они приблизились к самому подножию террасы, но, казалось, вовсе меня не замечали. Потом они позвали подруг и начали танцевать поло, на известную мелодию:

Quando me Paso me azze,
Las palmas para vaylar,
Me se пуене el corpecito
Como hecho de mazzepan. . .**

Если прекрасная Эмина и милая Зибельда вскружили мне голову одетые по-мавритански, то не меньше они привели меня в восторг в этом новом наряде. Я заметил только, что на этот раз на устах у них играла злорадная и издевательская усмешка, которая, хотя и была к лицу цыганкам-гадалкам, однако предвещала, что девушки хотят подстроить мне новую шалость, появляясь в этом новом и неожиданном образе.

Замок каббалиста был заперт со всех сторон; ключи были у хозяина, следовательно, я не мог сойти к цыганочкам. Однако, проходя подземельем, которое выходило к руслу ручья, я мог ближе их рассмотреть и даже беседовать с ними, отнюдь не будучи замечен обитателями замка. Вот я и пошел этим тайным ходом, и вскоре только ручей отделял меня от танцовщиц. Но это вовсе не были мои кузины. Вид их показался мне даже очень заурядным и вполне соответствующим их сословию.

Устыдившись своей ошибки, я, еле волоча ноги, вернулся на террасу. Затем я снова взглянул на них и снова несомненным образом узнал моих кузин. Мне показалось, что они также меня узнали, ибо громко расхохотались и скрылись в шатрах.

Я был оскорблен. — Помилуй боже! — сказал я сам себе, — да как это может быть, чтобы два таких милых и сладостных создания были зловещими духами, привыкшими издеваться над смертными, принимать различные образы, или чародейками, или также, что было бы самым ужасным, вампирами, которым небо позволило оживить гнусные трупы висельников из долины Лос Эрманос? — Правда, сперва я полагал, что сумею объяснить себе эти вещи естественным образом, но теперь сам уже не знал, чему я должен верить.

Углубленный в такого рода размышления, я вернулся в библиотеку, где нашел на столе большую книгу, писанную готическими буквами, под названием «Куриозные реляции Хаппелиуса»¹. Книга была раскрыта, и страница как будто нарочно загнута на начале главы, в которой я прочел нижеследующее:

* На цыганский манер (исп.).

** Когда мой желанный Пако
Пускается в пляску со мною,
Все тело мое так и тает,
Как марципан от зноя. . . (исп. диалект).



*История
Тибальда де ла Жакьера*

Некогда в одном французском городе, расположенном на берегах Роны и прозванном Лионом, жил богатый купец, которого звали Жак де ла Жакьер. Этот Жак принял сию фамилию, когда бросил торговлю и был избран первым советником, каковое звание жителя Лиона присваивают лишь людям состоятельным и высочайших достоинств. Таким и был на самом деле почтенный советник де ла Жакьер: милосердный к бедным и благодетель монахов и иных священнослужителей, каковые и являются истинными бедняками перед господом.

Но совершенно не похож на отца был единственный сын советника, мессир Тибальд де ла Жакьер, прапорщик королевской гвардии.

Шалопут, забияка, бабник и охальник, игрок в кости, недруг оконных стекол и фонарей, пьяница и сквернослов, который божился и клялся как дюжина матросов. Часто по ночам ему случалось задерживать на улицах мирных граждан, чтобы обменять у них свой старый плащ или поношенную шляпу на новые. Одним словом, вскоре слухи о проделках мессира Тибальда докатились до Парижа, Блуа, Фонтенбло и других королевских резиденций. Наконец они достигли ушей нашего доброго государя, светлой памяти Франциска Первого². Выведенный из терпения выходками дерзкого вояки, он выслал его в Лион на покаяние в дом отца, почтенного советника де ла Жакьера, который жил тогда близ площади Белькур, на углу улицы Сен-Рамон.

В отцовском доме молодого Тибальда приняли с такой радостью, как будто он возвращался из Рима, одаренный всеми индульгенциями святого отца. Мало того, что закололи жирного тельца в честь его прибытия, но советник де ла Жакьер устроил пир, который стоил больше золотых, чем было сотрапезников. Было сделано даже более. Поднимались тосты за здоровье единственного сына, и каждый желал ему опаматоваться и стать благоразумным. Но эти пожелания не пришлись ему по вкусу. Распутник, взяв золотую чару и наполнив ее вином, заорал:

— Пускай я пойду к ста тысячам миллионов дьяволов вместе с их предводителем, которому я в этом вине завещаю свою кровь и душу, если я когда-нибудь переменюсь!

При этих ужасных словах на головах пирующих волосы встали дыбом, некоторые распрощались тут же, другие поднялись из-за стола. Но и мессир Тибальд также поднялся и вышел на прогулку на площадь Белькур, где нашел двух своих бывших приятелей, подобных себе гуляк. Он обнял их, ввел их к себе в дом и приказал принести для них несколько бутылок вина, вовсе не заботясь ни об отце, ни о других гостях.

Так отметил Тибальд свой первый день по возвращении. На завтра он повторил то же самое и затем продолжал вести такой же образ жизни.

Несчастный отец, терзаемый печалью, решил посвятить себя своему покровителю, святому Иакову, и поставить на его алтарь восковую свечу за десять ливров³, украшенную двумя золотыми кольцами, по пять марок каждое. Но, когда он захотел положить свечу на алтарь, он уронил серебряную лампаду, которая горела перед святым образом. Советник по иному поводу приказал отлить эту свечу, но, думая прежде всего о том, как обратить сына своего на путь истинный, с радостью совершил эту жертву; однако, как только он увидел свечу на земле и лампаду опрокинутой, он решил, что это предвещает несчастье, и опечаленный вернулся домой.

В тот же день Тибальд устроил пир для своих друзей. Опустошив множество бутылок, они, когда уже давно наступила ночь, вышли вместе на площадь Белькур. Там все трое взялись под руки и начали, задрвав головы, расхаживать по площади, как это привыкли делать распутники, когда хотят привлечь к себе внимание девушек. На этот раз, однако, они никого не поймали — на площади не было ни одной женщины, а ночь была такая темная, что невозможно было заметить какую-нибудь в окне. Когда им уже отчаянно надоело одиночество, молодой Тибальд, клянясь по привычке, нарочито грубым голосом заорал:

— Пусть я пойду к ста тысячам миллионов дьяволов вместе с их предводителем, которому в этот миг завещаю свою кровь и тело, если он пришлет мне сюда свою младшую дочку! Я бы переспал с ней, так уж меня это вино разогрело!

Речь эта не понравилась приятелям Тибальда, которые не были еще столь закоренелыми грешниками, и один из них сказал:

— Подумай, приятель, ведь сатана — извечный враг рода человеческого, всегда готовый причинять ему вред, — и поэтому не нужно его ни приглашать, ни называть по имени.

На что Тибальд ответил:

— Как сказал, так и сделаю!

Между тем трое гуляк увидели выходящую из соседнего переулочка женщину под вуалью, весьма стройную и, как казалось, очень молодую. За ней бежал маленький негритенок, но вдруг он споткнулся, упал лицом вниз и разбил фонарь, который нес в руке. Юная незнакомка испуга-

лась и огляделась вокруг, словно не зная, как быть. В тот же миг мессир Тибальд подошел к ней и как можно любезней предложил ей руку, чтобы проводить ее домой. Бедная девушка, минутку поразмыслив, приняла это предложение. И тут мессир Тибальд, обращаясь к приятелям, сказал им вполголоса:

— Теперь вы видите, что тот, кого я призывал, недолго заставил себя ждать. До свиданья, желаю вам покойной ночи.

Два приятеля поняли эти слова и покинули его, смеясь и желая ему весело позабавиться.

А Тибальд подал руку незнакомке, причем маленький негритенок, фонарь которого потух, пошел перед ними. Молодая женщина казалась поначалу столь смущенной, что едва держалась на ногах, но вскоре пришла в себя и смелей оперлась на плечо своего спутника. Порой она спотыкалась и тогда сжимала его руку, чтобы не упасть. Тибальд же, стараясь ее удержать, прижимал ее руку к сердцу, однако всегда с превеликой осторожностью, чтобы не спугнуть дичь.

Они так долго шли вместе, что Тибальд наконец подумал, что они заблудились на улицах Лиона. Он, однако, не жалел об этом, ибо полагал, что, сраженная усталостью, прекрасная незнакомка будет меньше ломаться. Во всяком случае, желая сперва узнать, кто она такая, он попросил ее минутку отдохнуть на каменной скамье, которую они заметили у дверей какого-то дома. Незнакомка согласилась, и они уселись рядом. Тогда Тибальд любезно взял ее за руку и с необычайным остроумием произнес слова:

— Прекрасная блуждающая звезда, поскольку моя звезда захотела, чтобы я тебя встретил этой ночью, сделай мне такую милость и скажи мне, кто ты и где ты живешь.

Молодая женщина сперва колебалась, но вскоре набралась храбрости и начала такими словами:



*История прекрасной девушки
из замка Сомбр Рош*

Меня зовут Орландина, во всяком случае, так меня называли несколько слуг, которые обитали вместе со мной в замке Сомбр Рош в Пиренеях. Я не видела там ни одного человеческого создания, кроме моей дуэньи, которая была глуха, служанки, которая так сильно заикалась, что ее можно было считать немой, и старого слепого привратника.

У привратника было немного дел, ибо он лишь раз в год отворял ворота, и то только одному вельможе, который приходил к нам, чтобы трепать меня по подбородку и беседовать с моей дуэньей на бискайском наречии⁴, которого я совсем не понимаю. К счастью, я уже умела говорить, когда меня заперли в замке Сомбр Рош, иначе я, пожалуй, никогда не научилась бы говорить с этими двумя подругами моего заключения. Что же касается слепого привратника, то я видела его только тогда, когда он подавал нам обед через единственное зарешеченное оконце. Правда, моя глухая дуэнья иногда кричала мне в уши какие-то правила нравственности, но я понимала немного, как если бы была столь же глухой, как она, ибо говорила она мне о супружеских обязанностях, не объясняя мне, что такое супружество. Говорила она порой и о других вещах, но никогда не желала давать никаких объяснений. Нередко заика-служанка пыталась поведать мне также какую-то историю, уверяя, что история эта будет необыкновенно забавной, но она никогда не могла добраться до второй фразы, и поэтому прерывала и первую, и уходила, заикаясь и оправдываясь, но и эти оправдания она произносила с не меньшим трудом, чем обещанную историю.

Я сказала тебе, что у нас было только одно окно, вернее, что только одно окно выходило на двор замка, другие отворялись на другой двор, засаженный несколькими деревьями, представляющими сад, единственный выход из которого вел в мою комнату. Я разводила там кое-какие цветы, и это было единственной моей радостью. Впрочем, я ошибаюсь, у меня была еще одна, столь же невинная забава. В комнате моей стояло большое зеркало, в котором я разглядывала себя каждое утро, едва только вставала с постели. Моя дуэнья приходила также в легком наряде поглядеться в зеркало и забавлялась, сравнивая свою фигуру с моей.

Я также предавалась этому развлечению перед тем, как пойти спать, когда дуэнья моя уже крепко спала. Иногда я воображала себе, что вижу в зеркале подругу моих лет, которая разделяет мои волнения и понимает мои чувства. Чем больше я предавалась иллюзии, тем больше эта забава меня развлекала.

Я уже сказала о некоем господине, который раз в год навещал замок, трепал меня за подбородок и беседовал на бискайском наречии с моей дуэньей. Однажды вельможа этот, вместо того чтобы трепать меня за подбородок, взял меня за руку и проводил в карету, в которой запер меня с моей дуэньей. Смело могу сказать, что он запер нас, ибо свет доходил только сверху.

Мы вышли из кареты лишь на третий день или, вернее, на третью ночь, ибо было уже очень темно, когда мы добрались до цели нашего путешествия. Какой-то незнакомец распахнул дверцы кареты и сказал: — Вы находитесь на площади Белькур, у входа в улицу Сен-Рамон, а этот дом на углу принадлежит советнику де ла Жакьеру. Куда вы хотите, чтобы вас теперь отвезли?

— Прикажи въехать в первые ворота за домом советника, — ответила моя дуэнья.

Тут Тибальд весь превратился в слух, ибо он и в самом деле был соседом одного дворянина по имени де Сомбр Рош, которого считали необычайно ревнивым. Несколько раз он хвалился перед Тибальдом, что покажет ему, как можно иметь верную жену; говорил, что воспитывает в замке своим прехорошенькую девушку, на которой женится, дабы подтвердить правоту своих слов. Но молодой Тибальд отнюдь не знал, что девушка эта находится в эту минуту в Лионе, и очень забавлялся при мысли о том, что она попала в его руки. Тем временем Орландина так продолжала свою речь:

— Итак, мы въехали в ворота, оттуда нас ввели в обширные и богатые покои, а затем по винтовой лестнице в башню, с которой, как мне казалось, днем можно видеть весь город. Но я ошибалась, даже днем нельзя было ничего увидеть, ибо окна были затянуты толстым зеленым сукном. Но зато внутренность башни была освещена золоченой хрустальной люстрой. Дуэнья посадила меня на стул и дала мне для развлечения свои четки, а сама вышла и закрыла двери на засов. Оставшись одна, я бросила четки, схватила ножницы, которые висели у меня на поясе, и разрешила тяжелую зеленую ткань, которой было завешено окно. Тогда я увидела рядом другое окно, а сквозь это окно — ярко освещенную комнату, в которой сидели за столом три юные девушки и трое молодых людей, таких красивых, что лучше и представить нельзя. Они пели, пили, смеялись и ухаживали за девушками, а иногда даже трепали их за под-

бородок, но с совсем иным выражением лица, чем тот вельможа в замке Сомбр Рош, который, однако, лишь за тем и приезжал в наш замок. Потом девушки эти и молодые люди начали постепенно сбрасывать одежды, подобно тому, как я привыкла это делать по вечерам перед зеркалом. В самом деле, они делали это так, как я, а не так, как моя старая дуэнья.

При этих словах Тибальд понял, что дело шло об ужине, который он вчера задал своим приятелям, и он обнял стройный стан Орландины и прижал ее к своему сердцу.

— Вот, точно так поступали эти молодые люди, — продолжала Орландина. — Мне в самом деле казалось, что они замечательно любили друг друга. Наконец, один из пирующих сказал, что сумеет любить лучше других. Двое остальных заявили то же самое о себе. Мнения девушек разошлись. Тогда молодой человек, который первый похвалился своим умением, высказал престранную мысль.

При этих словах Тибальд, который отлично помнил всю вчерашнюю пирушку, чуть не задохся от смеха.

— Ну, а тогда, — сказал он, — прекрасная Орландина, что же за идея пришла в голову этому молодому человеку?

— Ах, не смейся, сударь; я уверяю тебя, что это был чрезвычайно приятный замысел и любопытство мое все возростало, когда двери внешне заперты распахнулись; я быстро схватила свои четки, ибо входила моя дуэнья.

Она взяла меня за руку и провела в карету, которая уже не была так темна, я могла бы отлично увидеть весь Лион, но в темноте заметила только, что мы укатили куда-то далеко. Вскоре мы выехали из городских стен и остановились перед последним домом предместья. С виду это была обыкновенная хижина, даже крытая соломой, но внутреннее убранство ее было совсем иным, как ты сам в этом убедишься, если только негритенок не забыл дорогу, ибо я вижу, что он раздобыл огня и зажег фонарь.

Этими словами Орландина завершила свою историю. Тибальд поцеловал ей руку и сказал:

— Изволь, прекрасная беглянка, поведать мне — одна ли ты обитаешь в этой хижине?

— Совершенно одна, — ответила незнакомка, — только с дуэньей и этим вот негритенком. Но не думаю, чтобы дуэнья успела нынче ночью вернуться домой. Господин, который приезжал трепать меня по подбродку, приказал мне прийти с ней к своей сестре. Так как он не мог

прислать кареты, которую отправил за священником, мы пошли пешком. Кто-то задержал нас на улице, чтобы сказать мне, что я прекрасна. Глухая дуэнья рассудила, что он мне нагрубил, и вступила с ним в пререкания. Собралось множество людей и вмешались в ссору. Я испугалась и пустилась наутек, что есть силы. Негритенок побежал за мной, упал и разбил фонарь; я и сама не знала, как быть, когда, к счастью, встретила тебя.

Тибальд, придя в восторг от этого простодушного рассказа, вновь принялся любезничать, но тут негритенок принес зажженный фонарь, свет которого упал на лицо молодого Тибальда де ла Жакьера.

— Что я вижу, — воскликнула Орландина, — ты тот самый, который вчера похвалялся своею удачью!

— Ваш покорный слуга, — ответил ей Тибальд, — однако уверю вас, что то, что я делал вчера, сущие пустяки по сравнению с тем, чего может ожидать от меня женщина учтивая и благородная. Ни одна из вчерашних девиц не заслуживает подобного имени.

— Как так? Ведь казалось же, что ты так любишь всех этих трех девушек! — прервала Орландина.

— О, одним доказательством больше, что я истинной любовью не любил ни одну из них, — сказал Тибальд.

Орландина щебетала, Тибальд прижимался к ней, и так, сами не ведая как, они зашли на самый край предместья и добрались до заброшенной хижины, которую негритенок отпер ключом, висящим у него на поясе. Во внутреннем убранстве хижины не было ничего от сельского убожества. Стены были увешаны фламандскими коврами, затканными чудесными узорами, образующими, казалось, живые фигуры. С потолка свисали люстры, отделанные чистым серебром. Дорогие шкафы из слоновой кости и из черного дерева, покойные кресла, покрытые генуэзским бархатом, изукрашенные золотой бахромой, стояли рядом с мягкими диванами, обитыми венецианским муаром. Однако Тибальд на все это не обращал ни малейшего внимания, он видел только Орландину и ожидал развязки удивительного приключения.

Тем временем негритенок пришел накрыть на стол, и Тибальд тогда только впервые заметил, что это не ребенок, как он полагал раньше, но старый черный карла отталкивающей внешности. Впрочем, маленький человечек принес вещи, в которых не было ничего дурного: большое золоченое блюдо, на котором исходили паром четыре куропатки, отлично приготовленные, а подмышкой — бутылку сладкого вина, настоянного на корице. Едва Тибальд утолил голод и напился, как почувствовал, будто огонь разливается по его жилам. Что до Орландины, то она ела мало, но все время поглядывала на своего сотрапезника, то бросая ему нежные и невинные взоры, то вновь всматриваясь в него с таким злорадством, что молодому человеку делалось не по себе.

В конце концов негритенок пришел убрать со стола. Тогда Орландина взяла Тибальда за руку и сказала:

— Как же, прекрасный кавалер, мы проведем этот вечер?

Тибальд не знал, что на это ответить.

— Мне взбрела в голову одна мысль, — продолжала она, — видишь это большое зеркало? Пойдем кривляться перед ним, как я это делала когда-то в замке Сомбр Рош. Меня забавляло тогда сравнение фигуры моей дуэньи с моей собственной; теперь я хотела бы увидеть разницу, какая есть между мной и тобой.

Орландина придвинула стул к зеркалу, после чего развязала брыджи на шее Тибальда и сказала:

— Шея у тебя почти такая же, как моя, плечи тоже — но до чего иная у тебя грудь! Год назад еще не было этой разницы, но теперь я просто не могу узнать свои перси — так они переменились! Сбрось, прошу тебя, твой пояс и расстегни кафтан. О, что это еще за бахрома?..

Тибальд, уже не владея собой, понес Орландину на диван — в этот миг он считал себя счастливейшим из смертных... Вдруг он почувствовал, будто кто-то запускает ему когти в шею.

— Орландина! — вскричал он, — Орландина, что это значит?

Но Орландины уже больше не было. Тибальд увидел на ее месте нечто отвратительное и незнакомое ему доселе.

— Я не Орландина, — завопило чудовище, — я — Люцифер!

Тибальд хотел призвать на помощь спасителя, но сатана, который разгадал его замысел, зубами впился ему в горло и не позволил вымолвить это святое имя.

На следующее утро крестьяне, едущие в Лион с овощами на рынок, услышали доносящиеся из заброшенной придорожной лачуги стоны и жалобы. Они вошли и нашли молодого Тибальда лежащим на гниющей падали. Они взяли его, принесли в город, и несчастный де Ла Жакьер узнал своего сына.

Его положили на постель; вскоре Тибальд, казалось, начал приходить в себя и слабым, еле внятным голосом произнес:

— Отворите двери этому святому отшельнику, отворите как можно скорее!

Сперва его не поняли, однако дверь отворили и увидели почтенного монаха, который велел, чтобы его оставили с глазу на глаз с Тибальдом. Его желание удовлетворили, и двери за ним заперли.

Долго слышались еще увещания отшельника, на которые Тибальд отвечал мощным голосом:

— Поистине, отец мой, я каюсь в грехах своих и уповаю только на милосердие божие!

Наконец, когда все стихло, двери решили отворить. Отшельник исчез, Тибальд же лежал мертвый с распятием в руках.

Едва я кончил эту историю, как вошел каббалист, который как будто хотел прочесть по моим глазам впечатление, которое я испытал. Действительно, приключения Тибальда очень удивили меня, но я не хотел этого показывать и ушел к себе. Тут я вновь начал размышлять обо всем том, что со мной случилось, и почти уверовал, что дьяволы, ради того, чтобы ввести меня в обман, оживили трупы двоих висельников и что — кто знает — может быть я и есть второй Тибальд?

Зазвонили к обеду. Каббалист к столу не вышел. Все были, как мне казалось, в рассеянности, может быть оттого, что я и сам не мог собраться с мыслями.

После обеда я вернулся на террасу. Цыгане со всем табором отделились уже от замка на значительное расстояние. Странные цыганки вовсе не явились; а тем временем наступила ночь, и я ушел в свою комнату. Долго ждал прихода Ревекки, но на сей раз понапрасну, и, наконец, уснул.



День одиннадцатый

Ревекка разбудила меня. Открыв глаза, я увидел прекрасную израиль-тянку, она сидела на моей постели и держала мою руку.

— Отважный Альфонс, — сказала она, — ты хотел вчера тайком пробраться к двум цыганкам, но решетка, закрывающая выход к ручью, была заперта. Приношу тебе ключ от нее. Если они и сегодня покажутся перед замком, я прошу тебя, чтобы ты пошел за ними даже в их табор. Ручаюсь, что ты осчастливишь моего брата, если сумеешь сообщить ему о них что-нибудь новое. Что до меня, — с грустью добавила она, — я вынуждена удалиться. Моя судьба, мой странный рок требуют этого от меня. Ах, отец мой, почему ты не создал меня подобной всем прочим смертным? Я чувствую, что более способна любить на самом деле, чем в зеркале.

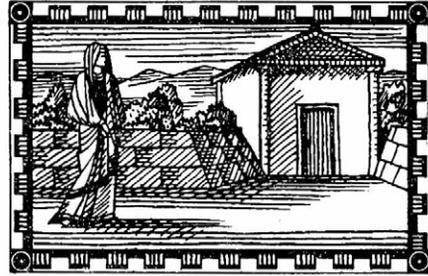
— Что ты имеешь в виду под этой любовью в зеркале?

— Ничего... ничего, — прервала Ревекка, — ты об этом когда-нибудь узнаешь. Прощай, прощай, до свидания!

Еврейка удалась в чрезвычайном волнении, я же подумал, что ей очень нелегко сохранять верность двум небесным близнецам, которым она предназначена в жены, как меня в том уверял ее брат.

Я вышел на террасу; цыгане далеко уже отошли от замка. Взял книгу из библиотеки, но не смог долго читать. Я был рассеян, и голова моя была занята чем-то другим. Наконец, нас позвали к столу. Беседа, как обычно, шла о духах, привидениях и упырях. Хозяин говорил нам, что древние имели о них смутные понятия и называли их эмпузами, ларвами и ламиями, но что древние каббалисты были столь же мудры, как и нынешние, хотя их знали только под именем философов, но ведь философами называли также многих людей, и понятия не имеющих о герметических науках. Отшельник вспомнил о Симоне Маге¹, но Узедэ считал, что именно Аполлоний Тианский² заслуживает славы наиболее сведущего каббалиста тех времен, так как он достиг неслыханной власти надо всем пандемониумом. Сказав это, он отправился на поиски сочинения Филострата³, изданного в 1608 году Морелем, взглянул на греческий текст и без малейшей запинки стал переводить на чистейший испанский то, что я вам перескажу:

*История лицеиста
Мениппа*



Жил некогда в Коринфе лицеист, которого звали Мениппом. Ему было двадцать пять лет, он был остроумен и пригож. В городе рассказывали, что в него влюбилась некая богатая и прекрасная чужеземка, с которой он случайно свел знакомство. Он встретил ее на дороге, ведущей в Кенхрею; незнакомка с приятной улыбкой приблизилась к нему и молвила:

— О, Менипп, я люблю тебя уже давно; я финикиянка и живу на краю ближнего предместья Коринфа. Если ты захочешь прийти ко мне, услышишь, как я пою, и напьешься вина, какого еще никогда в жизни не пробовал. Тебе не нужно опасаться никаких соперников; ты найдешь меня всегда столь же верной, сколь порядочным я тебя считаю.

Молодой человек, хотя и сдержанный от природы, не умел сопротивляться этим сладким словам, выходящим из коралловых уст, и всей душой привязался к новой возлюбленной.

Когда Аполлоний впервые узрел Мениппа, он начал глядеть на него, как скульптор, жаждущий вылепить его изваяние, а затем сказал ему:

— Прекрасный юноша, ты ласкаешь змия, который коварно оплел тебя.

Мениппа удивила эта странная речь, но Аполлоний миг спустя добавил:

— Тебя любит женщина, которая не может стать твоей женой. Ты полагаешь, что она тебя воистину любит?

— Без сомнения, — возразил молодой человек, — я уверен в ее любви.

— И ты женишься на ней? — спросил Аполлоний.

— Почему бы мне не жениться на женщине, которую я так безумно люблю?

— А когда состоится обручение?

— Быть может, завтра, — ответил Менипп.

Аполлоний запомнил время пира и, когда гости собрались, вошел в комнату, говоря:

— Где же прекрасная хозяйка этого пира?

— Она здесь, недалеко, — ответил Менипп, после чего поднялся, несколько покраснев.

Аполлоний продолжал говорить:

— Это золото, серебро и прочие украшения, кому принадлежат они? Тебе или этой женщине?

— Этой женщине, — сказал Менипп, — у меня, кроме моего плаща философа, ничего нет.

Тогда Аполлоний обратился к пирующим:

— Видели ли вы когда-нибудь сады Тантала, которые существуют и не существуют?

— Мы видели их у Гомера, — ответили пирующие, — ибо сами не спу- скались в ад.

Тогда Аполлоний сказал им:

— Все, что вы здесь видите, подобно этим садам. Все это только обманчивая внешность, за которой нет никакой действительности. И, чтобы убедить вас в истинности моих слов, я скажу вам, что эта женщина — одна из эмпуз⁴, обычно называемых ларвами⁵ или ламиями⁶. Эти ведьмы жаждут не столько любовных восторгов, сколько человеческого мяса, и соблазнами наслаждений манят тех, которых хотят по- жрать.

— Ты мог бы сказать нам нечто более разумное, — прервала его лже- финикиянка и, покраснев от гнева, начала порочить философов и называть их безумцами. Тогда Аполлоний произнес несколько слов, и вдруг золо- тая и серебряная посуда и украшения комнаты исчезли. Исчезли в одно мгновение и все слуги. Тогда эмпуза сделала вид, что плачет, и умоляла Аполлония, чтобы он перестал ее мучить, но тот, не обращая внимания на ее мольбы, все сильнее нападал на нее, так что она в конце концов призналась, что не скупилась на всяческие наслаждения для Мениппа, чтобы потом его сожрать, и что больше всего ей по вкусу молодые люди, кровь которых прибавляет ей здоровья.

— Я полагаю, — произнес отшельник, — что она хотела пожрать ско- рее душу, чем тело Мениппа, и что эмпуза эта была попросту дьяволом вождления, однако я не понимаю, что это были за слова, которые при- давали Аполлонию такое могущество. Ибо философ этот не был христи- анином и не мог применять страшного оружия, которое церковь вложила в наши руки; кроме того, если древние и могли в известном смысле обуздывать злых духов еще до рождества Христова, то все же крест, приказав замолкнуть всяческим прорицателям, тем паче лишил могуще- ства идолопоклонников. Итак, я полагаю, что Аполлоний не только не был в состоянии изгнать самого малого дьявола, но даже не имел ника- кой власти над последним из духов, ибо призраки эти появляются на земле по господнему соизволению, и притом всегда просят отслужить обед- ни, которых, как вам известно, совершенно не знали в языческие вре- мена.

Узеда был противоположного мнения; он считал, что язычники, точно так же, как и христиане, бывали искушаемы злыми духами, хотя причины искушений могли быть совершенно иными, и, чтобы доказать то, о чем говорил, взял том писем Плиния⁷ и начал читать нижеследующее:



История философа Афинодора

Стоял в Афинах дом — обширный и пригодный для жилья, но пользовавшийся дурной славой и заброшенный. Не раз среди ночной тишины слышалось в нем бряцание железа, ударяющегося о железо, а если прислушаться повнимательней, то и звон цепей, который сперва, казалось, доносился издалека, а потом — все приближался. Вскоре появлялось видение, похожее на исхудалого и сгорбленного старца с длинной бородой, вставшими дыбом волосами и оковами на руках и ногах, которыми он жутким образом потрясал. Гадкое это привидение лишало жителей сна, а постоянная бессонница вызывала недуги, завершающиеся весьма печально. Среди дня, когда призрака не было, его ужасный образ по-прежнему стоял перед глазами, и даже самые смелые проникались страхом. Наконец, обитатели покинули дом и целиком оставили его призраку. Впрочем, вывешена была надпись, свидетельствующая о том, что владелец хочет избавиться от бесполезного строения, в надежде, что какой-либо чужеземец, не знающий об ужасах, творящихся в доме, легко даст себя обмануть.

В это время философ Афинодор прибыл в Афины. Он увидел надпись и осведомился о цене; его поразила необычайная дешевизна, он стал допытываться о причинах и когда ему поведали всю историю, вместо того, чтобы отступить, он лишь с большей поспешностью совершил купчую. Он въехал в дом, и под вечер приказал внести свое ложе в покои, расположенные по фасаду, принести лампу и таблички для писания, слугам же повелел удалиться в заднее крыло строения. Засим, боясь, чтобы разыгравшееся воображение не занесло его слишком далеко и не представило ему вещи вовсе не существующие, приготовил свой разум, глаза и руки для писания.

В начале ночи, как во всем доме, так и в той его части, где расположился философ, царило полное молчание, однако вскоре Афинодор услышал скрежет железа и бряцание оков; тем не менее он не поднял глаз, не бросил пера, успокоился и принудил себя не обращать никакого внимания на внешние события. Между тем шум все усиливался, он уже достиг дверей и, наконец, стал слышен в самой комнате. Философ поднял глаза и увидел призрак, именно такой, какой ему описывали. Привидение остановилось в дверях и манило его пальцем. Афинодор жестом велел ему обождать и вновь склонился над своими записями, но призрак, явно потеряв терпение, торчал над самой головой философа, потрясая оковами.

Мудрец повернулся и, увидев, что дух не перестает его призывать, встал, взял светильник и пошел за призраком. Видение двигалось медленно, как будто угнетенное бременем оков, оно вышло во двор дома и внезапно на самой середине двора провалилось сквозь землю. Оставшись один, философ отметил это место листьями и камнями и наутро отправился к городским властям, прося, чтобы они распорядились предпринять поиски. Выкопали яму и нашли скелет в оковах. Город приказал почтить эти останки достойным погребением, и на следующий день после оказания мертвецу этой последней услуги в доме навсегда воцарился покой.

Каббалист, прочитав эту историю, добавил:

— Духи, как мы здесь убеждаемся, достопочтенный отец, являлись со времен незапамятных. Доказывает это нам случай с Аэндорской волшебницей⁸ — и каббалисты никогда о нем не забывали. При всем том, однако, я признаю, что в мире духов произошли большие перемены. Так, например, вампиры, если смею так выразиться, принадлежат к новейшим открытиям. Я различаю среди них два рода, а именно: упыри венгерские и польские, которые попросту являются трупами, выходящими среди ночи из могил, чтобы сосать кровь людей, и испанские вампиры или нечистые духи, которые, входя в первое попавшееся тело, придают ему произвольный облик...

Каббалист явно хотел перевести разговор на предметы, касающиеся меня, и посему я поднялся, быть может, даже слишком поспешно, и вышел на террасу. Не прошло и получаса, как я увидел моих двух цыганок, которые, казалось, шли по дороге к замку, и с этого расстояния как две капли воды были схожи с Эминой и Зибельдой. Я решил тотчас же воспользоваться ключом, сходил в свою комнату за шляпой и шпагой и минуту спустя был уже у решетки. Отворив ее, я понял, что должен еще перебраться на другую сторону ручья. К счастью, вдоль стены я обнаружил как бы нарочно вделанные крючья, воспользовавшись коими и добрался до каменистого русла; прыгая с одного камня на другой, я очу-

тился на другой стороне и сразу же узрел перед собой двух цыганок, которые, впрочем, вовсе не были моими кузинами. Хотя все их жесты были иными, однако манера их обращения весьма отличалась от поведения грубоватых и невоспитанных женщин этого племени. Мне почему-то подумалось, что они лишь на какое-то время и ради тайных целей взяли на себя эти роли. Они сразу же захотели погадать мне; одна из них поднесла к глазам мою руку, в то время как другая, делая вид, что читает по ней все мое будущее, говорила на свойственном ей жаргоне:

— Ah, Caballero, che vejo en vuestra bast! Dirvanos kamela, ma por quen? Por demonios! — что означает: «Ах, благородный господин, что я вижу на твоей ладони! Страстную любовь, но к кому? К дьяволам!»

Легко можно догадаться, что я никогда бы не понял, что *dirvanos kamela* означает на цыганском языке страстную любовь, но девушки перевели мне эти слова. Затем, взяв под руки, они проводили меня в свой табор, где представили бодрому старику, которого они называли отцом. Старик, злорадно взглянув на меня, сказал:

— Знаешь ли ты, сеньор кавалер, что находишься в банде, о которой ходят в окрестностях весьма невыгодные слухи? Не боишься ли ты нашего общества?

При слове «боишься» я оперся на эфес моей шпаги; но старик учтиво подал мне руку и прибавил:

— Прости, сеньор кавалер, я не имел намерения тебя оскорбить; напротив, я хотел просить тебя, чтобы ты провел с нами несколько дней. Если путешествие в горы может тебя развлечь, мы обещаем показать тебе красивейшие и страшнейшие места: долины, чарующие прелестью, бок о бок с пропастями, вселяющими ужас, — ну, а если ты любитель поохотиться, то будешь иметь возможность удовлетворить свою страсть.

Я принял его предложение с тем большей поспешностью, что разглашательства каббалиста начали уже наводить на меня скуку, так же, как и уединенность его замка с каждым днем становилась для меня все несносней.

Затем старый цыган провел меня в свой шатер, говоря:

— Сеньор кавалер, шатер этот будет твоим жилищем все то время, которое ты пожелаешь провести под его сенью. Кроме того, я прикажу поставить рядом маленький шатер, в котором буду спать сам, чтобы тем надежней оберегать твою безопасность.

Я отвечал ему на это, что, имея честь быть капитаном валлонской гвардии, я ни у кого не должен искать покровительства, кроме как у собственной шпаги. В ответ на мои слова старик усмехнулся и сказал:

— Сеньор кавалер, мушкеты наших разбойников так же способны убить капитана валлонской гвардии, как и всякого иного человека; однако, если эти господа однажды получают предостережение, ты смо-

жешь даже спокойно отлучаться. А до тех пор неразумно было бы подвергать себя излишней опасности.

Старик был прав, и я устыдился своего ненужного геройства.

Мы провели вечер, обходя табор и беседуя с двумя цыганками, которые показались мне удивительнейшими и в то же время счастливейшими в мире созданиями. Затем был накрыт ужин под раскидистым рожковым деревом, тут же, рядом с шатром вожака. Мы растянулись на оленьих шкурах; перед нами вместо скатерти расстелили буйволону шкуру, выделанную как лучший сафьян. Блюда, в особенности дичь, были превосходны. Дочери вожака наливали нам вино, впрочем, я предпочитал утолять жажду водой, которая в двух шагах от нас вырывалась из скалы прозрачной струей. Вожак учтиво поддерживал разговор; он, по-видимому, знал о прежних моих приключениях и предсказывал мне новые. Наконец, пришло время отправляться на покой. Мне постлали в шатре вожака и поставили стражу у входа.

Ровно в полночь меня разбудил какой-то шорох. Я слышал, как с обеих сторон поднимали мое одеяло и прижимались ко мне. Боже правый, — сказал я себе, — неужели я вновь проснусь между двумя висельниками? — Однако я не задержался на этой мысли; по-видимому, законы цыганского гостеприимства предписывали оказывать мне честь именно таким образом, и я решил, что военному человеку моих лет следует привыкаться к принятым здесь обычаям. В конце концов я заснул в глубочайшей уверенности, что на сей раз имел дело не с висельниками.

День двенадцатый

И в самом деле, проснулся я не под виселицей Лос Эрманос, а в собственной постели, от шума, который производили цыгане, готовясь к новому кочевью.

— Вставай, сеньор кавалер, — сказал мне вожак, — нам предстоит далекий путь. Но ты получишь мула, равного которому не найти во всей Испании, и ручаюсь, что ты не ощутишь усталости.

Я поспешно оделся и оседлал мула. Мы двинулись вперед вместе с четырьмя цыганами, вооруженными до зубов. Остальной табор в отдалении следовал за нами, возглавляемый двумя молодыми девушками, с которыми, насколько я догадывался, я провел минувшую ночь. Следуя по извивам горной тропы, я то оказывался выше, то ниже на несколько сотен футов по сравнению с ним. Тогда я приостанавливался, и мне снова начинало казаться, что я вижу моих кузин. А старого вожака забавляло мое смущение.

После четырех часов ускоренного марша мы прибыли на вершину высокой горы, где нашли множество больших тюков. Вожак сразу же считал их и записал. Потом сказал мне:

— Вот, сеньор кавалер, перед тобой английские и бразильские товары, достаточные для четырех королевств: Андалузии, Гранады, Валенсии и Каталонии. Правда, король терпит известный ущерб от нашей торговлишки, но, с другой стороны, у него есть иные статьи дохода, а известное количество контрабанды забавляет и утешает в горестях бедный испанский народ. Впрочем, в Испании решительно все этим занимаются. Некоторые из этих тюков будут сложены в солдатских казармах, другие — в кельях монахов и даже в могильных склепах. Тюки, помеченные красным, попадут в руки таможенников, которые похвалятся ими перед властями. Этот скромный дар еще больше настроит их в нашу пользу.

Говоря это, вожак цыган велел спрятать тюки в разных нишах в скалах, после чего приказал, чтобы накрыли обед в пещере, вид из которой простирался дальше, чем хватало глаз; казалось, что горизонт сливается с небесной лазурью. Красоты природы с каждым днем производили на меня все более сильное впечатление. Вид этот привел меня в неопикуемый восторг, я забылся; из этого состояния вывели меня две дочери вожака, которые принесли обед. Вблизи, как я уже сказал, они насколько не были похожи на моих кузин; взгляды их, бросаемые украдкой, давали мне понять, что они довольны и удовлетворены, но некое тайное чувство подсказывало мне, что не они были участницами ночного приключения. Между тем девушки принесли горячую олью-подриду,

которую люди, высланные вперед, варили с утра. Старый вожак и я вполне воздали ей должное, с той только разницей, что он прерывал еду, частенько прикладываясь к пузатому бурдюку с вином, я же ограничивался свежей водой из соседнего источника.

Когда мы утолили голод, я сказал вожаку, что мне интересно было бы поближе познакомиться с ним; он долго отнекивался, я же все упорнее приставал к нему, так что наконец он согласился рассказать мне свою историю и начал такими словами:



История Пандесовны, вожака цыган

Все испанские цыгане знают меня под именем Пандесовны. На их жаргоне это дословный перевод моей родовой фамилии Авадоро, ибо, знай, сеньор, что я рожден отнюдь не среди цыган. Отца моего звали дон Фелипе де Авадоро, и слыл он самым серьезным и самым методичным человеком среди своих современников. Он даже был до такой степени систематичен, что если бы я рассказал историю одного его дня, ты бы понял весь образ его жизни, и, во всяком случае, того периода, который протек между двумя его женитьбами: первой, которой я обязан своим появлением на свет, и второй, которая вызвала его кончину, ибо нарушила привычное течение его жизни.

Отец мой, живя еще в доме своего деда, влюбился в дальнюю свою родственницу, на которой женился, как только смог распорядиться собой по своему усмотрению.

Бедная женщина умерла, давая мне жизнь; отец же, безутешный после этой утраты, заперся у себя на несколько месяцев, не желая видеть даже никого из родных.

Время, которое излечивает все страдания, смягчило также и его печаль, и, наконец, увидели, как он распахнул двери своего балкона, выходящего на улицу Толедо. В течение четверти часа он дышал свежим воздухом, а потом пошел открыть другое окно, которое выходило в переулок. Он заметил в доме напротив несколько своих знакомых и довольно приветливо поздоровался с ними. В последующие дни он регулярно по-

вторял то же самое, пока, наконец, весть об этой перемене не дошла до ушей фра Херонимо Сантеса, монаха-театинца, дяди моей матери.

Монах этот заглянул к моему отцу, поздравил его с выздоровлением, не слишком много толковал об утешениях, какие нам дает религия, но усиленно уговаривал его, чтобы он больше развлекался. Он даже зашел настолько далеко, что посоветовал отцу сходить в комедию. Отец мой, безгранично доверявший фра Херонимо, в тот же самый вечер отправился в театр де ла Крус. Там как раз играли новую пьесу, которую поддерживала вся партия Поллакос, в то время как другие, так называемые Сорисес, изо всех сил старались ее освистать. Соперничество этих двух партий настолько увлекло моего отца, что с тех пор он по своей воле не пропустил ни одного спектакля. Вскоре он присоединился к партии Поллакос и только тогда ходил в театр Принца, когда де ла Крус бывал закрыт.

По окончании спектакля он обычно становился в конце двойной шпалеры, которую образуют мужчины, чтобы вынудить женщин проходить одну за другой. Он делал это, однако, вовсе не для того, чтобы, как иные, разглядывать их, напротив, все они мало его интересовали, и как только последняя из них проходила, он спешил в трактир «Под мальтийским крестом», где перед тем, как отправиться на покой, съедал легкий ужин.

Поутру первым занятием моего отца было распахнуть балконную дверь, выходящую на улицу Толедо. Тут в течение четверти часа он дышал свежим воздухом, затем шел отворять другое окно, которое выходило в переулок. Если он замечал кого-нибудь в окне напротив, то учтиво здоровался с ним, говоря «агиг»*, после чего закрывал окно. Слово агиг нередко бывало единственным, которое он произносил за весь день, ибо хотя он необычайно переживал успех всех комедий, сыгранных в театре де ла Крус, однако свой интерес он всегда выражал только рукоплесканиями.

Если же в окне напротив никто не показывался, он терпеливо ожидал минуты, когда сможет с кем-нибудь поздороваться. Затем отец посещал мессу у театинцев. Возвратясь домой, он находил комнату, старательно убранную служанкой, и с необыкновенной дотошностью переставлял вещи на места, на которых они обычно стояли. Он делал это всегда с превеликим вниманием и мгновенно обнаруживал мельчайшую соломинку или пылинку, ускользнувшую от служанкиной метлы.

Наведя порядок в своей комнате, он брал циркуль и ножницы и нарезал двадцать четыре кусочка бумаги равной величины, набивал их бразильским табаком и скручивал двадцать четыре сигарки, которые были настолько гладко и аккуратно сложены, что их смело можно было счесть

* Здравствуйте (исп.).

самыми совершенными сигарками во всей Испании. Затем он выкуривал полдюжины этих шедевров, считая черепицы дворца герцога Альбы, и еще полдюжины — считая людей, проходящих через Толедские ворота. Совершив это, он начинал смотреть на двери своей комнаты, пока ему не приносили обед.

После обеда он выкуривал дюжину оставшихся сигарок, а потом начинал смотреть на часы и смотрел до тех пор, пока не наступало время отправляться в театр. Если же в этот день не было спектакля, он шел к книгопродавцу Морено, где прислушивался к спорам нескольких литераторов, которые имели обыкновение собираться по известным дням, никогда, впрочем, не вмешиваясь в их беседу. Если ему нездоровилось и он не выходил из дому, он посылал к книгопродавцу Морено за пьесой, которую в этот день играли в театре де ла Крус, и когда наступал час спектакля, принимался за чтение, не упуская случая аплодировать сценам, которые особенно нравились партии Поллакос.

Этот образ жизни был чрезвычайно невинным, но отец мой, стараясь исполнить все, что предписывает долг и религия, отправился к монахам-театинцам с просьбой, чтобы ему назначили исповедника. Ему прислали фра Херонимо Сантеса, который воспользовался этим случаем, чтобы напомнить ему о том, что я существую и обретаюсь в доме доньи Фелисии Даланоса, сестры моей покойницы-матери. Отец, то ли из опасения, чтобы я ему не напомнил возлюбленной особы, невольной причиной смерти которой был он сам, то ли потому, что не хотел, чтобы мои младенческие визги возмутили неизменное спокойствие его привычек, упросил фра Херонимо, чтобы он никогда не приводил меня к нему. Однако в то же самое время он позаботился обо мне, назначил мне доход от фермы, которой он владел в окрестностях Мадрида, и отдал меня под опеку эконома театинцев.

Увы! Я полагаю, что отец мой отдалял меня от себя, предчувствуя необычайную разницу наших характеров, разницу природную и изначальную. Ты уже заметил, сеньор, до чего он был систематичен и уравновешен во всех своих мельчайших привычках. И вот, я смело могу ругаться тебе, что не было на земле человека более непостоянного, чем я. Я не мог проявить постоянство даже в своем непостоянстве, ибо мысль о мирном счастье и жизни в одиночестве постоянно терзала меня на протяжении всех моих кочевых дней, однако стремление к переменам не позволяло мне даже и подумать о том, чтобы осесть где-нибудь. Беспокойство это терзало меня до такой степени, что однажды поняв, наконец, себя, я решил навсегда положить предел своим колебаниям, найдя убежище в этом цыганском таборе. Правда, этот образ жизни тоже довольно однообразен, но зато я все-таки не должен глядеть всегда на одни и те же деревья, одни и те же утесы, или, что было бы еще несносней, — на одни и те же улицы, стены и крыши.

Тут я сказал старику:

— Сеньор Авадоро или Пандесовна, я полагаю, что в этой скитальческой жизни ты должен был испытать множество необычайных приключений?

— В самом деле, — ответил цыган, — с тех пор, как я стал жить в этих дебрях, я видел множество необычайных вещей. Что же касается до остальной моей жизни, то в ней было мало занимательных случаев. Изумляет только пыл, с каким я хватался за все новые занятия, и отвращение, с каким я их вскоре бросал.

Ответив мне так, цыган следующим образом продолжал свою речь:

— Я уже сказал тебе, что тетка моя, донья Даланоса, держала меня у себя. Своих детей у нее не было, и она умела сочетать в своих чувствах ко мне потворство тетушки со снисходительностью матери; короче говоря, я был избалованным ребенком в полном смысле этого слова. К тому же с каждым днем я портился все больше; по мере того, как я креп душой и телом, я набирался сил для злоупотребления ее неисчерпаемой добротой. С другой стороны, не встречая ни малейшего препятствия в своих желаниях, я не противился воле других, что создало мне репутацию необычайно послушного дитяти. Сверх того, приказания моей тетки сопровождалась всегда столь кроткой и нежной улыбкой, что у меня не хватало духу сопротивляться ей. Наконец, достойная донья Даланоса, видя мои успехи, убедила себя, что природа, не без ее, теткиной, помощи, создала во мне один из своих редкостнейших шедевров. Для ее полного счастья не доставало только, чтобы мой отец мог быть свидетелем моих неслыханных успехов; тогда он мгновенно удостоверился бы, до чего я совершенен. Намерение это, однако, нелегко было осуществить, ибо отец мой по-прежнему упорствовал в своем решении не видеть меня никогда.

Есть ли на свете такое упрямство, какого женщина не смогла бы преодолеть? Донья Даланоса с такой настойчивостью и энергией принялась за своего дядюшку Херонимо, что тот наконец обещал воспользоваться первой же исповедью моего отца и хорошенько отчитать его за жестокое равнодушие, с которым он относится к ребенку, не сделавшему ему в жизни ничего худого. Фра Херонимо сдержал свое обещание, однако мой отец не мог без ужаса подумать о мгновении, когда он впервые впустит меня в свою комнату. Фра Херонимо предложил устроить встречу в саду Буэн Ретиро, но прогулка эта ни в коей мере не укладывалась в систематический и монотонный образ жизни, от которого мой отец никогда не отступал ни на шаг. Он предпочел, уж если на то пошло, принять меня у себя, и фра Херонимо сообщил эту радостную весть моей тетушке, которая чуть не умерла от счастья.

Я должен тебе признаться, что десять лет меланхолии прибавили к отшельническому образу жизни моего отца множество чудачеств. Среди

прочих причуд он приобрел престраннейшую страсть к собственноручному изготовлению чернил; первой же причиной этого удивительного пристрастия была следующая: однажды, когда он находился в обществе нескольких литераторов и правоведов у книгопродавца Морено, разговор зашел о том, как трудно достать хорошие чернила; каждый признал, что ему нечем писать и что он тщетно силится сам заняться изготовлением столь необходимого материала. Морено сказал, что у него в лавке есть сборник всевозможных рецептов, среди коих, верно, найдутся и рецепты изготовления чернил. Он пошел за этой книгой, однако не смог отыскать ее сразу, а когда вернулся, разговор перешел уже на какой-то другой предмет; все разбирались в причинах успеха новой пьесы и никто уже не хотел слушать ни о чернилах, ни о рецептах, по которым они приготавливаются. Однако отец мой поступил совершенно иначе. Он взял книгу, сразу же нашел способ приготовления чернил и чрезвычайно удивился, видя, что с легкостью понял предмет, который знаменитейшие ученые Испании считали неслышанно трудным. И впрямь, секрет заключался только в правильном смешении настойки чернильного орешка с разбавленной серной кислотой и в добавлении соответствующего количества резины. Автор, однако, доказывал, что получить хорошие чернила можно лишь тогда, когда приготавливается сразу большое количество жидкости при условии бдительного перемешивания ее; ибо иначе резина, не имея никакого сродства с металлическими веществами, будет усиленно стремиться отделиться от них и что к тому же сама резина склонна к гнилостному распаду, которого можно избежать, только добавляя к смеси немного алкоголя.

Отец купил книгу и на следующий день позаботился приобрести необходимые ингредиенты, аптекарские весы и самую большую бутылку, какую только можно было найти в Мадриде, в соответствии с рекомендациями автора. Чернила удалась на славу; отец принес бутылку литераторам, собравшимся у Морено, литераторы признали чернила превосходными и попросили еще.

Ведя существование тихое и уединенное, отец мой не имел никогда случая оказать кому-либо какую-либо услугу и снискать за это надлежащие похвалы. Следовательно, он нашел новую приятность в том, что люди оказывались ему обязаны и он мог принимать благодарности, поэтому он особенно привязался к занятию, доставляющему ему столько приятных минут. Видя, что мадридские литераторы в мгновение ока извели самую большую бутылку, какую он только мог отыскать во всем городе, он приказал доставить из Барселоны громадную бутылку вроде тех, в которых матросы на Средиземном море держат вино на кораблях. Таким образом он смог сразу приготовить двадцать бутылок чернил, которые лучшие умы столь же быстро исписали, осыпая моего отца похвалами и благодарностями.

Однако чем больше были стеклянные сосуды, тем больше неудобств и затруднений они вызывали. Нельзя было одновременно греть и перемешивать жидкость; что уж говорить о неудобствах, когда дело доходило до переливания из одной посуды в другую. Тогда мой отец решил выписать из Тобосо большой глиняный котел, употребляющийся для приготовления селитры. Когда возжеленный котел прибыл, он приказал поместить его на печи, в которой поддерживал неугасимый огонь. Кран, сделанный снизу, служил для выпуска жидкости, а ступив на край печи, можно было весьма удобно помешивать приготавливаемые чернила маленьким деревянным весельцем. Котлы эти обыкновенно в рост человека, поэтому ты можешь сообразить, какое количество чернил отец мой приготавливал за один раз. Кроме того, он имел привычку, по мере убывания жидкости, добавлять ингредиенты. Истинным наслаждением было для него, когда к нему заходил слуга или домоходец какого-нибудь прославленного сочинителя с просьбой о бутылке чернил, а когда этот литератор издавал какое-либо творение, производящее шум среди пишущей братии, и о творении этом заходила речь у Морено, отец мой радостно улыбался при мысли, что он также причастен к этим триумфам. Наконец, чтобы тебе уже во всем признаться, скажу, что во всем городе моего отца называли не иначе, как *дон Фелипе дель Тинтеро Ларго*, или *дон Филипп из огромной чернильницы*, а настоящую его фамилию Авадоро помнили лишь немногие.

Я знал обо всем этом; мне часто говорили о чудачествах моего отца, об устройстве его дома, об исполинском котле с чернилами, и я жаждал своими глазами увидеть все эти чудеса. Что же касается моей тетушки, то она не сомневалась, что как только отец мой увидит меня хоть один раз, он сразу откажется от всех своих чудачеств, чтобы только восторгаться мною с утра до вечера. Наконец день нашего свидания был назначен. Мой отец исповедовался у фра Херонимо в последнее воскресенье каждого месяца. Монах должен был утвердить его в решимости увидеть меня, затем известить, что я нахожусь у него, вместе с ним выйти из церкви и дойти домой. Фра Херонимо, сообщая нам об этом своем намерении, предостерег меня, чтобы я ни к чему не прикасался в комнате моего отца. Я согласился на все, тетушка же обещала бдительно стеречь меня.

Наконец наступило долгожданное воскресенье. Тетушка нарядила меня в розовый праздничный кафтан с серебряной бахромой и пуговками из бразильских топазов. Она уверяла меня, что я выгляжу как вылитый амур и что мой отец, увидев меня, сойдет с ума от радости. Полные надежд и радостных предчувствий, мы весело пошли по улице Урсулинок и потом направились на Прадо, где многие женщины останавливали меня, чтобы приласкать. Наконец мы добрались до улицы Толедо и вошли в дом моего отца. Нас впустили в его комнату. Тетушка, побаиваясь моей живости, усадила меня в кресло, сама же уселась напротив и ухватила меня за

бахрому моего шарфа, чтобы я не мог вставать и притрагиваться к чему бы то ни было.

Поначалу я вознаграждал себя за это принуждение, обводя глазами все углы комнаты, дивясь ее чистоте и порядку. Угол, предназначенный для приготовления чернил, был столь же чист и обставлен с той же аккуратностью и симметрией, как и вся остальная комната. Громадный котел из Тобосо выглядел чрезвычайно изящно, а рядом с ним стоял стеклянный шкаф, где хранились необходимые орудия и ингредиенты.

Вид этого шкафа, узкого и длинного, расположенного совсем рядом с топкой, над коей возвышался котел, подал мне внезапную и неужеримую мысль — вскочить на него, ибо я полагал, что ничего не будет забавнее, чем если мой отец начнет меня напрасно искать по всей комнате, в то время, как я преспокойно буду сидеть над самой его головой. В мгновение ока я вырвал шарф из рук моей тетушки, вскочил на печь, а оттуда — на шкаф.

Сначала тетка восторгалась моей ловкостью, но минуту спустя начала заклинать меня, чтобы я сошел со шкафа. Тут нам сообщили, что отец поднимается по лестнице. Тетка упала передо мной на колени, умоляя, чтобы я соскочил на пол. Я не мог сопротивляться столь жалобным просьбам, но сходя, почувствовал, что ставлю ногу на край котла. Я хотел задержаться, но заметил, что увлекаю за собой шкаф. Я отпустил руки и упал в самую середину котла с чернилами и непременно утонул бы, если бы тетка, схватив весельце для перемешивания чернил, не разбила бы котел на мелкие кусочки. В этот самый миг вошел отец и увидел чернильную реку, заливающую его комнату, а посреди нее — черную воющую фигуру, которая наполняла дом душераздирающим визгом. В отчаянии он выбежал на лестницу; сбегая вниз, вывихнул ноги и потерял сознание.

Что до меня, то я вскоре перестал верещать, ибо чернила, которых я наглотался, лишили меня чувств. Я пришел в себя только после долгой болезни, и прошло много времени, прежде чем здоровье мое вполне восстановилось. Улучшению моего состояния более всего содействовала новость, сообщенная мне моей тетушкой; новость эта повергла меня в такую радость, что вновь опасались, как бы я не рехнулся. Мы должны были вскоре выехать из Мадрида и переселиться на постоянное жительство в Бургос. Однако несказанная радость, которую я испытывал при мысли об этом путешествии, омрачилась, когда тетка спросила меня, хочу ли я сидеть с ней в ее экипаже или же совершать путешествие отдельно, в собственной лектике.

— Ни то, ни другое, — ответил я в величайшем восторге. — Я не старуха и хочу путешествовать не иначе, как верхом на гордом коне или хотя бы на муле, с добрым сеговийским ружьем у седла, с парой пистолетов за поясом и с длинной шпагой. Только при этом единственном условии я поеду и ты, тетя, должна для собственной же пользы раздобыть

мне всю эту экипировку, ибо отныне защищать тебя — мой святой долг.

Я наболтал еще кучу подобных нелепостей, которые, впрочем, казались мне мудрейшими в мире, но которые на самом деле забавляли, ибо исходили из уст одиннадцатилетнего мальчугана.

Приготовления к отъезду дали мне случай развить необычайно оживленную деятельность. Я входил, выходил, бегал, приказывал, во все совал свой нос, — словом, у меня было множество дел, ибо тетка моя, навсегда переезжая в Бургос, забирала с собой все свое движимое имущество. Наконец, наступил счастливый день отъезда. Мы выслали весь свой багаж по дороге через Аранду, сами же пустились в путь через Вальядолид.

Тетушка, которая сначала хотела путешествовать в экипаже, видя, что я решил непременно ехать на муле, взяла с меня пример. Ей соорудили вместо седла маленькое кресло с удобным сиденьем и затенили его зонтиком. Вооруженный погонщик шел перед ней для того, чтобы развеять самую тень опасности. Остальной наш караван, состоящий из дюжины мулов, выглядел весьма блистательно: я же, считая себя предводителем этого элегантного каравана, порою открывал, порою замыкал кавалькаду, всегда с оружием в руках, в особенности же когда дорога петляла или в иных местах, казавшихся мне опасными.

Нетрудно догадаться, что мне нигде не подвернулась возможность проявить свою отвагу и что мы благополучно прибыли в Алабахос, где встретили два каравана, столь же многочисленные, как и наш. Животные стали у яслей, путешественники же поместились в противоположном углу конюшни — в кухне, которую отделяли от мулов две каменные лестницы. Почти все постоялые дворы в Испании были тогда устроены подобным же образом. Весь дом состоял из одного длинного помещения, лучшую половину которого занимали мулы, а более скромную часть — путники. Несмотря на это, веселье было всеобщим. Погонщик мулов, орудуя скребницей, заодно увивался за трактирщицей, которая отвечала ему с живостью, свойственной ее полу и роду занятий, пока трактирщик мрачным видом своим не спугивал их.

Слуги наполняли дом щелканьем кастаньет и плясали под сиплую песню козопаса. Путники знакомились друг с другом и приглашали друг друга на ужин, потом все придвигались к очагу, каждый рассказывал, кто он, откуда прибыл, а порой вдобавок — и всю историю своей жизни. Славные это были времена! Теперь постоялые дворы куда удобнее, но шумная и общительная жизнь, которую вели в дороге тогда, обладала прелестью, какую я не в силах тебе описать. Скажу только, что в тот день я был настолько счастлив, что решил всю жизнь свою странствовать и, как видишь, до сих пор самым искренним образом исполняю свое решение.

Тем временем одно обстоятельство еще более утвердило меня в этом намерении. После ужина, когда все путешественники собрались у очага и

каждый из них рассказывал что-нибудь о краях, в которых побывал, один из них, который до этого ни разу рта не раскрыл, произнес:

— Все приключения, о которых вы рассказывали, заслуживают внимания и их стоит запомнить; что до меня, я был бы рад, если бы со мной никогда не приключалось ничего худшего, однако же, побывав в Калабрии, я испытал приключение настолько поразительное, необыкновенное и в то же время ужасное, что оно и доселе не изгладилось из моей памяти. Воспоминание это так терзает меня, отравляет мне все мои удовольствия, что я и в самом деле часто удивляюсь, почему печаль эта не лишила меня разума.

Такое начало очень заинтересовало слушателей. Рассказчика начали просить, чтобы он облегчил свое сердце, описав столь необычайные события. Путешественник долго колебался, не зная, как ему быть, и, наконец, начал так:



История Джулио Ромати

Зовут меня Джулио Ромати. Отец мой, Пьетро Ромати, — один из прославленнейших юристов Палермо и даже всей Сицилии. Как вы можете догадаться, он сильно привязан к своей профессии, которая обеспечивает ему приличное существование, но еще сильнее его привязанность к философии, которой он посвящает все время, свободное от изысканий в области права.

Не хвастаясь, могу признаться, что смело шел по его стопам в обеих этих областях, ведь на двадцать втором году жизни я был уже доктором прав. Посвятив себя затем математике и астрономии, я вскоре знал достаточно, чтобы комментировать Коперника и Галилея. Говорю вам это не для того, чтобы похвастать своей ученостью, но потому только, что, собираясь рассказать вам одно удивительное приключение, хочу, чтобы меня не сочли человеком легковверным или подверженным предрассудкам. Я настолько далек от подобных заблуждений, что единственная наука, к которой я проявлял полнейшее равнодушие, была теология. Что же касается остальных, то я углубился в них всей душой, отдохновения же искал

только в постоянной смене предмета своих занятий. Непосильный постоянный труд пагубно повлиял на мое здоровье, и отец мой, перебрав и обдумав всяческие способы развлечь и отвлечь меня, в конце концов предложил мне постранствовать и приказал, чтобы я объехал всю Европу и только спустя четыре года вернулся в Сицилию.

Сперва мне трудно было оторваться от моих книг, кабинета и обсерватории; но отец хотел этого, и я вынужден был повиноваться. Впрочем, едва началось путешествие, я тут же ощутил несказанно приятную перемену. У меня появился аппетит, ко мне вернулись силы, — одним словом, я вполне выздоровел. Сначала я путешествовал в лектике, но на третий день странствия нанял мула и весело пустился в дальнейший путь.

Иным людям знаком весь белый свет, за исключением собственного своего отечества, я не хотел давать пищу подобным упрекам и посему начал путешествие с осмотра чудес, которые природа так щедро разбросала по нашему острову. Вместо того, чтобы отправиться прямо берегом из Палермо в Мессину, я выбрал путь через Кастронуово, Кальтанисету и прибыл в селение, названия которого уже не помню, расположенное у подножья Этны. Там я готовился к восхождению на гору и решил посвятить месяц этому предприятию. И в самом деле, я все время занимался преимущественно проверкой некоторых опытов с барометром, доселе выполнявшихся не слишком точно. Ночью я всматривался в небеса и, к несказанному своему восторгу, открыл две звезды, которые нельзя было увидеть из обсерватории в Палермо, так как они находились значительно ниже ее кругозора.

С истинным сожалением я покинул этот город, где мне казалось, что существо мое как бы витает в высшей гармонии небесных тел, относительно орбит которых я столько размышлял. Наконец, невозможно отрицать, что разреженный горный воздух странным образом воздействует на наш организм, пульс ускоряется и значительно учащаются дыхательные движения. В конце концов я сошел с горы и направился в сторону Катании.

В городке этом обитают дворяне столь же родовитые, но более просвещенные, чем господа из Палермо. Правда, точные науки находят мало поклонников в Катании, как и вообще на всем нашем острове: зато обитатели Катании ревностно занимаются искусствами, древностями и древней и новой историей всех племен, какие когда-либо населяли Сицилию. Поэтому раскопки и множество ценных памятников, обнаруженных в недрах земли, были прежде всего предметом всеобщих бесед.

Именно тогда была выкопана чрезвычайно красивая мраморная плита, покрытая совершенно неизвестными письменами. Внимательно осмотрев ее, я узнал, что надпись была сделана на пуническом языке, и с помощью древнееврейского, который я знаю весьма хорошо, мне удалось разрешить загадку таким образом, что мое решение удовлетворило всех знатоков.

Этот мой подвиг обеспечил мне ласковый прием, и первые лица в городе стремились меня задержать, уверяя, что я извлеку значительные денежные выгоды. Однако, покинув Палермо ради совершенно иных целей, я отверг все предложения и отправился далее — в Мессину. Неделю я прожил в этом городе, знаменитом своей торговлей, после чего переплыл пролив и высадился в Реджо.

До сих пор путешествие мое было только развлечением; в Реджо, однако, предприятие показалось мне более затруднительным. Разбойник по имени Зото опустошал Калабрию, в то время как триполитанские корсары хозяйничали на море. Я совершенно не знал, каким образом попасть в Неаполь, и, если бы ложный стыд не удерживал меня, я непременно вернулся бы в Палермо.

Прошло восемь дней с тех пор, как эта нерешительность задержала меня в Реджо, когда однажды вечером, гуляя по гавани, я присел на прибрежный камень в самом малолюдном месте. Там ко мне приблизился какой-то человек благородной наружности, завернувшийся в пурпурный плащ. Никак не поздоровавшись со мной, он сел и начал с таких слов:

— Не правда ли, синьор Ромати снова занимается разрешением какой-нибудь алгебраической или астрономической проблемы?

— Ничего подобного, — ответил я ему, — синьор Ромати хотел бы попасть из Реджо в Неаполь и в эту минуту ломает себе голову над следующей проблемой: каким образом избежать встречи с шайкой синьора Зото.

Тогда незнакомец, приняв весьма важную позу, сказал мне:

— Синьор Ромати, дарования твои делают честь твоему отечеству; честь эта без сомнения еще возрастет, если ты новыми странствиями расширишь сферу своих познаний. Зото — человек слишком светский, чтобы препятствовать тебе в столь благородном предприятии. Возьми эти алые перышки, заткни одно за ленту шляпы, а остальные раздай своим людям и смело пускайся в дорогу. Что касается меня, то я и есть тот самый Зото, которого ты так страшишься, и чтобы ты не усомнился в том, что я тебе говорю, смотри, вот орудия моего ремесла.

Говоря это, он распахнул плащ и показал мне пояс с пистолетами и кинжалами. После чего по-дружески пожал мне руку и исчез.

Тут я прервал вожака цыган и сказал, что много слышал об этом разбойнике и что даже знаком с его сыновьями.

— Я тоже их знаю, — возразил Пандесовна, — тем более, что они, так же, как и я, служат великому шейху Гомелесов.

— Как это? Ты тоже у него на службе? — вскричал я в величайшем изумлении.

В этот миг один из цыган шепнул несколько слов на ухо жожаку, который тотчас же поднялся и оставил мне время поразмыслить над тем, что я узнал из последних его слов. — Что же это за могущественное сообщество, — говорил я сам себе, — которое как будто не имеет никакой иной цели, кроме соблюдения какой-то тайны или прельщения моего взора удивительными иллюзиями, часть коих я порой отгадываю, в то время как новые, непредвиденные обстоятельства опять ввергают меня в бездну сомнения. Впрочем, нет сомнений в том, что я сам — одно из звеньев той незримой цепи, которая все теснее связывает меня.

Дочери жожака, которые как раз пришли и попросили, чтобы я отправился с ними на прогулку, прервали мои размышления. Я поднялся и пошел за ними. Беседа шла на чистейшем испанском языке, без всякой примеси херигонзы или цыганского жаргона. Я изумлялся их образованности, благовоспитанности и веселой откровенности. После прогулки был подан ужин, а затем все разошлись на покой; но ночью ни одна из моих кузин не показалась.



День тринадцатый

Цыганский вожак приказал принести мне обильный завтрак и сказал:

— Сеньор кавалер, приближаются наши недруги, или, вернее, таможенная стража. Разумнее будет уступить им поле брани. Они найдут здесь тюки, приготовленные для них, ибо остальные уже в безопасном месте. Подкрепись, а потом отправимся в дальнейший путь.

Так как на другой стороне долины можно было уже видеть таможенников, я подкрепился наспех, а тем временем весь табор двинулся вперед. Мы пробирались с горы на гору, углубляясь все дальше в дебри Сьерра-Морены.

Наконец, мы задержались в глубоком ущелье, где нас уже ожидали и приготовили для нас обед. Утолив голод, я попросил вожака продолжать историю своей жизни, на что тот охотно согласился и повел такую речь:



Продолжение истории цыганского вожака

Ты оставил меня, когда я внимательно слушал поразительный рассказ Джулио Ромати.

Так вот что поведал нам человек, познакомившийся с нами в дороге, продолжая рассказывать свои приключения:

*Продолжение истории
Джулио Ромати*



Своеобразный характер Зото был причиной тому, что я с полным доверием отнесся к его обещаниям. Необычайно довольный, я вернулся на постоянный двор и тотчас же послал за погонщиками мулов. Вскоре пришло их несколько человек, и они смело предложили мне свои услуги, ибо разбойники, как им, так и их животным, не причиняли ни малейшего вреда. Я выбрал среди них человека, который везде пользовался доброй славой. Нанял одного мула для себя, другого — для моего слуги и двух других под вьюки. У самого погонщика также был свой мул и два пеших помощника.

На рассвете я пустился в путь и, едва отдалился на милю от города, как увидел маленькие отряды Зото, которые, казалось, стерегли меня издалека и сменялись по мере нашего продвижения вперед. Таким образом как вы понимаете, мне было нечего бояться.

Путешествие протекало отлично, а здоровье мое с каждым днем улучшалось. Я был уже на расстоянии всего лишь двух дней пути до Неаполя, когда мне внезапно взбрела в голову мысль сделать крюк и посетить Салерно. Интерес мой к Салерно было легко оправдать: я много занимался возрождением искусств, а колыбелью возрождения в Италии была салернитанская школа. Впрочем, я и сам не ведаю, что за роковая сила толкнула меня предпринять это злосчастное путешествие.

Я свернул с большой дороги в Монте Бруджо и, взяв проводника в ближнем селении, углубился в окрестности самые дикие, какие только можно себе вообразить. В полдень мы добрались до полуразрушенного здания, которое мой проводник называл трактиром, но я не ощутил этого, по крайней мере по приему, который мне оказал трактирщик. В самом деле, этот бедняк, вместо того чтобы дать чем-нибудь подкрепиться, умолял, чтобы я уделил ему хоть немного из моих припасов. К счастью, у меня было с собой холодное мясо, и я поделился с этим трактирщиком, а также с моим проводником и слугой, ибо погонщики мулов остались ждать нас в Монте Бруджо.

Спустя два часа я покинул жалкое убежище и вскоре увидел огромный замок, расположенный на вершине горы. Я спросил моего проводника.

как называется это место и живет ли там кто-нибудь. Он отвечал мне, что в округе его обычно называют *lo monte** или также *lo castello*** , что замок совершенно разрушен и необитаем, но что внутри сооружена часовня с несколькими кельями при ней, куда перебрались пять или шесть францисканцев из монастыря в Салерно; при этом он добавил с трогательным простодушием:

— Удивительные истории рассказывают об этом замке, но я ни одной из них не знаю на память, ибо как только кто начнет об этом говорить, я тут же убегаю из кухни и иду к моей невестке Пепе, где обычно застаю кого-нибудь из отцов-монахов, который дает мне поцеловать свой нарамник.

Потом я спросил его, будем ли мы проезжать мимо замка. Он ответил, что вскоре мы вступим на окольную дорогу, идущую посреди склона горы, на которой высится замок.

В это время небо покрылось тучами, и ближе к вечеру разразилась ужасная гроза. К несчастью, мы находились на склоне горы, где не было ни малейшего укрытия. Проводник объявил нам, что неподалеку есть большая пещера, дорога к которой, однако, прескверная. Я решил воспользоваться его советом, но едва мы оказались между скалами, как тут же прямо над нами ударила молния. Мул мой упал, я же скатился с высоты в несколько сажен; чудесным образом зацепившись за дерево и почувствовав, что спасен, я начал призывать моих спутников, но никто из них не откликнулся.

Молнии сменялись с такой быстротой, что при их свете я сумел разглядеть окружающие меня предметы и стать в безопасном месте. Я продвигался вперед, цепляясь за деревья и кусты, и таким образом добрался до маленькой пещеры, которая не соединялась ни с какой тропинкой и поэтому не могла быть той, о которой мне рассказывал проводник. Ливень, порывы ветра, раскаты грома и молнии усилились вдвойне. Я весь дрожал, промокший до нитки, и, наверно, несколько часов должен был оставаться в этом невыносимом положении. Вдруг мне показалось, что я вижу факелы, мигающие на дне ущелья. Я решил, что это мои люди, стал их звать и вскоре услышал крики в ответ.

Затем я увидел молодого человека приятной наружности в сопровождении нескольких слуг, из которых одни несли факелы, другие — узлы с одеждой. Молодой человек поклонился мне с глубоким почтением и произнес:

— Синьор Ромати, мы — люди принцессы Монте Салерно. Проводник, которого ты нанял в Монте Бруджо, сообщил нам, что ты заблудился в этих горах; мы пришли к тебе по приказу принцессы. Благоволи надеть это платье и пойти с нами в замок.

* Гора (ит. диал.).

** Замок (ит. диал.).

— Как же, — ответил я, — ты, сеньор, хочешь ввести меня в этот заброшенный замок на вершине горы?

— Ничего подобного, — возразил юноша, — ты увидишь великолепный дворец, от которого мы находимся всего в двухстах шагах.

Я подумал, что и в самом деле у какой-то неаполитанской принцессы был свой замок в этих краях, переделся и поспешил за моим юным проводником. Вскоре я оказался перед порталом из черного мрамора: но так как факелы не освещали остального здания, я не мог разглядеть его. Юноша оставил меня у лестницы внизу, я сам взошел наверх и на первом же повороте лестницы увидел женщину необычайной красоты, которая мне сказала:

— Сеньор Ромати, принцесса Монте Салерно поручила мне показать тебе все достопримечательности своей резиденции.

Я отвечал, что если судить о принцессе по ее придворным дамам, то ее прелести должны превосходить всякое воображение.

И в самом деле, проводница моя была столь дивно хороша и столь благородна, что с самого начала я подумал — кто знает, быть может, это и есть сама принцесса. Я обратил внимание также и на то, что ее наряд похож на наряды дам с портретов прошлого столетия, однако предположил, что это костюм неаполитанских дам, возродивших старинную моду.

Мы вошли сперва в покои, где все было из массивного серебра. Паркет состоял из серебряных плиток, одних полированных, других — матовых. Отделка стен, также из литого серебра, имитировала камчатную ткань; фон был полированный, а рисунок — матовый. Потолок напоминал резные плафоны старинных замков. Деревянные панели, бордюры обивки, канделябры, рамы и дверные створки изумляли совершенством подлинно ювелирной работы.

— Сеньор Ромати, — произнесла мнимая придворная дама, — ты слишком долго задерживаешься перед этими пустяками. Это только передняя, предназначенная для пеших слуг госпожи принцессы.

Я ничего не ответил на это, и мы вошли в другую комнату, похожую по форме на первую, за исключением того, что все, что там было из серебра, здесь было золотистое, с орнаментами из того оттененного золота, которое было в такой моде с полвека назад.

— Эта комната, — продолжала молодая незнакомка, — предназначена для дворян-придворных, для мажордома и для других должностных лиц нашего двора; в покоях принцессы ты не увидишь ни золота, ни серебра: там царит простота — можешь в этом убедиться уже в столовой.

С этими словами она отворила боковую дверь. Мы вошли в залу, стены которой были отделаны цветным мрамором, а потолок опоясан барельефом, великолепно изваянным из белого мрамора. В глубине, в восхитительных шкафах сверкали вазы из горного хрусталя и посуда из чудесного индийского фарфора.

Оттуда мы вновь возвратились в комнату придворных и прошли в гостиную.

— Вот зал, — молвила дама, — который несомненно возбудит твое удивление.

И в самом деле, я застыл, как вкопанный, и начал сперва присматриваться к мозаичному полу, который был выложен из ляпис-лазури, чередующейся с твердыми камнями, в манере флорентийской мозаики. Одна плита такой мозаики стоит многих лет труда. Узоры плиты образовывали некое гармоническое целое, но, присмотревшись поближе, можно было вдруг различить бесконечное разнообразие подробностей, которое, однако, насколько не нарушало иллюзии всеобщей симметрии. В самом деле, хотя контур всюду казался одинаковым, в одном месте он изображал пленительные цветы различной окраски, кое-где раковины, переливающиеся всеми цветами радуги, а в других местах то мотыльков, то колибри. Так драгоценнейшие камни послужили для имитации того, что в природе есть самого привлекательного.

Посреди этого великолепного узорного пола была изображена шкатулка из разнообразных дорогих камней, опоясанная нитью огромных жемчужин. Вся мозаика казалась выпуклой, как барельеф, и все выглядело объемным, как в искусных флорентийских мозаиках.

— Синьор Ромати, — прервала молчание незнакомка, — если ты будешь так долго у всего останавливаться, мы никогда не завершим осмотра.

Тогда я поднял глаза и увидел картину Рафаэля, которая показалась мне первым наброском его «Афинской школы», однако более красивым по колориту, так как эскиз этот был писан маслом. Потом я увидел Геракла у ног Омфалы — фигура Геракла была кисти Микеланджело, в лице женщины я узнал манеру Гвидо. Одним словом, каждое полотно превосходило по совершенству все, что я доселе видел. Обивка зала была из гладкого зеленого бархата, с которым превосходно контрастировали краски живописи.

По обеим сторонам каждой двери стояли изваяния чуть поменьше натуральной величины. Было их четыре: знаменитый Амур Фидия, которого Фрина пожелала в дар, Фавн того же мастера, подлинная Венера Праксителя, ведь Венера Медицейская — только копия; и четвертая — Антиной — необычайной красоты. Кроме того, в окнах белели мраморные группы.

Вокруг по стенам гостиной стояли комоды с ящиками, украшенными вместо бронзы тончайшими ювелирными оправками, обрамляющими камеи, какие едва ли можно было бы найти и в королевских кабинетах редкостей. В ящиках находились коллекции древних золотых монет, расположенные по всем правилам нумизматики.

— Вот здесь, — сказала моя проводница, — госпожа этого замка проводит послеобеденные часы, ибо осмотр этих коллекций служит предметом

бесед столь же занятных, сколь и поучительных; но нам осталось осмотреть еще множество вещей — пойдем же за мной.

Затем мы вошли в спальню. Это была восьмиугольная комната с четырьмя альковами, в каждом из них находилось просторное, великолепное ложе. Тут не было ни панелей, ни обоев, ни резного потолка. Все покрывал с исключительным вкусом развешенный индийский муслин, расшитый чудеснейшими узорами и такой тонкий, что его можно было счесть туманной дымкой, которую сама Арахна¹ превратила в легкое покрывало.

— Для чего здесь четыре ложа? — спросил я.

— Чтобы можно было переходить с одного на другое, когда зной не дает уснуть, — отвечала незнакомка.

— Но зачем эти ложа так просторны? — спросил я через минуту.

— Порой принцесса, когда ее мучает бессонница, имеет обыкновение призывать своих служанок. Но перейдем в ванную комнату.

Это была ротонда, выложенная перламутром с бордюром из кораллов. Вокруг потолка нить крупных жемчужин поддерживала бахрому из драгоценностей той же самой величины и оттенка. Потолок был весь из стекла, сквозь которое виднелись неторопливо плавающие китайские золотые рыбки. Вместо ванны посреди комнаты была водружена мраморная плита с углублением, окруженная искусственной пеной, среди которой мерцали редкостные индийские раковины.

При виде всего этого великолепия я не мог уже сдержать восторга и воскликнул:

— Ах, госпожа, земной рай ничто в сравнении с этим волшебным пристанищем!

— Земной рай! — воскликнула молодая женщина, растерянная и почти в отчаянии. — Рай! разве ты сказал что-то о рае? Прошу тебя, синьор Ромати, не говори ничего подобного, очень тебя об этом прошу; а теперь пойдем за мной.

Затем мы вошли в вольтер, наполненный всяческими видами тропических птиц и всеми милыми певуньями нашего климата. Мы увидели там стол, накрытый для меня одного.

— Неужели ты полагаешь, — сказал я прекрасной незнакомке, — что хоть кто-нибудь может подумать о еде в этих божественных покоях? Я вижу, что ты не намерена разделить мою трапезу. Со своей стороны, не решаюсь сесть за стол в одиночестве, разве что при условии, что ты, госпожа, согласишься рассказать мне кое-что о принцессе, обладающей всеми этими чудесами.

Молодая женщина признательно улыбнулась, подала мне блюдо, села и начала такими словами:



История принцессы Монте Салерно

- Я дочь последнего принца Монте Салерно...
 — Как это? Ты, госпожа?
 — Я хотела сказать, принцесса Монте Салерно — но не прерывай меня.

Принц Монте Салерно, происходящий от древних герцогов Салерно, был испанским грандом, верховным главнокомандующим, великим адмиралом, великим конюшим, великим мажордомом, великим ловчим, одним словом, соединял в своем лице все высшие должности неаполитанского королевства. Хотя он сам состоял на королевской службе, однако при его собственном дворе было множество лиц благородного происхождения, среди коих были и титулованные. В числе этих последних находился маркиз Спиनावерде, первый придворный принца, пользующийся его неограниченным доверием, наравне со своей супругой, маркизой Спиनावерде, первой дамой в свите принцессы. Мне тогда было десять лет — я хотела сказать, что единственной дочери принца Монте Салерно было десять лет, когда умерла ее мать. Тогда-то супруги Спиनावерде покинули дом принца: муж, чтобы управлять имениями принца, жена же — чтобы заняться моим воспитанием. Они оставили в Неаполе свою старшую дочь, которую звали Лаурой; положение ее при особе принца было несколько двусмысленным. Мать ее и молодая принцесса прибыли в Монте Салерно. Супруги Спиनावерде не уделяли особого внимания воспитанию молодой Эльфриды, зато старались удовлетворить все ее капризы; они привыкли слушаться малейших моих кивков.

- Твоих кивков, госпожа? — воскликнул я.
 — Не прерывай меня, синьор, я уже сколько раз тебя об этом просила, — гневно ответила она, после чего продолжала так:

— Мне захотелось подвергнуть терпение моих служанок всяческим испытаниям. Ежеминутно давала я им противоречивые приказания, едва половину которых они были в состоянии выполнить, и тогда я щипала их, царапала или втыкала им булавки в руки и ноги. Вскоре все меня покинули. Маркиза прислала мне других, но и эти не могли долго вытерпеть.

Между тем отец мой тяжело занемог и мы отправились в Неаполь. Я мало видела его, но чета Спиनावерде не покидала его ни на миг. Вскоре он умер и в завещании назначил маркиза единственным опекуном дочери и управляющим всех ее имений.

Похороны задержали нас на несколько недель, после чего мы вернулись в Монте Салерно, где я снова начала щипать моих служанок. Четыре года прошло в этих невинных занятиях, которые были для меня тем приятнее, что маркиза всегда признавала мою правоту, уверяя, что весь белый свет к моим услугам и что нет достаточно строгой кары для тех, кто не желает мне повиноваться.

Впрочем, настал день, когда все мои служанки одна за другой покинули меня, так что я вечером вынуждена была раздеться сама. Я расплакалась от злости и побежала к маркизе, которая сказала мне:

— Драгоценная, милая принцесса, осуши твои красивые глазки; я сама тебя нынче раздену, а завтра приведу тебе шесть женщин, которыми ты, без сомнения, останешься довольна.

Назавтра, как только я проснулась, маркиза представила мне шесть молодых и очень красивых девушек, увидев которых, я испытала некое странное волнение. Они сами также казались взволнованными. Я первая оправилась от смущения, вскочила в одной рубашке с постели, обняла их по очереди и уверила, что никогда не стану их щипать и бранить. И в самом деле, хотя, одевая меня, они порой бывали неловки или осмеливались меня не слушаться, я никогда на них не гневалась.

— Но, госпожа, — сказал я принцессе, — кто знает, не были ли эти девушки переодетыми юношами?

Принцесса свысока взглянула на меня и молвила:

— Синьор Ромати, я просила не прерывать мою речь, — и после этих слов продолжала следующим образом:

— В день моего шестнадцатилетия мне нанесли визит знатнейшие вельможи. Это были: государственный секретарь, испанский посол и принц Гвадаррама. Этот последний приезжал просить моей руки, двое других сопровождали его, только чтобы поддержать его просьбу. Молодой принц был необыкновенно обаятелен, и я не могу отрицать, что он произвел на меня сильное впечатление. Вечером мы вышли вместе на прогулку в сад. Едва мы сделали несколько шагов, как разъяренный бык выскочил из-за деревьев и бросился прямо на нас. Принц преградил ему дорогу с плащом в одной руке и со шпагой в другой. Бык остановился на мгновение, но вскоре ринулся на принца и упал, пронзенный его сталью. Мне казалось, что я обязана жизнью отваге и ловкости юного принца, но назавтра я узнала, что его конюший умышленно привел туда быка и что господин его хотел таким образом засвидетельствовать мне свое почтение, согласно

обычаям своей страны. Тогда вместо благодарности я разгневалась на него за то, что он так меня испугал, и отвергла предложение руки и сердца.

Поступок мой необычайно понравился маркизе. Она воспользовалась этим случаем, чтобы превознести в моих глазах все прелести свободы и показать, на какие утраты я обрекла бы себя, вступив в брак и приобретя господина над собой. Вскоре после этого тот же государственный секретарь приехал к нам в обществе другого посла и владетельного принца Нудель-Гансбергского. Этот претендент был громадный, грузный, тучный, рыжеватый, бело-желтый до синевы и пытался занимать меня, разглагольствуя о майоратах, которые принадлежали ему в странах, подвластных дому Габсбургов, но говорил он по-итальянски с забавным тирольским акцентом.

Я стала передразнивать выговор сиятельного претендента и с таким же акцентом уверять, что его присутствие совершенно необходимо в майоратах, принадлежащих ему по праву наследования в пределах упомянутых Габсбургских владений. Немецкий принц уехал, задетый за живое. Маркиза осыпала меня ласками и чтобы верней удержать меня в Монте Салерно, приказала приобрести и изваять все те прекрасные вещи, которым ты здесь удивляешься.

— Поистине, это превосходно ей удалось, — воскликнул я, — это волшебный дворец справедливо может быть назван земным раем.

В ответ на эти слова принцесса разгневалась, поднялась и сказала:

— Синьор Ромати, я уже просила тебя, чтобы ты больше не употреблял этого выражения, — после чего начала смеяться, но каким-то ужасным, леденящим душу судорожным смехом, повторяя непрестанно — да — раем — земным раем — в самом деле — ему есть, о чем говорить — о рае.

Сцена эта начинала становиться отвратительной: принцесса в конце концов приняла прежний суровый вид и, грозно взглянув на меня, приказала мне следовать за ней.

Потом она отворила двери, и мы оказались в просторных подземельях, в глубине которых поблескивало словно бы серебряное озеро, которое на самом деле было из ртути. Принцесса хлопнула в ладоши, и я увидел лодку, которой управлял желтый карлик. Мы вошли в лодку, и только тогда я заметил, что у карлика лицо из золота, глаза бриллиантовые и губы из кораллов. Одним словом, это был автомат, который с помощью маленьких весел разрезал ртутные волны с неслыханной ловкостью и гнал лодку вперед. Этот удивительный перевозчик высадился с нами у подножья скалы, которая разверзлась, и мы вновь вошли в подземелье, где тысячи других автоматов представили великолепнейшее зрелище. Павлины раскрыли хвосты, усыпанные драгоценными камнями, попугаи с изумрудными перьями пролетали над нашими головами, негры из черного дерева на золотых блюдах приносили вишни из рубинов и гроздья винограда из сап-

фигов — бесконечное количество поразительных предметов наполняло это волшебное подземелье, казавшееся поистине бесконечным.

Тогда, сам не знаю почему, у меня вновь явилось желание повторить злосчастное сравнение, опять упомянуть о земном рае, чтобы убедиться, какое впечатление это слово произведет на сей раз на принцессу. Итак, поддавшись неудержимому любопытству, я произнес:

— В самом деле, можно сказать, что ты, госпожа, обладаешь раем на земле...

Принцесса однако любезнейшим образом улыбнулась мне, говоря:

— Чтобы ты лучше мог судить о приятностях этой моей резиденции, представляю тебе шестерых моих слуг.

С этими словами она достала из-за пояса золотой ключ и отворила огромный сундук, покрытый черным бархатом с серебряными орнаментами. Когда крышка сундука отскочила, я увидел выходящий оттуда скелет, который приближался ко мне с грозным видом. Я обнажил шпагу, но скелет, вырвав себе левую руку, применил ее вместо оружия и с яростью напал на меня. Я защищался весьма отважно, когда затем второй скелет вылез из сундука, выломал ребро у первого и изо всей силы ударил меня им по голове. Я схватил его за шею, но он обнял меня костяными руками и хотел повалить наземь. Наконец я сумел от него избавиться, но тут третий скелет выполз из сундука и присоединился к двум первым. За ним показались еще трое других. Тогда, не имея надежды выйти победителем из столь неравной схватки, я упал на колени перед принцессой и просил ее смилостивиться надо мной.

Принцесса приказала скелетам возвратиться в сундук, после чего сказала:

— Помни, Ромати, что до самого своего смертного часа ты не вправе забыть того, что ты тут видел.

В этот самый миг она сжала меня за плечо, я почувствовал, что меня прожгло до кости и упал в обморок.

Не знаю, как долго я оставался в этом состоянии; в конце концов я проснулся и услышал около себя молитвенные песнопения. Я понял, что лежу среди обширных развалин; хотел выбраться из них и зашел во внутренний двор, где увидел часовню и монахов, служащих заутреню. Окончив молитву, приор пригласил меня в свою келью. Я пошел за ним и, стараясь привести в порядок свои чувства, рассказал ему все, что видел этой ночью. Когда я окончил, приор сказал:

— Сын мой, ты не смотрел, не оставила ли принцесса каких-нибудь знаков на твоей руке?

Я засучил рукав и в самом деле увидел, что рука обожжена и на ней видны следы пяти пальцев принцессы.

Тогда приор приподнял крышку ларца, стоящего у его постели и извлек на свет божий старинный пергамент.

— Вот, — сказал он, — булла, возвещающая об основании нашей смиренной обители; она может тебе объяснить то, что с тобой нынче случилось.

Он развернул пергамент и прочитал следующие слова:

«В лето господне 1503, на девятом году царствования Фредерика², короля Неаполя и Сицилии, Эльфрида Монте Салерно, до последней степени увязнув в безбожии, во всеуслышание похвалялась тем, что обладает истинным раем на земле, и явственно отрекалась от того эдема, который ожидает нас в жизни грядущей. Тем временем, в ночь с четверга на Страстную пятницу землетрясение поглотило ее дворец, развалины которого стали адским пристанищем, где сатана, враг рода человеческого, поселил бесчисленные полчища злых духов, которые толпами нападают на тех, кто отваживается приближаться к Монте Салерно, и даже на набожных христиан, обитающих в сей округе. Поэтому мы, Пий III³, слуга слуг господних и прочая и прочая, повелеваем основать часовню в самом средоточии означенных руин...»

Я не помню уже конца буллы, помню только, что приор заверил меня, что нападения нечистой силы стали гораздо реже, но что, однако, порой они случались, в особенности же в ночь с четверга на Страстную пятницу. Одновременно он посоветовал мне, чтобы я заказал несколько десятков месс за упокой души принцессы и сам их выслушал. Я последовал его совету и затем пустился в дальнейшее странствие, но память об этой несчастной ночи оставила грустное впечатление, от которого я никак не могу избавиться. Да и рука моя ноет постоянно.

С этими словами Ромати обнажил руку, на которой мы увидели ожог и следы пальцев принцессы.

Тут я прервал вожака, сказав ему, что просматривал в кабинете у кабалиста некоторые рассказы Хаппелиуса и что в них нашел приключение, весьма похожее на это.

— Очень возможно, — ответил вожак, — что Ромати вычитал свою историю из этой книги, а может быть и выдумал ее с начала до конца. Тем не менее, рассказ его немало сделал для того, чтобы разжечь во мне охоту к странствиям и в особенности надежду самому испытать столь же удивительные приключения, что, впрочем, так и осталось только надеждой. Но такова уж сила впечатлений, полученных в юные годы, что мечты эти долго кружили мне голову, и я так никогда и не сумел совершенно освободиться от них.

— Сеньор Пандесовна, — сказал я на это, — разве ты не дал мне понять, что с тех пор, как ты живешь в этих горах, ты видел вещи, которые тоже можно было бы назвать чудесами?

— В самом деле, я видел кое-какие вещи, которые мне напоминали историю Джулио Ромати.

В этот момент один из цыган прервал нашу беседу; а так как оказалось, что у Пандесовны еще много дел, я, захватив ружье, отправился на охоту. Побродив по окрестным холмам и пригоркам и бросив взгляд на долину, простирающуюся у моих ног, я подумал, что узнаю издали злосчастную виселицу двух братьев Эото. Зрелище это разожгло мое любопытство, я ускорил шаги и в самом деле очутился возле виселицы, на которой по-прежнему висели оба трупа. С ужасом отвратил я взор и пошел, удрученный, в наш табор. Вожак спросил меня, куда я ходил; я ответил, что дошел до самой виселицы двух братьев Эото.

— Ты застал их обоих висящими? — спросил цыган.

— Как? — прервал я его, — разве у них есть обыкновение по временам отцепляться?

— Очень часто, — сказал вожак, — и в особенности ночью.

Эти несколько слов погрузили меня в сомнения. Я снова находился по соседству с двумя проклятыми страшилищами; я не знал, упыри ли это или же вымышленные мною самим страхи, однако, как бы то ни было, следовало их опасаться. Печаль терзала меня весь остаток дня; я пошел спать, не поужинав, и всю ночь мне мерещились привидения, упыри, духи, призраки и висельники.

День четырнадцатый

Цыганки принесли мне шоколаду и сели со мной позавтракать. Затем я вновь взял ружье и не знаю, какая несчастная рассеянность привела меня к виселице двух братьев Зото. Я увидел их снятыми с виселицы. Зайдя под виселицу, я заметил, что оба трупа лежат на земле, а между ними — молодая девушка, в которой я узнал Ревекку.

Я разбудил ее как можно бережнее, однако зрелище, которое невозможно было заслонить, свергло ее в состояние несказанного горя. У нее начались судороги, она зарыдала и лишилась чувств. Взяв ее на руки, я понес ее к роднику, расположенному неподалеку; там обрызгал ей лицо водой, и она постепенно пришла в себя.

Никогда бы я не решился спросить ее, как она очутилась под виселицей, но она первая заговорила об этом.

— Я хорошо знала, — сказала она, — что молчание твое будет иметь для меня пагубные последствия. Ты не хотел рассказать нам о своем приключении, и вот я так же, как ты, стала жертвой этих проклятых упырей, гнусные проказы которых в мгновение ока уничтожили длительные старания моего отца обеспечить мне бессмертие. До сих пор я не могу еще понять всех ужасов этой ночи. Буду, однако, стараться припомнить их и расскажу тебе о них, но ты не понял бы меня, если бы я не начала с самого начала моей жизни.

Ревекка задумалась на миг и повела такую речь:



История Ревекки

Мой брат, рассказывая тебе свои приключения, познакомил тебя с некоторой частью моих собственных приключений. Отец наш предназначал его в супруги двум дочерям царицы Савской, что же до меня, то он хотел, чтобы я вышла замуж за двух гениев, возглавляющих созвездие Близнецов.

Брат, гордый супружеством, которое было ему завещано, удвоил рвение к каббалистическим наукам. У меня же впечатление было совершенно иным; меня пугала мысль стать женой двух гениев сразу, и я была настолько этим огорчена, что не могла составить двух строк каббалы. Я все время откладывала эти труды на завтра и кончила тем, что совсем позабыла это искусство, столь же трудное, сколь и небезопасное.

Брат мой вскоре заметил мою нерадивость и осыпал меня ужаснейшими упреками. Я обещала ему исправиться, не думая, впрочем, сдержать обещание. Наконец, он пригрозил мне, что пожалуется на меня отцу; я закланала его пощадить меня. Тогда он сказал, что подождет еще до ближайшей субботы, но так как я к этому времени ничего не сделала, вошел ко мне в полночь, разбудил и сказал, что сейчас же вызовет тень нашего отца — грозного Мамуна.

Я упала к его ногам, умоляла сжалиться, но напрасно. Я услышала, как он произносит формулу, открытую некогда Аэндорской волшебницей. Тотчас же на престоле из слоновой кости показался мой отец. Его гневный взор вселил в меня страх; я думала, что не переживу первого слова, какое сорвется с его уст. Однако я услышала его голос. Боже Авраама! Он произнес ужасающее проклятье; не могу тебе повторить его слов...

Тут юная израильтянка закрыла лицо руками и затрепетала при одном воспоминании об этой жестокой сцене; наконец она пришла в себя и так продолжала свою речь:

— Я не слышала окончания речи моего отца, потому что лишилась чувств раньше, чем он кончил. Придя в себя, я увидела брата, подающего мне книгу «Сефирот». Я думала, что снова упаду в обморок, но нужно было подчиниться приговору. Мой брат, который хорошо знал, что следует вернуться со мной к первоначалам, имел достаточно терпения и одно за другим напомнил мне все исходные понятия. Я начала с составления слогов, затем перешла к словам и формулам. Постепенно возвышенная эта наука совершенно меня очаровала. Я проводила ночи напролет в кабинете, который служил моему отцу обсерваторией, и выходила только тогда, когда дневной свет прерывал мои занятия; тогда я валилась с ног от усталости. Мулатка моя, Зюлейка, раздевала меня, я сама не знаю, когда. После нескольких часов отдыха, я возвращалась к занятиям, для которых ни в коей мере не была создана, как ты это сам вскоре увидишь.

Ты знаешь Зюлейку и, конечно, обратил внимание на необыкновенную ее красоту. Глаза ее источают сладость, на устах играет пленительная улыбка, тело поражает совершенством форм. Однажды, возвращаясь из обсерватории, где я долго и напрасно пыталась дозваться ее, чтобы она пришла меня раздеть, я вошла в ее комнату, которая прилегает к моей спальне. Я увидела, как она, высунувшись в окно, полунагая, делала знаки

кому-то на другой стороне долины и посылала страстные поцелуи, в которые, казалось, вкладывала всю свою душу.

До тех пор у меня не было ни малейшего понятия о любви; проявления этого чувства впервые поразили мой взор. Я была настолько изумлена и захвачена врасплох, что застыла неподвижно, как статуя. Зюлейка повернулась ко мне: живой румянец пробился сквозь ореховую окраску кожи и разлился по всему ее телу. Я тоже зарумянилась и вдруг побледнела. Почувствовала, что падаю в обморок. Зюлейка подбежала, схватила меня в свои объятия, и сердце ее, бьющееся рядом с моим, возбудило во мне такое же смятение, какое овладело ее чувствами.

Мулатка раздела меня наспех и, уложив в постель, удалилась, как мне показалось — с удовольствием, и с еще большим наслаждением заперла за собой дверь. Вскоре я услышала шаги мужчины, входящего в ее комнату. Столь же мгновенно, сколь и произвольно я сорвалась с постели, подбежала к двери и прильнула к замочной скважине. Я увидела молодого мулата Танзай, вносящего корзину, наполненную полевыми цветами. Зюлейка кинулась навстречу ему, схватила цветы в охапку, прижала их к груди. Танзай приблизился, чтобы вдохнуть их запах, который смешивался со вздохами его возлюбленной. Я видела ясно, как Зюлейка затрепетала (дрожь пронзила и меня), поглядела на него отуманенным взором и упала в его объятия. Я бросилась на ложе, оросила слезами мою постель, рыдания разрывали мне грудь и я с величайшей горечью воскликнула:

— Ах, моя стодвенадцатая прабабка, имя которой я ношу, кроткая и нежная супруга Исаака! Если с лона твоего тестя, с лона Авраама, ты видишь, в каком я состоянии, упрости тень Мамуна и скажи ему, что его дочь недостойна той чести, которую он для нее предназначает!

Возгласы эти разбудили моего брата, он вошел ко мне и, думая, что я больна, дал мне успокоительное. Он снова пришел в полдень и, найдя, что кровь так и бурлит в моих жилах, предложил в дальнейшем выполнять за меня мои каббалистические труды. Я с благодарностью приняла это предложение, ибо сама ни на что не была способна. Когда наступил вечер, я заснула и сны мои были совершенно отличны от тех, какие доселе меня посещали. Утром же я стала мечтать наяву, или, скорее, была настолько рассеяна, что сама не знала, что говорю. Взоры брата вызывали на лице моем необъяснимый румянец. Так прошло восемь дней.

Однажды ночью брат вошел в мою комнату. Под мышкой он держал книгу «Сефирот», а в руке шарф с созвездиями, на котором выписано было семьдесят два имени, какие Зороастр¹ дал созвездию Блинецов.

— Ревекка, — обратился он ко мне, — Ревекка, выйди из состояния, которое тебя унижает. Пора тебе испытать свою власть над созданиями стихий. Этот шарф с созвездиями оградит тебя от их преследований. Выбери в окрестных горах место, которое ты признаешь самым подходящим для твоих действий, и уразумей, что вся твоя судьба зависит от них.

Сказав это, брат мой проводил меня за ворота замка и опустил за мной решетку.

Предоставленная сама себе, я собрала всю свою отвагу. Ночь была темная, я стояла в тоненькой сорочке, босиком, с распущенными волосами, — в одной руке у меня была книга, в другой — волшебный шарф. Я направилась шагами к горе, которая показалась мне самой близкой. Какой-то пастух хотел меня схватить; я оттолкнула его рукой, в которой держала книгу, и он мертвый упал к моим ногам. Это не удивит тебя, когда ты узнаешь, что переплет моей книги был выструган из дерева ковчега, которое обладает способностью уничтожать все, к чему только ни прикоснется.

Солнце начало вставать, когда я добралась до вершин, которые выбрала для осуществления моих действий; однако я впрямую была приступить к ним только назавтра в полночь. Я укрылась в пещере, где застала медведицу с несколькими медведжатами; она бросилась на меня, но переплет книги и на сей раз явил свою мощь; разъяренное животное безжизненной тушей пало к моим ногам. Вздутые сосцы косматого чудовища напоминали мне, что я умираю с голоду, а еще ни один гений и даже ни один странствующий дух не повиновались моим веленьям. Я решила воспользоваться случаем и, растянувшись на земле, утолила жажду молоком медведицы. Остатки тепла, которое животное еще сохранило в себе, сделали эту пищу менее отталкивающей, но потом явились медведжата, чтобы воспользоваться и своей долей. Вообрази себе, Альфонс, шестнадцатилетнюю девушку, которая никогда доселе не покидала родительского дома, вообрази ее вдруг в таком ужасном положении. Правда, у меня в руке было страшное оружие, но я не привыкла им пользоваться, а ведь малейшая оплошность могла бы обратить это оружие против меня самой.

Тут я заметила, что трава мгновенно сохнет под моими ногами, воздух внезапно пахнул жаром, а птицы падали мертвыми на лету. Я поняла, что дьяволы, предупрежденные о том, что должно произойти, начинают уже собираться. Дерево неподалеку от меня само собой запылало, из него вырвались клубы дыма, которые вместо того, чтобы взлететь вверх, окружили мою пещеру и погрузили меня во тьму. Медведица, лежавшая у моих ног, казалось, ожила, и глаза ее блеснули огнем, который на миг развеял мглу. Тотчас же из медвежьей пасти выпорхнул злой дух в образе крылатой змеи. Это был Немраэль, дух низшей степени, который был предназначен к моим услугам. Вскоре я услышала беседу на языке эгрегоров, прекраснейших падших ангелов, и поняла, что они делают мне честь, составляя мое общество при первом моем вхождении в мир существ-посредников. Это тот самый язык, на каком Енох написал свою книгу, творение, над которым я провела немало дней в глубоких размышлениях.

Наконец, Семиаса, князь эгрегоров, пришел возвестить мне, что время уже начать. Я вышла из пещеры, расстелила мой шарф, испещренный со-

звездиями, раскрыла книгу и громко произнесла страшные заклятья, которые доселе едва отваживалась читать про себя.

Ты отлично понимаешь, сеньор Альфонс, что я не в состоянии рассказать тебе все, что со мной творилось, да ты даже и не смог бы этого понять. Добавлю только, что я приобрела достаточно сильную власть над духами и что меня научили средствам, которые позволили мне познакомиться с небесными близнецами. Почти в то же время брат мой заметил кончики ножек дочерей Соломоновых. Я ожидала, пока солнце вступит в знак Близнецов; со следующего дня, или, вернее, с той ночи я и принялась за дело. Но я исчерпала все силы, стремясь достигнуть цели, однако, не желая прерывать свои действия, бодрствовала настолько далеко за полночь, что наконец мною овладел сон, которому я не смогла сопротивляться.

На следующее утро, смотрясь в зеркало, я заметила две человеческие фигуры, стоящие за мной. Я обернулась, но ничего не увидела; снова бросила взгляд в зеркало, и снова мне представилась та же картина. Впрочем, явление это вовсе не было страшным. Я увидела двух юношей, чуть повыше обычного человеческого роста. Плечи их были широки и несколько округлы, как у женщин; грудь также была по-женски закруглена, кроме этого, однако, они ничем не отличались от мужчин. Точеными руками они опирались на бедра, приняв позу, которую мы видим на египетских скульптурах; лазурно-золотые вьющиеся волосы падали им на плечи. Не говорю уже о чертах их лиц; ты можешь вообразить себе красоту полубогов, ибо в самом деле это были небесные близнецы, я узнала это по маленькому пламени, поблескивающему над головой каждого из них.

— Как же были одеты эти полубоги? — спросил я Ревекку.

— Они вовсе не были одеты, — ответила она. — У каждого из них было четыре крыла, из которых два вырастали из плеч, два же складывались вокруг пояса. Хотя крылья эти и были прозрачными, однако пурпурные и золотые искры, которыми они были пронизаны, достаточно заслоняли все то, что могло бы оскорбить мою стыдливость.

Так вот они, — сказала я сама себе, — те двое небесных юношей, которым я предназначена в супруги. — Я внутренне не могла удержаться от сравнения их с молодым мулатом, который так искренне любил Эюлейку, но я покраснела при этой мысли. Я взглянула в зеркало, и мне показалось, что юные полубоги метали мне разгневанные взоры, как если бы они отгадали мои мысли и оскорбились тем, что я непроизвольно осмелилась унижить их подобным сравнением.

В течение нескольких последующих дней я боялась взглянуть в зеркало. Наконец я отважилась. Божественные близнецы, с руками, сложенными на груди, кроткими и нежными взорами развеяли мою боязнь. Однако я не знала, что им сказать. Чтобы как-то выйти из этого затруднительного по-

ложения, я пошла за томом творений Эдриса, который вы называете Атласом. Это прекраснейшая поэзия, какой мы обладаем. Звуки стихов Эдриса подражают гармонии небесных тел. Я недостаточно знаю язык этого автора, и боясь, не прочитала ли я худо, украдкой взглянула в зеркало, чтобы убедиться, какое впечатление я произвожу на слушателей. Я могла быть вполне довольна. Тамимы глядели друг на друга взорами, полными признательности ко мне и порой бросали в зеркало взгляды, которые сильно волновали меня.

В этот момент в комнату вошел мой брат, и видение исчезло. Он говорил мне о дочерях Соломоновых, лишь кончики ножек которых ему удалось увидеть. Видя его веселым, я разделила его радость, тем более, что чувствовала себя проникнутой незнакомым мне доселе чувством. Внутреннее волнение, всегда сопровождающее каббалистические действия, уступило место сладостной мечтательности, о наслаждениях которой я до сей поры ничего не ведала.

Брат приказал отворить решетку замка, которая была заперта со времени моего выхода на гору, и мы предались приятностям прогулки. Окружности показались мне волшебными, поля сверкали прекраснейшими красками. Я заметила также в глазах моего брата некий пыл, отличный от того, какой прежде горел в нем к наукам. Мы вошли в апельсиновую рощу. Погруженный в мечтания, он пошел в свою сторону, я — в свою, и мы возвратились, переполненные волшебными мыслями.

Зюлейка, раздевая меня, принесла зеркало. Заметив, что я не одна, я приказала ей унести его, полагая, подобно страусу, что если я сама никого не вижу, то и я никому не буду видна. Я легла и заснула, но вскоре странные сновидения овладели моей душой. Мне казалось, что в небесной бездне я вижу две прекрасные звезды, которые царственно движутся по зодиакальному кругу. Вдруг они свернули с дороги и, миг спустя, показались вновь, а за ними небольшая туманность из созвездия Возничего.

Три этих небесных тела вместе промчались воздушным путем, после чего приостановились и приняли образ пламенного метеора. Наконец, он разделился на три огненных кольца, и они долго вращались порознь — а затем вновь слились в единый пламень. После этого они превратились в некое сияние или ореол, окружающий престол из сапфиров. На престоле восседали близнецы, они простирали ко мне руки и показывали место, которое я должна занять между ними. Я хотела домчаться до них, но в этот миг мне показалось, что мулат Танзай хватает меня за талию и хочет удержать. Я и в самом деле почувствовала, что что-то сильно сжимает меня и вдруг очулась.

Тьма наполнила мою комнату, но сквозь щели в двери я увидела свет в комнате Зюлейки. Я услышала ее вздохи и решила, что она занемогла. Мне нужно было бы позвать ее, но я не сделала этого. Не знаю, какое несчастное легкомыслие было причиной тому, что я снова прильнула к за-

мочной скважине. Я увидела мулата Танзай и Зюлейку, предающихся своевольным утехам, зрелище которых поразило меня; взор мой помутился, и я лишилась чувств.

Когда я открыла глаза, Зюлейка и брат мой стояли у моего ложа. Я бросила на мулатку испепеляющий взор и запретила ей показываться мне на глаза. Брат мой осведомился о причине этой суровости; пылая от стыда, я рассказала ему все, что со мной произошло этой ночью. Он мне ответил на это, что вчера сам их поженил, но, однако, очень опечален тем, что не предвидел случившегося. Правда, только взору моему был нанесен урон, но чрезвычайная раздражительность Тамимов сильно его тревожила. Что касается меня, то я лишилась всех чувств, за исключением чувства стыда, и предпочла бы скорее умереть, чем взглянуть в зеркало.

Брат мой не знал о том, каковы мои отношения с Тамимами, но знал, что я им не чужда, видя же, что я предаюсь все более глубокой печали, страшился, чтобы я не забросила начатых уже деяний. Когда солнце должно было выйти из-под знака Близнацов, он счел нужным предупредить меня об этом. Я как бы очнулась от сна; затрепетала при мысли, что не увижу больше моих полубогов и разлучусь с ними на одиннадцать месяцев, не зная даже, какое место я занимаю в их сердцах и не стала ли я совершенно недостойна их внимания.

Я решила пойти в тот просторный покой в замке, где висело венецианское зеркало высотой в шесть локтей; для большей, однако, уверенности в себе, я взяла книгу Эдриса, содержащую поэму о сотворении мира. Я села далеко от зеркала и начала читать вслух. Затем, вдруг прервав чтение и возвысив голос, я осмелилась спросить Тамимов, были ли они свидетелями всех этих чудес. Тогда венецианское зеркало сорвалось с крюка, на котором висело, и встало предо мной. Я увидела Тамимов; они взирали на меня, на устах их играла довольная улыбка и вдруг нежные мои полубоги склонили головы в знак того, что действительно присутствовали при сотворении мира и что и в самом деле все происходило именно так, как пишет Эдрис.

Тут в меня вселилась отвага, я захлопнула книгу и утопила взор в очах моих божественных возлюбленных. Эта минута забвения могла мне дорого обойтись. Слишком много еще было во мне человеческой природы, чтобы я могла вынести столь близкую с ними встречу. Пламень, блещущий в их глазах, чуть не испепелил меня. Я опустила взор и, несколько прийдя в себя, стала читать дальше, но как раз попала на другую песнь, в которой этот поэт и пророк описывает любовные утехи сынов Элоима с дочерьми человеческими. Невозможно теперь вообразить себе, как любили в первые века существования мира. Читая эти яркие описания, я часто запиналась, не в состоянии понять слов поэта. Тогда глаза мои невольно обращались к зеркалу, и мне казалось, что я вижу, как Тамимы со все большим наслаждением внимают моему голосу. Они простирали ко мне руки и прибли-

жались к моему креслу. Они грациозно раскрывали крылья у плеч; я заметила также легкое подрагивание тех, что у бедер. Страшась, что они развернут их, я прикрыла лицо рукою и в тот же миг ощутила на ней поцелуй, так же как и на другой, которую я положила на книгу. Тогда я вдруг услышала, как зеркало разбилось вдребезги. Я поняла, что солнце вышло из-под знака Близначев, которые таким образом посылали мне свой прощальный привет.

Наутро, в другом зеркале я увидела как бы две тени или, вернее, два легких абриса моих божественных возлюбленных. День спустя — все исчезло. Потом, чтобы развеять тоску, я проводила ночи в обсерватории и, прикинув к телескопу, следила за моими возлюбленными вплоть до их исчезновения. Они уже давно были за горизонтом, а мне все мнилось, что я еще вижу их. Наконец, когда хвост созвездия Рака исчезал с моих глаз, я уходила на отдых, и ложе мое часто бывало орошаемо невольными слезами, причины которых я и сама не сумела бы определить.

Тем временем брат мой, преисполненный любви и надежды, более, чем когда-либо, предавался оккультным наукам. Однажды он явился ко мне и сказал, что верные знаменья, которые он наблюдал на небе, возвестили ему, что прославленный адепт, уже в течение двух веков обитающий в пирамиде Саофиса, отправляется в Америку и что двадцать третьего дня нашего месяца тибетского, в семь часов и сорок две минуты, он проследует через Кордову. В тот же вечер я пошла в обсерваторию и убедилась, что он прав, но мои подсчеты дали несколько иной результат. Брат оставался при своем мнении, и так как он не привык менять своих мнений, он хотел сам поехать в Кордову, дабы убедить меня, что не он, а я заблуждаюсь.

Брат мой мог осуществить это свое путешествие в столь краткий срок, какой требуется, чтобы произнести эти слова, но ему хотелось насладиться приятностями прогулки, и он пустился в путь по горам, выбирая дорогу, где красивые виды обещали ему более всего развлечения. Таким образом он прибыл в Вента Кемада. Он приказал сопровождать себя тому самому духу, который явился мне в пещере, и велел ему принести себе ужин. Немраэль похитил ужин у приора бенедиктинцев и принес ему в венту. Затем брат, не нуждаясь больше в услугах Немраэля, отослал его мне.

Я как раз находилась тогда в обсерватории и узрела на небе знаменья, при виде которых затрепетала от страха, не ведая, какова будет участь моего брата. Я приказала Немраэлю вернуться в венту и ни на шаг от него не отходить. Он полетел, но вскоре вернулся ко мне, говоря, что власть, превосходящая его могущество, не позволила ему проникнуть внутрь трактира. Беспокойство мое достигло высочайшей степени. Наконец, я увидела тебя, прибывающим вместе с моим братом. Я заметила в твоих чертах спокойствие и уверенность в себе, которые убедили меня, что ты не кабалист. Отец мой возвестил мне, что некий смертный окажет на меня пагубное влияние, и я опасалась, что им окажешься ты.

Вскоре меня всецело заняли иные заботы. Брат мой рассказал мне о приключениях Пачеко и о том, что случилось с ним самим, но добавил, к великому моему изумлению, что сам не знает, с какого рода духами он имел дело. Мы дожидались ночи с величайшим нетерпением, наконец, она наступила, и мы совершили ужаснейшие заклятья. Но все было тщетно: мы не могли ничего узнать ни о природе тех двух созданий, ни о том, действительно ли мой брат, общаясь с ними, утратил свое право на бессмертие. Я думала, что ты сможешь нам дать некоторые объяснения, но ты, — верный, не знаю уж, какому слову чести — ничего не захотел рассказать.

Тогда, чтобы успокоить моего брата, я решила сама провести ночь в Вента Кемада и вчера пустилась в путь. Было уже очень поздно, стояла непроглядная тьма, когда я добралась до въезда в долину. Я собрала некоторые испарения, из коих составила путеводный огонек, и велела, чтобы он указывал мне путь. Это тайна, сохраняющаяся в нашей семье; подобным же образом Моисей, родной брат шестьдесят третьего моего предка, сотворил огненный столп, который вел израильтян в пустыне.

Мой путеводный огонек запылал и начал витать предо мной, однако не выбрал кратчайшей дороги. Я заметила его неповиновение, но не обратила на это особого внимания. Была полночь, когда я достигла цели. Прибыв во двор венты, я увидела свет в одной из комнат и услышала гармоничную музыку. Я присела на каменную скамью и совершила некоторые каббалистические манипуляции, но, увы, все мои старания остались втуне. И в самом деле, музыка чаровала меня и отвлекала до такой степени, что сейчас я не могу тебе сказать, точны ли были мои действия, и склонна полагать, что должно быть ошиблась в каком-то немаловажном пункте. Тогда, однако, я была убеждена в их безошибочности и непогрешимости и, узнав, что в трактире нет ни духов, ни дьяволов, пришла к выводу, что там непременно люди; итак, я с наслаждением стала внимать их пению. Голосам аккомпанировал какой-то струнный инструмент; они были столь мелодичны и полны гармонии, что никакая земная музыка не может сравниться с тем, что я слышала.

Напевы эти пробуждали во мне сладострастные чувства, которых я не смогла бы описать. Я долго прислушивалась к пению со своей скамьи, но, в конце концов, нужно было войти, ведь я лишь за тем и пришла. Я отворила дверь и увидела двух рослых и красивых юношей, сидящих за столом; они ели, пили и распевали от всей души. Одеты они были на восточный лад: на головах у них были тюрбаны, грудь и плечи обнажены, за поясами сверкало драгоценное оружие.

Два незнакомца, которых я сочла турками, встали, подали мне стул, наполнили мою тарелку и стакан и снова начали петь под звуки торбана, на котором они поочередно наигрывали.

Их непринужденность передалась и мне: так как голод мне несколько докучал, я начала есть без долгих церемоний; воды не было, и я пила

вино. Тотчас же мне пришла охота петь вместе с юными турками, которых, казалось, обворожил мой голос. Я запела испанскую сегедилью, они ответили мне на этом же языке. Я спросила их, где они научились говорить по-испански.

— Мы родом из Морей, — отвечал мне один из них. — Моряки, мы легко научились языку гаваней, в которые прибываем, но оставим сегедилью, послушай теперь песни нашей стороны.

Не знаю, как тебе объяснить это, Альфонс, только голоса их изливались в мелодии, которая возносила душу сквозь все оттенки чувства, а когда волнение достигало высшей степени, неожиданные звуки внезапно вселяли в нее безумную веселость. Однако я не дала себя обмануть всем этим иллюзиям; я вглядывалась внимательней в мнимых матросов, и мне казалось, что я нашла в них чрезвычайное сходство с моими божественными близнецами.

— Вы турки, — сказала я, — рожденные в Морее?

— Нет, ничуть, — ответил тот из них, который до сих пор еще не произнес ни слова, — мы вовсе не турки, мы греки, родом из Спарты и вышли из одного яйца.

— Из одного яйца?

— Ах! Божественная Ревекка, — прервал другой, — как ты можешь так долго не узнавать нас: я — Поллукс, а это мой брат.

Я потеряла голос от страха. Вскочила и укрылась в углу комнаты.

Мнимые близнецы приобрели свой прежний зеркальный облик, развернули крылья, и я почувствовала, что они уносят меня в воздух, но, по счастливому вдохновению, я произнесла священное слово, которое я и мой брат одни только знаем из всех каббалистов. Тотчас же я была повергнута наземь. Падение это лишило меня чувств, и лишь твои старания вернули их мне. Внутренний голос убеждает меня, что я ничего не утратила из того, что обязана была сбересть, но я измучена всеми этими сверхъестественными явлениями. Божественные близнецы! Я недостойна вашей любви! Я чувствую, что родилась, чтобы оставаться простой смертной.

Этими словами Ревекка завершила свой рассказ, и первой моей мыслью было, что она издевалась надо мной от начала до конца и что хотела только злоупотребить моим легковерием. Я оставил ее весьма поспешно и, начавши размышлять над тем, что я слышал, так говорил себе:

— Либо эта женщина в сговоре с Гомелесами и стремится подвергнуть меня испытанию и принудить перейти в мусульманскую веру, либо также по каким-то иным причинам хочет вырвать у меня тайну моих кузин. Что же касается этих последних, то если они не дьяволицы, то без сомнения служат Гомелесам.

Я был погружен в эти размышления, когда заметил, что Ревекка чертит в воздухе круги и другие тому подобные волшебные фигуры. Минуту спустя она обратилась ко мне и сказала:

— Я сообщила брату о том, где я нахожусь, и уверена, что вечером он прибудет сюда. А пока поспешим в цыганский табор.

Она доверчиво оперлась на мое плечо, и мы пришли к старому вожаку, который принял еврейку, оказав ей знаки глубокого уважения. Весь день Ревекка вела себя чрезвычайно естественно и, казалось, совершенно забыла о тайных познаниях. Когда под вечер прибыл ее брат, они ушли вместе, а я отправился на покой. Улегшись в постель, я размышлял еще над рассказом Ревекки, но так как впервые в жизни слышал о каббале, адептах и о небесных знамениях, то не мог найти ни одного решительного возражения, опровергающего ее доводы, и, пребывая в этой неуверенности, заснул.



День пятнадцатый

Я проснулся очень рано и решил прогуляться до завтрака. Видел издали каббалиста, оживленно беседующего со своей сестрою. Я отвернулся, не желая их прерывать, но вскоре заметил, что каббалист направляется в сторону табора, Ревекка же поспешно приближается ко мне. Я сделал несколько шагов ей навстречу, и мы вместе отправились на прогулку, не проронив ни слова. Наконец прекрасная израильянка первая нарушила молчание и сказала:

— Сеньор Альфонс, я откроюсь тебе, и ты не останешься безучастным, если судьба моя хоть немного тебя занимает. Я навсегда оставляю каббалистические науки. Сегодня ночью я серьезно размышляла об этом решении. На что мне это пустое бессмертие, которое отец мой хотел даровать мне? Разве и без того все мы не бессмертны? Разве мы не должны соединиться в храме праведных? Я хочу наслаждаться этой краткой жизнью, хочу провести ее с настоящим мужем, а не со звездами, не с небесными телами. Я хочу стать матерью, хочу увидеть детей своих детей, а потом, усталая и пресытившаяся жизнью, хочу уснуть в их объятиях и почить в лоне Авраамовом. Что ты скажешь об этом моем намерении?

— Поддерживаю его от всей души, — ответил я, — но что на это сказал твой брат?

— Сперва, — сказала она, — он безумно разгневался, но потом обещал мне, что сделает то же самое, если вынужден будет отречься от дочерей Соломона. Он подождет, пока солнце не вступит под знак Девы, а потом примет окончательное решение. А пока мы хотели бы узнать, что это были за упыри, которые подшутили над ним в Вента Кемада и звались Эмина и Зибельда. Он сам не хотел спрашивать тебя о них, ибо предполагает, что ты знаешь не больше него. Сегодня вечером, однако, он хочет призвать вечного странника Агасфера, того самого, которого ты видел у отшельника. Надеюсь, что брат сможет добиться от него некоторых разъяснений.

В то время, как Ревекка вела такую речь, нам сказали, что завтрак уже готов. Он был накрыт в большой пещере, под своды которой были унесены наши шатры, ибо небо начало покрываться тучами. Вскоре разразилась ужасная гроза. Видя, что мы обречены провести остаток дня в пещере, я упрямил старого вожака продолжить свою историю, что он и сделал в следующих словах:



*Продолжение истории
цыганского вожака*

Ты помнишь, сеньор Альфонс, историю принцессы Монте Салерно, которую нам поведал Джулио Ромати; я говорил тебе, какое сильное впечатление произвела на меня эта история. Когда мы отправились на покой, комнату озаряло лишь слабое мерцание лампы. Меня пугали темные углы, в особенности же пугал доверху набитый ларь, где трактирщик хранил запас ячменя. Мне казалось, что миг спустя я увижу выходящие оттуда шесть скелетов — шесть прислужников принцессы. Поэтому я завернулся в одеяло, чтобы ничего не видеть, и вскоре заснул крепким сном.

Ранним утром меня разбудили колокольчики мулов; одним из первых я был на ногах. Я забыл и о Ромати, и о принцессе и думал теперь только о том, что за наслаждение мое путешествие. И в самом деле, оно было очень приятным. Солнце, прикрытое тучами, не слишком палило, поэтому погонщики решили ехать весь день без отдыха и задержаться только у колодца Дос Леонес, где сеговийская дорога сливалась с большой дорогой, ведущей в Мадрид. В этом месте роскошные деревья дают удивительную тень, а два львиных изваяния, мечущие воду в мраморный бассейн, немало способствуют прелести этого чудесного приюта.

Был уже полдень, когда мы туда прибыли, и, едва остановившись, увидели множество путешественников, едущих по дороге из Сеговии. На первом муле, открывающем кавалькаду, сидела юная девушка, как мне показалось, моих лет, хотя на самом деле она была несколько старше. Мула ее погонял юноша лет, примерно, семнадцати, пригожий и щеголеватый, хотя на нем был всего только обычный наряд конюха. За ними следовала пожилая дама, которую можно было принять за мою тетку Даланосу, не столько по сходству черт лица, сколько по сходству манер, в особенности же из-за выражения доброты, разлитого по ее лицу. Слуги замыкали шествие.

Так как мы были первыми, то пригласили вновь прибывших разделить нашу трапезу. Обед был накрыт под деревьями; женщины приняли приглашение, но с явной грустью, в особенности же юная девушка. Порой она нежно посматривала на юного погонщика, который усердно ей прислуживал, на что пожилая дама взирала с невыразимым состраданием: слезы

застилали ей глаза. Я заметил, что они чем-то опечалены, и рад был бы сказать им что-нибудь утешительное, но не зная, как приступить к делу, ел молча.

Мы вновь пустились в путь; добрая моя тетка поехала рядом с незнакомой дамой, я же приблизился к молодой девушке и подметил, как юный погонщик мулов, делая вид, что поправляет седло, касался ее ноги или руки, а однажды я даже заметил, что он поцеловал ей руку.

После двух часов пути мы добрались до Ольмедо, где должны были остановиться на ночлег. Тетка моя приказала вынести стулья, поставить их у дверей трактира и уселась рядом со своей спутницей. Потом она поручила мне сказать, чтобы принесли шоколаду. Я вошел в дом и, ища наших слуг, забрел в комнату, где нашел молодую девушку в объятиях погонщика. Они заливались горькими слезами. При этом зрелище у меня чуть сердце не разорвалось от горя: я бросился на шею юному погонщику и разрыдался почти до безумия. Тут явились обе пожилые дамы. Тетка моя, необычайно взволнованная, вывела меня из комнаты и стала спрашивать о причине этих слез. Я и сам не знал, отчего плакал, и никак не сумел ей на это ответить. Услышав, что я плакал без всякой причины, она не могла удержаться от смеха. Тем временем, другая дама заперлась с молодой девушкой; мы услышали, как они вместе рыдали; они так и не показались до самого ужина.

Трапеза наша не была ни продолжительной, ни веселой. Когда убрали со стола, тетка моя обратилась к незнакомой даме и сказала:

— Сеньора, упаси меня боже дурно судить о ближних, в частности, о тебе, ибо мне кажется, что у тебя добрая и истинно христианская душа. Помимо всего прочего, я имела счастье отужинать с тобой и всегда буду этим гордиться. В то же время, однако, мой племянник видел, как эта молодая девушка обнимала простого погонщика, красивого, впрочем, юношу, — в этом смысле мне его не в чем упрекнуть, но я удивилась, заметив, что ты, госпожа, не находишь в этом ничего предосудительного. Конечно же, у меня нет никакого права, но, имея честь отужинать с тобой, госпожа... притом до Бургоса путь еще весьма и весьма не близкий...

Тут тетушка моя до того запуталась, что никогда бы не выбралась из всех этих объяснений, если бы другая дама, прервав ее как раз во-время, не сказала:

— Да, сударыня, вы имеете право после всего, что видели, спрашивать о причинах моего потворства. Мне следовало бы умолчать о них, но я вижу, что не подобает мне скрывать это от вас, поскольку это связано со мной.

Сказав это, почтенная дама достала платочек, утерла глаза и повела такую речь:



История Марии де Торрес

Я — старшая дочь дона Эмануэля де Норуња, ойдора сеговийского суда. На восемнадцатом году меня выдали замуж за дону Энрике де Торрес, полковника в отставке. Моя мать умерла за несколько лет до этого, отца я потеряла спустя два месяца после моей свадьбы, и мы приняли в наш дом младшую мою сестру Эльвиру, которой шел тогда всего лишь четырнадцатый год, но она уже славилась красотой во всей округе. Наследства отца мой почти никакого не оставил. Что же касается моего мужа, то он обладал довольно значительным состоянием, но по некоторым семейным обстоятельствам вынужден был выплачивать содержание пятерым мальтийским рыцарям и к тому же еще обеспечить шестерых монахинь — наших родственниц, так что в конце концов доходов наших едва хватало на пропитание. Однако ежегодное вспомоществование, назначенное двором моему мужу в награду за его прежнюю службу, несколько улучшило наше положение.

Впрочем, тогда в Сеговии было много дворянских семей, ничуть не богаче нашей. Ради общего блага они ввели в обычай сугубую бережливость. Редко навещали друг друга, женщины не выглядывали из окон, мужчины не задерживались на улицах. Вволю поигрывали на гитарах, еще больше вздыхали, тем паче, что все это ровно ничего не стоило. Местные фабриканты вигоневого сукна жили в роскоши, мы же были не в состоянии подражать им, и поэтому отчаянно мстили этим выскочкам, презирая их и всячески высмеивая.

Чем старше становилась моя сестра, тем больше гитар звучало на нашей улице. Некоторые из музыкантов вздыхали, в то время как другие бренчали, или же бренчали и вздыхали в одно и то же время.

Городские красотки сохли от зависти, но та, которая была предметом всех этих почестей, не обращала на них ни малейшего внимания. Сестра моя почти всегда пряталась в своей комнате, в то время как я, чтобы не показаться нелюбезной, садилась у окна и говорила каждому несколько благодарственных слов. Это было неременной обязанностью, от которой я не могла себя освободить, но когда последний гитарист уходил, я затворяла окно с невыразимым наслаждением. Муж мой и сестра ожидали меня в сто-

ловой. Мы садились за скромный ужин, который оживляли тысячами шуток по адресу несчастных поклонников. Каждый получал по заслугам, и, думаю, что если бы они слышали, что о них говорится, на завтра ни один из них не вернулся бы к заветному оконцу. Мы не щадили никого; разговоры эти доставляли нам такое огромное удовольствие, что часто мы лишь за полночь отправлялись на покой.

Однажды вечером, когда мы беседовали о любимом предмете, Эльвира с самым серьезным видом сказала:

— Заметила ли ты, сестра, что как только все эти бренчальщики уходят с улицы и в нашей гостиной гаснет свет, слышатся еще две или три сегедильи, спетые скорее мастером, чем простым любителем.

Мой муж подтвердил эти слова и прибавил, что сам чуть было не сказал об этом. И мне вспомнилось, что я и в самом деле слышала нечто подобное, и мы начали трунить над моей сестрой и подшучивать по поводу нового ее поклонника. Нам, однако, показалось, что она принимает эти шутки с меньшей веселостью, чем обычно.

Назавтра, распрощавшись с гитаристами и затворив окно, я погасила свет и осталась в гостиной. Вскоре я услышала голос, о котором нам говорила сестра. Певец начал с искусного аккомпанемента, после чего пел песню об уладах тайны, вторую — о робкой любви, и потом я ничего уже не услышала. Выходя из гостиной, я увидела, что сестра моя подслушивает у дверей. Я сделала вид, будто ничего не заметила, но за ужином обратила внимание на то, что она часто впадает в задумчивость и рассеянность.

Таинственный певец каждый вечер повторял свои серенады и настолько приучил нас к своим песням, что только выслушав их, мы садились ужинать. Эти таинственность и постоянство заинтриговали Эльвиру и произвели на нее впечатление.

Между тем мы узнали о приезде в Сеговию нового человека, который привлек к себе всеобщее внимание. То был граф Ровельяс, изгнанный дворянин и тем не менее, или именно поэтому, необыкновенно важная фигура в глазах провинциалов. Ровельяс родился в Веракрусе; мать его, родом мексиканка, принесла в дом его отца огромное состояние; американцы тогда были при дворе в чести, а посему молодой креол переплыл океан в надежде получить титул гранда. Ты можешь себе представить, сеньора, что, родившись в Новом Свете, он почти не имел понятия о привычках и нравах Старого. Кроме того он многих поражал своими роскошествами, и даже сам король изволил забавляться его необычайным простодушием и непосредственностью. Так как, однако, все его чудачества происходили от чрезмерного себялюбия, он кончил тем, что стал всеобщим посмешищем.

Молодые господа имели тогда обычай избирать даму сердца. Они носили их цвета, а иногда даже их инициалы, как, например, во время рыцарских турниров, именуемых *парехас*.

Ровельяс, который был необычайно гордым, стал носить вензель из инициалов принцессы Астурии. Короля эта выходка очень и очень позабавила, но принцесса, чувствуя себя чрезвычайно оскорбленной, послала придворного альгвазила, который арестовал графа и доставил его в Сеговийскую тюрьму. Неделю спустя Ровельяс был освобожден, однако ему было запрещено выезжать из нашего города. Причина изгнания, как видишь, была не особенно почетной, однако граф даже этим считал возможным похвалиться. Он с превеликим удовольствием рассказывал о том, как впал в немилость, и давал понять, что принцесса не осталась равнодушной к изъявлениям его чувств.

В самом деле, Ровельяс обладал всеми видами эгоизма и себялюбия. Он был убежден, что все умеет и что способен осуществить любое желание, в особенности же похвалялся тем, что владеет искусством тавромахии, то есть боя быков, а также искусствами пения и танца. Никто не был настолько нелюбезен, чтобы оспаривать эти его два последние таланта, вот только быки не проявляли столь изысканной благовоспитанности. Однако граф, не пренебрегающий помощью пикадоров, кичился своими успехами и претендовал на звание неустрашимого торреро.

Я уже сказала тебе, что дома наши не были открытыми, но первый визит мы всегда принимали. Муж мой был человеком всеми уважаемым как за родовитость, так и по заслугам на поле брани, и поэтому Ровельяс счел наиболее приличным начать с нашего дома. Я приняла его на балконе, ибо, согласно обычаям наших мест, положено, чтобы немалое расстояние отделяло нас от мужчин, приходящих нас навестить.

Ровельяс говорил много и с легкостью необычайной. Во время нашей беседы вошла моя сестра и села рядом со мной. Граф был настолько очарован красотой Эльвиры, что застыл, как окаменелый. Запинаясь, он вымолвил несколько бессвязных слов, а затем спросил, какой ее любимый цвет. Эльвира отвечала, что не отдает предпочтения ни одному.

— Госпожа, — прервал ее граф, — так как ты проявляешь ко мне такое равнодушие, мне приходится объявить траур, и черный цвет будет отныне единственным моим цветом.

Сестра моя, совершенно не привыкшая к подобным любезностям, не знала, что на это ответить. Ровельяс встал, попрощался с нами и ушел. В тот же вечер мы узнали, что везде, где он был с визитом, он ни о чем другом не говорил, как только о красоте Эльвиры, на завтра же нам сообщили, что он заказал четыре десятка темных ливрей, расшитых золотом и черным шелком. С тех пор мы не слышали более прежних душещипательных и томных серенад.

Ровельяс, зная обычай дворянских домов Сеговии, обычай, который не позволял принимать слишком часто, с готовностью покорился судьбе и проводил вечера под нашими окнами вместе с прочими родовитыми юношами, которые оказывали нам эту честь. Так как он не получил звания

гранда, а большая часть наших молодых знакомых принадлежала к кастильским *titulados* *, господа эти считали его всего только равным себе и соответственно с ним обходились. Однако богатство графа Ровельяса не приметно перетянуло чашу весов: все гитары смолкали, когда он играл, и граф первенствовал в беседе, как и в концертах под нашими окнами.

Это завоеванное им превосходство не насытило еще гордости юного графа Ровельяса; он воспытал неудержимым желанием заколоть в нашем присутствии быка и засим танцевать с моей сестрой. Он возвестил нам с необыкновенной напыщенностью, что повелел пригнать сто быков из Гвадаррамы и огородить обширное пространство рядом с амфитеатром, где, по окончании зрелищ, общество сможет проводить ночи, танцуя. Слова эти произвели небывалое впечатление в Сеговии. Граф решил всем вскружить головы и заодно привести в расстройство все состояния.

Едва распространилась весть о предстоящем бое быков, наши молодые люди засуетились, как безумные; они стали учиться позам, принятым в тавромахиях; начали заказывать богатые наряды и ярко-красные плащи. Ты сама догадаешься, сеньора, чем в это время занимались женщины. Они примеряли все, какие только имели, платья и головные уборы; более того, выпысывали модисток и портних; одним словом, на смену богатствам явился кредит. Сеговийцы были до того заняты, что улица наша почти опустела. Однако Ровельяс в обычное время пришел под наши окна. Он заявил, что приказал вызвать из Мадрида двадцать пять кондитеров, и просил нас вынести авторитетное суждение об их способностях, талантах и дарованиях. В этот самый миг мы увидели слуг в темных ливреях с золотыми позументами; слуги эти на позолоченных подносах несли прохладительные напитки и закуски.

Наутро повторилась та же история, и муж мой справедливо начал гневаться. Он не считал приличным, что двери нашего дома стали местом публичных сборищ. Он посоветовался со мной об этом; я была, как всегда, того же мнения, что и он, и мы решили выехать в местечко Виллака, где у нас был дом и земли. Таким образом, нам нетрудно было проявить бережливость, пренебречь несколькими балами и прочими графскими зрелищами, а также избежать ненужных трат на наряды. Но так как дом в Виллаке нуждался в ремонте, то мы вынуждены были отсрочить наш отъезд на три недели. Едва только в городе распространился слух об этом нашем намерении, граф Ровельяс публично изъявил свою скорбь, откровенно выразив чувства, какими пылал к моей сестрице. Эльвира между тем, как мне кажется, совершенно забыла о вечернем голосе, но, несмотря на это, принимала излияния графа с благопристойным равнодушием.

Мне следовало сказать, что тогда сыну моему было два года; с тех времен он значительно подрос, как ты, сеньора, видела, — он ведь и есть

* Титулованные лица (исп.).

тот самый юный погонщик мулов, который путешествует с нами. Мальчик этот, которого мы назвали Лонсето, был единственным нашим утешением. Эльвира любила его так же, как и я, и я могу сказать, что только он один веселил нас, когда мы бывали утомлены пустопорожними любезностями воздыхателей моей сестры.

Едва мы решили перебраться в Виллаку, Лонсето заболел оспой. Нетрудно понять наше отчаяние; дни и ночи мы проводили у его постели, и все это время чувствительный вечерний голос распевал печальные песни. Эльвира заливалась румянцем, едва только певец начинал наигрывать аккомпанемент, несмотря на это, однако, она ревностно ухаживала за Лонсето. Наконец, милый мальчик выздоровел, окна наши вновь открылись для поклонников, но таинственный певец умолк.

Как только мы показались в окно, Ровельяс уже стоял перед нами. Он сообщил, что бой быков отложен из-за нас, и просил, чтобы мы сказали, на какой день назначить зрелище. Мы как принято ответили на эту любезность. Наконец, торжество было назначено на следующее воскресенье; но воскресенье это, увы, наступило для бедного графа слишком рано.

Я не стану описывать подробностей этого памятного зрелища. Кто видел его хоть раз, может себе представить все остальные. Известно, впрочем, что дворяне сражаются с быком не так, как люди простого звания. Господа выезжают верхом и наносят быку удар рехоном, или дротиком, после чего должны сами получить один удар, но лошади уже так выдрессированы, что удар разъяренного животного едва задевает их. Тогда благородный противник со шпагой в руке спрыгивает с коня. Чтобы это лучше удалось, бык не должен быть злым. Но на сей раз пикадоры графа, по забывчивости, вместо того франсо * выпустили того паггажо **. Знатoki тотчас же заметили оплошность, но Ровельяс уже вышел на арену, и не было возможности отступить. Он сделал вид, что не замечает грозящей ему опасности, обвел коня кругом и нанес быку удар в правую лопатку.

Раненый бык повернулся к нему, подцепил его рогом за ворот, повертел им в воздухе и отбросил графа на другую сторону. После этого, видя, что жертва избежала его гнева, стал искать ее разъяренными глазами, и, наконец, увидя графа, лежащего навзничь и почти бездыханного, уставился на него со все возрастающей злобой, начал рыть копытами землю и бить хвостом по бокам. В этот самый момент какой-то молодой человек прыгнул на арену, схватил шпагу и ярко-красный плащ Ровельяса и стал перед быком. Разъяренное животное сделало несколько сбивающих маневров, которые, впрочем, не обманули незнакомца; наконец, разъяренный бык, прыгнув рога к земле, ринулся на него, наткнулся на подставленную шпагу и пал мертвым к ногам победителя. Незнакомец швырнул шпагу и плащ

* Бык прирученный (исп.).

** Бык дикий (исп.).

на тушу быка, бросил взгляд в сторону нашей ложи, поклонился нам, спрыгнул с арены и исчез в толпе. Эльвира сжала мне руку и сказала:

— Я уверена, что это и есть наш таинственный певец.

Когда цыганский вожак окончил этот рассказ, один из его доверенных пришел отдать ему отчет в том, что сделано за день, и цыган, попросив нас позволить ему отложить продолжение до завтра, вышел, чтобы заняться делами своего маленького государства.

— По правде говоря, — молвила Ревекка, — мне жаль, что цыгане прервали рассказ вожака. Мы оставили графа лежащим на арене, и если до утра его никто не поднимет, боюсь, чтобы не было слишком поздно.

— Не бойся, — перебил я ее, — будь уверена, что богачей не так легко покидают на произвол судьбы, можешь довериться его челяди.

— Ты прав, — сказала еврейка, — но вот что еще меня тревожит: я хотела бы узнать имя спасителя и уж не он ли тот таинственный певец?

— Но мне казалось, — воскликнул я, — что ты и так знаешь все обо всем!

— Альфонс, — возразила она, — не напоминай мне больше о каббалистических познаниях. Я жажду знать только то, что сама слышу, и не хочу знать иной науки, кроме умения осчастливить того, кого я люблю.

— Как это? Значит, ты уже сделала свой выбор?

— Вовсе нет, я ни о ком еще не думала; не знаю почему, но мне кажется, что мой единоведец едва ли сможет мне понравиться, а раз я никогда не выйду за человека вашего исповедания, то поэтому могу выбирать только среди магометан. Говорят, что жители Туниса и Феса очень хороши собой и вообще приятные люди. Ах, только бы мне найти человека с чувствительным сердцем, ничего более я не требую!

— Но, — добавил я, — откуда такое отвращение к христианам?

— Не спрашивай меня об этом, знай только, что я не могу сменить веру, разве что на магометанскую.

Мы некоторое время так пикировались, однако, когда разговор стал иссякать, я протиснулся с юной израильтянкой и провел остаток дня на охоте. Возвратился я только к ужину. И, признаться, застал всех в самом веселом расположении духа. Каббалист рассказывал об Агасфере, который вскоре должен был прибыть из глубин Африки. Ревекка молвила:

— Сеньор Альфонс, ты увидишь того, кто был знаком с предметом твоего обожествления.

Слова еврейки могли вовлечь меня в неприятные пререкания, поэтому я заговорил о чем-то другом. Мы от всей души жаждали услышать в этот вечер продолжение истории цыганского вожака, но он просил нас позволить ему отложить это продолжение на завтра. Мы отправились на покой, и вскоре я заснул беспробудным сном.



День шестнадцатый

Стрекотание кузнечиков, столь живое и нескончаемое в Андалузии, рано пробудило меня ото сна. Прелести природы все сильнее действовали на душу мою. Я вышел из шатра, чтобы насладиться сиянием первых солнечных лучей, разливающихся по безмерному небосводу. Я подумал о Ревекке. — Она права, — сказал я себе, — что предпочитает наслаждения человеческого, реального существования иллюзиям идеального мира, в который мы раньше или позже и так попадем. Разве на этой земле мы не находим поразительно разнообразных чувств, не обретаем роскошных впечатлений, дабы упиваться ими во время краткого нашего земного пребывания? Размышления подобного рода занимали меня какое-то мгновение, не более; после чего, видя, что все идут в пещеру завтракать, я обратил шаги в ту же сторону. Мы подкрепились с аппетитом, как люди, надышавшиеся живительным воздухом горных вершин, и, утолив голод, попросили вожака продолжать свой рассказ, что он и сделал в следующих словах:



Продолжение истории цыганского вожака

Я говорил вам, что мы прибыли на второй наш ночлег по дороге из Мадрида в Бургос и что мы находились там с молодой девушкой, влюбленной в юношу, переодетого погонщиком мулов, то есть в сына Марии де Торрес. Эта последняя поведала нам, что граф Ровельяс лежал почти мертвый на другой стороне арены, в то время, как молодой незнакомец смертельным ударом поразил быка, готовящегося добить свою жертву.

Что произошло дальше, расскажет вам сама Мария Торрес.

*Продолжение истории
Мари де Торрес*



Как только ужасный бык рухнул в лужу собственной крови, слуги бросились графу на помощь. Раненый не подавал ни малейших признаков жизни; его положили на носилки и отнесли домой. Зрелище прервали, и все разошлись по домам.

В тот же самый вечер мы узнали, что жизнь Ровельяса вне опасности. Наутро муж мой послал осведомиться о его здоровье. Паж, посланный нами, долго не возвращался и, наконец, принес нам письмо следующего содержания:

Сеньор полковник!

Прочитав настоящее письмо, ваша милость убедится, что милосердие создателя благоволило не лишать меня остатков сил. Однако же сильнейшая боль, которую я испытываю в груди, вынуждает меня усомниться в полном моем выздоровлении. Ты знаешь, конечно, сеньор дон Энрике, что провидение одарило меня многими благами мира сего. Известную часть их я предназначаю благородному избавителю, который подверг опасности свою жизнь ради спасения моей. Для прочих благ я не могу найти лучшего применения, кроме как сложить их к ногам несравненной Эльвиры де Норунья. Соблаговоли, сеньор, засвидетельствовать ей от моего имени, сколь искренние и верные чувства она возбудила в том, который, быть может, вскоре станет горстью пепла и праха, но которому небо позволяет еще подписываться, как

граф Ровельяс, маркиз де Вера Лонза и Крус Велада, наследственный командор Талья Верде и Рио Флоре, повелитель Толаскес и Рига Фуэра и Мендес и Лонзос, и прочая, и прочая, и прочая.

Тебя удивляет, сеньора, что я помню столько титулов, но мы в шутку дразнили ими мою сестру, так что, наконец, выучили их наизусть.

Как только муж мой получил это письмо, он прочел его нам и спросил мою сестру, что ему ответить. Эльвира ответила, что во всем послу-

шается советов моего мужа, но притом прибавила, что достоинства графа поразили ее менее, чем его непомерное себялюбие, которое проступает во всех его словах и поступках.

Муж мой прекрасно понял истинное значение этих слов и ответил графу, что Эльвира еще слишком молода, чтобы она могла оценить его чувства, но что, однако, она присоединяется к молитвам, возносимым за его выздоровление. Граф никоим образом не счел этот ответ отказом, напротив, он всюду твердил о своей женитьбе на Эльвире как о вещи вполне уже решенной; мы же тем временем выехали в Виллаку.

Дом наш, на самом конце городка, дом как бы уже деревенский, был очаровательно расположен. Внутреннее устройство соответствовало его внешнему виду. Против нашего жилища стояла крестьянская хижина, украшенная с изысканнейшим вкусом. Крыльцо окружала масса цветов, окна были большие и светлые, в правом углу высился маленький птичник; словом, все дышало трудолюбием и свежестью. Нам сказали, что этот домик приобрел один лабрадор из Мурсии. Земледельцы, которых в нашей провинции называют лабрадорами, принадлежат к сословию промежуточному между мелким дворянством и простыми хлебопашцами.

Было уже поздно, когда мы прибыли в Виллаку. Мы начали с того, что осмотрели наш дом с чердака до подвала, после чего велели вынести стулья на крыльцо и уселись пить шоколад. Муж мой шутил с Эльвирой, говоря о бедности дома, в котором изволила обитать графиня Ровельяс. Моя сестра очень весело принимала его шутки. Вскоре потом мы увидели возвращающийся с поля плуг, запряженный четырьмя сильными волами. Их погонял приземистый паренек, а за ним шел молодой человек под руку с девушкой, почти равной ему по возрасту. У молодого лабрадора был благородный вид, и, когда он приблизился к нам, мы с Эльвирой узнали в нем того, кто спас Ровельяса. Муж мой не обратил на него внимания, но сестра бросила мне взгляд, который я отлично поняла. Юноша поклонился нам, как человек, который не хочет заводить знакомства, и вошел в свой домик. Подруга его внимательно к нам присматривалась.

— Красивая пара, не правда ли? — сказала донья Мануэла, наша экономка.

— Как это — красивая пара, — воскликнула Эльвира, — разве они муж и жена?

— Не иначе, — возразила Мануэла, — и, если уж правду сказать, то это союз, заключенный против воли родителей. Какая-то похищенная девушка. Никто здесь в этом не сомневается; все сразу узнали, что это не поселяне, не сельские жители.

Муж мой спросил Эльвиру, отчего она так разволновалась, и прибавил:

— Кто знает, может быть это и есть наш таинственный певец.

В этот миг из домика напротив донесся гитарный перебор и голос, который подтвердил подозрения моего мужа.

— Странная вещь, — заметил он, — но этот человек женат, стало быть, серенады его адресовались какой-нибудь из наших соседок.

— Я же, — добавила Эльвира, — была уверена, что песни эти были предназначены мне.

Мы посмеялись ее простодушию и перестали об этом говорить. В течение шести недель, проведенных нами в Виллаке, ставни домика напротив были постоянно притворены, и мы не видели больше наших соседей. Мне кажется даже, что они покинули городок еще до нас.

После того, как истекло это время, мы узнали, что Ровельяс уже несколько оправился и что бои быков должны были снова начаться, однако, уже без личного участия графа. Мы вернулись в Сеговию, где сразу попали в разгар торжеств, пиров, зрелищ и балов. Ухаживания графа тронули сердце Эльвиры, и свадьба была сыграна с невиданным до толе великолепием.

Спустя три дня после бракосочетания граф узнал, что наступил конец его изгнанию и что он может появиться при дворе. Он с радостью говорил нам о том, как введет в придворные сферы мою сестру. Однако перед выездом из Сеговии он хотел узнать имя своего спасителя и приказал объявить, что тот, кто сообщит ему о местопребывании таинственного торреро, получит в награду сто золотых по восьми пистолей¹ каждый. Наутро он получил следующее письмо:

Господин граф!

Ваше высочество причиняет себе лишние хлопоты. Откажись от намерения узнать имя человека, который спас тебе жизнь, и удовлетворишься убеждением, что ты потерял его навек.

Ровельяс показал это письмо моему мужу и надменно сказал ему, что письмо это принадлежит, конечно, перу какого-нибудь из его соперников; что он, увы, не знал, что у Эльвиры была с кем-либо до того любовная связь, ибо в таком случае он никогда не взял бы ее в жены. Муж мой просил графа быть поосторожней в выражениях и с тех пор порвал с ним всякие отношения.

Об отъезде ко двору мы и думать перестали. Ровельяс стал мрачным и вспыльчивым. Все его себялюбие обратилось в ревность, а ревность — в затаенную и подавленную жестокость. Муж рассказал мне о содержании анонимного письма; мы предположили, что крестьянин из Мурсии был, должно быть, переодетым возлюбленным. Мы решили разузнать подробности, но незнакомец исчез, а хижину давно уже купил кто-то другой. Эльвира ожидала ребенка, поэтому мы скрывали от нее причины, из-за которых чувства ее мужа к ней изменились. Она прекрасно заме-

чала эту перемену, но не знала, чему приписать это внезапное охлаждение. Граф сообщил ей, что, не желая нарушать ее покой, перебрался на другую квартиру. Он виделся с Эльвирой только в обеденные часы, беседа тогда велась через силу и почти всегда приобретала ироническую окраску.

Когда сестра моя приближалась к часу разрешения от бремени, Ровельяс выдумал важные дела, призывавшие его в Кадис, а неделю спустя мы увидели правительственного курьера, который отдал письмо Эльвире, прося, чтобы она благоволила его прочесть при свидетелях. Мы все собрались и услышали следующее:

Госпожа!

Я открыл твои отношения с доном Санчо де Пенья Сомбре. С давних пор я догадывался об измене, но пребывание его в Виллаке убедило меня в твоей низости, неуклюже скрытой с помощью сестры дона Санчо, которая изображала его жену. Без сомнения, мои богатства давали мне первенство; однако ты их не разделишь, так как мы больше уже не увидимся. Впрочем, я обеспечу тебя, хотя и не признаю ребенка, которого ты носишь в чреве своем.

Эльвира не дождалась окончания этого письма и при первых словах упала без чувств. Муж мой в тот же вечер уехал, чтобы отомстить за оскорбление, нанесенное моей сестре. Ровельяс только что успел взойти на корабль и отплыл в Америку. Муж мой сел на другой корабль, но ужасная буря погубила их обоих. Эльвира родила девочку, которую ты видишь тут со мной, и умерла два дня спустя. Каким образом я осталась жить, не понимаю, но думаю, что чрезмерность моей боли придала мне сил вынести ее.

Я назвала девочку Эльвирой. Она напоминала мне мою сестру, а так как кроме меня, у нее не было никого на свете, я решила посвятить ей свою жизнь. Я старалась обеспечить ей наследство после смерти ее отца. Мне сказали, что следует обратиться в мексиканский суд. Я писала в Америку. Мне сообщили, что наследство было разделено между двадцатью дальними родственниками и что хорошо известно, что Ровельяс не хотел признать ребенка моей сестры. Всего моего дохода не хватило бы на то, чтобы оплатить двадцать квитанций за судебные издержки. Я ограничилась тем, что получила в Сеговии бумаги, свидетельствующие о рождении и о происхождении Эльвиры, продала наш дом в городе и уехала в Виллаку вместе с моим Лонсетом, которому было тогда около трех лет, и с Эльвирой, которой было столько же месяцев. Больше всего меня расстраивал вид домика, в котором обитал когда-то проклятый незнакомец, пылающий тайной страстью к моей сестре. Наконец я свыклась и с этим зрелищем, и дети мои стали единственным моим утешением.

Прошло уже около года с тех пор, как я поселилась в Виллаке, когда в один прекрасный день я получила из Америки письмо следующего содержания:

Госпожа!

Настоящее письмо шлет тебе тот несчастный, чья преисполненная уважения любовь сделалась причиной несчастий твоей семьи. Уважение, которое я питал к незабвенной Эльвире, было может быть большим, нежели любовь, которую я испытал, увидя ее в первый раз. Однако я лишь тогда осмеливался услаждать ее своим пением и переборами моей гитары, когда улица была уже пуста и не было свидетелей моей смелости.

Когда граф Ровельяс объявил себя рабом прелестей, связавших и мою свободу, тогда я признал за благо затаить в себе легчайшие искорки пламени, которое могло бы стать пагубным для твоей сестры. Узнав, однако, что вы должны были провести некоторое время в Виллаке, я отважился приобрести маленький домик, и там, скрытый за жалюзи, глядел иногда на ту, с которой никогда не осмеливался заговорить, а тем более свидетельствовать ей свои чувства. При мне была сестра, которую считали моей женой, ради устранения всяких поводов, могущих возбудить подозрения, что я не кто иной, как переодетый возлюбленный.

Опасная болезнь моей матери призвала нас к ней, а после моего возвращения Эльвира называлась уже графиней Ровельяс. Я оплакал утрату счастья, на которое, впрочем, никогда не дерзнул поднять глаза, и отправился развеять горе в диких дебрях иного полушария. Там и дошла до меня весть о подлостях, безвинной причиной коих я был, и о проступке, в котором обвинили мою любовь, преисполненную уважения и благоговения.

Итак, я свидетельствую, что граф Ровельяс подло солгал, утверждая, что мое уважение к несравненной Эльвире могло быть причиной, по которой я стал отцом ее дитяти.

Свидетельствую, что это ложь, и присягаю верой и спасением — никого другого не взять в жены, как только дочь божественной Эльвиры. Это будет достаточным доказательством того, что она не является моей дочерью. В подтверждение этой истины клянусь пресвятой девой и драгоценной кровью ее сына, которые будут со мной в мой последний час.

Дон Санчо де Пенья Сомбре

Р. С. Я просил коррехидора Акапулько заверить это письмо; благоволите, госпожа, сделать то же самое в сеговийском суде.

Едва я окончила читать это письмо, как сорвалась с места, проклиная дона Санчо и его любовь, преисполненную благоговения.

— Ах, подлец, — говорила я, — негодяй, сатана, люцифер! Отчего бык, которого ты убил на наших глазах, не выпустил тебе кишки? Твое проклятое благоговение вызвало смерть моего мужа и сестры. Ты обрек меня на жизнь в нужде и слезах, а теперь приходишь просить руки десятимесячного ребенка — так пусть небо тебя покарает... пусть тебя ад проглотит...

Высказав все, что было у меня на сердце, я отправилась в Сеговию, где велела заверить письмо дона Санчо. Прибыв в город, я нашла наши денежные дела в самом жалком состоянии. Деньги за проданный дом в мои руки не попали: средства эти были обращены в годовой пенсион, который мы выдавали пяти мальтийским кавалерам; пособие же, которое получал мой муж, мне перестали выплачивать. Впрочем, я окончательно рассчиталась с пятью кавалерами и шестью монахинями, так что всем моим имуществом остался только дом в Виллаке с прилегающими к нему землями. Убежище это стало мне еще дороже, и я вернулась в него с большей приятностью, чем когда-либо прежде.

Я нашла детей здоровыми и веселыми. Оставила только женщину, которая ходила за ними, а кроме нее лишь одного слугу, да еще паренька-работника — это была вся моя прислуга. Так я жила без излишеств, но и не зная нужды. Происхождение мое и положение, которое занимал мой муж, придавали мне вес в маленьком местечке, и каждый старался мне услужить, чем мог. Так прошло шесть лет — ах, чтобы до самой смерти мне жилось не хуже!

Однажды алькад² нашего городка пришел ко мне; он хорошо знал о странном свидетельстве дона Санчо. Держа в руках мадридскую газету, он сказал:

— Позволь, сеньора, поздравить тебя с превосходной партией, которая ожидает твою племянницу. Вот, изволь прочитать эту статью:

Дон Санчо де Пенья Сомбре за важные услуги, оказанные им королю, как то: приобретение двух провинций с богатыми копиями серебра, расположенных на севере Новой Мексики, и за великую мудрость, с которой он усмирил мятеж в Куско, возводится в сан испанского гранда с титулом графа де Пенья Велес. Одновременно его королевское величество соблаговолил отправить его на Филиппинские острова в чине генерального губернатора.

— Возблагодарим небо, — ответила я алькаду. — У маленькой Эльвиры будет теперь если не муж, то уж, во всяком случае, опекун. Только бы он благополучно возвратился с островов, был бы удостоен звания вице-короля Мексики и помог нам получить наше состояние.

Пожелания мои впрямь исполнились четыре года спустя. Граф де Пенья Велес был возведен в сан вице-короля, и тогда я написала ему,

ходатайствуя за свою племянницу. Он ответил, что я жестоко оскорбляю его, если думаю, что он мог забыть о дочери божественной Эльвиры и что он не только не виноват в подобном забвении, но, более того, предпринял уже соответствующие меры в мексиканском суде; процесс будет весьма и весьма продолжительным, но он не вправе ускорять его течение: ибо, так как он стремится вступить в брак с моей племянницей, то ему не к лицу ради собственной пользы пытаться изменить порядок прохождения дел. Итак, я узнала, что дон Санчо не отступился от своего намерения.

Вскоре затем банкир из Кадиса прислал мне тысячу золотых по восьми пистолей каждый, не желая сказать, от кого эта сумма. Я догадалась, что это любезность вице-короля, но из деликатности не хотела принять этих денег или даже прикоснуться к ним и просила банкира, чтобы он поместил их в банк Асиенто.

Я старалась все эти события сохранить в величайшей тайне, но так как нет ничего тайного, что не стало бы явным, вскоре в Виллаке узнали о намерениях вице-короля в отношении моей племянницы, и с тех пор называли ее не иначе, как «маленькой вице-королевой». Эльвире было тогда одиннадцать лет; без сомнения, другой девочке эти мечты вскружили бы голову, но ее сердцу и разуму были незнакомы тщеславие и гордыня. К несчастью, я слишком поздно заметила, что уже с детских лет она научилась произносить любовные слова; предметом же этих преждевременных чувств был ее маленький кузен Лонсето. Я часто думала о том, чтобы разлучить их, но не знала, как быть с сыном. Я увещевала племянницу и добилась лишь того, что с тех пор она стала все от меня скрывать.

Ты знаешь, сеньора, что в провинции наши развлечения состоят единственно в чтении романов или новелл и в декламации чувствительных баллад под аккомпанемент гитары. У нас в Виллаке было около двадцати томов этой изящной словесности и мы обменивались ими. Я запретила Эльвире брать в руки какую бы то ни было из этих книг, но, когда я подумала о запрете, она уже большую часть их знала наизусть.

Странное дело, но маленький мой Лонсето в душе был столь же склонен к романтике. Оба они прекрасно понимали друг друга и скрывали все от меня, что было им не слишком трудно, ибо ведь известно, что в том, что касается подобного рода предметов, матушки и тетушки столь же слепы, как и мужья. Я догадалась, однако, что меня водят за нос и хотела поместить Эльвиру в монастырь, но у меня на это не хватало денег. Оказывается, что я по меньшей мере не совершила того, что обязана была сделать, и маленькая девчонка, вместо того, чтобы быть осчастливленной титулом вице-королевы, навоображала себе, что она останется несчастной возлюбленной, ужасной жертвой рока, прославленной своими несчастьями. Она поделилась этими прекрасными мыслями со своим

двоюродным братцем, и они решили защищать священные права любви против жестоких решений судьбы. Это продолжалось в течение трех лет и столь тайно, что я ни о чем не догадывалась.

Однажды я застала их в моем курятнике в самых трагических позах: Эльвира лежала, держа платок в руке и заливаясь слезами; Лонсето, преклонив колени около нее, тоже плакал изо всех сил. Я спросила, что они тут делают. Они ответили, что повторяют сцену из романа «Фуэн де Розас и Линда Мора».

На этот раз я догадалась обо всем и поняла, что истинная любовь начинает поглядывать из всех этих комедий. Сделала вид, что ничего не заметила, но поскорее пошла к приходскому священнику, чтобы посоветоваться, как мне быть в этом случае. Священник, после минутного размышления, сказал, что напишет одному из своих друзей, также священнослужителю, который сможет взять Лонсето к себе, а пока велел мне молиться пресвятой деве, перебирая четки, и покрепче запирайте дверь в спальню Эльвиры.

Я поблагодарила его за совет, начала возносить молитвы пресвятой деве и запирайте дверь в спальню Эльвиры, а про окно, как на грех, забыла! Однажды ночью мне послышался шорох в комнате моей племянницы. Внезапно я открыла дверь и нашла Эльвиру спящей в одной постели с Лонсето. Лонсето вскочил и, бросившись вместе с Эльвирой к моим ногам, сообщил мне, что взял ее в жены.

— Кто же вас поженил? — закричала я — Какой священник совершил такую подлость?

— Прости меня, — ответил Лонсето с достоинством, — ни один священник в это не вмешивался. Мы обручились под большим каштаном. Бог природы принял наши обеты, а румяная заря благословила нас. Свидетелями нашими были птицы небесные, распеваящие от восторга при виде нашего счастья. Вот так прелестная Линда Мора стала супругой мужественного Фуэн де Розаса; впрочем, все это уже напечатано, то есть предано тиснению!

— Ах, несчастные дети, — вскричала я, — вы не соединены браком и никогда не можете быть связаны брачными узами! Разве ты не знаешь, негодник, что Эльвира — твоя двоюродная сестра?

Меня охватило столь сильное отчаяние, что у меня не стало даже сил укорять их. Я приказала Лонсето выйти из комнаты, сама же бросилась на ложе Эльвиры и облила его горькими слезами.

Когда цыганский вожак договаривал эти слова, он вспомнил, что ему нужно решить важное дело и попросил у нас позволения уйти. Когда он ушел, Ревекка сказала мне:

— Дети эти очень занимают меня. Любовь привела меня в восторг, воплотившись в облике мулата Танзаи и Зюлейки, но она должна была

быть еще привлекательнее, одушевляя прекрасного Лонсето и Эльвиру. Это была как бы группа Амура и Психеи.

— Это превосходное сравнение, — ответил я, — предсказываю, что скоро ты сделаешь столько же успехов в науке, которую провозгласил Овидий³, как и в твоих раздумьях над книгами Еноха и Атласа.

— Мне кажется, — прибавила Ревекка, — что наука, о которой ты говоришь, быть может, еще опаснее тех, которым я доселе себя посвящала, и что любовь, так же точно, как и каббала, бесспорно имеет свою волшебную сторону.

— Что касается каббалы, — изрек Бен Мамун, — возвещаю вам, что вечный странник Агасфер в эту ночь перешел горы Армении и быстрым шагом приближается к нам.

Вся эта магия мне до того надоела, что я и не слушал, когда начинали разговаривать о ней. Я вышел на свежий воздух и отправился поохотиться. Возвратился только к ужину. Вожак куда-то вышел, и я сел к столу с его дочерьми. Ни каббалист, ни его сестра так и не показались. Оставшись наедине с двумя молодыми девушками, я несколько смутился. Мне казалось, однако, что это не они, а мои кузины оказывали мне честь своими визитами в шатре; но кто были эти кузины: сатанинские отродья или же земные обитательницы, в этом я никак не мог окончательно разобраться.

День семнадцатый

Заметив, что все собираются в пещере, я решил присоединиться к обществу. Мы спешили покончить с завтраком, и Ревекка первая спросила вожака, что же случилось дальше с Марией де Торрес. Пандесовна не заставил себя долго упрашивать и повел такую речь:



Продолжение истории Марии де Торрес

Выплакавшись на постели Эльвиры, я ушла в свою комнату. Замешательство мое было бы, без сомнения, менее мучительным и тягостным, если бы я могла с кем-нибудь посоветоваться, но мне не хотелось никому рассказывать о позоре моих детей, сама же я погибала от угрызений совести, считая себя единственной виновницей всех этих бед и несчастий. Целых два дня не могла я остановить своих слез; на третий день я увидела приближающееся к нам великое множество людей и мулов; мне возвестили о прибытии коррехидора Сеговии. Чиновник этот, едва успев поздороваться, уведомил меня, что граф Пенья де Велес, испанский гранд и вице-король Мексики, прибывший в Европу всего несколько дней тому назад, прислал мне письмо и приказал срочно вручить его мне; уважение же, которое он, коррехидор, питает к его милости, явилось причиной того, что он решил лично доставить мне его послание. Я поблагодарила, как принято, и вскрыла письмо следующего содержания:

Госпожа!

Сегодня исполняется как раз тринадцать лет без двух месяцев, с тех пор, как я имел честь личным письмом уведомить вас, что никогда не буду иметь иной жены, кроме Эльвиры Ровельяс, которая явилась на свет за восемь месяцев до написания в Америке упомянутого личного письма. Уважение, которое я питал тогда к этой особе, возростало вместе с ее прелестями. Я намеревался поспешить в Виллаку и броситься к ее

ногам, но высочайшие повеления его величества дона Карлоса II¹ заставили меня задержаться на расстоянии пятидесяти миль от Мадрида. Теперь мне остается только с нетерпением дожидаться вашего прибытия на дороге, ведущей из Сеговии в Бискайю.

Ваш покорный слуга

дон Санчо, граф де Пенья Велес.

Несмотря на все мои огорчения, я не могла не улыбнуться, читая это преисполненное уважения послание от вице-короля. Коррехидор вместе с письмом вручил мне увесистый мешочек, в котором находилась сумма, пролежавшая в течение многих лет в банке Асиенто. Затем он попрощался со мной, отобедал у алькада и выехал в Сеговию. Что до меня, то все это время я простояла неподвижно, как изваяние, с письмом в одной руке и с кошельком — в другой. Я все еще не оправилась от изумления, когда вошел алькад и сообщил мне, что он проводил коррехидора до границ местечка Виллака и рад повиноваться моим приказаниям, дабы приготовить мулов, погонщиков, проводников, седла, провизию, — одним словом, все, что потребуется в дороге.

Я предоставила алькаду заниматься всеми этими делами, и, благодаря его рвению, мы на следующий же день отправились в путь. Ночь провели в Вилла Верде и сегодня остановились тут. Завтра прибудем в Вилья Реал, где застанем уже вице-короля, как всегда, исполненного почтения и уважения. Но что я ему скажу, несчастная? Что сам он скажет, увидя слезы бедной девочки? Я не хотела оставить моего сына дома из опасения, что это возбудит подозрения у алькада и приходского священника, и, кроме того, была не в силах сопротивляться его пылким просьбам разрешить ему во что бы то ни стало сопровождать нас. Я передела его погонщиком мулов, и один бог знает, чем все это кончится. Я трепещу, и в то же время жажду, чтобы все обошлось благополучно. Кроме того, мне непременно нужно видеть вице-короля, ведь я должна сама узнать, что он решил относительно возвращения наследства, которое должна была получить Эльвира. Если моя племянница не заслуживает того, чтобы стать его женой, я надеюсь, что ей удастся пробудить в нем участие и обрести его покровительство. Однако как я в мои годы посмею оправдываться в моей нерадивости и пагубной оплошности? Право же, если бы я не была христианкой, я предпочла бы смерть тому мгновению, которое меня ожидает.

На этом почтенная Мария де Торрес закончила свой рассказ и, погрузившись в свои горести, пролила потоки слез. Тетушка моя достала платок и начала плакать, я плакал тоже; Эльвира разрыдалась до такой степени, что пришлось ее раздеть и уложить в постель. Случай этот содействовал тому, что все отправились отдохнуть.

Я улегся и тотчас же заснул. Едва начало светать, как я услышал, что меня кто-то треплет за плечо. Я очнулся и хотел закричать.

— Тихо, не кричи, — быстро ответили мне, — я Лонсето. Эльвира и я нашли средство, которое, во всяком случае, на несколько дней выведет нас из затруднения. Вот платье моей кузины, надень его на себя, а твой костюм отдай Эльвире. Моя матушка столь добра, что нам простит. Что же касается погонщиков и слуг, которые сопровождали нас от Виллаки, то они не смогут нас выдать. Они уже все разошлись по домам, потому что на их место вице-король прислал новых. Служанка Эльвиры знает о наших намерениях; одевайся как можно скорей, а потом ложись в постель Эльвиры, она же ляжет в твою.

План Лонсето показался мне безупречным, и посему я стал одеваться с величайшей поспешностью. Мне было тогда двенадцать лет, я был весьма рослым для своего возраста и платье тринадцатилетней кастильянки сидело на мне как влитое; кстати, да будет вам известно, что женщины в Кастилии, как правило, менее рослы, чем андалузки. Переодевшись в платье Эльвиры, я пошел лечь в ее постель и вскоре услышал, как ее тетушке сообщают, что дворецкий вице-короля ждет ее на кухне, служившей общей для всех комнатой. Вскоре позвали Эльвиру, я встал и пошел вместо нее; тетка ее воздела к небу руки и упала на стул; но дворецкий решительно ничего не заметил, преклонил одно колено, заверил меня, что его господин питает ко мне глубочайшее уважение и вручил мне шкатулку с драгоценностями. Я принял ее с чрезвычайной признательностью и велел ему встать. Тогда вошли придворные и слуги из свиты вице-короля, они стали меня приветствовать, троекратно возглашая:

— Viva la nuestra vireyna! *

При этих возгласах вбежала моя тетка вместе с Эльвирой, переодетой мальчиком; еще с порога она подала Марии де Торрес знаки, которыми показывала, что нельзя сделать ничего другого, как только покориться естественному ходу событий.

Дворецкий осведомился у меня, кто эта дама. Я ответил, что это моя мадридская знакомая, направляющаяся в Бургос, дабы определить своего племянника в коллегию театинцев. В ответ на мои слова дворецкий просил ее, чтобы она согласилась воспользоваться лектикой вице-короля. Моя тетка пожелала, чтобы ее племяннику была предоставлена отдельная лектика, так как, по ее словам, он был слабого здоровья и измучен путешествием. Дворецкий отдал соответствующие распоряжения, после чего подал мне руку в белой перчатке и усадил меня в лектику. Я открывал кавалькаду, и весь караван сразу же за мной тронулся с места.

Вот так я внезапно стал будущей вице-королевой, держащей в руках ларчик, наполненный брильянтами, несомой двумя белыми мулами в раз-

* Да здравствует наша вице-королева! (исп.).

золоченной лектике и с двумя конюшими, гарцевавшими у золоченых дверец. В этом, столь странном для мальчика моих лет положении, я впервые стал задумываться о том, что такое супружество, род союза, сущность которого я еще не вполне понимал. Однако я был уверен, что вице-король не женится на мне, — итак, мне не оставалось ничего лучшего, как длить его иллюзию и дать моему другу Лонсето время для того, чтобы он успел придумать какой-нибудь способ, который раз и навсегда вывел бы нас из затруднительного положения. Я полагал, что, оказывая услугу приятелю, я непременно совершаю благородный поступок.

Одним словом, я решил, по возможности, изображать молодую девушку, и, чтобы себя к этому хорошенько приучить, раскинулся в лектике, улыбаясь, потупляя глазки и употребляя иные женские ужимки. Я напоминал себе также, что, идя пешком, я должен воздерживаться от того, чтобы делать слишком большие шаги, как и вообще остерегаться всяких чрезмерно резких движений.

Я был погружен в размышления обо всем этом, когда внезапно густое облако пыли возвестило о приближении вице-короля. Дворецкий просил меня, чтобы я соизволил выйти из лектики и опереться на его руку. Вице-король спрыгнул с коня, пал на одно колено и молвил:

— Благоволи, госпожа, принять признание в любви, которая началась с твоим рождением, а кончится с моей смертью.

Засим он поцеловал мне руку и, не ожидая ответа, посадил в лектику, а сам вскочил на коня, и мы пустились в дальнейший путь.

Когда он, не обращая на меня особого внимания, гарцевал так у самых дверец моей лектики, у меня было вполне достаточно времени, чтобы присмотреться к нему. Это был уже не тот пылкий юноша, которого Мария де Торрес находила таким прекрасным, когда он закалывал быка или возвращался, идя за плугом, с поля. Вице-король все еще мог считаться красивым мужчиной, но лицо его, обожженное тропическим зноем, казалось скорее черным, нежели белым.

Нависшие брови придавали ему настолько свирепое выражение, что даже когда он хотел улыбнуться, черты его непроизвольно искажались самым отталкивающим образом. С мужчинами он разговаривал громовым голосом, а беседуя с дамами, так пищал, что невозможно было удержаться от смеха. Когда он орал на своих людей, казалось, что он отдает приказы целому войску, ко мне же он обращался так, как будто ждет от меня приказа за мгновение перед битвой.

Чем больше я наблюдал за вице-королем, тем тревожней становилось у меня на душе. Я предчувствовал, что когда он обнаружит мой истинный пол, то непременно прикажет немилосердно меня высечь, и боялся этой минуты, как огня. Мне не требовалось изображать боязливость, ибо я и в самом деле весь дрожал и не смел хоть на миг поднять глаза.

Мы прибыли в Вальядолид. Дворецкий подал мне руку и ввел в предназначенные мне покои. Обе тетушки вошли вслед за мной, Эльвира также хотела войти, но ее прогнали в шею, как уличного мальчишку. Что до Лонсето, то он вместе со слугами остался на конюшне.

Оказавшись наедине с тетками, я упал им в ноги, умоляя, чтобы они меня не выдавали, и красноречиво описывая им суровые наказания, на которые меня может обречь их болтливость. Мысль, что меня и впрямь могут высечь, погрузила мою тетушку в отчаяние, и она присоединила свою просьбу к моей, но все эти настоятельные мольбы не были нужны. Мария де Торрес, напуганная так же, как и мы, думала только о том, как оттянуть окончательное разрешение инцидента. Нам возвестили, что обед уже готов. Вице-король встретил меня у дверей столовой, проводил на место и, садясь по правую руку от меня, изрек:

— Госпожа, инкогнито, которое я храню до сих пор, мешает мне объявить о моем вице-королевском звании, но отнюдь не отменяет оно. Прости мне поэтома, если я позволю себе садиться одесную тебя, но так же точно поступает благосклонный монарх, которого я имею честь представлять, по отношению к сиятельной особе королевы.

Затем дворецкий усадил прочих лиц, согласно их званию, сохраняя первое место для госпожи де Торрес.

Приступив к обеду, мы долгое время не нарушали молчания, однако затем вице-король возвысил голос и, обратившись к госпоже де Торрес, произнес:

— С грустью вижу, что в письме, которое ты, сударыня, писала ко мне в Америку, ты как будто бы усомнилась в выполнении обещаний, данных мною тебе около тринадцати лет тому назад.

— И в самом деле, сиятельнейший сеньор, — отвечала тетка Эльвиры, — если бы я надеялась на столь непреложное выполнение данного вами обещания, я постаралась бы, чтобы моя племянница стала достойнее вашего высочества.

— Вижу, — ответил вице-король, — что ты, госпожа, из Европы, ибо в Новом Свете все отлично знают, что со мной шутки плохи.

После этих решительных слов беседа несколько увяла, и никто уже не нарушил молчания. Когда обед окончился, вице-король проводил меня до самых моих покоев. Обе тетки пошли узнать, что с Эльвирой, которой подали обед в комнате дворецкого, я же остался с ее служанкой, которая отныне несла службу при моей особе. Она знала, что я мальчик, но прислуживала мне однако с немалым рвением, хотя тоже невероятно боялась вице-короля. Мы взаимно пытались придать себе храбрости и, как бы то ни было, весело проводили время.

Тетки вскоре вернулись, и, так как вице-король заявил, что целый день не будет меня видеть, тайно привели Эльвиру и Лонсето. Тогда веселье стало всеобщим, мы смеялись от всей души, так что даже те-

тушки, довольные минутой передышки, должны были разделить нашу радость.

Едва стухли сумерки, мы услышали звуки гитары и заметили вице-короля, который, завернувшись в плащ, старался укрыться за углом соседнего дома. Голос его, хотя уже далеко не юношеский, был, однако, еще весьма приятен, более того, — он значительно усовершенствовался с точки зрения метода, из чего следовало, что вице-король и в Америке не оставлял музыки.

Маленькая Эльвира, отлично зная уловки женского кокетства, сняла одну из моих перчаток и швырнула ее за окно. Вице-король поднял ее, поцеловал и спрятал за пазухой. Но едва я оказал ему эту любезность, как мне подумалось, что на моем счету прибавится лишняя сотня розог, как только вице-король узнает, что я за Эльвира. Эта мысль так глубоко меня опечалила, что я стал думать только о том, как бы поскорее отправиться спать. Эльвира и Лонсето со слезами простились со мной.

— До завтра, — сказал я.

— Быть может, — ответил Лонсето.

Затем я улегся в той самой комнате, где стояло ложе моей новой тетки. И я, и она, разоблачаясь перед сном, старались проделывать это как можно скромнее.

Наутро тетка моя Даланоса разбудила нас очень рано, говоря, что Лонсето и Эльвира ночью убежали и неизвестно, что с ними стало. Весть эта как громом поразила бедную Марию де Торрес. Что до меня, то я подумал, что не могу сделать ничего лучшего, как только остаться вместо Эльвиры вице-королевой Мексики.

Когда цыган так рассказывал нам свои приключения, один из его людей пришел отдать ему отчет о том, что сделано за день, и вожак поднялся и попросил позволить ему отложить продолжение рассказа на следующий день.

Ревекка капризно заметила, что вечно нам кто-то мешает, заставляя прервать рассказ на самом интересном месте, после чего присутствующие повели беседу о довольно безразличных вещах. Каббалист сообщил, что до него дошли вести о вечном страннике Агасфере, который уже перешел Балканы и вскоре прибудет в Испанию. Точнее не знаю, что все делали в этот день, и перехожу к следующему, который был гораздо богаче событиями.



День восемнадцатый

Я проснулся на рассвете, и мне вдруг пришла охота побывать у зловещей виселицы Лос Эрманос в надежде, что я снова найду там какую-нибудь жертву. Прогулка эта не была напрасной, ибо я и в самом деле нашел человека, лежащего между двумя висельниками. Несчастный казался совершенно лишенным чувств и окоченевшим, но, впрочем, притронувшись к его рукам, я убедился, что в нем еще теплились остатки жизни.

Я принес ему воды и обрызгал лицо; но, видя, что он отнюдь не приходит в чувство, я взвалил его на спину и вынес из гнусной ограды. Понемногу он пришел в себя, впери в меня отсутствующий взгляд, потом вдруг вырвался из моих рук и побежал, не разбирая дороги. Какое-то время я следил за ним; заметив, однако, что он бежит в кусты и легко может заблудиться в этих дебрях, я счел своим долгом побегать за ним и остановить его. Незнакомец обернулся и, видя, что за ним гонятся, побежал быстрее; наконец, он споткнулся, упал и поранил голову. Я отер ему платком рану, после чего, оторвав кусок своей рубашки, перевязал ему голову.

Незнакомец ничего мне не сказал; тогда, ободренный этой покорностью, я подал ему руку и проводил его в цыганский табор. За все это время я не смог добиться от него ни единого слова. Придя в пещеру, я застал уже всех в сборе; для меня сохранили одно место, но подвинулись, уступая еще одно — незнакомцу, вовсе не спрашивая, кто он и откуда прибыл. Таковы законы испанского гостеприимства, от коих никто не отваживается уклониться.

Незнакомец стал жадно пить шоколад, как человек отчаянно голодный.

Вожак спросил, что за злоумышленники его так сильно ранили.

— Никакие не злоумышленники! — ответил я. — Я нашел этого сеньора под виселицей Лос Эрманос. Как только он пришел в чувство, он сразу же начал изо всех сил убегать; тогда, опасаясь, чтобы он не заблудился в зарослях, я погнался за ним и непременно схватил бы его, когда он упал. Быстрота, с которой он убегал, является причиной, по которой он так покалечился.

Услышав эти мои слова, незнакомец положил ложечку и, обращаясь ко мне, сказал с пресерьезной миной:

— Ты, сеньор, выражаешься ошибочно, что, безусловно, является следствием неверных принципов, которые тебе внушили в юности.

Вы легко можете судить, какое впечатление произвели на меня эти слова. Однако я сдержался и ответил:

— Сеньор незнакомец, смею тебя заверить, что с младенческих лет мне внушали наилучшие принципы, которые мне тем необходимее, что я имею честь быть капитаном валлонской гвардии.

— Я говорил, — прервал меня незнакомец, — о принципах, которыми ты руководишься при рассмотрении ускоренного движения тел по наклонной плоскости. Ибо если ты хочешь говорить о моем падении и доказать его причины, ты обязан принять во внимание, что, поскольку виселица помещена на возвышенном месте, я принужден был бежать по наклонной плоскости. Отсюда следовало принять линию моего бега за гипотенузу прямоугольного треугольника, основание которого параллельно горизонту, прямой же угол заключен между вышеупомянутым основанием и отвесной линией, ведущей к вершине треугольника, или к низу виселицы. Тогда ты мог бы сказать, что мое ускоренное движение по наклонной плоскости так относилось к падению вдоль перпендикуляра, как этот самый перпендикуляр относился к гипотенузе. Это-то ускоренное движение, описанное таким образом, и было причиной того, что я упал, а вовсе не удвоение моей скорости. Но, впрочем, невзирая на все вышесказанные обстоятельства, я охотно считаю тебя капитаном валлонской гвардии.

После этих слов незнакомец вновь взялся за свою чашечку, оставив меня в нерешительности относительно того, как мне отнестись к его доказательству, ибо я и в самом деле не ведал, говорил ли он всерьез, или же хотел посмеяться надо мной.

Цыганский вожак, видя, что доказательства незнакомца так меня взволновали, пожелал придать беседе иное направление и сказал:

— Этот благородный путешественник, который, как мне кажется, обладает необычайными познаниями по части геометрии, безусловно нуждается в отдыхе; поэтому не следует сейчас настаивать на том, чтобы он говорил, и если общество разрешит, я займу его место и буду продолжать историю, начатую вчера.

Ревекка ответила, что ничего для нее не может быть приятнее, и вожак повел такую речь:



*Продолжение истории
цыганского вожака*

Когда нас вчера прервали, я рассказывал о том, как тетка Даланоса явилась с сообщением, что Лонсето убежал с Эльвирой, переодетой мальчиком, и какой ужас охватил нас при этой весте. Тетка Торрес, которая сразу потеряла сына и племянницу, предалась отчаянию. Я же, покинутый Эльвирой, рассудил, что мне остается только стать вице-королевой или подвергнуться наказанию, которого я страшился больше смерти.

Я как раз размышлял об этом ужасном положении, когда дворецкий возвестил, что все уже готово к путешествию, и предложил мне руку, желая проводить меня с лестницы. У меня же голова была настолько отуманена неизбежной необходимостью стать вице-королевой, что я поднялся с ненаигранной важностью и оперся на руку дворецкого с видом скромным, но отнюдь не лишенным достоинства, так что, взглянув на меня, обе тетушки улыбнулись, несмотря на все свои огорчения.

В этот день вице-король не гарцевал уже у дверей моей лектики. Мы нашли его в Торквемада, у дверей трактира. Милость, которую я ему оказал вчера, вселила в него отвагу; он показал мне перчатку, спрятанную на груди, и, подавая руку, высадил из лектики. В тот же миг он взял меня за руку, легонько сжал ее и поцеловал. Мне было приятно, что сам вице-король так со мной обращается, но вдруг я вспомнил о порке, которая неотвратимо должна была последовать после всех этих знаков глубочайшего уважения.

В течение четверти часа нас оставили в покоях, предназначенных для женщин, после чего пригласили к столу. Мы уселись так же, как вчера. За первым блюдом царило угрюмое молчание, но после второго вице-король, обращаясь к тетке Даланосе, сказал:

— Я узнал о шутке, которую сыграл с вами ваш племянник, вместе с этим негодяем, маленьким погонщиком. Если бы мы были в Мексике, они вскоре уже попали бы ко мне в руки. Я приказал отправить за ними погоню. Если мои люди их задержат, ваш племянничек будет торжественно высечен во дворе коллегии отцов-театинцев, а маленький погонщик проветрится на галерах.

При слове «галеры» госпожа де Торрес, удрученная грядущей судьбою своего сына, тотчас же лишилась чувств; я же, услышав о розгах во дворе у отцов-театинцев, от ужаса сполз со стула на пол.

Вице-король с изысканной вежливостью помог мне подняться и вновь занять свое место за столом; я несколько успокоился и, стараясь быть как можно веселее, дожидаясь окончания обеда. Когда убрали со стола, вице-король, вместо того, чтобы проводить меня в мои покои, увел нас троих под раскидистые деревья против трактира и, усадив на скамью, изрек:

— Весьма возможно, что вас несколько испугала кажущаяся строгость, которая проглядывает в моем образе мыслей и действий и которую я приобрел, исполняя многообразные свои обязанности. На самом же деле, суровость сия совершенно чужда моему сердцу; полагаю, что вы доселе знаете меня лишь по немногим моим поступкам и не подумали ни об их поводах, ни об их последствиях. Поэтому вам следует услышать историю моей жизни; в конце концов, я должен вам ее поведать. Поближе познакомившись со мной, вы, несомненно, избавитесь от той необоснованной тревоги, которая охватила вас сегодня с такой внезапностью.

Произнеся эти слова, вице-король молча ожидал нашего ответа. Мы изъявили ему живейшее согласие ближе ознакомиться с подробностями его жизни; он поблагодарил нас и, обрадованный этим непритворным проявлением интереса, начал следующим образом:



История графа де Пенья Велес

Я родился в очаровательных окрестностях Гранады в сельском домике, принадлежащем моему отцу, над самым берегом прелестного Хениля. Вам известно, что для испанских поэтов провинция наша — театр всех и всяческих пасторальных сцен. Они настолько основательно убедили нас в том, что климат наш содействует пробуждению любовных чувств, что не много найдется жителей Гранады, которые не провели бы молодости своей, а порой и всей жизни в ухаживании и амурных утех.

Когда молодой человек у нас впервые вступает в свет, он начинает у нас с выбора дамы сердца, если же та принимает выражения его верно-подданныческих чувств, тогда он объявляет себя ее *embobecido* * или обольщенным ее прелестями. Дама, принимающая подобную жертву, заключает с юношей молчаливое соглашение, в силу которого она исключительно ему одному доверяет свой веер и перчатки. Равным образом она отдает ему первенство, когда дело идет о том, чтобы принести ей стакан воды, каковой стакан *эмбобесидо* подает, стоя на коленях. А уж самый счастливый юноша имеет право гарцевать у дверец ее экипажа, подавать ей святую воду в церкви, а также обладает несколькими иными, столь же важными, привилегиями. Мужья вовсе не ревнуют к отношениям подобного рода, ибо им не из-за чего ревновать; прежде всего потому, что женщины ни одного из этих самоотверженных поклонников не принимают; и, кроме того, они всегда окружены экономками, дуэньями или служанками. И, если уж правду сказать, дамы, неверные мужьям, обычно отдают первенство кому-нибудь другому, а только не своему *эмбобесидо*. Их взоры в таких случаях устремляются к молодым кузенам, имеющим доступ в дом, в то время как наиболее развращенные особы выбирают любовников из низших классов общества.

Так выглядело ухаживание в Гранаде, когда я вступил в свет; обычай этот, однако, совершенно не увлек меня; не потому, чтобы мне не доставало чувствительности, напротив, сердце мое, может быть, больше, чем чье-либо, поддавалось влиянию нашего своеобразного климата, и потребность в любви была первым чувством, которое оживило мою молодость. Вскоре, увы, я убедился в том, что любовь есть нечто совершенно не похожее на простой обмен никчемными любезностями, принятыми в нашем свете. Этот обмен был, впрочем, совершенно невинным с виду, возбуждая тем не менее в сердце женщины интерес к человеку, который никогда не должен был обладать ее особой; обмен этот в то же время ослаблял ее чувства к тому, кому она в действительности принадлежала. Это несправедливое разделение оскорбляло меня тем больше, что любовь и супружество всегда были для меня понятием единым. Это последнее, а именно супружество, украшенное всеми соблазнами любви, сделалось самой таинственной и в то же время самой драгоценной мечтой моего воображения.

Наконец, признаюсь вам, что мечта эта настолько глубоко овладела всей моей душой, что иногда я начинал отвлекаться от предмета разговора, и издали меня можно было принять за подлинного *эмбобесидо* **.

Входя в чей-нибудь дом, я, вместо того, чтобы вступить в общий разговор, воображал себе тотчас, что дом этот принадлежит мне, и поселяя в нем мою воображаемую супругу. Я украшал ее покои прекраснейшими

* Опьяненный, очарованный (исп.).

** См. «Мемуары» г-жи д'Онуа (примеч. автора).

индийскими тканями, китайскими циновками и персидскими коврами, на которых, казалось, я вижу следы ее маленьких ножек. Я всматривался в софу, на которой, как мне мнилось, она чаще всего любила сидеть. Если она выходила подышать свежим воздухом, к ее услугам оказывался дворик, украшенный благоуханнейшими цветами, и вольтер, где порхали редчайшие из пернатых. Спальня ее была для меня святыней, в которую даже мое воображение страшилось войти.

Когда я так погружался в мечтания, разговор продолжал катиться по избитой колее, я же бессвязно отвечал на вопросы, которые мне задавали. Порой я даже весьма резко отвечал, недовольный тем, что посторонние бесцеремонно прерывают течение моих грез.

Таким странным образом я вел себя, приходя куда-нибудь с визитом. На прогулках мною овладевало подобное же безумие: если мне нужно было перейти ручей, я брел по колено в воде, оставляя камушки для моей воображаемой жены, которая, как мне грезилось, опиралась на мою руку, награждая эти мои старания божественной улыбкой. Детей я любил до безумия. Когда я встречал их, то осыпал ласками, женщина же с младенцем на руках казалась мне венцом творения.

Сказав это, вице-король обратился ко мне и произнес в одно и то же время серьезно и нежно:

— В этом смысле и доселе чувства мои не изменились, и я надеюсь, что несравненная Эльвира не допустит, чтобы кровь ее детей была загажена нечистым молоком кормилицы.

Слова эти смутили меня больше, чем вы можете себе представить. Я молитвенно сложил руки, говоря:

— Сиятельный сеньор, соблаговоли никогда не упоминать при мне об этих предметах, ибо я ничего в этом не смыслю.

— Мне очень больно, ангелоподобная Эльвира, — возразил вице-король, — что я позволил себе оскорбить твою скромность. Но приступим теперь к продолжению моей истории, и обещаю вам больше не впадать в подобные заблуждения.

Засим он продолжал следующим образом:

— Эта моя удивительная рассеянность и была причиной того, что в Гранаде меня считали сумасшедшим, да и на самом деле светское общество не слишком ошибалось. Точнее говоря, я представлялся сумасшедшим потому, что безумие мое было совершенно не похожим на безумие прочих жителей Гранады; ведь я мог сойти за разумного и рассудительного человека, если бы во всеуслышание объявил бы себя обольщенным прелестями какой-нибудь из благородных дам. Поскольку, однако, подобное предположение мне мало льстило, я решил на какое-то время покинуть отчизну. Были еще и другие поводы, которые меня к этому склоняли.

Я хотел быть счастливым с моей женой и счастливым только ею. Если бы я женился на какой-нибудь девице из моего родного города, то, согласно обычаям, она должна была бы принимать знаки внимания от какого-нибудь эмбесидо, а эти отношения, как вы уже заметили, ни в коей мере не согласовывались с моим образом мыслей.

Вознамерившись выехать, я отправился к мадридскому двору, но и там нашел те же самые тошнотворные любезности, только под другими именами. Название эмбесидо, которое из Гранады докатилось теперь до столицы Испании, тогда, в дни моей молодости, еще не было там известно. Придворные дамы называли избранных, хотя и несчастливых возлюбленных *кортехо*, другие же, с которыми они обходились суровее и едва лишь раз в месяц награждали улыбкой, — *галан*. Кроме того, все без разбора носило цвета избранной ими красавицы и гарцевали рядом с ее экипажем, отчего на Прадо каждый день поднималась такая пыль, что невозможно было жить на улицах, примыкающих к этому старинному месту прогулок.

У меня не было ни должного состояния, ни достаточно громкой фамилии, чтобы обратить на себя внимание при дворе; однако я был известен как ловкий матадор. Король несколько раз беседовал со мной, гранды также оказали мне честь, ища моей дружбы. Я был знаком даже с графом Ровельясом, но он, лишившись чувств, не мог меня видеть, когда я спас его от гибели. Двое его пикадоров прекрасно знали, кто я такой, но, должно быть, уж очень были тогда заняты чем-то другим, иначе они, не мешкая, потребовали бы восемьсот пистолей награды, которые щедрый граф обещал тому, кто назовет ему имя его спасителя.

Однажды, обедая у министра финансов, я оказался рядом с доном Энрике де Торрес, вашим мужем, который по своим делам прибыл в Мадрид. Впервые я имел честь говорить с ним, но внешность его возбуждала доверие, и вскоре я перевел разговор на излюбленный мною предмет, то есть на любовь и супружество. Я спросил дону Энрике, есть ли у сеговийских дам также свои эмбесидо, кортехо и галаны.

— Ничего подобного, — ответил он, — обычаи наши до сих пор еще не ввели лиц этого рода. Когда женщины наши отправляются на прогулку в аллею, называемую Сокодовер, они обычно наполовину скрыты вуалью и никто не отваживается приставать к ним, идут ли они пешком или же едут в экипаже. Более того, в домах наших мы принимаем только первый визит — как от мужчин, так и от женщин. Эти последние проводят вечера на балконах, едва приподнятых над улицей. Мужчины тогда остаются на балконе и беседуют со знакомыми; молодежь, навестив один балкон за другим, заканчивает вечер перед домом, где есть девица на выданье.

— Впрочем, — прибавил дон Энрике, — из всех балконов Сеговии чаще всего навещают мой балкон. Сестра моей жены, Эльвира де Нору-

нья, не только равна несравненным достоинствам моей жены, но сверх того отличается красотой, превышающей прелести всех знакомых мне женщин.

Речь эта произвела на меня сильное впечатление. Особа столь красивая, одаренная столь редкостными качествами, и из краев, где не было эмбебесидо, показалась мне предназначенной небом для моего счастья. Несколько сеговийцев, с которыми я беседовал, единодушно подтвердили слова дона Энрике о прелестях Эльвиры, и я решил увидеть ее собственными глазами.

Я еще не покинул Мадрид, когда чувства мои к Эльвире достигли известной силы, но в то же время несколько увеличили мою робость. Прибыв в Сеговию, я не отважился пойти с визитом к сеньору де Торрес или к другим лицам, с которыми познакомился в Мадриде. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь заступился за меня перед Эльвирой и вызвал в ней такое же расположение ко мне, какое я к ней испытывал. Я завидовал тем, чье громкое имя или блестящие качества всюду опережают их, однако считал, что если с первого взгляда не приобрету расположения Эльвиры, то, увы, все мои последующие старания и усилия будут совершенно бесполезны.

Я провел несколько дней в трактире, никого не видя. Наконец, я приказал провести себя на улицу, где стоял дом сеньора де Торрес. Напротив я увидел надпись, возвещающую, что сдается жилье. Мне показали каморку на чердаке, я тут же договорился и снял ее за двадцать реалов в месяц, причем сообщил своим хозяевам, что фамилия моя Алонсо и что я прибыл по торговым делам.

Впрочем, все мои дела ограничивались тем, что я поглядывал сквозь опущенные жалюзи на моих окнах. Вечером я заметил вас на балконе в обществе несравненной Эльвиры. Должен ли я признаться? Сперва мне показалось, что я вижу перед собой обычную красотку, но, присмотревшись получше, понял, что непередаваемая гармония черт, которая делала ее прелести поначалу менее поражающими, вскоре озаряла их всецело своим сиянием. Вы, сударыня, сами были тогда чрезвычайно хороши, однако я должен признать, что не могли выдержать сравнения со своей сестрой.

С моего чердака я с наслаждением убеждался, что Эльвира совершенно равнодушна к оказываемым ей почестям и что она даже, по-видимому, устала от них. Однако, с другой стороны, это наблюдение всецело отняло у меня желание умножать собою толпу ее поклонников, людей, которые вызывали у нее скуку. Я решил глядеть через окно, пока не представится более удобный случай завести знакомство, и, если уж говорить правду, возлагал известные надежды на бой быков.

Ты помнишь, госпожа, что тогда я недурно пел, и потому не мог удержаться, чтобы не дать возлюбленной услышать мой голос. Когда

все поклонники расходились, я спускался с чердака и под аккомпанемент гитары так хорошо, как только умел, распевал тирану. Я повторял это несколько вечеров, и наконец заметил, что вы уходили, только выслушав мою песню. Это открытие наполнило душу мою непостижимо сладостным чувством, которое, однако, было весьма далеко от надежды.

Затем я узнал, что Ровельяс выслан в Сеговию. Меня охватило отчаяние, ибо я ни минуты не сомневался, что он влюбится в Эльвиру, и действительно, предчувствия нисколько не обманули меня. Думая, что я нахожусь еще в Мадриде, он публично называл себя кортехо сестры вашей, принял ее цвета, вернее, те, которые сам счел ее цветами, и стал служить ей. С высоты своего чердака я долго был свидетелем этой дерзостной гордыни и с наслаждением убеждался, что Эльвира судила о нем больше по личным его достоинствам, чем по блеску, который его окружал. Но граф был богат, вскоре должен был получить титул гранда, что же я мог предложить равного подобным достоинствам? — Без сомнения, ничего. Я был настолько глубоко убежден в этом и притом любил Эльвиру с такой полнотой и самозабвением, что в душе сам жаждал даже, чтобы она вышла замуж за Ровельяса. Я не думал уже больше о знакомстве с ней и перестал оглашать окрестности своими чувствительными напевами.

Тем временем Ровельяс выражал свою страсть только любезностями и не делал ни одного решительного шага, чтобы добиться руки и сердца Эльвиры. Я узнал даже, что дон Энрике намерен выехать в Виллаку. Я уже приучил себя к приятности жить против его дома и хотел и в деревне обеспечить себе такую же утеху. Я прибыл в Виллаку, выдавая себя за земледельца из Мурсии. Купил домик напротив вашего и украсил его по своему вкусу. Так как, однако, всегда можно по каким-либо приметам узнать переодетого возлюбленного, я решил выписать мою сестру из Гранады и, во избежание подозрений, выдать ее за мою жену. Уладив все это, я вернулся в Сеговию, где услышал, что Ровельяс намеревается устроить великолепный бой быков. Но я помню, что тогда у вас был двухлетний сынок, быть может, вы скажете мне, что с ним стало?

Тетушка Торрес, вспомнив, что этот сынок является тем самым негодяем, которого вице-король час назад хотел отправить на галеры, не знала, что и отвечать, и, достав платок, залилась слезами.

— Простите, — сказал вице-король, — я вижу, что разбередил какие-то горестные воспоминания, но продолжение моей истории требует, чтобы я говорил об этом несчастном ребенке. Вы помните, что у него тогда была оспа; вы окружали его нежнейшим уходом, и я знаю, что Эльвира также дни и ночи проводила у постели больного малыша. Я не мог удержаться от того, чтобы не попытаться доказать вам, что есть на свете

кто-то, кто разделяет все ваши страдания, и еженощно под вашими окнами распевал печальные песни. Вы еще не забыли об этом?

— Конечно, — ответила тетушка Торрес, — я помню очень хорошо и вчера еще все это рассказывала моей спутнице.

И вице-король следующим образом продолжал свою речь:

— Весь город занимался исключительно болезнью Лонсето как главной причиной, из-за которой были отложены зрелища. Именно поэтому, когда дитя выздоровело, радость была всеобщей.

Наступило, наконец, торжество, продолжавшееся, однако, недолго. Первый же бык безжалостно покалечил графа и непременно убил бы его, если бы я не воспрепятствовал этому. Всадив шпагу в загривок разъяренного животного, я бросил взгляд на вашу ложу и увидел, что Эльвира, склонившись к вам, говорила что-то обо мне с выражением, которое необычайно меня обрадовало. Невзирая на это, я исчез, смешавшись с толпой.

На следующий день Ровельяс, несколько оправившись, просил руки Эльвиры. Утверждали, что он не был принят, он же доказывал обратное. Узнав, однако, что вы выезжаете в Виллаку, я решил, что граф по своему обыкновению хвастался. И я тоже выехал в Виллаку, где стал вести жизнь поселянина, сам ходил за плугом или, по крайней мере, делал вид, что тружусь, хотя на самом деле этим занимался мой слуга.

После нескольких дней пребывания в Виллаке, когда я возвращался домой, вслед за волами, опираясь на плечо моей сестры, которую считали моей женой, я заметил вас вместе с вашим мужем и Эльвирой. Вы сидели у дверей вашего дома и пили шоколад. Сестра ваша меня узнала, но я отнюдь не хотел себя выдать. Мне пришла, однако, несчастная мысль повторить некоторые песни, которые я вам пел во время болезни Лонсето. Я не спешил сделать предложение, желая сперва убедиться, что Ровельяс и в самом деле отвергнут.

— Ах, ваше высочество, — сказала тетка Торрес, — нет сомнения, что ты бы сумел увлечь Эльвиру, ведь она и в самом деле отвергла тогда руку графа. Если она впоследствии вышла за него, то сделала это, будучи уверена, что ты женат.

— По-видимому, провидение, — ответил вице-король, — имело иные намерения относительно моей недостойной особы. В самом деле, если бы я добился руки и сердца Эльвиры, хиригуане, ассинибуане и аппалачи не были бы обращены в христианскую веру, а крест, символ нашего спасения, не был бы водружен в трех градусах к северу от Мексиканского залива.

— Быть может, — сказала госпожа де Торрес, — но зато мой муж и моя сестра дожили бы до нынешнего дня. Однако я не смею прерывать продолжения столь увлекательной истории.

И вице-король снова заговорил, продолжив свой рассказ такими словами:

— Спустя несколько дней после вашего возвращения в Виллаку, нарочный из Гранады сообщил мне, что матушка моя смертельно захворала. Любовь уступила место сыновней привязанности, и мы вместе с сестрой покинули Виллаку. Матушка проболела два месяца и испустила дух в наших объятиях. Я оплакивал эту утрату, но, впрочем, быть может, слишком недолго, и возвратился в Сеговию, где узнал, что Эльвира теперь уже графиня Ровельяс.

Одновременно я услышал, что граф назначил награду тому, кто откроет имя его спасителя. Я ответил ему анонимным письмом и отправился в Мадрид, прося доверить мне исправление какой-нибудь должности в Америке. Без труда добившись желаемого, я поторопился сесть на корабль. Пребывание мое в Виллаке было тайной, известной лишь мне и моей сестре, но слугам нашим свойствен врожденный порок шпионства, проникающего во все тайники. Один из моих людей, которого я уволил, отправляясь в Америку, поступил в услужение к Ровельясу. Он рассказал служанке графининой дуэньи всю историю покупки дома в Виллаке и того, как я переделся поселянином, служанка повторила то же самое дуэнье, та же, для того, чтобы приобрести доверие и особую милость, рассказала все графу. Ровельяс, сопоставив безымянность моего послания, мгновенность моего появления на корриде и внезапный мой выезд в Америку, пришел к мысли, что я был счастливым возлюбленным его супруги. Мне суждено было узнать обо всем этом лишь много времени спустя; но, прибыв в Америку, я получил письмо следующего содержания:

Сеньор дон Санчо де Пенья Сомбре!

Мне сообщили об отношениях, бывших у тебя с негодницей, за которой я с тех пор отрицаю право носить имя графини Ровельяс. Если хочешь, можешь послать за ребенком, который вскоре у нее родится. Что до меня, я сейчас же выезжаю вслед за тобой в Америку, где надеюсь увидеть тебя в последний раз в моей жизни.

Письмо это повергло меня в отчаяние. Вскоре, однако, горе мое переполнило чашу, когда я узнал о смерти Эльвиры, вашего мужа и Ровельяса, которого я хотел убедить в ложности и беспочвенности его упреков. Я сделал все, что мог, для уничтожения клеветы и для узаконения происхождения его дочери; и, сверх того, я торжественно поклялся, когда девочка подрастет, взять ее в жены или не жениться никогда. Свершив этот долг, я решил, что вправе искать смерти, ибо религия не позволяет мне покончить с собой.

Тогда в Америке дикое племя, союзное испанцам, вело войну с соседним народом. Я отправился туда и был принят этим племенем. Но для получения, если так можно выразиться, прав гражданства, мне пришлось позволить вытатуировать на всем моем теле фигуры змеи и черепахи. Голова змеи начиналась на правой моей руке, тело ее шестнадцать раз обвивалось вокруг моего собственного тела и только лишь на большом пальце ноги завершалось хвостом. Во время обряда дикарь-оператор умышленно колол меня до кости, пробуя, не издам ли я настрого воспрещенного крика боли. Я выдержал это испытание. Среди этих муж я услышал уже издавека вопли наших диких недругов, в то время, как наши заводили песнь во славу мертвых. Вырвавшись из рук жрецов, я схватил палицу и ринулся в самое пекло. Мы одержали победу. Принесли с собой двести двадцать скальпов; меня же прямо на поле брани единодушно избрали кацциком.

Два года спустя дикие племена Новой Мексики перешли в христову веру и стали подданными испанской короны.

Вам, наверно, известно окончание моей истории. Я достиг высших почестей, о каких только может мечтать подданный короля Испании. Но должен предупредить тебя, несравненная Эльвира, что ты никогда не станешь вице-королевой. Политика мадридского кабинета не допускает, чтобы женатые люди обладали в Новом Свете столь обширной властью. С мгновения, как ты станешь моей женой, я перестану носить титул вице-короля. Я могу только сложить к твоим ногам звание испанского гранда и состояние, об источниках которого должен тебе еще упомянуть в нескольких словах, поскольку оно в будущем станет нашим.

Покорив две провинции Северной Мексики, я получил от короля разрешение на эксплуатацию одной из богатейших серебряных копей. Для этого я объединился с неким спекулятором из Веракрус и за первый год мы получили дивиденды в сумме трех миллионов пиастров; поскольку, однако, привилегия была на мое имя, то я получил на шестьсот тысяч пиастров больше, нежели мой компаньон.

— Прости, сеньор, — прервал незнакомец, — сумма, причитающаяся вице-королю, равнялась одному миллиону восьмистам тысячам пиастров, а причитающаяся его компаньону — одному миллиону двумстам тысячам.

— Вот именно, — ответил цыганский вожак.

— Или, точнее говоря, — сказал незнакомец, — половине суммы плюс половина разности. Ясно, как дважды два — четыре!

— Ты прав, сеньор, — ответил вожак, после чего следующим образом продолжал свой рассказ:

— Вице-король, стремясь подробнее уведомить меня о состоянии своих имущественных дел, сказал:

— На второй год мы еще глубже проникли в недра земли и нам пришлось проложить штреки, штольни, галереи. Расходы, которые доселе составляли четвертую часть, увеличились на одну восьмую, количество же металла снизилось на одну шестую.

При этих словах геометр достал из кармана дощечку для писания и карандаш, но, полагая, что держит перо, обмакнул карандаш в шоколад; видя, однако, что шоколад не пишет, хотел вытереть воображаемое перо о свой черный кафтан, но отер его о платье Ревекки. Затем он начал что-то наспех и самыми неразборчивыми каракулями писать на своих табличках. Мы посмеялись его рассеянности, а старый вожак в следующих словах продолжал свою речь:

На третий год препятствия еще увеличились. Нам пришлось выписать рудокопов из Перу, и мы отдали им пятнадцатую часть наших доходов, не обременяя их вовсе налогами, которые в том году возросли на две пятнадцатых. Зато добыча металла возросла в шесть с четвертью раз по сравнению с прошлым годом.

Здесь я понял, что вожак хочет расстроить и спутать все расчеты геометра. И в самом деле, придавая своему рассказу форму задачи, он продолжал:

— С тех пор, господа, наши дивиденды непрестанно уменьшались на две семнадцатых. Поскольку, однако, мы помещали под проценты доходы, полученные от рудников, и присоединяли к капиталу проценты на проценты, то я получил в качестве окончательной суммы моего состояния пятьдесят миллионов пиастров, каковые я и слагаю к твоим ногам вместе со всеми моими титулами, рукой и сердцем.

Тут незнакомец, продолжая писать на дощечках, встал и пошел той же дорогой, которой мы прибыли в табор; но вместо того, чтобы идти прямо, свернул на тропку, ведущую к ручью, где цыгане брали воду, и вскоре мы услышали шум тела, падающего в ручей.

Я устремился ему на помощь, бросился в воду и, борясь с течением, сумел, наконец, вытащить нашего рассеянного на берег. Из него вылили воду, которой он наглотался, развели большой костер, и когда, после долгих наших стараний, геометр пришел в себя, он воззрился на нас невидящими глазами и вымолвил слабым голосом:

— Будьте уверены, что состояние вице-короля равняется шестидесяти миллионам двадцати пяти тысячам ста шестидесяти одному пиастру, принимая во внимание, что доля вице-короля всегда относилась к доле его

компаньона как тысяча восемьсот к тысяче двумстам, то есть как три к двум.

Проговорив это, геометр впал в своеобразную летаргию, мы же сознательно не хотели его будить, считая, что он, конечно, нуждается в отдыхе. Он проспал до шести часов вечера и проснулся лишь затем, чтобы совершить одну за другой тысячу нелепостей.

Сперва он спросил, кто упал в воду. Когда ему ответили, что он сам и что я его спас, он приблизился ко мне с выражением величайшей признательности и сказал:

— По правде говоря, я не думал, что так хорошо умею плавать; меня весьма утешает и радует, что я сберег для короля одного из отважнейших офицеров, ибо ты, сеньор, являешься капитаном валлонской гвардии, ты сам мне это сказал, а у меня превосходная память.

Общество покатилося со смеху, но геометр нисколько не смутился и постоянно забавлял нас своей рассеянностью.

Каббалист также был занят и неустанно говорил только о вечном страннике Агасфере, который должен был сообщить ему некоторые сведения касательно двух дьяволиц, именующихся Эмина и Зибельда. Ревекка взяла меня под руку и, отведя немного в сторону, чтобы общество не могло слышать, о чем мы говорим, молвила:

— Милый Альфонс, умоляю тебя, скажи мне, что ты думаешь обо всем, что ты узнал и увидел со времени твоего прибытия в эти горы, и что ты думаешь об этих двух висельниках, которые столько тут наделали бед?

— Я и сам не знаю, что тебе ответить,—возразил я.— Тайна, которая мучает твоего брата, кажется мне еще более неразрешимой, чем ему. Но если тебя интересует мое мнение, то я убежден, что меня усыпили с помощью сонного питья и спящего положили к подножью виселицы. Впрочем, ты же сама говорила мне о власти, пользуясь которой Гомелесы скрытно и негласно управляют этой округой.

— Да, да,—прервала меня Ревекка,—мне кажется, что я хочу, чтобы ты перешел в веру пророка, и, я полагаю, ты должен это сделать.

— Как это?—вскричал я.—Значит и ты разделяешь их намерения?

— Нимало,—возразила она,—для этого у меня есть свои собственные цели; ведь я же говорила тебе, что никогда не полюблю никого из моих единоверцев или из христиан. Но присоединимся к обществу; как-нибудь в другой раз поговорим об этом подробнее.

Ревекка пошла к брату, я же направился в противоположную сторону и стал размышлять обо всем том, что видел и слышал. Но чем больше я углублялся в размышления, тем меньше мог привести их в порядок.



День девятнадцатый

Все наше общество заранее собралось в пещере, только вожак не пришел. Геометр был уже вполне здоров, и, убежденный, что это он вытащил меня из воды, поглядывал на меня с превеликим интересом; так мы обычно смотрим на тех, кому оказали важную услугу. Ревекка заметила это его странное поведение и оно ее, видимо, необычайно забавляло. Когда завтрак был окончен, она сказала:

— Мы чрезвычайно много потеряли из-за отсутствия вожака, ибо я сгораю от нетерпения: ведь мне непременно нужно узнать о том, каким образом он принял предложение руки, сердца и состояния вице-короля. Тем не менее, этот благородный незнакомец будет, конечно, в состоянии вознаградить нас за нашу потерю, рассказывая нам свои собственные приключения, которые должны быть весьма и весьма занимательными. Мне кажется, что он посвящал себя наукам, не вовсе мне чуждым, и, без сомнения, все, о чем бы он ни поведал, раз это касается такого человека, как он, достойно моего пристального внимания.

— Я не думаю, — возразил незнакомец, — чтобы вы, сударыня, могли посвятить себя тем же самым наукам, что и я, ибо женщины, как правило, не в состоянии уразуметь даже первейших их начал; однако, так как вы приняли меня со столь редкостным гостеприимством, то рассказать вам после этого обо всем, что касается меня, является моим священнейшим долгом. Итак, я начну с сообщения, что меня зовут... меня зовут...

Сказав это, он начал рыться в карманах, ища свои таблички.

— Я и в самом деле заметила, — сказала Ревекка, — что ты, сеньор, проявляешь незаурядную склонность к рассеянности, но не поверю, чтобы ты мог быть рассеянным до такой степени, чтобы забыть свою собственную фамилию.

— Ты права, сеньора, — ответил геометр, — от природы я вовсе не рассеянный, но отец мой в один прекрасный день по рассеянности подписался именем брата вместо своего и сразу потерял жену, состояние и должность. Чтобы не впасть в такого рода ошибку, я записал свою фамилию на этих табличках и с тех пор каждый раз, как мне приходится подписываться, с точностью переписываю с них свое имя.

— Но если мы жаждем, — воскликнула Ревекка, — чтобы вы, сеньор, не написали, а сказали нам свою фамилию?

— И в самом деле, ты права, сеньора, — ответил незнакомец и, спрятав таблички в карман, начал свою историю такими словами:



История геометра

Меня зовут дон Педро Веласкес. Я — отпрыск прославленного рода маркизов Веласкес, которые, с тех пор как был изобретен порох, все служили в артиллерии и были самыми опытными и знающими офицерами, какими только обладала Испания в этом виде оружия. Дон Рамиро Веласкес, главнокомандующий артиллерией при Филиппе IV¹, был возведен в достоинство гранда его наследником. У дон Рамиро было двое сыновей, оба женатые. Хотя только старшая ветвь сохраняла титул и состояние, тем не менее, представители оной, далекие от того, чтобы предаваться пустым и тщеславным занятиям, исполняя придворные должности, всегда занимались почтенными трудами, которым она ветвь обязана была своим возвышением, и притом, сколько возможно, всегда и всюду старались поддерживать ветвь младшую.

Так продолжалось вплоть до дон Санчо, пятого герцога Веласкеса, правнука старшего сына дон Рамиро. Этот достойный муж, как и его предки, занимал должность главнокомандующего артиллерией, а кроме того, был наместником Галисии, где также постоянно жил. Он женился на дочери герцога Альбы, супружество это было столь же счастливым для него, как и почетным для всего нашего семейства. Однако надежды дон Санчо не во всем осуществились. Герцогиня произвела на свет одну только дочь по имени Бланка. Герцог предназначил ее в жены одному из Веласкесов, принадлежащих к младшей ветви, которой она должна была передать, таким образом, свой титул и состояние.

Отец мой, дон Энрике, и брат его, дон Карлос, только что похоронили своего отца, который в той же степени, как и герцог Веласкес, происходил от дон Рамиро. По приказу герцога их обоих доставили в его дом. Отцу моему было тогда двенадцать лет, дяде — одиннадцать. Их характеры были совершенно противоположны. Отец был серьезным, углубленным в науки и чрезвычайно чувствительным, в то время как брат его Карлос, легкомысленный, ветреный, не мог ни минутки высесть за книгой. Дон Санчо, убедившись в различии их характеров, решил, что мой отец будет его зятем; для того же, чтобы сердце Бланки не склонилось

к противоположному, он послал дона Карлоса в Париж, где тот должен был завершить свое воспитание под руководством графа Эрейры, его родича и тогдашнего испанского посла во Франции.

Мой отец своими исключительными качествами, добросердечием и неотомимым трудом с каждым днем завоевывал все большую благосклонность герцога; Бланка же, зная о сделанном для нее выборе, все сильнее к нему привязывалась. Она разделяла даже увлечения молодого возлюбленного и далеко продвинулась с ним по стезе наук. Представьте себе юношу, поразительные способности которого охватывали всю совокупность человеческих познаний, в возрасте, когда другие едва только приступают к первым их началам; вообразите затем того же самого юношу, влюбленного в особу одного с ним возраста, блистающую необычайными качествами ума, жаждущую понять его и счастливую от успехов, которые она намеревалась с ним разделить: вот тогда вы и получите далеко не полное представление о счастье, которым мой отец наслаждался в ту краткую эпоху своей жизни. И отчего бы Бланке не любить его? Старый герцог гордился им, вся провинция уважала его и ему не было еще двадцати лет, когда слава его перешагнула границы Испании. Бланка любила своего нареченного, побуждаемая, быть может, лишь себялюбием; дон Энрике же, который только ею и дышал, любил всем сердцем своим. К старому герцогу он питал в душе почти такую же нежность, как и к его дочери, и часто с превеликим сожалением думал о том, что брат его Карлос не в Испании.

— Милая Бланка, — говорил он своей возлюбленной, — ты не находишь, что для полноты нашего счастья нам недостает Карлоса? У нас тут немало красивых девушек, которые могли бы благотворно на него повлиять, правда, он легкомыслен, редко пишет мне, но обаятельная и кроткая женщина сумела бы привлечь к себе его сердце. Возлюбленная моя Бланка, я боготворю тебя, уважаю твоего отца, но раз природа даровала мне брата, почему рок разлучает нас так надолго?

В один прекрасный день герцог приказал призвать к себе моего отца и сказал ему:

— Дон Энрике, я только что получил от короля, нашего все милостивейшего государя, письмо, которое хочу тебе прочесть. Вот оно:

Мой кузен!

На последнем нашем совете мы решили, исходя из новых планов, возвести в некоторых пунктах укрепления, служащие для защиты нашего королевства. Мы видим, что в Европе разделились мнения относительно систем дона Вобана² и дона Когорна. Изволь призвать опытейших и наиболее знающих людей для изучения сего предмета. Пришли нам их планы, и если мы найдем среди них такие, которые смогут нас удовлетворить, автору оных будет доверено их осуществление. Помимо всего про-

чего, наше монаршее великолепие вознаградит его по заслугам. А теперь поверяем тебя любви господней и пребываем благоволящим к тебе
Королем

— Чего же больше, — сказал герцог, — не ощущаешь ли ты в себе, любимый Энрике, силу вступить в единоборство? Предупреждаю, что соперниками твоими будут опытнейшие инженеры не только Испании, но и всей Европы.

Отец мой на минуту задумался, после чего ответил с чувством уверенности:

— Да, я согласен, милостивый герцог, и хотя я только начинаю трудиться в этой области, однако ваша герцогская милость вполне может на меня положиться.

— На том и порешим, — сказал герцог, — старайся выполнить свой труд как можно лучше, а как только ты его завершишь, ничто уже не будет помехой вашему счастью. Бланка станет твоей.

Можете представить себе, с каким рвением отец мой принялся за работу. Дни и ночи проводил он за письменным столом, когда же порой усталый ум внезапно требовал отдыха, он коротал часы в обществе Бланки, мечтая о своем будущем счастье и о радости, с какой он заключит в свои объятия вернувшегося Карлоса. Так прошел целый год. Наконец прибыло множество планов из разных областей Испании и из разных стран Европы. Все они были опечатаны и сложены в канцелярии герцога. Мой отец решил, что следует окончательно усовершенствовать свой труд и усовершенствовал его до такой степени, о которой я могу дать вам лишь самое слабое понятие. Он начал с определения основных принципов атаки и обороны, затем указал, в чем именно Когорн согласен с этими принципами, утверждая, что всегда, когда он от этих принципов отступает, он впадает в заблуждение. Вобана он ставил гораздо выше, чем Когорна; однако предрек, что маршал Франции во второй раз изменит свою систему; кстати, позднее его предсказание сбылось. Все эти аргументы он подкреплял не только учеными теориями, но и подробностями, касающимися способов возведения укреплений с учетом местных условий, а также прилагал примерные сметы и математические расчеты, непонятные даже людям, наиболее сведущим в науке.

Отец, дописав последнюю строку своего труда, обнаружил в нем еще множество неточностей, которых сперва не заметил; весь дрожа, он отнес рукопись герцогу, который наутро отдал ему ее, говоря:

— Любезный племянник, ты завоевал первенство; я тотчас же перешлю твои планы, ты же думай сейчас только о своей свадьбе, которая вскоре состоится.

В восторге отец бросился к ногам герцога и произнес:

— Сиятельный герцог, благоволи удовлетворить мою просьбу и позволъ приехать моему брату, ибо счастье мое будет неполным, если я не обниму его после столь долгой разлуки.

Герцог нахмурил брови и ответил:

— Я предвижу, что Карлос прожужжит нам все уши, превознося мнимое великолепие двора Людовика XIV, но, так как ты просишь меня об этом, изволь, я пошлю за ним.

Отец поцеловал герцогу руку и отправился к своей нареченной. С тех пор он не занимался больше геометрией, и любовь заполняла все мгновения его жизни и всю его душу.

Между тем король, которого очень занимали проблемы фортификации, приказал просмотреть и оценить все планы. Труд моего отца был принят единогласно. Вскоре отец получил письмо от министра, в котором тот выражал ему высочайшее удовлетворение и, по поручению короля, осведомлялся, каким образом он хочет быть вознагражден. В письме, адресованном герцогу, министр давал понять, что молодой человек, конечно, мог бы получить звание первого полковника артиллерии, если бы пожелал этого.

Отец показал письмо герцогу, который, в свою очередь, ознакомил его с посланием, адресованным ему, причем отец счел нужным сказать, что никогда не осмелится принять звание, которое, по его мнению, он до сих пор еще не заслужил, и просил герцога, чтобы тот от его имени ответил министру.

Герцог возразил ему:

— Министр, — сказал он, — писал тебе и ты должен ему ответить. Без сомнения, у министра есть на это свои причины, так как, однако, в письме, написанном ко мне, он называет тебя молодым человеком, безусловно молодость твоя привлекла внимание короля, которому он хочет представить собственноручное письмо юноши, преисполненного надежд. Впрочем, попробуем составить сие письмо так, чтобы в нем нельзя было усмотреть ни самомнения, ни самодовольства.

Говоря это, герцог присел к столу и начал писать так:

Ваше превосходительство!

Удовлетворенность его королевского величества, засвидетельствованная мне вами, ваше превосходительство, является наградой, достаточной для всякого благородного кастильца. Однако, ободряемый его добротой, я позволю себе просить его королевское величество утвердить мое бракосочетание с Бланкой Веласкес, наследницей владений и титулов нашего дома.

Такая перемена состояния не ослабит моего рвення в служении отечеству и монарху. Я буду весьма счастлив, если когда-нибудь, благодаря

трусам своим, смогу заслужить звание первого полковника артиллерии, каковое звание столько моих предков носило с честью.

Покорный слуга вашего превосходительства и т. д.

Отец поблагодарил герцога за труд, который он потратил на сочинение письма, пошел к себе и переписал этот текст слово в слово, но в миг, когда он должен был его подписать, услышал доносящийся со двора крик:

— Дон Карлос приехал! Дон Карлос приехал!

— Кто? Мой брат? Где он? Дайте мне его обнять!

— Изволь окончить письмо, дон Энрике, — сказал ему курьер, который должен был немедленно выехать к министру. Отец, вне себя от радости по случаю приезда брата и подгоняемый курьером, вместо «дон Энрике» подписался «дон Карлос Веласкес», запечатал письмо и побежал обнять брата.

И в самом деле, братья нежно обнялись, но дон Карлос, отскакивая назад, начал смеяться во все горло и сказал:

— Милый Энрике, ты как две капли воды похож на Скарамуша³ из итальянской комедии: брыжки твои обнимают твой подбородок, будто тазик для бритвы. Впрочем, я по-прежнему тебя люблю. А теперь, идем к старому добряку!

Они вместе вошли к почтенному герцогу, которого Карлос чуть не удушил в своих объятиях, согласно обычаю, царившему тогда при французском дворе, после чего сказал ему:

— Дорогой дядюшка, добрейший посол дал мне письмо к тебе, но я ухитрился потерять его у моего банщика. Впрочем, стоит ли об этом говорить? Граммон, Роклор и все прочие старцы сердечно тебя лобызают.

— Но, милый мой племянник, — прервал его герцог, — я не знаком ни с кем из этих господ.

— Тем хуже для тебя, — продолжал Карлос, — ибо это необыкновенно приятные люди. Но где же моя будущая невестка? С прежних времен она должна была необычайно похорошеть!

В этот миг вошла Бланка. Дон Карлос приблизился к ней запросто и сказал:

— Божественная моя невестка, наши парижские обычаи позволяют целовать красивых женщин, — и, говоря это, он поцеловал ее в щеку к великому удивлению дон Энрике, который привык видеть Бланку, всегда окруженную целой свитой женщин и никогда не осмеливался даже поцеловать край ее платья.

Карлос наболтал еще тысячу нелепостей, которые искренне огорчили дон Энрике и повергли в ужас старого герцога. Наконец, дядя сказал ему сурово:

— Иди и смени свое дорожное платье; сегодня вечером мы даем бал. Помни, что то, что за Пиренеями считают учтивостью, то у нас кажется дерзостью.

— Милый дядюшка, — отвечивал Карлос, нимало не смутившись, — я надену новый наряд, который Людовик XIV изволил выдумать для своих придворных, и тогда ты убедишься, до чего этот монарх велик в каждом ничтожном своем поступке! Приглашаю вас, прекрасная кузина, на сарабанду; это испанский танец, но вы увидите, до какой степени французы его усовершенствовали.

Сказав это, дон Карлос вышел, напевая вполголоса какую-то арию Люлли⁴. Энрике, весьма огорченный его несказанным легкомыслием, хотел оправдать брата в глазах герцога и Бланки, но напрасно, ибо старый герцог слишком уж был против него предубежден, а Бланка ничего не ставила Карлосу в вину.

Когда бал начался, появилась Бланка, одетая не по испанской, а по французской моде. Это удивило всех, хотя она и утверждала, что дед ее, посол, прислал ей эти платья с доном Карлосом. Однако объяснение это никого не удовлетворило, и недоумение было всеобщим.

Дон Карлос заставил долго себя ждать, но, наконец, вошел, наряженный согласно обычаю, принятому при дворе Людовика XIV. На нем был небесно-голубой кафтан, весь расшитый серебром, шарф и канты из столь же белого и столь же нарядного и изысканного атласа, воротник из алансонских кружев и, наконец, невероятных размеров светлый парик. Наряд этот, великолепный сам по себе, казался еще великолепней среди скромных до бедности нарядов, которые последние наши короли из австрийского дома вводили в Испании. Тогда уже давно не носили брызжей, которые придавали этому костюму хоть немного красоты, и заменили их простым воротником, какой в наши дни носят только альгвазилы и судейские. И в самом деле, по меткому слову дон Карлоса, костюм этот очень напоминал наряд Скарамуша.

Наш вертопрах, отличавшийся от испанской молодежи своим нарядом, еще больше отличался манерами, тем, как он вошел на бал. Вместо глубокого поклона или же оказания кому-либо хотя бы заведомо притворной любви, он с противоположного конца залы начал кричать на музыкантов:

— Эй, негодяи! Тише! Ежели вы будете играть что-нибудь, кроме моей сарабанды, я разобью скрипки об ваши уши!

Затем он роздал им ноты, которые принес с собой, подошел к Бланке и вывел ее на середину зала, где они и должны были танцевать. Мой отец признает, что дон Карлос танцевал несравненно; Бланка же, от природы чрезвычайно грациозная, превзошла на сей раз самое себя. По окончании сарабанды все дамы поднялись, чтобы поздравить Бланку и поблагодарить ее за то, что она так прелестно танцевала. Однако, хотя

эти любезности якобы относились к ней, дамы украдкой поглядывали на Карлоса, как будто хотели дать ему понять, что именно он является истинным предметом их восхвалений. Бланка отлично поняла сокровенную мысль, и тайные почести, воздаваемые женщинами, возвысили в ее глазах достоинства молодого человека.

За все время бала Карлос ни на миг не покидал Бланку, а когда его брат приближался к ним, говорил ему:

— Друг мой Энрике, иди решать какую-нибудь алгебраическую задачу, у тебя будет достаточно времени надоедать Бланке, когда ты станешь ее мужем.

Бланка неудержимым смехом поощряла эти дерзости, и бедный дон Энрике, совершенно смущенный, отходил.

Когда дали знак к ужину, Карлос подал руку Бланке и сел с ней за стол на высшем месте. Герцог нахмурил брови, но дон Энрике упросил его, чтобы он на этот раз простил брату.

За ужином дон Карлос рассказывал обществу о торжествах, устроенных Людовиком XIV, и прежде всего о балете под названием «Любовные похождения на Олимпе», в котором сам монарх играл роль Солнца, причем добавил, что он отлично помнит этот балет, и что Бланка привела бы всех в восторг в роли Дианы. Он роздал роли и прежде, чем встали из-за стола, балет Людовика XIV был уже вполне распределен. Дон Энрике покинул бал. Бланка даже не заметила его отсутствия. Наутро отец мой пошел навестить Бланку, и застал ее репетирующей с доном Карлосом сцены нового балета. Так прошли три недели. Герцог становился все мрачнее, Энрике подавлял свою боль, Карлос же болтал несусветную чушь, но, впрочем, светские дамы уже считали его непогрешимым оракулом.

Парижские нравы и балет Людовика XIV настолько вскружили голову Бланке, что она не замечала, что вокруг нее творится. Однажды за обедом герцог получил депешу из Мадрида. Это было письмо от министра, заключавшееся в следующих словах:

Сиятельный герцог!

Его королевское величество, наш все милостивейший государь, дает согласие на бракосочетание дочери твоей с дон Карлосом Веласкес, и, сверх того, дарует ему титул гранда и присваивает звание первого полковника артиллерии.

Покорный слуга и т. д.

— Что это значит? — вскричал герцог в величайшем гневе. — Откуда в этом письме взялось имя Карлоса, когда я предназначал Бланку в жены дону Энрике?

Мой отец просил герцога, чтобы тот соблаговолил терпеливо его выслушать, и сказал:

— Я не знаю, ваше высочество, каким образом имя Карлоса оказалось в этом письме вместо моего имени, но я убежден, что брат мой в это нисколько не вмешивался. Словом, тут никто не повинен, и следовательно, сия перемена имени есть не что иное, как воля провидения. Да и на самом деле, вы, герцог, должно быть, тоже уже заметили, что Бланка не питает ко мне ни малейшей склонности, и что, напротив, она весьма неравнодушна к дону Карлосу. Так пусть же ее рука, особа, титулы и состояние достанутся ему. Я отрекаюсь от всех моих прав.

Герцог обратился к дочери и спросил:

— Бланка! Бланка! Ты и в самом деле была так легкомысленна и вероломна?

Бланка разрыдалась, упала в обморок и в конце концов призналась в своей любви к Карлосу.

Герцог в отчаянии обратился к моему отцу:

— Дорогой Энрике, хотя брат твой лишил тебя возлюбленной, он не может, однако, лишить тебя звания первого полковника артиллерии, к которому я присоединяю известную долю моего состояния.

— Прости, герцог, — возразил дон Энрике, — но состояние твое всецело принадлежит твоей дочери, что же касается звания первого полковника, король правильно поступил, отдав его моему брату, ибо в нынешнем моем положении я не способен исправлять должность, сопряженную с этим или с каким-либо иным званием. Позволь же, герцог, мне удалиться в какую-нибудь священную обитель, где у подножья алтаря я утолю свою печаль и посвящу ее тому, кто столько за нас выстрадал.

Мой отец покинул дом герцога и вступил послушником в монастырь камедулов. Дон Карлос взял в жены Бланку, однако свадьба совершилась без всякой торжественности. Сам герцог на свадьбе не присутствовал. Бланка, повергнув своего отца в отчаяние, огорчалась бедами, причиной которых была сама. Карлос же, невзирая на присущее ему легкомыслие, был смущен этой всеобщей печалью.

Вскоре у герцога случился приступ подагры, и, чувствуя, должно быть, что ему немного остается жить, он послал к камедулам, желая еще раз увидеть любимого своего Энрике. Альварес, дворецкий герцога, прибыл в монастырь и выполнил данное ему поручение. Камедулы, согласно уставу, запрещающему им говорить, не отвечали ни слова, но провели его в келью Энрике. Альварес застал его лежащим на соломе, прикрытого рубищем и прикованного цепью к стене.

Мой отец узнал Альвареса и сказал:

— Приятель, как тебе понравилась сарабанда, которую я танцевал вчера? Сам Людовик XIV был ею доволен, жаль только, что музыканты играли преотвратительно. А Бланка что говорит об этом?.. Бланка! Бланка... Несчастный, отвечай!..

Тут отец мой встряхнул цепями, начал грызть себе руки и впал в неудержимый приступ безумия. Альварес вышел, заливаясь слезами, и поведал герцогу о печальном зрелище, которое представилось его очам.

На следующий день подагра вступила герцогу в желудок, и домашние стали опасаться за его жизнь. За миг до кончины он обратился к дочери и сказал:

— Бланка! Бланка! Энрике вскоре встретится со мной. Я прощаю тебя, будь счастлива.

Эти последние его слова уязвили душу Бланки, поселили в ней медлительную отраву укоризн и погрузили в глубокую меланхолию.

Молодой герцог ничего не жалел для того, чтобы развеселить свою супругу, но, не преуспев в этом, предоставил ей терзаться печалью. Он выписал из Парижа общеизвестную престяницу по фамилии Лажарден, Бланка же удалилась в монастырь. Звание первого полковника артиллерии не было подходящим для дон Карлоса; вернее, он мало соответствовал своему званию; в течение некоторого времени он старался исправлять свою должность, но, не будучи в состоянии достойно нести свои обязанности, послал королю прошение об отставке и просил его предоставить ему какую-нибудь должность при дворе. Вскоре герцог был назначен коронным распорядителем королевского гардероба и вместе с мадемуазель Лажарден переехал в Мадрид.

Мой отец провел у камедулов три года, в течение которых почтенные молчаливники, не щадя ревностнейших стараний и преисполненные ангельского терпения, добились, наконец, его полного исцеления. Затем он отправился в Мадрид и пошел к министру. Его ввели в кабинет, где сановник обратился к нему с такими словами.

— Дело твое, дон Энрике, дошло до короля, который сильно разгневался на меня и на моих чиновников за эту ошибку. К счастью, я сохранил твое письмо, подписанное «дон Карлос». Оно еще у меня; вот оно; ну, а теперь скажи, почему ты не подписался своим собственным именем?

Отец мой взял письмо, узнал свой почерк и сказал:

— Я припоминаю, что в момент, когда я подписывал это письмо, мне как раз сообщили о приезде моего брата; великая радость, испытанная мною по этому поводу, была, должно быть, причиной моей ошибки. Однако, не ошибку эту я должен винить в своих несчастьях. Если бы даже патент на звание полковника был украшен моим скромным именем, я все равно не был бы в состоянии исправлять сию должность. Ныне ко мне вернулись прежние духовные силы, и я чувствую себя способным к выполнению обязанностей, исправлять которые его королевское величество доверил мне тогда.

— Дорогой Энрике, — возразил министр, — проекты фортификаций давным-давно быльем поросли, а мы при дворе не привыкли освежать

то, что давно забыто. Я могу предложить тебе только пост коменданта Сеуты. В настоящее время это единственное место, находящееся в моем распоряжении. Если ты пожелаешь его принять, тебе придется уехать, не повидавшись с королем. Я признаю, что должность эта не отвечает твоим способностям, и, более того, понимаю, что в твои годы тягостно поселиться на заброшенном африканском утесе.

— Именно эта последняя причина, — возразил отец, — способствует тому, что я прошу предоставить мне это место. Надеюсь, что, покидая Европу, я ускользну от судьбы, которая неумолимо меня преследует. В другой части света я стану другим человеком и с помощью более благосклонных ко мне созвездий обрету счастье и покой.

Отец мой, получив назначение, занялся приготовлениями к путешествию, засим сел на корабль в Алхесирасе и благополучно высадился в Сеуте. Полный радости, ступил он на чужую землю с чувством, какое испытывает мореход, когда сходит на сушу в тихой гавани после ужасной бури.

Новый комендант стремился сперва в совершенстве изучить свои обязанности не только для того, чтобы быть в состоянии их исполнять, но чтобы исполнять их как можно лучше; что же до фортификации, то этим ему не пришлось заниматься, ибо Сеута по самому своему положению представляла достаточный оплот против берберийских налетов. Зато все свои способности он направил на улучшение жизни гарнизона и горожан, а также на облегчение их существования. Он сам отверг всяческие выгоды, которыми обычно не брезговал ни один из предшествовавших ему комендантов. Весь гарнизон боготворил его за это. Кроме того, отец заботливо опекал государственных преступников, доверенных его охране, и частенько сворачивал с суровой стези предписаний для того, чтобы облегчить им переписку с родными, или же устраивая им всякого рода развлечения.

Когда все в Сеуте шло уже согласно заведенному распорядку, отец мой снова занялся точными науками. Два брата Бернулли⁵ наполняли тогда ученый мир эхом своих дискуссий. Мой отец в шутку называл их Этеоклом и Полиником⁶, в глубине души же их соперничество его искренне занимало. Он часто вмешивался в спор, анонимно отправляя письма, которые одной из двух партий доставляли неожиданное подкрепление. Когда великая проблема изопериметрии была представлена на рассмотрение четырем знаменитейшим европейским геометрам, отец мой прислал им методы анализа, которые можно считать шедевром изобретательности, но никто не допускал, чтобы автор хотел сохранить инкогнито, и их приписывали поэтому то одному, то другому брату. Математики ошибались, ибо отец мой любил науки, а не славу, которую они приносят. Перенесенные несчастья сделали его диковатым и боязливым.

Яков Бернулли умер в тот самый момент, когда он уже должен был одержать решительную победу; поле боя осталось за его братом. Мой отец превосходно понимал, что этот брат совершает ошибку, принимая во внимание только два элемента в кривых линиях, однако не хотел продолжать битвы, которая взволновала весь ученый мир. Между тем Николай Бернулли⁷ не мог усидеть спокойно, он объявил войну маркизу де л'Опиталь⁸, притязая на то, что все открытия маркиза были сделаны сперва им самим, а спустя несколько лет напал даже на самого Ньютона. Предметом этих новых раздоров был анализ бесконечно малых, который Лейбниц открыл одновременно с Ньютоном и который англичане возвели в ранг общенародного дела.

Таким образом, отец мой проводил лучшие годы своей жизни, приглядываясь издали к тем великим сражениям, в которых тогдашние лучшие и прославленнейшие умы выходили на бой с оружием, настолько острым, какое только может изобрести человеческий гений. Однако при всем своем пристрастии к точным наукам он вовсе не пренебрегал другими областями знания. На скалах Сеуты обитало множество морских животных, которые по природе своей весьма близки к растениям и составляют как бы связующее звено между двумя царствами — животным и растительным. Мой отец всегда держал несколько подобных существ в закупоренных банках и с пристальнейшим вниманием изучал удивительность и необыкновенность их организмов. Кроме того, он собрал наиболее полную коллекцию произведений историографов древности; он приобрел эти собрания, чтобы подкреплять доводами, почерпнутыми из фактов, принципы теории вероятности, изложенные Бернулли в его труде, озаглавленном «*Ars conjectandi*».

Вот так отец мой, живя только духовными интересами, переходя попеременно от исследования к размышлению, почти не вылезал из дому; более того, благодаря постоянному умственному напряжению, он забыл о той ужасной поре своей жизни, когда несчастья помutilи его рассудок. Иногда, однако, сердце его тосковало, что обыкновенно случалось под вечер, когда ум его был уже измучен трудами, продолжавшимися весь день. Тогда, не привыкший искать развлечений вне дома, он поднимался на бельведер, то есть в беседку на возвышении; глядел на море и на небосклон, переходящий вдалеке в темную полосу Испанского берега. Зрелище это напоминало ему дни славы и счастья, когда — баловень семьи, боготворимый возлюбленной своей, уважаемый самыми прославленными в отечестве государственными людьми, с душой, воспаленной юношеским пылом, озаренной светом зрелости, он жил всеми чувствами, составляющими истинную прелесть жизни, и углублялся в исследования истин, делающих честь человеческому разуму. Затем он вспоминал брата, который похитил у него возлюбленную, состояние, звание и бросил его, обезумевшего, на охапку соломы. Порою он хватался

за скрипку и играл роковую сарабанду, которая помогла Карлосу похитить сердце Бланки. При звуках этой музыки он заливался слезами, и только тогда на душе его становилось легче. Так прошло полтора десятилетия.

В один прекрасный день королевский наместник Сеуты, желая повидать моего отца, вошел к нему вечером и застал его погруженным в привычную меланхолию.

Поразмыслив немного, наместник сказал:

— Дорогой наш комендант, благоволи выслушать со вниманием мою короткую речь. Ты несчастен, ты страдаешь, это не тайна, мы все об этом знаем, и моя дочь тоже. Ей было пять лет, когда ты прибыл в Сеуту, и с тех пор не прошло и дня, чтобы она не слышала людей, говорящих о тебе с обожанием, ибо ты и в самом деле словно ангел-хранитель нашей маленькой колонии. Она часто говорила мне: «Дорогой наш комендант оттого так страдает, что никто не разделяет с ним его огорчений». Дон Энрике, соглашайся, приходи к нам, это развлечет тебя больше, чем это постоянное подсчитывание морских валов.

Мой отец позволил ввести себя в дом к Инесе де Каданса и женился на ней полгода спустя, а спустя девять месяцев после их бракосочетания явился на свет и я, грешный. Когда хрупкая моя особа впервые узрела солнечный свет, отец взял меня на руки и, возведя очи горé, взмолился:

— О неизмеримая власть, чьим показателем является бесконечность, последний член всех возрастающих прогрессий — великий боже — вот еще одно нежное создание вброшено в пространство; если, однако, оно обречено стать столь же несчастливым, как его отец, пусть лучше доброта твоя отметит его знаком вычитания.

Сотворив эту молитву, отец радостно обнял меня, говоря:

— Нет, бедное мое дитя, ты не будешь столь несчастным, как твой отец; присягаю тебе святым именем господним, что никогда не заставлю тебя обучаться математике; зато ты приобретешь навык в сарабанде, балетах Людовика XIV и всяческих бесстыжих бреднях, о каких я когда-нибудь услышу.

После этих слов отец оросил меня горестными слезами и вручил повитухе.

Отец поклялся, что я никогда не буду учить математику, но зато буду уметь танцевать. Между тем, произошло нечто совершенно обратное. Ныне я обладаю глубокими познаниями в области точных наук, но так никогда и не смог научиться, не говоря уж о сарабанде, которая в наши дни вышла из моды, никакому иному танцу. В самом деле, я не понимаю, каким образом можно запомнить фигуры контрданса. Ни одна из них не исходит из одного фокуса и не зиждется на каких бы то ни было основательных принципах; ни одна не может быть выражена по-

средством некоей формулы, и я не могу себе представить, как находятся люди, которые все эти фигуры знают на память.

Когда дон Педро Веласкес подобным образом рассказывал нам свои приключения, вожак вошел в пещеру и сказал, что по важным причинам всем нам придется спешно отправиться в странствие и углубиться в дебри Альпухары.

— Хвала всевышнему, — воскликнул каббалист. — Таким образом мы еще раньше увидим вечного странника Агасфера, ибо, так как он не вправе отдыхать, следовательно, он отправится с нами в поход, и мы сможем побеседовать с ним. Он повидал многое и многих, и невозможно превзойти его в опытности.

Затем цыганский вожак обратился к Веласкесу и сказал:

— А ты, сеньор, хочешь ли ты отправиться с нами, или же предпочитаешь, чтобы тебе дали охрану, которая проводит тебя до ближайшего города?

Веласкес на минуту задумался, а затем ответил:

— Я оставил некоторые важные бумаги возле постели, на которой заснул третьего дня, прежде чем пробудился под виселицей, где меня нашел сеньор капитан валлонской гвардии. Будь добр, пошли кого-нибудь в Вента Кемада. Если я не получу этих бумаг, мне незачем будет ехать дальше, и я вынужден буду вернуться в Сеуту. А пока, если позволишь, я могу кочевать с вами.

— Все мои люди к твоим услугам, — сказал цыган. — Я тотчас же пошлю своих нарочных в венту; они присоединятся к нам на первом же привале.

Цыгане свернули шатры, мы двинулись в путь и, отъехав четыре мили, расположились на ночлег на какой-то пустынной горной вершине.



День двадцатый

Проведя все утро в ожидании людей, посланных вожакон в венту за бумагами Веласкеса, и охваченные невольным любопытством, мы всматривались в дорогу, по которой они должны были вернуться. Только сам Веласкес, найдя на склоне скалы отполированный дождями обломок сланца, с быстротой молнии покрывал его цифрами, иксами и игреками.

Написав множество чисел, он повернулся к нам и спросил, отчего это мы проявляем такое нетерпение. Мы отвечали, что причиной тому его бумаги, которые не прибывают. Он ответил, что это беспокойство о судьбе его бумаг служит лучшим доказательством нашего добросердечия и что как только он окончательно завершит свои вычисления, он присоединится к нашей компании и станет терзаться нетерпением вместе с нами.

После чего он завершил свои уравнения и спросил, чего мы ждем и почему не пускаемся в дальнейший путь.

— Но, сеньор геометр, дон Педро Веласкес, — возразил каббалист, — если ты сам никогда не проявлял нетерпения, то, должно быть, порою тебе представлялась возможность наблюдать это состояние у других?

— В самом деле, — ответил Веласкес, — я часто наблюдал нетерпение и всегда полагал, что это, по-видимому, пренеприятное чувство, возрастающее с каждой минутой, но так, что никогда нельзя точно обозначить законы этой прогрессии. Однако можно в общем сказать, что она остается в отношении, обратном пропорциональном силе инерции. Отсюда следует, что поскольку меня в два раза труднее взволновать, чем вас, то я только через час достигну одного градуса нетерпения, тогда как вы будете находиться уже во втором градусе. Рассуждение это применимо ко всем страстям, которые можно счесть побуждающими силами, иными словами — импульсами.

— Мне кажется, сеньор — сказала Ревекка, — что ты в совершенстве знаешь пружины сердца человеческого и что геометрия является вернейшим путем к счастью.

— Эти поиски счастья, — ответил Веласкес, — по моему мнению, можно счесть как бы решением уравнения высшей степени. Ты, сеньора, знаешь последний член и знаешь, что он является произведением всех корней, но прежде, чем ты исчерпаешь делителя, ты придешь к мнимым числам. А день, между тем, проходит в непрестанном наслаждении расчетами и подсчетами. Точно так же и с жизнью: приходишь также к числам мнимым, которые ты принимала за истинную величину, но тем

временем ты жила и даже действовала. Действие же является всеобщим законом природы. В ней ничто не бездействует. Тебе кажется, что эта скала пребывает в покое, ибо грунт, на котором она лежит, оказывает на нее воздействие, значительно превосходящее ее давление на грунт, но если бы ты, сеньора, могла подсунуть ногу под эту скалу, ты тотчас же убедилась бы в том, что утес этот находится в деятельном состоянии.

— Но чувство, именуемое любовью, — сказала Ревекка, — ужели и оно также может быть оценено путем исчисления? Так, например, уверяют, что нежная близость уменьшает любовь в мужчинах, и в то же время увеличивает ее у женщин. Можешь ли ты, сеньор, объяснить мне это?

— Проблема, которую ты, сеньора, мне предлагаешь, — ответил Веласкес, — доказывает, что одна из двух любовей движется в возрастающей прогрессии, другая же — в умаляющейся. Следовательно, должно существовать и такое мгновение, когда возлюбленные будут любить друг друга с совершенно одинаковой силой. С этого момента проблема сия вступает в область приложения теорий *de maximis et minimis* * и ее можно изобразить в виде кривой линии. Я придумал необыкновенно изящное решение для всех проблем этого типа. Допустим, например, что х...

Именно тогда, когда Веласкес дошел до этого места в своем анализе, мы заметили нарочных, возвращающихся из венты, которые привезли бумаги. Веласкес взял их, просмотрел со вниманием и сказал:

— Я получил все мои бумаги, за исключением одной, которая, правда, не слишком мне нужна, но которая чрезвычайно занимала меня в ту самую ночь, что завершилась под виселицей. Но это неважно, я не хочу вас задерживать.

Мы пустились в путь и провели в движении большую часть дня. Когда мы остановились на отдых, общество собралось в шатре вожака и после ужина просило его, чтобы он благоволил продолжать рассказ о своих приключениях, что он и сделал в следующих словах:

* О бесконечно больших и бесконечно малых (лат.).



*Продолжение истории
цыганского вожака*

Вы оставили меня с препротивным вице-королем, который рассказывал о размерах своего состояния.

— Я отлично помню, — сказал Веласкес, — состояние это равнялось шестидесяти миллионам двадцати пяти тысячам ста шестидесяти одному пиастру.

— Именно так, — ответил цыган, после чего продолжал так:

— Если вице-король напугал меня в первый миг нашей встречи, то я испугался еще больше, когда он сказал мне, что на теле его наколота иглой татуировка, изображающая змею, которая шестнадцать раз обвивает его тело и завершается на большом пальце левой ноги. Я пропустил мимо ушей все то, что он мне говорил о своем состоянии, зато тетка Торрес, собравшись с духом, сказала:

— Состояние твое, сиятельный сеньор, конечно, велико, но ведь и доходы этой вот юной особы должны быть немалыми.

— Граф Ровельяс, — возразил вице-король, — расточительностью своею привел в ошутительное расстройство свои денежные дела, и хотя я взял на себя все расходы по ведению процесса, я смог вырвать всего только шестнадцать плантаций в Гаване, двадцать две акции серебряных копей в Санлукар, двенадцать — в Филиппинской компании, пятьдесят шесть — в Асиенто и некоторые другие мелкие ценные бумаги. Итак, вся сумма составляет всего только что-то около двадцати семи миллионов пиастров.

Тут вице-король позвал своего секретаря, велел ему принести шкатулку из индийского дерева и, преклонив одно колено, произнес:

— Дочь пленительной матери, которую я не перестал и доселе боготворить, благоволи принять плод тринадцатилетних трудов и усилий, ибо именно столько времени понадобилось мне для того, чтобы вырвать это имущество из рук твоей алчной родни.

Сперва я хотел принять шкатулку с улыбкой благодарности, но мысль, что у моих ног преклонил колени человек, размноживший столько индейских голов, да к тому же еще и то, что мне стыдно было

играть роль, противоположную моему полу, и, наконец, не знаю уже сам, какое замешательство было причиной тому, что я едва не лишился чувств. Но тетка Торрес, отвагу которой удивительным образом укрепили эти двадцать семь миллионов пиастров, заключила меня в объятия, и, хватая шкатулку с быть может несколько чрезмерно неудержимой алчностью, сказала вице-королю:

— Сиятельный сеньор, эта молодая особа никогда не видела перед собой коленопреклоненного мужчины. Позволь ей удалиться в свои покои.

Вице-король поцеловал мне руку, а затем весьма учтиво проводил меня в мои покои. Когда мы остались одни, то заперли двери на два засова, и тут только тетка Торрес предалась восторгам высочайшей радости, троекратно лобызая шкатулку и благодаря небо за то, что оно обеспечило Эльвире не только достойную, но и великолепную судьбу.

Вскоре затем в наши двери постучались, и вошел секретарь вице-короля вместе с судейским чиновником. Они сняли копии с бумаг, находящихся в шкатулке, и потребовали от тетки Торрес свидетельства, что она эти бумаги получила. Что же касается меня, то они прибавили, что так как я несовершеннолетняя, подпись моя не нужна вовсе.

Мы снова заперлись, и я сказал обеим теткам:

— И в самом деле, судьба Эльвиры уже обеспечена, но нужно еще подумать, как ввести фальшивую барышню Ровельяс в обитель театинцев и где искать настоящую барышню Ровельяс.

Едва я произнес эти слова, как обе дамы начали горько сетовать. Тетке Даланосе казалось, что она уже видит меня в руках палачей, а госпожа де Торрес трепетала за судьбу своего сына и племянницы, вспоминая об опасностях, которые угрожали бедным детям, блуждающим без приюта и помощи. Все мы в глубокой печали разошлись на покой. Я долго размышлял, каким образом выйти из затруднения; я мог убежать, но вице-король тотчас же выслал бы за мной погоню. Я зашнуровал, не найдя никакого средства, а между тем до Бургоса оставалось всего полдня пути. Положение мое становилось все более затруднительным; однако на следующее утро мне пришлось сесть в лектику. Вице-король гарцевал у дворец моего бесколесного экипажа, смягчая привычную суровость своих черт самыми нежными улыбками, при виде коих кровь застывала у меня в жилах. Так мы прибыли к роднику, где застали трапезу, приготовленную для нас обывателями Бургоса.

Вице-король помог мне сойти, но вместо того, чтобы направиться со мною к месту, где был накрыт стол, отделился от прочего общества, усадил меня в тени и, сев рядом, сказал:

— Пленительная Эльвира, чем больше я имею счастья приближаться к тебе, тем более убеждаюсь, что небо предназначило тебя, чтобы украсить вечер бурной жизни, посвященной благу отечества и славе моего короля. Я обеспечил Испании обладание Филиппинским архипелагом,

открыл половину Новой Мексики и принудил к повиновению мятежные племена инков. Всегда я боролся только за жизнь: с волнами океана, изменчивостью климата, ядовитыми испарениями открытых мною копей. И кто же вознаградит меня за утрату прекраснейших лет моей жизни? Я мог посвятить их отдыху, сладостным восторгам дружбы или чувствам, что были бы еще приятней во сто крат. Но, при всем могуществе короля Испании и Индии, что же он может сделать, дабы вознаградить меня? Награда сия покоится в твоих руках, несравненная Эльвира. Если я соединю свою судьбу с твоей, мне ничего не останется желать. Проводя дни свои только в узнавании новых сторон твоей прекрасной души, я буду счастлив каждой твоей улыбкой и преисполнен радости от самых малых доказательств привязанности, какие ты соизволишь мне даровать. Картина этого мирного будущего, которое наступит после бурь, испытанных мною в жизни, так меня пленяет, что я этой ночью решил как только возможно ускорить блаженный миг нашего соединения. Теперь я покидаю тебя, прекрасная Эльвира; полечу в Бургос, где ты сможешь убедиться в благих последствиях моей поспешности.

Сказав это, вице-король пал на одно колено, поцеловал мне руку, вскочил на коня и умчался в Бургос. Не нужно описывать вам состояние, в котором я находился. Я ожидал пренеприятнейших событий, которые, все как одно, завершались немилосердной поркой во дворе обители отцов-театинцев. Я пошел к двум тетушкам, которые как раз подкрепляли свои силы; хотел рассказать им о новых излияниях вице-короля, но усилия мои были тщетны. Неутомимый дворецкий торопил меня занять место в лектике; мне пришлось повиноваться.

Прибыв к воротам Бургоса, мы встретили пажа, посланника будущего моего супруга; паж сообщил, что нас ждут во дворце архиепископа. Холодный пот, который выступил у меня на лбу, убедил меня, что я еще жив, ибо страх и ужас погрузили меня в такое состояние совершеннейшего бессилия, что только представ перед архиепископом, я пришел в себя. Прелат этот восседал в кресле напротив вице-короля. Духовенство занимало стулья пониже; наиболее знатные и почтенные жители Бургоса поместились близ вице-короля, а в глубине комнаты я заметил алтарь, приготовленный для обряда бракосочетания. Архиепископ поднялся, благословил меня и запечатлел поцелуй у меня на лбу.

Обуреваемый множеством разноречивых чувств, измученный и истерзанный ими, я пал к ногам архиепископа и вдруг, как будто в некоем озарении, с неведомо откуда взявшимся присутствием духа, воскликнул:

— Ваше преосвященство, сжальтесь надо мною, я хочу быть монахиней, да, да, я хочу стать монахиней!

После этого признания, которое достигло слуха всех собравшихся, я счел за благо упасть в обморок. Поднявшись, я вновь упал в объятия обеих теток, которые и сами едва держались на ногах. Чуть приоткрыв

глаза, я увидел, что архиепископ в позе, исполненной почтения, стоит перед вице-королем и как будто ожидает его решения.

Вице-король попросил архиепископа, чтобы тот занял свое место и дал ему время на размышление. Архиепископ сел, и тогда я обратил внимание на лицо моего знатного поклонника: оно было суровее, чем когда-либо, и, более того, приобрело выражение, способное утратить и отважнейших. Некоторое время он казался погруженным в размышления; затем, гордо надев шляпу, молвил:

— Инкогнито мое окончено: я — вице-король Мексики; пусть архиепископ соизволит остаться на своем месте.

Все почтительно встали, вице-король же так продолжал свою речь:

— Сегодня как раз исполнилось четырнадцать лет с тех пор, как подлые клеветники распространили слух, будто я — отец этой юной особы. Я не мог никаким способом вынудить их замолчать, иначе, чем поклявшись, что, когда она достигнет совершеннолетия, я возьму ее в жены. В то время, как она возрастала в прелестях и добродетелях, король, благоволя ко мне за мои заслуги, возвышал меня в чинах, и, наконец, удостоил звания, которое приближает к трону. Наступило время исполнения моего обета; я просил у короля дозволения вернуться в отечество для бракосочетания, и Совет Индий ответил утвердительно, но с условием, что я только до момента венчания буду исполнять обязанности вице-короля. Одновременно мне разрешили приближаться к Мадриду не более чем на пятьдесят миль. Я без труда понял, что мне надлежит отречься либо от женитбы, либо от монаршего благоволения, но я поклялся свято — и был не вправе отступить от своих слов. Когда я узрел пленительную Эльвиру, мне показалось, что небо хочет свести меня со стези почестей и даровать мне новое счастье мирных домашних наслаждений, но так как это ревнивое небо призывает к себе душу, которой свет не достоин, то я и отдаю ее тебе, ваше преосвященство: прикажи отвезти ее в обитель монахинь ордена салезианок¹, где она пусть тотчас же станет послушницей. Я клянусь не иметь никогда другой жены и сдержу свою клятву: я напишу королю и попрошу его разрешить мне прибыть в Мадрид.

С этими словами противный вице-король, сняв шляпу, приветствовал присутствующих; строго глядя, он надвинул ее вновь на глаза и сел в карету, сопровождаемый архиепископом, чиновниками, духовенством и всей своей свитой. Мы остались одни в зале, кроме нескольких служек, которые разбирали алтарь. Тогда я втащил обеих теток в смежную комнату и подскокил к окну в надежде, что найду какой-нибудь способ спастись бегством и избежать отправления в монастырь.

Окно выходило в просторный двор с фонтаном посредине. Я увидел двух мальчиков, которые утоляли жажду. Я узнал на одном из них платье, которое отдал Эльвире, и сразу же узнал и ее. Другим мальчиком был Лонсето. Я закричал от радости. В нашей комнате было четыре двери:

первые, которые я открыл, выходили на лестницу, ведущую во двор, где обретались наши беглецы. Я со всех ног побежал к ним, и тетка Торрес чуть не умерла от радости, обнимая своих детей.

В этот миг мы услышали голос архиепископа, который, проводив вице-короля, возвратился, чтобы приказать отправить меня в обитель ордена салезианок. Мне едва хватило времени, чтобы броситься к дверям и запереть их на ключ. Тетка моя закричала, что молодая особа вновь лишилась чувств и не может никого видеть. Мы поспешно обменялись платьем, Эльвире завязали голову, как если бы она ранила ее, падая; и прикрыли ей, таким образом, почти все лицо, чтобы ее труднее было узнать.

Когда все уже было готово, я ускользнул вместе с Лонсетом, и дверь отперли. Архиепископ уже ушел, но оставил своего vicария, который проводил Эльвиру и госпожу де Торрес в монастырь. Тетушка Даланоса отправилась в трактир «Лас Росас», где назначила мне свидание и сняла удобное жилье. Неделю мы наслаждались счастливым и благополучным завершением этой истории и смеялись над тем, какой ужас она в нас вселила. Лонсетом, который перестал уже изображать погонщика мулов, жил вместе с нами под своим собственным именем сына госпожи де Торрес.

Тетка моя несколько раз ходила к Эльвире в обитель ордена салезианок. Было решено, что Эльвира сперва проявит непреодолимое желание остаться монахиней, но что, однако, пыл этот постепенно будет остывать и что, наконец, она покинет монастырь и тогда обратится в Рим за дозволением на брак со своим двоюродным братом.

Вскоре мы узнали, что вице-король прибыл в Мадрид, где был принят с великими почестями. Король соблаговолил даже разрешить ему перевести свое состояние и титулы на имя племянника, сына той самой сестры, которую он некогда привез в Виллаку. Вскоре после этого вице-король отбыл в Америку.

Что до меня, то события этого необыкновенного странствия еще более увеличили мою легкомысленную склонность к бродяжничеству. С отвращением я думал о минуте, когда меня запрут в монастыре отцов-театинцев, но дядя моей тетушки желал этого; нужно было, после всех отяжек, какие я только сумел придумать, безропотно покориться судьбе.

Когда цыганский вожак досказывал эти слова, один из его подчиненных пришел отдать ему отчет о делах, совершенных за день. Каждый из нас сделал свои замечания о столь удивительном приключении; но каббалист обещал нам гораздо более занятные вещи, которые мы должны будем услышать от вечного странника Агасфера, и поручился, что завтра мы непременно увидим эту необыкновенную личность.



День двадцать первый

Мы тронулись в путь, каббалист же, который в этот день обещал нам вечного странника Агасфера, не мог сдержать своего нетерпения. Наконец, мы увидели на отдаленной вершине человека, который шел с необыкновенной поспешностью, вовсе не разбирая дороги.

— Вот он, вот он! — закричал Узед, — ах, лентяй, ах, негодник! Целых восемь дней тащился сюда из Африки!

Миг спустя Агасфер был в нескольких десятках шагов от нас. Еще с этого расстояния каббалист изо всей силы крикнул ему:

— Ну, как?.. Имею ли я еще право на дочерей Соломоновых?

— Никоим образом, — возразил Агасфер, — ты не только утратил всякое право на них, но даже всю власть, какой ты обладал над духами выше двадцать второй степени. Надеюсь также, что вскоре ты лишишься и той власти над мной, которой ты коварно достиг.

Каббалист на минуту задумался, после чего произнес:

— Тем лучше, я пойду по стопам своей сестры. Как-нибудь в другой раз поговорим об этом подробнее; а пока, уважаемый странник, я приказываю тебе идти между мулами этого молодого человека и его товарища, о котором история геометрии когда-нибудь с гордостью будет упоминать. Расскажи им о жизни своей, но правдиво и ясно!

Вечный странник Агасфер сначала пытался противиться, но каббалист сказал ему нечто невнятное, и несчастный бродяга так начал свою речь:

История вечного странника Агасфера



Семейство мое принадлежит к числу тех, которые служили первосвященнику Анании¹ и с дозволения Птолемея Филометора² воздвигли храм в нижнем Египте. Деда моего звали Гискиас. Когда прославленная Клеопатра³ сочеталась браком с братом своим Птолемеем Дионисом, Гискиас

поступил к ней на службу в качестве придворного ювелира; кроме того, ему было доверено приобретение для нужд двора дорогих материй и нарядов, а также должность главного распорядителя придворных празднеств. Одним словом, могу вас уверить, что дед мой был значительной персоной при александрийском дворе. Я говорю это не ради хвастовства, ибо к чему мне оно? Вот уже семнадцать веков — ба, даже больше! — прошло с тех пор, как я его утратил, ибо дед мой умер на сорок первом году царствования Августа⁴. Я был тогда слишком молод и едва его помню, но некий Деллий часто мне рассказывал об этих событиях.

Тут Веласкес прервал Агасфера, спрашивая, не тот ли это Деллий, музыкант Клеопатры, о котором нередко упоминают Флавий⁵ и Плутарх⁶.

Вечный странник Агасфер дал утвердительный ответ, после чего продолжал:

— Птолемей, который не мог иметь детей от своей сестры, заподозрил ее в бесплодии и отказался от нее после трех лет супружества. Клеопатра выехала в одну из гаваней на Красном Море. Дед мой сопровождал ее в этом изгнании, и тогда-то он и приобрел для своей госпожи те две знаменитые жемчужины⁷, из коих одну она растворила и проглотила на пиру, устроенном в ее честь Антонием.

А между тем, гражданская война вспыхнула во всех провинциях Римской Империи. Помпей укрылся у Птолемея Диониса, который приказал его обезглавить. Измена эта, долженствующая обеспечить ему благоволение Цезаря, имела совершенно обратные следствия. Цезарь стремился вернуть венец Клеопатре. Жители Александрии поднялись⁸ на защиту своего царя с упорством, которому мы видим мало примеров в истории; но, когда, по несчастной случайности, монарх этот утонул, ничто уже не мешало удовлетворению властолюбия Клеопатры. Царица испытывала к Цезарю чувство безграничной признательности.

Цезарь, прежде чем покинуть Египет, повелел Клеопатре выйти замуж за младшего Птолемея⁹, который был ее братом и шурином в одно и то же время как младший брат Птолемея Диониса, первого ее супруга. Князю этому было тогда только одиннадцать лет. Клеопатра ожидала ребенка, и дитя ее назвали Цезарионом¹⁰, во избежание каких бы то ни было сомнений относительно его происхождения.

Дед мой, которому тогда было двадцать пять лет, решил вступить в брак. Для еврея это было, пожалуй, несколько поздно, но он испытывал непреодолимое отвращение к браку с женщиной родом из Александрии, и вовсе не потому, что иерусалимские евреи считали нас отщепенцами, но потому, что, по нашему мнению, на земле должно было существовать только одно святилище.

Сообщество наше считало, что наш египетский храм, основанный Анией, так же, как некогда самаритянский, станет причиной ренегатства, которого евреи страшились, как неотвратимого поражения и всеобщей гибели. Такие благочестивые побуждения, а также неприятный привкус, свойственный любым придворным званиям, послужили причиной тому, что дед мой решил перебраться в священный город¹¹ и взять жену там. В это самое время иерусалимский еврей по имени Гиллель прибыл вместе со всем семейством в Александрию. Дочь его, Мелея, приглянулась моему деду, и свадьба была сыграна с необычайным блеском: Клеопатра и ее юный супруг почтили ее своим присутствием.

Спустя несколько дней царица повелела призвать моего деда и сказала ему:

— Я только что узнала, мой друг, что Цезарь провозглашен пожизненным диктатором¹². Судьба вознесла этого повелителя триумфаторов на ступень, на которую доселе не ставила никого. Не выдерживают с ним сравнения ни Бел¹³, ни Сезострис¹⁴, ни Кир¹⁵, ни даже Александр Великий. Я горжусь, что он — отец моего маленького Цезариона. Ребенку этому скоро исполнится четыре года, и я хочу, чтобы Цезарь увидел его и обнял. Я решила через два месяца отправиться в Рим. Ты понимаешь, что я хочу устроить въезд, достойный царицы Египта. Последний из моих невольников должен быть одет в золотистые одеяния, вся же моя утварь должна быть отлита из благородного металла и усеяна дорогими камнями. Для меня ты велишь шить платье из легчайших индийских тканей, к ряду же я не хочу иных драгоценностей, кроме жемчужин. Возьми все мои ценности, все золото, находящееся в моих дворцах; сверх того казначей мой отсчитает тебе сто тысяч талантов¹⁶ золота. Это — цена двух провинций, которые я продала царю арабов; возвратившись из Рима, я сумею их отобрать у него.

А теперь иди и помни, чтобы через два месяца все было готово.

Клеопатре было тогда двадцать пять лет. Пятнадцатилетний брат ее, за которого она вышла замуж четыре года назад, любил ее с невыразимой страстностью. Узнав, что она уезжает, он предался жесточайшему отчаянию; когда же юный Птолемей простился с царицей и узрел ее удаляющийся корабль, он впал в такую скорбь, что опасались за его жизнь.

Спустя три недели Клеопатра сошла на берег в порту Остии. Она застала там уже великолепные ладьи, которые волоком потянули по Тибру, и можно сказать, что она с триумфом въехала в тот самый город, куда другие цари входили, впряженные в колесницы римских военачальников¹⁷. Цезарь, выделяясь среди всех людей как строгостью нравов, так и величием духа, принял Клеопатру с необычайной учтивостью, однако не столь нежно, как на это надеялась царица; Клеопатра, со своей стороны, побуждаемая больше гордыней, чем любовью, мало обращала внимания на это равнодушные и решила поближе узнать Рим.

Одаренная редкостной проницательностью, она вскоре поняла, какая опасность грозила диктатору. Она говорила ему о своих предчувствиях, но сердцу героя чуждо было чувство страха. Клеопатра, видя, что Цезарь не обращает внимания на ее предостережения, вознамерилась извлечь из них, по мере возможности, наибольшую пользу для себя. Она была убеждена, что Цезарь падет жертвой какого-нибудь заговора и что римский мир распадется тогда на две партии.

Первую из них, друзей свободы, явно возглавлял старый Цицерон, надутый софист и лжеумствователь, который полагал, что если он произносит шумные речи перед людьми, то творит великие дела, и он вздыхал по мирному житью в своей тускуланской вилле¹⁸, но не собирался отказываться от влияния, связанного с положением предводителя партии. Люди эти стремились достичь какой-то великой цели, но не видели, с чего начать, ибо совершенно не знали света.

Другая партия, друзья Цезаря, составленная из храбрых воинов, откровенно вкушающих радости жизни, удовлетворяла свои страсти, играя страстями своих сограждан. Клеопатра недолго раздумывала, кого выбрать: она расставила силки своих женских чар на Антония¹⁹ и презрела Цицерона, который никогда не мог ей этого простить, как вы можете легко убедиться из посланий, написанных им тогда другу своему Аттику²⁰.

Царица, нимало не интересуясь разрешением загадки, скрытые пружины коей давно уже распознала, поспешила вернуться в Александрию, где молодой супруг принял ее со всем восторгом пылающего сердца. Жители Александрии разделяли его радость. Клеопатра, казалось, и сама разделяла ликование, которое вызвало ее возвращение; она привлекала к себе все сердца, но люди, ближе ее знающие, превосходно видели, что политические цели — главные побуждения этих ее излиятий, в которых было больше притворства, чем правды. И в самом деле, едва обеспечив себе расположение жителей Александрии, она сразу же поспешила в Мемфис, где появилась в наряде Изиды²¹ с коровьими рогами на голове. Египтяне были от Клеопатры без ума, затем, подобным же образом, она сумела привлечь к себе симпатии набатеев, эфиопов, ливийцев и других народов, чьи земли граничат с Египтом.

Наконец, царица вернулась в Александрию, а между тем Цезарь был убит и гражданская война вспыхнула во всех провинциях Империи. С тех пор Клеопатра мрачнела с каждым днем, часто задумывалась; окружающие ее поняли, что она возымела намерение сочетаться браком с Антонием и стать повелительницей Рима.

Однажды утром дед мой отправился к царице и показал ей драгоценности, только что привезенные из Индии. Она очень обрадовалась им, превозносила вкус моего деда, его рвение в исполнении обязанностей и прибавила:

— Дорогой Гискиас, вот бананы, доставленные из Индии теми же самыми купцами из Серендиба²², от которых ты получил драгоценности. Отнеси эти плоды моему молодому супругу и скажи, чтобы он съел их тут же, во имя любви, какую он ко мне питает.

Дед мой исполнил это поручение, и молодой царь сказал ему:

— Так как царица закликает меня любовью, которую я к ней питаю, чтобы я тут же съел эти плоды, я хочу, чтобы ты был свидетелем, что я ни одним из них не пренебрег.

Но едва он съел три банана, как черты его внезапно болезненно исказились, он закатил глаза, испустил ужасный крик и, бездыханный, упал на землю. Дед мой понял, что его использовали как орудие гнусного преступления. Он вернулся домой, разодрал свои одежды, облекся во вретиче и посыпал пеплом главу.

Шесть недель спустя царица послала за ним и сказала:

— Тебе, конечно, известно, что Октавиан, Антоний и Лепид²³ разделили между собой Римскую Империю. Дорогой мой Антоний получил в этом разделе Восток, и вот я хотела бы встретить нового повелителя в Киликии. Поэтому повелеваю тебе, чтобы ты приказал соорудить корабль, подобный створчатой раковине, и выложить его как внутри, так и снаружи перламутром. Палуба должна быть обтянута тончайшей золотой сеткой, сквозь которую я могла бы быть видимой, когда предстану в образе Венеры, окруженной грациями и амурами. А теперь иди и постарайся выполнить мои приказания и повеления со всей присущей тебе понятливостью.

Мой дед пал к ногам царицы, говоря:

— Госпожа, благоволи рассудить, что я иудей и что все, что касается греческих богов, для меня кощунство, которого я никоим образом не могу допустить.

— Понимаю, — ответила царица, — тебе жаль моего молодого супруга. Горе твое справедливо, и я разделяю его больше, чем могла бы предполагать. Я вижу, Гискиас, что ты не создан для жизни при дворе, и освобождаю тебя от выполнения обязанностей, которые доселе были на тебя возложены.

Дед не заставил дважды повторять эти слова, вернулся к себе домой, собрал свои пожитки и удалился в свой маленький домик на берегу Маретийского озера. Там он ревностно занялся приведением в порядок своих дел, собираясь непременно переселиться в Иерусалим. Он жил в величайшем уединении и не принимал никого из прежних своих знакомых, принадлежащих к придворным, за исключением одного — музыканта Деллия, с которым его всегда связывала истинная дружба.

Тем временем Клеопатра, приказав построить именно такой корабль, о каком говорила, высадилась в Киликии, жители коей и в самом деле приняли ее за Венеру; Марк Антоний же, находя, что они не вполне об-

манываются, отплыл с ней в Египет, где союз их был освящен с неописуемым великолепием.

Когда вечный странник Агасфер дошел до этого места своего повествования, каббалист сказал ему:

— Ну, на сегодня этого достаточно, друг мой, мы как раз прибываем на ночлег. Ты проведешь эту ночь, кружа около той горы, а завтра вновь присоединишься к нам. Что же касается того, что я хотел тебе сказать, откладываю это на более позднее время.

Агасфер метнул ужасный взор на каббалиста и исчез в ближайшем ущелье.



День двадцать второй

Мы тронулись в путь довольно рано и, проехав около двух миль, увидели Агасфера, который, не заставляя повторять себе приказання, втиснулся между моим конем и мулом Веласкеса и начал такими словами:



Продолжение истории вечного странника Агасфера

Клеопатра, расставшись с Антонием, поняла, что для того, чтобы сохранить его сердце, ей подобает скорее играть роль Фрины, нежели Артемизии¹, ведь женщина эта с волшебной легкостью переходила от роли кокетки и прелестницы к роли нежной и даже верной супруги. Она знала, что Антоний со страстью предается наслаждениям; поэтому она старалась накрепко привязать его к себе с помощью неисчерпаемых ухищрений женского кокетства.

Двор стремился подражать царственной чете, город подражал двору, а затем вся страна стала подражать городу, так что вскоре Египет стал являть собой зрелище всеобщего разврата и распутства. Бесстыдство это затронуло даже некоторые еврейские общины.

Дед мой давно уже переехал бы в Иерусалим, но парфяне² как раз взяли приступом город и выгнали Ирода³, внука Антипы, которого позднее Марк Антоний поставил царем иудейским. Дед мой, вынужденный оставаться в Египте, сам не знал, где ему укрыться, ибо озеро Мареотис, усеянное легкими челнами, и днем и ночью представляло собой необыкновенно соблазнительное и развращающее зрелище. Наконец, выйдя из терпения, он велел замуровать окна, выходящие на озеро, и заперся у себя со своей женой Мелесей и сыном, которого он назвал Мардохеем. Двери его дома отворялись только для верного друга Деллия. Так прошло несколько лет, во время которых Ирод был провозглашен царем иудейским, и мой дед вновь вернулся к былому своему намерению поселиться в Иерусалиме.

Однажды Деллий пришел к моему деду и сказал:

— Дорогой друг, Антоний и Клеопатра посылают меня в Иерусалим, вот я и пришел спросить тебя, не хочешь ли ты дать мне какие-нибудь поручения. Притом прошу тебя дать мне письмо к твоему тестю Гиллею; я желал бы быть его гостем, хотя убежден, что меня захотят удержать при дворе и не позволят, чтобы я поселился у частного лица.

Мой дед, видя человека, едущего в Иерусалим, залился горькими слезами. Он дал Деллию письмо к своему тестю и доверил ему двадцать тысяч дариков⁴, которые предназначал на покупку великолепнейшего во всем городе дома.

Три недели спустя Деллий вернулся и сразу же дал знать о себе моему деду, предупреждая его, что из-за важных придворных дел он сможет посетить его только через пять дней. По прошествии этого времени он явился и сказал:

— Прежде всего вручаю тебе контракт на покупку великолепного дома, который я приобрел у твоего собственного тестя. Судьи снабдили эту бумагу своими печатями, и в этом смысле ты можешь быть совершенно спокоен. А вот письмо от самого Гиллея, который будет жить в доме до самой минуты твоего прибытия и за это время внесет тебе всю плату, как положено постояльцу. Что до подробностей моего путешествия, то признаюсь, что я необычайно доволен им. Ирода не было в Иерусалиме, я застал только его тещу, Александру, которая позволила мне отужинать со своими детьми — Мариамной, супругой Ирода, и юным Аристулом⁵, которого прочили в первосвященники, но который вынужден был уступить место какому-то человеку низкого рода. Не могу тебе выразить, до какой степени я был пленен красотой Мариамны и Аристула, который выглядит как полубог, сходящий на землю. Вообрази себе голову прекраснейшей женщины на плечах великолепно сложенного мужчины. Со времени моего возвращения я говорю только о них, и потому Антоний намеревается призвать их к своему двору.

— Конечно, — сказала ему Клеопатра, — советую тебе это сделать: привези сюда жену царя иудейского и назавтра парфяне расположатся в самом сердце римских провинций.

— В таком случае, — возразил ей Антоний, — давай пошлем по крайней мере за ее братом. Если правда, что юноша этот столь привлекателен, мы сделаем его нашим виночерпием. Ты знаешь, что я не терплю около себя невольников и предпочитаю, чтобы мои приближенные принадлежали к первейшим римским семействам, если уж не хватает сыновей варварских царей.

— Ничего не могу возразить на это, — ответила Клеопатра, — давай пошлем за Аристулом.

— Боже Израиля и Иакова, — возопил мой дед, — верить ли мне своим ушам? Асмонец — истый Маккавей, преемник Аарона⁶ — виночерпием

у Антония, необрезанного, предающегося распутству всякого рода? О Деллий, я слишком долго жил на свете; разорву платье свое, оденусь в рубище и посыплю пеплом главу свою.

Дед мой сделал, как сказал. Заперся у себя, оплакивая несчастья Сиона⁷ и питаюсь одними только слезами своими. Он, конечно, пал бы под тяжестью этих ударов, если бы спустя несколько недель Деллий снова не постучался у его дверей, говоря:

— Аристобул уже не будет прислужником Антония, Ирод посвятил его в первосвященники.

Дед мой тут же отворил двери, обрадованный этой новостью, и вновь вернулся к прежнему образу жизни.

Вскоре Антоний выехал в Армению⁸ вместе с Клеопатрой; царица отправилась в это путешествие, надеясь, что оно поможет ей овладеть Каменистой Аравией и Иудеей. Деллий и в этом странствии также был среди ее свиты и по возвращении рассказывал моему деду все подробности странствия. Ирод приказал заключить Александру в ее дворце за то, что она хотела бежать вместе со своим сыном к Клеопатре, которая жаждала познакомиться с красавцем-первосвященником. Некий Кубион раскрыл этот замысел, и Ирод приказал утопить Аристобула во время купанья. Клеопатра добивалась отмщения, но Антоний отвечал, что каждый царь — хозяин в своем доме. Однако для успокоения Клеопатры он даровал ей несколько городов, принадлежащих Ироду.

— Затем, — прибавил Деллий, — произошли иные события. Ирод взял в аренду у Клеопатры отобранные ею области. Чтобы уладить это, мы отправились в Иерусалим. Наша царица желала несколько ускорить соглашение, но что было делать, когда, к несчастью, Клеопатре уже тридцать пять, Ирод же до безумия влюблен в свою двадцатилетнюю Мариамну. Вместо того, чтобы учтиво ответить на эти заигрывания, он собрал совет и предложил удушить Клеопатру, уверяя, что Антонию она уже надоела и что последний, во всяком случае, не будет на это гневаться. Однако совет возразил ему, что хотя Антоний в душе и был бы доволен этим, тем не менее он не упустит возможности отомстить; и впрямь — совет был прав. Вернувшись домой, мы опять застали неожиданные новости. Клеопатру в Риме обвинили в том, что она околдовала Антония. Дело еще не возбуждено, но вскоре начнется. Что ты скажешь на это все, дорогой друг? Или ты все еще намерен переселиться в Иерусалим?

— Во всяком случае, не теперь, — ответил мой дед. — Я не смог бы утаить моей привязанности к истинным Маккавеям; с другой стороны, я убежден, что Ирод ничего не упустит, чтобы погубить одного за другим всех Асмонеев.

— Так как ты хочешь остаться здесь, — сказал Деллий, — разреши мне укрыться в твоём доме. Со вчерашнего дня я покинул двор. Запремся

вместе и только тогда покажемся людям, когда вся страна станет римской провинцией, что вскоре, конечно, произойдет. Имуущество мое, состоящее из тридцати тысяч дариков, я передал в руки твоего тестя, который велел мне вручить тебе плату за пользование твоим домом.

Дед мой охотно согласился с предложением своего друга и отошел от мира больше, чем когда-либо прежде. Деллий порою выходил из дому и приносил свежие городские новости, остальное же время преподавал греческую словесность юному Мардохею, который позже стал моим отцом. Они часто читали также Библию, ибо дед мой непременно желал обратить Деллия в свою веру. Вы хорошо знаете, какова была судьба Клеопатры и Антония. Как и предсказывал Деллий, Египет был превращен в римскую провинцию, однако в нашем доме отшельничество настолько вошло в обычай, что политические события не внесли никакого изменения в образ жизни, какой мы вели доселе.

Между тем, по-прежнему приходили вести из Палестины: Ирод, который, казалось, падет вместе с покровителем своим, Антонием, сумел снискать благосклонность Августа. Ирод вернул утраченные области, завоевал множество новых, стал обладателем войска, сокровищ, безмерных запасов зерна, так что его уже начинали называть Великим. И в самом деле, можно было бы назвать его если не великим, то, во всяком случае, счастливым, когда бы семейные раздоры не затмевали несколько сияния столь великолепной судьбы.

Едва только в Палестине воцарилось спокойствие, дед мой вернулся к намерению переселиться туда вместе со своим любимым Мардохеем, которому шел тогда тринадцатый год. Деллий также искренне привязался к своему ученику и не хотел его покинуть, когда внезапно из Иерусалима прибыл еврей с письмом следующего содержания:

Рабби Седекия, сын Гиллея, недостойный грешник и последний из святого синедриона фарисеев, Гискиасу, супругу сестры его Мелеи, шлет поздравление.

Моровое поветрие, которое грехи Израиля навлекли на Иерусалим, унесло отца моего и старших моих братьев. В этот миг они в лоне Авраамовом и сопричтены к бессмертной его славе. Пусть небо заклеит саддукеев и всех тех, кто не верит в воскресение из мертвых. Я был бы недостойн имени фарисея⁹, если бы посмел запятнать руки свои присвоением чужого добра. Посему я старательно искал, не остался ли мой отец кому-нибудь должен; услышав, что дом, который мы занимали в Иерусалиме, в течение некоторого времени принадлежал тебе, я отправился к судьям, но не нашел у них ничего, что могло бы подтвердить этот домысел. Дом, несомненно, принадлежит мне. Пусть небо заклеит злых. Я не саддукей¹⁰.

Я узнал также, что некий необрезанный по имени Деллий вручил якобы моему отцу тридцать тысяч дариков; к счастью, однако, я нашел, правда, несколько запачканную бумагу, которая, как я полагаю, должна быть распискою означенного Деллия.

Впрочем, человек этот был приверженцем Мариамны и брата ее Аристобула и, тем самым, недругом нашего великого царя. Пусть небеса поразят его вместе со всеми злодеями и саддукеями!

Будь здоров, дорогой брат, обними за меня милую сестру мою Мелею. Хотя я был очень молод, когда ты вступил с ней в брак, однако же я сохраняю ее в своем сердце. Мне кажется, что приданое, которое она внесла в твой дом, несколько превышает ту долю наследства, которая ей причитается, но, Впрочем, поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Прощай, любимый брат! Пусть небо направит тебя на стезю истинного фарисея.

Дед мой и Деллий долго глядели друг на друга с удивлением, наконец, этот последний первым прервал молчание и произнес:

— Вот это и есть последствия удаления от мира. Мы тешим себя надеждой на спокойствие, а между тем судьба решает иначе. Люди считают тебя мертвым деревом, которое по желанию можно ободрать до чиста или вырвать с корнем; считают тебя червем, которого им дозволено раздавить, словом, чем-то, бесполезно обременяющим землю. В этом мире следует быть молотом или наковальней, бить или покоряться. Я находился в приятельских отношениях с несколькими римскими префектами¹¹, которые перешли на сторону Октавиана, и если бы я не пренебрег их дружбой, меня бы теперь не посмели обижать. Но я устал от мира и покинул его, чтобы жить рядом с добродетельным другом, и вот является какой-то фарисей из Иерусалима, вырывает у меня мое имущество и говорит, что у него есть запачканная бумажонка, которую он считает моей распиской. Для тебя утрата не столь уж важна, дом в Иерусалиме составлял едва четвертую часть твоего имущества, но я сразу потерял все и, будь что будет, сам отправляюсь в Палестину.

При этих его словах вошла Мелея. Ей сообщили о смерти отца и двух старших братьев и одновременно рассказали о недостойном поступке третьего ее брата — Седекии. Внезапные впечатления обычно оказываются слишком сильными для тех, кто ведет уединенное существование. К огорчениям бедной Мелеи присоединился какой-то неведомый недуг, который в полгода свел ее в могилу.

Деллий как раз собирался отправиться в Иудею, но неожиданно под вечер, когда он пешком возвращался домой, проходя по предместью Рако-тис, его ударили в грудь ножом. Он обернулся и узнал того самого еврея, который привез ему письмо от Седекии. Деллий долго лечился, а когда выздоровел, у него пропала охота ехать в Палестину. Он стре-

мился сперва обеспечить себе поддержку могущественных покровителей и ломал голову над тем, каким образом он может напомнить о себе своим былым патронам. Но у Августа также был принцип оставлять царей самодержцами в их государствах, и, следовательно, нужно было узнать, расположен ли Ирод к Седекии, и для этого решено было послать в Иерусалим верного и сообразительного человека.

Спустя два месяца посланец возвратился, рассказав, что счастье Ирода возрастает с каждым днем и что ловкий этот монарх привлекает к себе как римлян, так и евреев, ибо, воздвигая монументы Августу, он заявляет одновременно о своем намерении восстановить иерусалимский храм по гораздо более великолепному плану, чем прежде; это настолько приводит народ в восторг, что некоторые льстецы заранее уже провозглашают его мессией, предвозвещенным пророками.

Слух этот, сказал посланец, необыкновенно понравился при дворе и создал уже секту. Новых сектантов именуют иродианами, во главе их стоит Седекия.

Вы понимаете, что вести эти глубоко поразили моего дела и Деллия, но прежде, чем я пойду дальше, я должен изложить, что наши пророки вещали о мессии.

Произнеся эти слова, вечный странник Агасфер внезапно смолк и, смерив каббалиста взором, исполненным надменности, изрек:

— Нечистый отпрыск Мамуна, адепт, гораздо более могущественный, чем ты, призывает меня на вершину Атласских гор. Будь здоров!

— Ты лжешь, — прервал его каббалист, — у меня во сто крат больше власти, чем у шейха Таруданта.

— Ты утратил свою власть в Вента Кемада, — возразил Агасфер, поспешно уходя, так что вскоре мы потеряли его из виду.

Каббалист несколько смутился, но, поразмыслив мгновение, сказал:

— Уверяю вас, что дерзостный понятия не имеет даже о половине формул, имеющихся в моем распоряжении. Но поговорим о чем-нибудь другом. Сеньор Веласкес, внимательно ли ты следил за ходом всего его рассказа?

— Без сомнения, — отвечивал геометр, — я внимательно прислушивался к его словам и нахожу, что все, что он говорил, вполне совпадает с историей. Тертуллиан¹² упоминает о секте иродиан.

— Стало быть, ты, сеньор, столь же сведущ в истории, как и в математике? — прервал его каббалист.

— Не совсем, — сказал Веласкес, — однако, как я вам уже говорил, отец мой, который ко всему прилагал математические расчеты, показал, что их можно также приложить к исторической науке, и именно для того, чтобы обозначить, в каком вероятностном отношении находятся происшедшие события к тем, которые могли произойти. Он даже рас-

пространял свою теорию еще дальше, а именно, полагал, что можно изображать человеческие деяния и страсти посредством геометрических фигур.

Для того, чтобы вы это лучше уразумели, я приведу вам пример. Вот как говорил мой отец: Антоний прибывает в Египет, им движут две страсти: честолюбие, влекущее его к власти, и любовь, которая его от власти отвлекает. Представим себе два этих направления посредством линий AB и AC под произвольно взятым углом. Линия AB , представляющая любовь Антония к Клеопатре, короче линии AC , поскольку в Антонии было, по сути дела, больше властолюбия, чем любви. Допустим, что любовь и честолюбие относятся как один к трем. Итак, мы берем отрезок AB и откладываем его трижды на линии AC , после чего дополняем параллелограмм и проводим диагональ, которая представляет как можно более точно новое направление, вызванное силой, воздевающей на B и C . Диагональ эта приближается к линии AB , если мы допустим преобладание любви и продолжим отрезок AB . Если допустим преобладание властолюбия, то диагональ приблизится к линии AC (если бы властолюбие обладало исключительностью, то направление действия совпадало бы с линией AC , как, например, у Августа, которому чужда была любовь и который благодаря этому, хотя и одаренный меньшей энергией, гораздо быстрее достигал цели). Поскольку, однако, страсти возрастают либо у mažаются постепенно, то фигура параллелограмма также должна подвергаться изменениям и тогда конец выпадающей снаружи диагонали свободно переходит в кривую линию, к которой можно было бы применить теорию нынешнего дифференциального исчисления, которое прежде называли флективным исчислением.

Правда, мудрый виновник дней моих считал все эти исторические задачки только приятными забавами, оживляющими однообразие его подлинных исследований; поскольку, однако, точность решения зависела от точности данных, то мой отец, как я уже говорил, с невероятной тщательностью собирал всяческие исторические источники. Сокровищница эта долго была для меня запертой, подобно тому, как и книги по геометрии, ибо отец мой жаждал, чтобы я умел только танцевать сарабанду, менуэт и тому подобные нелепости. К счастью, я добрался до шкафа и только тогда занялся исторической наукой.

— Позволь, сеньор Веласкес, — сказал каббалист, — мне еще раз выразить мое изумление, что я вижу тебя одинаково сведущим как в истории, так и в математике, ибо одна из этих наук зависит более от рассудительности, в то время как другая — от памяти, а ведь эти два свойства ума по отношению друг к другу диаметрально противоположны.

— Осмелюсь не разделить твоего мнения, — возразил геометр. — Рассудительность помогает памяти упорядочивать собранные ею материалы, так что в систематической памяти каждое понятие опережает все воз-

возможные из него выводы. Однако, не возражаю, что как память, так и рассудок могут быть по-настоящему применены только к известному кругу понятий. Я, например, превосходно помню все, что учил из точных наук, истории человека и природы, в то время как, с другой стороны, часто забываю о мимолетных взаимоотношениях с окружающими меня предметами, или, точнее говоря, — не вижу вещей, попадающихся мне на глаза, и не слышу слов, которые иногда люди кричат мне прямо в ухо. По этой причине некоторые и считают меня рассеянным.

— В самом деле, — сказал каббалист, — я понимаю теперь, каким образом ты, сеньор, упал тогда в воду.

— Нет сомнения, — продолжал Веласкес, — что я и сам не знаю, почему оказался вдруг в воде в миг, когда менее всего ожидал этого. Случай этот, однако, сильно меня радует, тем более, что при сей okazji я спас жизнь этому благородному юноше, который является капитаном валлонской гвардии. Тем не менее, я рад был бы как можно реже оказывать подобные услуги, ибо не знаю впечатления менее приятного, чем когда человек натошак наглотається воды!

После нескольких фраз подобного рода, мы прибыли к месту ночлега, где застали приготовленный уже ужин. Мы ели с аппетитом, но беседа шла вяло, ибо каббалист, казалось, был чем-то обеспокоен. После ужина брат с сестрой долго между собой разговаривали. Я не хотел их прерывать и ушел в малую пещеру, где мне была приготовлена постель.

День двадцать третий

Стояла чудная погода. Мы поднялись на заре и после легкого завтрака тронулись в дальнейший путь. Около полудня мы остановились и присели к столу или, вернее, к кожаной скатерти, разостланной на земле. Каббалист начал произносить какие-то фразы, доказывающие, что он не вполне доволен своим эфемерным царством. После обеда он стал вновь повторять то же самое, пока, наконец, сестра его, сочтя, что монологи эти должны были наскутить обществу, чтобы переменить разговор, попросила Веласкеса изволить продолжать рассказ о своих приключениях, что тот и сделал в следующих словах:



Продолжение истории Веласкеса

Я имел честь поведать вам, как явился на свет и как мой отец, приняв меня в объятия, прочел надо мной геометрическую молитву и поклялся, что никогда не станет учить меня математике. Спустя шесть недель после моего рождения отец мой увидел приближающуюся к гавани шебеку¹, которая, бросив якорь, выслала к берегу шлюпку. Вскоре из нее высадился старик, согбенный годами и одетый так, как одевались придворные покойного герцога Веласкеса, то есть в зеленом кафтане с золотыми и пурпурными отворотами и висящими рукавами, а также с галисийским поясом при шпаге с темляком. Мой отец взял подзорную трубу и ему показалось, что он узнал Альвареса. И в самом деле, это был он. Старик уже едва держался на ногах. Отец выбежал ему навстречу и добежал почти до самой пристани; они бросились друг другу в объятия и от душевного волнения и растроганности долго были не в состоянии сказать друг другу ни слова. Наконец, Альварес сообщил отцу, что прибыл от герцогини Бланки, которая уже с давних пор нашла приют в монастыре урсулинок², и отдал ему письмо следующего содержания:

Сеньор дон Энрике!

Несчастная, которая была причиной смерти собственного отца и погубила судьбу того, которому небо ее предназначало, осмеливается напомнить о себе твоей памяти.

Терзаемая угрызениями совести, я предалась покаянию, суровость которого должна была положить предел моим страданиям. Альварес много раз доказывал мне, что если я умру, то оставлю герцога свободным, и что супруг мой непременно вступит в повторный союз, безусловно, более счастливый в смысле потомства, чем союз со мной; напротив же, сохраняя жизнь, я смогу, по крайней мере, обеспечить тебе наследование нашего состояния. Я признала справедливость этого рассуждения, отказалась от чрезмерных постов, отбросила власяницу и ограничила свое покаяние уединением и молитвой. Между тем, герцог, предаваясь наслаждениям брэнного мира, почти ежегодно хворал, и я не раз думала, что он оставит тебя обладателем титулов и владений нашего рода. Но, надо думать, небо решило сохранить тебя в убежище, не соответствующем твоим выдающимся качествам.

Я узнала, что у тебя есть сын. Если я теперь жажду жить, то единственной причиной этого является желание возратить ему преимущества, какие ты утратил по моей вине. Тем временем я заботилась как о его, так и твоей судьбе. Аллодиальные владения³ нашего рода с древнейших времен всегда принадлежали младшей ветви, но поскольку ты не упоминал о них, их присоединили к поместьям, предназначенным на мое содержание. Однако они являются твоею собственностью, и Альварес вручит тебе доход с них за пятнадцать лет, равно как и получит от тебя пожелания твои по поводу дальнейшего управления. Причины, объясняющиеся известными чертами характера герцога Веласкеса, не позволили мне сообщить тебе обо всем раньше.

Прощаюсь с тобой, сеньор дон Энрике; нет дня, когда я не возносила бы покаянной молитвы и не умоляла бы небо о благословении для тебя и для твоей счастливой супруги. Молись также за меня и не отвечай мне на это письмо.

Я говорил вам уже о влиянии, которое воспоминания оказывали на душу моего отца, поэтому вы можете понять, что письмо это пробудило их все разом. Целый год он был не в состоянии предаться любимым занятиям; только старания жены, привязанность, которую он питал ко мне, и прежде всего общая теория уравнений, которой геометры тогда начали заниматься, смогли вернуть его душе силы и покой. Увеличение доходов позволило ему расширить библиотеку и физический кабинет; вскоре ему даже удалось устроить небольшую обсерваторию, снабженную совершенными инструментами. Излишне прибавлять, что он, не откладывая, удовлетворял врожденную склонность к добрым делам. Ручаюсь вам, что он

не оставил в Сеуте ни одного человека, действительно достойного сострадания, ибо отец мой всеми способами старался обеспечить каждому пристойное существование. Подробности, которые я бы мог вам рассказать, несомненно, были бы занимательными, но я не забываю, что обещал вам поведать собственную историю, и не должен уклоняться с однажды наменного пути.

Насколько я помню, любознательность была первой моей страстью. В Сеуте нет ни лошадей, ни повозок, ни прочих тому подобных опасностей для детей, и поэтому мне позволяли бегать по улицам, сколько моей душе было угодно. Я удовлетворял свое любопытство, сто раз на дню бегая в порт и возвращаясь в город; я входил даже в дома, в лавки, арсеналы, мастерские, присматриваясь к работникам, сопровождая грузчиков, расспрашивая прохожих: одним словом, во все вмешиваясь. Любопытство мое забавляло всех, все с удовольствием старались его удовлетворить, повсюду, за исключением родительского дома.

Отец приказал возвести посреди двора отдельный флигель, в котором поместил библиотеку, физический кабинет и обсерваторию. Мне строго-настрого запрещалось входить в этот кабинет; сначала меня это мало трогало, но вскоре, однако, запрещение это разожгло мое любопытство и стало стойким импульсом, который толкал меня на стезю познаний. Первая наука, которой я предался, была отрасль естественной истории, именуемая конхологией⁴. Отец часто ходил на берег моря в одно место, окруженное скалами, где в штиль вода была прозрачная и гладкая, как зеркало. Там он следил за поведением морских животных, а когда ему попадалась красивая раковина, брал ее и уносил домой. Дети от природы — подражатели, и я невольно стал конхологом и долго, конечно, трудился бы в этой отрасли, если бы раки, морская крапива и морские ежи не сделали для меня неприятным это времяпрепровождение. Я забросил естественную историю и занялся физикой.

Отец, которому понадобился ремесленник для починки или копирования инструментов, присланных ему из Англии, обучил этому искусству некоего канонира, которого природа наградила соответствующими способностями. Я почти все дни проводил у этого импровизированного механика, помогая ему в трудах. Там я приобрел множество познаний, но, что поделаешь, если у меня отсутствовали первейшие и главнейшие познания: я не умел ни читать, ни писать. Хотя мне уже исполнилось восемь лет, отец мой постоянно твердил, что с меня хватит, если я научусь подписываться и танцевать сарабанду. Был тогда в Сеуте некий пожилой уже священник, удаленный вследствие какой-то интриги из монастыря. Он пользовался всеобщим уважением. Нередко он приходил навестить нас. Почтенный священнослужитель, видя, что образование мое непростительно запущено, заявил моему отцу, что следует научить меня, по крайней мере, правилам религии, и взял на себя эту обязанность. Отец согласился, и падре Ансельмо

под этим предлогом выучил меня читать, писать и считать. Я делал быстрые успехи, в особенности в арифметике, в которой вскоре превзошел моего наставника.

Таким образом я достиг двенадцатого года жизни и для своих лет обладал множеством познаний, однако всячески остерегался проявлять их в присутствии моего отца, ибо, когда я порой забывал об этом, он тотчас же взглядывал на меня сурово и говорил:

— Учись сарабанде⁵, сын мой, учись сарабанде и брось все другие занятия, которые могут только накликать на тебя беду.

Тогда матушка моя давала мне знак, чтобы я молчал, и переводила разговор на другую тему.

Однажды за обедом, когда мой отец вновь уговаривал меня посвятить себя Терпсихоре, мы увидели входящего человека, лет примерно тридцати, во французском платье.

Он отвесил нам с дюжину поклонов один за другим; желая совершить пируэт, толкнул слугу: супница вылетела у того из рук и разбилась вдребезги. Испанец на месте неловкого пришельца тут же рассыпался бы в извинениях, однако чужеземец нисколько не был смущен этим. Он громко рассмеялся, а затем сообщил на ломаном испанском, что его зовут маркиз де Фоленкур, что он вынужден был покинуть Францию за убийство на дуэли и что он просит нас предоставить ему убежище, пока его дело не будет улажено.

Фоленкур еще не успел закончить, когда отец внезапно сорвался из-за стола и с живостью сказал:

— Господин маркиз, ты человек, которого я давно дожидаясь. Благоволи считать мой дом своим собственным, приказывай, как тебе только понравится, взамен же не откажись заняться немного воспитанием моего сына. Если со временем он станет хотя бы несколько похож на тебя, ты сделаешь меня счастливейшим из отцов.

Если бы Фоленкур мог отгадать тайную мысль, какую отец мой вложил в эти слова, то он, конечно, был бы весьма недоволен; но он воспринял это заявление буквально, и, казалось, был весьма им польщен и удвоил свою дерзость, явно любуясь красотой моей матушки и давая понять, что отец мой слишком стар для нее. Вопреки всему нахальству Фоленкура, отец все же был осчастливлен этой неожиданной находкой и постоянно ставил мне его в пример.

Отобедав, отец осведомился у маркиза, в состоянии ли тот научить меня сарабанде. Вместо ответа учитель мой громко рассмеялся и когда, наконец, немного поостыл после своего бурного веселья, заявил нам, что вот уже две тысячи лет никто не танцует сарабанды, а танцуют *ле пассье*⁶ и *ла буррэ*⁷. С этими словами он извлек из кармана маленькую скрипочку, какую обычно носят танцмейстеры, и начал наигрывать мелодии этих двух танцев. Когда он окончил, отец с достоинством сказал ему:

— Милостивый маркиз, ты играешь на инструменте, чуждом для всех благородных особ, и можно было бы счесть, что ты танцмейстер по ремеслу. Это, впрочем, не имеет никакого значения, а быть может даже благодаря этому ты лучше сумеешь оправдать надежды, которые я на тебя возлагаю. Прошу тебя, чтобы с завтрашнего утра ты сразу же занялся моим сыном и воспитал его наподобие французского придворного.

Фоленкур признался, что и в самом деле семейные несчастья вынудили его в течение некоторого времени заниматься ремеслом танцмейстера, но что, однако, он человек благородного происхождения и годится в менторы знатному юноше. Было решено, что с завтрашнего дня я начну брать уроки танцев и светского обхождения. Но прежде, чем я приступлю к описанию этого несчастного дня, я должен вам пересказать разговор, который в тот же самый вечер отец мой имел с доном Каданса, своим тестем. Этот разговор никогда до сих пор мне не вспоминался, но в этот миг я вспомнил его весь и вы, конечно, охотно его выслушаете.

В тот день любопытство задержало меня около моего нового учителя, и поэтому я не выбежал на улицу, оставался дома и, проходя мимо отцовского кабинета, услышал, как отец, повысив голос, в волнении говорил тестю Кадансе:

— В последний раз предостерегаю тебя, любимый тесть: если ты не прекратишь своих таинственных деяний и посылки поселенцев в глубь Африки, я буду вынужден пожаловаться министру.

— Но, мой дорогой зять, — отвечал Каданса, — если ты жаждешь узнать мою тайну, ты можешь осуществить это с величайшей легкостью. Матушка моя происходила из рода Гомелесов; итак, их кровь течет в жилах твоего сына.

— Милостивый Каданса, — прервал мой отец, — я приказываю тут именем короля и не имею ничего общего с Гомелесами и со всеми их тайнами. Будь уверен, что уже завтра я уведомя министра обо всем нашем разговоре.

— А ты будь уверен, — сказал Каданса, — что министр запретит тебе вмешиваться в наши дела.

На этом их разговор закончился. Тайна Гомелесов весьма занимала меня весь остаток дня и некоторую часть ночи, но на завтра проклятый Фоленкур дал мне первый урок танцев, который окончился совершенно иначе, чем того желал мой отец. Следствием этого урока было то, что я смог, наконец, предаться своим любимым математическим занятиям.

Когда Веласкес досказывал эти слова, каббалист прервал его, говоря, что он должен потолковать с сестрой о некоторых важных предметах. Мы разошлись, и каждый направился в свою сторону.



День двадцать четвертый

Мы снова начали блуждать по Альпухаре, прибыли, наконец, на отдых и, подкрепившись ужином, просили Веласкеса, чтобы он соблаговолил продолжать рассказ о своей жизни, что он и сделал в следующих словах:



Продолжение истории Веласкеса

Отец решил присутствовать на первом моем уроке танцев и пожелал, чтобы матушка моя также его сопровождала. Фоленкур, поощренный столь лестным вниманием, совершенно забыл, что отрекомендовался нам человеком благородного происхождения, и начал с шумного похвального слова в честь хореографического искусства, которое он называл своей профессией. Наконец, он обратил внимание, что я держу ноги носками внутрь, и попытался втолковать мне, что позорный этот обычай совершенно не к лицу дворянину. Словом, я вывернул пальцы наружу и попытался ходить таким образом, несмотря на то, что мне грозила полнейшая утрата равновесия. Фоленкур все еще не был удовлетворен и требовал, чтобы я выступал на пальцах. Наконец, выйдя из терпения, он со злостью схватил меня за руку, и желая приблизить к себе, потянул так резко, что, споткнувшись, я упал лицом вниз и сильно расшибся. Фоленкур, вместо того чтобы просить прощения, вскипел неудержимым гневом и начал употреблять выражения, неприличные которых он и сам бы признал и осудил, если бы только лучше говорил по-испански. Приученный ко всеобщей учтивости обитателей Сеуты, я считал, что не следует безнаказанно спускать такое оскорбление. Смело подойдя к танцмейстеру и вырвав у него из рук скрипку, я разбил ее на мелкие кусочки, поклявшись, что ничему не стану учиться у человека, столь дурно воспитанного. Отец не сказал мне на это ни слова, молча встал, взял меня за руку, ввел в маленькую каморку в конце двора и запер за мной двери, говоря, что я выйду из нее лишь тогда, когда ко мне вернется охота танцевать.

Воспитанный в полнейшей свободе, я сначала не мог привыкнуть к заключению и долго и безутешно рыдал. Весь в слезах, я обратил взор к единственному квадратному окну, которое было в комнатке, и стал считать оконные стекла. Было их двадцать шесть в длину и столько же в ширину. Я вспомнил уроки арифметики отца Ансельмо, ученость коего не выходила за пределы таблицы умножения.

Я помножил число квадратов в длину на число квадратов в ширину, то есть двадцать шесть на двадцать шесть, и с удивлением увидел, что в результате получается точное количество стекол в окне. Рыдания мои прекратились, и горести мои поутихли. Я повторил счет, пропуская один, а потом два пояса квадратов то из вертикальных рядов, то из горизонтальных. Я понял тогда, что умножение есть не что иное, как многократное сложение и что поверхность можно изменять так же, как и длину. Затем я повторил тот же самый опыт на каменных плитах, которыми была выложена моя каморка; и на этот раз результат меня вполне удовлетворил. Слезы мои мгновенно высохли, сердце мое забило от радости, даже и сегодня я не могу говорить об этом без волнения.

Около полудня матушка принесла мне черного хлеба и кувшин с водой. Она умоляла меня со слезами на глазах, чтобы я не противился желанию отца и начал заниматься с Фоленкуром. Когда она окончила свою речь, я поцеловал ее с нежностью, после чего просил, чтобы она мне прислала бумагу и карандаш и не заботилась больше о моей судьбе, ибо, что касается меня, то я не желаю никаких перемен. Мать ушла, удивленная, и принесла мне то, о чем я просил. Тогда я предался вычислениям с невероятным пылом, убежденный, что ежеминутно совершаю важнейшие открытия; да и в самом деле, все эти свойства чисел были для меня подлинными открытиями, так как я не имел о них дотоле ни малейшего понятия.

Между тем голод начал меня мучить; я разломил хлеб и обнаружил, что матушка вложила в него жареного цыпленка и кусок ветчины. Это проявление доброты увеличило мою веселость, и я с радостью вернулся к вычислениям. Вечером мне принесли свечу, и я трудился до поздней ночи.

Наутро я разделил стороны квадрата наполовину и увидел, что умножение половины на половину дает в итоге четверть; я разделил далее ту же сторону на три части и получил одну девятую; так я приобрел первое понятие о дробях. Я убедился в этом еще больше, помножив два с половиной на два с половиной, ибо кроме квадрата двух получил еще пояс, поверхность которого равнялась двум с четвертью.

Таким образом, я все дальше продвигался в моих изысканиях и нашел, что, множа данное число на него же и возводя произведение в квадрат, я получаю такой же результат, как если бы я умножил то же число троекратно на него же.

Все мои открытия вовсе не были выражены алгебраически, так как я не имел об этой науке ни малейшего понятия. Я выдумал для себя специальные знаки, заимствованные из сочетания квадратов моего окна; знаки эти, впрочем, отличались ясностью и своеобразной красотой.

Наконец, на шестнадцатый день, матушка, принеся мне обед, сказала:

— Дорогое дитя, я прихожу к тебе с доброй вестью: открылось, что Фоленкур — дезертир, отец же твой, который ненавидит дезертиров, приказал посадить его на корабль и отправить во Францию. Надеюсь, что ты скоро выйдешь из твоей темницы.

Я принял эти слова с равнодушием, которое удивило мою мать. Вскоре вошел отец, подтвердил ее слова и прибавил, что написал своим друзьям, Кассини¹ и Гюйгенсу², прося их прислать мне ноты и фигуры танцев, наиболее популярных в Париже и Лондоне. Наконец, он сам отлично помнил, каким манером брат его Карлос крутился на пятке, входя в гостиную, а, в конце концов, именно этому родитель мой прежде всего хотел меня научить.

Говоря это, отец мой заметил свиток, выглядывавший у меня из кармана, и взял его в руки. Сперва он чрезвычайно удивился, видя множество чисел, а особенно неизвестные ему знаки. Я объяснил ему их вместе со всеми своими действиями. Изумление его все возрастало, но я подметил, что оно было ему не совсем неприятно. Ознакомившись с моими вычислениями, он сказал:

— Сын мой, если бы к этому окну, имеющему 26 квадратов во всех направлениях, прибавить два на линии основания, желая в то же время сохранить фигуру квадрата, сколько бы вместе было квадратов?

Я ответил без колебания:

— Мы имели бы со стороны и сверху два пояса, каждый из 52 квадратов и, кроме того, в углу маленький квадрат из четырех квадратиков, соприкасающийся с обоими поясами.

Слова эти наполнили отца моего живейшей радостью, которую он, однако, постарался скрыть, после чего сказал:

— А если бы, при всем том, ты прибавил бы у основания окна бесконечную узкую линию, каков был бы квадрат?

Я задумался на миг и ответил:

— К нему прибавилось бы два пояса одинаковой длины со сторонами окна, но бесконечно узких; что же до углового квадрата, то он был бы настолько мал, что я никаким способом не мог бы его себе вообразить.

Тут отец мой упал на стул, сложил руки, возвел очи горé и воскликнул:

— Боже правый, он самостоятельно открыл закон бинома и, если я ему не помешаю, готов открыть все дифференциальное исчисление!

Я испугался, видя состояние моего отца; распустил ему галстук и стал звать на помощь. Наконец он пришел в себя и прижал меня к сердцу, повторяя:

— Дитя мое, любимое мое дитя, брось эти вычисления, учись сарабанде, мой друг, учись лучше сарабанде!

Уже не было и речи о дальнейшем моем пребывании в узилище. В тот же вечер я обошел кругом крепостные валы Сеуты и на ходу непрерывно повторял: «Он открыл закон бинома, он открыл закон бинома!» Я могу смело признаться, что с тех пор чуть ли не ежедневно делал новые успехи в математике. Отец поклялся, что никогда не будет делая меня ей, но в один прекрасный день я нашел у своей постели «Всеобщую арифметику»³ дона Исаака Ньютона и, как мне кажется, отец, по-видимому, умысленно ее там оставил. Иногда я также находил открытыми двери в библиотеку, и никогда не пренебрегал предоставленной мне возможностью.

Порой, однако, отец возвращался к былым своим намерениям, он вновь хотел сделать из меня человека светского и приказывал мне вертеться на пятке, входя в комнату. Сам он насвистывал какую-то арию, делая вид, что не замечает моих неуклюжих движений, после чего заливался слезами, говоря:

— Дитя мое, господь бог не сотворил тебя наглцом, дни твои будут не счастливее моих.

Спустя пять лет после моего приключения с Фоленкуром, мать моя понесла и родила дочку, которую назвали Бланкой, в честь прекрасной, но, увы, слишком легкомысленной герцогини Веласкес. Хотя госпожа эта запрещала моему отцу писать ей, следовало, однако, сообщить ей о рождении дочери. Вскоре пришел ответ, который разбередил старые раны, но отец уже сильно постарел и годы притупили в нем живость чувств.

Затем прошло еще десять лет, однообразия которых не нарушило ни одно событие. Жизнь мою и моего отца услаждали только новые познания, с каждым днем обогащавшие наши умы. Отец стал обращаться со мной по-иному. Правда, не от него я научился математике ибо он не жалел усилий для того, чтобы я научился танцевать сарабанду, — одним словом, ему не в чем было себя упрекнуть, и он с заметным удовольствием беседовал со мной, в особенности, когда речь заходила о точных науках. Разговоры эти обычно усиливали мое рвение и удваивали прилежание, но в то же время, как я вам уже говорил, поглощая все мое внимание, развивали во мне предрасположенность к рассеянности. За эту рассеянность мне нередко приходилось слишком дорого расплачиваться: однажды, о чем я вам вскоре расскажу, выйдя из Сеуты, я, сам не знаю, каким образом, очутился среди арабов.

Сестра моя, между тем, с каждым днем становилась все прекрасней и обворожительней. И у нас было бы все для счастья, если бы мы могли сберечь нашу матушку, но год назад безжалостная болезнь вырвала ее из наших объятий. Отец принял тогда к себе в дом сестру покойницы-жены, донью Антонию де Понерас, женщину двадцати лет, овдовевшую

полгода назад. Это была дочь моего деда от второго брака. Дон Каданса, выдав дочь замуж, оказался вдруг в полном одиночестве и решил снова жениться, но после шести лет супружества потерял и вторую жену, которая произвела на свет девочку. Девочка эта, по имени Антония, приходилась мне теткой, хотя и была пятью годами моложе меня. Став взрослой, она вышла замуж за некоего сеньора де Понерас, который, увы, скончался, когда не прошло еще и года после их свадьбы.

Моя молодая и красивая тетушка въехала в комнаты моей матери и начала вести все хозяйство. Она особенно заботилась обо мне и по меньшей мере двадцать раз на день входила в мою комнату, осведомляясь, не хочу ли я шоколаду, лимонаду или еще чего-нибудь.

Визиты эти по большей части мне весьма докучали, ибо они прерывали мои вычисления. Если, по чистой случайности, донья Антония меня не прерывала, то вместо нее приходила мешать мне ее служанка. Это была девушка того же возраста, что и ее госпожа, сходного с нею нрава, а звали ее Марика.

Вскоре я заметил, что сестра моя не любит ни госпожи, ни служанки. Я разделял в этом смысле ее чувства, также недолюбливая этих навязчивых особ: назойливость их попросту выводила меня из терпения. Правда, им не всегда удавалось мне помешать, ибо у меня было обыкновение, когда какая-нибудь из них входила, подставлять временные величины, и только когда я вновь оставался один, я опять обращался к своим расчетам.

В один прекрасный день, когда я был занят нахождением какого-то логарифма, Антония вошла в мою комнату и уселась около меня в кресло. Она стала жаловаться на жару, сняла шаль, сложила ее и повесила на спинку кресла. Поняв, что на этот раз она собирается сидеть долго, я прервал свои вычисления на четвертой средней пропорциональной и начал размышлять о природе логарифмов и о неслыханных трудах, каких барону Непиру⁴ должно было стоить составление логарифмических таблиц. Тогда Антония, стремясь помешать моим раздумьям, встала, закрыла мне глаза руками и молвила:

— А теперь попробуем, сможете ли вы дальше вычислять, ваша милость, сеньор геометр!

Слова тетки показались мне настоящим вызовом. Так как в последнее время я много занимался таблицами логарифмов и знал их, как говорится, назубок, мне пришла мысль разложить на три сомножителя число, логарифм которого я отыскивал. Я нашел три таких, логарифмы которых знал, затем сложил их как можно быстрее и вдруг, вырываясь из рук Антонии, написал весь логарифм, так, что в нем оказались все знаки, вплоть до десятого. Антония сильно разгневалась на это и вышла из комнаты, с негодованием повторяя:

— Что за глупцы эти геометры!

Быть может, она хотела этим сказать, что мою методу невозможно было бы приложить к простым числам, поскольку они делятся только на самих себя да еще на единицу. В этом смысле она была права, тем не менее, метода моя свидетельствовала о моей находчивости и сообразительности и, конечно, я не заслуживал прозвища глупца. Вскоре явилась ее служанка Марика, которая также собиралась надо мной подтрунить, но я уже до того был разъярен словами ее госпожи, что выставил ее без всяких церемоний.

Теперь я приближаюсь к той эпохе моей жизни, в которой я придал моим понятиям новое направление и обратил их все к одной цели. Вы можете подметить в жизни всякого ученого мгновения, в которые, сильно пораженный истинностью какого-либо принципа, он определяет его следствия и применения и развивает их в упорядоченную систему. Тогда, удваивая усилия и отважный вдвойне, он возвращается к исходной точке своих исследований, дополняя и компенсируя приблизительность и неточность своих начальных понятий. Он по отдельности размышляет о каждом пункте, всесторонне рассматривает его; наконец, сводит их воедино и упорядочивает. Если даже ему не удастся построить систему или также убедиться в истинности открытого им принципа, то, во всяком случае, он становится умнее, чем до того, когда приступал к труду своему, и приобретает сведения, о существовании которых до того вовсе и не помышлял. И для меня пришла пора построения системы, обстоятельство же, которое подало мне первую мысль, было следующим:

Однажды вечером, когда после ужина я завершал решение чрезвычайно запутанной задачи из области дифференциального исчисления, и увидел входящую в комнату тетку Антонию, на коей, кроме рубашки, ничего не было.

— Племянник, — сказала она мне, — свет в твоей комнате не дает мне заснуть, а так как математика наука необыкновенно увлекательная, то я жажду, чтобы ты меня ей научил.

Что поделаешь? Я согласился: взял таблички и изложил ей две аксиомы Евклида; я как раз собирался перейти к изложению третьей аксиомы, когда Антония внезапно вырвала у меня из рук таблички и закричала:

— Несносный педант, неужели математика до сих пор не подсказала тебе, откуда берутся дети?

Сначала слова эти показались мне нелепыми, но, поразмыслив глубже, я решил, что, должно быть, она хотела меня спросить об общей формуле, отвечающей всем способам размножения, встречающимся в природе, начиная с кедра и до лишайников, и от кита до мельчайших живых существ, различных только под микроскопом. Я припомнил, между тем, свои прежние наблюдения о различии степени понятий у животных, причину которой я усматривал в различии способов размножения, в раз-

личии условий развития зародыша и в различном воспитании. Это различие степени понятий, выражающееся рядами возрастающими либо уменьшающимися, привело меня вновь в область математики. Одним словом, я напал на мысль найти универсальную формулу, которая для всего животного мира определяла бы функции одинакового рода и разного значения. Мое воображение разыгралось; я полагал, что смогу обозначить геометрическое место и предел каждого из наших понятий и каждой возникающей из этих понятий функции, или, точнее говоря, приложить исчисление ко всей системе природы. Удручаемый нагромождением идей и замыслов, я ощутил потребность подышать свежим воздухом, вышел на крепостной вал и трижды обежал его, сам не зная, что творю.

Наконец, я несколько поостыл, начинало уже светать, я хотел записать некоторые явившиеся у меня соображения и так, записывая, направился домой — или, скорее, у меня было впечатление, что я возвращаюсь домой. Однако на деле все произошло иначе: вместо того, чтобы пойти направо от выступающего бастиона, я пошел налево и через выходную калитку устремился прямо в ров. Свет слегка брезжил, и я едва разбирал, что пишу. Я торопился возвратиться домой и ускорил шаг, все время полагая, что иду в соответствующем направлении: в действительности же, однако, шел по эскарпу, служащему для выдвижения пушек в момент вылазки, и находился, одним словом, уже в предполье крепости.

Тем не менее, я так и не заметил, что ошибаюсь: не обращая внимания на окружающие меня предметы, я бежал без передышки, царапая на бегу какие-то каракули на своих табличках, и все быстрее удалялся от города. Наконец, измученный, я присел и весь предался своим вычислениям.

Спустя некоторое время, я поднял глаза и увидел, что нахожусь среди арабов; так как, однако, я немного знал их язык, довольно употребительный в Сеуте, я поведал им, кто я таков, и просил, чтобы меня проводили к моему отцу, который не преминет заплатить им за меня щедрый выкуп. Слово «выкуп» всегда ласкает слух арабов; окружавшие меня обратились с усмешкой к начальнику своему и, казалось, ожидали от него ответа, обещававшего им немалую добычу.

Шейх долго стоял погруженный в раздумье и степенно поглаживал свою бороду, а засим молвил:

— Послушай, молодой назарянин, мы знаем твоего отца как богобоязненного человека; слышали мы также разные вещи о тебе. Говорят, ты так же добр, как и твой отец, но что господь лишил тебя известной части твоего разума. Впрочем, пусть это тебя несколько не смущает. Господь велик и дает людям разум или отбирает его у них по своему соизволению. Безумцы являют собою живое доказательство господнего могущества и ничемности человеческого разума. Блаженные, не ведая ни зла, ни добра, представляют нам, кроме того, древнее состояние человеческой невинности. Они стоят на первой ступени святости. Мы на-

зываем их марабутами, так же, как наших святых. Все это содержится в догматах нашей веры; поэтому мы согрешили бы, требуя за тебя выкуп. Мы проводим тебя к первому испанскому форпосту с великим уважением и честью, которые надлежит оказывать людям, подобным тебе.

Признаюсь вам, что слова шейха привели меня в величайшее смущение.

— Как могло случиться это, — сказал я сам себе, — для того ли я, следуя по стопам Локка⁵ и Ньютона, должен был дойти до последних границ человеческого познаний и сделать несколько уверенных шагов в метафизических безднах, подкрепляя принципы первого вычислениями второго, чтобы потом меня сочли безумным, чтобы меня причислили к категории существ, едва принадлежащих к роду человеческому? Так пусть провалится в тартарары все дифференциальное исчисление, а заодно и все нахождения интегралов, с которыми я связывал всю свою грядущую славу!

Говоря это, я схватил таблички и разбил их на мелкие кусочки; потом, испытывая еще большую жалость к самому себе, воскликнул:

— Ах, отец мой, ты был прав, когда хотел учить меня сарабанде и всем предрерзостям, какие только выдумали люди!

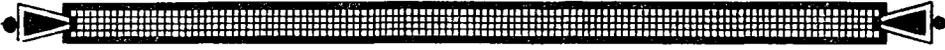
После чего я начал танцевать, невольно повторяя некоторые па сарабанды, как это привык делать мой батюшка, когда он вспоминал свои былые невзгоды.

Тогда арабы, видя, что я разбил таблички, на которых всего лишь миг назад царял что-то с таким необычайным рвением, и что я к тому же пустился в пляс, завопили, проникнутые почтением и состраданием:

— Хвала Господу! Бог велик! Хамдуллах! Аллах керим!

После чего ласково взяли меня под руки и проводили к ближайшему испанскому форпосту.

Когда Веласкес дошел до этого места, он показался нам сильно угнетенным и опечаленным; заметив же, что ему очень трудно будет продолжать рассказ, мы попросили его, чтобы остальное он отложил на следующий день.



День двадцать пятый

Мы продолжали странствовать по красивым, но безлюдным окрестностям. Когда мы обходили одну из гор, я отделился от каравана и мне показалось, что я слышу стоны в густо заросшей ложбине, тянущейся вдоль дороги, на которой мы тогда находились.

Стоны усилились, я сошел с коня, привязал его, обнажил шпагу и углубился в заросли. Чем ближе я подходил, тем больше, как мне казалось, отдалялись стоны; наконец, я добрался до открытого места, где очутился среди восьми или десяти человек, вооруженных мушкетами и берущих меня на прицел.

Один из них крикнул, чтобы я отдал ему шпагу; вместо ответа я подскочил, желая пронзить его насквозь, но он сразу же положил мушкет на землю, как бы сам сдаваясь мне на милость, и предложил мне капитуляцию, требуя от меня каких-то обещаний. Я ответил, что не стану ни капитулировать, ни обещать что бы то ни было.

В этот миг мы услышали возгласы путешественников, которые меня призывали.

Тот, кто показался мне предводителем банды, сказал мне:

— Сеньор кавалер, тебя ищут, мы не можем терять времени. Спустя четыре дня изволь покинуть лагерь и поезжай по дороге на запад; ты встретишь человека, который поверит тебе важную тайну. Стоны, которые ты слышал, были не более, чем хитростью, устроенной для того только, чтобы заманить тебя сюда. Словом, не забудь явиться вовремя.

Сказав это, он мне слегка поклонился, свистнул и исчез вместе с товарищами. А я вновь присоединился к нашему каравану, но не счел нужным давать отчет о моей встрече.

Мы рано остановились на ночлег и после ужина просили Веласкеса закончить рассказ о его приключениях, что он не замедлил сделать в следующих словах:



Продолжение истории Веласкеса

Я уже поведал вам, как, обратив внимание свое на всеобщее устройство вселенной, я предположил, что мною открыты никому дотоле не известные возможности приложения математических методов; изложил вам затем, как тетка моя Антония своим столь же нескромным, сколь и неуместным вопросом была невольной причиной того, что мысли мои собрались как бы в едином фокусе и упорядочились в стройную систему. Наконец, я сообщил вам, как убедившись, что меня считают безумцем, я с вершин высочайшей экзальтации рассудка мгновенно был повергнут в пропасть разочарования. Теперь я должен признаться вам, что это угнетенное состояние было длительным и болезненным. Я не смел поднять глаза на людей; мне все казалось, что ближние мои сговорились вечно отталкивать и унижать меня. С отвращением взирал я на книги, которые подарили мне столько приятных мгновений; теперь я видел в них только вмещилище пустых словес. Я не прикасался больше к табличкам, не считал; нервы моего мозга расслабились, они утратили всю свою энергию, и у меня больше не было сил думать.

Отец заметил мое состояние и все допытывался о причинах его. Я долго отнекивался, но наконец повторил ему слова арабского шейха и рассказал о печали, терзающей меня с того самого мгновения, когда меня впервые назвали безумцем. Отец склонил голову на грудь и залился слезами. После долгого молчания он обратил на меня взор, исполненный сострадания, и сказал:

— Ах, сын мой, ты только кажешься безумцем, а я и в самом деле был им в продолжение целых трех лет. Твоя рассеянность и моя любовь к Бланке не являются главными причинами наших забот; несчастья наши вызваны более глубокими причинами. Природа, нескончаемо плодovitая и разнообразная в своих средствах, с особым пристрастием попирает наиболее постоянные свои принципы; из личных интересов творит рычаги всех людских деяний, но в то же время порождает в массе людей и исключения, у которых себялюбие едва ощутимо, ибо они все свои помыслы и устремления обращают не на себя. Одни влюблены в науки, другие — в общее благо; они испытывают радость от чужих открытий, как

если бы открытия эти были совершены ими самими, или же требуют издания спасительных для государства законов, как будто они сами смогли бы с выгодой для себя воспользоваться оными. Вошедшие в привычку самозабвение и самоотверженность оказывают решительное влияние на их судьбу: они не умеют видеть в людях лишь орудие своего собственного счастья, а когда судьба стучится у их дверей, они и не помышляют отворить ей. Мало кто умеет забывать о самом себе: ты найдешь эгоизм в добрых советах, которые люди тебе станут давать, в услугах, которые они тебе окажут, в связях, коих они жаждут, и в дружбе, которую они заводят. Проникнутые своекорыстием, хотя бы и наиболее отдаленным, они равнодушны ко всему, что их непосредственно не касается. Встретив на своем пути человека, пренебрегающего собственными интересами, они не в силах его понять, приписывают ему тысячи тайных причин, притворство или безумие; изгоняют его из своего круга, считают павшим, и в довершение всего — ссылают на заброшенный африканский утес.

Сын мой, мы оба принадлежим к этому проклятому племени, но и у нас есть свои наслаждения, о которых я должен тебе поведать. Я не жалел усилий, чтобы воспитать из тебя вертопраха и глупца, однако небеса не благоприятствовали моим стараниям и одарили тебя душою, чувствительной и осиянной разумом. И поэтому мой долг — посвятить тебя и в приятности нашего существования; они не шумны и не блистательны, но зато чисты и сладостны. Как я был внутренне счастлив, узнав, что дон Исаак Ньютон похвалил одну из моих анонимных работ и хотел непременно доведаться, кто ее автор. Я не выдал себя, но, ободренный и поощряемый к новым усилиям, обогатил свой разум множеством неизвестных мне дотоле понятий; я был ими переполнен, не мог их удержать; выбегал из дому, чтобы возвещать их утесам Сеуты; повторял их всей природе и приносил в жертву творцу. Воспоминание о моих страданиях примешало к этим возвышенным чувствам вздохи и слезы, которые тоже мучили меня, хотя и не без некоторой приятности. Они напоминали мне, что есть вокруг меня несчастья, которые я могу смягчить; я сочетался мыслью с намерениями провидения, с делами создателя, с поступательным движением человеческого духа. Мой разум, моя личность, моя судьба не представлялись мне больше в виде некоей частичной фигуры, но входили в состав единого и притом великого целого.

Так протек мой возраст страстей, после чего я вновь обрел себя. Нежные старания твоей матери сто раз на дню убеждали меня, что я являюсь единственным предметом ее привязанности. Мой дух, замкнутый в себе самом, дал доступ чувству признательности, сладости нежного совместного существования. Мелкие события детских лет твоих и твоей сестры поддерживали во мне пламя сладчайших волнений.

Ныне твоя матушка живет лишь в моем сердце, и разум мой, утомленный годами, не может уже проникнуть в сокровищницу человеческой муд-

рости; однако же я с радостью вижу, как эта сокровищница с каждым днем увеличивается, и слежу мыслью своею за поступательным движением этого роста. Занятия, связывающие меня со всеобщим духовным движением, не позволяют мне думать о дряхлости, печальной подруге моих дней, и до сих пор я не познал еще житейской скуки. Итак, ты видишь, сын мой, что и у нас есть свои радости, а если бы ты стал вертопрахом, как я того хотел, у тебя тоже были бы свои горести.

Альварес, будучи здесь, говорил мне о моем брате так, что возбуждал скорее сострадание к нему, чем зависть: — Герцог, — говорил он, — превосходно знает двор, с легкостью распутывает всяческие интриги; но всякий раз, когда он стремится достичь высших чинов, он вновь и вновь убеждается, что у него нет крыльев для полета. Он был послом и уверял, что представлял своего короля и государя со всем надлежащим достоинством, но при первом же затруднении пришлось его отозвать. Ты знаешь также, что он, входил в состав кабинета министров и выполнял свои обязанности с виду не хуже прочих, но, несмотря на все старания его подчиненных, которые елико возможно стремились облегчить ему его труды, он не смог справиться и вынужден был подать в отставку. Ныне он уже не имеет никакого веса, но обладает талантом создавать всяческие пустяшные поводы, которые позволяют ему приближаться к особе монарха и делать вид в глазах света, что он в фаворе. При всем том, его снедает скука; у него великое множество способов избежать ее, но он всегда покоряется железной руке этого всеудушающего чудовища. Правда, он пытается избежать скуки, занимаясь исключительно самим собой, но это непомерное себялюбие сделало его до того раздражительным и настолько чувствительным к малейшему сопротивлению, что жизнь стала для него настоящим бременем. А в то же время частые недуги предупредили его, что этот единственный предмет его забот легко может выскользнуть у него из рук, и одна эта мысль отравила все его наслаждения. — Вот это почти все, что мне о нем говорил Альварес, и из этого я сделал вывод, что я в моем захолустье был, быть может, счастливее, чем брат мой среди вырванных у меня богатств.

Тебя, любимый сын мой, жители Сеуты считают несколько тронутым, это следствие их темноты; но если ты когда-нибудь отправишься в свет, лишь тогда ты постигнешь людскую несправедливость и тебе придется вооружиться против нее. Лучшим, быть может, средством было бы противопоставить оскорбление оскорблению и клевету — клевете, или сразиться с несправедливостью ее же собственным оружием: однако искусство вести борьбу посредством подлости вовсе не является идеалом людей нашего типа. Когда ты увидишь себя угнетенным, отодвинься, замкнись в себе, питай свой дух его собственными порывами, и тогда ты еще узнаешь счастье.

Слова моего отца произвели на меня живейшее впечатление, отвaga вновь одушевила меня, и я вновь вернулся к занятиям своей системой. Тогда-то я начинал уже с каждым днем становиться все более рассеянным. Редко когда слышал то, что говорили, обращаясь ко мне, за исключением последних слов, которые глубоко врезались мне в память. Я отвечал вполне логично, но почти всегда спустя час или два после вопроса. Часто также брел, не ведая куда, так что было бы только справедливо, если бы я, как слепец, ходил с поводырем. Рассеянность эта, впрочем, продолжалась только до тех пор, пока я не упорядочил свою систему. Затем, чем менее я обращал внимания на работу, тем меньше с каждым днем впадал в рассеянность, и ныне я смело могу сказать, что почти совершенно исцелился от этого досадного недуга.

— Мне казалось, — молвил каббалист, — что порою ты, сеньор, еще впадаешь в рассеянность, но, однако, поскольку ты сам заверяешь нас, что уже исцелен, позволь мне первому тебя с этим поздравить.

— Искренне благодарю, — ответил Веласкес, — ибо, едва я завершил свою систему, как вдруг непредвиденный случай произвел в моей судьбе такую перемену, что теперь мне трудно будет, я уже не говорю — создать систему, но даже посвятить жалкие десять или двенадцать часов подряд одному вычислению. Одним словом, небо пожелало, чтобы я стал герцогом Веласкесом, испанским грандом и обладателем огромного состояния.

— Как же, герцог, — прервала его Ревекка, — ты упоминаешь об этом вскользь, как об обстоятельстве второстепенном в твоей истории? Я думаю, что любой другой на твоём месте начал бы с этого сообщения.

— Я признаю, — возразил Веласкес, — что это фактор, бесспорно умножающий личные достоинства, но я полагал, однако, что мне не следует о нем упоминать, прежде чем меня не приведет к нему само течение событий. Вот что мне еще осталось досказать:

Четыре недели прошло с тех пор, как Диего Альварес, сын того Альвареса, прибыл в Сеуту с письмом от герцогини Бланки к моему отцу. Оно гласило:

Сеньор дон Энрике!

Письмо это уведомит тебя, что господь должно быть вскоре призовет к себе душу твоего брата, герцога Веласкеса. Законы испанского дворянства не позволяют, чтобы ты наследовал младшему брату твоему, а посему состояние и титул перейдут к твоему сыну. Я счастлива, что, завершая сороковой год покаяния, смогу возвратить ему состояние и титул, которых ветреность моя тебя лишила. Я не могу, правда, вернуть тебе славу, которую ты снискал бы благодаря твоим способностям, но нынче мы оба стоим уже у врат вечной славы, земная слава не может нас больше занимать. Прости

в последний раз многогрешной Бланке и пришли нам сына, которым небо тебя наградило. Герцог, у смертного одра коего я нахожусь вот уже два месяца, жаждет видеть своего наследника.

Бланка Веласкес

Я должен признаться, что письмо это воодушевило всех жителей Сеуты, ибо там повсюду любили меня и моего отца; я, однако, далеко не разделял всеобщего ликования. Сеута была для меня всем миром, я выходил из нее только, чтобы предаваться грезам: если же устремлял когда-либо взор за ее рвы, на широкие равнины, населенные маврами, то смотрел на все эти просторы только как на пейзаж: так как я не мог совершать прогулки в окрестностях, беспредельные дали казались мне созданными исключительно для созерцания. И что я стал бы делать где-нибудь в другом краю? Во всей Сеуте не было ни одной каменной стены, на которой я не нацарапал бы какого-нибудь уравнения; не было ни одного закоулка, где я не предавался бы размышлениям, итоги которых наполняли меня радостью. Правда, порою мне докучали тетка Антония и ее служанка Марика, но что значили эти мелкие неприятности в сравнении с огорчениями, на которые я был обречен в будущем? Если бы у меня отняли мои раздумья и вычисления, я навек утратил бы счастье: оно просто перестало бы для меня существовать. Такие мысли приходили мне в голову в миг, когда мне предстояло покинуть Сеуту.

Отец провожал меня до самого берега и там, положив руку мне на голову и благословив меня, сказал:

— Сын мой, ты увидишь Бланку; она уже не прежняя восхитительная красавица, которая должна была составить славу, гордость и счастье твоего отца. Ты увидишь черты, изборожденные годами, ты увидишь женщину, сломленную покаянием, но зачем она так долго оплакивала заблуждение, которое отец ее простил ей? Что до меня, я никогда не сожалел об этой ошибке. Правда, я не служил королю на видном посту, но зато в течение сорока лет среди этих утесов я старался осчастливить малую горстку достойных людей. Вся их признательность по праву принадлежит Бланке; они часто слышали о ее добродетелях, и все ее благословляли.

Отец мой не мог больше говорить, слезы заглушали его слова. Все жители Сеуты присутствовали при моем отъезде, на всех лицах можно было прочесть печаль разлуки, смешанную с радостью, которую вызывала весть о столь блистательной перемене в моей судьбе.

Мы распустили паруса и наутро высадились в порту Алхесирас, откуда я направился в Кордову, а затем на ночлег в Андухар. Тамошний трактирщик рассказывал мне какие-то необыкновенные истории о духах и упырях, но я пропустил мимо ушей эти его рассказы. Я переночевал у него и рано поутру отправился в путь. Со мной было двое слуг; один ехал впереди, другой следовал за мной. Одержимый мыслью, что в Мадриде у меня

не будет времени для занятий, я достал свои таблички и занялся вычислениями, которых недоставало еще в моей системе.

Я ехал на муле, ровная и спокойная поступь которого содействовала моим математическим занятиям. Не помню, сколько времени я потерял таким образом, помню только, что мул мой внезапно остановился. Я увидел, что нахожусь у подножья виселицы, на которой болтаются двое повешенных, чьи искаженные лица ужаснули меня. Я осмотрелся, но не нашел ни одного из моих слуг; начал призывать их во весь голос, но тщетно. Я решил ехать дальше по прямой дороге, которая расстилалась передо мной. Уже наступила ночь, когда я прибыл в просторный и хорошо устроенный, но почему-то совершенно безлюдный и пустой трактир.

Я оставил мула в стойле, а сам вошел в комнаты, где нашел остатки ужина, а именно — паштет из куропаток, хлеб и бутылку аликанте. С самого Андухара во рту у меня ничего не было, а посему я и решил, что крайняя нужда дает мне право на паштет, все равно не имеющий законного хозяина. К тому же я сильно страдал от жажды и посему утолил ее, быть может, впрочем, с излишней поспешностью и жадностью, ибо вино ударило мне в голову, но я заметил это слишком поздно.

В комнате была весьма приличная постель, я разделся, лег и заснул. Вдруг, не знаю отчего, я проснулся и услышал бой часов — полуночный бой — и насчитал двенадцать ударов. Мне подумалось, что неподалеку есть какой-то монастырь, и я решил наутро посетить его.

Вскоре до меня донесся шум со двора; я подумал, что это вернулись мои слуги, но каково же было мое изумление, когда я увидел входящую в комнату тетку Антонию вместе с ее наперсницей Марикой. Эта последняя несла фонарь с двумя свечами, тетка же держала в руках какой-то свиток.

— Любимый племянник, — сказала она мне, — твой отец прислал нас сюда, чтобы мы вручили тебе важные бумаги.

Я взял бумаги и прочел заглавие: «Доказательство квадратуры круга». Я хорошо знал, что отец мой никогда не занимался этой никчемной и пустопорожней проблемой. Удивленный, я развернул бумаги, но сейчас же с негодованием заметил, что мнимая квадратура есть на самом деле общеизвестная теория Динострата¹, подкрепленная аргументацией, в которой я узнал руку моего отца, но отнюдь не его идеи. И в самом деле, я заметил, что приведенные доводы суть не что иное, как жалкие софизмы, одним словом, совершенно ложные умозаключения.

Тем временем тетушка обратила мое внимание на то, что я занял единственную постель в трактире, и пожелала, чтобы я уступил ей половину своего ложа. Я был так огорчен мыслью, что мой отец мог впасть в подобные заблуждения, что не слышал всего того, что она мне говорила. Не раздумывая, я дал ей место, в то время, как Марика уселась в ногах, положив голову на мои колени.

Я снова углубился в рассмотрение доказательств, и то ли аликанте ударило мне в голову, то ли мой взор был околдован, одним словом, не понимаю, как это произошло, но я нашел доводы менее ошибочными, а, прочитав их в третий раз, был всецело ими убежден.

Я перевернул лист и обнаружил целый ряд чрезвычайно остроумных формул, долженствующих служить для квадратуры и выпрямления всякого рода кривых линий, а в конце концов увидел задачу изохроны, решенную с помощью принципов элементарной геометрии. Пораженный, ошарашенный, одурманенный, как я полагаю, вследствие действия аликанте, я воскликнул:

— Да, отец мой совершил величайшее открытие!

— В таком случае, — сказала моя тетка, — ты должен отблагодарить меня за труд, какой мне пришлось предпринять, чтобы переплыть море и доставить тебе эти каракули.

Я обнял ее.

— А я, — прервала Марика, — разве я тоже не переплыла моря?

Я обнял и Марику.

Я хотел снова заняться бумагами, но обе мои подруги с такой силой заключили меня в объятия, что я был не в состоянии вырваться; правду сказать, мне и не очень хотелось вырваться, ибо меня вдруг охватили какие-то странные чувства. Новые ощущения эти начали действовать по всей поверхности моего тела, а в особенности в местах, соприкасающихся с обеими женщинами. Они напоминали мне некоторые свойства кривых линий, называемых оскуляционными². Я жаждал отдать себе отчет в испытываемых мною впечатлениях, но все помыслы выпорхнули у меня из головы. Чувства мои развернулись в ряд, возрастающий в бесконечности. Потом я заснул и с ужасом проснулся под виселицей, на коей узрел двух висельников с перекошенными лицами.

Такова повесть моей жизни, в которой недостает только теории моей системы, или приложения математики ко всеобщему устройству вселенной. Надеюсь, впрочем, что когда-нибудь я помогу вам ее постичь, в особенности же этой прекрасной даме, которая, как мне кажется, имеет склонность к точным наукам, необычную для особ ее пола.

Ревекка учтиво ответила на эту любезность, после чего спросила Веласкеса, что стало с бумагами, которые принесла ему его тетка.

— Не знаю, куда они девались, — ответил геометр, — я вовсе не нашел их среди бумаг, которые доставили мне цыгане, и очень об этом жалею, ибо не сомневаюсь, что, просмотрев еще раз это мнимое доказательство, я бы тут же обнаружил его ложность; но, как я вам уже говорил, кровь играла во мне с излишней силой; аликанте, эти две женщины и непреодолимая дремота были, конечно, причинами моего заблуждения. Что, однако, меня удивляет — это то, что бумаги несомненно были писаны ру-

кою моего отца — мне бросился в глаза свойственный только ему одному характер начертания знаков.

Меня поразили слова Веласкеса, в особенности когда он говорил, что не мог сопротивляться дремоте. Я догадался, что ему, верно, подали вино, подобное тому, каким угостили меня в венте мои кузины во время первой нашей встречи, или подобное той отраве, которую мне велели выпить в подземелье и которая была всего лишь сонным питьем.

Наше общество понемногу разбрелось. Отправляясь на отдых, я пытался разобраться во множестве соображений, пришедших мне в голову, полагая, что с их помощью смогу естественным образом истолковать все мои приключения. Поглощенный этими мыслями, я, наконец, уснул.



День двадцать шестой

Сутки мы посвятили отдыху. Образ жизни наших цыган и контрабанда, являющаяся для них главным способом добывания средств к жизни, требовали постоянной и утомительной перемены мест; поэтому я с радостью провел целый день там, где мы остановились на ночлег. Каждый понемногу занялся собственной особой; Ревекка прибавила к своему наряду несколько новых изысканных финтифлюшек; если бы можно было так выразиться, она явно старалась сделаться предметом рассеянности молодого герцога, ибо отныне мы только так называли Веласкеса.

Все собрались на лужайке, осененной великолепными каштанами, и когда отобедали — а обед был гораздо ароматнее и вкуснее, чем обыкновенно — Ревекка сказала, что, так как цыганский вожак сегодня занят меньше, чем всегда, мы можем смело просить его, чтобы он поведал нам о дальнейших своих приключениях.

Пандесовна не заставил себя долго упрашивать и начал свою речь такими словами:

Продолжение истории цыганского вожака



Я только тогда поступил учиться, когда, как я вам уже говорил, исчерпал все способы и средства отсрочки, все, какие только мог придумать. Сперва я очень обрадовался, оказавшись среди стольких сверстников, но постоянное повиновение, в котором нас держали наставники, вскоре сделалось для меня невыносимым. Я был приучен к нежностям тетушки, к ее трогательному потаканию, и мне это льстило, потому что она сто раз на дню повторяла, что у меня прекрасное сердце. Ну а тут прекрасное сердце было решительно ни к чему; нужно было постоянно остерегаться, либо примириться с розгами. Я ненавидел и то, и другое. Отсюда возникло во мне непреодолимое отвращение к сутанам, которое я нередко проявлял, подстраивая наставникам множество разнообразных каверз.

Были среди учеников мальчишки, отличавшиеся хорошей памятью и дурным сердцем: они весьма охотно доносили обо всем, что знали о товарищах. Я создал союз против доносчиков, и проделки наши всегда обставлялись таким образом, что подозрение неукоснительно падало на ябедников. В конце концов, сутаны вывели из терпения нас всех; облыжно обвиненные и ябедники равно ожесточились против наставников.

Я не стану вдаваться в незначительные подробности наших школьных проказ; скажу только, что на протяжении четырех лет пребывания в коллегии (а все это время я постоянно упражнял свое воображение!) выходки мои становились все отчаяннее. Наконец, мне пришла в голову идея, сама по себе, конечно, весьма невинная, но, увы, недостойная, если принять во внимание то, какими средствами я воспользовался для ее осуществления. Немногого не доставало, чтобы я заплатил за эту шутку несколькими годами тюрьмы, а может быть и потерей свободы навсегда. Вот как было дело:

Среди театинцев, которые круто с нами обходились, ни один не донимал нас такими строгостями, как отец Санудо, ректор первого класса. Священник этот не был суров от природы, напротив, был даже, пожалуй, слишком чувствительным, и его тайные склонности нисколько не сочетались с духовным призванием, так что на тридцатом году жизни он все еще не успел стать господином и повелителем их.

Не знавший жалости к себе самому, он сделался неумолимым и к другим. Постоянные жертвы, которые он приносил на алтарь нравственности, заслуживали тем большей похвалы, что, казалось, сама природа создала его для участи, совершенно противоположной той, какую он себе выбрал. Необыкновенно красивый, он производил на всех бургосских женщин сильнейшее впечатление, но, встречая нежные взоры, опускал глаза, хмурил брови и делал вид, что ничего не замечает. Вот таким был в течение многих лет монах-театинец отец Санудо.

Однако столь великое множество побед тяготило его душу; принужденный опасаться женщин, он не переставал думать о них, и с давних пор побеждаемый неприятель со все более свежими силами выступал в его воображении. Наконец он внезапно ощутительно утратил здоровье, долго потом не мог восстановить свои силы, когда же пришел в себя, болезнь оставила в его душе невероятное раздражение, постоянными проявлениями которого были сугубая обидчивость и вечная готовность чрезмерно досадовать по пустяшным поводам. Его выводили из себя малейшие наши проступки, а наши робкие попытки оправдаться неожиданно вызывали у него слезы. Оправившись от своего недуга, он тем не менее постоянно грезил наяву, и часто, хотя он и устремлял очи свои даже на неодоушевленный предмет, взор его приобретал нежное выражение, когда же мы прерывали эти минуты его восторга, он взирал на нас скорее горестно, чем строго.

Мы были слишком наблюдательны и слишком ревностно следили за нашими наставниками, чтобы столь значительная перемена могла ускользнуть от нашего внимания. Однако мы не догадывались, в чем причина сей странной метаморфозы, пока неожиданная случайность не навела нас на истинный путь.

Для того, чтобы вы лучше меня поняли, мне придется обратиться несколько вспять. Двумя знатнейшими семействами в Бургосе были графы де Лириа и маркизы де Фуэн Кастилья. Первые принадлежали к тем, которых в Испании называют *агравиадос*, то есть обиженными тем, что их не удостоили титула гранда, ибо, по их мнению, они его вполне заслужили. Несмотря на это, другие гранды обходятся с ними запросто, как если бы те и в самом деле принадлежали к их категории.

Главой семейства Лириа был семидесятилетний старик, чрезвычайно благородный и учтивый в обращении с людьми. У него было два сына, они умерли, и все его состояние должно было перейти к молодой графине де Лириа, единственной дочери его старшего сына.

Старый граф, лишившийся прямых наследников своей фамилии, обещал руку своей внучки наследнику маркизов де Фуэн Кастилья, который в таком случае должен был принять титул графа де Фуэн де Лириа и Кастилья. Союз этот, во всех отношениях столь удачный, отличался необычайным совпадением качеств — будущие новобрачные были одних лет, гармонировали их наружность и характеры их. Они сердечно любили друг друга, и старый Лириа любовался, взирая на их невинную любовь, которая напоминала ему счастливые времена его юности.

Будущая графиня де Фуэн де Лириа, хотя и обитала в монастыре салезианок, однако ежедневно отправлялась обедать к своему деду и оставалась там весь вечер в обществе своего нареченного. В прогулках этих ее сопровождала старшая дуэнья, которую звали донна Клара Мендоса, особа лет тридцати, весьма почтенная, но ничуть не мрачная, ибо старый граф не жаловал особ с тяжелым характером.

Каждый день барышня де Лириа со своей верной дуэньей проезжали мимо нашей коллегии, ибо так им было удобнее всего ехать ко дворцу старого графа. У нас в эту пору как раз бывала перемена, и многие торчали в окнах или, вернее, подбегали к окнам, едва только раздавался стук колес.

Те, которые первыми подбегали к окнам, часто слышали, как донна Мендоса говорила своей юной воспитаннице:

— Посмотри, нет ли среди них красавчика-театинца.

Это было прозвище, которое представительницы прекрасного пола дали отцу Санудо. В самом деле, дуэнья глядела на него как на радугу небесную, что же касается молодой графини, то она одинаково смотрела на нас всех, ибо мы более напоминали ей своим возрастом ее жениха, или же старалась отыскать среди нас двух своих кузенов, помещенных в нашу коллегию.

Санудо вместе с другими прикинул к окну, но как только замечал, что женщины смотрят на него, хмурился и отходил с презрительным видом. Нас поражало это противоречие: — Конечно, — говорили мы, — если он питает такое отвращение к женщинам, то зачем льнет к окну; если же жаждет ее видеть, зачем отвращает взор? Один из школяров, по фамилии Вейрас, сказал мне однажды, что Санудо теперь уже отнюдь не столь пламенный женоненавистник, каким был прежде, и что он, Вейрас, непременно должен в этом убедиться. Этот Вейрас был лучшим моим другом во всей коллегии, и, уж если ничего не утаивать, помогал мне во всех моих проделках, да нередко и сам бывал изобретателем оных.

В ту пору как раз вышел в свет роман, озаглавленный «Влюбленный Фернандо». Автор этого творения живописал в нем любовь столь пламенными красками, что книга эта была признана необыкновенно опасной, и наши наставники ее строго-настрого запретили. Вейрас раздобыл экземпляр этой книжки и сунул ее в карман, однако таким образом, что большая часть ее была на виду. Санудо заметил и отобрал запрещенную книжку. Он угрожал Вейрасу строжайшим наказанием, если тот когда-нибудь вновь провинится таким же образом, но вечером выдумал какую-то болезнь и не появился среди нас. Под предлогом заботы о его здоровье, мы неожиданно вошли в его келью и застали его углубившимся в чтение опасного «Фернандо», с глазами, полными слез, которые свидетельствовали, какое наслаждение доставляет ему чтение этой книги. Санудо смутился, мы сделали вид, будто ничего не заметили, а вскоре получили новое доказательство великой перемены в сердце несчастного священнослужителя.

Испанки старательно выполняют все религиозные обряды и всякий раз обращаются к одному и тому же исповеднику. Называется это: *buscar el su padre*. Именно поэтому некоторые злоречивые шутники, увидя ребенка в храме божием, с самым невинным видом спрашивают — не явилось ли дитя *buscar el su padre*, то есть разыскивать своего отца.

Жительницы Бургоса рады были бы исповедоваться у отца Санудо, но мнительный монах уверял, что не чувствует себя способным руководить стыдливою женскою совестью; однако на следующий день по прочтении им злосчастной книжонки одна из красивейших горожанок попросила разрешения исповедоваться у отца Санудо, который тут же отправился в исповедадьню.

Некоторые из знакомых двусмысленно поздравляли его с такой переменной, но Санудо необычайно серьезно отвечал им, что не страшится недруга, которого уже столько раз побеждал. Быть может, монахи поверили ему, но мы, молодежь, прекрасно видели, в чем тут соль.

Теперь Санудо с каждым днем, казалось, все более увлекался тайнами, которые прекрасный пол чистосердечно выкладывал, каясь перед ним и видя в нем судью. Как исповедник он был чрезвычайно скрупулезен и придирчив; пожилых женщин быстро спроваживал, молодых же задер-

живал подольше. Он никогда не пропускал случая подойти к окну, чтобы увидеть прекрасную графиню де Лириа и ее очаровательную дуэнью, после чего с презрением отвращал взор от их — уже проехавшего — экипажа.

Однажды, после того, как мы, будучи невнимательными на уроке, испытали на себе всю строгость отца Санудо, Вейрас таинственно отозвал меня в сторонку и молвил:

— Настало время отомстить проклятому педанту за все бесчеловечные наказания, какими он терзает нас, и за бесконечные покаяния, которыми он отравляет лучшие дни нашей молодой жизни. Я выдумал отличную штуку, но следовало бы непременно подыскать девушку, похожую фигурой на графиню де Лириа. Правда, Хуанита, дочка садовника, ревностно помогает нам проказить, но для этой роскошной проделки у нее не хватит сообразительности и остроумия.

— Милый Вейрас, — ответил я, — если бы мы даже нашли молодую девчонку, напоминающую фигурой графиню де Лириа, не пойму, каким образом мы смогли бы придать ей прелестные черты этой титулованной особы?

— Об этом не беспокойся, — ответил мой товарищ. — Ты знаешь, что женщины наши в пост привыкли носить вуали, именуемые катафалкос. Это широкое покрывало из крепа, которое, ниспадая складками, закрывает лицо, как на маскараде. Хуанита всегда пригодится, если не для самого спектакля, то, по крайней мере, для переодевания лже-графини и ее дуэньи.

Вейрас больше ничего не сказал, но однажды в воскресенье отец Санудо, сидя в исповедалне, увидел двух женщин, закутанных в плащи и прикрывших лица креповыми шальями; одна из этих женщин, по испанскому обычаю, уселась на циновке; другая же, кающаяся, упала перед ним на колени. Та, которая казалась моложе, хотя и пришла для исповеди, не смогла удержаться от отчаяннейших рыданий. Санудо старался ее успокоить, но она непрестанно повторяла:

— Отец мой, я совершила смертный грех!

Санудо сказал ей, что сегодня она не будет в состоянии раскрыть перед ним свою душу и велел ей вернуться на следующий день. Юная грешница отступила на несколько шагов и, упав к подножью алтаря, распростерлась на полу подобно кресту; она молилась долго и горячо и наконец вышла из храма вместе со своей подругой.

— Увы, — вздохнул цыган, прерывая свое повествование, — не без ощутительных укоров совести я рассказываю вам об этих недостойных забавах, которые невозможно извинить даже нашей крайней молодостью; и если бы я не рассчитывал на вашу снисходительность, я никогда бы не осмелился продолжать свою речь.

Каждый из нас высказал то, что показалось ему наиболее подходящим для того, чтобы успокоить совесть вожака, который так стал рассказывать далее:

Назавтра, в тот же самый час, обе кающиеся особы вернулись в храм. Санудо уже давно их дожидался. Младшая вновь преклонила колени у исповедальни; она была несколько спокойней, чем вчера, однако и на этот раз не обошлось без рыданий. Наконец, серебристым голосом она произнесла следующие слова:

— Еще недавно, отец мой, сердце мое, согласно с долгом, казалось прочно утвержденным на стезе добродетели, ради вечного шествия по оной стезе. Молодой и родовитый юноша должен был стать моим мужем. Думалось мне, что я его люблю...

Тут снова начались рыдания, но Санудо благоговейно и в самых возвышенных выражениях успокоил юную девушку, которая продолжала следующим образом:

— Неблагоразумная дуэнья обратила мое внимание на достоинства человека, которому я никогда не смогу принадлежать, о котором я никогда не должна даже думать; тем не менее, однако, я не в состоянии превозмочь свою кощунственную страсть.

Упоминание о кощунстве позволило отцу Санудо понять, что речь идет о священнике, быть может, даже о нем самом.

— Вся твоя любовь, — изрек он дрожащим голосом, — принадлежит грядущему супругу твоему, избранному для тебя родителями твоими.

— Ах, отец мой, — продолжала девушка, — почему он не похож на человека, в которого я влюбилась? Почему он не обладает его нежным, хотя и суровым взором; его чертами — такими прекрасными и благородными; его надменным и гордым обликом?

— Госпожа, — прервал Санудо, — такие речи не подобает произносить на исповеди.

— Потому что это не исповедь, — ответила молодая девушка, — а признание в любви.

Сказав это, она встала, зардевшись, как маков цвет, подошла к подруге своей, и они вместе вышли из храма. Санудо проводил ее взглядом и весь день пребывал в задумчивости. Назавтра он расположился в исповедальне, но никто не появился; то же самое случилось и на следующий день. Только на третьи сутки кающаяся возвратилась с дуэньей, преклонила колени перед исповедальней и сказала отцу Санудо:

— Отец мой, мне кажется, что в эту ночь мне было явление. Отчаяние и стыд терзали мою душу. Некий злобный дух вселил в меня злосчастную мысль, я разорвала одну из моих подвязок и обвила ее вокруг шеи. Перестала дышать, когда мне вдруг показалось, что кто-то удерживает мои руки; сильный свет почти ослепил меня, но я узрела святую Терезу, мою

покровительницу, стоящую у моего ложа. «Дочь моя, — сказала она мне, — исповедайся завтра перед отцом Санудо и проси его, чтобы он дал тебе прядь своих волос, которые ты будешь носить на сердце и которые возвратят тебе благоволение господне».

— Отыди от меня, — изрек Санудо, — пади на колени у подножья алтаря и в слезах умоляй небо, чтобы оно исторгло тебя из адского безумия. Я же буду молиться, призывая к тебе милосердие божие.

Санудо встал, вышел из исповедальни и удалился в часовню, где до самого вечера горячо молился.

Наутро юная грешница не показалась; дуэнья пришла одна, пала на колени перед исповедальней и сказала:

— Ах, отец мой, я прихожу молить тебя о снисходительности к юной и несчастной, душа которой близка к гибели. Ее приводит в отчаяние твоя вчерашняя суровость. Ведь ты отказал ей, как она призналась, в каких-то реликвиях, которыми обладаешь. Разум ее помутился, и теперь она думает только о смерти. Пойди к себе, отец мой, принеси эти реликвии, кои она у тебя просила. Заклинаю тебя, не отказывай мне в этой милости.

Санудо закрыл лицо платком, встал, вышел из храма и вскоре вернулся. Он держал в руках маленький ковчежец с мощами и сказал, подавая дуэнье этот дар:

— Возьми, сударыня, сию частицу черепа нашего блаженного основателя. Булла отца святого приписывает этим реликвиям многие отпущения грехов; реликвии сии дороже всех, какими мы обладаем. Пусть воспитанница твоя носит их на сердце и да поможет ей бог.

Заполучив ковчежец, мы вскрыли его, надеясь, что обнаружим в нем прядь волос нашего наставника, но ожидания наши были напрасны. Санудо, хотя и чувствительный и легковерный, а быть может даже несколько тщеславный, был однако непоколебимо добродетелен и верен своим принципам.

После вечернего урока Вейрас спросил его, почему священникам нельзя вступать в брак.

— Потому что это принесет им несчастье на этом и, быть может, навлечет на них проклятие на том свете, — отвечив Санудо, после чего с необычайной суровостью прибавил: — Раз навсегда запрещаю тебе задавать подобные вопросы.

Наутро Санудо не пошел в исповедальню. Дуэнья добивалась разговора с ним, но он прислал на свое место другого священника. Мы уже усомнились в исходе нашего недостойного предприятия, как вдруг нам помог неожиданный случай.

Молодая графиня де Лириа незадолго до вступления в брак с маркизом де Фуэн Кастилья опасно захворала и все бредила в горячке, впад в своего рода безумие. Весь Бургос искренне интересовался этими двумя знатными семействами и весть о недуге графини де Лириа поразила всех.

Отцы-театинцы также узнали об этом, вечером же Санудо получил письмо следующего содержания:

Отец мой!

Святая Тереза сильно разгневана и говорит, что ты меня обманул, не щадит она также горьких упреков донне Мендоса за то, что дуэнья сия ежедневно проезжала со мною мимо коллегии театинцев. Святая Тереза любит меня гораздо больше, чем ты... Голова моя кружится — испытываю несказанные боли — умираю.

Письмо это писано было дрожащей рукой и почти неразборчиво. Внизу было приписано иным почерком:

Бедная моя больная пишет в день два десятка подобных писем. В эту минуту она уже не в состоянии взяться за перо. Молись за нас, отец мой. Вот все, что я могу тебе сообщить.

Санудо не вынес этого удара. Одурманенный, смущенный, он не мог найти себе места, сидел как на иголках, то и дело входил и выходил. Всего приятнее для нас было то, что он не появлялся в классе, или, самое большее, приходил на столь короткий срок, что мы могли вытерпеть его наставления без скуки.

Кризис протекал благоприятно, и старания опытных врачей спасли прекрасную графиню де Лириа. Больная медленно возвращалась к жизни. Санудо же получил письмо следующего содержания:

Отец мой!

Опасность миновала, но болезнь до сих пор еще терзает разум. Юная особа ежеминутно может вырваться из моих рук и выдать свою тайну. Благоволи подумать, не мог ли бы ты принять нас в твоей келье. Ворота у нас запираются лишь около одиннадцати, и мы придем, как только стемнеет. Быть может, советы твои будут более действенны, чем реликвии. Если такое состояние продлится дольше, то и мой разум помутится. Заклинаю тебя именем господним, отец мой, спаси честь двух знатных семейств.

Слова эти настолько поразили отца Санудо, что он едва смог дотащиться до своей кельи. Заперся там, а мы притаились у дверей, желая узнать, что он станет делать. Сперва он залился горькими слезами, после чего стал горячо молиться. Наконец, призвал привратника и сказал ему:

— Если какие-нибудь две женщины придут и будут спрашивать обо мне, не впускай их ни под каким видом.

Санудо не вышел к ужину и провел вечер в молитве. Около одиннадцати он услышал стук в дверь. Отворил: юная девушка вбежала в его келью и опрокинула лампу, которая тут же погасла. В тот же миг раздался голос настоятеля, призывавший отца Санудо.

В этом месте рассказ вожака хотел прервать один из его людей, пришедший дать ему отчет о том, что предпринято ими, но Ревекка закричала: — Прошу тебя, не прерывай своего рассказа. Я должна еще сегодня узнать, как Санудо вышел из столь щекотливого положения!

— Позволь, сударыня, — ответил цыган, — посвятить несколько минут этому человеку, после чего я буду говорить дальше.

Мы в один голос похвалили Ревекку за ее нетерпеливость; цыган же, отослав человека, который его прервал, так продолжал свою речь:

Раздался голос настоятеля, призывающий отца Санудо, который, едва успев запереть двери на ключ, отправился к своему начальству.

Я недооценил бы вашу проникательность, предположив, что вы еще не догадались, что лже-дуэньей Мендоса был Вейрас, графиней же — та самая девчонка, с которой намеревался обвенчаться вице-король Мексики.

Итак, я оказался внезапно запертым в келье Санудо, да к тому же еще впотьмах, не имея ни малейшего понятия, каким образом выпутаться из этой истории, которая, увы, обернулась совершенно по-иному, чем мы предполагали. Ибо мы убедились, что хотя Санудо и легковверен, однако его нельзя назвать слабохарактерным или же лицемерным. Разумнее всего было бы отказать от дальнейших проделок и остановиться, пока не поздно. Бракосочетание графини де Лириа, совершившееся, кстати, несколько дней спустя, и счастье обоих супругов остались бы для отца Санудо необъяснимыми загадками и мукой до конца его дней; но мы стремились стать свидетелями замешательства нашего наставника, а потому ломали себе голову, не следует ли завершить эту сцену громким взрывом смеха или же язвительной иронией. Я как раз раздумывал об этом, причем не без злорадства, как вдруг услышал, что двери отворяются. Вошел Санудо, и вид его смутил меня больше, чем я того ожидал. На нем был стихарь и епитрахиль: в одной руке он держал подсвечник, в другой — распятые черного дерева. Он поставил светильник на стол, сжал обеими руками распятые и молвил:

— Сеньора, ты видишь меня здесь, облаченного в священные одеяния, которые должны тебе напомнить о духовном характере моей особы. Будучи священнослужителем господа спасителя нашего, я не могу лучше выполнить своего призвания, как удержав тебя над самым краем бездны. Сатана помутил твой разум, сатана увлекает тебя на ложный путь. Задержи шаги свои, воротись на стезю добродетели, которую судьба твоя усеяла цветами. Тебя призывает младой супруг; предназначает тебя ему в жены

добродетельный старец, кровь коего течет в твоих жилах. Отец твой был его сыном; он опередил вас обоих в обители чистых духов и оттуда указывает вам путь. Вознеси взор к небесному светилу, вырвись из когтей злого духа, который отуманил твой взор; прозри и взгляни на слуг господ, чьим вечным недругом является сатана.

Санудо произнес еще множество подобных фраз, которые, конечно, обратили бы меня, если бы я и в самом деле был графиней де Лириа, влюбленной в своего исповедника; но, что поделаешь, ежели вместо прекрасной графини перед ним стоял негодник в юбке и плаще, увы, не ведающий, чем все это кончится.

Санудо перевел дыхание, после чего продолжал следующим образом:

— Пойдем, сеньора, за мной, все уже приготовлено к твоему выходу из монастыря. Я провожу тебя к жене нашего садовника, а оттуда мы пошлем за Мендосой, чтобы она пришла за тобой.

С этими словами он отворил дверь, я тут же выскочил, желая убежать как можно скорей; именно это мне и следовало сделать; когда вдруг, не знаю уж, что за бес вдохновил и попутал меня — я отбросил вуаль и кинулся на шею моему наставнику, восклицая:

— Жестокий! Ты хочешь быть причиной смерти влюбленной графини?

Санудо узнал меня; сперва он ошелбенел, потом залился горькими слезами и с признаками живейшего отчаяния повторял:

— Боже, великий боже, смилуйся надо мной! Вдохнови меня и просвети на дороге сомнений! Господи, единый в трех лицах, как же мне теперь быть?

Жалость овладела мной, когда я увидел бедного моего наставника в таком плачевном состоянии; я упал к его ногам, умоляя простить и клянясь, что мы с Вейрасом свято сохраним его тайну. Санудо поднял меня и, плача навзрыд, промолвил:

— Несчастный мальчуган, неужели ты допускаешь, что боязнь показаться смешным способна довести меня до отчаяния? Это ты погубил себя, и о тебе я плачу. Ты не страшился обесчестить то, что в нашей вере священнее всего: ты выставил на посмеяние святой трибунал покаяния. Мой долг — обвинить тебя перед инквизицией. Тебе угрожают тюрьма и пытки.

После чего, прижав меня к груди, он с глубочайшей болью прибавил:

— Дитя мое, не отчаивайся; быть может, я сумею исходатайствовать, чтобы нам дозволили самим назначить тебе наказание. Правда, оно будет ужасным, но не окажет пагубного влияния на твою душу.

Сказав это, Санудо вышел, запер дверь на ключ и оставил меня в оцепенении, которое вы можете себе представить и которое я не стану даже пытаться вам описывать. Мысль о преступлении до тех пор не возникала в моем воображении, и я считал наши кощунственные проделки невинными шутками. Убоявшись неотвратимой кары, я оцепенел и даже плакать не мог. Не знаю, как долго пребывал я в этом состоянии; наконец, двери

отворились. Я увидел приора, пенитенциария¹ и двух орденских братьев, которые взяли меня под руки и провели, не знаю уж по скольким коридорам, в отдаленную комнату. Меня бросили на пол и заперли за мной двери на двойной засов.

Вскоре я пришел в себя и начал осматриваться в моей темнице. Луна сквозь железные прутья решетки освещала камеру; я увидел стены, испещренные разными надписями, сделанными углем, и в углу — охапку соломы.

Окно выходило на кладбище. Три трупа, облаченные в саваны и помещенные на носилки для покойников, лежали у притвора. Зрелище это устрасило меня; я не смел глядеть ни в комнату, ни на кладбище.

Вдруг я услышал говор на кладбище и увидел входящего туда капуцина с четырьмя могильщиками. Они подошли к притвору и капуцин сказал:

— Вот тело маркиза Валорнес: поместите его в комнате для бальзамирования. Что же до этих двоих христиан, опустите их в свежую могилу, вырытую вчера.

Как только капуцин произнес эти слова, я услышал протяжный стон, и три отвратительных привидения показались на ограде погоста.

Когда цыган дошел до этого места, человек, который в первый раз нам помешал, вновь пришел отдавать ему отчет в делах, но Ревекка, ободренная прежним успехом, сказала самым авторитетным тоном:

— Сеньор вожак, я должна непременно узнать, кто были эти привидения, иначе всю ночь не засну!

Цыган обещал удовлетворить ее желание, и в самом деле, отсутствие его продолжалось недолго. Он вернулся и продолжал следующим образом:

— Я сказал вам, что три отвратительных привидения показались на кладбищенской ограде. Призраки эти и сопутствующий им протяжный стон устрасили четырех могильщиков и предводителя их, капуцина. Все бежали, крича благим матом. Что до меня, я тоже испугался, но ужас мой проявился совершенно иначе, ибо я остался как бы прикованный к окну, одурманенный и почти лишенный чувств.

Вдруг я увидел, как два привидения соскакивают с ограды на кладбище и подают руку третьему, которое, казалось, ходит с превеликим трудом. Вслед за сим появились другие привидения и примкнули к первым, так что их стало вместе примерно с десяток или с дюжину. Тогда самое грузное привидение, которое еле сползло со стены, извлекло фонарь из-под белого савана, приблизилось к притвору и, внимательно осмотрев все три трупа, сказало, обращаясь к своим спутникам:

— Друзья мои, перед вами тело маркиза Валорнес. Вы видели, как недостойно обошлись со мной мои коллеги. Каждый из них нес дикую чушь, утверждая, что маркиз скончался от отека легких. Только я один,

я, доктор Сангре Морено, был прав, доказывая, что была это *angina polyposa* *, превосходно известная всем ученым врачам. Однако, едва я произнес термин *angina polyposa*, вы видели, сами видели, как скривились мои уважаемые коллеги, которых я не вправе назвать иначе, как ослами. Вы видели, что они пожимали плечами, поворачивались ко мне спиной, считая меня, по-видимому, недостойным сочленом их собрания. Ах, конечно же, доктор Сангре Морено не создан для их общества! Погонщики ослов из Галисии и погонщики мулов из Эстремадуры — вот люди, которые должны были бы присматривать за ними и учить их уму-разуму.

Однако небеса справедливы. В прошлом году был необыкновенный падеж скота; если зараза покажется и в этом году, будьте уверены, что ни один из моих коллег ее не избежит. Тогда доктор Сангре Морено останется хозяином поля брани, вы же, дорогие мои ученики, водрузите на нем благородный стяг химической медицины ². Вы видели, как я спас графиню де Лириа с помощью простой смеси фосфора и сурьмы. Полуметаллы ³ в разумных сочетаниях — вот могущественные средства, способные вступить в борьбу и одержать победу над недугами и хворями всяческого рода. Не верьте в действенность различных зелий или корней, которые годятся разве что в корм нашим вьючным ослам, каковыми, впрочем, и являются мои достопочтенные коллеги.

Вы, дорогие мои ученики, были свидетелями просьб, с которыми я обращался к маркизе Валорнес, чтобы она мне позволила всего только ввести кончик ланцета в дыхательное горло ее достойного супруга, но маркиза, вняв уговорам моих недругов, не дала мне такого позволения, и я был вынужден искать иные средства, с помощью которых оказалось бы возможным получить вполне очевидные, на мой взгляд, доказательства.

Ах, как горько я сожалею, что достойный маркиз не может присутствовать на вскрытии собственного тела! С каким наслаждением я показал бы ему зачатки гидатические и полипозные, гнездящиеся в его бронхах и выпускающие разветвления свои вплоть до самого горла!

Но, что я говорю! Этот сквалыга-кастилец, безразличный к прогрессу науки, этот усопший скряга отказал нам в том, что ему самому вовсе и не требуется. Если бы маркиз обладал хоть самой малой склонностью к врачебному искусству, он завещал бы нам свои легкие, желудок и все прочие внутренности, которые ему уже ни на что не могут пригодиться. Но нет, он и не подумал об этом, и теперь нам приходится, подвергая свою жизнь опасности, грабить храм смерти и тревожить покой умерших.

Но не стоит об этом думать, милые мои ученики; чем больше мы встречаем препятствий, тем большую славу обретаем в их преодолении. Так пусть нам сопутствует отвага; пора уже завершить это великое предприя-

* Сужение горла, вызванное полипом, как полагал доктор Сангре Морено (лат.).

тие! После троекратного повсвиста товарищи ваши, оставшиеся по ту сторону ограды, подадут нам лестницу, и мы тотчас же похитим достойного маркиза; ему придется поздравить себя с тем, что он скончался от столь редкостной болезни, а еще больше — с тем, что он попал в руки людей, которые ее распознали и дали ей соответствующее ученое название.

Спустя три дня мы снова вернемся сюда к одному знатному покойнику, умершему вследствие... но — тсс! — тихо — не обо всем следует говорить...

Когда доктор закончил свою речь, один из его учеников трижды свистнул, и я увидел, как ему через ограду подали лестницу. Затем труп маркиза обвязали веревками и уволокли его на другую сторону. Лестницу убрали, и призраки исчезли. Когда я остался один, я начал от всей души смеяться над тем, чего сперва испугался.

Тут я должен рассказать вам об особенном способе погребения усопших, бывшем в обычае в некоторых испанских и сицилийских монастырях. Обычно для этого сооружают малые темные гроты, вернее, ниши в подвалах, куда, однако, сквозь искусно выдолбленные отверстия легко доходит воздух. В этих нишах оставляют тела, которые хотя и уберечь от разложения; темнота предохраняет их от червей, воздух же — высушивает. Спустя полгода пещеру вскрывают. Если операция удалась, монахи торжественной процессией шествуют, дабы сообщить об этом семейству усопшего. Затем они облачают тело в рясу капуцина и помещают оное в подземельях, предназначенных если не для вполне святых покойников, то, во всяком случае, для небезосновательно подозреваемых в святости.

В монастырях этих погребальное шествие доходит лишь до кладбищенских ворот, после чего послушники забирают тело и поступают с ним согласно распоряжению монастырского начальства. Обычно тело приносят вечером, а ночью вышестоящие лица собираются на совет и лишь рано утром приступают к дальнейшим действиям — поэтому многие тела оказываются уже непригодными для подобного засушивания.

Капуцины хотели засушить тело маркиза Валорнес и как раз собирались этим заняться, когда призраки обратили могильщиков в бегство. Могильщики эти явились вновь в предрассветный час, тихонько ступая и крепко держась друг за друга. Невероятный ужас объял их, когда они увидели, что тело маркиза исчезло. Они решили, что тело это, без сомнения, похитил сам дьявол!

Вскоре сбежались все монахи, вооруженные кропильницами, кропя святой водой, читая молитвы, изгоняющие бесов, и крича благим матом. Что касается меня, то я валился с ног от усталости; я упал на солому и мгновенно заснул.

Наутро первая мысль моя была о наказании, которое мне уготовано, вторая — о том, как его избежать. Вейрас и я настолько привыкли забираться в кладовую, что вскарабкаться на стену для нас не составляло

ни малейшего труда. Мы умели также выставлять решетки из окон и вставлять их на прежнее место, отнюдь не нарушая целостности стены. Я достал из кармана нож и вырвал гвоздь из оконного косяка; гвоздем этим я намеревался обрушить один из прутьев решетки. Я трудился без отдыха до самого полудня. В полдень оконце в дверях моей темницы отворилось, и я узнал послушника, который прислуживал нам в спальне. Он подал мне ломоть хлеба и кувшин с водой и осведомился, не нужно ли еще чего. Я просил его, чтобы он пошел от меня к отцу Санудо и упросил его дать мне постель; ибо справедливо, чтобы мне было определено наказание, но не следует оставлять меня в грязи и мерзости.

Наставники признали основательность моего рассуждения, мне прислали то, что я просил, и прибавили еще даже кусочек холодного мяса, чтобы я не ослабел от истощения. Я попробовал осторожно разведать, что с Вейрасом; оказалось, что он не посажен в карцер. С удовлетворением я узнал, что виновных не искали. Спросил еще, когда мне будет назначено наказание. Послушник ответил, что не знает, но что, однако, обычно оставляют три дня, дабы виновный имел время на размышление. Мне больше и не требовалось, и я совершенно успокоился.

Водой, которую мне принесли, я увлажнил стену, и труд мой быстро продвигался вперед. На третий день решетку можно было извлекать без особого труда. Тогда я разодрал на куски одеяло и простыни, сплел канат, который мог послужить мне вместо веревочной лестницы, и дожидался лишь ночи, чтобы совершить побег. В самом деле, я не мог терять времени, ибо послушник передал мне, что завтра я предстану перед хунтой театинцев под председательством члена святой инквизиции.

Под вечер вновь принесли тело, покрытое черным сукном с серебряной бахромой. Я догадался, что это, должно быть, тот самый знатный покойник, о котором упоминал доктор Сангре Морено.

Как только настала ночь и тишина обступила монастырь, я вынул решетку и уже собирался было спускаться, когда на кладбищенской стене вновь показались привидения. Были это, как вы можете догадаться, ученики доктора. Они направились прямо к знатному покойнику и унесли его, не тронув, однако, сукна с серебряной бахромой. Едва они ушли, я отворил окно и спустился самым благополучным образом. Затем я хотел приставить к ограде первые с краю носилки и перебраться на другую сторону.

Я как раз занялся этим, когда услышал, что отворяют ворота кладбища. Со всех ног я помчался к притвору, улегся на носилки и укрылся сукном с бахромой, приподняв один уголок, чтобы видеть, что произойдет дальше.

Сперва вошел какой-то конюший, весь в черном, с факелом в одной руке и со шпагой в другой. За ним выступали слуги в трауре и наконец — дама необычайной красоты, с головы до пят облаченная в черный креп.

Заливаясь слезами, она подошла к носилкам, на которых я лежал, и, преклонив колени, начала горестно упрекать кого-то:

— О дорогие останки любимейшего из мужей! Отчего я не могу, как вторая Артемизия, смешать ваш пепел с моей пищей? Ибо я хочу, чтобы этот прах вращался вместе с моею кровью и оживил то сердце, которое всегда билось только для тебя! Но раз вера наша запрещает мне стать твоей живой гробницей, я хочу хотя бы вырвать тебя из этого сборища усопших, жажду каждый день горькими слезами орошать цветы, выросшие на твоей могиле, где последний мой вздох вскоре нас соединит.

Сказав это, дама обратилась к конюшему:

— Дон Диго, вели взять тело твоего господина; мы похороним его в часовне у нас в саду.

Тотчас же четверо плечистых слуг подняло носилки. Полагая, что несут умершего, они не совсем заблуждались, ибо я и в самом деле был чуть жив, или, вернее, полумертв от страха.

Когда цыган дошел до этого места своей повести, ему дали знать, что дела табора требуют его присутствия. Он покинул нас, и в тот день мы его уже больше не видели.

День двадцать седьмой

На следующий день мы все еще оставались на месте. У цыгана было свободное время; Ревекка воспользовалась первой возможностью и попросила его рассказать о дальнейших приключениях; вожак охотно покорился ее желаниям и начал такими словами:



Продолжение истории цыганского вожака

Когда меня понесли, я чуть-чуть распорол шов в сукне, которым был укрыт. Я заметил, что дама села в лектику, задрапированную черными тканями; конюший ехал рядом с ней верхом, слуги же, которые меня несли, сменялись, чтобы, переведа дух, бежать потом как можно быстрее.

Мы вышли из Бургоса, не помню уже, через какие ворота, и шли около часа, после чего остановились у входа в сад. Меня внесли в павильон и опустили на пол посреди комнаты, обитой в знак траура черным сукном и слабо освещенной несколькими лампами.

— Дон Диего, — сказала дама своему конюшему, — оставь меня одну, я хочу рыдать над этими возлюбленными останками, с которыми горе меня скоро соединит.

Когда конюший ушел, дама села передо мной и сказала:

— Жестокый, вот до чего, наконец, довело тебя твое неумолимое упрямство! Проклял нас, не выслушав, — как же теперь ты станешь отвечать перед страшным судом вечности?

В этот миг вбежала другая женщина, напоминающая фурию, с распущенными волосами и кинжалом в руке:

— Где, — завопила она, — жалкие останки этого чудовища в человеческом образе? Дознаюсь, если ли у него внутренности, вырву их, добуду это безжалостное сердце, раздеру его собственными руками своими и только тем успокою свою ярость!

Я рассудил, что пришло время объявить этим дамам, с кем они имеют дело. Вылез из-под сукна и, бросившись к ногам дамы с кинжалом, вскричал:

— Госпожа, сжался над бедным школяром, который, опасаясь розог, укрылся под этим сукном!

— Несчастный мальчишка, — воскликнула дама, — что же случилось с телом герцога Сидония?

— В эту ночь, — оствовал я, — его похитили ученики доктора Сангре Морено.

— Правое небо! — прервала дама, — он один знал, что герцог был отравлен. Я погибла. . .

— Не бойся, госпожа, — сказал я, — доктор никогда не осмелится признаться, что похищает трупы с кладбища капуцинов, эти же последние, приписывая дьяволу сии козни, не захотят признаться, что сатана приобрел такую мощь в их святом приюте.

Тогда дама с кинжалом, строго взглянув на меня, сказала:

— Но ты, мальчишка, кто нам поручится, что ты сумеешь молчать?

— Меня, — ответил я, — должна была судить хунта театинцев под председательством члена инквизиции. Несомненно, меня приговорили бы к тысяче розог. Позволь, госпожа, скрывающая меня от света, уверить тебя в том, что я сохранию тайну.

Дама с кинжалом вместо ответа подняла створки люка в углу комнаты и подала мне знак, чтобы я спустился в подвал. Я повиновался приказу, и пол сомкнулся надо мной.

Я спустился по совершенно темной лестнице, ведущей в столь же темное подземелье. Наткнулся на столб, ощутил под рукой цепи, ногами же нащупал надгробье с железным крестом. Правда, мрачные сии предметы нисколько не настраивали на сонный лад, но я был в том счастливом возрасте, когда усталость оказывается могущественней любых тягостных впечатлений. Я растянулся на мраморном надгробье и вскоре заснул глубоким сном.

Наутро, проснувшись, я заметил, что тюрьму мою освещает лампа, повешенная в боковом подземелье, отделенном от моего железной решеткой. Вскоре дама с кинжалом показалась у решетки и поставила корзинку, накрытую салфеткой. Она хотела что-то сказать, но рыдания прерывали ее речь. Она удалилась, знаками давая мне понять, что место это пробуждает в ней ужасные воспоминания. Я нашел в корзинке вдоволь еды и несколько книжек. Розги перестали меня тревожить, и я был уверен, что больше не встречу ни с одним театинцем; этого для меня было довольно, и я провел приятный денек.

На следующий день еду принесла мне юная вдова. И она тоже хотела говорить, но у нее не хватило сил, и она ушла, не будучи в состоянии ска-

зать ни слова. Наутро она пришла опять, держа корзиночку, которую подала мне через решетку. В той части подземелья, где она находилась, вышло огромное распятие. Она бросилась на колени перед этим изображением нашего спасителя и так начала молиться:

— Великий боже! Под этой мраморной плитой почивают оскверненные останки сладостного и нежного юноши. Ныне он уже, без сомнения, обретается среди ангелов, образом коих он был на земле, и умоляет тебя быть милосердным к жестокому убийце ради той, которая отомстила за смерть этого юноши, и ради несчастной, которая сделалась невольной соучастницей и жертвой стольких жестокостей и ужасов.

После этих слов, дама тихим голосом, но с великим рвением продолжала молиться. Наконец, она встала, подошла к решетке и, немного успокоившись, сказала мне:

— Юный друг мой, скажи, быть может, тебе чего-нибудь не хватает и чем я могу тебе помочь?

— Госпожа, — ответил я, — у меня есть тетка, по имени Далоноса, которая живет рядом с театинцами. Я был бы рад, если бы ей сообщили, что я жив и нахожусь в безопасном месте.

— Такое поручение, — молвила дама, — могло бы поставить нас под удар. Однако обещаю тебе, что подумаю, каким образом успокоить твою тетку.

— Госпожа, ты ангел доброты, — сказал я, — и муж, который сделал тебя несчастной, должно быть был чудовищем.

— Ты ошибаешься, мой друг, — возразила дама. — Он был самым лучшим и самым нежным из людей.

Назавтра другая дама принесла мне еду. На этот раз она показалась мне менее возбужденной и гораздо лучше владела собой.

— Дитя мое, — сказала она, — я сама побывала у твоей тетки; видно, что эта женщина любит тебя, как родного сына. Разве у тебя нет ни отца, ни матери?

Я рассказал ей, что матушка моя уже умерла и что, по несчастной случайности, свалившись прямо в чернильницу моего отца, я оказался навеки изгнанным из его дома. Дама захотела, чтобы я объяснил ей эти мои слова. Я чистосердечно поведал ей все мои приключения, которые вызвали улыбку на ее устах.

— Мне кажется, — молвила она, — что я рассеялась, чего не случилось со мной уже с давних пор. И у меня был сын; теперь он почивает вот под этим мраморным надгробьем, на котором ты сидишь. Я рада была бы обрести его в тебе. Я была кормилицей герцогини Сидония, ибо я родом из поселян, но у меня есть сердце, которое умеет любить и ненавидеть, и поверь мне, что женщины с таким характером всегда чего-нибудь да стоят.

Я поблагодарил даму, уверяя ее, что до гробовой доски буду питать к ней сыновние чувства.

Так прошло несколько недель, и обе дамы все больше ко мне привыкали. Кормилица обходилась со мной, как с сыном, а герцогиня проявляла ко мне большую благосклонность и нередко долгие часы проводила в под-земелье.

Однажды, когда она показалась мне печальней, чем обычно, я осмелился просить ее, чтобы она рассказала мне о своих горестях. Она долго отказывалась, но, наконец, уступила моим просьбам и начала свой рассказ такими словами:

История герцогини Медина Сидония



Я — единственная дочь дона Эммануэля де Валь Флорида, первого государственного секретаря, умершего недавно. Кончина его опечалила не только его повелителя, но, как мне говорили, также и дворы, союзные с нашим могущественным монархом. Только в последние его годы я узнала этого благородного человека.

Я провела молодость в Астурии, близ матери моей, которая, расставшись с мужем после нескольких лет супружеской жизни, жила у своего отца, маркиза Асторгас, единственной наследницей которого она была.

Я не знаю, в какой мере матушка моя заслужила утрату любви своего супруга, помню только, что долгих страданий ее жизни хватило бы для искупления самых ужасных провинностей. Печаль пронизывала все ее существование, слезы блестили в каждом ее взоре, горе проглядывало в каждой улыбке, она даже не знала спокойного сна. Рыдания и вздохи постоянно его прерывали.

Однако разлука не была полной. Мать регулярно получала письма от своего мужа и столь же регулярно отвечала ему. Дважды она посетила его в Мадриде, но сердце супруга было для нее закрыто навсегда. Маркиза обладала душой чувствительной и жаждущей любви и поэтому всю свою привязанность обратила на своего отца, и чувство это, доведенное почти до экзальтации, несколько усладило горечь ее долгих страданий.

Что касается меня, то я не в состоянии определить чувство, какое моя матушка питала ко мне. Она, несомненно, любила меня, но можно было сказать, что она страшится руководить моей жизнью. Она не только никак не поучала меня, но и не смела ни в чем мне советовать, более того, если мне подобает такая речь, я сказала бы, что, сойдя с пути добродетели, она не считала себя достойной заниматься воспитанием дочери. Забвение, в котором я пребывала с первых лет жизни, конечно, лишило бы меня благ хорошего воспитания, если бы при мне не было Гироны, сперва кормилицы, а затем моей дуэньи. Ты знаешь ее, знаешь, что она обладает душой сильной и умом чрезвычайно образованным. Она ничего не пожалела, чтобы только обеспечить мне счастье в будущем, но неумолимая судьба обманула ее надежды.

Педро Гирон, муж моей кормилицы, известен был как человек предпримчивый, но дурного характера. Принужденный покинуть Испанию, он отплыл в Америку и не подавал о себе никаких вестей. Гирона имела от него единственного сына, который был моим молочным братом. Ребенок этот отличался необычайной красотой и поэтому его называли Эрмосито. Несчастный недолго наслаждался жизнью и этим именем. Одна грудь вскормила нас, и часто мы спали в одной и той же колыбели. Тесная дружба связывала нас до седьмого года нашей жизни. Тогда Гирона рассудила, что пришло время рассказать сыну о различии нашего положения и о пропасти, которая по воле судьбы пролегла между ним и его юной подругой.

Однажды, когда мы из-за чего-то по-детски повздорили, Гирона призвала своего сына и сказала ему необычайно строго:

— Прошу тебя никогда не забывать, что герцогиня де Валь Флорида — твоя и моя госпожа, и что мы оба — только первые слуги ее дома.

Эрмосито послушался этих ее слов. С тех пор он слепо выполнял все мои желания, старался даже угадывать их и предупреждать. Это безграничное повиновение, казалось, имело для него несказанную прелесть, я же радовалась, видя его столь покорным. Тогда Гирона заметила, что этот новый способ взаимного обхождения обречет нас на другие опасности и решила разлучить нас, как только нам исполнится тринадцать лет. А пока она перестала размышлять об этом и обратила внимание на другое.

Гирона, как ты знаешь, женщина образованного ума, она в свое время познакомила нас с произведениями знаменитых испанских авторов и дала нам первые понятия об истории. Желая развить наш ум, она предложила толковать то, что мы читаем, и показывала, каким образом надлежит понимать исторические события. Дети, изучая историю, обыкновенно испытывают горячую привязанность к лицам, игравшим наиболее великолепные роли на подмостках оной. В таких случаях мой герой сразу же становился героем моего друга, когда же предмет моего обожания сменялся, Эрмосито с тем же самым пылом разделял мои симпатии.

Я настолько привыкла к покорности Эрмосито, что малейшее сопротивление с его стороны неслыханно бы меня удивило, но мне нечего было бояться, я сама должна была ограничить свою власть или осмотрительней ее употреблять.

Однажды мне захотелось достать красивую ракушку, которую я заметила на дне прозрачных, но глубоких вод. Эрмосито бросился за ней и чуть не утонул. Как-то в другой раз под ним сломалась ветка, когда он вытаскивал гнездо, которое я захотела получить. Он упал и сильно расшибся. С тех пор я с большей осмотрительностью высказывала свои желания, но в то же время обнаружила, как прекрасно обладать такою властью, но не употреблять ее. Было это, если я хорошо припоминаю, первое проявление моего себялюбия; с тех пор, мне кажется, я не раз могла бы сделать подобные наблюдения.

Так прошел тринадцатый год нашей жизни. В день, когда Эрмосито исполнилось тринадцать, мать сказала ему:

— Сын мой, сегодня мы отмечаем тринадцатую годовщину твоего рождения. Ты уже не ребенок и не можешь так просто приближаться к твоей госпоже. Попрошайся с ней, завтра ты поедешь в Наварру, к твоему дедушке.

Гирона еще не успела окончить этих слов, как Эрмосито впал в ужасное отчаяние. Он расплакался, потерял сознание, пришел в чувство, чтобы вновь залиться слезами. Что до меня, то я больше желала успокоить свою печаль, чем разделить его огорчения. Я считала его существом, всецело зависящим от меня, и поэтому не удивлялась его отчаянию. Но я не проявила ни малейшей взаимности. Впрочем, я была еще слишком молода и слишком привыкла к нему, чтобы его необыкновенная красота могла произвести на меня какое-нибудь впечатление.

Гирона была не из тех, кого можно тронуть слезами, она не обращала внимание на печаль Эрмосито и готовила все для его поездки. Но спустя два дня после отъезда погонщик мулов, которому она доверила сына, пришел весьма встревоженный и огорченный и сообщил, что, проходя лесом, он покинул на минутку мулов и, возвратившись, уже не нашел Эрмосито; что он звал и искал его напрасно и что, без сомнения, его съели волки. Гирона была больше удивлена, чем огорчена.

— Увидите, — сказала она, — что маленький негодник вскоре вернется к нам.

И в самом деле, она не ошиблась. Вскоре мы увидели нашего беглеца. Эрмосито бросился к ногам матери, говоря:

— Я рожден, чтобы служить герцогине де Валь Флорида, и умру, если меня от нее удалят.

Спустя несколько дней Гирона получила письмо от мужа, от которого до тех пор не имела никаких вестей. Он писал ей, что в Веракрус приобрел значительное состояние, прибавляя, что был бы рад иметь сына около

себя, если тот еще жив. Гирона, стремясь прежде всего удалить Эрмосито, не преминула воспользоваться представившейся возможностью. Эрмосито с минуты своего возвращения жил уже не в замке, а в принадлежавшей нам маленькой деревушке на морском берегу. Однажды утром мать пришла к нему и заставила его сесть в лодку рыбака, который обещал отвезти мальчика на стоящий поблизости американский корабль. Эрмосито сел на корабль, но ночью бросился в море и вплавь добрался до берега. Гирона силой заставила его вернуться. Это были жертвы, которые она совершила из чувства долга, и нетрудно было видеть, чего они ей стоят.

Все эти события, о которых я тебе рассказываю, очень быстро следовали друг за другом, после чего наступили иные, гораздо более печальные. Мой дед расхворался; матушке моей, с давних пор терзаемой затяжной болезнью, едва хватало сил, чтобы ухаживать за ним в последние его минуты, и она скончалась одновременно с маркизом Асторгас.

Со дня на день ожидали приезда моего отца в Астурию, но король не желал отпускать его от себя, так как государственные дела требовали его присутствия при дворе. Маркиз де Валь Флорида в лестных выражениях написал Гироне, повелевая ей самым спешным образом привезти меня в Мадрид. Отец мой принял к себе в услужение всех домохозяев маркиза Асторгаса, единственной наследницей которого я стала. Составив мне великолепную свиту, они собрались со мной в дорогу. Дочь государственного секретаря может быть уверена в том, что во всей Испании ей окажут самый лучший прием; почести, которые мне всюду воздавались по дороге, пробудили в моем сердце жажду еще больших почестей, жажду, которая позднее решила всю мою судьбу.

Когда мы подъезжали к Мадриду, другие виды себялюбия несколько заглушили это первое чувство. Я помнила, что маркиза де Валь Флорида любила своего отца, боготворила его, казалось, жила и дышала лишь для него одного, в то время как ко мне относилась с известным холодком. Теперь у меня тоже был отец; я поклялась любить его от всей души, я хотела способствовать его счастью. Надежда эта наполнила меня гордостью, я забыла о своем возрасте, возомнив, что я уже взрослая, хотя мне шел только четырнадцатый год.

Я все еще была погружена в эти сладкие грезы, когда экипаж въехал в ворота нашего дворца. Отец встретил меня у входа и осыпал тысячью ласк. Вскоре по королевскому приказу он был вызван ко двору, а я ушла в свои покои, но была чрезвычайно взволнована и всю ночь не смыкала глаз.

Рано утром отец велел позвать меня к себе; он как раз пил шоколад и хотел, чтобы я позавтракала вместе с ним. Минуту спустя он сказал мне:

— Милая Элеонора, образ жизни моей невесел, и характер мой с некоторых пор стал весьма мрачным; но раз небо возвратило мне тебя,

я надеюсь, что отныне наступят более ясные дни. Двери моего кабинета всегда будут открыты для тебя; приходи сюда, когда хочешь, с каким-нибудь рукоделием. У меня есть другой, особый кабинет для совещаний и секретных занятий, в перерывах между делами я смогу разговаривать с тобой и питаю надежду, что сладость этой новой жизни напомнит мне некоторые картины столь давно утраченного семейного счастья.

Сказав это, маркиз позвонил. Вошел секретарь с двумя корзинами, из которых в одной находились письма, пришедшие в этот день, в другой же — письма просроченные, которые еще ожидали ответа.

Я провела некоторое время в отцовском кабинете, после чего удалилась в свои покои. Возвратившись в час обеда, я увидела нескольких старинных друзей моего отца, занятых, так же, как и он, делами величайшей важности. Они не боялись откровенно говорить обо всем в моем присутствии, простодушные же замечания, которые я вставляла в их разговоры, порой их явно забавляли. Я заметила, что замечания мои интересуют моего отца, и очень была этим довольна.

На следующее утро, едва узнав, что он уже в своем кабинете, я сразу же пошла к нему. Онпил шоколад и сказал мне с сияющим лицом:

— Сегодня пятница, скоро придут письма из Лиссабона.

После чего позвонил секретарю, который внес обе корзинки. Отец с нетерпением просмотрел содержимое первой из них и вынул письмо, состоящее из двух листов: одного, писанного шифром, который он отдал секретарю; и другого — незашифрованного, который он начал читать сам, поспешно и не без удовольствия.

В то время, как он был занят чтением, я взяла конверт и стала рассматривать печать. Я различила Золотое Руно¹, а над ним — герцогскую корону. Увы, этому пышному гербу суждено было вскоре сделаться моим. На завтра пришла почта из Франции, и так во все последующие дни, но ни одна почта не занимала так моего отца, как португальская.

Когда прошла неделя и наступила пятница, я весело сказала отцу, сидевшему за завтраком:

— Нынче пятница, к нам снова придут письма из Лиссабона.

Потом я попросила, чтобы он позволил мне позвонить, и, когда секретарь вошел, подбежала к корзинке, достала долгожданное письмо и подала его отцу, который в награду нежно обнял меня.

Таким образом прошло несколько пятниц. Наконец, однажды я осмелилась спросить моего отца, что это за письма, которых он всегда ожидает с таким нетерпением.

— Это письма, — отвечал он, — от нашего посла в Лиссабоне, герцога Медина Сидония, моего друга и благодетеля, и даже больше, ибо я убежден, что судьба его тесно связана с моею судьбой.

— В таком случае, — сказала я, — этот благородный герцог имеет право и на мое уважение. Я рада была бы с ним познакомиться. Я не

спрашиваю, что он пишет тебе тайнописью, но умоляю тебя, отец, прочти мне другое письмо.

За эти слова батюшка мой внезапно разгневался на меня. Он сказал, что я испорченное, своевольное дитя, капризная фантазерка. Прибавил еще множество неприятных слов. Но потом смягчился и не только прочитал, но и подарил мне письмо герцога Медина Сидония. Оно у меня и по сей день здесь, наверху, и я принесу его в следующий раз, когда приду тебя навестить.

Когда цыган дошел до этого места, ему дали знать, что дела табора требуют его присутствия; он удалился, и в тот день мы его больше уже не видели.



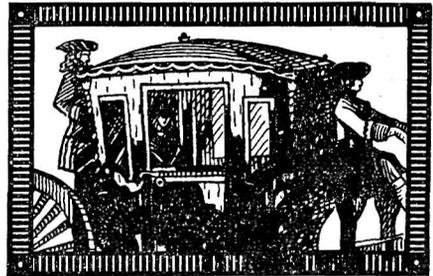
День двадцать восьмой

Все мы довольно рано собрались к завтраку. Ревекка, видя, что возжак не слишком занят, просила его продолжить свой рассказ, что он и сделал в следующих словах:



Продолжение истории цыганского вожжака

В самом деле, на следующий день герцогиня принесла мне письмо, о котором прежде упомянула и которое гласило следующее:



Продолжение истории герцогини Медина Сидония

Герцог Медина Сидония — маркизу де Валь Флорида.

Ты найдешь, дорогой друг, в зашифрованных депешах продолжение наших переговоров. А в этом письме я хочу тебе рассказать о том, что творится при этом дворе святош и распутников, при коем я обречен пребывать. Один из моих людей довезет это письмо до границы, и поэтому я могу писать тебе откровенней, чем обычно.

Король дон Педро де Браганца¹ постоянно превращает монастыри в арену своих любовных шашней. Он покинул теперь игуменью урсулинок

ради аббатиссы ордена салезианок. Его королевское величество желает, чтобы я сопровождал его в этих амурных паломничествах, что я и вынужден делать ради нашего общего блага. Король беседует с аббатиссой, отделенный от нее несокрушимой решеткой, которая, как говорят, не без помощи тайных пружин, падает под мощной дланью всемогущего монарха.

Мы все, кто его сопровождает, расходимся по комнатам для бесед, где нас принимают младшие монахини. Португальцы находят особую приятность в разговоре с монахинями, возгласы которых столь же бездумны и бессмысленны, как пение пташек в клетках, живущих, подобно им, под замком. Однако же интересная бледность дев, принявших постриг, их набожные вздохи, чувствительное применение религиозного языка, их простодушное неведение и мечтательные порывы — все это производит на молодых господ лиссабонского двора впечатление, какого они давно уже не испытывают в обществе светских дам.

Все в этих приютах и обителях — упоение души и чувства. Воздух благоухает нежнейшим ароматом цветов, возложенных около святых изваяний; за решетками видны дышащие благовониями уединенные спальни; звуки светской гитары смешиваются с аккордами церковных органов, и все заглушает нежное воркование младости, напирающей с обеих сторон на решетки. Вот какие нравы царят в португальских монастырях.

Что до меня, то я лишь в течение краткого времени мог предаваться этим нежным безумствам, ибо страстные слова любви мгновенно воскрешают в моем уме картины преступления и убийства. А я ведь совершил только одно убийство: убил друга, человека, который тебе и мне спас жизнь.

Распутные нравы большого света стали причиной этих злосчастных событий, которые осквернили мое сердце в годы расцвета, когда душа моя, казалось, должна была открыться для счастья, добродетели и, конечно, для чистой любви. Но чувство это не могло возникнуть среди таких жестоких впечатлений. Сколько раз я слышал разговоры о любви, столько раз мне казалось, что кровь выступает у меня на ладонях. Однако я ощущал потребность в любви, и то, что, может быть, породило бы любовь в моем сердце, превратилось в чувство благосклонности, которое я старался распространить вокруг себя.

Я любил свое отечество и более всего наш храбрый испанский народ, преданный престолу и алтарю, верный долгу чести. Испанцы платили мне взаимностью, и при дворе полагали, что я слишком любим. С тех пор, в почетном изгнании, я, как мог, служил стране своей и издалека стремился действовать ради блага подвластных мне. Любовь к отчизне и человечеству наполняла сердце мое сладостными чувствами.

Что же до другой любви, которой я должен был украсить весну моей жизни, чего же я могу от нее ожидать теперь? Я решил завершить собою род Медина Сидония. Я знаю, что дочери многих грандов жаждут соче-

таться со мной браком, но не ведают, что предложение руки моей было бы ужасным даром. Мой образ мыслей не согласуется с нынешними нравами. Отцы наши считали своих жен сокровищницами своего счастья и чести. В старой Кастилии кинжал и яд карали супружескую измену. Я нисколько не порицаю своих предков, но не хотел бы и подражать им; а посему, конечно, лучше, что мой род прекратится с моей кончиною.

Когда отец мой дошел до этого места, он, казалось, заколебался и не хотел читать далее, но я начала его так настойчиво упрашивать, что он не смог сопротивляться моим мольбам и продолжал следующим образом:

Я радуюсь вместе с тобою счастью, которое тебе приносит общество прелестной Элеоноры. Ум в этом возрасте должен принимать очаровательные формы. То, что ты о ней пишешь, доказывает, что ты счастлив с ней; от этого сознания я и сам становлюсь гораздо счастливее.

При этих словах я не могла сдержать восторга, бросилась к отцу и стала его обнимать; я была уверена, что составляю его счастье. И сладчайшая мысль эта наполнила меня чувством неизъяснимой радости.

Когда прошли первые мгновения восторга, я спросила отца, сколько лет герцогу Медина Сидония.

— Он, — ответил отец, — пятью годами моложе меня, но принадлежит к людям, которые никогда не старятся.

Я была в возрасте, в котором юные девушки вовсе не задумываются о возрасте мужчины. Мальчик четырнадцати лет мне, четырнадцатилетней, как и он, показался бы ребенком, не достойным внимания. Отца я вовсе не считала стариком; поэтому герцог, который был на пять лет моложе, был в моих глазах совсем молодым человеком, чуть ли не юношей. Это было первое представление, которое у меня о нем сложилось, и позднее оно во многом решило мою судьбу.

Потом я спросила, что это за убийство, о котором упоминает герцог. При этих словах отец мой нахмурился и, несколько поразмыслив, молвил:

— Дорогая Элеонора, это события, близко касающиеся того, что разлучило меня с твоею матерью. Я не должен был тебе об этом говорить, но раньше или позже твое любопытство обратится в этом направлении, так пусть же вместо домыслов о предмете, столь же щекотливом, сколь и печальном, я расскажу тебе все сам.

После такого вступления, отец так поведал мне о событиях своей жизни:



История маркиза де Валь Флорида

Ты прекрасно знаешь, что род Асторгас угас с кончиной твоей матери. Семейство это вместе с родом Валь Флорида принадлежало к старейшим в Астурии. Всеобщие пожелания всей провинции предназначали мне руку и сердце донны Асторгас. Заранее приученные к этой мысли, мы стали питать взаимные чувства, которые должны были утвердить наше супружеское счастье. Однако различные обстоятельства были причиной того, что союз наш был заключен позднее, чем предполагалось; я женился только на двадцать пятом году.

Спустя шесть недель после нашей свадьбы, я заявил жене, что, так как все мои предки служили в армии, то честь повелевает мне пойти по их стопам, и что, наконец, во многих гарнизонах Испании можно вести жизнь, гораздо более приятную, чем в забытой богом Астурии. Госпожа де Валь Флорида отвечала, что всегда будет согласна с моим мнением, если речь пойдет о чести нашего семейства. Было решено, что я поступаю на военную службу. Я написал министру и получил эскадрон в полку герцога Медина Сидония; полк этот стал на постой в Барселоне. Там ты и появилась на свет, дитя мое.

Вспыхнула война; нас отправили в Португалию, на соединение с армией дона Санчо де Сааведра. Военачальник этот в той войне особенно прославился битвой под Вила Марга. Наш полк, тогда сильнейший в целой армии, получил приказ уничтожить английскую колонну, которая составляла левое крыло неприятеля. Дважды мы атаковали безрезультатно и уже готовились к третьей атаке, когда вдруг среди нас появился рыцарь во цвете лет, облаченный в великолепные латы.

— За мной! — воскликнул он. — Я ваш полковник, герцог Медина Сидония!

И в самом деле, хорошо, что он назвал себя, ибо мы готовы были принять его за ангела смерти или за какого-нибудь пресветлого князя небесного воинства, ибо было в нем нечто сверхъестественное и неземное.

На сей раз мы разгромили английскую колонну, и слава этого дня всецело принадлежала нашему полку. Я могу смело заявить, что после герцога отважней всех сражался я. Столь лестное свидетельство я получил

от моего начальника, который тут же оказал мне честь просить моей дружбы. Это не было пустой любезностью с его стороны. Мы сделались истинными друзьями: герцог никогда не обращался со мной свысока, я же никогда не опускался до лести. Испанцев упрекают в известной надменности в обхождении, однако, естественно избегая фамильярности, мы умеем быть гордыми без кичливости и учтивыми без искательства.

Победа под Вила Марга открыла множество вакансий. Герцог стал генералом, мне же — прямо на поле брани — присвоили звание подполковника и первого адъютанта.

Нам дали опасное поручение — помешать неприятелю форсировать Дуэро. Герцог занял удобную позицию и весьма долго ее удерживал, но наконец все английское войско ринулось на нас. Численное превосходство не могло заставить нас отступить; началось ужасное кровопролитие, и наша гибель была уже неминуемой, как вдруг некий Ван Берг, командир валлонских рот, подоспел к нам на помощь с тремя тысячами солдат. Он явил чудеса отваги и не только вызволил нас из опасного положения, но благодаря ему поле брани осталось за нами. Впрочем, невзирая на это, мы на следующий день соединились с главными частями нашей армии.

Когда мы так отступали вместе с валлонами, герцог подошел ко мне и сказал:

— Дорогой Валь Флорида, я знаю, что число два наиболее приличествует дружбе и невозможно превзойти это число, не оскорбляя священных законов сего чувства. Однако я полагаю, что важная услуга, оказанная нам Ван Бергом, позволяет нам сделать для него исключение. Мне кажется, что признательность велит нам предложить ему нашу дружбу и допустить его третьим к тем узам, какие связуют нас.

Я был согласен с герцогом, который отправился к Ван Бергу и предложил ему нашу дружбу с достоинством, соответствующим значению, которое он придавал званию друга. Ван Берг удивился не на шутку и сказал:

— Ваша герцогская милость оказывает мне непомерно большую честь. Должен вас предупредить, что я имею обыкновение ежедневно напиваться до положения риз; если же я по чистой случайности не пьян, то веду чрезвычайно крупную игру. Поэтому, если ваша милость питает отвращение к подобному рода обычаям, не думаю, что наш дружеский союз будет особенно долговечен.

Эта отповедь смутила герцога, впрочем, миг спустя, он рассмеялся, заверил Ван Берга в своем уважении к нему и обещал, что употребит при дворе все свое влияние, чтобы выхлопотать для него как можно более щедрую награду. Ван Берг, однако, всему предпочитал наличные. Король даровал ему баронат Делен, расположенный в округе Малин²; Ван Берг в тот же день продал этот баронат Вальтеру Ван Дику, антверпенскому мещанину и армейскому поставщику.

Мы стали на зимние квартиры в Коимбре³, одном из прекраснейших городов Португалии. Госпожа де Валь Флорида прибыла ко мне; она любила светскую жизнь, а посему я и распахнул двери нашего дома для достойнейших офицеров армии. Однако герцог и я мало предавались шумным забавам света; гораздо более важные дела занимали все наше время.

Добродетель была кумиром молодого герцога Сидония, всеобщее благо — его мечтою. Мы размышляли о положении Испании и строили планы ее грядущего благоденствия. Ради того, чтобы осчастливить испанцев, мы стремились сперва вселить в них любовь к добродетели и отвратить их от неумеренного корыстолюбия, что ни в коей мере не представлялось нам затруднительным. Мы намеревались также воскресить старинные рыцарские традиции. Каждый испанец должен был быть столь же верен жене своей, как и королю, и каждый должен был иметь товарища по оружию. Мы с герцогом уже стали соратниками и были убеждены, что свет будет когда-нибудь говорить о нашем союзе и что благородные умы, идя по нашим стопам, продолжат для всех прочих смертных стезю добродетели.

Стыдно мне, милая Элеонора, рассказывать тебе о подобных сумасбродствах, но с давних пор уже замечено, что юноши, предающиеся мечтаниям, становятся со временем полезными и даже незаурядными людьми. И, напротив, юные Катоны, рассудочные не по летам, не в силах никогда возвыситься над своекорыстными расчетами. Бессердечие стесняет их разум и лишает их возможности стать, не говоря уже — государственными людьми, но даже и полезными гражданами. Правило это почти не знает исключений.

Вот так, устремляя воображение наше по путям добродетели, мы тешили себя надеждой, что возродим когда-нибудь в Испании век Сатурна и Реи⁴. А между тем Ван Берг в меру своих возможностей создавал собственный золотой век. Он продал баронат Делен за восемьсот тысяч ливров и дал слово чести, что не только растратит эти деньги за два месяца пребывания на зимних квартирах, но и, более того, наделает еще на сто тысяч франков долгов. Расточительный наш фламандец рассчитал затем, что для того, чтобы сдержать свое слово, ему следует тратить в день тысячу четыреста пистолей, что было весьма нелегко в таком городишке, как Коимбра. Он испугался мысли, что слишком опрометчиво дал слово, когда же ему замечали, что он может употребить часть денег на помощь бедным и осчастливить множество людей, он отвечал, что поклялся тратить, а отнюдь не раздавать и что чувство собственного достоинства не позволяет ему даже самую мизерную долю этих денег обратить на добрые дела; даже игра ему не может помочь, ибо он ведь может и выиграть; но даже если он и проиграет, то проигранные деньги не могут считаться истраченными.

Столь затруднительное положение, казалось, поставило Ван Берга в тупик; несколько дней он пребывал в рассеянности и наконец нашел способ, который непременно должен был спасти его честь. Он собрал, сколько только мог сыскать, поваров, музыкантов, прыгунов, комедиантов и прочих тружеников развеселого ремесла. Поутру он устраивал великолепную пирушку, вечером — бал и спектакль, и, если вопреки всем его стараниям ему все-таки не удавалось растратить за день тысячу четь-реста пистолей, он приказывал остаток вышвырнуть за окно, приговаривая, что подобный поступок тоже зачислится как мотовство.

Успокоив таким образом свою совесть, Ван Берг обретал прежнюю веселость. В сущности, это был чрезвычайно остроумный человек, и он преизящнейшим образом умел защищать свои пороки и чудачества, за которые все на него нападали и которые все вменяли ему в вину. Те рассуждения, в которых он необычайно изощрился, придавали блеск его беседе и отличали его от нас, испанцев, обыкновенно сумрачных и немногоречивых.

Ван Берг нередко бывал у меня вместе со старшими офицерами армии, однако приходил также и в часы, когда меня не было дома. Я знал об этом и нисколько не гневался, ибо воображал, что безграничное доверие к нему с моей стороны убедит его, что я везде и всегда готов видеть в нем желанного гостя.

Прочие же офицеры были совершенно иного мнения, и вскоре поползли слухи, задевавшие мою репутацию. Ни один из этих слухов не достиг моих ушей, однако герцог услышал об этих пересудах и, зная, как я люблю свою жену, по дружбе огорчился за меня. Однажды он отправился к госпоже де Валь Флорида и упал к ее ногам, умоляя, чтобы она не забывала о своем супружеском долге и не виделась с Ван Бергом наедине. Не знаю, какой ему был дан на это ответ.

Засим герцог пошел к Ван Бергу, намереваясь изложить ему подобным же образом, каково положение вещей, и обратить его на путь добродетели. Герцог не застал его дома. Он снова зашел к нему, на сей раз после полудня, в комнате было полно народу, но сам Ван Берг сидел в стороне: он был несколько пьян и легонько встряхивал стаканчик с игральными костями.

Герцог по-дружески подошел к нему и с улыбкой спросил, благополучно ли обстоят дела с его издержками.

Ван Берг метнул на него разгневанный взгляд и ответил:

— Издержки мои предназначены для того, чтобы доставить удовольствие моим друзьям, а вовсе не тем подлецам, которые нагло вмешиваются в то, что их нисколько не касается.

Несколько человек слышали эти слова.

— Должен ли я принять это на свой счет? — молвил герцог. — Ван Берг, изволь немедленно отречься от этих необдуманных слов!

— Я никогда ни от чего не отрекаюсь, — возразил Ван Берг.

Герцог припал на одно колено и молвил:

— Ван Берг, ты оказал мне величайшую услугу, почему же теперь ты хочешь меня опозорить? Заклинаю тебя, признай меня человеком чести.

Ван Берг бросил ему в лицо какое-то оскорбление.

Герцог спокойно встал, выхватил кинжал из-за пояса и, положив его на стол, сказал:

— Обыкновенный поединок не может решить это дело. Один из нас должен умереть, и чем раньше это случится, тем лучше. Бросим кости по очереди; кто выбросит больше, возьмет кинжал и вонзит его прямо в сердце противника.

— Отлично придумано! — воскликнул Ван Берг. — Вот, что я называю крупной игрой! Но клянусь, ежели я окажусь в выигрыше, то не стану щадить вашей герцогской милости!

Пораженные зрители застыли на месте, словно окаменев.

Ван Берг взял кубок и выбросил двойную двойку.

— К дьяволу, — вскричал он, — мне нынче что-то не везет!

Затем герцог швырнул кости и выбросил пятерку и шестерку. Тогда он схватил кинжал и вонзил его в грудь Ван Берга, после чего, обращаясь к зрителям, с таким же хладнокровием сказал:

— Господа, благоволите оказать последнюю услугу этому молодому человеку, геройство которого заслуживало лучшей участи. Что касается меня, то я тотчас же отправлюсь к главному аудитору армии и отдам себя в руки королевского правосудия.

Ты можешь легко вообразить, какой шум наделало это событие повсюду. Герцога любили не только испанцы, но даже наши недруги, португальцы. И, когда весть об этом достигла Лиссабона, архиепископ этого города, который является в то же время и патриархом Индии, доказал, что дом в Коимбре, где задержали герцога, принадлежит капитулу и с незапамятных времен считается неприкосновенным убежищем, что, следовательно, герцог может спокойно в нем находиться, не опасаясь насильственных действий со стороны светских властей. Герцог был весьма тронут высказанным ему расположением, однако заявил, что не хочет воспользоваться подобной привилегией.

Генеральный аудитор возбудил дело против герцога, но Совет Кастилии признал необходимым вмешаться; великий маршал Арагона⁵, должность которого ныне упразднена, придерживался мнения, что судить герцога как уроженца его провинции, принадлежащего к числу древних *ricos hombres*, должен он. Словом, многие усиленно добивались первенства, ибо каждый хотел его спасти.

Во время всей этой суматохи я ломал себе голову, размышляя об истинных причинах злосчастной дуэли. Наконец какой-то знакомый сжался надо мной и рассказал мне о поведении госпожи де Валь Флорида.

Не понимаю почему, но я воображал, что жена моя может любить только одного меня. Прошло немало времени, прежде чем я убедился, что заблуждаюсь. Наконец, явные улики несколько приподняли завесу с очей моих, я пошел к госпоже де Валь Флорида и сказал:

— Я узнал, что твой отец опасно заболел; полагаю, что тебе следует к нему поехать. Кроме того, дочь наша нуждается в твоих заботах и, как я полагаю, ты, госпожа, навсегда поселишься в Астурии.

Госпожа де Валь Флорида опустила глаза и покорно приняла приговор.

Ты знаешь, что с тех пор мы с твоею матушкой разъехались; впрочем, у матери твоей были тысячи бесценных качеств и даже добродетелей, которым я всегда воздавал должное.

А между тем процесс герцога принял необычайный оборот.

Валлонские офицеры сочли этот процесс делом всенародной важности. Они придерживались мнения, что раз испанские гранды позволяют себе убивать фламандцев, то этим последним следует подать в отставку, дабы перестать служить Испании. Испанцы же доказывали, что это была дуэль, а отнюдь не убийство. Дело зашло настолько далеко, что король приказал созвать хунту, состоящую из двенадцати испанцев и двенадцати фламандцев, не для осуждения герцога, но более для решения, следует ли считать смерть Ван Берга следствием дуэли или же преднамеренного убийства.

Испанские офицеры голосовали первыми и — как легко можно себе представить — единогласно решили, что это была дуэль. Одиннадцать валлонов были противоположного мнения; они ничем не аргументировали свое суждение, а главное, невероятно кричали.

Двенадцатый, который голосовал последним, так как был моложе всех, приобрел уже некоторую почетную известность, участвуя в разбирательствах по поводу щекотливых вопросов чести. Звали его дон Хуан ван Ворден.

Тут я прервал цыгана, говоря:

— Я имею честь быть сыном этого самого ван Вордена и надеюсь, что в твоём рассказе не услышу ничего такого, что могло бы нанести урон его чести.

— Ручаюсь, — возразил цыган, — что я точно повторяю слова, сказанные маркизом де Валь Флорида его дочери.

— Когда пришла очередь голосовать Хуану ван Вордену, он попросил слова и сказал так:

Господа, я полагаю, что два обстоятельства определяют сущность дуэли: во-первых, вызов, или, при отсутствии вызова, встреча противников; во-вторых, равенство в оружии или же, при отсутствии этого равен-

ства, равные шансы взаимного причинения смерти. Так, например, человек, вооруженный мушкетом, мог бы выйти на дуэль против человека, вооруженного пистолетом, при условии, что один стрелял бы с расстояния в сто шагов, другой же — с расстояния в четыре шага и с непременным предварительным условием, чтобы уже заранее было договорено, кто должен стрелять первым. В настоящем случае одно и то же оружие служило обоим, а посему невозможно требовать большего равенства. Кости не были поддельными, стало быть, налицо было безупречное равновесие шансов причинения смерти. Кроме того, вызов был объявлен во всеуслышание и принят обеими сторонами.

Я признаюсь, с прискорбием вижу, что поединок, этот благороднейший вид единоборства, низведен до уровня жребия в азартной игре, к своего рода забаве, которой человек чести обязан предаваться с величайшей умеренностью. Однако, согласно принципам, которые я изложил в начале своей речи, мне представляется совершенно неоспоримым, что занимающее нас сейчас дело было поединком, а отнюдь не убийством. Так мне повелевает говорить мое убеждение, хотя мне и неприятно, что оно противоречит образу мыслей моих одиннадцати коллег. Будучи абсолютно уверен, что мне угрожает опасность впасть у них в немилость, и стремясь в то же время как можно более мирными средствами предупредить проявления их недовольства, я прошу, чтобы все одиннадцать благоволили оказать мне честь, выйдя со мной на дуэль, а именно — шестеро с утра и пятеро после обеда.

Это предложение произвело величайший шум, однако его все же следовало принять. Ван Ворден ранил шестерых, что дрались с ним с утра; а затем с пятью остальными сел обедать.

После обеда снова взялись за шпаги. Ван Ворден ранил троих, десятый проколол ему плечо, одиннадцатый же пронзил его шпагой навывлет и оставил бесчувственным на плацу.

Умелый хирург спас жизнь отважному фламандцу, но никто уже не думал ни о хунте, ни о процессе, и король помиловал герцога Сидония.

Мы проделали еще одну кампанию, по-прежнему как люди чести, но уже без былого пыла. Несчастье впервые задело нас крылом своим. Герцог, который всегда высказывал большое уважение к отваге и военным дарованиям Ван Берга, теперь упрекал себя в чрезмерно ревностной заботе о моем спокойствии, которая стала причиной столь горестных событий. Он понял, что недостаточно желать добра, а следует, кроме того, обладать умением делать добро. Что до меня, то, подобно многим мужьям, я подавил в себе горе и страдал из-за этого еще больше. С тех пор мы перестали грезить о том, как мы осчастливим нашу пламенно любимую Испанию.

Тем временем был заключен мир, герцог решил отправиться в странствия, мы вместе с ним посетили Италию, Францию и Англию. После

возвращения благородный друг мой вошел в Совет Кастилии, а мне при том же Совете была поручена должность референдаря.

Время, проведенное в странствиях, а также несколько последующих лет вызвали значительные перемены в образе мыслей герцога. Он не только забыл порывы своей младости, но даже более, осмотрительность стала его любимой добродетелью. Общественное благо, предмет наших юношеских мечтаний, было, как и прежде, его величайшей страстью, но теперь он знал уже, что нельзя свершить все сразу, что следует сперва подготовить умы, по мере возможности скрывая собственные свои средства и цели. Он до такой степени простирает свою осторожность, что в Совете, казалось, никогда не имел собственного мнения и шел за чужим, в то время как коллеги говорили его заветными словами, взлелеянными им в глубине души. Старательность, с которой герцог скрывал от глаз общества свои дарования, выставляла их в еще более ярком свете. Испанцы поняли его и полюбили. Двор приревновал к нему. Герцогу предложили должность посла в Лиссабоне. Он знал, что не вправе отказываться, и принял предложение, но при условии, что я стану государственным секретарем.

С тех пор я не видел его больше, но сердца наши всегда вместе.

Когда цыган дошел до этого места своего повествования, ему дали знать, что дела табора требуют его присутствия. Как только он удалился, Веласкес взял слово и сказал:

— Хотя я обращаю все внимание на слова нашего вожака, я, тем не менее, не в силах уловить в них ни малейшей связи. И в самом деле, я не знаю, кто говорит, а кто слушает. Тут маркиз де Валь Флорида рассказывает свои приключения дочери, которая пересказывает их вожаку, который нам вновь их рассказывает. Это настоящий лабиринт. Мне всегда казалось, что романы и другие произведения подобного рода следует писать и печатать в несколько параллельных столбцов, на манер хронологических таблиц.

— Ты прав, сеньор, — ответила Ревекка. — Итак, например, в одном столбце мы прочли бы, что госпожа де Валь Флорида обманывает своего мужа, а в другом столбце увидели бы, как это событие на него повлияло, что, несомненно, пролило бы новый свет на все повествование в целом.

— Я вовсе не то хотел сказать, — возразил Веласкес. — Но вот, например, герцог Сидония, характер которого я должен исследовать, в то время, как я уже видел его на кладбищенских носилках. Так не лучше ли было бы начать с португальской войны? Тогда во втором столбце я увидел бы доктора Сангре Морено, размышляющего о проблемах врачебного искусства и уже не удивился бы, видя, что один персонаж потрошит останки другого.

— Ну, конечно, — прервала Ревекка, — постоянные неожиданности только лишают рассказ какой бы то ни было занимательности, ибо никогда невозможно угадать, что после чего произойдет!

Тогда я взял слово и сказал, что во время португальской кампании отец мой был еще чрезвычайно молод и что нельзя было достаточно надивиться той пронизательности, какую он проявил в деле герцога Медина Сидония.

— О чем говорить, — сказала Ревекка, — если бы твой батюшка не начал драться по очереди с одиннадцатью офицерами, могла бы произойти ссора, а посему он правильно сделал, что ее предупредил!

Мне показалось, что Ревекка попросту издевается над нами. Я обнаружил в ее характере нечто насмешливое и скептическое. Я подумал, что, кто знает, не могла ли бы она поведать нам о своих приключениях, несколько не похожих на историю небесных близнецов, и решил ее об этом спросить. Между тем настало время расставаться, и каждый пошел к себе.

День двадцать девятый

Мы собрались довольно рано, и цыган, воспользовавшись свободным временем, так продолжал рассказ о своих приключениях:

Продолжение истории цыганского вожака



Герцогиня Сидония, поведав мне историю своего отца, несколько дней не показывалась вовсе, а корзинку приносила мне Гирона. От нее же я узнал, что дело мое было улажено благодаря заступничеству дяди моей матери. По существу, монахи были даже рады, что я ускользнул от них. В приговоре святейшей инквизиции шла речь лишь о безрассудстве, легкомыслии и двухлетнем покаянии, даже имя мое обозначено было только инициалами. Гирона сообщила мне также, что тетка моя желает, чтобы я скрывался в течение двух лет, а она тем временем отправится в Мадрид и оттуда будет управлять поместьем, доходы с которого отец назначил на мое содержание. Я спросил Гирону, думает ли она, что я вытерплю целых два года в подземелье. Она ответила, что у меня нет иного выхода и что, кроме того, ее собственная безопасность требует соблюдения этой меры предосторожности.

На следующий день, к великой моей радости, пришла сама герцогиня; я любил ее гораздо больше, чем ее высокомерную кормилицу. Я хотел также узнать о ее дальнейших приключениях и просил ее рассказать мне о них, что она и сделала в таких словах:



*Продолжение истории
герцогини Медина Сидония*

Я поблагодарила моего отца за доверие, которое он проявил, познакомя меня с важнейшими событиями своей жизни. В следующую пятницу я вновь вручила ему письмо от герцога Сидония. Он не прочел мне ни этого письма, ни позднейших писем, которые он получал еженедельно, но часто рассказывал о своем друге, ибо разговор о герцоге всегда в высшей степени его занимал.

Вскоре после этого меня посетила пожилая женщина, вдова некоего офицера. Отец ее был вассалом герцога, она же домогалась лена, зависящего от герцогства Сидония. До тех пор никто не просил меня о поддержке, и благоприятный случай этот льстил моему себялюбию. Я написала прошение, в котором ясно и обстоятельно изложила все претензии бедной вдовы. Затем я показала этот свой труд отцу, который был очень доволен этим прошением и послал его герцогу. Признаюсь тебе, что я на это надеялась. Герцог признал притязания вдовицы и прислал мне письмо, исполненное учтивости, восторгаясь моим разумом не по летам. Позднее я вновь нашла повод написать ему и снова получила ответ, в котором он восхищался моим остроумием. Впрочем, я и в самом деле немало времени уделяла образованию моего разума, в чем мне помогала Гирона. Когда я писала это второе письмо, мне как раз исполнилось пятнадцать.

Однажды, находясь в кабинете моего отца, я услышала вдруг шумные возгласы собравшегося люда. Я подбежала к окну и увидела крикливую толпу, сопровождающую, как бы изображая триумфальное шествие, золоченую карету, на дверцах которой я узнала гербы герцогов Медина Сидония. Множество идалго и пажей подскочило к дверцам, и я увидела выходящего из кареты мужчину необыкновенно приятной наружности в кастильском наряде, который при дворе тогда как раз выходил из моды. На нем был короткий плащ, брыджи, шляпа с плюмажем, но наибольшее величие его одеянию придавал висящий у него на груди орден Золотого Руна, усеянный брильянтами. Мой отец тоже подошел к окну.

— Ах, это он, — воскликнул отец, — я надеялся, что он придет.

Я удалилась в свои покои и познакомилась с герцогом лишь на следующий день; впоследствии, однако, я видела его ежедневно, ибо он почти не выходил из дома моего отца.

Двор вызвал герцога по делам чрезвычайной важности. Речь шла об успокоении возмущения, вызванного в Арагоне новыми податями. В королевстве этом знатнейшие семейства зовутся *ricos hombres* и полагают себя равными кастильским грандам, причем род Сидония почитается старшим среди них. Этого было довольно, чтобы заставить прислушаться к словам герцога; к тому же он был любим за достоинства, свойственные ему. Герцог отправился в Сарагосу и сумел сочетать желания двора с интересами граждан Сарагосы. Его спросили, какой он хочет награды. Он ответил, что жаждет некоторое время подышать воздухом отечества.

Герцог, человек правдивый и откровенный, отнюдь не скрывал приятных чувств, которые он испытывал в моем обществе, поэтому мы почти всегда были вместе, в то время как другие друзья моего отца занимались с ним государственными делами.

Сидония признался мне, что он немного склонен к ревности, а иногда даже к внезапным бурным вспышкам. Вообще он говорил мне только о себе или обо мне, а когда подобная беседа происходит между мужчиной и женщиной, отношения вскоре становятся все более тесными. Поэтому я нисколько не удивилась, когда в один прекрасный день отец, позвав меня в свой кабинет, объявил, что герцог просит моей руки.

Я ответила, что не прошу времени на размышление, ибо, предвидя, что герцог может влюбиться в дочь своего друга, еще до этого размышляла о его характере и о разнице в возрасте, которая существует между нами.

— Впрочем, — прибавила я, — испанские гранды привыкли искать невест в равных им семействах. Какими же глазами будут они взирать на наш союз? Быть может, они перестанут даже говорить герцогу «ты», что явилось бы первым доказательством их нерасположения.

— То же самое замечание я сделал герцогу, — сказал мой отец, — но он отвечал на это, что жаждет только твоего согласия, об остальном же позаботится сам.

Сидония находился в соседней комнате; он вошел, на лице его была написана робость, удивительно не вяжущаяся с природным его высокомерием. Вид его растрогал меня, и герцог недолго ожидал моего согласия. Таким образом, я осчастливила их обоих, ибо отец мой не помнил себя от радости. Гирона также разделяла наше счастье.

На следующий день герцог пригласил на обед грандов, находившихся тогда в Мадриде. Когда все собрались и заняли свои места, он обратился к ним с такими словами:

— Альба, я обращаюсь к тебе, ибо считаю тебя первым среди нас не потому, что твой род блистательней моего, но из уважения к памяти герцога, чье имя ты носишь¹. Предрассудок, делающий нам честь, требует, чтобы мы выбирали жен среди дочерей грандов, и, несомненно, мы стали бы презирать того, кто вступил бы в неподобающий союз — корыстолюбия ради, или же для удовлетворения порочной страсти. Случай, о котором я хочу вам рассказать, совершенно иного рода. Вы хорошо знаете, что астурийцы считают себя более высокородными, чем сам король²; хотя мнение это, быть может, несколько преувеличенное, однако, но так как они носили свои титулы еще до вторжения мавров в Испанию, то имеют право считать себя самыми благородными дворянами во всей Европе. Чистейшая астурийская кровь струится в жилах Элеоноры де Валь Флорида, так что я уже не упоминаю об известных всем ее превосходных качествах. Полагаю поэтому, что подобный союз может только доставить честь семейству любого испанского гранда, кто же придерживается противоположного мнения — пусть поднимет перчатку, которую я бросаю посреди собрания.

— Я поднимаю ее, — сказал герцог Альба, — но лишь затем, чтобы вернуть тебе вместе с пожеланиями счастья в столь прекрасном союзе.

Сказав это, он обнял герцога Сидония, что вслед за ним повторили все прочие гранды. Мой отец, рассказывая мне об этом событии, прибавил тоном несколько печальным:

— Всегда в нем все та же рыцарственность; ах, если бы он только мог избавиться от прежней вспыльчивости! Милая Элеонора, заклинаю тебя, старайся ни в чем ему не перечить.

Я призналась тебе, что в моем характере была некоторая склонность к гордыне, но жажда почестей покинула меня, едва только я успокоилась. Я стала герцогиней Сидония, и сердце мое переполнилось сладчайшими чувствами. Герцог в семейном кругу был приятнейшим из людей, он беспрдельно любил меня, всегда проявлял в отношениях со мною чудесную, ровную доброту, неисчерпаемую кротость, постоянную нежность, и тогда ангельская его душа отражалась в чертах его лица. Временами, когда мрачная мысль искажала ее лик, черты его приобретали устрашающее выражение. Тогда, невольно содрогаясь, я вспоминала убийство Ван Берга.

Немногое, однако, могло его разгневать, потому что я была его счастьем. Он любил смотреть, как я занимаюсь рукоделием, любил слушать меня и угадывать самые тайные мои мысли. Я полагала, что ему невозможно полюбить меня сильнее, чем он любил, но появление на свет нашей дочери удвоило его любовь, и счастье наше сделалось полным.

В день, когда я поднялась после родов, Гирона пришла ко мне и сказала:

— Милая Элеонора, теперь ты жена и мать, одним словом, ты счастлива; я тебе не нужна больше, а мой долг призывает меня в иные края. Я решила отправиться в Америку.

Я хотела ее удержать.

— Нет, — сказала она, — мое присутствие необходимо там.

Спустя несколько дней она отправилась в путь. С ее отъездом кончились счастливые годы моей жизни. Я описала тебе этот период неземного счастья: продолжался он недолго, ибо счастье столь полное, как наше, конечно, не часто выпадает людям в их земном существовании. Мне не хватает сил, чтобы сегодня продолжать рассказ о моих невзгодах. Прощай, юный друг, завтра ты вновь увидишь меня.

Рассказ молодой герцогини чрезвычайно меня увлек. Я жаждал услышать его продолжение и узнать, каким образом столь великое счастье могло превратиться в столь глубокое несчастье. Вскоре, однако, мысли мои приняли иной оборот. Мне вспомнились слова Гироны, которая полагала, что я смогу вытерпеть целых два года в заключении. Это отнюдь не входило в мои намерения, и я замыслил побег.

Наутро герцогиня вновь принесла мне поестъ. Глаза у нее покраснели, как будто она много плакала. Однако она объявила, что ощущает в себе силы поведать мне историю своих несчастий, и начала такими словами:

Я говорила тебе, что Гирона исполняла при мне обязанности старшей дуэньи. Теперь ее место при мне заняла донья Менсия, тридцатилетняя женщина, еще довольно красивая и к тому же образованная, поэтому мы иногда допускали ее в наше общество. В таких случаях она обычно вела себя так, как будто была влюблена в моего мужа. Я смеялась и не обращала на это ни малейшего внимания. Впрочем, донья Менсия старалась мне понравиться и более всего стремилась узнать меня поближе. Она часто переводила разговор на весьма веселые предметы или пересказывала мне городские сплетни, так что мне не раз приходилось приказывать ей замолчать.

Я сама кормила мою дочурку и, к счастью, перестала ее кормить еще до страшных событий, о которых ты узнаешь. Первым ударом, который меня поразил, была смерть отца; сраженный мучительным и скоротечным недугом, он испустил дух в моих объятиях, благословляя нас обоих и не предвидя горестных мгновений, какие нас ожидали.

Вскоре затем вспыхнули волнения в Бискайе³. Герцог был послан туда, я же сопровождала его до самого Бургоса. У нас есть имения во всех провинциях Испании и дома почти во всех городах; тут, однако, у нас был только летний дом, расположенный в миле от города, тот самый,

в котором ты сейчас находишься. Герцог оставил меня со всей моей свитой и отправился к месту своего назначения.

Однажды, возвращаясь домой, я услышала шум во дворе. Мне сообщили, что поймали вора, ранив его камнем в голову, и что это юноша поразительной красоты. Слуги бросили его к моим ногам, и я узнала Эрмосито.

— О, небо! — воскликнула я. — Это не вор, а порядочный юноша, воспитанный в Асторгас у моего деда.

Затем, обращаясь к дворецкому, я приказала ему взять бедняжку к себе и позаботливее за ним ухаживать. Мне кажется даже, что я сказала, что это сын Гироны, но теперь уже не могу вспомнить этого точно.

На следующий день донья Менсия сказала мне, что юношу мучает горячка и в бреду он часто вспоминает обо мне и произносит слова чрезвычайно нежные и страстные. Я ответила ей, что если она когда бы то ни было решится говорить о чем-либо подобном, я тотчас же прикажу ее выставить за дверь.

— Посмотрим! — сказала она.

Я запретила ей показываться мне на глаза. На следующий день она пришла, умоляя смилостивиться над нею; бросилась к моим ногам и получила прощение.

Спустя неделю, когда я находилась в одиночестве, вошла Менсия, подерживая Эрмосито, необычайно ослабевшего.

— Ты приказала мне прийти, сеньора, — произнес он прерывающимся голосом.

Я с удивлением взглянула на Менсию, но, не желая обидеть сына Гироны, велела ему придвинуть стул — теперь нас разделяло несколько шагов.

— Дорогой Эрмосито, — сказала я, — твоя матушка никогда не упоминала предо мной твоего имени, и вот теперь я хотела бы узнать о том, что случилось с тобой с тех пор, как мы расстались.

И Эрмосито голосом, прерывающимся от волнения, начал говорить:



История Эрмосито

Увидав, что наш корабль распустил паруса, я утратил всякую надежду попасть на берег и разрыдался, огорченный особой суровостью, с которой матушка моя прогнала меня от себя. Я никак не мог отгадать причины ее поведения. Мне говорили, что я у тебя на службе, госпожа, вот я и служил со всем рвением, на которое только был способен. Послушание мое не знало границ, отчего же потом выгнали меня, как если бы я совершил величайшее злодеяние? Чем больше я об этом размышлял, тем меньше оказывался в состоянии понять это. На пятый день нашего плавания мы оказались посреди эскадры дона Фернандо Арудес. Нам велели заходить с кормы флагманского корабля. На золоченом и украшенном пестрыми вымпелами мостике я заметил дона Фернандо; грудь его была увешана цепями бесчисленных орденов. Свита офицеров почтительно окружала его. Адмирал, приложив рупор ко рту, осведомился, не встретили ли мы кого по пути, и приказал плыть дальше. Миновав его корабль, наш капитан сказал:

— Вы видели адмирала; теперь он маркиз и, однако, начал с такого же юнга, как тот, что вот перед нами подметает палубу.

Когда Эрмосито дошел до этого места своего рассказа, он несколько раз бросил озабоченный взгляд на Менсию. Я догадалась, что он не хочет объяснять свое поведение в ее присутствии, а посему я и выпроводила ее затем из комнаты. Я поступала так только из дружбы к Гироне, и мысль, что я могу навлечь на себя подозрение, не пришла мне в голову. Когда Менсия вышла, Эрмосито стал продолжать следующим образом:

— Мне кажется, что, черпая первую в жизни пищу из одного с тобой, госпожа, источника, я одинаково с тобою воспитал душу свою, так что мог думать только о тебе, да о том, что тебя касалось. Капитан сказал мне, что дон Фернандо стал маркизом, а был некогда юнгой; я знал, что твой отец тоже маркиз и мне казалось, что нет ничего прекраснее этого титула, и спросил, каким образом дон Фернандо его удостоился. Капитан объяснил мне, что тот переходил от звания к званию, и всюду отличался

замечательными действиями. С тех пор я решил поступить на службу во флот и начал упражняться в лазании по мачтам. Капитан, которому меня доверили, как мог противился этому, но я не хотел его слушать и был уже весьма ловким матросом, когда мы прибыли в Веракрус.

Дом моего отца стоял на морском берегу. Мы добрались туда на шлюпке. Отец встретил меня, окруженный целым роем юных мулаток, и приказал мне их всех обнять. Вскоре девушки пустились в пляс, они манили и завлекали меня тысячами способов, и вечер прошел у нас в тысячах сумасбродств.

На следующий день коррехидор Веракрус заявил моему отцу, что неприлично принимать сына в доме, где царят такие порядки, и что ему надлежит определить меня в коллегию театинцев. Отец, хотя и с грустью, вынужден был, однако, повиноваться.

В коллегии моим ректором был монах, который для того, чтобы приохотить нас к чтению, часто нам повторял, что маркиз Кампо Салес, тогдашний второй государственный секретарь, также был некогда бедным студентом и карьерой своей обязан лишь ревностной любви к наукам. Видя, что и на этом пути можно стать маркизом, я в течение двух лет трудился с необычайным рвением.

Между тем коррехидор Веракрус получил иной пост, преемник же его оказался человеком менее строгих правил. Мой отец отважился взять меня к себе домой. Я снова стал добычей ветреных и легкомысленных мулаток, юных особ, которые, поощряемые моим отцом, искушали меня всяческими способами. Я был весьма далек от того, чтобы страстно полюбить эти сумасбродства, однако научился многим новым для меня вещам и только тогда постиг, почему меня удалили из Асторгас.

Тогда-то весь мой образ мыслей подвергся сильнейшей перемене. Неведомые прежде чувства развились в моей душе и пробудили воспоминания о невинных забавах моих детских лет. Мысль об утраченном счастье, о садах в Асторгас, по которым я с тобой, госпожа, бегал; туманные воспоминания о тысячах доказательств твоей доброты в единый миг овладели моей душой. Я не смог сопротивляться стольким недугам и впал в состояние нравственной и телесной прострации. Врачи считали, что я страдаю изнурительной горячкой; я же не считал себя больным, но часто настолько впадал в безумие, что попросту галлюцинировал.

Ты, госпожа, чаще всего представлялась в видениях мечтательному моему воображению — не такой, какой я теперь тебя вижу, но такой какой я тебя покинул. По ночам я внезапно срывался с постели и видел, как, белая и лучистая, ты показываешься мне в мгlistом отдалении. Когда я выходил из города, гомон далеких сел и шорохи полей повторяли мне твое имя. Порою мне казалось, что ты шествуешь по равнине перед моим взором, когда же я поднимал очи к небу, моля его о прекращении моих мук, я видел образ твой, плывущий в облаках.

Я заметил, что обычно меньше всего страдаю в церкви; особенно молитва приносила мне облегчение. Я кончил тем, что целые дни проводил под сенью господних храмов. Один монах, поседевший в молитвах и покаянии, подошел ко мне однажды и сказал:

— Сын мой, сердце твое переполняет любовь, которой сей мир недостоин; пойдем в мою келью, там я укажу тебе тропинки, ведущие в рай.

Я пошел за ним и увидел власяницу, плети и тому подобные орудия умерщвления плоти, при виде коих я вовсе не испугался, потому что никакие страдания не могли сравниться с моими. Монах прочел мне несколько страниц из «Житий святых». Я просил его дать мне эту книгу с собой, и дома всю ночь предавался чтению. Новые помыслы овладели моим умом; я видел в душе своей разверзшиеся небеса и ангелов, чей облик напоминал мне тебя.

В эту пору в Веракрус узнали о том, что ты вышла замуж за герцога Сидония. С давних пор я намеревался стать священником, все мое счастье я видел в том, чтобы молиться о твоём счастье и спасении в жизни грядущей. Набожный мой наставник сказал мне, что распутство проникло во многие американские монастыри, и посоветовал мне, чтобы я вступил послушником в какую-нибудь обитель в Мадриде.

Я уведомил отца об этом намерении. Ему давно уже не нравилась моя набожность, однако он не осмеливался открыто отклонять меня с этого пути, и просил, чтобы я подождал приезда моей матери, а она вскоре должна была прибыть к нам. Я ответил ему, что у меня нет родственников на земле и что единственное мое семейство — в небесах. Отец ничего мне на это не ответил. Затем я пошел к коррехидору, который одобрил мои намерения и отправил меня первым же кораблем в Испанию.

Прибыв в Бильбао, я узнал, что матушка моя только что отплыла в Америку. У меня были, как я уже сказал, рекомендательные письма в Мадрид. Когда я проезжал через Бургос, мне сказали, что ты, госпожа, проживаешь в окрестностях этого города, и я жаждал еще раз тебя увидеть, прежде чем навсегда отрекись от света. Мне казалось, что если я снова тебя увижу, то с тем большим пылом смогу молиться за тебя.

Я направился к вашему дому. Вошел на первый двор, думая, что найду кого-нибудь из прежних твоих слуг, ибо я слышал, что ты держишь при себе всю твою челядь из Асторгас. Я хотел, когда кто-нибудь из прежних твоих слуг узнает меня, попросить его поместить меня в таком месте, из которого я смогу тебя увидеть, когда ты будешь садиться в карету. Я жаждал увидеть тебя, госпожа, отнюдь не показываясь тебе на глаза.

Между тем проходили одни только незнакомые слуги, и я не знал, как мне быть. Я вошел в какую-то совершенно пустую комнату; наконец,

мне почудилось, что я вижу кого-то знакомого. Я вышел, как вдруг меня ударили камнем в голову. Но я вижу, что рассказ мой произвел на тебя, госпожа, живое впечатление. . .

— Могу тебя уверить, — говорила далее герцогиня, — что набожное безумие Эрмосито пробудило во мне только жалость, но, когда он начал говорить о садах в Асторгас, о забавах наших детских лет — воспоминающие о счастье, которым я тогда наслаждалась, мысль о нынешнем моем счастье и какой-то страх перед будущим, какое-то чувство, милое и печальное в одно и то же время, — сдавили мне сердце, и я почувствовала, что слезы заливают мне лицо.

Эрмосито приподнялся: мне думается, что он хотел поцеловать край моего платья, но колени его задрожали, голова упала на мои колени и руки сильно обняли мой стан.

В этот миг, искоса взглянув в зеркало, стоящее напротив, я увидела Менсию и герцога, но черты этого последнего приняли столь ужасное выражение, что я едва могла его узнать.

Кровь застыла у меня в жилах; я вновь подняла глаза на зеркало, но на этот раз никого уже не увидела.

Я высвободилась из объятий Эрмосито, позвала Менсию, велела ей позаботиться об этом юноше, который вдруг лишился чувств, и перешла в другую комнату. Случай этот вселил в меня большую тревогу, хотя слуги уверяли меня, что герцог еще не возвратился из Бискайи.

Наутро я послала узнать о здоровье Эрмосито. Мне ответили, что его уже нет в доме.

Спустя три дня, когда я собиралась ложиться спать, Менсия принесла мне письмо от герцога, содержащее только следующие слова:

Делай то, что тебе велит донья Менсия. Приказывает тебе это твой супруг и судьба.

Менсия завязала мне глаза платком; я почувствовала, что меня схватили за руки и провели в это вот подземелье. Я услышала бряцание цепей. Повязку сняли, и глазам моим представился Эрмосито, прикованный за шею к столбу, на который ты опираешься. Глаза его утратили блеск, и лицо его было смертельно бледным.

— Это ты, госпожа, — промолвил он еле слышным голосом, — я не могу говорить, мне не дают воды, и язык мой присыхает к небу. Муки мои продлятся недолго; если я попаду на небеса, буду молиться за тебя.

В этот самый миг раздался выстрел из этого вот отверстия в стене и пуля размозжила Эрмосито руку.

— Великий боже, — возопил он, — прости моим палачам.

Другой выстрел прогремел с того же самого места, но я не видела, что было дальше, ибо потеряла сознание.

Придя в чувство, я увидела, что нахожусь среди своих женщин, которые как будто ни о чем не знают; они сказали мне только, что Менсия покинула дом. На следующий день с утра пришел конюший герцога и сообщил мне, что господин его в эту ночь выехал во Францию с секретным поручением и что вернется он только через несколько месяцев.

Предоставленная самой себе, я призвала на помощь всю свою отвагу, поверила свое дело вышнему судие и занялась воспитанием своей дочери.

Спустя три месяца явилась Гирона. Из Америки она прибыла в Мадрид, там искала сына в монастыре, где он должен был отбыть послушничество. Не найдя его там, она поехала в Бильбао и по следам Эрмосито добралась до Бургоса. Страхась взрывов отчаяния, я рассказала ей только часть правды; растроганная и опечаленная, она сумела вырвать у меня всю тайну. Ты знаешь твердый и вспыльчивый характер этой женщины. Ярость, отчаяние, страшнейшие чувства, какие только могут овладеть человеком, поочередно терзали ее душу. А я сама была слишком несчастна, чтобы ее утешать.

Однажды Гирона, переставляя мебель в своей комнате, обнаружила дверцы, скрытые в стене под обивкой, и проникла в подземелье, где узнала столб, о котором я упоминала. На нем еще можно было различить следы крови. Она вбежала ко мне в приступе жесточайшего безумия. С тех пор она часто запиралась в своей комнате, но я думаю, что она, должно быть, спускалась оттуда в злосчастное подземелье и лелеяла там планы мести.

Месяц спустя мне сообщили о приезде герцога. Он вошел, спокойный и сдержанный, приласкал ребенка, после чего велел мне сесть и сам сел рядом со мной.

— Госпожа, — сказал он, — я долго размышлял, как должен с тобой поступить; и решил ничего не менять. Тебе будут прислуживать в моем доме с таким же, как и доселе, уважением, ты будешь с виду получать от меня доказательства такой же самой привязанности. Все это будет продолжаться, пока дочери твоей не исполнится шестнадцать.

— Когда же дочери моей исполнится шестнадцать, что станет со мной? — спросила я герцога.

В этот миг Гирона принесла шоколад; мне пришла в голову мысль, что он отравлен. Герцог продолжал:

— В день, когда твоей дочери исполнится шестнадцать, я призову ее к себе и обращусь к ней с такими словами: «Твои черты, дитя мое, напоминают мне лицо женщины, историю которой я тебе расскажу. Она была прекрасна, и казалось, что душа ее еще прекраснее, чем облик, но что с того, когда она только изображала добродетель. Она настолько совершенно умела сохранять видимость, что благодаря этому искусству, сде-

лала одну из прекраснейших партий в Испании. Однажды, когда ее муж должен был удалиться на несколько недель, она велела ввести к себе из окрестных мест маленького негодяя. Им вспомнились бывшие шашни, и они бросились друг к другу в объятия. Эта омерзительная блудница — твоя мать». Затем я выгоню тебя из моего дома и ты пойдешь плакать на могиле своей матери, которая стояла не больше, чем ты.

Несправедливость настолько уже закалила мое сердце, что слова эти не произвели на меня особого впечатления. Я взяла ребенка на руки и ушла в свою комнату.

К несчастью, я забыла о шоколаде, герцог же, как я позднее узнала, уже два дня ничего не ел. Чашка стояла перед ним, он сразу выпил все, после чего ушел к себе. Спустя полчаса он послал за доктором Сангре Морено и приказал, чтобы кроме него никого не выпускали.

Отправились к доктору, но тот выехал в загородный домик, где проводил свои вскрытия. Поехали за ним, но его уже там не было; искали его у всех его пациентов, наконец, три часа спустя он прибыл и нашел герцога мертвым.

Сангре Морено с великим вниманием исследовал тело герцога, всматривался в ногти, глаза, язык; приказал принести из своего дома множество флаконов и начал производить какие-то анализы. Потом он пришел ко мне и сказал:

— Я могу заверить вас, госпожа, что герцог скончался вследствие отравления смесью наркотической смолы с едким металлом. Впрочем, обязанности кровавого трибунала меня не касаются, посему я и предаю это дело в руки верховного судьи, восседающего на небесах. Официально я заявляю, что герцог скончался от апоплексического удара.

Явились другие врачи и подтвердили мнение доктора Сангре Морено.

Я велела призвать Гирону и повторила ей слова доктора. Смущение выдало ее.

— Ты отравила моего мужа, — сказала я. — По какому праву христианка могла дойти до подобного преступления?

— Я христианка, — ответила она, — это правда, но я также и мать, и если бы у тебя убили твоего ребенка, кто знает, не стала ли бы ты кровожадной разъяренной тигрицы.

Я ничего не смогла ответить ей на это, однако заметила, что она могла отравить меня вместо герцога.

— Нет, — ответила она, — я глядела сквозь замочную скважину и, конечно, тут же вбежала бы, если бы ты прикоснулась к чашке.

Потом пришли капуцины, требуя, чтобы им выдали тело герцога, и так как они представили личное распоряжение архиепископа, невозможно было им отказать.

Гирона, которая до тех пор проявляла большую отвагу, вдруг встревожилась. Она боялась, чтобы при бальзамировании тела не обнаружи-

лись следы яда, и ее усиленные просьбы склонили меня к этой ночной прогулке, которой я обязана удовольствием видеть тебя в моем доме.

Высокопарная моя речь на погосте имела целью обмануть слуг. Увидев же, что вместо тела сюда принесли тебя, мы, чтобы не выводить их из заблуждения, вынуждены были рядом с часовней в саду похоронить нечто вроде чучела.

Невзирая на все эти меры предосторожности, Гирана до сих пор еще не успокоилась, постоянно твердит о возвращении в Америку и стремится тебя тут задержать, пока не примет какого-либо окончательного решения. Что же касается меня, то я ничего не боюсь, и если меня привлекут к суду, то чистосердечно признаюсь во всем. Я предупредила об этом Гирану.

Несправедливость и жестокость герцога лишили его моей любви, я никогда не смогла бы вести с ним совместную жизнь. Единственное мое счастье — моя малютка-дочь; я не боюсь за ее судьбу. Она унаследует титулы и громадное состояние, и мне не придется тревожиться о ее будущем.

Вот все, о чем я хотела тебе рассказать, мой юный друг. Гирана знает, что я поведала тебе нашу историю, и полагает, что лучше будет, если ты узнаешь обо всем, как есть. Но мне душно в этом подземелье; я должна пойти наверх, подышать свежим воздухом.

Вскоре, как только герцогиня ушла, я огляделся и в самом деле нашел, что вид моего подземелья весьма печален; могила юного мученика и столб, к которому он был прикован, усиливали мрачное впечатление. Мне хорошо было в этой тюрьме, пока я боялся театинцев, но теперь, когда дело было улажено, пребывание под землей начинало становиться для меня нестерпимым. Меня забавляла доверчивость Гираны, которая намеревалась держать меня тут в течение двух лет. Вообще обе женщины так мало знакомы были с ремеслом тюремных стражников, что оставляли открытыми двери в подземелье, полагая, очевидно, что отделяющая меня от них решетка представляет собой совершенно непреодолимое препятствие. А между тем я почти составил план не только бегства, но и всего своего поведения на протяжении двух лет, которые я должен был провести в покаянии. Кратко изложу вам свои намерения.

Во время моего пребывания в коллегии театинцев я часто раздумывал о счастье, которым явно наслаждались малолетние попрошайки, сидящие у дверей нашей церкви. Их участь казалась мне куда приятнее моей. В самом деле, пока я корпел над книжками, не имея возможности угодить моим наставникам, эти блаженные дети нужды бегали по улице, резались в карты на ступенях притвора и расплачивались каштанами. Иногда они дрались до упаду — и никто не прерывал этого их развлечения; возились в песке — и никто не заставлял их мыться; раздевались на улице и сти-

рали сорочку у колодца. Можно ли было представить себе более приятное житье?

Мысли о подобном счастье занимали меня во время моего пребывания в подземелье, и я решил, что прекрасней всего будет, если, выбравшись из заключения, я на время покаяния изберу сословие нищих. Правда, я был весьма образованным, и по языку меня можно было отличить от моих товарищей, но я надеялся, что легко смогу перенять их язык и ухватки, чтобы потом, спустя два года, вернуться к своим собственным. Хотя идея эта была несколько странной, однако в положении, в котором я находился, я не мог бы найти лучшую.

Приняв такое решение, я обломал острие ножа и начал обрабатывать один из прутьев решетки. Я промучился целых пять дней, прежде чем мне удалось его расшатать. Я тщательно подбирал осколки камня и засыпал ими отверстие, так что невозможно было ни о чем догадаться.

В день, когда мой труд был завершен, корзинку принесла мне Гирона. Я спросил ее, не боится ли она, чтобы не обнаружилось случайно, что она кормит какого-то неизвестного мальчишку в подземелье.

— Вовсе нет, — ответила она, — дверцы люка, через которые ты сюда попал, ведут в отдельный павильон, двери которого я приказала замуровать, под предлогом, что этот павильон возбуждает в памяти герцогини горестное воспоминание; коридор же, которым мы приходим к тебе, выходит из моей спальни, и вход в него находится под обивкой стены.

— Однако он должен быть снабжен железными дверцами?

— Отнюдь нет, — возразила она, — двери очень легкие, но тщательно скрытые, и, кроме того, выходя, я всегда запираю свою комнату на ключ. Тут есть еще и другие подземелья, подобные этому, и, как я полагаю, должно быть, тут жил какой-нибудь ревнивец и совершил не одно преступление.

Сказав это, Гирона хотела уйти.

— Зачем ты уже уходишь? — спросил я.

— Не могу терять времени, — ответила она, — герцогиня завершила сегодня шестую неделю траура и намерена отправиться со мной на прогулку.

Я узнал все, чего хотел, и не задерживал больше Гирону, которая вышла, и на этот раз не запирая двери за собой. Я как можно быстрее написал герцогине письмо с извинениями, положил его на решетку, затем вынул прут и через недоступную мне до тех пор часть подземелья, а потом темным коридором добрался до каких-то запертых дверей. Я услышал грохот экипажа и цокот копыт; я понял, что герцогиня вместе с кормилицей покинула виллу.

Тогда я начал выламывать двери. Гнилые доски недолго сопротивлялись моим усилиям. Так я пробрался в комнату кормилицы, увидев же,

что Гирона заперла двери на ключ, рассудил, что могу, не опасаясь быть захваченным врасплох, позволить себе немного передохнуть.

Я взглянул в зеркало и убедился, что наружность моя совершенно не отвечает сословию, к которому я собирался примкнуть. Я взял уголек из камина, подтемнил немного свою бледную кожу, затем разорвал сорочку и остальное платье. Подошел к окну и увидел, что оно выходит в сад, некогда, должно быть, милый хозяевам дома, теперь же совершенно запущенный.

Распахнув окно, я заметил, что, кроме него, ни одно не выходит в эту сторону; окно было расположено невысоко, я мог бы спрыгнуть, но предпочел воспользоваться простынями Гироны. Взобравшись потом на беседку, увитую ползучими растениями, я перескочил с нее на садовую ограду и вскоре выбрался в чистое поле, счастливый, что дышу вольным воздухом и избавился от театинцев, инквизиции, герцогини и ее кормилицы.

Я видел издали Бургос, но пустился в противоположную сторону и вскоре прибыл в жалкий трактир; я показал хозяйке двадцать реалов, которые были у меня старательно завернуты в бумагу, и сказал, что хочу все эти деньги у нее истратить. При этих словах она рассмеялась и принесла мне — реалов на сорок — хлеба и лука. У меня было при себе немного больше денег, но я страшился ей в этом признаться. Подкрепившись, я пошел в хлев и заснул, как обыкновенно человек засыпает на шестнадцатом году жизни своей.

Я прибыл в Мадрид без всяких заслуживающих упоминания приключений. Когда я входил в город, смеркалось. Я нашел дом моей тетушки; можете себе представить, как она мне обрадовалась. Однако я задержался у нее весьма ненадолго, так как я боялся, что мое присутствие может быть обнаружено. Измерив шагами весь Мадрид, я очутился на Прадо, где растянулся на земле и заснул.

Проснулся я на рассвете и пробежался по улицам и площадям, в поисках места, наиболее подходящего для моего нового занятия. Проходя по улице Толедо, я встретил девушку, несущую бутыль с чернилами. Я спросил ее, не возвращается ли она от сеньора Авадоро.

— Нет, — ответила она, — я иду от дона Фелипе дель Тинтеро Ларго.

Я убедился, что отец мой по-прежнему известен под тем же самым прозвищем и что он до сих пор занимается все теми же пустяками.

Однако следовало подумать о выборе места. Я увидел под притвором храма Святого Роха нескольких нищих моих лет, наружность которых пришлась мне по вкусу. Я подошел к ним, говоря, что прибыл из провинции, чтобы вверить себя милосердию добрых людей, что, однако, у меня осталась горстка реалов, которые я охотно внесу в общую кассу, ежели у них есть такая. Слова эти произвели на слушателей приятное впечатление. Они ответили, что и в самом деле у них есть общая касса у торговли

каштанами на углу. Они проводили меня туда, после чего вернулись к порталу и стали играть в тарок⁴. В то время как они с величайшим увлечением предавались этой игре, какой-то хорошо одетый господин, казалось, внимательно приглядывался ко всем нам. Мы уже хотели крикнуть ему какую-то дерзость, когда он опередил нас и кивнул мне, призывая, чтобы я шел за ним.

Он провел меня в безлюдный переулок и сказал:

— Дитя мое, я выбрал среди твоих товарищей тебя потому, что лицо твое более, чем у других, озарено светом разума, а именно это необходимо для особенного поручения, которое ты должен будешь выполнить. Слушай со вниманием. Ты увидишь множество проходящих женщин, одинаково одетых в черные бархатные платья и мантильи с черными кружевами, которые настолько закрывают их лица, что ни одну из них невозможно узнать. К счастью, сорта бархата и кружев — различны, таким образом нетрудно идти по следам прекрасных незнакомок. Я — возлюбленный одной молодой особы, которая, как мне кажется, имеет некоторую склонность к непостоянству, и я решил в этом убедиться окончательно. Вот, возьми два лоскутка бархата и два обрывка кружев. Если ты заметишь двух женщин, платья которых соответствуют этим образцам, будешь следить, войдут ли они в церковь, или же в этот вот дом напротив, принадлежащий кавалеру Толедо. Тогда ты придешь отдать мне отчет, я буду у виноторговца на углу. Вот тебе пока золотой; получишь второй, если отлично справишься.

Пока незнакомец говорил это, я внимательно присматривался к нему и мне показалось, что он скорее похож на мужа, чем на возлюбленного. Мне вспомнились жестокости герцога Сидония, и я боялся согрешить, отдавая чувство любви на растерзание супружеской подозрительности. Я решил исполнить лишь половину поручения, то есть сообщить ревнивцу все, как есть, если эти обе женщины войдут в церковь; в противном случае — предупредить их о грозящей опасности.

Я вернулся к товарищам, сказав им, чтобы они играли, не обращая на меня внимания, и улегся позади них на земле, разложив перед собой лоскутки бархата и обрывки кружев.

Вскоре множество женщин начали прибывать парами; наконец, приблизились две, на которых я узнал платья из такого же материала, как мои образцы. Обе женщины сделали вид, что входят в церковь, задержались у притвора, огляделись вокруг, не идет ли кто за ними, после чего быстро перебежали улицу и шмыгнули в дом напротив.

Когда цыган дошел до этого места своего повествования, за ним прислали, и он вынужден был уйти. Тогда Веласкес взял слово и сказал:

— В самом деле, я опасюсь этой истории. Все приключения цыгана начинаются прямолинейно и слушатель думает, что скоро дождется конца; в то время, как ничего подобного: одна история порождает другую, из которой выходит третья, что-то вроде тех остатков частного, которые в известных случаях можно делить до бесконечности. Однако для того, чтобы остановить разного рода прогрессии, существуют определенные способы, здесь же, за всю сумму всего того, что нам рассказывает цыган, можно приобрести всего лишь непостижимый и невразумительный хаос.

— Несмотря на это, — заметила Ревекка, — ты, сеньор, слушаешь его с превеликим удовольствием, ибо мне кажется, что ты намеревался отправиться прямо в Мадрид, а между тем совсем непохоже, чтобы ты покинул нас.

— Две причины склоняют меня оставаться в этих краях, — ответил Веласкес, — во первых, я приступил к важным расчетам, которые стремлюсь здесь завершить; во-вторых, признаюсь тебе, господа, что в обществе ни одной из женщин я не испытывал такого приятного чувства, как в твоём, или, вернее сказать, ты, сеньора, единственная из женщин, беседа с которой доставляет мне удовольствие.

— Ваша милость, — ответила еврейка, — я была бы рада, чтобы эта вторая причина стала бы когда-нибудь первой.

— Пускай тебя, сеньора, не слишком заботит, — сказал Веласкес, — что я думаю о тебе до или после геометрии; иное меня заботит. Я до сих пор не знаю, как тебя зовут, и вынужден обозначать тебя знаком x или z , которыми в алгебре мы обычно обозначаем неизвестные величины.

— Фамилия моя, — сказала еврейка, — есть тайна, которую я охотно доверила бы твоей порядочности, если бы не страшилась последствий твоей рассеянности.

— Не бойся, сеньора, — возразил Веласкес. — Часто применяя подстановки в вычислениях своих, я привык всегда одинаковым образом обозначать одни и те же величины. Если уж я присвою тебе какую-нибудь фамилию, то позднее, несмотря на самое искреннее желание, ты не будешь в состоянии этого изменить.

— Ну, хорошо, — сказала Ревекка, — называй меня Лаурой Узедо.

— С величайшей охотой, — подхватил Веласкес, — или также прекрасной Лаурой, ученой Лаурой, очаровательной Лаурой, ибо все это показатели твоего основного достоинства.

Когда они так между собой беседовали, я вспомнил обещание, которое дал разбойнику; ведь я обещал, что встречу с ним в четырехстах шагах к западу от табора. Я взял шпагу и, отдалившись именно на такое расстояние, услышал пистолетный выстрел. Я направил шаги в сторону леса, откуда донесся выстрел, и нашел людей, с которыми уже прежде имел дело. Главарь их сказал мне:

— Здравствуй, сеньор кавалер, я вижу, что ты умеешь держать свое слово, и не сомневаюсь, что ты так же смел, как и верен слову. Видишь это отверстие в скале? Это — проход в подземелье, где тебя ожидают с величайшим нетерпением. Надеюсь, что ты не обманешь оказанного тебе доверия.

Я вошел в подземелье, оставив незнакомца, который не поспевал за мной. Пройдя несколько шагов вперед, я услышал позади себя грохот и увидел, как огромные глыбы закрывают вход с помощью хитроумного механизма. Слабый проблеск света, проникающий сквозь расщелину в скале, окончательно померк во мгле коридора. Впрочем, несмотря на темноту, я легко двигался вперед — дорога была гладкая и крутизна склона невелика. Словом, я совсем не страдал, но думаю, что не один человек на моем месте испытал бы страх, спускаясь вот так, наощупь, в глубь земли. Я шел вперед добрых два часа; в одной руке я держал шпагу, другую же вытянул вперед, чтобы уберечь себя от ударов. Внезапно воздух рядом со мной затрепетал и я услышал тихий мелодичный голос:

— По какому праву смертный отваживается вторгаться в царство гномов?

Другой голос, столь же кроткий, ответил:

— Быть может, он приходит, чтобы вырвать у нас наши сокровища.

Первый голос продолжал:

— Если бы он захотел бросить шпагу, мы приблизились бы к нему.

В свою очередь, я обрел дар речи и сказал:

— Очаровательные гномы, если я не ошибаюсь, то узнаю вас по голосу. Я не могу бросить шпагу, но я воткнул острие в землю, вы смело можете подойти ко мне.

Божества подземелья заключили меня в объятия, однако каким-то тайным чувством я угадал, что это мои кузины. Живой свет, который вдруг вспыхнул со всех сторон, убедил меня, что я не ошибся. Они ввели меня в пещеру, устланную подушками и отделанную благородными металлами, которые переливались тысячами оттенков опала.

— Ну, что, — сказала Эмина, — рад ли ты нашей встрече? Ты теперь проводишь время в обществе юной израильтянки, разум которой равен ее красоте.

— Могу тебе ручаться, — отвечал я, — что Ревекка не произвела на меня ни малейшего впечатления, но каждый раз, как я вас вижу, я всегда с тревогой думаю, что нам больше не придется свидеться. Мне пытались внушить, что вы нечистые духи, но я никогда этому не верил. Некий внутренний голос убеждал меня, что вы существа, подобные мне, существа, созданные для любви. Принято считать, что можно по-настоящему любить только одну женщину, но, без сомнения, это заблуждение, потому что я одинаково люблю вас обеих. Во всяком случае, сердце мое не отделяет вас друг от друга, вы обе вместе владеете им.

— Ах, — вскричала Эмина, — это кровь Абенсеррагов говорит твоими устами, если ты можешь любить двух женщин сразу. Так прими же святую веру, которая допускает многоженство.

— Быть может, — прервала ее Зибельда, — ты тогда воссел бы на престол Туниса. Если бы ты видел этот волшебный край, серали Бардо и Манубы⁵, сады, фонтаны, роскошные бани и тысячи юных невольниц, гораздо прекраснее нас...

— Не будем говорить, — сказал я, — об этих королевствах, озаряемых солнцем: теперь мы, я и сам не ведаю, в какой бездне, близкой к самому аду, но можем ведь обрести тут наслаждения, которые, по слухам, пророк обещает избранникам своим.

Эмина печально улыбнулась, однако мгновение спустя взглянула на меня признательно и нежно. Зибельда же просто бросилась мне на шею.

День тридцатый

Проснувшись, я не нашел уже моих кузин. В тревоге я осмотрелся кругом и увидел перед собой длинную освещенную галерею; я догадался, что это путь, которым я должен следовать. Я наспех оделся и после получаса ходьбы добрался до винтовой лестницы, воспользовавшись которой я мог либо выйти на поверхность земли, либо спуститься в ее недра. Я выбрал второй путь и сошел в подземелье, где увидел гробницу белого моря, освещенную четырьмя светильниками, и старого дервиша, который читал над ней молитвы.

Старик повернулся ко мне и произнес кротким голосом:

— Здравствуй, сеньор Альфонс, мы давно уже ожидаем тебя.

Я спросил его, не подземелье ли это Кассар-Гомелеса.

— Ты не ошибся, благородный назарянин, — ответил дервиш. — Склеп этот заключает в себе славную тайну Гомелесов; но прежде, чем я расскажу тебе об этом важном предмете, позволю предложить тебе легкий завтрак. Сегодня тебе потребуются все силы твоего ума и тела, а, очень может быть, — прибавил он злорадно, — что сие последнее нуждается в отдыхе.

Сказав это, старик проводил меня в соседнюю пещеру, где я нашел красиво сервированный завтрак; когда же я подкрепился, он попросил меня выслушать его со вниманием и начал следующим образом:

— Сеньор Альфонс, мне известно, что прекрасные твои кузины поведали тебе историю твоих предков и рассказали также о значении, которое предки эти придавали тайне Кассар-Гомелеса. В самом деле, ничто на свете не может быть важнее. Человек, владеющий нашей тайной, без труда мог бы заставить повиноваться себе целые народы и, быть может, основать новую всеобщую монархию. Однако, с другой стороны, эти всемогущие и опасные средства, оказавшись в безрассудных руках, могли бы надолго разрушить порядок, заключающийся в повиновении. Законы, уже много лет управляющие нами, гласят, что тайна может быть открыта только людям из рода Гомелесов, и то лишь тогда, когда многие испытания убедят нас в стойкости и непоколебимости их характера и правильности их образа мыслей. Следует также требовать принесения торжественной присяги, подкрепленной множеством религиозных обрядов. Впрочем, зная твой характер, ограничимся твоим честным словом. Я осмеливаюсь просить тебя поклясться словом чести, что ты никогда никому не передашь того, что ты тут увидишь или услышишь.

Мне показалось в первую минуту, что, находясь на службе короля испанского, я не должен давать слова, не узнав сперва, не увижу ли

я в пещере вещей, которые противоречат его достоинству. Я напомнил об этом дервишу.

— Твоя осмотрительность, сеньор, вполне уместна, — ответил старик. — Руки твои принадлежат королю, которому ты служишь, но здесь ты находишься в подземных краях, куда его власть никогда не проникала. Кровь, которая течет в твоих жилах, также налагает на тебя известные обязанности, и, наконец, честное слово, которого я от тебя требую, является всего лишь дальнейшим продолжением того, которое ты дал своим кузинам.

Я удовольствовался этим рассуждением, хотя и несколько странным, и дал слово, которого от меня ждали.

Тогда дервиш толкнул одну из стен надгробья и указал мне лестницу, ведущую в нижние ярусы подземелья.

— Спустись туда, я не стану тебя сопровождать, но вечером приду за тобой.

Я спустился туда и увидел вещи, о которых с удовольствием бы вам рассказал, если бы данное мною слово чести не препятствовало этому.

Согласно обещанию, дервиш явился ко мне вечером. Мы вышли вместе и посетили еще одну пещеру, где нам подали ужин. Стол помещен был под золотым деревом, изображающим родословную Гомелесов. Дерево разрасталось двумя ветвями, из которых одна, символизирующая Гомелесов-магометан, казалось, цвела всей мощью своею, другая же, — Гомелесов-христиан, явно засыхала, ошестинясь длинными и грозными терниями. После ужина дервиш сказал:

— Не удивляйся различию, которое ты усматриваешь между этими двумя главными ветвями. Гомелесы, верные законам пророка, получили в награду венец, в то время, как те, другие, прозябали в неизвестности и занимали разные незначительные должности. Ни одного из них никогда не допускали к нашей тайне, и если для тебя сделали исключение, то ты обязан этим особому расположению, которое ты заслужил, снискав благосклонность двух принцесс из Туниса. Несмотря на это, ты до сих пор имеешь лишь слабое представление о нашей политике; если бы ты пожелал перейти в другую ветвь, в ту, которая цветет и с каждым днем будет расцветать все более пышным цветом, ты смог бы удовлетворить свое честолюбие и осуществить исполинские замыслы.

Я собирался ответить, но дервиш не дал мне произнести ни слова и продолжал следующим образом:

— Тем не менее, тебе по праву принадлежит известная часть достоинства твоей семьи и известная награда за испытания, какие ты перенес, спустившись в наше подземелье. Вот вексель на Эстебана Моро, богатейшего банкира в Мадриде. Сумма как будто равна всего нескольким тысячам реалов, но некий таинственный росчерк делает ее неограниченной и тебе дадут под твою подпись столько, сколько ты пожелаешь. А теперь

ты пойдешь по этой винтовой лестнице и, когда насчитаешь три тысячи пятисот ступеней, попадешь под очень низкий свод; там ты должен будешь проползти еще пятьдесят шагов и тогда окажешься посреди замка Аль-Кассар, или иначе Кассар-Гомелес. Ты хорошо сделаешь, если переночуешь там, а на следующий день у подножья горы непременно увидишь цыганский табор. Прощай, дорогой Альфонс, и пусть святой наш пророк соизволит просветить тебя и наставить на путь истинный.

Дервиш обнял меня, попрощался и запер за мною двери. Я должен был исполнить его повеление. Выбираясь из глубин подземелья к подножью горы, я часто задерживался, чтобы перевести дух; наконец, я увидел над собой звездное небо. Я улегся под полуразрушенным сводом и крепко заснул.



День тридцать первый

Проснувшись, я увидел в долине цыганский табор и заметил по царящему в нем оживлению, что цыгане собираются отправляться в путь и вновь начать свой странствия. Я поспешил присоединиться к ним. Я навивно полагал, что меня будут много расспрашивать после моего отсутствия в течение двух ночей, но никто ко мне не обратился, настолько каждого занимали приготовления к походу.

Как только все мы оседлали коней, каббалист сказал:

— На этот раз могу вас заверить, что сегодня мы послушаем рассказ вечного странника Агасфера столько, сколько пожелаем. Я не утратил еще своей власти над ним, как воображает этот наглец. Он уже был неподалеку от Таруданта, когда я заставил его возвратиться. Он недоволен и старается идти как можно медленней, но у меня есть возможность ускорить его шаги.

Сказав это, он извлек из кармана какую-то книжку и начал произносить некие варварские формулы. Вскоре на вершине горы мы заметили старого бродягу.

— Видите его, — крикнул Узед. — Негодяй! Ленивец! Вот увидите, как я его встречу!

Ревекка вступилась за провинившегося, и брат ее как будто поостыл немного, однако, когда Агасфер подошел к нам, Узед не смог сдержаться и стал осыпать его яростными упреками на языке, непонятном для меня. Затем он приказал ему идти рядом с моим конем и продолжать рассказ о своих приключениях с того места, на котором он остановился.

Несчастный странник ничего не ответил на это и повел такую речь:



*Продолжение истории
вечного странника Агасфера*

Я говорил вам, что в Иерусалиме возникла секта иродиан, которая считала, что Ирод — мессия; кроме того, я обещал вам объяснить значение, которое евреи придавали этому слову. Итак, скажу вам, что «мессия» древнееврейски значит «умащенный, помазанный елеем», «христос» же — греческий перевод того же имени. Иаков¹, проснувшись после знаменитого сна, пролил елей на камень, на котором покоилась его голова, и назвал это место Вефиль², что означает Дом Господень. Вы можете убедиться, читая в «Санхуниатоне»³, что Уранос изобрел вефили или оживленные камни. Тогда верили, что дух божий сразу же наполняет все, что было освящено помазанием.

Начали умащать царей, и слово «мессия» стало синонимом царя. Когда Давид говорит о мессии, он подразумевает самого себя, в чем можно убедиться из второго его псалма. Так как, однако, иудейское царство — разделенное⁴, а затем занятое чужеземцами — сделалось игрушкой соседних держав, особенно же когда народ был обращен в рабство, пророки изо всех сил начали его утешать⁵, говоря, что настанет день, когда явится царь из колена Давидова. Он обуздает гордыню Вавилона и, торжествуя, выведет евреев из рабства. Великолепнейшие здания с легкостью воздвигались во вдохновенных предсказаниях пророков, поэтому они не преминули так застроить грядущий Иерусалим, чтобы он был достоин принять в своих стенах могущественного царя; воздвигнуть в нем такой храм, в котором было бы все, что только могло бы поднять в глазах народа уважение к вере. Евреи, хотя и не придавали словам пророков большого значения, однако с удовольствием слушали их. И в самом деле, невозможно требовать, чтобы евреи горячо принимали к сердцу события, которые должны были наступить только в дни праправнуков их внуков.

Кажется, что под эгидой македонцев⁶ почти совершенно забыли о пророках, именно поэтому ни в одном из Маккавеев не видели мессию, хотя они освободили страну от чужеземного владычества. Также ни об одном из их потомков, которые носили царский титул, не говорилось, что его предвещали пророки.

Иначе, однако, обстояло дело в царствование старого Ирода. Царедворцы этого владыки, исчерпав в течение сорока лет все способы лести, услаждавшей его существование, внушили ему, наконец, что он-то и есть мессия, предвозвещенный пророками. Ирод, безразличный ко всему, за исключением власти, которой он с каждым днем все более жаждал, признал это высказывание единственным средством убедиться, кто из его подданных ему истинно верен.

Друзья его создали секту иродиан, предводителем коей был мошенник Седекия, младший брат моей бабки. Вы понимаете, что ни мой дед, ни Деллий и не мечтали уже переселиться в Иерусалим. Они велели выковать маленький ларец из бронзы и заперли в нем контракт на продажу дома Гиллея, а также долговую расписку его на три тысячи дариков вместе с документом о передаче прав, которые Деллий отказал в пользу отца моего, Мардохея. Наконец, приложили печати и решили больше не думать об этом, пока обстоятельства не примут более благоприятного оборота.

Ирод скончался, и Иудея сделалась ареной плачевнейших раздоров. Тридцать предводителей партий повелели умастить себя и провозгласить мессиями. Несколько лет спустя Мардохей взял в жены дочь одного из соседей, и я, единственный плод их брака, явился на свет в последнем году царствования Августа. Дед мой хотел обрезать меня сам и приказал приготовить великолепный пир, но, привыкший к уединению и обремененный годами, он после всех этих хлопот опасно занемог, и недуг в несколько недель свел его в могилу. Он испустил дух в объятьях Деллия, поручив ему, чтобы тот старался сохранить для нас бронзовый ларец и не допустил, чтобы негодяй спокойно пожинал плоды своей подлости. Моя мать, у которой были неудачные роды, только на несколько месяцев пережила своего тестя.

В те времена у евреев был обычай брать греческие или персидские имена. Меня назвали Агасфером. Именно под этим именем в 1603 году в Любеке я познакомился с Антонием Кольтерусом, как можно в этом убедиться из писаний Дудулеуса; это же имя я носил также и в 1710 году в Кембридже, как это доказывают творения ученого Тензелиуса.

— Сеньор Агасфер, — сказал Веласкес, — упоминание о тебе имеется также в «Театрум Эуропеум»⁷.

— Весьма возможно, — отвечал Агасфер, — ибо я почти везде известен с тех пор, как каббалистам пришла идея вызывать меня из глубин Африки.

Тогда я вмешался в разговор и спросил Агасфера, почему ему особенно пришлось по душе эти пустынные края.

— Потому что я не встречаю в них людей, — ответил он, — если же порой встречаю заблудившегося странника или какую-нибудь кафрскую

семью, тогда, зная логово львицы, кормящей своих детенышей, я привожу заблудившихся к ней на растерзание и с наслаждением гляжу, как она пожирает их на моих глазах.

— Сеньор Агасфер, — прервал его Веласкес, — ты кажешься мне человеком недостойного образа мыслей.

— Я предупреждал вас, — молвил каббалист, — что это — величайший на свете негодяй.

— Если бы ты, так же как я, прожил восемнадцать веков, — возразил бродяга, — то, конечно, был бы не лучше меня.

— Я надеюсь жить дольше и гораздо пристойней, — прервал каббалист. — Но оставь эти грубости и рассказывай дальше о своих приключениях.

Агасфер не возразил на это ни слова и продолжал свой рассказ.

Старый Деллий остался с моим отцом, на которого сразу свалилось столько забот. Они по-прежнему жили вместе в своем убежище, когда Седекия, лишившийся из-за смерти Ирода поддержки, в тревоге разузнавал о нас. Боязнь, что мы приедем в Иерусалим, постоянно его терзала. Он решил поэтому пожертвовать нами ради собственного спокойствия, и все, казалось, благоприятствовало его намерениям, ибо Деллий ослеп, отец же мой, будучи к нему искренне привязан, уединился более, чем когда-либо прежде. Так прошло шесть лет.

Однажды нам сообщили, что какие-то евреи из Иерусалима купили соседний дом и что там поселились люди, которые выглядят, как убийцы. Мой отец, по своей натуре любящий одиночество, воспользовался этим обстоятельством и вовсе перестал выходить из дому.

Тут какой-то неожиданный шум прервал рассказ странника, который воспользовался этим и исчез. Вскоре мы прибыли на место ночлега, где нашли уже приготовленный ужин и накрытый стол. Мы ели, как и подobaет путешественникам, а когда убрали со стола, Ревекка, обращаясь к цыгану, сказала:

— Если я не ошибаюсь, в тот момент, когда нас прервали, ты говорил, что две женщины, убедившись, что никто за ними не следит, быстро перебежали улицу и вошли в дом кавалера Толедо.

Цыганский вожак, видя, что мы жаждем услышать продолжение его истории, начал такими словами:

*Продолжение истории
цыганского вожака*



Я догнал обеих женщин, когда они поднимались по лестнице и, показав им лоскутки, сказал о поручении, данном мне ревнивецем, добавив:

— А теперь, сеньоры, войдите в церковь, я же тем временем сбегая к мнимому любовнику, который, как мне кажется, одной из вас приходится мужем. Как только он вас увидит, то, не желая, конечно, показать, что следил за вами, непременно уйдет, и тогда вы сможете отправиться туда, куда вам заблагорассудится.

Незнакомки послушались моего совета, я же сбегал в винную лавку на углу и сообщил ревнивцу, что обе женщины в самом деле отправились в церковь. Мы пошли вместе с ним, и я показал ему две бархатные юбки, подобные образцам, какие я держал в руках.

Казалось, что он все еще сомневается, но вдруг одна из женщин повернулась и, как бы невзначай, откинула край вуали. Тут супружеская радость озарила физиономию ревнивца, он быстро смешался с толпой и вышел из церкви. Я выбежал за ним на улицу, он поблагодарил меня и дал мне еще один золотой. Совесть не позволяла мне принять награду, но, не желая выдать себя, я вынужден был спрятать ее в карман. Ревнивец удалился, я проследил за ним взглядом, а потом пошел за этими двумя женщинами и проводил их в дом кавалера. Та, что была красивей, чем другая, хотела дать мне золотой.

— Прости, госпожа, — сказал я, — совесть повелела мне предать твоего мнимого любовника, ибо я узнал в нем мужа, но нечестно было бы принимать плату от обеих сторон.

Я вернулся к порталу святого Роха и показал два золотых. Мои приятели вскричали от удивления. Им часто давали подобные поручения, но никто и никогда их так щедро не награждал. Я внес золото в общую кассу; мальчишки пошли за мной, желая натешиться изумлением торговли, которая и в самом деле необыкновенно изумилась, увидав такую кучу денег. Она поклялась, что не только даст нам столько каштанов, сколько мы сами захотим, но сверх того оделит нас прямо-таки сказочными сосисками и всем, что нужно, чтобы их поджарить. Надежда на подобный пир донельзя обрадовала юных попрошайек из нашей ватаги, только я один не разделял эту радость и решил в будущем подыскать себе более изыскан-

ного кулинару. Тем временем мы набили карманы каштанами и возвратились на паперть святого Роха. Утолив голод, я завернулся в плащ и уснул.

На следующий день одна из женщин, с которыми я накануне познакомился, подошла ко мне и передала письмо, прося, чтобы я отнес его кавалеру. Я пошел и отдал письмо его камердинеру. Вскоре меня ввели в комнату. Наружность кавалера Толедо произвела на меня прекрасное впечатление. Нетрудно было понять, почему его так балуют женщины. Это был молодой человек необыкновенно приятной наружности. Ему не нужно было улыбаться, ибо веселость проступала в каждой черте его лица, причем все его движения были исполнены какого-то обаяния: можно было только догадываться о легкости и непостоянстве его нрава, что, без сомнения, вредило бы ему у женщин, ежели бы каждая не была убеждена, что сумеет привязать к себе наиболее легкомысленного мужчину.

— Друг мой, — сказал кавалер, — я уже знаю о твоей сообразительности и порядочности. Хочешь, я возьму тебя в услужение?

— Это невозможно, — ответил я. — Я рожден дворянином и не могу исполнять обязанности слуги. Я добровольно избрал положение нищего, ибо положение это никому не приносит бесчестья.

— Отменно сказано! — воскликнул кавалер — Вот ответ, достойный настоящего кастильца. Скажи мне, что я могу для тебя сделать?

— Сеньор кавалер, — ответил я, — я люблю свое положение, так как оно вполне достойное и дает мне средства к существованию, но признаюсь тебе, что кухня у нас не наилучшая. Поэтому, если ты, сеньор, пожелаешь мне позволить, чтобы я ел с твоими людьми, я буду считать это величайшим для себя счастьем.

— С превеликой охотой, — сказал кавалер. — В дни, когда я принимаю у себя женщин, я обычно отсылаю слуг, и если твое дворянское происхождение позволило бы тебе прислуживать нам за столом. . .

— Как только ты, сеньор, будешь со своей возлюбленной, — ответил я, — я с удовольствием смогу вам прислуживать, ибо, становясь полезным тебе, я облагораживаю таким образом мой поступок.

Сказав это, я попрощался с кавалером и отправился на улицу Толедо. Спросил там, где дом сеньора Авадоро, но никто не смог мне ответить. Тогда я спросил, где дом Фелипе дель Тинтеро Ларго. Мне показали балкон, на котором я увидел человека важного вида, покуривающего сигару, и, как мне почудилось, пересчитывающего черепицы двускатной кровли дворца герцога Альбы. Голос крови живо заговорил в моем сердце, но одновременно поразило меня и то, что природа наделила моего отца таким избытком важности, между тем как столь малую дозу оной уделила его сыну. Я полагал, что лучше было бы, если бы эта важность была разделена поровну между нами обоими, однако мне пришлось в голову и то, что нам, смертным, надлежит за все благодарить господа, и, ограничившись этим соображением, я возвратился к приятелям-попро-

шайкам. Мы отправились отведать сосисок у торговки, которые так пришлись мне по вкусу, что я совершенно забыл про обед у кавалера.

Под вечер я заметил обеих женщин, входящих в его дом. Видя, что они остаются там довольно долго, я пошел узнать, не требуются ли мои услуги, но как раз в эту минуту они выходили. Я прошептал несколько двусмысленных слов той, что была красивее, и она вместо ответа легонько ударила меня веером по лицу. Час спустя ко мне подошел молодой человек надменного вида; на плаще его был вышит мальтийский крест⁸. Прочая его одежда выдавала в нем путешественника. Он спросил меня, где живет кавалер Толедо. Я ответил, что могу его проводить. Мы не нашли никого в прихожей, посему я толкнул дверь и вошел с ним вместе.

Кавалер Толедо необычайно удивился.

— Что я вижу, — вскричал он, — это ты, мой милый Агиляр? Ты приехал в Мадрид, как же я счастлив этим! Ну что там делается, на Мальте? Что поделявает великий магистр, великий командор, приор новициата? Дорогой друг, дай мне тебя обнять!

Кавалер Агиляр отвечал на эти дружеские излияния с такой же нежностью, однако с гораздо большей важностью. Я догадался, что друзья захотят поужинать вместе. Нашел в передней столовые приборы и побежал за ужином. Когда стол был уже накрыт, кавалер Толедо приказал принести из винного подвала две бутылки шипучего французского вина. Я выполнил его приказание и раскупорил бутылки.

Между тем друзья беседовали, перебирая множество общих воспоминаний; после чего Толедо произнес такие слова:

— Я не понимаю, каким образом, мы, наделенные совершенно противоположными характерами, можем находиться в столь тесной дружбе. Ты обладаешь всевозможными добродетелями, я же, если не считать любви к тебе, наверно, самый гадкий человек на свете. И в самом деле, слова эти я доказал тем, что до сих пор ни с кем не подружился в Мадриде и ты по-прежнему единственный мой друг. Но, правду сказать, я не столь постоянен в любви.

— Так ты по-прежнему придерживаешься тех же взглядов на женщин? — прервал Агиляр.

— Не вполне, — возразил Толедо. — Раньше я как можно скорее бросал одну любовницу ради другой, теперь же я убедился, что таким образом теряю слишком много времени, и обычно вступаю в новую связь прежде, чем порву с первой, в то время как присматриваюсь уже к третьей.

— Так, — изрек Агиляр, — ты все еще не отрекся от прежнего легкомыслия?

— Нет, — отвечал Толедо, — я только боюсь, чтобы легкомыслие меня не покинуло. В характере мадридских женщин есть нечто настолько

назойливое и неотвязное, что нередко человек невольно становится гораздо более нравственным, нежели сам того желает.

— Я не вполне понимаю твои слова, — сказал Агиляр, — однако в этом нет ничего удивительного, наш орден военный и в то же время духовный; мы даем обет, как монахи и священники.

— Конечно, — прибавил Толедо, — или же как женщины, которые клянутся в верности мужьям.

— И кто из нас знает, — молвил Агиляр, — не ждет ли их за нарушение клятвы грозная кара на том свете?

— Друг мой, — сказал Толедо, — я верую во все то, во что должен верить христианин, но мне кажется, что здесь происходит известное недоразумение. Как же это, черт возьми, ты хочешь, чтобы жена оидора Ускариса жарилась в огне в течение всей вечности, если она провела со мной нынче один только час?

— Вера учит нас, — молвил Агиляр, — что есть иные места покаяния.

— Ты имеешь в виду чистилище, — возразил Толедо. — Я прошел через него, когда влюбился в эту дьявольскую Инезию из Наварры, поразительнейшее, капризнейшее и ревнивейшее создание, какое я когда-либо встречал в своей жизни; но я с тех пор навеки зарекся связываться с театральными богинями. Впрочем, я заболтался, а ты не ешь, не пьешь; я осушил всю бутылку, а твой бокал еще полон. О чем ты размышляешь? О чем ты так задумался?

— Я думал, — сказал Агиляр, — о солнце, которое я видел сегодня.

— Я не вправе тебе противоречить, — прервал Толедо, — ибо я тоже видел его.

— Я думал также, — прибавил Агиляр, — о том, увижу ли я его завтра.

— Не сомневаюсь в этом, конечно, если не будет тумана.

— Не зарекайся, ибо, быть может, ты не доживешь до завтрашнего дня.

— Я должен признаться, — сказал Толедо, — что ты привозишь с Мальты мысли не слишком отрадные, в особенности для застойной беседы.

— Человек всегда уверен в смерти, — прервал Агиляр, — но никогда не знает, когда пробьет его последний час.

— Ну так слушай, — сказал Толедо, — признайся, от кого ты услышал эти приятные новости? Должно быть, это был какой-то чрезвычайно забавный смертный; часто ли ты приглашаешь его к ужину?

— Ты ошибаешься, — возразил Агиляр, — нынче утром мне говорил об этом мой исповедник.

— Как, — вскричал Толедо, — ты приезжаешь в Мадрид и в тот же самый день исповедуешься? Или тебя здесь ожидает дуэль?

— Именно поэтому я и пошел исповедаться.

— Великолепно, — сказал Толедо, — я давно уже не держал шпаги и, если ты хочешь, я могу быть секундантом.

— Очень сожалею, — ответил Агиляр, — но как раз ты — единственный человек, которого я не могу просить об этой услуге.

— Боже правый! — воскликнул Толедо. — Ты опять начал злосчастный спор с моим братом?

— Именно так, мой друг, — ответил Агиляр, — и герцог Лерма отдал мне в сатисфакции, которой я от него требовал; поэтому нынче ночью мы должны драться с ним при свете факелов на берегу Мансанареса, под большим мостом.

— Великий боже, — закричал Толедо, необыкновенно опечаленный, — неужели этой ночью я должен потерять брата или друга?

— Быть может, обоих, — ответил Агиляр. — Мы будем драться не на жизнь, а на смерть; вместо шпаг мы согласились на длинный стилет в правой и кинжал в левой руке. Ты знаешь, что это ужасное оружие.

Толедо, чувствительная и восприимчивая душа которого легко воспринимала любые впечатления, из шумнейшей веселости сразу же впал в мрачнейшее отчаяние.

— Я предвидел твоё огорчение, — сказал Агиляр, — и поэтому не хотел видаться с тобой, но мне послышался небесный голос, повелевавший предостеречь тебя, напомнив о том, какие наказания ожидают нас в грядущей жизни.

— Ах! — вскричал Толедо, — прошу тебя, не думай вовсе о том, чтобы обратить меня.

— Я только солдат, — сказал Агиляр, — я не умею произносить проповеди, но обязан внимать божественному голосу.

В этот миг часы пробили одиннадцать, Агиляр заключил друга в объятия и сказал ему:

— Послушай, Толедо: таинственное предчувствие подсказывает мне, что я погибну, но я жажду, однако, чтобы смерть моя послужила твоему спасению. Я отложу бой до самой полуночи. Тогда слушай внимательно: если умершие могут каким-нибудь образом дать себя услышать живым, в таком случае будь уверен, что друг твой не преминет убедить тебя в существовании того света. Предупреждаю тебя только, слушай внимательно в самую полночь.

Сказав это, Агиляр еще раз обнял друга и ушел. Толедо бросился на постель, заливаясь слезами, я же вышел в переднюю, не запирая за собой дверей. Мне было интересно, чем все это кончится.

Толедо встал, поглядывая на часы, после чего вновь бросился на постель и плакал. Ночь была темная, только отблески далеких молний прорывались иногда сквозь щели в ставнях. Гроза все более при-

ближалась, над нами тяготел ее свинцовый ужас. Пробило полночь, и с последним ударом мы услышали три стука в ставень.

Толедо распахнул ставни, говоря:

— Ты погиб?

— Погиб, — отвечал замогильный голос.

— Есть ли чистилище на том свете? — спросил Толедо.

— Есть, и я уже в нем нахожусь, — ответил тот же самый голос, после чего мы услышали протяжный и горестный стон.

Толедо бросился наземь, затем вскочил, взял плащ и вышел. Я отправился вслед за ним; мы пошли к Мансанаресу, но еще не успели дойти до большого моста, как увидели вереницу людей, некоторые из них несли факелы. Толедо узнал своего брата.

— Тебе не следует идти дальше, — сказал ему герцог Лерма, — если ты не хочешь наткнуться на труп своего друга.

Толедо лишился чувств. Видя, что он в руках своих людей, я возвратился на паперть и начал размышлять обо всем том, чему был свидетелем. Отец Санудо не однажды напоминал нам о чистилище и новое это напоминание не произвело на меня особенного впечатления. Я заснул, как обычно, крепким сном.

Наутро первым человеком, который вошел в храм святого Роха, был Толедо, но такой бледный и измученный, что я едва смог его узнать. Он долго молился и, наконец, потребовал исповедника.

Когда цыган дошел до этого места, его дальнейший рассказ прервали; вожаку пришлось нас покинуть, и мы разошлись, каждый в свою сторону.

День тридцать второй

С восходом солнца мы пустились в дальнейший путь и углубились в наименее доступные пределы долины. Пройдя около часу, мы встретили Агасфера, который подошел к нам и, втиснувшись между мною и Веласкесом, так продолжал рассказ о своих приключениях:

Продолжение истории вечного странника Агасфера



Однажды к нам явился судейский чиновник-римлянин. Мы ввели его в дом и узнали, что мой отец обвинен в государственном преступлении; его обвиняли в том, что он хотел предать Египет в руки арабов. Когда римлянин ушел, Деллий сказал:

— Милый Мардохей, тебе не нужно оправдываться, ибо каждый убежден в твоей невиновности. Я хочу только забрать половину твоего состояния, и ты лучше всего сделаешь, если отдашь его по доброй воле.

Деллий был прав, дело это стоило нам половины нашего состояния.

Год спустя отец мой, выходя однажды поутру из дому, заметил лежащего почти у самого порога человека, который, казалось, еще дышал; он велел внести больного в дом и хотел вернуть его к жизни, как вдруг увидел нескольких судейских чиновников и соседей — всего восемь человек, которые присягнули затем, что видели, как мой отец убивал этого человека. Отец просидел полгода в тюрьме и вышел, утратив вторую половину состояния, — все, что у нас еще оставалось.

У него был еще дом, но едва он вернулся туда, как вдруг вспыхнул пожар у его подлых соседей. Было это ночью. Соседи ворвались в наши покои, забрали все, что только могли, и раздули огонь там, где еще не было. Утром на месте нашего дома осталась только куча пепла, где ползали слепой Деллий и мой отец, который обнял меня, и мы стали оплакивать несчастья наши.

Когда открыли лавки, отец взял меня за руку и привел к пекарю, который тогда продавал нам хлеб. Человек этот, проникшись жалостью, дал нам три каравая. Мы вернулись к Деллию. Тот рассказал, что пока нас не было, какой-то незнакомец, которого он не мог узнать по голосу, сказал ему:

— Ах, Деллий, пусть бы ваши несчастья пали на голову Седекии! Прости тем, кого подлец использовал в качестве орудия своего преступления. Нам заплатили за то, чтобы мы погубили вас, но мы, несмотря на это, оставили вас в живых. Вот, возьми, вам будет некоторое время на что жить.

С этими словами незнакомец вручил ему кошелек с пятьюдесятью золотыми.

Эта неожиданная помощь обрадовала моего отца. Он весело расстелил на пожарище полуобгоревший ковер, положил на него три каравая, и пошел принести воды в черепке от разбитого горшка. Мне было тогда семь лет, и я помню, что разделил эту радость с моим отцом и ходил вместе с ним к колодцу.

Но зато уж за завтраком не забывали обо мне.

Едва мы уселись за трапезу, как увидели маленького мальчугана моих лет, который со слезами просил у нас кусок хлеба.

— Я, — сказал он, — сын римского солдата и сирийской женщины, которая умерла, произведя меня на свет. Жены воинов из той же когорты и маркитанки по очереди кормили меня грудью; они прибавляли к грудному молоку еще какую-нибудь пищу, ибо, как видите, я живу на свете. Между тем отец мой, посланный сражаться против какого-то пастушеского племени, пал вместе со всеми своими товарищами. Вчера я, съев последний ломтик хлеба, который мне был оставлен, стал просить в городе, но нашел все двери запертыми. У вас, однако, нет ни дверей, ни дома, поэтому я и надеюсь, что вы меня не оттолкнете.

Старый Деллий, который никогда не упускал случая высказать нечто назидательное, произнес:

— Нет на свете человека настолько бедного, чтобы он был не в состоянии оказать услугу ближнему, как нет и настолько могущественного, что ему не требовалась бы помощь других. Словом, дитя мое, будь здоров и раздели нашу убогую трапезу. Как тебя зовут?

— Германус, — ответил мальчик.

— Да продлит господь твои лета! — молвил Деллий.

И в самом деле, это благословение стало подлинным предсказанием, ибо дитя это жило долго и до сих пор еще живет в Венеции, где его знают под именем кавалера де Сен-Жермен¹.

— Я хорошо знаком с ним, — прервал Узедра, — он обладает некоторыми познаниями в каббалистике.

Затем вечный странник Агасфер продолжал следующим образом:

— После завтрака Деллий спросил у моего отца, были ли взломаны двери от погребца.

Отец мой отвечал, что двери заперты и что пламя не смогло пробиться через свод, покрывающий погреб.

— Отлично, — сказал Деллий, — возьми поэтому из кошелька, который мне дали, два золотых, найми работников и возведи хижину над этим сводом. Быть может, пригодятся какие-нибудь остатки нашего прежнего дома.

Следуя совету Деллия, нашли несколько балок и досок, почти совсем не поврежденных, сложили их, как только было возможно, заткнули щели пальмовыми листьями, внутри устлали циновками и, таким образом, устроили нам довольно удобное жилье. В нашем счастливом климате большего и не надо: легчайшего подобия крыши достаточно под столь ясным небом, так же как и самая простая пища — здоровее всего. Справедливо можно сказать, что мы не страшимся такой нужды, как вы в ваших странах, климат которых вы называете, однако, умеренным.

Пока занимались сооружением хижины для нас, Деллий велел вынести свою циновку на улицу, уселся на ней и заиграл на финикийской цитре, а потом запел песню, которую некогда сложил в честь Клеопатры. Голос его (хотя ему уже было за семьдесят) собрал тем не менее множество слушателей, которые с удовольствием ему внимали. Окончив песню, он так сказал окружающим:

— Граждане Александрии, подайте милостыню бедному Деллию, которого отцы ваши знали как первого музыканта царицы Клеопатры и любимца Антония.

При этих словах маленький Герман обнес кругом глиняную миску, в которую каждый бросал свое добротное даяние.

Деллий решил петь и просить милостыню лишь раз в неделю. В этот день вокруг него обыкновенно собиралась толпа и награждала его щедрым подаянием. Этой поддержкой мы обязаны были не только голосу Деллия, но также его беседе со слушателями, веселой, поучительной и сплетенной с рассказами о всяких забавных событиях. Таким образом, мы вели весьма сносную жизнь, однако мой отец, измученный столькими несчастьями, тяжело заболел и не прошло и года, как он покинул этот свет. Тогда мы остались на попечении Деллия и должны были жить тем, что нам приносил его голос, уже и так весьма старческий и слабый. Следующей зимой затяжной кашель и сильная хрипота лишили нас и этого единственного спасения. К счастью, я получил небольшое наследство от дальнего родича, умершего в Пелузиуме. Полученная мною сумма была равна пятистам золотым, и хотя это не составляло даже трети причитающегося мне наследства, однако Деллий уверил меня, что бедный не дол-

жен ничего ожидать от правосудия и что бедняк лучше всего поступает, когда ограничивается тем, что оно ему, смилостивившись, решает уделить от щедрот своих. Он расписался в получении денег от моего имени и столь разумно сумел распорядиться этими деньгами, что нам было на что существовать все мои детские годы.

Деллий не пренебрегал моим воспитанием и помнил о маленьком Германе. Мы поочередно оставались при нем. Когда прислуживать ему должен был мой товарищ, я отправлялся в маленькую еврейскую школу по соседству, а в те дни, когда я оставался с Деллием, Герман ходил учиться к одному жрецу Изиды по имени Херемон². Затем Герману доверили носить факел на мистериях этой богини, и я помню, что нередко с любопытством слушал его рассказы об этих празднествах.

Когда вечный странник Агасфер дошел до этого места своего повествования, мы прибыли к месту ночлега, и бродяга, воспользовавшись случаем, исчез где-то в горах. К вечеру собрались все; цыган, казалось, не был занят ничем, и Ревекка снова стала упрашивать его, пока он не начал свою речь такими словами:



*Продолжение истории
цыганского вожака*

Кавалер Толедо, без сомнения, должен был обременить свою совесть многочисленными грехами, ибо необычайно долго задерживал исповедника. Наконец он встал, весь в слезах, и вышел из храма, в глубочайшем, как мне показалось, раскаянии. Проходя по паперти, он заметил меня и кивнул, чтобы я шел за ним.

Только рассвело, и на улицах еще не было ни души. Кавалер нанял первых же погонщиков, которые ему подвернулись, и мы выехали из города. Я заметил ему, что его слуги встревожатся, не видя его так долго.

— Нисколько, — ответил он. — Я предупредил их, никто не будет ждать меня.

— Сеньор кавалер, — сказал я тогда, — позволь мне сделать тебе еще одно замечание. Голос, услышанный вчера, сказал тебе то, что ты и

сам легко мог найти в любом катехизисе. Ты исповедался и тебе, конечно, не отказали в отпущении грехов. Теперь ты можешь несколько изменить свое поведение, но я не вижу необходимости обременять свое сердце чрезмерной печалью.

— Ах, друг мой, — ответил кавалер, — кто однажды услышал голос мертвых, тот, конечно, недолго пробудет среди живых.

Я понял тогда, что мой покровитель думает о скорой смерти, что он не в силах избавиться от этой неотвязной мысли, и решил не отпускать его ни на шаг.

Мы выбрались на довольно безлюдную дорогу, которая петляла среди совершенно диких мест и привела нас к воротам обители камедулов³. Кавалер расплатился с погонщиками и позвонил. Какой-то монах оказался у калитки, кавалер назвал свое имя и просил позволения провести несколько недель в этом убежище. Нас проводили в келью отшельника, расположенную в глубине сада, и объяснили знаками, что звонок предупредит нас о часе, когда все братья собираются в трапезной. В келье мы обнаружили книги религиозного содержания, которые с тех пор сделались любимым чтением кавалера. Что до меня, я познакомился с неким камедулом, который дил рыбу, присоединился к нему и занятие это было единственным моим развлечением.

В первый день я не жаловался на обет молчания, составляющее один из главных пунктов устава камедулов, но на третий день уже не мог его вытерпеть. А кавалер с каждым днем становился все мрачнее и все молчаливее и, наконец, вовсе перестал говорить.

Уже неделю мы пребывали в монастыре, когда однажды к нам явился один из моих товарищей с паперти святого Роха. Он сказал, что видел, как мы сажались на наемных мулов, и что, встретив позднее погонщика, узнал о том, где мы находимся; потом он сообщил мне, что огорчение по поводу моего отсутствия рассеяло часть нашей компании. Сам он поступил на службу к одному купцу из Кадиса, который лежит больной в Мадриде после печальной истории, вследствие коей он сломал руки и ноги и не может обойтись без мальчика на побегушках.

Я ответил ему, что не могу уже больше вынести пребывания у камедулов, и просил, чтобы он хотя бы на несколько дней заменил меня у кавалера.

— Я охотно бы сделал это, — сказал он, — но боюсь покинуть моего купца: кроме того, ты знаешь, что меня наняли на паперти святого Роха, и если я не сдержу слова, это может повредить всей нашей честной компании.

— В таком случае я заменю тебя у купца, — ответил я; кстати, я имел такую власть над моими товарищами, что мальчуган не посмел мне долго противиться.

Я привел его к кавалеру, которому сказал, что отправляюсь на несколько дней в Мадрид и что на это время оставляю ему своего товарища, за которого ручаюсь, как за самого себя. Кавалер не ответил ни слова, но знаками дал мне понять, что согласен на замену.

Я побежал в Мадрид и тотчас же отправился в таверну, указанную мне моим товарищем. Но там мне сказали, что купец велел перенести себя на квартиру к одному знаменитому врачу, живущему на улице святого Роха. Я нашел его с легкостью, сказал ему, что пришел вместо моего товарища Чикито, что звать меня Аварито и что я столь же верно буду исполнять те же самые обязанности.

Мне был дан положительный ответ, но притом я получил распоряжение тут же идти спать, так как меня предупредили, что в течение нескольких ночей мне придется бодрствовать у постели больного. Я лег спать и вечером приступил к службе. Меня ввели к больному, которого я нашел растянувшимся на постели в чрезвычайно горестном положении; ноги и правая рука его были неподвижны; он мог шевелить только левой рукой. Это был молодой человек самой приятной наружности и, собственно говоря, его ничего не беспокоило, кроме того только, что сломанные кости причиняли ему невыносимые боли. Я старался отвлекать его от мучений, забавляя всяческими способами. Это настолько пришлось ему по вкусу, что однажды он сам согласился рассказать мне свои приключения и начал такими словами:



История Лопеса Суареса

Я единственный сын Гаспара Суареса, одного из самых богатых купцов Кадиса. Отец мой, человек суровый и непреклонный, хотел, чтобы я посвятил себя исключительно коммерческим занятиям и даже думать не смел о развлечениях, которые обычно разрешают себя сыновья богатых купцов из Кадиса.

Всячески стараясь умиловить моего отца, я редко ходил в театр, а в воскресенье никогда не отдавал дань тем развлечениям, каким предается общество в больших торговых городах.

Но так как ум требует отдохновения, я обрел его в чтении приятных, хотя и небезопасных книжек, которые известны под именем романов. Они пришлись мне по вкусу, и постепенно во мне пробудилась чувствительность, однако я редко выходил в город, и женщины почти никогда не навещали нас; по всем этим причинам сердце мое было свободно. В это время у отца моего возникли некоторые дела, которые следовало уладить при дворе, и он решил, что я непременно должен съездить в Мадрид, и сообщил мне о своем намерении. Я радостно принял эту новость, счастливым тем, что смогу дышать свободней и хоть на миг смогу забыть о сумрачных решетках нашей конторы и облаках пыли в наших обширных складах.

Когда все уже было готово к отъезду, отец велел позвать меня к себе в кабинет и обратился ко мне с такими словами:

— Сын мой, ты едешь в город, где купцы не обладают таким значением и весом, как в Кадисе, а посему они должны вести себя серьезно и достойно, дабы не унижить сословия своего, которое приносит им честь, тем паче, что сословие это честно способствует благополучию их отечества и истинной силе монарха.

Вот тебе три правила, которыми ты будешь руководствоваться, дабы не прогневить меня: прежде всего я запрещаю тебе вступать в разговор с дворянами. Господа дворяне полагают, что оказывают нам честь, когда изволят сказать нам несколько слов. Это заблуждение, в котором не следует их оставлять, ибо наше доброе имя ни в коей мере от этого не зависит.

Во-вторых, я приказываю тебе называть себя просто Суарес, а не дон Лопес Суарес — титулы ни одному купцу не прибавляют блеска; его доброе имя должно основываться на обширных торговых связях и благоразумной осмотрительности в предприятиях.

В-третьих, раз и навсегда запрещаю тебе обнажать шпагу. Обычай сделал ее общим достоянием, и поэтому я не запрещаю тебе носить это оружие, однако ты должен помнить, что честь купца состоит в добросовестности, с которой он придерживается своих обязательств, потому я и не хотел, чтобы ты брал уроки опасного искусства фехтования.

Если ты нарушишь какое-либо из этих трех правил, ты навлечешь на себя мой гнев; в случае, однако, если ты нарушишь четвертое, то тебя постигнет уже не мой гнев, но проклятие мое, моего отца и моего деда, который является твоим прадедом и в то же время — незабвенным основателем нашего процветающего дела, заложившим некогда основы нашего благополучия. Речь идет о том, чтобы ты никогда не вступал ни в какие отношения с домом братьев Моро, королевских банкиров. Братья Моро справедливо пользуются всеобщим уважением и, конечно, ты удивляешься последним моим словам, но ты перестанешь удивляться, как только узнаешь, в чем обвиняет их наш дом. Поэтому я должен в нескольких словах изложить и объяснить тебе всю эту историю:



История семейства Суарес

Человек из нашего рода, которому мы обязаны нашим благосостоянием, был Иньиго Суарес. Он провел молодость, бороздя моря, вступил в компанию, управляющую копами в Потоси, и затем основал торговый дом в Кадисе.

Когда цыган дошел до этого места, Веласкес достал аспидную доску и начал что-то на ней записывать. Видя это, вожак обратился к нему и сказал:

— Герцог, ты, конечно, желаешь заняться каким-нибудь занимательным вычислением, и я боюсь, чтобы дальнейший мой рассказ тебе в этом не помешал.

— Никоим образом, — возразил Веласкес, — я занимаюсь именно твоим рассказом. Быть может, этот Иньиго Суарес встретит в Америке кого-нибудь, кто ему перескажет историю какого-нибудь другого человека, который также в свою очередь будет иметь в запасе историю, которую сможет поведать. Поэтому, чтобы привести все это в порядок, я выдумал рубрики, похожие на схему, которая служит нам в известного рода прогрессиях, чтобы можно было вернуться к исходным величинам. Благоволи не обращать на меня внимания и продолжай свою речь.

Цыган продолжал следующим образом:

— Иньиго Суарес, желая основать торговый дом, искал дружбы известнейших испанских купцов. Семья Моро пользовалась тогда значительной известностью, потому он и уведомил ее о намерении войти с ней в постоянные отношения. Он получил согласие и, дабы основать торговое предприятие, заключил несколько соглашений в Антверпене, выдав на них вексель на Мадрид. Но каково же было его негодование, когда ему отослали его вексель опротестованным. Правда, следующей почтой он получил письмо с извинениями: Родриго Моро писал ему, что авизовка пришла с опозданием, что он сам находился тогда в Сан-Ильдефонсо у министра, а его главный бухгалтер прибег к обязательному в таких случаях правилу, но что, однако, нет такого удовлетворения, на какое

он, Моро, с искреннейшей охотой бы не пошел. Но оскорбление было уже нанесено. Иньиго Суарес порвал всякие отношения с семейством Моро и, умирая, повелел сыну, чтобы он никогда не вступал с этими банкирами в деловые отношения.

Отец мой, Руис Суарес, долго был послушен родительским повелениям, но многочисленные банкротства, которые неожиданно уменьшили число торговых домов, вынудили его вступить в отношения с семейством Моро. Вскоре он горько об этом пожалел. Я говорил тебе, что мы в какой-то степени участвовали в компании, управляющей копиями в Потоси, и, таким образом, получив значительное количество слитков серебра, обычно оплачиваем этими слитками наши счета. Для этого у нас были сундуки, на сто фунтов серебра каждый, соответствовавшие ценности двух тысяч семисот пятидесяти пиастров. Эти сундуки, несколько из которых ты мог еще видеть, окованы были железом и снабжены свинцовыми пломбами с условным знаком нашего торгового дома. У каждого сундука был свой номер. Они направлялись в Индию, возвращались в Европу, плыли в Америку, и никто не вскрывал их, и каждый с радостью принимал их в уплату; даже в самом Мадриде их превосходно знали. Однако, когда какой-то купец, который должен был произвести уплату семейству Моро, принес четыре таких сундука главному бухгалтеру вышеупомянутого семейства, тот не только вскрыл их, но, кроме того, приказал сделать пробу серебра.

Когда весть о столь оскорбительном обращении достигла Кадиса, отец мой впал в неудержимый гнев. Правда, следующей почтой он получил письмо, полное оправданий: Антонио Моро, сын Родриго, писал моему родителю, что двор вызвал его в Вальядолид и что только лишь по возвращении он узнал о безрассудном поступке своего бухгалтера, который, будучи чужеземцем, недавно приехавшим, не имел еще времени познакомиться с испанскими обычаями. Но отец никоим образом не удовлетворился этими оправданиями. Он порвал все связи с домом братьев Моро и, умирая, запретил мне вступать с ними в какие бы то ни было отношения.

Я долгое время свято повиновался его повелениям, и у меня не было оснований жаловаться на это, пока, наконец, непредвиденные обстоятельства вновь не столкнули меня с домом братьев Моро. Я забыл или, вернее, ненадолго упустил из виду совет моего отца и ты увидишь, что из этого получилось.

Коммерческие дела при дворе призвали меня в Мадрид, где я познакомился с неким Ливардесом, который прежде имел торговый дом, теперь же существовал на проценты со значительных сумм, вложенных им в различные предприятия. В характере этого человека было нечто привлекательное для меня. Наши отношения носили уже довольно дружеский и доверительный характер, когда я узнал, что Ливардес приходится дядей

с материнской стороны известному Санчо Моро, тогдашнему главе фирмы. Мне следовало бы тотчас же порвать с Ливардесом всякие отношения, но я, напротив, еще больше с ним подружился.

Однажды Ливардес сообщил мне, что, видя, с каким знанием дела я веду торговлю с Филиппинскими островами, он решил на началах командитного товарищества поместить у меня миллион. Я уверял его, что в качестве дядюшки достойного Санчо Моро, он должен доверить свои капиталы последнему, но Ливардес возражал мне на это, что не любит вступать в денежные отношения с родственниками. Наконец он убедил меня, что удалось ему без особого труда, ибо, действуя таким образом, я не вступал ни в какие отношения с домом братьев Моро. Вернувшись в Кадис, я прибавил еще один корабль к моим двум, которые я ежегодно посылал на Филиппины, и перестал о них думать. Год спустя бедный Ливардес умер, и Санчо Моро написал мне, что, найдя в бумагах доказательство того, что его покойный дядя поместил у меня миллион, просит о возвращении этого капитала. Быть может, мне следовало поставить его в известность о нашем соглашении и о доле его в упомянутом коммерческом предприятии, но я, не желая вступать ни в какие пререкания с этим проклятым домом, отослал миллион, не вдаваясь ни в какие объяснения.

Два года спустя корабли мои возвратились, утроив капитал, вложенный в товары. По условиям я должен был заплатить два миллиона покойному Ливардесу и против собственной воли вынужден был написать братьям Моро, что у меня есть два миллиона, с которыми я готов поступить по их усмотрению. Они ответили мне на это, что два года назад этот капитал был проведен по книгам и что они и слышать не хотят об этих деньгах.

Ты понимаешь, сын мой, как сильно поразило меня это жестокое оскорбление, ведь они просто хотели подарить мне два миллиона. Я посоветовался с несколькими негоциантами в Кадисе, которые, как будто назло мне, признали правоту моих противников, доказывая, что, так как банкирский дом Моро два года тому назад выдал мне расписку в получении капитала, то у него нет теперь никаких прав и оснований претендовать на полученные проценты с него. Я готов был предъявить доказательства, что капитал Ливардеса действительно был вложен в товары, находившиеся на кораблях, и что если бы корабли затонули, я имел бы право требовать у семейства Моро возвращения миллиона, который я им отдал; но мне представлялось несомненным, что самое имя Моро воюет против меня и что если бы я согласился на полюбовный суд негоциантов, приговор их был бы не в мою пользу.

Я отправился к адвокату, который сказал мне, что так как братья Моро потребовали возвращения миллиона без разрешения их покойного дядюшки, я же употребил его согласно желанию вышеназванного дядюшки,

то упомянутый затем капитал действительно находится до сих пор у меня, миллион же, два года назад проведенный по книгам братьев Моро, является другим миллионом, не имеющим с тем, первым, ничего общего.

Адвокат посоветовал мне призвать братьев Моро в севильский трибунал. Я последовал его совету и возбудил против них процесс, который тянулся шесть лет и обошелся мне в сто тысяч пиастров. Кроме того, я проиграл его во всех инстанциях и два миллиона остались у меня.

Сперва я хотел обратить эти деньги на какое-нибудь благотворительное дело, но опасался, чтобы заслугу эту в известной мере не разделили со мной проклятые братья Моро. До сих пор я не знаю еще, как быть с этими деньгами, однако каждый год, подводя баланс, я помещаю в графе «кредит» на два миллиона меньше. Ты видишь поэтому, сын мой, что у меня есть серьезные основания запретить тебе всяческие сношения с домом братьев Моро.

Когда цыган принес эти слова, за ним пришли, и все мы разошлись, каждый в свою сторону.

День тридцать третий

Мы двинулись в поход и вскоре увидели Агасфера, который присоединился к нам и так продолжал рассказ о своих приключениях:



Продолжение истории вечного странника Агасфера

Мы росли под надзором благородного Деллия, хотя нельзя сказать, что он не спускал с нас глаз, ибо он, увы, был погружен в вечную ночь, но под опекой его разума мы руководствовались его мудрыми советами и наставлениями.

С тех пор прошло восемнадцать столетий, но мои детские годы — единственная пора моей жизни, о которой я с приятностью вспоминаю и ныне.

Я любил Деллия, как отца, и искренне привязался к моему товарищу Герману. Часто, однако, опекун наш вел с этим последним живые споры, и всегда по поводу религии. Воспитанный в суровых принципах синагоги, я постоянно повторял ему:

— У твоих кумиров есть глаза, но они слепы; у них есть уши, но они глухи; золотых дел мастер отлил их, и мыши гнездятся в них.

Герман отвечал мне, что вовсе не считает идолов богами и что я не имею ни малейшего понятия о религии египтян.

Слова эти, часто повторяемые, возбудили во мне любопытство; я просил Германа, чтобы он уговорил жреца Херемона познакомить меня с его религией, что должно было произойти втайне, ибо в случае, если бы об этом услышала синагога, я непременно был бы проклят и отлучен. Херемон, очень любивший Германа, с готовностью согласился — и следующей ночью мы отправились в рошу, расположенную близ храма Изиды.

Герман представил меня Херемону, который, усадив меня рядом с собою, сложил руки, на миг погрузился в размышления и на ниже-

египетском наречии, которое я превосходно понимал, стал читать следующую молитву:

Египетская молитва

*Великий боже, отец всего сущего,
Святой боже, который открываешься посвященным,
Ты святой, который все сотворил словом,
Ты, святой, образом коего является природа,
Ты святой, которого сотворила не природа,
Ты святой, могущественней всякого могущества,
Ты святой, превыше всего возвышенного,
Ты святой, превыше всяческой похвалы!
Прими благодарственную жертву моего сердца и слов моих.
Ты невыразимый, но молчание — твой голос,
Ты развеял все заблуждения, противные истинному знанию.*

Укрепи меня, дай мне силу и позволь воззвать к твоему милосердию всем тем, которые погружены в неведение, а также тем, которые познали тебя, и поэтому мои братья и твои дети.

*Верую в тебя и во всеуслышание это признаю,
Возношусь к жизни и к свету.*

Жажду причаститься твоей святости, ибо ты возбудил во мне эту жажду.

Когда Херемон прочел эту молитву, он обратился ко мне и сказал: — Видишь, дитя мое, что мы, так же как и вы, признаем единого бога, который словом своим сотворил мир. Молитва, которую ты слышал, извлечена из Поймандра, книги, которую мы приписываем трижды великому Тоту¹, тому самому, творения коего мы носим в процессии во время великих наших торжеств. Мы обладаем двадцатью шестью тысячами свитков, приписываемых этому философу, который жил, якобы, две тысячи лет тому назад. Впрочем, только наши жрецы вправе их переписывать, быть может, потому, что из-под их пера вышло много дополнений. Правда, все сочинения Тота полны темной и двусмысленной метафизики, которую можно истолковывать по-разному. Я ограничусь тем, что изложу тебе общепринятые догматы, которые больше всего приближаются к принципам халдеев.

Религии, так же как и все прочие вещи мира сего, подвергаются медленным, но постоянным воздействиям, которые вечно стремятся изменить их формы и сущность, так что через несколько веков та же самая религия

представляет веру человеческой совершенно иные принципы, аллегории, сокровенную мысль которых уже невозможно разгадать, либо догматы, которым люди верят уже только наполовину. Я не могу поэтому ручаться, что научу тебя древней религии, церемонии которой ты можешь видеть изображенными на барельефе Озимандии² в Фивах, однако, повторяю тебе поучения моих наставников³ так, как я излагаю их своим ученикам.

Прежде всего предупреждаю тебя, чтобы ты никогда не придавал значения ни изображениям, ни символам как таковым, но чтобы ты вникал в мысль, в них сокрытую. Так, например, ил представляет все то, что является материальным. Божество, восседающее на раскрытом цветке лотоса и плывущее по илу, олицетворяет мысль, которая покоится на материи, но вовсе не соприкасается с нею. Это тот же самый символ, который употребил ваш законодатель, когда сказал, что «дух божий носился над водами». Предполагают, что Моисей был воспитан жрецами из города Он, или Гелиополиса. Ибо в сущности, ваши обряды весьма близки к нашим. У нас, как и у вас, также есть жреческие семьи, пророки, обряд обрезания, мы также питаем отвращение к свинине, и есть еще множество совпадений.

Когда Херемон досказывал эти слова, один из низших жрецов Изиды ударил в колокол, что означало наступление полночи. Наставник объявил нам, что религиозные обязанности призывают его в храм, но что мы можем прийти завтра вечером.

— Вы сами, — прибавил вечный странник, — вскоре придете к месту ночлега, так позвольте мне отложить на завтра продолжение моей истории.

После того как бродяга ушел, я начал размышлять над его словами и мне показалось, что я обнаружил в них явное желание ослабить в нас принципы нашей религии и тем самым укрепить замыслы тех, которые жаждали, чтобы я сменил мою веру. Однако я хорошо знал, как честь предписывает поступать в подобных случаях, и был твердо убежден в бесплодности всяких попыток такого рода.

А между тем мы прибыли к месту ночлега и, поужинав, как обычно, воспользовались тем, что у вожака было свободное время и просили его, чтобы он соблаговолил рассказывать дальше, что он и сделал в таких словах:

*Продолжение истории
цыганского вожака*



Молодой Суарес изложил мне историю своей семьи и мне показалось, что ему отчаянно хочется спать; я знал, что отдых совершенно необходим ему для восстановления здоровья, и попросил его поэтому отложить продолжение рассказа о своих приключениях на следующую ночь. И в самом деле, он отлично спал. Следующей ночью он показался мне значительно бодрее, хотя он опять не мог заснуть, и поэтому я умолял его продолжать свой рассказ, и бедный больной повел такую речь:



*Продолжение истории
Лопеса Суареса*

Я говорил тебе, что отец мой запретил мне пользоваться титулом «дон», обнажать шпагу и иметь дело с дворянами, более же всего вступать в какие бы то ни было отношения с семейством Моро. Я говорил тебе также о неудержимом пристрастии, которое я испытывал к чтению романов. Я крепко запомнил предостережения моего отца, после чего обошел всех книгопродавцев города Кадиса, чтобы запастись сочинениями этого рода, от которых, в особенности в путешествии, ожидал неизъяснимых наслаждений.

Наконец, я взшел на пинку и должен признаться, что с радостью покинул наш душный, выжженный солнцем и пыльный город. Меня привел в восторг вид цветущих берегов Андалузии. Потом мы плыли по Гвадалквивиру, и я высадился в Севилье, где намеревался нанять мулов для

дальнейшего странствия. Один из погонщиков вместо обычной повозки предложил мне весьма удобную карету, я принял его предложение и, нагрузив экипаж романами, купленными в Кадисе, поехал в Мадрид.

Очаровательная местность между Севильей и Кордовой, живописное расположение гор Сьерра-Морена, пастушеские нравы жителей Ла Манчи — все, что я видел, придавало прелесть любимым моим книгам. Душа моя смягчилась; я питал ее нежными и горестными чувствами так усиленно, что, приехав в Мадрид, любил уже безумно, хотя и не знал еще, кто является предметом моего обожания.

Оказавшись в столице, я остановился в трактире «Под Мальтийским Крестом». Пробило полдень, и вскоре мне накрыли стол к обеду, затем я начал раскладывать свои вещи, как это привыкли делать путешественники после переселения на новую квартиру. Вдруг я услышал какой-то шорох в дверном замке. Я подбежал и внезапно резко распахнул дверь, хотя сопротивление, которое я ощутил, убедило меня, что я непременно кого-то ударил. В самом деле, я увидел за дверью человека, прилично одетого, который вытирал свой нос, разбитый в кровь.

— Сеньор дон Лопес, — сказал мне незнакомец, — я узнал внизу в трактире о приезде благородного сына знаменитого Гаспара Суареса и пришел засвидетельствовать тебе мое почтение.

— Сударь, — отвечал я, — ежели ты просто хотел войти ко мне, то получил бы шишку на лбу, но твой расквашенный нос доказывает, что ты непременно держал его близ замочной скважины.

— Отменно сказано, — вскричал незнакомец, — дивлюсь твоей пронзительности! Не могу утаить, что, стремясь познакомиться с тобой, я хотел сперва составить некоторое представление о твоей наружности и был в восторге, увидя, с каким благородством ты расхаживал по комнате и раскладывал свои вещи.

С этими словами незнакомец, совершенно незванный и непрошенный, вошел ко мне и так продолжал свою речь:

— Сеньор дон Лопес, ты видишь во мне знаменитого потомка семейства Бускерос из старой Кастилии, коего не следует смешивать с другими Бускеросами, родом из Леона. Что до меня, то я известен под именем дона Роке Бускероса, но с этих пор жажду гордиться единственно своею преданностью вашему превосходительству.

Мне тотчас же вспомнились предостережения моего отца, и я ответил:

— Сеньор дон Роке, я вынужден поставить тебя в известность, что Гаспар Суарес, сыном коего я являюсь, прощаясь со мной, запретил мне раз и навсегда прибавлять к моему имени титул «дон», а также приказал, чтобы я никогда не имел дела ни с одним дворянином. Надеюсь, ты поймешь, сеньор, что я не смогу воспользоваться твоею столь благосклонной ко мне любезностью.

Услышав эти слова, Бускерос принял серьезный вид и сказал:

— Слова вашего превосходительства ставят меня в чрезвычайно неловкое положение, так как мой отец, умирая, также торжественнейшим образом повелел мне, чтобы я всегда награждал титулом «дон» известных купцов и по возможности искал их общества. Ты видишь, поэтому, сеньор дон Лопес, что только ценой моего непослушания моему родителю ты можешь повиноваться приказам твоего отца, и чем больше ты будешь меня избегать, тем больше я, как добрый сын, вынужден буду стремиться навязать тебе свою особу.

Бускерос весьма смутил меня этим замечанием, тем более, что говорил вполне серьезно, а запрещение обнажать шпагу не позволяло мне завести ссору.

Между тем дон Роке обнаружил на моем столе осьмерики, то есть монеты стоимостью в восемь голландских дукатов⁴ каждая.

— Сеньор дон Лопес, — сказал он, — я как раз собираю такого рода золотые и, невзирая на все мои старания, у меня до сих пор еще нет монет с этой датой. Ты понимаешь, что это бескорыстная страсть коллекционера, и полагаю, что окажу тебе милую услугу тем, что сделаюсь тебе обязанным, или, вернее, счастливый случай дает тебе эту возможность, ибо у меня есть собрание этих монет, начиная с первых лет, когда они появились; мне недоставало только лишь экземпляров именно тех двух лет чеканки, даты которых я сейчас на них различаю.

Я пожертвовал гостю облюбованные им золотые, причем весьма успешно пожертвовал, ибо полагал, что после этого он сразу же уйдет. Но дон Роке отнюдь этого не сделал, а вновь с самым серьезным видом произнес:

— Сеньор дон Лопес, мне кажется, что не подобает, чтобы мы ели из одной тарелки или каждую минуту передавали друг другу ложку или вилку. Прикажи подать второй прибор.

Сказав это, он отдал соответствующие распоряжения, мы сели за стол, и я признаю, что беседа с моим незванным гостем была весьма забавна, так что если бы не мысль, что я нарушаю отцовский запрет, то я не без приятности видел бы его за своим столом.

Бускерос вышел сразу после обеда, я же, переждав жару, велел проводить себя на Прадо. С удивлением взирал я на живописное расположение этой аллеи, но вместе с тем с величайшим нетерпением ожидал мгновения, когда окажусь в Буэн Ретиро. Этот уединенный парк прославлен в наших романах⁵, и я сам не знаю, что за предчувствие подсказывало мне, что я непременно вступлю там в какую-либо нежную связь.

Вид Буэн Ретиро очаровал меня больше, чем можно выразить. Я долго бы стоял так, погруженный в мечты, если бы какой-то поблескивающий предмет, лежащий в траве в двух шагах от меня, не привлек бы к себе моего внимания. Я поднял его и увидел медальон, прикрепленный к обрывку золотой цепочки. В медальоне находился силуэт чрезвычайно

благородного юноши, на обороте же я увидел плетенку из волос, разделенную золотым пояском, на котором я прочитал надпись «Вечно твой, моя возлюбленная Инес». Я спрятал находку в карман и пошел дальше.

Возвратившись затем на прежнее место, я застал там двух женщин, из которых одна, молодая и необыкновенно красивая, искала что-то в траве и была явно встревожена. Я легко догадался, что она ищет потерянный портрет. Почтительно подойдя к ней, я сказал:

— Сударыня, мне кажется, что я нашел предмет, который ты ищешь, однако благоразумие не позволяет мне отдать его, прежде чем в нескольких словах ты не согласишься доказать свои права собственности на найденную мною вещь.

— Скажу тебе поэтому, сеньор, — ответила прекрасная незнакомка, — что я ищу портрет с обрывком золотой цепочки, остаток которой я держу в руке.

— Но, — добавил я, — разве не было какой-нибудь надписи на портрете?

— Была, — ответила незнакомка, несколько покраснев, — ты прочел там, сеньор, что меня зовут Инес и что оригинал этого портрета «вечно мой». А теперь надеюсь, что ты согласишься мне его вернуть.

— Ты не говоришь мне, сударыня, — сказал я, — каким образом этот счастливый смертный вечно тебе принадлежит.

— Я считала своим долгом, — возразила прекрасная незнакомка, — удовлетворить твою осмотрительность, сеньор, а отнюдь не твое любопытство, и не пойму, по какому праву ты задаешь мне подобные вопросы.

— Мое любопытство, — ответил я, — быть может, более справедливо следует назвать интересом. Что же до права, по которому я смею тебе, сударыня, задавать подобные вопросы, то я позволю себе заметить, что, возвращая потерянный предмет, нашедший его обычно получает надлежащее вознаграждение. Я умоляю тебя, сеньора, только о такой награде, которая может сделать меня несчастнейшим из смертных!

Юная незнакомка нахмурилась и сказала:

— Ты заходишь, сеньор, слишком далеко для первой встречи; во всяком случае, это не способ добиться второго свидания; однако я могу удовлетворить в этом смысле твою любознательность. Портрет этот...

В этот миг с боковой аллеи неожиданно вышел Бускерос и, подойдя к нам, сказал:

— Поздравляю тебя, сеньора, ты познакомилась с сыном богатейшего негоцианта из Кадиса.

При этих словах Бускероса на лице моей незнакомки появилось выражение величайшей обиды.

— Я полагаю, что не дала повода, чтобы незнакомые люди смели со мной заговаривать.

Затем, обращаясь ко мне, прибавила:

— Благоволи, сеньор, вернуть мне портрет, который ты нашел. Сказав это, она села в карету и исчезла с наших глаз.

Когда цыган дошел до этого места, за ним прислали, и он просил у нас разрешения отложить на завтра продолжение своей истории. Едва он ушел, прекрасная еврейка, которую мы называли теперь просто Лаура, обращаясь к Веласкесу, сказала:

— Что ты думаешь, сиятельный герцог, об экзальтированных чувствах молодого Суареса? Разве когда-нибудь в жизни ты задумывался хоть на миг о том, что обыкновенно называют любовью?

— Система моя, — отвечал Веласкес, — объемлет всю природу, и, тем самым, должна включать все чувства, вложенные природой в сердце человеческого. Я всячески углубил их и дал им определение, в частности, мне удалось это в том, что касается любви, когда я открыл, что можно с величайшей легкостью выражать ее посредством алгебры, а как ты знаешь, сеньора, алгебраические задачи решаются с точностью, которая не оставляет желать ничего лучшего. В самом деле, допустим, что любовь является положительной величиной, обозначаемой знаком плюс, ненависть, как чувство противоположное любви, обозначена будет знаком минус, равнодушие же, как вовсе не чувство, будет равняться нулю.

Если затем я помножу любовь на любовь, или скажу, что люблю любовь, то у меня будут всегда получаться величины положительные — ибо плюс на плюс всегда дает плюс. С другой стороны, если я ненавижу ненависть, то вступаю тем самым в область чувства любви, то есть в область положительных величин, ибо минус на минус дает плюс.

Напротив, если я ненавижу ненависть ненависти, то я вступаю в область чувства противоположного любви, то есть в область отрицательных величин, ибо минус в кубе дает минус.

Что же до произведений любви на ненависть или ненависти на любовь, то они всегда отрицательные, поскольку плюс, помноженный на минус, или минус, помноженный на плюс, всегда дает минус. Ведь и в самом деле, ненавижу ли я любовь или же люблю ненависть, я всегда остаюсь в пределах чувств, противоположных любви. Можешь ли ты, прекрасная Лаура, в чем-либо упрекнуть это мое доказательство?

— Никоим образом, — ответила еврейка, — напротив, я убеждена, что нет женщины, которая не покорилась бы подобному рассуждению.

— Меня бы это вовсе не обрадовало, — сказал Веласкес, — ибо, покоряясь столь поспешно, они утратили бы дальнейшее продолжение, или выводы, проистекающие из моих принципов. А теперь я стану излагать далее свои доказательства. Так как любовь и ненависть относятся друг к другу как величины положительные к отрицательным, то из этого следует, что вместо ненависти я вправе написать минус любовь, чего, однако,

не следует считать равным равнодушию, которое, по сути дела, равно нулю.

А теперь всмотришься получше в поведение влюбленной пары. Они любят друг друга, ненавидят, потом проклинают ненависть, которую они питали друг к другу; затем любят друг друга больше, чем когда бы то ни было, пока отрицательный фактор не превратит все их чувства в ненависть. Нельзя не заметить, что произведения были бы поочередно положительными и отрицательными. В конце концов тебе говорят, что любовник убил свою любовницу, и ты уже сама не ведаешь, есть ли это результат любви или же ненависти. Точно так же и в алгебре: приходишь к мнимым числам всякий раз, когда у корней из минус x показатели четные.

Доказательство это справедливо до такой степени, что часто видишь, как любовь возникает благодаря известного рода взаимной робости, напоминающей нерасположение — малую отрицательную величину, которую мы можем выразить через минус B . Нерасположение это вызывает раздоры, которые мы обозначим посредством минус C . Произведение этих двух величин будет $+BC$, или положительной величиной, то есть чувством любви.

Тут лукавая еврейка прервала Веласкеса, говоря:

— Всемиловейший герцог, если я хорошо тебя поняла, то лучше всего было бы выразить любовь посредством развития степеней $(X - A)$, допуская, что A гораздо меньше, чем X .

— Прелестная Лаура, — сказал Веласкес, — ты угадываешь мои мысли. Именно такова, очаровательная женщина, формула бинома⁶, найденная кабальеро доном Ньютоном; формула, которой мы должны руководствоваться при изучении сердца человеческого, как и вообще во всех наших расчетах.

После этого разговора мы расстались; но нетрудно было заметить, что прекрасная еврейка произвела сильное впечатление на ум и сердце Веласкеса. Поскольку он, так же, как и я, происходил из рода Гомелесов, я не сомневался, что существует план употребить влияние этой обаятельной женщины для того, чтобы убедить его перейти в веру пророка. Дальнейшее развитие событий покажет, что я не ошибался в своих предположениях.



День тридцать четвертый

На заре мы оседлали лошадей. Вечный странник Агасфер, не думая, чтобы мы могли собраться в дорогу столь рано, отдалился на значительное расстояние. Мы долго дожидались его, наконец он появился, заняв свое обычное место рядом со мной и повел такую речь:

Продолжение истории вечного странника Агасфера



Символы никогда не препятствовали нам верить в единого бога, который превыше всех других богов. Сочинения Тота не оставляют в этом смысле ни малейшего сомнения.

Мы читаем там следующее:

Сей единый бог существует нерушимо в обособленности своего единства. Ничто иное, даже ни одно отвлеченное понятие не может с ним сочетаться.

Он сам себе отец, сам себе сын и единый, порождающий бога. Он сам есть добро, начало всего сущего и источник постижения первоначальных существ.

Сей единый бог находит свое объяснение в себе самом, так как доволен самого себя. Он является исходным принципом, богом богов, монадой единства, которая древнее самого существования и творит принцип существования. Ибо от него происходит существование бытия и само бытие, и поэтому его также называют Отцом Бытия.

— Вы видите отсюда, мои друзья, — продолжал Херемон, — что невозможно иметь о божестве более благородных понятий, чем наши, но мы полагали, что нам дозволено обожествлять известную часть качеств бога и отношений его с нами, творя из них отдельные божества, а, вернее, олицетворения отдельных божественных качеств.

Так, например, божественный разум мы называем Эмеф, когда же этот разум выражается словами, — Тот, или убеждением, или же Эрмет, то есть толкованием.

Как только божественный разум, скрывающий в себе истину, нисходит на землю и творит в обличье плодородия, тогда он зовется Амун. Когда этот разум проявляется в облике искусства, тогда мы называем его Пта или Вулканом, когда же он проявляется в образе добра, мы зовем его Озирисом.

Мы считаем бога единым, однако бесконечное число благодетельных отношений, которые он благоволил иметь с нами, является причиной того, что мы позволяем себе, не затрагивая его чести, считать его существом собирательным, ибо по природе своей он совокупный и бесконечно разнообразный в свойствах, какие мы в нем замечаем.

Что же касается духов, то мы верим, что каждый из нас имеет при себе двух, то есть злого и доброго. Души героев ближе всего к природе духов, а в особенности те, которые предводительствуют сонмом душ.

Богов, по их сущности, можно сравнить с эфиром, героев и духов — с воздухом, обыкновенные же души имеют в себе уже нечто земное. Божественное провидение мы приравниваем к свету, который заполняет все пространство между мирами. Древние сказания говорят нам также о силах ангельских, или посланнических, обязанность которых возвещать повеления господни, и о других силах, еще более высокой степени, которых эллинизированные евреи называли архонтами либо архангелами.

Те среди нас, которые посвятили себя священнослужению, убеждены, что обладают властью вызывать богов, духов, ангелов, героев и души. Однако они не могут прибегать к теургии¹, не нарушая всеобщего порядка вселенной. Когда боги нисходят на землю, солнце и луна скрываются на некоторое время от глаз смертных.

Архангелы окружены более ярким сиянием, нежели ангелы. Души героев излучают меньше света, нежели души ангелов, однако же более ярки, чем души простых смертных, которые поглощают тень.

Князья Зодиака показываются в необычайно великолепных образах. Кроме того, мы различаем множество особых обстоятельств, сопровождающих появление различных существ и служащих для того, чтобы отличить одних от других. Так, например, злых духов можно узнать по зловредным влияниям, которые возникают после их появления.

Что касается идолов, то мы верим, что если мы создаем их при строго определенном взаиморасположении небесных тел или с определенными теургическими церемониями, то мы в состоянии привлечь известные частицы божественной сущности. Однако искусство это столь призрачно и недостойно истинного познания бога, что обычно мы предоставляем его жрецам гораздо более низкого сана, чем тот, к которому я имею честь принадлежать.

Когда какой-нибудь из наших жрецов вызывает богов, он в некотором смысле сопричастен их естеству. Однако он не перестает быть человеком, только божественная природа пронизывает его до известной степени, и он связывается определенным образом с божеством. Оказавшись в таком состоянии, он легко может приказывать нечистым духам или земным и изгонять их из тел, одержимых ими. Порой наши жрецы, соединяя минералы, зелья, травы и материалы животного происхождения, создают смесь, которая может стать вместилищем божества; но при этом подлинным узлом, связующим священнослужителя с божеством, является молитва.

Все эти обряды и догматы, которые я вам изложил, мы приписываем не Тоту, или третьему Меркурию, который жил во времена Озимандии, но пророку Битису, который жил за две тысячи лет до того и истолковал принципы первого Меркурия². Однако, как я вам уже говорил, время многое изменило, так что я не думаю, чтобы древняя религия дошла до наших дней в своем первоначальном состоянии. В конце концов, если я должен сказать вам все, то наши жрецы иногда осмеливаются угрожать собственным богам; тогда во время жертвоприношения они произносят такие слова: «Ежели не исполнишь моего желания, я разоблачу самые сокровенные таинства Изиды, выдам тайну пучины, сокрушу саркофаг Озириса³ и рассыплю все сочленения его».

Признаюсь вам, что я отнюдь не одобряю этих формул, от коих даже халдеи полностью воздерживаются.

Когда Хермон дошел уже до этого места своего учения, один из жрецов низшей степени ударил в колокол — наступила полночь; а так как и вы также приближаетесь к месту вашего ночлега, позвольте мне отложить на завтра продолжение моего рассказа.

Вечный странник Агасфер удалился, Веласкес же заверил нас, что он ничего не узнал нового и все это можно отыскать в книге Ямвлиха.

— Это сочинение, — прибавил он, — которое я читал с большим вниманием и никогда не мог понять, каким образом критики, которые считали достоверным послание Порфирия к Анебону Египтянину, признали ответ Египтянина Абаммона вымыслом Порфирия. Я полагаю, что Порфирий просто присоединил к своему труду ответ Абаммона, присовокупив заодно некоторые собственные замечания о философах греческих и о халдейских.

— Кто бы это ни был, Анебон или Абаммон, — изрек Узед, — могу поручиться, что Агасфер говорил вам истинную правду.

Мы прибыли к месту ночлега и устроили легкий ужин. У цыгана оказалось свободное время и он так продолжал рассказывать нам о своих приключениях:



*Продолжение истории
цыганского вожака*

Молодой Суарес, рассказав мне, чем кончилось первое его свидание в Буэн Ретиро, не смог побороть сна, который и в самом деле был ему совершенно необходим для восстановления сил. Вскоре он заснул глубоким сном, однако на следующую ночь продолжал свой рассказ такими словами:



*Продолжение истории
Лопеса Суареса*

Я покинул Буэн Ретиро с сердцем, преисполненным любви к прекрасной незнакомке и негодованием по адресу Бускероса. Наутро, а было это как раз в воскресенье, я полагал, что встречу в каком-нибудь храме предмет моих мечтаний. Напрасно обежав три церкви, я нашел ее в четвертой. Она узнала меня и, после мессы приблизившись ко мне, шепнула:

— Это был портрет моего брата.

Она уже исчезла, а я все еще стоял на месте, как прикованный, очарованный этими несколькими словами, которые только что услышал, ибо я был убежден, что, будь она равнодушна ко мне, ей не пришло бы в голову успокоить меня таким образом.

Вернувшись в трактир, я велел принести обед в надежде, что на сей раз незваный гость оставит меня в покое, но вместе с первым блюдом появился Бускерос, крича во все горло:

— Сеньор дон Лопес, я стклонил двадцать приглашений и прихожу к тебе. Впрочем, я тебе уже сообщил, что я весь к твоим услугам!

Мне захотелось сказать этому наглецу что-нибудь неприятное, но тут я вспомнил, что батюшка запретил обнажать шпагу, поэтому, скрепя сердце, приходилось избегать ссоры. Бускерос велел принести себе блюдо, сел и, обращая ко мне с неподдельной радостью, сказал:

— Признайся, сеньор дон Лопес, что я оказал тебе вчера великую услугу: будто невзначай, я предупредил молодую особу, что ты — сын одного из богатейших в Кадисе негоциантов. Правда, она разыграла неудержимый гнев, но это только для того, чтобы убедить тебя, будто богатства твои не производят на ее сердце никакого впечатления. Не верь этому, сеньор дон Лопес. Ты молод, хорош собой, умен, но помни, что ни в какой любовной истории золото ничуть тебе не повредит. Правда, у меня все происходит иначе. Когда меня любят, то только ради меня самого, не было случая, чтобы я возбуждал страсть, которая зависела бы от состояния моих финансов.

Бускерос долго еще молчал подобный вздор, но, наконец, отобедав, ушел. Под вечер я отправился в Буэн Ретиро, однако с тайным предчувствием, что на этот раз не встречу прекрасной Инес. И в самом деле, она не пришла, но зато я застал там Бускероса, который весь вечер уже не отходил от меня ни на шаг.

На следующий день он снова явился к обеду и, уходя, сообщил, что вечером встретится со мной в Буэн Ретиро. Я отвечал ему, что он меня там не найдет, будучи же уверен, что он не доверяет моим словам, под вечер спрятался в какой-то лавке почти у самого Буэн Ретиро и, минуто спустя, заметил Бускероса, который спешил в парк. Не найдя меня там, он возвратился, обеспокоенный, и пошел искать меня на Прадо. Тогда я со всех ног побежал в Буэн Ретиро и, пройдя несколько раз по главной аллее, заметил мою прекрасную незнакомку. Я приблизился к ней с уважением, которое, насколько я мог заметить, пришлось ей весьма по душе; я не знал, однако, следует ли мне поблагодарить ее за то, что она мне сказала в церкви. Она сама, должно быть, захотела вывести меня из затруднения, ибо с улыбкой проговорила:

— Ты думаешь, сеньор, что тому, кто нашел потерянный предмет, полагается соответствующее вознаграждение, и поэтому, найдя этот портрет, хотел узнать, какие отношения связывают меня с оригиналом. Теперь ты уже знаешь о них, а посему не спрашивай об этом больше, если только снова не найдешь какую-нибудь вещь, мне принадлежащую, ибо тогда, без сомнения, ты мог бы притязать на новое вознаграждение. Однако не годится, чтобы люди слишком часто видели нас гуляющими вместе. Прощай, но я не запрещаю тебе подходить ко мне каждый раз, когда тебе будет что сказать мне!

Проговорив это, незнакомка любезно мне поклонилась; я ответил ей глубоким поклоном, после чего удалился в соседнюю аллею, поглядывая на ту особу, которую только что покинул. Окончив прогулку, Инес села

в экипаж, бросив мне прощальный взгляд, как мне показалось, исполненный нескрываемой благосклонности.

На следующий день, захваченный возникшим во мне чувством и размышляя над его развитием, я решил, что, конечно, прекрасная Инес вскоре позволит мне писать к ней. Так как я никогда в жизни не сочинял любовных посланий, то подумал, что должен несколько усовершенствовать свой стиль. Я взял перо и написал письмо следующего содержания:

*Лопес Суарес к Инес ****

Рука моя, трепещущая в лад с трепетными чувствами моими, страшится начертать эти слова. В самом деле, что могут они выразить? Какой смертный сумеет писать, следуя голосу любви? Где перо, которое сможет угнаться за ним?

Я хотел бы в этом письме собрать все мои мысли, но они убегают от меня. Блуждая по тропинкам Буэн Ретиро, я застываю на песке, который сохранил следы твоих ног, и не могу оторваться от него.

Неужели и впрямь этот сад наших королей столь красив, как мне кажется? Без сомнения — нет; вся прелесть его в моем воображении, а ты, Госпожа, единственная причина этого. Ужели этот парк был бы столь безлюдным, если бы другие видели в нем те красоты, какие я открываю на каждом шагу?

Газон там зеленеет живее, жасмин издает более нежное благоухание, а деревья, под которыми ты прошла, с большей силой сопротивляются палящим солнечным лучам. А ведь ты всего лишь прошла под ними, так что же станется с сердцем, в котором ты соблаговолишь остаться навсегда?

Написав это письмо, я перечитал его и заметил в нем множество нелепостей, а поэтому не захотел ни вручить его, ни отослать. И вот тогда, ради приятной иллюзии, я запечатал его, надписав адрес: «Прекрасной Инес» и положил его в ящик стола, после чего отправился на прогулку.

Я обежал улицы Мадрида и, проходя мимо трактира «Под Белым Львом», подумал, что прекрасно сделаю, если пообеду в этом трактире и таким образом избегну встречи с этим проклятым прилипалой. Поэтому я приказал подать себе обед и, только подкрепившись, возвратился в гостиницу.

Я выдвинул ящик стола, где лежало мое любовное послание, но его уже там не нашел. Тогда я расспросил моих слуг, которые сказали, что, кроме Бускероса, никто у меня не был. Я не сомневался, что именно он взял письмо, и очень встревожился, не зная, как он поступит с ним.

Под вечер я не пошел сразу в Буэн Ретиро, но укрылся в той самой лавке, которая мне уже послужила убежищем накануне. Вскоре я увидел карету прекрасной Инес и Бускероса, бегущего за ней изо всех сил и показывающего мое послание, которым он размахивал. Негодяй так кричал

и жестикулировал, что карета остановилась и он смог отдать письмо прямо в собственные руки красавицы Инес. Затем карета покатила в Буэн Ретиро, Бускерос же направился в противоположную сторону.

Я не смог вообразить себе, чем окончится эта история, и медленно пошел к саду. Там я застал уже прекрасную Инес, сидящую вместе со своей подругой на скамье, прислоненной к густой шпалере. Она знаком пригласила меня подойти, велела сесть и молвила:

— Я хотела, сеньор, сказать тебе несколько слов. Прежде всего я прошу тебя, чтобы ты соизволил мне поведать, зачем ты написал все эти нелепицы; а затем, для чего использовал, чтобы передать их мне, человека, нахальство которого, как ты знаешь, уже однажды мне не понравилось?

— Я не могу отрицать, — возразил я, — что это письмо написано мною, однако я никогда не имел намерения вручить его вам, госпожа. Я написал его только для собственного удовольствия и спрятал в ящик стола, из коего его выкрал этот подлый Бускерос, который со времени моего приезда в Мадрид преследует меня, как некий злой дух.

Инес рассмеялась и с явным удовольствием перечитала мое письмо.

— Так тебя зовут Лопес Суарес? Скажи, сеньор, не родственник ли ты того богатого Суареса, негодяя из Кадиса?

Я ответил, что я его единственный сын. Инес завела разговор о предметах малозначительных и затем пошла к своему экипажу. Прежде чем сесть в карету, она сказала:

— Неприлично, чтобы я оставляла при себе подобные нелепицы; отдаю тебе письмо, однако с условием, чтобы ты его не потерял. Быть может, я еще когда-нибудь спрошу у тебя о нем.

Отдавая мне письмо, Инес легонько сжала мне руку.

Доселе ни одна женщина не пожимала мне руки. Правда, я встречал подобные описания в романах, но, читая, не мог себе достаточно вообразить наслаждения от такого пожатия. Я нашел этот способ выражения чувств восхитительным и вернулся домой в уверенности, что я — счастливейший из смертных.

На следующий день Бускерос вновь оказал мне честь, отобедав в моем обществе.

— Ну что, — сказал он, — письмо дошло по назначению? Я вижу по твоему лицу, сеньор, что оно произвело желаемое впечатление.

Я вынужден был признать, что испытываю по отношению к нему нечто вроде признательности.

Под вечер я отправился в Буэн Ретиро. Едва войдя в парк, увидел Инес, которая шла шагах в пятидесяти впереди меня. Она была одна, только слуга в отдалении следовал за ней. Она обернулась, потом пошла дальше и уронила веер. Я как можно скорее подал ей его. Она приняла потерянную вещь с благодарной улыбкой и сказала:

— Я обещала тебе, сеньор, определенную награду всякий раз, как только ты возвратишь мне какой-либо потерянный предмет. Давай присядем на эту скамью и подумаем об этом важном деле.

Она привела меня к той самой скамье, на которой я вчера ее видел, и так продолжала свою речь:

— Когда ты отдал мне потерянный портрет, ты узнал, что он изображает моего брата. Что же ты теперь хочешь узнать?

— Ах, госпожа, — ответил я, — жажду узнать, кто ты такая и как твое имя.

— Так послушай, сеньор, — сказала Инес, — ты мог подумать, что твое богатство меня ослепило, но ты изменишь это предвзятое мнение, когда услышишь, что я дочь человека столь же богатого, как твой отец, а именно — банкира Моро.

— Праведное небо! — возопил я, — должен ли я верить своим ушам? Ах, госпожа, я несчастнейший из людей, мне запрещено даже думать о тебе под угрозой проклятия моего отца, моего деда и моего прадеда Иньиго Суареса, который, избородив множество морей, основал торговый дом в Кадисе. Теперь мне остается только умереть!

В этот миг голова доня Бускероса пробила густую шпалеру, к которой была прислонена наша скамья, и, просунувшись между мной и Инес, он произнес:

— Не верь ему, госпожа, он так всегда поступает, когда хочет от кого-нибудь избавиться. Недавно, мало ценя знакомство со мной, он доказывал, что отец запретил ему водиться с дворянами; теперь он страшится оскорбить своего прадеда Иньиго Суареса, который, избородив множество морей, основал торговый дом в Кадисе. Не теряй отваги, сеньора. Эти маленькие креслы всегда неохотно клюют наживку, но раньше или позже приходит и их черед болтаться на крючке.

Инес поднялась в величайшем негодовании и вскочила в свою карету.

Когда цыган дошел до этого места своего повествования, его прервали, и в тот день мы больше его уже не видели.



День тридцать пятый

Мы оседлали лошадей, пустились снова в гору, и после часа езды встретили вечного странника Агасфера. Он занял обычное место между мною и Веласкесом и так продолжал описывать свои приключения:

Продолжение истории вечного странника Агасфера



Следующей ночью почтенный Херемон со свойственной ему добротой принял нас и так начал свою речь:

— Многочисленность предметов, которые я вчера вам излагал, не позволила мне говорить об общепринятом среди нас догмате, который, однако, пользуется еще большей известностью у греков, из-за огласки, которую ему придал Платон. Я имею в виду веру в Слово, или в божественную премудрость, которую мы называем то Мандер, то Мет, или также иногда Тот, или убеждением.

Есть еще один догмат, о котором я должен вам поведать: догмат этот ввел один из трех Тотов, названный Трисмегистом, то есть — трижды великим, ибо он понимал божество как разделенное на три великие силы, а именно — на самого бога, которого он назвал отцом, и затем на слово и дух.

Таковы наши догматы. Что же до принципов, то они столь же чисты, в особенности для нас, жрецов. Исполнение правил добродетели, пост и молитвы — вот, чем заняты дни нашей жизни.

Растительная пища, которую мы употребляем, не разжигает в нас кровь и легче позволяет нам обуздывать наши страсти. Жрецы Аписа¹ воздерживаются от каких бы то ни было сношений с женщинами.

Такова ныне наша религия. Она отдалилась от прежней во многих важных пунктах, в частности, в отношении метампсихоза², который теперь имеет мало приверженцев, хотя семьсот лет тому назад, когда Пифагор

посетил нашу страну, принцип метампсихоза был еще общепризнанным. Наша прежняя мифология также часто упоминает о божествах-покровителях, иначе называемых правительствующими, однако ныне только некоторые составители гороскопов придерживаются этого учения. Я говорил вам уже, что религия, как и все на свете, изменяется.

Мне остается еще объяснить вам наши священные мистерии; вскоре вы обо всем узнаете. Прежде всего, будьте уверены, что если бы вы даже были посвящены в тайну, вы не были бы мудрее, чем сейчас, во всем том, что касается начал нашей мифологии. Раскройте труд историка Геродота, он принадлежал к посвященным в тайну и на каждом шагу кичится этим, и однако он предпринимал изыскания относительно происхождения греческих богов, как тот, который не имеет в этом смысле более ясных понятий, чем все прочие люди. То, что он называет священным языком, не имело никакой связи с историей. Это была, согласно определению римлян, турпилоквенция, то есть срамные речи. Каждый новый адепт должен был выслушать рассказ, оскорбляющий общепринятую мораль. В Элевсине³ говорили о Баубо⁴, которая принимала у себя Цереру, во Фригии — о любовных похождениях Вакха. Мы тут, в Египте, веруем, что бесстыдство это есть символ, означающий низменную сущность материи, и ничего больше об этом не знаем.

Некий прославленный консул по имени Цицерон в недавние времена написал книгу о природе богов⁵. Он признает там, что не ведает, откуда Италия приняла свою веру, и, однако, он был авгуром и таким образом знал все мистерии тосканской религии. Неосведомленность, заметная во всех трудах сочинителей, посвященных в тайну, доказывает нам, что посвящение в тайну ни в коей мере не сделало бы вас более умудренными относительно начал нашей религии. Во всяком случае, корни мистерий уходят в глубь весьма отдаленных эпох. Вы можете видеть торжественную процессию в честь Озириса на барельефе Озимандии. Почитание Аписа и Мневиса⁶ ввел в Египте Вакх около трех тысяч лет назад.

Посвящение в тайну не проливает ни малейшего света ни на истоки веры, ни на историю богов, ни даже на мысль, заключенную в символах, однако введение мистерий было необходимо для рода человеческого. Человек, который может упрекать себя в каком-либо тяжком грехе, или такой, который обагрил свои руки кровью, становится перед жрецами мистерий, признает свою вину и уходит, очищенный посредством омовения водою. До установления этого спасительного обряда общество отталкивало от себя людей, которым возбранялось приближаться к алтарям, и такие люди, не найдя иного выхода, из отчаяния становились разбойниками.

В мистериях Митры⁷ адепту подают хлеб и вино и трапезу эту называют евхаристией. Грешник, примиренный с богом, начинает новую жизнь, достойнее той, какую он вел доселе.

Тут я прервал Агасфера, заметив ему, что мне казалось, будто евхаристия принадлежит исключительно христианской религии. Тогда Веласкес вступил в разговор и сказал:

— Прости меня, но слова вечного странника Агасфера всецело согласуются с тем, что я прочел в писаниях святого Юстина-мученика⁸, который прибавляет даже, что злые духи по злобе своей преждевременно ввели обряд, который предназначен был для того, чтобы сделаться исключительно достоянием христиан. Однако, сеньор Агасфер, благоволи продолжать свой рассказ.

Вечный странник Агасфер так продолжал свое повествование:

— В мистериях, — сказал Херемон, — есть еще один обряд, общий для всех. Когда какой-нибудь бог умирает, его погребают, плачут над ним несколько дней, после чего упомянутый бог, к превеликой всеобщей радости, воскресает из мертвых⁹. Некоторые считают, что символ этот обозначает солнце, но большинство убеждено, что речь идет о зернах, брошенных в землю.

— Вот и все, мой юный израелит, — прибавил жрец, — что я могу тебе сказать о наших догматах и обрядах. Ты видишь теперь, что мы вовсе не идолопоклонники, как в этом нас часто упрекали ваши пророки, но признаюсь тебе, что вскоре ни моя, ни твоя религия не будет достаточной; ее уже не хватит для общества. Бросив взор окрест, мы везде заметим какую-то тревогу и стремление к новизне.

В Палестине народ толпами выходит в пустыню, чтобы слушать нового пророка, который крестит водой из Иордани. Тут вновь можно увидеть терапевтов¹⁰, или магов-оздоровителей, которые к нашей вере примешивают веру персов. Светловолосый Аполлоний переходит из города в город и притворяется Пифагором; обманщики выдают себя за жрецов Изиды; забыто уже бывшее почитание богини, опустели ее храмы, и кадиланицы перестали куриться на ее алтарях.

Когда вечный странник Агасфер закончил эту речь, он заметил, что мы приближаемся к месту ночлега, и вскоре исчез где-то в ущелье.

Я отвел в сторону герцога Веласкеса и сказал ему:

— Позволь мне спросить тебя, что ты думаешь о предметах, о коих рассказывал вечный странник Агасфер. Я полагаю, что не следует нам слушать всего, ибо большая часть этих речей противоречит вере, которую мы исповедуем.

— Сеньор Альфонс, — возразил Веласкес, — набожность твоя делает тебе честь в глазах всякого мыслящего человека. Вера моя, как я смею полагать, является более просвещенной, чем твоя, хотя столь же пламенной и чистой. Лучшее доказательство этому — моя система, о которой я уже неоднократно упоминал и которая является всего лишь рядом

постулатов о божестве и его беспредельной и нескончаемой премудрости. Полагаю также, сеньор Альфонс, что то, что спокойно слушаю я, и ты можешь также слушать с чистой совестью.

Ответ Веласкеса совершенно меня успокоил, вечером же цыган, воспользовавшись свободным временем, так продолжал рассказывать о своих приключениях:



*Продолжение истории
цыганского вожака*

Молодой Суарес, поведав мне о печальном своем приключении в парке Буэн Ретиро, не смог бороться с охватывающим его сном. Я оставил его в покое, но следующей ночью, когда я вновь пришел бодрствовать у его постели, я просил его, чтобы он соблаговолил удовлетворить мое любопытство, рассказав о дальнейших событиях, что он и сделал в следующих словах:



*Продолжение истории
Лопеса Суареса*

Я был переполнен любовью к Инес, и, как ты можешь догадаться, негодовал на Бускероса. Тем не менее, на следующий день вместе с супником явился несносный пристава. Утолив первый голод, он сказал:

— Я понимаю, сеньор дон Лопес, что ты, в твоём возрасте, не склонен вступить в брак. Ведь это нелепость, которую мы и так слишком часто со-

вершаем. Однако мне показалось удивительным, что ты упрекаешь молодую девушку, ссылаясь на гневливый характер твоего прадеда Иньиго Суареса, который, избородив множество морей, основал торговый дом в Кадисе. Твое счастье, дон Лопес, что я, вопреки всему этому, сумел как-то исправить положение.

— Сеньор дон Роке, — ответил я, — благоволи прибавить еще одну услугу к тем, которые ты мне оказал, не ходи нынче вечером в Буэн Рети́ро. Я убежден, что прекрасная Инес туда не придет, но если я ее застану, то, без сомнения, она не захочет сказать мне ни слова. Однако я должен сесть на ту самую скамью, на которой я вчера ее видел, оплакать там мои несчастья и вдоволь посетовать.

Дон Роке принял разгневанный вид и сказал:

— Сеньор дон Лопес, слова, с которыми ты ко мне обратился, носят характер чрезвычайно оскорбительный и могут навести меня на мысль, что самопожертвование мое не имело счастья прийтись тебе по вкусу. Правда, я мог бы поберечь свой труд и позволить тебе самому оплакивать твои несчастья. Но ведь прекрасная Инес может и прийти; если меня там не будет, кто же тогда исправит твои неловкости и промахи? Нет, сеньор дон Лопес, я слишком тебе предан, чтобы повиноваться тебе.

Дон Роке ушел сразу после обеда, а я переждал жару и отправился в сторону Буэн Рети́ро, но, впрочем, не преминул укрыться на некоторое время все в той же лавчонке. Вскоре показался Бускерос, который пошел искать меня в Буэн Рети́ро, но, не найдя меня там, вернулся и направился, как я полагаю, на Прадо. Тогда я покинул мое укрытие и побрел в те самые места, в которых изведал уже столько наслаждений и огорчений. Сел на скамью и горько заплакал.

Вдруг я почувствовал, что кто-то коснулся моего плеча. Я подумал, что это Бускерос, и в гневе обернулся, но увидел Инес, сияющую ангельской улыбкой. Она села рядом со мной, приказала своей дуэнье удалиться и повела такую речь:

— Дорогой Суарес, я разгневалась вчера на тебя, ибо не понимала, почему ты говорил мне о твоём деде и твоём прадеде, но, расспросив кого следует, узнала, что уже почти целый век ваш дом не хочет иметь никаких отношений с нашим, и это по чрезвычайно пустым, как я полагаю, поводам.

Если, однако, с твоей стороны возникают препятствия, то и у меня их немало. Мой отец с давних пор уже предназначил меня другому и боится, чтобы я не совершила в будущем чего-нибудь, противоречащего его видам. Поэтому он не хочет, чтобы я часто выходила из дому и запрещает мне бывать на Прадо и даже в театре. Но так как, однако, я должна иногда дышать свежим воздухом, он позволяет мне приезжать в этот сад с дуэньей, и это потому только, что сюда мало кто приходит, и поэтому он может быть совершенно спокоен за меня.

Будущий мой супруг — некий неаполитанский магнат, которого зовут герцог Санта Маура. Мне кажется, что он жаждет только моего состояния, ради упрочения своего. Я всегда чувствовала непреодолимое отвращение к этому браку, и чувство это еще более возросло с того момента, как я познакомилась с моим будущим мужем. Отец мой — человек непреклонного характера, однако, госпожа Авалос, его младшая сестра, имеет на него большое влияние. Любимая тетушка чрезвычайно привязана ко мне и к тому же терпеть не может неаполитанского герцога. Я говорила ей о тебе. Она жаждет с тобой познакомиться. Проводи меня к моему экипажу, а у ворот сада ты найдешь одного из слуг госпожи Авалос, который укажет тебе дорогу к ее дому.

Слова восхитительной Инес необыкновенно обрадовали меня, и тысячи волшебных упований овладели моею душой. Я проводил Инес к карете, после чего отправился в дом ее тетушки. Я имел счастье понравиться госпоже Авалос; я посещал ее с тех пор ежедневно в один и тот же час и всегда заставал у нее прекрасную ее племянницу.

Счастье мое длилось шесть дней. На седьмой я узнал о приезде герцога Санта Маура. Госпожа Авалос велела мне не терять отваги; ее служанка передала мне письмо следующего содержания:

Инес Моро к Лопесу Суаресу

Ненавистный человек, которому я предназначена в жены, прибыл в Мадрид, челядь его заполонила весь наш дом. Мне разрешено перейти в отдаленные покои; одно из моих окон выходит в переулок Августинецев. Это окно расположено не слишком высоко, и мы сможем поговорить несколько минут. Я должна сообщить о некоторых важных для нас делах. Приходи, как только настанет ночь.

Я получил это письмо в пятом часу дня; солнце заходило в девятом, и мне оставалось еще четыре часа, которые я не знал, как провести. Я решил отправиться в Буэн Ретиро. Вид этих мест всегда погружал меня в сладостные мечтания, а в мечтаниях этих, сам не знаю, с каких пор, я проводил долгие часы. Я уже прошелся несколько раз по парку, как вдруг невдалеке заметил входящего Бускероса. Сперва я хотел вскарабкаться на стоящий поблизости развесистый дуб, но у меня не хватило сил, и я слез на землю, уселся на скамью и отважно стал поджидать своего недруга.

Дон Роке, как всегда, довольный собой, подошел ко мне с привычной развязностью и сказал:

— Ну, как идут дела, сеньор дон Лопес? Сдается мне, что прекрасная Инес Моро смягчит, наконец, душу твоего прадеда Иньиго Суареса, который, избороздив множество морей, основал торговый дом в Кадисе. Ты не отвечаешь мне, сеньор дон Лопес, ну ладно, уж если ты намерен молчать,

то я присяду около тебя и расскажу свою историю, в которой ты найдешь не одно событие, достойное удивления.

Я решил спокойно вытерпеть присутствие нахала до самого захода солнца, а посему позволил ему говорить, и дон Роке начал так:



История дона Роке Бускероса

Я — единственный сын дона Бласа Бускероса, младшего сына самого младшего брата другого Бускероса, который также был отпрыском младшей ветви. Мой отец имел честь служить королю в течение тридцати лет в качестве альфереса, то есть прапорщика в пехотном полку; увидав, однако, что, невзирая на упорство, он никогда не дослужится до звания подпоручика, он оставил службу и поселился в городишке Аласуелос, где женился на молодой дворянке, которой ее дядя по женской линии, каноник, оставил шестсот пиастров пожизненного дохода. Я — единственный плод этого союза, длившегося недолго, ибо отец мой умер, когда мне шел восьмой год.

Таким образом я остался на попечении моей матери, которая, однако, немного обо мне заботилась и, будучи, вероятно, убеждена, что дети должны много двигаться, позволяла мне с утра до вечера бегать по улице, нисколько обо мне не беспокоясь. Другим детям, моим сверстникам, не разрешали выходить, когда им хотелось, поэтому чаще всего их навещал я. Родители их привыкли к моим посещениям, и в конце концов стали мало обращать на меня внимания. Благодаря этому я мог входить в любое время в каждый дом нашего городка.

Будучи от природы наблюдательным, я с интересом следил во всех домах за мельчайшими подробностями жизни, и рассказывал о них потом моей матушке, которая слушала все это с превеликой охотой. Я должен даже признать, что именно ее мудрым советам обязан своему счастливому таланту вмешиваться в чужие дела, хотя, как правило, я не извлекаю из этого никакой корысти. В течение некоторого времени я думал, что доставлю громадное удовольствие своей матери, если стану сообщать соседям о том, что делается у нас дома. Как только кто-нибудь навещал мою матушку или она с кем-нибудь говорила, я тотчас же бежал оповестить об

этом весь город. Однако подобного рода широкая огласка нисколько не пришлась ей по вкусу, и вскоре нещадная трепка научила меня, что следует только приносить новости в дом, а вовсе не выносить их из дому.

Спустя некоторое время я заметил, что люди начинают таиться от меня. Меня это сильно уязвило, и препятствия, которые мне чинили, тем сильнее разожгли мое любопытство. Я находил тысячи способов, чтобы только получить возможность проникнуть в их дома, род же строений, из каких состоит наше местечко, благоприятствовал моим намерениям. Потолки были из досок, дурно пригнанных друг к другу; по ночам я забирался на чердаки, провертывал буравом дыры и таким образом подслушал не одну важную семейную тайну. Затем я бежал к матери, пересказывал ей все, она же повторяла новости соседям, но всегда не всем вместе, а каждому в отдельности.

Люди догадались, что это я приношу моей матушке сии известия, и с каждым днем все больше меня не выносили. Все дома были для меня заперты, но все щели открыты; скорчившись где-нибудь на чердаке, я оказывался среди своих сограждан, обходясь без их приглашения. Они принимали меня вопреки их собственной воле; как крысенок, я обитал в их домах и даже забирался в кладовые, по возможности пробуя съестные припасы.

Когда мне исполнилось восемнадцать, матушка моя заявила, что мне пора выбрать себе какое-нибудь занятие. Я уже давно сделал свой выбор: я решил стать юристом, чтобы таким образом получить возможность узнавать семейные тайны и вмешиваться в чужие дела. Матушка похвалила мое намерение и послала меня учиться в Саламанку.

Какое различие между большим городом и городком, в котором я впервые увидел свет! Что за широкое поле деятельности для моего любопытства, но в то же время — сколько новых препятствий! Дома были в несколько этажей, на ночь они наглухо запирались, и как бы на зло обитатели второго и третьего этажей отворяли на всю ночь окна ради свежего воздуха. Я с первого взгляда увидел, что ничего не смогу сделать один и что мне следует подобрать себе товарищей, способных помочь в столь небезопасных предприятиях.

Я начал заниматься на юридическом факультете и в течение всего этого времени изучал характеры моих однокашников, чтобы не наградить их своим доверием слишком легкомысленно. Наконец, я нашел четверых, которые, как мне казалось, обладают необходимыми качествами, собрал их, и сначала мы ходили по улицам, лишь сдержанно покрикивая; затем, когда я решил, что они достаточно подготовлены, то сказал им:

— Милые друзья, не удивляет ли вас опрометчивость, с какою жители Саламанки оставляют окна открытыми на всю ночь? Так неужели же потому только, что они вскарабкались на какие-нибудь двадцать футов выше наших голов, они обрели право измываться над студентами университета?

Сон их оскорбляет нас, а спокойствие — тревожит. Я решил для начала узнать, что там у них делается, а потом уж мы покажем им, на что мы способны.

Слова эти были встречены рукоплесканиями, хотя никто еще не знал, каковы мои намерения. Тогда я объяснил им повразумительней:

— Любезные мои друзья, — сказал я, — нужно сперва сколотить лестницу приблизительно в пятнадцать футов вышины. Трое из вас, закутавшись в плащи, легко смогут нести ее; они должны будут только спокойно следовать друг за другом, выбирая менее освещенную сторону улицы и держать лестницу на некотором расстоянии от стены. Когда мы пожелаем использовать лестницу, мы приставим ее к окну, в то время как один из нас вскарабкается на уровень облюбованного нами жилья, остальные же останутся на некотором расстоянии, дабы стоять на страже. Узнав о том, что творится в заоблачных краях, мы поразмыслим о том, что будем делать дальше.

Все единодушно согласились с моим замыслом. Я велел соорудить легкую, но крепкую лестницу, и как только она была готова, мы сразу же принялись за дело. Я выбрал дом приличного вида, окна которого были расположены не слишком высоко. Мы приставили лестницу, и я вскарабкался таким образом, чтобы обитатели избранного мною жилья могли увидеть только мою голову.

Луна ярко освещала всю комнату, но, несмотря на это, я в первый миг ничего не мог разобрать; вскоре, однако, я заметил в постели человека, который устремил на меня блуждающий взор. Смертельный ужас, как мне показалось, лишил его речи, впрочем, миг спустя, он вновь обрел ее и сказал:

— Жуткая окровавленная голова, перестань преследовать меня и не упрекай меня в непредумышленном убийстве!

Когда дон Роке досказывал эти слова, мне показалось, что солнце клонится к западу, но часов у меня при себе не было, и я спросил у Бускероса, который час.

Этот вопрос несколько обидел дона Роке; он нахмурился и проворчал:

Я полагаю, сеньор дон Лопес, что когда порядочный человек имеет честь рассказывать тебе свою историю, ты не должен прерывать его в самом захватывающем месте, если только ты не намерен дать ему понять, что он, как это говорится по-испански, *pesado*, то есть унылый увалень. Я не думаю, чтобы подобный упрек мог относиться ко мне и посему продолжаю свою речь.

— Видя, что голова моя показалась ему кровавой и ужасной, я придал чертам моего лица как можно более страшное выражение. Незнакомец не

смог этого вынести, соскочил с кровати и выбежал из комнаты. Какая-то молодая женщина, которая почивала на этой же постели, проснулась, выпростала из-под одеяла свои белоснежные руки и потянулась, стряхивая с себя дремоту. Заметив меня, она ничуть не смутилась, встала, заперла на ключ двери, захлопнувшиеся за ее благоверным, после чего подала мне знак, чтобы я влез в комнату. Лестница была немного коротка, однако я ухватился за некие замысловатые архитектурные украшения и смело вскочил в комнату.

Молодая женщина, присмотревшись ко мне поближе, поняла свою ошибку, я же мигом уразумел, что отнюдь не являюсь тем, кого она ждала. Однако она велела мне сесть, прикрыла плечи шалью и, сев в нескольких шагах от меня, сказала:

— Сеньор, признаюсь тебе, что я ждала одного из моих родственников, с которым должна была переговорить о некоторых обстоятельствах, касающихся нашей семьи, и ты понимаешь, что, если он предполагал войти через окно, то конечно, для этого были свои чрезвычайно важные причины. Тебя же, сеньор, я не имею чести знать и не пойму, почему ты являешься ко мне в пору, столь неподходящую для нанесения визитов.

— Я не имел намерения, — возразил я, — входить в вашу комнату. Мне хотелось лишь подняться до уровня окна, чтобы узнать, как выглядит внутренность этого дома.

Засим я сообщил незнакомке о моих склонностях, занятиях, о моей молодости и о союзе, заключенном мною с четырьмя друзьями, которые должны были помогать мне в моих предприятиях.

Молодая женщина выслушала меня с большим вниманием, а затем сказала:

— Рассказ твой, сеньор, возвращает тебе мое уважение. Ты прав, нет на свете ничего приятнее, чем видеть, что делается у других. С первых лет моей жизни у меня сложилось такое убеждение. Теперь неприлично мне дольше задерживать тебя здесь, сударь, но я надеюсь, что вижу тебя не в последний раз.

— Прежде чем ты, госпожа, проснулась, — сказал я, — супруг твой оказал мне честь, приняв мою голову за какую-то иную — кровавую и страшную, — которая является, чтобы упрекать его в непредумышленном убийстве. Не окажешь ли ты, сеньора, в свою очередь мне честь, рассказав об обстоятельствах этого дела?

— Хвалю твою любознательность, — ответила она, — приходи же, сеньор, завтра в пятом часу вечера в городской парк. Ты застанешь меня там с одной из моих подруг. А пока — до свиданья.

Молодая женщина с необычайной учтивостью проводила меня к окну; я спустился по лестнице и присоединился к моим товарищам, которым подробно рассказал обо всем. На следующий день ровно в пятом часу я отправился в парк.

Когда Бускерос произнес эти слова, мне показалось, что солнце уж совсем зашло, и, потеряв терпение, я воскликнул:

— Сеньор дон Роке, ручаюсь тебе, что важное дело не позволяет мне дольше оставаться здесь. Ты без труда сможешь закончить свою историю в первый же раз, когда пожелаешь оказать мне честь, придя ко мне победать.

На сей раз Бускерос состроил еще более разгневанную мину и сказал:

— Я все больше убеждаюсь, сеньор дон Лопес, что ты хочешь меня оскорбить. В таком случае ты лучше сделаешь, сказав мне открыто, что считаешь меня бесстыжим болтуном, наводящим скуку. Но нет, сеньор дон Лопес, я не могу допустить, что ты обо мне столь скверного мнения, а по-сему я и продолжаю свой рассказ:

— В парке я застал вчерашнюю мою знакомую с одной из ее подруг — девушкой свежей, рослой, довольно приятной наружности. Мы присели на скамью, и молодая женщина, желая, чтобы я узнал ее поближе, так начала рассказывать о своей жизни:



История Фраскеты Салеро

Я — младшая дочь отважного офицера, который оказал такие большие услуги своему отечеству, что, когда он умер, все его жалованье полностью стали выплачивать в виде пенсионера его вдове. Матушка моя, будучи родом из Саламанки, тотчас же возвратилась в родной город вместе со мной и с моей сестрой Доротеей. У матушки был маленький домик в отдаленной части города; она велела его отделать заново, мы поселились в нем и стали жить, соблюдая бережливость, вполне соответствовавшую скромному виду нашего жилища.

Матушка не позволяла нам бывать в театре и посещать бой быков; сама она тоже ни у кого не бывала и не принимала ничьих визитов. Лишенная всяких развлечений, я почти все дни проводила у окна. Будучи от природы чрезвычайно склонна к учтивости, я, как только какой-нибудь прилично одетый мужчина проходил по нашей улице, либо неотступно сле-

дила за ним взглядом, либо бросала на него мимолетный взор, но такой, чтобы он непременно подумал, что пробудил во мне интерес к своей персоне. Прохожие обычно не были нечувствительны к этим знакам внимания. Некоторые в ответ низко мне кланялись, другие бросали на меня взоры, подобные моему взору, и главное — почти все возвращались на нашу улицу лишь затем, чтобы снова увидеть меня. Всякий раз, как моя матушка замечала это мое кокетство, она кричала мне:

— Фраскета! Фраскета! Что за шалости? Будь скромной и серьезной, как твоя сестра, иначе ты никогда не найдешь себе мужа.

Матушка моя ошиблась, ибо сестра моя еще и теперь девица, а я больше года как замужем.

Наша улица была весьма уединенной, и я редко когда имела удовольствие видеть прохожих, внешность которых заслуживала бы моего внимания. Однако известное обстоятельство благоприятствовало моим намерениям. Под нашими окнами стояла каменная скамья, осененная ветвями раскидистого дерева, так что тот, кто хотел взглянуть на меня, мог присесть на эту скамью, не возбуждая ни в ком подозрения.

В один прекрасный день некий молодой человек, одетый гораздо более изысканно, чем все, кого я когда-либо видела, сел на скамью, вынул книжку из кармана и начал читать; но как только он заметил меня, то бросил чтение и не спускал с меня глаз. Незнакомец возвращался на то же место в течение нескольких дней, пока однажды не приблизился к моему окну, как бы ища чего-то, и не обратился ко мне с такими словами:

— Вы, госпожа, ничего не потеряли?

Я отвечала ему, что нет, ничего.

— Тем хуже, — прервал он меня, — ибо, если бы ты, сеньора, уронила крестик, который ты носишь на шее, я бы его поднял и с радостью унес бы к себе домой. Обладая чем-либо, что тебе принадлежит, сеньора, я бы вообразил, что ты уже не так равнодушна ко мне, как к другим людям, которые садятся на эту скамью. Впечатление, какое ты, сеньора, произвела на меня, быть может, заслуживает того, чтобы ты хоть немного отличала меня из толпы.

В эту минуту вошла моя матушка, поэтому я не могла ничего ответить, но ловко отвязала крестик и уронила его на улицу.

Под вечер я заметила двух дам и сопровождавшего их слугу в богатой ливрее. Они присели на скамью, сняли мантильи, после чего одна из них достала клочок бумаги, развернула его, вынула маленький золотой крестик и бросила на меня насмешливый взгляд. Я была убеждена, что молодой человек вручил этой женщине первое доказательство моей благосклонности; яростный гнев обуял меня, так что я всю ночь не смыкала глаз. На следующее утро притворщик снова сел на скамью, и я с превеликим изумлением заметила, что он достал из кармана кусочек бумаги, развернул его, вынул крестик и стал его целовать.

Под вечер я увидела двух лакеев, одетых подобно тому, которого я видела вчера. Они принесли стол, накрыли его, после чего ушли и возвратились с мороженым, оранжадом, шоколадом, печеньем и другими лакомствами. Вскоре показались те самые дамы, сели на скамью и велели подать принесенные сласти.

Моя мать и сестра, которые никогда не выглядывали из окон, на этот раз не смогли побороть любопытства, в особенности услышав звон тарелок и стаканов. Одна из этих женщин, заметив их в окне, пригласила обеих, добавив только, чтобы они велели вынести несколько стульев.

Матушка охотно приняла приглашение и велела вынести стулья на улицу, мы же, немного принарядившись, пошли поблагодарить даму, которая обошлась с нами столь учтиво. Подойдя к ней, я заметила, что она необыкновенно похожа на моего молодого незнакомца, и предположила, что она, должно быть, его сестра; конечно, брат говорил ей обо мне, отдал ей мой крестик и добрая сестра приходила вчера под наши окна только для того, чтобы взглянуть на меня.

Вскоре заметили, что не хватает ложек, и за ними послали мою сестру: миг спустя не хватило салфеток; матушка моя хотела послать меня, но молодая дама подмигнула мне, и я ответила, что не смогу их отыскать, и поэтому матушке пришлось пойти самой. Как только она ушла, я сказала незнакомке:

— Мне кажется, что у госпожи есть брат, чрезвычайно на нее похожий.

— Ничего подобного, — ответила она, — тот брат, о котором ты, госпожа, говоришь, это я сам. Мой брат — герцог Сан Лухар, я же вскоре должен стать герцогом Аркос, если только обвенчаюсь с наследницей этого титула. Я ненавижу мою будущую супругу, но, если бы я не согласился на этот союз, в моем семействе происходили бы ужасные сцены, которые несколько не в моем духе. Не имея возможности распорядиться своей рукой и сердцем по собственной склонности, я решил сохранить свое сердце для особы, более достойной любви, нежели герцогиня Аркос. Не суди, однако, что я намереваюсь говорить о вещах, которые могли бы нанести урон твоей репутации, но ни ты, ни я не покидаем Испанию, поэтому судьба может вновь столкнуть нас; в случае же, если бы она не перестала благоприятствовать нам, я сумею изобрести иные способы, чтобы видеться с тобою. Матушка твоя скоро вернется; благоволи же, пока ее нет, принять этот перстень с брильянтом в доказательство того, что я не солгал, говоря о своем высоком происхождении. Заклинаю тебя, госпожа, не отвергай этого скромного сувенира: ведь я так хотел бы, чтобы он вечно напоминал твоей памяти обо мне.

Матушка моя воспитала меня в суровых принципах, и я знала, что не следует принимать подарки от незнакомых, но определенные наблюдения, какие я сделала тогда, наблюдения, суть коих я теперь уже не могу припомнить, были причиной того, что я взяла перстень. Между тем возврати-

лась моя матушка с салфетками и сестрица — с ложками. Незнакомая дама была необычайно любезна в тот вечер, и все мы разошлись, весьма довольные друг другом. Назавтра, так же, как и в последующие дни, привлекательный юноша не показывался больше под моими окнами. Должно быть, он поехал обвенчаться с герцогиней Аркос.

В первое же воскресенье после этого случая я подумала, что раньше или позже у меня найдут перстень; поэтому в церкви я сделала вид, что нашла его под ногами, и показала моей матушке, которая сказала, что несомненно это стекляшка в томпаковой оправе; однако велела мне спрятать его в карман. Ювелир жил по соседству с нами, ему показали перстень; он оценил его в восемь тысяч пистолей. Столь значительная сумма произвела необычайное впечатление на мою мать, которая была совершенно счастлива; она заявила мне, что самое разумное было бы, пожалуй, принести перстень в дар святому Антонию Падуанскому, как особому покровителю нашей семьи, но, с другой стороны, сумма, которую можно выручить, продав его, позволила бы дать приданое мне и моей сестрице.

— Извини меня, дорогая мамочка, — ответила я, — но сперва следует объявить, что мы нашли перстень, не упоминая о его ценности. Если владелец объявится, мы возвратим ему находку, в противном же случае моя сестра, как и святой Антоний Падуанский, не имеют на нее никакого права, ведь это я нашла перстень, и он принадлежит только мне.

Матушка ничего на это не ответила.

В Саламанке было объявлено о найденном перстне, причем не было упомянуто о его ценности, но, как ты легко можешь догадаться, никто не откликнулся.

Молодой человек, от которого я получила такой ценный подарок, произвел на меня глубокое впечатление и в течение целой недели я не показывалась в окне. Однако естественные склонности мои одержали верх, я вернулась к прежним привычкам и, как и прежде, проводила целые дни, выглядывая из окна на улицу.

Каменную скамью, на которой сживал юный герцог, облюбовал теперь какой-то тучный господин, с виду спокойный и уравновешенный. Он заметил меня в окне, и мне показалось, что мой вид его отнюдь не утешает. Он отвернулся, но, должно быть, и тогда его продолжало раздражать мое присутствие, ибо, хотя он меня и не видел, но часто и тревожно обращался. Вскоре он ушел, разгневанным взглядом своим дав мне почувствовать все негодование, которое охватывает его, как только он становится предметом моего наглого любопытства, но назавтра возвратился и повторились те же самые чудачества. В конце концов он до тех пор приходил и уходил, пока, наконец, после двух месяцев этого хождения взад и вперед не попросил моей руки.

Матушка моя заявила мне, что нелегко будет найти другого такого выгодного жениха и приказала мне дать благоприятный ответ. Я повинова-

лась. Сменила имя Фраскеты Салеро на имя донны Франсиски Корнадес и переехала в дом, в котором ты, сеньор, меня вчера видел.

Сделавшись супругой дона Корнадеса, я занялась исключительно его счастьем. Увы, намерения мои увенчались чрезмерным успехом. После трех месяцев совместной жизни я обнаружила, что он куда счастливее, нежели мне того хотелось, и — что хуже всего — я вселила в него убеждение, что он тоже осчастливил меня. Выражение удовлетворения совсем не было ему к лицу, этим он только отталкивал меня и с каждым днем все больше мне надоедал. К счастью, блаженное это состояние продолжалось недолго.

Однажды Корнадес, выходя из дому, заметил какого-то мальчугана, который держал записку и, казалось, кого-то искал. Желая избавить его от хлопот, супруг мой взял у него письмо и, бросив взгляд на адрес: «Восхитительной Фраскете», скривился так, что маленький посланец сбежал со страху. Муж мой отнес к себе этот ценный документ и прочитал следующее:

Возможно ли, что ни мои богатства, ни мои достоинства, ни самое имя мое не обратили на меня твоего внимания? Я готов на любые издержки, любые подвиги, любые испытания, чтобы только удостоиться хоть одного твоего взгляда. Те, которые обещали мне услужить, подвели меня, ибо я ни разу не получил от тебя какого бы то ни было знака согласия. Однако на сей раз я решил прибегнуть к моей отваге; отныне ничто уже меня не удержит, ибо речь идет о страсти, которая с самого начала не знает ни меры, ни узды. Я страшусь лишь одного — твоего равнодушия.

Граф де Пенья Флор

Строки этого письма развеяли в единый миг все счастье, которое вкушал мой супруг. Он стал беспокойным, подозрительным, не позволял мне выходить, разве что с одной из наших соседок, которую он, правду сказать, не знал близко, но полюбил за ее примерную набожность.

Однако Корнадес не смел сказать мне о своих мучениях, ибо он не знал ни того, насколько далеко зашли дела с графом де Пенья Флор, ни также того, знаю ли я что-нибудь о его страсти ко мне, которая пылает в сердце этого вельможи. Вскоре выявилось еще множество обстоятельств, которые стали еще больше тревожить его. Однажды он обнаружил лесенку, приставленную к садовой ограде; в другой раз некий незнакомец тихо прокрадся в дом. Более того, под моими окнами постоянно раздавались серенады и звучала музыка, которая так терзает слух ревнивцев. В конце концов дерзость графа перешла всяческие границы. Однажды я отправилась с моей набожной соседкой на Прадо, где мы пробыли очень долго: спустились сумерки, и мы почти в одиночестве гуляли по главной аллее. Граф подошел к нам, признался в своей страсти, сказал, что непременно должен

покорить мое сердце, а затем схватил меня за руку и, сама не знаю, что бы этот безумец совершил, если бы мы не начали кричать во весь голос.

Мы вернулись домой в ужасном замешательстве. Набожная соседка заявила моему мужу, что ни за какие сокровища на свете не станет со мной выходить, и что жаль, что у меня нет брата, который защитил бы меня и оградил от навязчивости графа, если уж собственный мой муж столь мало беспокоится обо мне.

— Воистину, религия запрещает мстить, — прибавила она, — однако честь столь обворожительной и верной жены заслуживает большей заботы с твоей стороны. Граф де Пенья Флор, безусловно, только потому так дерзко ведет себя, что знает, сеньор Корнадес, о твоём потворстве.

Следующей ночью муж мой возвращался, как обычно, домой и, проходя узким переулком, увидел двух мужчин, загородивших дорогу. Один из них ударял по стене шпагой неимоверной длины, другой же говорил ему:

— Великолепно, сеньор дон Рамиро! Если ты так же поступишь с почтенным графом де Пенья Флор, он недолго уже будет оставаться грозой братьев и мужей!

Ненавистное имя графа привлекло внимание Корнадеса, он остановился и притаился под деревом.

— Милый друг, — отвечал человек с длинной шпагой, — нетрудно бы мне было положить конец амурным успехам графа де Пенья Флор. Я вовсе не стремлюсь его убить, хочу только проучить его, чтобы он тут больше не показывался. Не напрасно называют дона Рамиро Карамансу первым рубакой в Испании; я страшусь только последствий такой дуэли. Если бы я мог раздобыть где-нибудь сто дублонов¹¹, я отправился бы провести некоторое время на островах.

Два друга еще немного побеседовали в подобном тоне; под конец они уже собирались уйти, когда супруг мой выбрался из своего убежища, подошел к ним и сказал:

— Господа, я один из тех мужей, чей покой нарушил граф де Пенья Флор. Если бы вы пожелали отправить его на тот свет, я не стал бы вмешиваться в вашу беседу, но раз вы хотите только слегка проучить его, я с удовольствием предлагаю вам сто дублонов, которые необходимы для поездки на острова. Благоволите тут подождать, сейчас я принесу вам деньги.

И в самом деле, сказав это, он сходил домой и возвратился с сотней дублонов, которые и вручил грозному бреттеру Карамансе.

Два дня спустя, ближе к ночи, мы услышали громкий стук. Мы открыли и увидели судейского чиновника с двумя альгвасилами. Чиновник обратился к моему мужу с такими словами:

— Из уважения к тебе, сеньор, мы пришли сюда ночью, желая, чтобы это зрелище не повредило твоей доброй славе и не устрало твоих соседей. Мы пришли из-за графа де ла Пенья Флор, которого вчера убили.

Из письма, которое, как говорят, выпало из кармана у одного из убийц, мы узнали, что ты пожертвовал сто дублонов, дабы побудить их к преступлению и облегчить им бегство.

Мой муж отвечал с хладнокровием и присутствием духа, каких я в нем никогда не подозревала:

— Я никогда в жизни не видал графа де Пенья Флор. Двое неизвестных пришли ко мне вчера с векселем на сто дублонов, который я в прошлом году подписал в Мадриде, и я вынужден был заплатить по нему. Если ты этого, сеньор, хочешь, я сейчас же схожу за векселем.

Чиновник достал из кармана письмо и сказал:

— Читай, сеньор: «Завтра мы отплываем из Сан-Доминго с дублонами добрейшего Корнадеса».

— Вот именно, — ответил мой муж, — это, конечно, те самые дублоны по векселю. Я выдал его на предъявителя, и не имел права никому отказывать в уплате, а тем более допытываться, как его зовут!

— Я служу в суде по уголовным делам, — сказал чиновник, — и мне не положено вмешиваться в дела торговые. Прощай, сеньор Корнадес, извини, что мы тебя обеспокоили.

Как я тебе уже говорила, меня удивило это необычайное хладнокровие моего мужа, хотя я не раз уже замечала, что он проявлял истинный гений, когда речь шла о его выгоде или же о безопасности его особы. Когда первый страх прошел, я спросила моего драгоценного Корнадеса, действительно ли он приказал убить графа де Пенья Флор. Сначала он все отрицал, но потом сознался, что дал сто дублонов рубаке Карамансе, однако вовсе не за убийство графа, а лишь для того, чтобы выпустить у графа немного его чрезмерно пылкой крови.

— Хотя я совершенно непредумышленно оказался причастным к этому убийству, — прибавил он, — однако оно легло камнем мне на душу. Я решил отправиться в паломничество к святому Иакову Компостельскому или, может быть, и дальше, чтобы только получить полное отпущение грехов.

С того самого дня, когда муж мой сделал мне это признание, в нашем доме стали происходить разные невероятные случаи. Каждую ночь Корнадесу являлось какое-нибудь ужасное видение и омрачало хрупкий покой его уже и без того обремененной совести. Злополучные дублоны всегда являлись непрощенными. Иногда во тьме слышался загробный голос: «Отдаю тебе твои сто дублонов», после чего раздавался звон, как будто кто-то считал деньги.

Однажды вечером служанка заметила в углу миску, наполненную дублонами, но, опустив туда руку, нашла только ворох увядших листьев, которые она нам и принесла вместе с миской.

На другой день, поздно вечером, мой муж, проходя по комнате, слабо озаренной лунным светом, увидел в углу человеческую голову в тазике; испуганный, он убежал из комнаты и рассказал мне все. Я пошла

сама взглянуть, в чем дело, и нашла деревянную голову, то есть просто болванку от его парика, которую случайно поставили в тазик для бритья. Не желая вступать с ним в спор и стремясь в то же время поддержать в нем эту постоянную тревогу, я стала отчаянно кричать и уверила его, что тоже видела окровавленную и ужасную голову.

С тех пор голова эта являлась почти всем нашим домочадцам и настолько устроила моего мужа, что я начала опасаться за его рассудок. Тебе не нужно, наверное, говорить, что все эти явления были моей хитроумной выдумкой. Граф де Пенья Флор был всего только вымыслом, созданным для того, чтобы встревожить Корнадеса, и еще для того, чтобы вывести его из того блаженного состояния, в котором он пребывал дотеле. Служители правосудия, так же, как и рубаки-бреттеры, были слугами герцога Аркоса, который сразу же после бракосочетания вернулся в Саламанку.

Минувшей ночью я решила испугать моего мужа новым способом, ибо я не сомневалась, что он тотчас же убежит из спальни в свою комнату, где стоит налож для молитвы, перед которым он преклоняет колени; затем я собиралась запереться на ключ и через окно впустить к себе герцога. Я не опасалась, что мой муж заметит его, или же что он обнаружит лестницу, так как каждый вечер мы тщательно запирали дом, ключ же прятали под подушку. Когда ты внезапно появился в окне, муж мой снова был убежден, что это голова графа де Пенья Флор является упрекать его за сто дублонов.

Наконец, мне остается сказать несколько слов о той самой набожной и примерной соседке, которая возбудила в душе моего супруга столь безграничное доверие. Увы! эта соседка, которую, кстати, ты нынче видишь со мною рядом, не кто иной, как сам герцог, переодетый в женское платье. Да, да, сам герцог, который любит меня больше самой жизни потому, быть может, что он все еще не вполне уверен в моей взаимности.

Этими словами Фраскета закончила свой рассказ, герцог же обратился ко мне и сказал:

— Даруя тебе наше доверие, мы возлагали надежды на твою ловкость, которая может нам пригодиться. Дело идет о том, чтобы ускорить отъезд Корнадеса; кроме того, мы хотим, чтобы он не ограничился паломничеством, а еще некоторое время совершал покаяние в каком-нибудь из святых мест. Для этого нам нужен ты и твои четверо друзей, которые повинуются твоим приказам. Сейчас я объясню тебе свой замысел.

Когда Бускерос договаривал эти слова, я с ужасом заметил, что солнце уже зашло, и что я могу опоздать на свидание, назначенное мне восхитительной Инес. И я прервал его разглагольствования и заклинал, чтобы он соизволил отложить на следующий день свой рассказ о замыслах герцога

Аркоса. Бускерос отвечал мне с обычной наглостью. Тогда, не в силах сдержать гнев, я вскричал:

— Негодный прилипала, так пересеки же ту жизнь, которую ты отравляешь, или защищай свою!

Говоря это, я выхватил шпагу и вынудил своего противника сделать то же самое.

Так как мой отец никогда не позволял мне обнажать шпагу, я совершенно не знал, что мне с ней делать. Сперва я начал ускользать, увертываться, чем весьма удивил своего противника; вскоре, однако, Бускерос пришел в себя, сделал выпад и проколол мне руку, а, кроме того, острие его шпаги задело мне плечо. Оружие выпало у меня из рук, я упал, заливаясь кровью; но более всего меня терзала мысль, что я не смогу явиться в условленный час и узнать об обстоятельствах, в которые прекрасная Инес хотела меня посвятить.

Когда цыган дошел до этого места, его позвали по делам табора. Едва он ушел, Веласкес сказал:

— Я предвидел, что все истории цыгана будут непрестанно простиекать одна из другой: Фраскета Салеро рассказала свою историю Бускеросу, тот — Лопесу Суаресу, который, в свою очередь, пересказал ее цыгану. Я надеюсь, что в конце концов он скажет нам, что произошло с прекрасной Инес; если же, однако, начнется еще какая-нибудь новая история, я рассорюсь с ним, как Суарес рассорился с Бускеросом. Полагаю, впрочем, что наш рассказчик сегодня уже не вернется к нам.

И в самом деле, цыган не показался больше, и вскоре мы все отправились на покой.

День тридцать шестой

Мы двинулись в путь. Вечный странник Агасфер вскоре присоединился к нашему обществу и так продолжал рассказывать о своих необычайных приключениях:



Продолжение истории вечного странника Агасфера

Наставления мудрого Херемона были гораздо более продолжительны, чем то краткое изложение, которое я передал вам. Общим их исходным пунктом было то, что некий пророк по имени Битис доказал в своих творениях существование бога и ангелов и что другой пророк по имени Тот окутал эти понятия пеленой непроницаемой метафизики, которая поэтому казалась еще более возвышенной.

В этой теологии бог, которого называют отцом, был почитаем единственно посредством молчания; однако, когда хотели выразить, что он сам себе довлеет, говорили, что он является своим собственным отцом и своим собственным сыном. Чтили его также в образе сына и тогда называли «божественным разумом», или Тотом, что по-египетски означает «убеждение».

В конце концов, так как в природе различали дух и материю, то дух считали эманацией бога и представляли его плавающим по илу, как это я вам уже говорил где-то в другом месте. Создатель этой метафизики прозван был «трижды великим». Платон, который восемнадцать лет провел в Египте, ввел в Греции учение о слове, за что и получил у греков прозвище Божественного.

Херемон полагал, что все это не вполне соответствовало духу древней египетской религии, что эта последняя изменилась, ибо вообще перемены свойственны природе всякой религии.

Мнение его по этому поводу вскоре подтвердили события, происшедшие в александрийской синагоге.

Я был не единственным евреем, изучавшим египетскую теологию; другие также знакомились с ней, в особенности же очаровывал их темный и загадочный дух, который господствовал во всей египетской словесности и который объяснялся, должно быть, характером иероглифических писем, а также являлся следствием принципа, согласно которому нужно исходить не от символа, а от мысли, сокрытой в нем.

Наши александрийские раввины стремились также разрешать нечто загадочное и вообразили себе, что писание Моисеево¹, хотя оно и представляет собой рассказ о фактах и подлинную историю, создано, однако, с таким божественным искусством, что наряду с исторической мыслью непременно заключает еще иную мысль — сокровенную и иносказательную. Некоторые из наших ученых обнаружили эту сокровенную мысль с проникательностью, которая сделала им честь в те времена, однако среди всех александрийских раввинов больше прочих отличился Филон. Глубокое изучение Платона позволило ему, развеяв мрак метафизики, создать кажущуюся ясность, поэтому также и прозвали его Платоном синагоги.

Первое сочинение Филона было посвящено сотворению мира, наиболее подробно в нем разбирались особенные свойства числа семь. В сочинении этом автор называет бога отцом, что вполне входит в сферу египетской теологии и согласуется с нею, но не со стилем Библии. Мы обнаруживаем там также, что змий есть не что иное, как аллегория наслаждения, и что история женщины, сотворенной из ребра мужчины, также является аллегорической.

Филон написал также сочинение о сновидениях, где он говорит, что у бога есть два святилища: одно из них — весь мир, и его священнослужителем является слово божие; другое же — это душа, чистая и разумная, священнослужителем коей является сам человек.

В своей книге об Аврааме Филон еще больше проникается египетским духом, когда говорит:

Тот, кого Писание называет сущим (или тем, который есть) на самом деле является отцом всего. С двух сторон окружают его силы бытия, наиболее древние и соединенные с ним самым тесным образом: сила творческая и сила управляющая. Одна зовется богом, другая — господом. Соединенный с этими силами, он является нам однажды в единой ипостаси, другой раз в трех ипостасях: в единой, когда душа, полностью очищенная, вознеслась выше всяких чисел, даже выше числа два, столь близкого единству, достигает понятия простого и самодовлеющего; в тройственной же представляет души, не вполне еще допущенные к великим тайнам.

Тот же Филон, который, таким образом, чуть ли не до потери рассудка углубился в мудрствования Платона, впоследствии был послом при дворе

императора Клавдия. Он пользовался всеобщим уважением в Александрии, и почти все эллинизированные евреи, увлеченные прелестью его слога и понятным тяготением, которое все люди испытывают к новизне, настолько восприняли его учение, что вскоре сделались как бы евреями лишь по имени.

Книги Моисеевы стали для них лишь своего рода основой, на которой они по своему усмотрению ткали собственные аллегории и таинства, в особенности же миф о триедином божестве.

В ту эпоху ессей² уже создали свою удивительную общину. Они не вступали в брак и не владели никаким имуществом, все принадлежало всем. В конце концов взору всех открылась возникающая вокруг новая религия: смесь иудаизма и магизма, сабеизма³ и платонизма, а также множества астрологических суеверий. Повсюду рушились устои древних религий.

Когда вечный странник Агасфер досказал эти слова, мы очутились неподалеку от места отдыха; он покинул нас и исчез где-то в горах. Под вечер цыган, у которого было свободное время, так продолжал свой рассказ:



*Продолжение истории
цыганского вожака*

Молодой Суарес, поведав мне историю своей дуэли с Бускеросом, почувствовал, что его клонит ко сну, поэтому я оставил его в покое. На следующий же день, спросив, что произошло дальше, я получил такой ответ:

*Продолжение истории
Лопеса Суареса*



Бускерос, ранив меня в плечо, сказал, что истинным счастьем является для него эта новая возможность доказать, насколько он мне предан и на какие жертвы готов идти ради меня. Он разорвал мою сорочку, перевязал мне руку, прикрыл плащом, и мы отправились к хирургу. Тот осмотрел раны, вызвал экипаж и отвез меня домой. Бускерос велел внести для себя постель в прихожую. Злополучный результат моих попыток избавиться от этого назойливого субъекта отбил у меня охоту предпринимать новые усилия в этом направлении, и я покорился судьбе.

На следующий день у меня началась горячка, какая обычно бывает у раненых. Бускерос по-прежнему набивался ко мне с услугами и ни на миг меня не покидал. На четвертый день я смог, наконец, выйти из дому хотя и с рукой на перевязи; на пятый же день пришел ко мне слуга господа Авалос и принес письмо, которое Бускерос тут же схватил и прочел следующее:

Инес Моро Лопесу Суаресу

Я узнала, что у тебя был поединок и что ты ранен в плечо. Верь мне, что я очень из-за этого страдала. Теперь нужно будет применить крайние меры. Я хочу, чтобы мой отец застал тебя у меня. Предприятие это дерзкое, но на нашей стороне тетушка Авалос, которая нам поможет. Доверяй человеку, который вручит тебе это письмо — завтра будет уже слишком поздно.

— Сеньор дон Лопес, — сказал ненавистный мне Бускерос, — ты видишь, что на сей раз тебе не обойтись без меня. Ведь ты признаешь, должно быть, что всякое предприятие такого рода по самой сути своей должно быть выполнено мною. Я всегда считал тебя необычайно счастливым, так как ты сумел привлечь к себе мои симпатии, но теперь больше, чем когда-нибудь прежде, ты узнаешь всю их ценность. Клянусь святым Рохом, моим покровителем, что если бы ты позволил мне закончить мою историю, ты узнал бы, что я сделал для герцога Аркоса, но ты прервал меня и к тому же еще таким неучтивым образом. Впрочем, я не жалею,

ибо рана, которую я тебе нанес, позволила мне дать новые доказательства моего самопожертвования ради тебя. А теперь, сеньор дон Лопес, умоляю тебя только об одной милости: не вмешивайся ни во что, пока не наступит решительный момент. До тех пор — никакой болтовни, никаких вопросов! Доверяй мне, сеньор дон Лопес, доверяй мне!

Сказав это, Бускерос вышел в другую комнату с посланцем барышни Моро. Они долго шептались там о чем-то, и наконец Бускерос вернулся, неся некий план, представляющий переулок Августинцев.

— Вот это, — сказал он, — конец улицы, которая ведет к доминиканцам. Там будет стоять слуга барышни Моро вместе с двумя людьми, за которых он мне поручился. Я же буду сторожить на противоположном конце улицы с несколькими надежными друзьями, которые благоволят к тебе, сеньор дон Лопес. Нет, нет, я ошибаюсь, их будет только двое, остальные же останутся у черного хода, чтобы следить за людьми Санта Мауры.

Я полагал, что планы эти дают и мне право высказать свое мнение. Мне хотелось узнать, что в это время буду делать я, но Бускерос брюзгливо прервал меня и сказал:

— Никакой болтовни, дон Лопес, никаких вопросов! Таков был наш уговор; если ты о нем забыл, то я хорошо его помню.

Весь остаток дня Бускерос то приходил, то уходил. Вечер прошел так же: то соседний дом был будто бы слишком ярко освещен, то в переулке якобы показывались какие-то подозрительные люди, то все еще не было замечено условных знаков. Иногда Бускерос приходил сам, в другой раз присылал с донесением одного из своих доверенных. Наконец он пришел ко мне, говоря, чтобы я отправился с ним. Ты можешь догадаться, как билось мое сердце. Мысль, что я нарушаю отцовский наказ, приводила меня в замешательство, но любовь брала верх над всеми иными чувствами.

Бускерос, входя в переулок Августинцев, показал мне сторожевой пост своих друзей и дал им пароль.

— В случае, если кто-нибудь чужой пойдет туда, мои друзья сделают вид, что повздорили между собой, так что, волей-неволей, ему придется вернуться. Теперь, — прибавил он, — мы уже у цели. Вот лестница, по которой ты взберешься наверх. Видишь, она надежно опирается о кирпичи. Я буду следить за условными знаками и как только хлопну в ладоши, ты начнешь подниматься.

Но кто бы мог предположить, что после всех этих расчетов и приготовлений Бускерос перепутал окна. Однако он сделал эту ошибку, и сейчас ты увидишь, что из этого вышло.

Как только я услышал сигнал, я, хоть и с рукой на перевязи, тотчас же стал карабкаться, хватаясь другой рукой. Оказавшись наверху, я увы, не нашел, как мне было обещано, открытой ставни, и вынужден был постучаться, удерживаясь только на ногах. В этот момент кто-то резко распах-

нул окно, ударив меня ставней. Я потерял равновесие и с верхушки лестницы рухнул на кирпичи, лежавшие внизу. При этом я сломал в двух местах уже раненую руку, сильно разбил ногу, застрявшую между перекладинами лестницы, вывихнул другую ногу и покалечился весь от шеи до поясницы. Человек, который распахнул ставню, должно быть желал моей смерти, ибо он закричал:

— Ты погиб?

Я испугался, что он захочет меня добить, и потому ответил, что погиб.

Миг спустя прозвучал тот же самый голос:

— А что, есть ли на том свете чистилище?

Так как я терпел несказанные боли, то ответил, что есть и что я уже в нем нахожусь. Затем, как мне кажется, я лишился чувств.

Тут я прервал Суареса и спросил его, была ли в тот вечер гроза.

— Без сомнения, — ответил он, — гремело, сверкало, и быть может поэтому Бускерос перепутал окна.

— Что я слышу, — воскликнул я, удивленный, — так ведь это наша душа из чистилища! Наш бедный Агиляр!

Сказав это, я стрелой вылетел на улицу. Начинало светать, я нанял двух мулов и как можно скорей поспешил в обитель молчальников. Я нашел кавалера Толедо, распростертого крестом перед святым образом. Я растянулся рядом с ним, а так как у камедулов запрещается говорить громко, на ухо рассказал ему вкратце всю историю Суареса. Сначала слова мои как будто не произвели на него никакого впечатления, затем, однако, я заметил, что он улыбается. Он склонился к моему уху и сказал:

— Милый Аварито, как тебе кажется, любит ли меня жена оидора Ускариса и верна ли она мне еще?

— Несомненно, — ответил я, — но тихо, не будем подавать дурной пример этим почтенным анахоретам. Молись, сеньор, как обычно, я же пока схожу узнать, завершили ли мы уже наше покаяние.

Настоятель, услышав, что кавалер стремится вернуться в свет, попрощался с ним, весьма хваля, однако, его набожность.

Как только мы выбрались из монастыря, кавалер тотчас же обрел былую веселость. Я поведал ему о Бускеросе; он сказал мне на это, что знает его и что это дворянин из свиты герцога Аркоса, дворянин, которого считают самым несносным человеком во всем Мадриде.

Когда цыган говорил это, один из его подчиненных пришел отдать ему отчет в том, что сделано за день, и мы уже больше в тот день не видали жожака.

День тридцать седьмой

Следующий день мы посвятили отдыху. Завтрак был обильнее и вкуснее, чем обычно. Все были в сборе. Прекрасная еврейка явилась одетая с большей тщательностью, чем обычно, но старания эти были излишни, если она старалась лишь затем, чтобы понравиться герцогу, ибо его пленила вовсе не наружность ее. Веласкес видел в Ревекке женщину, отличающуюся от других большим глубокомыслием и просвещенным разумом, развившимся в результате изучения точных наук.

Ревекка давно уже стремилась узнать взгляды герцога на религию, ибо она питала решительное отвращение к христианству и участвовала в заговоре, целью которого было склонить нас к обращению в веру пророка. И вот она спросила герцога, наполовину всерьез, наполовину в шутку, не нашел ли он в своей религии такого уравнения, решение которого оказалось бы для него затруднительным.

При упоминании о религии Веласкес нахмурился, но видя, что его спросили почти что в шутку, задумался на миг, после чего, приняв недовольный вид, ответил следующим образом:

— Я вижу, куда ты, сударыня, клонишь; ты задаешь мне геометрический вопрос, я отвечу тебе, исходя из начал этой науки. Желая обозначить бесконечную величину, мы изображаем положенную набок восьмерку ∞ и делим ее на единицу; напротив, если мы хотим обозначить бесконечно малую величину, то пишем единицу и делим ее на такую же лежащую восьмерку. Однако знаки эти, которые я применяю в вычислениях, не дают мне ни малейшего понятия о том, что я хочу выразить. Бесконечная величина — это нескончаемо малая частица самого мельчайшего из атомов. Следовательно, я обозначаю бесконечность, но я ее не постигаю. Если поэтому я не могу ее постичь и выразить, а могу только обозначить, или, скорее, издали указать бесконечную малость и бесконечное величие, каким же образом я выражу то, что является в одно и то же время бесконечно великим, бесконечно разумным, бесконечно благим и к тому же еще оказывается создателем всех бесконечностей?

Тут церковь приходит на помощь моей геометрии¹. Она показывает мне троицу, которая вмещается в единице, но ее не уничтожает. В чем же я могу упрекнуть то, что превосходит мое воображение? Я вынужден подчиниться.

Наука никогда не приводит к неверию, только невежество погружает нас в него. Неуч, который каждый день видит какой-нибудь предмет, мнит поэтому, что понимает его. Подлинный естествоиспытатель шестует среди загадок; постоянно погруженный в исследования, он пони-

мает лишь наполовину, учится верить в то, чего не понимает, и таким образом приближается к храму веры. Дон Ньютон и дон Лейбниц были истинными христианами и даже подлинными теологами, и оба она приняли тайну чисел, которой не смогли уразуметь.

Если бы вы родились в лоне нашей религии, вы приняли бы также и другую тайну, не менее непостижимую, которая заключается в возможности тесного слияния человека с творцом. В пользу этой тайны не говорит ни один очевидный факт, напротив, одно только неведомое, но, с другой стороны, тайна эта убеждает нас в принципиальном различии, существующем в природе между человеком и другими материальными существами. Ибо если человек и в самом деле является единственным в своем роде на этой земле², если мы твердо убеждены в том, что он отличается от всего животного царства, тогда мы с большей легкостью допустим возможность соединения его с богом. После этих разъяснений нам следует заняться на миг силой понимания, какая может быть свойственна животным.

Животное хочет, помнит, рассуждает, колеблется, принимает решения. Животное мыслит, но не может сделать объектом своих размышлений свои собственные мысли, что означало бы силу разума, возведенную в квадрат. Животное не говорит: «я — существо мыслящее». Абстракция столь мало доступна ему, что никто никогда не видал животного, имеющего хотя бы малейшее понятие о числах. А ведь числа представляют собой простейший пример абстракции.

Сорока не покинет своего гнезда, пока не будет уверена, что ни один человек не находится поблизости. Однажды хотели убедиться в том, насколько она умна. Пять стрелков залегло в засаду; они выходили один за другим, и сорока не покинула гнезда, пока не увидела пятого выходящим. Когда же стрелки приходили вшестером или всемером, сорока не могла их сосчитать или же улетала после появления пятого, из чего некоторые сделали вывод, что сорока умеет считать до пяти. Они заблуждались; сорока сохранила собирательный образ пяти человек, но никоим образом их не сосчитала. Считать — это значит абстрагировать число от предмета. Мы встречаем порой шарлатанов, выступающих с маленькими лошадками-пони, которые бьют копытом столько раз, сколько знаков пик или трэф на карте, но только кивок хозяина заставляет их столько раз бить копытом. Животные не имеют никакого понятия о счете, и эту абстракцию, простейшую из всех, можно признать пределом их разума.

Однако же, нет сомнения, что разум животных нередко приближается к нашему. Собака легко узнает хозяина дома и отличает его друзей от чужих; первых она любит, вторых едва выносит. Она ненавидит людей, в чьих глазах злоба, приходит в замешательство, тревожится, беспокоится. Она ожидает наказания и стыдится, пойманная с поличным,

когда она совершает запрещенный поступок. Плиний³ говорит, что слонов научили танцевать и что однажды подглядели, как они в лунном сиянии повторяли урок.

Разум животных поражает нас, но он всегда проявляется в отдельных случаях. Животные выполняют данные им приказания, избегают делать то, что запрещено, как и вообще избегают всего того, что могло бы причинить им вред, однако же они не способны составить себе общее понятие о добре с помощью обособленного понятия о том или ином поступке. Они не могут оценивать свои поступки, не способны разделить их на добрые и злые; абстракция такого рода куда труднее, чем абстрагирование чисел, а раз они не способны к этой меньшей, то нет причины думать, что они могут быть способны на большее.

Совесть является в известной мере творением человека, ибо то, что в одной стране считают добром, в другой почитают злом. В общем, однако, совесть указывает на то, что процесс абстракции тем или иным способом обозначил вещь как хорошую или дурную. Животные не способны к такой абстракции, а посему у них нет совести, они не могут следовать ее голосу, и именно поэтому не заслуживают ни награды, ни наказания, разве что только таких наград и таких наказаний, которые становятся их уделом ради нашей собственной пользы, но никогда ради их собственной выгоды.

Мы видим отсюда, что человек является единственным в своем роде существом на земле, на которой все входит в некую единую систему. Только человек может сделать объектом своего мышления свои собственные мысли, только он умеет абстрагировать и обобщать те или иные свойства. Тем самым он способен приобретать заслуги или наносить оскорбления, то есть способен абстрагировать, обобщать, а также отличать добро от зла — это и сформировало в нем совесть.

Однако почему человек обладает качествами, отличающими его от всех других существ? Тут посредством аналогии мы приходим к предположению, что если все на свете имеет свою цель, то совесть не может быть дана человеку бесцельно.

Вот куда привело нас это рассуждение — к естественной религии, а та, в свою очередь, куда же нас ведет, если не к той же самой цели, что и религия откровения, то есть — к грядущему вознаграждению или наказанию. Но так как произведение одинаково, то множимое и множители не могут быть различными.

Вместе с тем рассуждение, на коем зиждется естественная религия, нередко оказывается опасным оружием, наносящим рану тому, кто им пользуется. Какие только добродетели люди ни пытались проклясть с помощью рассуждения или какого преступления ни пытались оправдать! Неужели вечное провидение действительно намеревалось отдать мораль на откуп софистике? Без сомнения, нет; ведь вера, опираю-

щаяся на привычки, усвоенные с младенческих лет, основанная на любви детей к родителям, на потребностях сердца, создает для человека основу или фундамент, гораздо более надежный, чем праздное рассуждение. Люди усомнились даже в совести, наличие которой отличает нас от животных; скептики вознамерились превратить ее в свою игрушку. Они пытались внушить нам, будто бы человек решительно ничем не отличается от тысяч других существ — понятливых, материальных и населяющих шар земной. Но, вопреки им, человек ощущает в себе присутствие совести, священнослужитель же говорит ему при освящении: «Единый бог нисходит на сей алтарь и соединяется с тобою». Тогда человек вспоминает, что он не принадлежит к миру животных; он входит в самого себя и обретает совесть.

Вы могли бы спросить меня, зачем я пытаюсь убедить вас, что естественная религия приводит к той же самой цели, что и религия откровения, ибо ведь, раз я являюсь христианином, я обязан признавать сию последнюю и верить в чудеса, которые заложили ее фундамент. Позвольте поэтому сперва определить различие между естественной религией и религией откровения.

Согласно теологу, бог является творцом христианской религии, согласно философу — также, так как все, что творится, происходит по господнему соизволению; но теолог опирается на чудеса, которые представляют собой исключение из всеобщих законов природы и тем самым приходится не по вкусу философу. Этот последний, как и положено естествоиспытателю, склонен полагать, что бог, создатель нашей пресвятой религии, намеревался основать ее при помощи человеческих средств, не уклоняясь от общеизвестных законов, управляющих духовным и материальным миром.

Пока разница еще не столь значительна, однако естествоиспытатель стремится ввести еще одно, почти неуловимое различие. Он обращается к теологу: те, кто видел чудеса своими глазами, легко могли в них уверовать. Для тебя, рожденного спустя восемнадцать веков, вера есть заслуга, а если вера есть заслуга, то твою веру можно считать одинаково надежной как в том случае, если эти чудеса воистину свершались, так и в том случае, если это только освященное традицией предание. Так как, однако, веру в обоих этих случаях можно считать равно подлинной, заслуги также должны быть одинаковыми.

Тут теолог переходит в наступление и заявляет естествоиспытателю:

— А тебе кто открыл законы природы? Откуда ты знаешь, не являются ли чудеса, вместо того, чтобы быть исключениями, просто зримым выражением незнакомых тебе явлений? Ибо ты не можешь сказать, что в совершенстве знаешь законы природы, на которые ты ссылаешься, в отличие от суждений религии. Силу своего зрения ты подчинил законам оптики; каким же образом, световые лучи, проникая всюду и ни обо

что не ударяясь, внезапно встретив на своем пути зеркало, возвращаются, как будто оттолкнулись от какого-то упругого тела? Звуки также отражаются, и эхо является их отображением; с известным приближением к ним можно применить те же самые законы, что и к световым лучам, хотя они имеют скорее условный характер, в то время как световые лучи представляются нам телами. Ты, однако, не знаешь этого, ибо, по сути дела, ты ничего не знаешь.

Естествоиспытатель вынужден признать, что ничего не знает, однако не может не прибавить: если я не в состоянии определить чуда, то ты, в свою очередь, сеньор богослов, не вправе отвергать свидетельства отцов церкви, которые признают, что наши догматы и таинства существовали уже в дохристианских религиях. Так как, однако, они не вошли в эти предшествующие религии посредством откровения, ты вынужден приблизиться к моему мнению и признать, что можно было сформулировать эти же самые догматы, не прибегая к помощи чудес. Впрочем, — говорит естествоиспытатель, — если ты хочешь, чтобы я откровенно сказал, каков мой взгляд на происхождение христианства, то я прошу тебя, послушай: храмы древних были попросту мясными лавками; боги их — бесстыжими распутниками, но в некоторых общинах людей набожных царили гораздо более чистые принципы и приносились жертвы, гораздо менее отталкивающие. Философы обозначали Божество словом Теос, не упоминая ни Юпитера, ни Сатурна. Рим завоевывал тогда земли и открывал им доступ к своим распутствам. Учитель божественного явился в Палестине, стал учить любви к ближнему, презрению к богатству, забвению обид, покорности воле отца небесного. Другьями этого учителя при жизни были простые люди. После его смерти они познакомились с людьми просвещенными и выбрали из языческих обрядов то, что более всего годилось для новой веры. Затем отцы церкви блеснули с проповеднических кафедр красноречием, несравненно более убедительным, чем то, какое дотоле звучало с трибун. Таким образом, с помощью средств, вполне человеческих с виду, христианство создавалось из того, что было самого чистого в религиях язычников и евреев.

Именно так всегда исполняются приговоры провидения. Творец миров мог, без сомнения, огненными письменами начертать свои священные законы на звездном небе, но не совершил этого. Он утаил в древних мистериях обряды совершеннейшей религии, подобно тому, как в жолуде таится лес, который будет когда-нибудь давать тень нашим потомкам. Мы сами, хотя мы и не ведаем этого, живем среди причин, следствиям которых будут еще изумляться наши потомки. Поэтому-то мы и называем бога провидением, ибо в противном случае мы называли бы его только могуществом.

Так представляет себе естествоиспытатель происхождение христианства. Теолог же ни в коей мере не соглашается с ним, но также и не

отваживается его оспаривать, так как усматривает в воззрениях своего противника мысли справедливые и великие, склоняющие теолога отнестись снисходительно к ошибкам, которые можно простить.

Таким образом, мнения философа и теолога могут, подобно линиям, известным под названием асимптот⁴, никогда не встречаясь, все больше сближаться, вплоть до расстояния меньшего, чем всякое, какое мы только можем себе представить, так что разница между ними будет меньше любой разницы, которую возможно обозначить, и меньше любого количества, которое может быть определено. А так как мы оказываемся не в состоянии определить разницу, то по какому праву я решаюсь выступать с моим мнением против убеждений моих братьев и церкви? Разве я могу сеять свои сомнения в борозды веры, которую они исповедуют и которую они положили в основу своей нравственности? Бесспорно, нет; я не имею на это права, я покоряюсь сердцем и душою. Дон Ньютон и дон Лейбниц, как я уже сказал, были христианами и даже теологами; этот последний много занимался воссоединением церквей. Что касается меня, то мое имя не следовало бы упоминать после имен этих великих мужей; я изучаю теологию в делах творения, дабы изобрести новые поводы для прославления творца.

Сказав это, Веласкес снял шляпу, лицо его приняло задумчивое выражение, и он впал в раздумье, которое у аскета можно было бы счесть экстазом. Ревекка несколько смутилась, а я уразумел, что для тех, которые хотят поколебать в наших душах принципы религии и склонить к обращению в веру пророка, герцог Веласкес представляет собою столь же твердый орешек, как и я, грешный.



День тридцать восьмой

Накануне мы отдохнули и восстановили свои силы. Пустились в путь с превеликой охотой. Вечный странник Агасфер вчера не показался, ибо, не имея права ни на миг остановиться, он мог рассказывать нам свою историю лишь тогда, когда мы были в дороге. Однако, едва мы проехали четверть мили, он появился, занял привычное свое место между мною и Веласкесом и начал такими словами:



Продолжение истории вечного странника Агасфера

Деллий дряхлел и, чувствуя приближение своего последнего часа, призвал меня и Германа и приказал нам копать в подвале, у самых дверей, сказав, что мы найдем там ларчик из бронзы, и велел нам принести ему этот ларчик. Мы выполнили его приказ, откопали ларец и принесли ему его.

Деллий достал ключ, висевший у него на шее, отпер ларчик и сказал нам:

— Вот два пергамента, снабженные подписями и печатями. Первый свидетельствует, что тебе, сын мой, принадлежит великолепный дом в Иерусалиме; второй является передачей прав на тридцать тысяч дариков с процентами, выросшими за много лет.

Затем он поведал мне историю деда моего Гискиаса и дяди Седекии, после чего прибавил:

— Этот алчный и подлый человек и доселе жив, из чего следует, что угрызения совести не убивают. Дети мои, скоро я умру, отправляйтесь в Иерусалим, но не открывайте, кто вы, пока не найдете покровителей; быть может, даже лучше было бы подождать, пока Седекия умрет; что, принимая во внимание его преклонный возраст, должно быть скоро случится. До тех пор вы сможете прожить на пятьсот дариков; вы найдете их зашитыми в моей подушке, с которой я не расстанусь ни на миг.

Я хотел бы дать вам еще один совет: живите всегда достойно и честно, а в награду за это вечер вашей жизни будет мирным. Что до меня, то я умру, как и жил, то есть — с песней на устах; это будет, как говорится, моя лебединая песня. Гомер, слепой, как и я, сложил гимн Аполлону¹, олицетворяющему то солнце, которого он не видел, так же, как не вижу его и я. Много лет тому назад я положил слова этого гимна на музыку; я начну первую строфу, но сомневаюсь, смогу ли завершить последнюю.

Сказав это, Деллий запел гимн, начинающийся словами: «Спеть ли, как смертных утеха, Латона тебя породила», но когда дошел до: «Делос! Не хочешь ли ты, чтоб имел тут пристанище сын мой?»², голос его ослабел, он склонил голову ко мне на плечо и испустил дух.

Мы долго оплакивали нашего опекуна, затем отправились в Палестину и на двенадцатый день после того, как покинули Александрию, прибыли в Иерусалим. Из осторожности мы взяли другие имена. Я назвался Антипой, Герман же велел называть себя Глафрисом. Мы остановились в трактире за городскими стенами и попросили показать нам дом Седекии. Нам тотчас же его показали. Это был прекраснейший дом во всем Иерусалиме, настоящий дворец, достойный быть резиденцией царского сына. Мы сняли жалкую каморку у сапожника, который жил напротив Седекии. Я проводил почти все время, сидя дома, Герман же бегал по городу и собирал слухи.

Спустя несколько дней после нашего приезда он вбежал ко мне и сказал:

— Дорогой друг, я сделал интересное открытие. Ручей Кедрон сразу же за домом Седекии разливается, образуя великолепное озеро. Седекия привык проводить там вечера в жасминовой беседке. Сегодня мы, конечно, найдем его там; идем, я покажу тебе твоего гонителя.

Я последовал за Германом, и мы пришли к берегу ручья. На другом берегу его, в роскошном саду спал какой-то старик. Я сел на траву и начал присматриваться к нему. До чего же сон его был не похож на сон Деллия! Должно быть, мучительные сновидения ужасно его тревожили, ибо он ежеминутно вздрагивал.

— Ах, Деллий, — воскликнул я, — и в самом деле, ты мудро советовал мне всегда быть достойным человеком!

Герман заметил то же самое.

Пока мы так рассуждали, мы увидели существо, при виде коего забыли обо всех наших наблюдениях. Это была юная девушка, самое большее — лет шестнадцати, отличающаяся необычайной красотой, которую подчеркивал богатый наряд. Жемчуга и цепочки, усеянные драгоценными камнями, украшали ее шею, руки и ноги. На ней была легкая льняная туника, расшитая золотом. Герман первый крикнул: — Вот истинная Венера! — я же в непроизвольном порыве опустился перед ней

на колени. Юная красавица заметила нас и немного смутилась, вскоре, однако, она овладела собой, взяла опахало из павлиньих перьев и начала обмахивать голову старика, чтобы ему было прохладнее и чтобы сон его продлился.

Герман достал книги, которые захватил с собой, и сделал вид, что читает, я же — что слушаю его, но занимало нас только то, что происходило в саду.

Старик проснулся; по нескольким вопросам, которые он задал юной девушке, мы поняли, что он плохо видит и не может заметить нас с такого расстояния, что чрезвычайно нас обрадовало, и поэтому мы решили как можно чаще возвращаться сюда.

Седекия ушел, опираясь на плечо юной девушки, мы же вернулись домой. Не имея другого дела, мы вступили в разговор с нашим сапожником, который сообщил нам, что все сыновья Седекии поумирали и что все его состояние унаследует дочь одного из его сыновей; что эту юную внучку зовут Саррой и что дед необычайно любит ее.

Когда мы ушли в нашу каморку, Герман сказал:

— Дорогой друг, мне пришло в голову, как можно скорейшим образом окончить твой спор с Седекией. Ты должен жениться на его внучке, однако для того, чтобы осуществить это намерение, потребуется большая осмотрительность.

Мне весьма понравилась эта идея; мы долго беседовали о внучке Седекии, и всю ночь напролет я только о ней и мечтал.

Назавтра и во все последующие дни я в один и тот же час возвращался к ручью. Постоянно видел в саду мою красавицу-кузину с дедом или одну и хотя не сказал ей ни одного слова, не сомневался, что она поняла, ради кого я туда прихожу.

Когда вечный странник Агасфер досказывал эти слова, мы прибыли к месту ночлега, и злополучный бродяга исчез где-то в горах.

Ревекка не заговаривала уже с герцогом о религии, но так как ей хотелось узнать то, что он называл своей системой, она воспользовалась первой же возможностью и засыпала его вопросами.

— Сударыня, — отвечал ей Веласкес, — мы подобны слепцам: мы знаем местонахождение нескольких угловых домов и знаем, где кончаются несколько улиц, однако не следует узнавать у нас о плане всего города. Впрочем, так как ты настаиваешь на этом, я попытаюсь дать тебе некоторое представление о том, что ты называешь моей системой, но что сам я называю скорее мировоззрением.

Согласно этому мировоззрению, все, что объемлет наш взор, весь горизонт, простирающийся у горного подножья, наконец, — всю природу, которую мы способны воспринимать посредством наших органов чувств, — мы можем разделить на мертвую материю и материю органическую. Ор-

ганическая материя отличается от мертвой тем, что обладает органами, однако она состоит из тех же самых первоэлементов. Так, мы могли бы отыскать в этом утесе, на котором ты сидишь, или в этой траве те же самые элементы, из которых состоишь и ты, госпожа. В самом деле, в твоих костях, сеньора, содержится известь, в теле — кремний, в желчи — *alcalia*², железо в крови, соль в слезах. Жировые слои твоего тела являются просто сочетанием горючих веществ с определенными элементами воздуха. Поэтому, если бы тебя, сударыня, поместить в химическую печь, тебя можно было бы привести в такое состояние, что из тебя получилась бы стеклянная бутылочка, а если бы к тому же добавить еще немного металлической извести, то из тебя, сударыня, мог бы получиться превосходный объектив для телескопа.

— Ты рисуешь мне, герцог, соблазнительную перспективу, — сказала Ревекка. — Прошу тебя, благоволи продолжать свою речь.

Веласкес возомнил, что, сам того не заметив, преподнес прекрасной еврейке какой-то изысканный комплимент, поэтому он не без изыщества снял шляпу, раскланялся, а затем продолжал следующим образом:

— Мы замечаем в первоэлементах или основных элементах неорганической материи самопроизвольное устремление если не к органическим формам, то, по крайней мере, к органическим сочетаниям. Элементы эти соединяются и разделяются, чтобы затем соединиться с другими. Они проявляют склонность к известным формам: можно было бы подумать, что они созданы для органической жизни; однако они не могут организоваться сами собой и без оплодотворяющей искры неспособны преобразовываться в сочетания такого рода, окончательным результатом которых является жизнь.

Подобно магнетическому флюиду, мы наблюдаем жизнь лишь в проявлениях ее деятельности. Первым таким проявлением в органических телах оказывается предупреждение внутренней ферментации, которую мы называем разложением. Она, эта внутренняя ферментация, начинается в органических телах, как только жизнь покидает их.

Жизнь может долго таиться в жидкости, как, например, в яйце или также в твердой материи, как ну, хотя бы — в зерне, чтобы потом развиться при благоприятных обстоятельствах.

Жизнь обретается во всех частях тела, даже в жидкостях, даже в крови, которая свертывается, когда она вытекает из наших жил.

Жизнь таится в стенках желудка, которые она предохраняет от действия желудочного сока, растворяющего все мертвое, попадающее в полость этого органа.

Жизнь поддерживается в течение некоторого времени в частях тела, отчлененных от остального организма. Наконец, неотъемлемым признаком жизни является способность к продолжению рода. Мы называем это

тайной зачатия, которая столь же непостижима для нас, как почти все в природе.

Органические существа бывают двух основных родов: первые во время горения постоянно выделяют щелочь, вторые изобилуют щелочью временно. Растения составляют первую группу, животные — вторую.

Имеются животные, которые, с точки зрения строения их организма, представляются стоящими на гораздо более низкой ступени, нежели иные растения. Таковы амебы, которых можно увидеть уносящимися в море, либо пузырчатые глисты, которые забираются в овечьи мозги.

Есть и другие, гораздо более высокоорганизованные организмы, у которых, однако, невозможно ясно распознать то, что мы называем волей. Так, например, когда коралл разверзает свою полость для того, чтобы поглотить маленьких тварей, которые служат ему пищей, мы можем предположить, что движение это является следствием его строения, как мы это видим у цветов, которые закрываются на ночь, днем же обращаются к солнцу.

Степень воли полипа, протягивающего присоски и отверзающего полость, можно весьма удачно сравнить с волей новорожденного, который хочет, хотя еще не мыслит. Ибо воля у детей опережает мысль и является непосредственным следствием потребности или страдания.

В самом деле, какая-либо согнутая конечность нашего тела хочет непременно разогнуться и вынуждает нас выполнить ее волю. Желудок нередко противится тому образу питания, который ему навязывают. Слюнные железы набухают при виде желанного блюда, а небо начинает испытывать щекотку, так что разуму часто не без труда удается одержать верх. Если бы мы вообразили себе человека, который в течение длительного времени не ел, не пил, лежал со скрюченными конечностями и жил в безбрачии, мы увидели бы тогда, что разные части его тела навязывают ему в одно и то же время самые различные желания.

Волю, проистекающую непосредственно из потребности, мы наблюдаем как у взрослого полипа, так и у новорожденного ребенка. Это стихийные элементы высшей воли, которая впоследствии развивается по мере совершенствования организма. Воля у новорожденного дитяти, конечно, опережает мысль, но очень ненамного; ибо мысль также имеет свой стихийные элементы, которые вы должны будете узнать.

Так Веласкес излагал свои взгляды, но тут ход его рассуждений был нарушен. Ревекка засвидетельствовала герцогу все удовольствие, с каким она его слушала, и дальнейшее продолжение лекции об основах учения Веласкеса, которое чрезвычайно заинтересовало также и меня, было отложено на следующий день.

День тридцать девятый

На заре мы пустились в дальнейший путь. Агасфер вскоре присоединился к нам и так продолжал свой рассказ:

Продолжение истории вечного странника Агасфера



Между тем, как я всей душой предавался грезам о прекрасной Сарре, Герман, которого мои намерения мало увлекали, провел несколько дней, слушая поучения известного учителя, которого звали Иешуа¹ и который впоследствии прославился под именем Иисуса, ибо Иисус по-гречески означает то же самое, что Иегошуа по-древнееврейски, как вы можете убедиться в этом из греческого перевода семидесяти². Герман хотел даже отправиться вслед за своим учителем в Галилею, однако мысль, что он может оказаться мне полезным, удержала его в Иерусалиме.

Однажды вечером Сарра сняла свое покрывало и хотела развесить его на ветвях бальзамового дерева, но в тот же миг ветер подхватил легкую ткань и занес ее на самую середину Кедрона. Я бросился в ручей, подхватил покрывало и прицепил его к кустам у подножья террасы в саду. Сарра бросила мне золотую цепочку, которую сняла с шеи. Я поцеловал цепочку, а потом вплавь вернулся на другой берег ручья.

Плеск воды разбудил старого Седекию. Он захотел узнать, что случилось. Сарра начала ему рассказывать о том, как все было, старик сделал несколько шагов вперед, полагая, что стоит у самой балюстрады, он ступил на утес, где не было никакой ограды, так как росли густые кусты, которые ее заменяли. Он поскользнулся, кусты раздвинулись, и Седекия упал в ручей. Я бросился за ним, схватил его и вынес на берег. Все это произошло в одно мгновение.

Седекия опомнился и, увидав себя в моих объятиях, понял, что обязан мне жизнью. Он спросил меня, кто я такой.

— Я еврей из Александрии, — отвечал я, — зовут меня Антипа; я потерял отца и мать и поэтому, не зная, как быть, пришел искать счастья в Иерусалим.

— Я заменю тебе отца, — сказал Седекия, — отныне ты будешь жить в моем доме.

Я принял предложение, вовсе не упомянув о моем товарище, который не вменил мне это в вину и продолжал жить у нашего башмачника. Так я вошел в дом моего заклятого врага и с каждым днем завоевывал все большее уважение человека, который, наверно, убил бы меня, если бы, узнал, что большая часть его состояния по праву наследования принадлежит не кому иному, как мне. Сарра, со своей стороны, с каждым днем проявляла ко мне все большую благосклонность.

Обмен денег происходил тогда в Иерусалиме точно так же, как еще и теперь происходит повсюду на Востоке. Если вы побываете в Каире или в Багдаде, то увидите у дверей мечетей людей, сидящих на земле и держащих на коленях маленькие столики с желобком в углу для ссыпания отсчитанных монет. Возле них стоят мешки с серебром и золотом, которые открываются для алчущих денег того или иного вида. Менял этих называют нынче сарафами. Ваши евангелисты называли их трапедзитами, по столикам, о которых я вам уже говорил.

Почти все иерусалимские менялы действовали в пользу Седекии, он же умел договориться с римскими арендаторами и с таможенниками, взвинчивая или понижая курс денег, в зависимости от того, что ему в данный момент было выгоднее.

Вскоре я уразумел, что, для того чтобы наилучшим образом завоевать благосклонность моего дяди, мне следует подробно изучить денежные операции и бдительнейшим образом следить за повышениями и понижениями курсов.

Намерение мое увенчалось таким успехом, что два месяца спустя никто не осмеливался производить никаких операций, не осведомившись сперва о том, что я думаю по этому поводу.

Примерно в эту пору разнесся слух, якобы Тиберий³ намерен приказать, чтобы во всем его государстве была произведена переплавка денег. Серебряные монеты как будто должны были быть изъяты из обращения; предполагалось якобы переплавить их в слитки и отослать в императорскую казну. Не я пустил этот слух, но я полагал, что мне не возбраняется его распространять. Вы можете себе представить, какое впечатление произвела эта весть на всех иерусалимских менял. Сам Седекия не знал, что думать об этом, и я так и не сумел принять никакого определенного решения.

Я уже говорил вам, что на Востоке менялы повсюду сидят у дверей мечетей; в Иерусалиме наши конторы находились в самом храме, который был столь обширен, что дела, которые мы улаживали в одном из

его углов, отнюдь не мешали богослужению. Однако вот уже несколько дней, как всех охватил такой страх, что ни один меняла не показывался. Седекия не спрашивал моего мнения, но хотел, казалось, прочесть его в моих глазах.

Наконец, когда я пришел к выводу, что серебряная монета уже достаточно опорочена, я изложил старику мой план действий. Он слушал меня с вниманием, долго размышлял, раздумывал и наконец сказал:

— Милый Антипа, у меня в подвале два миллиона золотых сестерциев⁴; если твой план увенчается успехом, ты сможешь просить руки Сарры.

Надежда обладать прекрасной Саррой и вид золота, всегда притягательного для иудея, привели меня в восторг, который, однако, не помешал мне тут же выбежать на улицу, ибо я вознамерился окончательно обесценить серебряную монету. Герман помогал мне изо всех сил; я подкупил также нескольких купцов, которые по моему наущению отказывались отпускать товары за серебро. Вскоре дела зашли настолько далеко, что жители Иерусалима возненавидели серебряные деньги. Как только мы убедились, что чувство это уже достаточно окрепло, мы приступили к осуществлению нашего плана.

В заранее избранный день я приказал внести в храм все золото в закрытых медных сосудах; я сразу же объявил, что Седекия, желая совершить значительные выплаты в серебре, собирается закупить двести тысяч сестерциев и предлагает унцию золота за двадцать пять унций серебра. Мы выигрывали в этой сделке сто процентов чистой прибыли и даже более.

Тотчас же со всех сторон сбежался народ и вскоре я обменял половину моего золота. Наши слуги ежеминутно выносили серебро, так что все полагали, что я до сих пор получил всего лишь двадцать пять, или самое большее, тридцать тысяч сестерциев прибыли. Все шло превосходно, и я непременно удвоил бы состояние Седекии, как вдруг некий фарисей пришел возвестить нам, что...

Как вечный странник Агасфер дошел до этого места своего повествования, он обратился к Узеде и сказал:

— Каббалист более могущественный, чем ты, вызывает меня в иное место.

— Безусловно, — возразил каббалист, — ты не хочешь нам рассказать о сумятице, которую ты устроил в храме⁵, и о тумачах, которые ты там получил.

— Старец с Ливанских гор призывает меня, — молвил Агасфер и исчез с наших глаз.

Признаюсь, что я был не очень этим огорчен и не слишком желал его возвращения, ибо подозревал, что человек этот является мошенником, от-

лично знающим историю; мистификатором, который под предлогом рассказа о собственных приключениях, рассказывает нам то, что нам не следовало бы слушать.

Между тем мы прибыли к месту ночлега, и Ревекка стала просить герцога, чтобы он соизволил продолжать изложение своей системы. Веласкес на миг погрузился в раздумье, после чего начал свою речь такими словами:

— Я пытался вчера объяснить вам элементарные проявления воли и сказал, что воля предшествует мысли. Мы должны были вслед за этим поговорить об элементарных началах мысли. Один из глубочайших философов древности указал нам истинный путь, по которому следует продвигаться в метафизических исследованиях; те же, которые полагают, что прибавили к его открытиям новые, по моему мнению, не совершили ни единого шага вперед.

Еще задолго до Аристотеля слово «понятие», «идея» означало у греков «образ», «картина», и отсюда возникло название: божок—идол. Аристотель, прекрасно разобравшись в своих понятиях, решил, что все действительно происходит от образов, то есть от впечатлений, произведенных на наши органы чувств. Здесь мы видим причину, по которой гений, даже наиболее творческий, не в состоянии придумать ничего нового. Создатели мифологии соединили верхнюю часть тела мужчины с туловищем коня⁶, тело женщины — с рыбьим хвостом, отняли у циклопов один глаз, Бриарею⁷ прибавили рук, но ничего нового не выдумали, ибо это превосходит человеческое воображение. Со времен Аристотеля везде принят принцип, что в мысли существует только то, что сперва воспринято чувствами.

Однако уже в наше время появились философы, которые считали себя гораздо более глубокими и говорили:

— Мы признаем, что разум не смог выработать в себе способностей без посредства чувств, но, если эти способности уже оказываются вполне развитыми, разум оказывается в состоянии постигать вещи, которые никогда не были восприняты посредством чувств, как, например: пространство, вечность или математические теоремы.

Признаюсь, я вовсе не хвалю эту новую теорию. Абстракция кажется мне не чем иным, как только вычитанием, лишением чего-либо. Тот, кто хочет абстрагировать, должен вычитать. Если я мысленно вычту из моей комнаты все, что в ней находится, не исключая воздуха, тогда у меня останется чистое пространство, пространство как таковое. Если от неизвестного отрезка времени я отниму начало и конец, я получу понятие о вечности. Если у мыслящего существа я отниму тело, я получу понятие об ангелах. Если от линий я отниму их ширину, дабы размышлять только об их длине и о плоскостях, которые они, эти линии, замыкают собою, я получу аксиомы Евклида. Если я отниму у человека глаз и прибавлю

ему роста, я получу образ циклопа. Все это картины, полученные с помощью чувств. Если новые мудрецы представят мне хотя бы единственную абстракцию, которую я не смог бы свести к вычитанию, я тотчас же пойду к ним на выучку. А покамест — буду держаться старика Аристотеля.

Слово «идея», «понятие», «образ» относится не только к тому, что производит впечатление на наши органы зрения. Звук доходит до наших ушей и дает нам понятие, относящееся к чувству слуха. Зубы ноют у нас от лимона и, таким образом, мы приобретаем понятие о кислоте.

Однако обратите внимание на то, что наши чувства могут воспринимать впечатление даже тогда, когда предмет находится вне пределов их досягаемости. Если нам напоминают о надкушенном лимоне, то само это понятие наполняет рот слюной, и зубы ноют. Пронзительная музыка продолжает звучать у нас в ушах, хотя оркестр давно уже перестал играть. На нынешнем этапе развития физиологии мы не можем еще объяснить, в чем суть сна, и не умеем также истолковать видений, проходящих перед нашим умственным взором во время его. Однако мы все же догадываемся, что наши органы, будучи приведены в движение независимо от нашей воли во время сна, находятся в таком же самом состоянии, в каком они находились некогда, во время восприятия данного чувственного впечатления, или, иначе говоря, во время восприятия данной идеи.

Отсюда следует также, что прежде, чем мы совершим дальнейшее продвижение вперед по стезе физиологических наук, мы можем теоретически считать наши понятия всего лишь впечатлениями, произведенными на наш мозг, впечатлениями, которые органы наши могут воспринимать — сознательно или непроизвольно — также и в отсутствие предмета. Заметьте, что, когда мы думаем о предмете, который находится вне досягаемости наших органов чувств, впечатление является менее живым, однако у человека, находящегося в горячем состоянии, оно может быть столь же сильным, как и то впечатление, которое некогда было воспринято посредством органов чувств.

Засим, преодолев эту область определений и гипотез, несколько трудных для немедленного усвоения, перейдем к наблюдениям, которые могут пролить на эту проблему новый свет.

Животные, по строению своего организма приближающиеся к человеку и проявляющие большие или меньшие умственные способности, обладают (все, насколько мне известно) органом, называемым мозгом. Напротив, у животных, приближающихся к растениям, этот орган обнаружить невозможно.

Растения живут, а некоторые из них даже движутся. Среди морских животных есть такие, которые, подобно растениям, не могут перемещаться в пространстве. Я видел и других морских животных, которые движутся

всегда одинаково, на манер наших человеческих легких, как если бы они вовсе не обладали никакой волей.

Животные, более высокоорганизованные, обладают волей и способностью понимания, но только человек способен абстрагировать.

Впрочем, не всем людям свойственна эта способность. Расстройство системы желез лишает этой способности страдающих зобом жителей гор. С другой стороны, отсутствие одного или двух органов чувств невероятно затрудняет чистое мышление. Глухонемые, которые из-за отсутствия речи подобны животным, с трудом постигают отвлеченные понятия; показывая им, однако, пять или десять пальцев, когда речь никоим образом не идет о пальце, удается дать им понятие о числах. Они видят молящихся, видят отбивающих поклоны и приобретают понятие о божестве.

Слепые испытывают в этом смысле гораздо меньшие затруднения, так как при помощи речи, являющейся могущественным орудием человеческого разума, им можно передавать готовые отвлеченные понятия. С другой стороны, невозможность предаваться рассеянности придает слепым особенную способность к комбинационному мышлению.

Если, однако, вы вообразите себе новорожденного ребенка, совершенно глухого и слепого, вы можете быть убеждены, что он не будет в состоянии усвоить никаких отвлеченных понятий. Единственными понятиями, которые он приобретет, будут те, к которым он придет посредством обоняния, вкуса или осязания. Такой человек будет даже способен мечтать о подобного рода вещах. Если употребление чего-либо причинит ему вред, в другой раз он постарается от этого удержаться, ибо у него нет недостатка в памяти. Но я не думаю, что можно было бы каким-либо способом вложить в его разум отвлеченное понятие о том, что такое зло. Он не будет иметь совести, и поэтому никогда не заслужит ни награды, ни порицания. Если бы он совершил убийство, правосудие не имело бы права определить ему наказание. Итак, вот два духа, две частицы божественного дыхания, но до чего же они непохожи друг на друга! А различие касается всего лишь двух чувств.

Гораздо меньшая разница, хотя все еще весьма значительная, имеется между эскимосом или готтентотом и человеком с образованным разумом. В чем же причина этого различия? Она заключается не в отсутствии одного или большего количества чувств, но в различном количестве понятий и сочетаний. Человек, который обозрел всю землю глазами путешественников, который видел в истории все важные события, действительно хранит в голове множество образов, которыми не обладает поселянин; если же такой человек комбинирует свои понятия, сопоставляет их и сравнивает, тогда мы говорим, что он обладает знаниями и умом.

Дон Ньютон имел обыкновение постоянно соединять понятия, и из множества понятий, которые он сочетал, возникло, среди прочих, сочетание падающего яблока и луны, прикрепленной к земле орбитой своею.

Отсюда я сделал предположение, что разница между умами зависит от количества образов и от способности к их комбинированию, или, если будет позволено мне так выразиться, прямо пропорциональна количеству образов и легкости их сочетания. Здесь я попрошу вас еще минутку быть внимательными и сосредоточенными.

Животные, организм которых не сконцентрирован, безусловно, не обладают ни волей, ни понятиями. Движения их, так же как и движения мимозы, являются произвольными. Мы можем, однако, допустить, что, когда пресноводный полип выпускает присоски, чтобы проглотить червячков, и проглатывает таких, которые ему больше по вкусу, чем другие, он приобретает понятия о дурном, хорошем или лучшем. Если же он обладает возможностью отвергать дурных червячков, то мы должны допустить, что воля у него не отсутствует. Поэтому первичной волей была потребность, которая вынудила его протянуть восемь щупалец, проглоченные же живые существа дали ему еще два или три понятия. Отвергнуть одну маленькую тварь и проглотить другую — это принадлежит к области свободного выбора и проистекает из наличия одного или нескольких понятий.

Применив это же доказательство к дитяти, мы увидим, что первоначальная его воля происходит непосредственно из потребности. Именно эта воля принуждает его припасть ртом к соску кормилицы, но как только ребенок усвоил пищу, он тут же приобретает понятия; засим чувства его воспринимают новые впечатления, и таким образом он приобретает второе понятие, затем — третье, и так далее.

Поэтому понятия можно сосчитать точно так же, как, что мы уже видели, их можно сочетать. А поэтому к ним можно применить если не комбинационное исчисление, то, во всяком случае, принципы этого исчисления.

Комбинацией я называю сочетание независимо от расположения: так, например, *AB* это та же самая комбинация, что *BA*. Поэтому две буквы можно сочетать только одним способом.

Три буквы, взятые по две, можно сочетать, то есть комбинировать, тремя способами. Есть еще четвертый, когда все три мы ставим вместе.

Четыре буквы, взятые по две, дают шесть комбинаций, взятые по три—четыре комбинации, взятые все вместе, — одну, или, в общей сложности, — одиннадцать.

Затем:

пять	букв	дают	вместе	26	комбинаций
шесть	"	"	"	57	"
семь	"	"	"	120	"
восемь	"	"	"	247	"
девять	"	"	"	502	комбинации
десять	"	"	"	1013	комбинаций
одиннадцать	"	"	"	2036	"

Итак, мы видим, что каждое новое понятие удваивает количество комбинаций и что комбинация пяти понятий так же относится к комбинации десяти понятий, как 26 к 1013, или как 1 к 39.

Я отнюдь не собираюсь определять масштабы разума человеческого с помощью этого сугубо материального исчисления; я только хотел показать общие принципы всего, что способно сочетаться.

Мы сказали уже, что различие разумов прямо пропорционально количеству понятий и легкости их сочетаний. Мы можем поэтому вообразить себе некую шкалу всех этих столь различных умов. Допустим, что шкалу эту венчает собою дон Исаак Ньютон, разум которого соответствовал бы ста миллионам понятий, внизу же расположился бы альпийский поселанин, разум коего соответствует ста тысячам понятий. Между этими двумя числами мы можем поместить бесконечное количество средних пропорциональных, которые будут означать собою умы, превосходящие ум поселанина, однако не достигающие высоты, на которой обретается гений дона Ньютона.

На этой шкале находится также и мой разум и ваш разум, сударыня. Свойствами умов, находящихся на верху шкалы, будут: прибавление новых открытий к открытиям Ньютона, способность понимать их, постижение определенной их части и владение умением сочетать.

Таким же образом мы можем вообразить шкалу, идущую вниз; шкалу, которая начиналась бы с поселанина, обозначенного ста тысячами понятий, и нисходила бы к умам, обозначенным шестнадцатью, одиннадцатью, пятью — и завершалась бы существами, имеющими всего четыре понятия и одиннадцать комбинаций, затем три понятия и четыре комбинации.

Дети, имеющие четыре понятия и одиннадцать комбинаций, не умеют еще понимать отвлеченности; однако между этим числом и ста тысячами расположится разум, составленный из известного числа понятий с такими комбинациями, следствием которых будут понятия отвлеченные. До этого сложного разума животные никогда не доходят, не доходят также и дети, глухие и слепые от рождения. Эти — из-за отсутствия впечатлений, животные же — из-за отсутствия комбинаций.

Простейшим отвлеченным понятием является то, которое относится к числам. Оно заключается в отделении от предметов их числовых свойств. Ребенок, прежде чем он усвоит себе это простейшее отвлеченное понятие, не умеет абстрагировать, он может только отнимать посредством анализа свойств, что, впрочем, тоже в известном смысле является абстрагированием. К первому отвлеченному понятию ребенок приходит постепенно, а последующие отвлеченные понятия создает себе сам по мере того, как получает новые понятия и учится их сочетать.

И поэтому шкала уровней умственных способностей, от самой низшей и до самой высшей степени, состоит из ступеней, качественно тождествен-

ных. Ее очередные ступени создает возрастающее число понятий и, согласно правилам, им соответствует возрастающее количество комбинаций. Но это — везде и всегда — одни и те же элементы.

Отсюда следует, что умственные способности существ, принадлежащих к разным видам, можно считать, по сути, качественно тождественными, совершенно так же, как наиболее запутанное вычисление есть не что иное, как последовательность сложений и вычитаний, или же действий, качественно тождественных. Точно так же, любая математическая задача или проблема, если в ней нет пробелов, по сути дела является цепью абстракций, начиная с простейших и кончая высочайшими и сложнейшими.

Веласкес добавил еще несколько подобных сопоставлений, которые Ревекка, казалось, слушала с удовольствием, так что они разошлись, явно довольные друг другом.

День сороковой

Проснулся я рано и вышел из шатра, чтобы подышать свежим утренним воздухом. Веласкес и Ревекка вышли для того же.

Мы направили наши шаги к дороге, чтобы убедиться, не проезжают ли по ней какие-нибудь путешественники. Придя к ущелью, вьющемся между двумя утесами, мы решили присесть.

Вскоре мы заметили караван, который приближался к ущелью и тянулся футов на пятьдесят ниже скал, на которых мы находились. Чем более путешественники приближались к нам, тем большее любопытство они в нас возбуждали. Четыре индейца открывали шествие. Всю их одежду составляли длинные рубашки, обшитые кружевами. Соломенные шляпы с султанами из перьев покрывали их головы. Все четверо были вооружены длинными пищалями. За ними следовало стадо вигоней; на каждом из них сидела обезьяна. Затем на великолепных конях следовала свита негров, превосходно вооруженных. За ними ехало двое пожилых мужчин на роскошных андалузских скакунах. Оба старика были закутаны в плащи голубого бархата, на которых вышиты были кресты ордена Калатравы¹. Вслед за ними восемь туземцев с Моллукских островов несли китайский паланкин, в котором сидела молодая женщина в богатом испанском платье. Юноша на резвом скакуне грациозно гарцевал у дверей ее паланкина.

Затем мы увидели еще одну особу — лежащую и даже в обмороке: ее несли в лектике, рядом с ней ехал священник на муле, кропил ее лицо святой водой и, как нам показалось, изгонял из нее бесов. Замыкала шествие длинная процессия людей всяческих оттенков кожи, начиная с эбенового и до оливкового, ибо совершенно белого мы не заметили вовсе.

Пока караван следовал мимо нас, мы не подумали о том, чтобы узнать, кто эти люди; однако, как только последний из них прошел, Ревекка сказала:

— В самом деле, стоило бы разузнать, кто они такие.

Едва она произнесла эти слова, я заметил какого-то человека из каравана, который оказался позади всех. Я решил сойти со скалы и побегал за этим увальнем. Тот пал передо мной на колени и, дрожа от страха, завопил:

— Сеньор разбойник, пощади дворянина, который, хотя и родился в краю золотых копей, не имеет за душой ни гроша!

Я возразил ему на это, что я отнюдь не разбойник и что только хочу узнать, кто те знатные особы, которые только что проследовали.

— Если только об этом речь, — сказал американец, вставая, — я охотно удовлетворю твое любопытство. Давай поднимемся вот на этот высокий утес; с него мы сможем обозреть весь караван. Впереди ты ви-

дишь, сеньор, людей в странных одеяниях, которые открывают шествие. Это горцы из Куско и Кито, сопровождающие этих прекрасных вигоней, которых господин мой намерен принести в дар всепресветлейшему государю Испании и Индии.

Эти негры—невольники моего господина, или, вернее, были ими, ибо испанская земля на терпит ни рабства, ни ереси, и с того самого момента, как эти черномазые ступили на сию священную землю, они так же свободны, как ты и я.

Господин преклонных лет, которого ты, сеньор, видишь справа, это граф де Пенья Велес, племянник прославленного вице-короля той же фамилии и гранд первого класса. А другой старик—маркиз Торрес Ровельяс, сын маркиза Торрес и супруг последней наследницы семейства Ровельяс. Оба эти господина жили всегда в теснейшей дружбе, которую еще более укрепит женитьба юного Пенья Велес на единственной дочери маркиза Торрес Ровельяс.

Ты видишь отсюда эту восхитительную пару. Юноша-жених оседлал роскошного скакуна; невеста же возлежит в паланкине, который король Борнео много лет назад подарил покойному вице-королю де Пенья Велес.

Что же касается девушки в лектике, над которой священник читает молитвы, изгоняющие бесов, то я, так же, как и ты, сеньор, не знаю о ней ничего. Вчера утром из любопытства я подошел к какой-то виселице, стоящей при дороге. Я нашел там эту юную девушку, лежащую между двумя висельниками, и позвал всех наших путешественников, желая показать им эту диковину. Граф, мой господин, видя, что юная девица еще дышит, приказал отнести ее к месту нашего ночлега; он решил даже задержаться там еще на один день, чтобы можно было лучше ухаживать за болящей. И в самом деле, незнакомка заслуживает этих забот, ибо она необыкновенно красива. Сегодня решили уложить ее в лектику, но бедняжка ежеминутно теряет силы и впадает в беспамятство.

Придворный, который следует за лектикой,—дон Альвар Масса Гордо, первый кухмистер, а скорее дворецкий графа. Рядом с ним шествуют пирожник Лемада и кондитер Лечо.

— Спасибо тебе, сеньор, — сказал я, — ты наговорил мне гораздо больше, чем я хотел узнать.

— А засим, — прибавил он, — тот, который замыкает шествие и имеет честь говорить с тобой, есть не кто иной, как дон Гонзальв де Иерро Сангре, перуанский дворянин, ведущий свою родословную от прославленных Писарро² и незабвенных Альмагро³ и достойный наследник их мужества.

Я поблагодарил именитого перуанца и присоединился к нашему обществу, которому и пересказал все, что узнал. Мы вернулись в табор и повели цыганскому вожаку, что встретили его маленького Лонсето и дочь той самой прекрасной Эльвиры, место которой при вице-короле он

некогда чуть было не занял. Цыган ответил нам, что, насколько ему известно, они с давних пор уже намеревались покинуть Америку; в прошлом месяце они высадились в Кадисе, выехали оттуда на прошлой неделе и провели две ночи на берегу Гвадалквивира, неподалеку от виселицы братьев Зото, где нашли юную девицу, лежащую между двумя висельниками. Затем он прибавил:

— Мне кажется, что эта юная девица не имеет ни малейшего отношения к Гомелесам; я, во всяком случае, ее совершенно не знаю.

— Может ли быть, — воскликнул я, изумленный, — что эта девица не является орудием Гомелесов, и, однако, ее нашли под виселицей? Неужели же эти выходки духов тьмы могут быть истинными?

— Кто знает, быть может, ты не ошибаешься, — ответил цыган.

— Следовало бы непременно, — сказала Ревекка, — на несколько дней задержать здесь этих путешественников.

— Я уже думал об этом, — ответил цыган, — и еще этой же ночью прикажу похитить у них половину их вигоней.



День сорок первый

Такой способ задержать путешественников показался мне несколько странным; я хотел даже изложить вожаку некоторые мои соображения по этому поводу; но цыган на заре велел сниматься и по тону, каким он отдавал приказания, я почувствовал, что вмешательство мое окажется безрезультатным.

На сей раз мы продвинулись всего лишь на несколько стадиев и остановились в месте, где, должно быть, некогда произошло землетрясение, ибо нашим глазам предстала огромная скала, расколота почти надвое. Мы пообедали, после чего все разошлись по своим палаткам.

Под вечер я отправился к вожаку, так как услышал необычайный шум, доносящийся из его шатра. Я застал там двух американцев и высокомерного потомка Писарро, который с поразительной назойливостью требовал вернуть ему вигоней. Вожак слушал его терпеливо, и покорность эта вселила отвагу в душу сеньора де Иерро Сангре, так что он завопил еще громче, называя цыгана вором, негодяем, разбойником и тому подобными эпитетами. Тогда вожак пронзительно свистнул, и шатер постепенно начал наполняться вооруженными цыганами. По мере того как их становилось все больше, сеньор де Иерро Сангре все больше сбавлял тон, и, наконец, стал лепетать таким дрожащим голосом, что едва можно было расслышать, что он говорит. Вожак, видя, что он утихомирился, дружески подал ему руку и молвил:

— Прости, отважный перуанец, с виду все как будто свидетельствует против меня, и мне понятен твой справедливый гнев, но пойди, прошу тебя, к маркизу Торрес Ровельяс и спроси его, не может ли он припомнить некую госпожу Даланосу, племянник которой, побуждаемый одною только учтивостью, готов был стать вице-королевой Мексики вместо донны Ровельяс. Если он не забыл об этом, проси его, чтобы он сообразовал оказать нам честь своим посещением.

Дон Гонзальв де Иерро Сангре, придя в восторг от того, что история, которая начала его сильно тревожить, обрела такой счастливый конец, поклялся точно выполнить данное ему поручение. Когда он ушел, цыган сказал мне:

— В былые времена маркиз Торрес Ровельяс имел особую склонность к романтическому и необыкновенному, поэтому следует принять его в таком месте, которое могло бы ему прийти по душе.

Мы вошли в расселину скалы, затененную с обеих сторон густыми зарослями, и меня внезапно поразило зрелище природы, совершенно отличное от тех, которые я видывал доселе. Острые скалы, чередующиеся с лужайками, на которых рукой человека без малейшей симметрии рассажены

были цветущие кусты, окружали озеро, вода в котором, хотя и темно-зеленая, была прозрачна до самого дна. Там, где скалы подступали к самой воде, узкие тропинки, выбитые в камнях, вели с одной лужайки на другую. Кое-где вода втекала в пещеры или гроты, подобные тем, какие украшали остров нимфы Калипсо¹. Это были очаровательные убежища, зной никогда туда не проникал, а освежающее купанье, казалось, призывало идущего мимо. Глубокое молчание свидетельствовало о том, что с незапамятных времен никто не бывал в этих местах.

— Вот какова, — молвил вожак, — провинция моего маленького государства, где я провел несколько лет жизни если и не самых счастливых, то, по крайней мере, наименее бурных. Но вскоре, должно быть, придут оба американца; посмотрим, нет ли какого-нибудь пристанища, где бы мы могли их ожидать.

После этих слов мы все вошли в одну из прекраснейших пещер, где к нам присоединились Ревекка, ее брат и Веласкес. Вскоре мы увидели приближающихся к нам обоих стариков.

— Может ли быть, — воскликнул один из них, — чтобы я после стольких лет вновь встретил человека, который в годы юности оказал мне столь важную услугу? Я часто спрашивал о тебе, сообщал тебе даже о себе тогда, когда ты находился еще при кавалере Толедо; но с тех пор...

— Да, — прервал старый вожак, — с тех пор труднее стало меня отыскать; однако сегодня, когда мы вновь вместе, я надеюсь, что ты окажешь мне, сеньор, честь, проведя несколько дней в этих краях. Полагаю, что после тягот столь изнурительного странствия отдых не будет лишним.

— Это и в самом деле — волшебный край, — сказал маркиз.

— Во всяком случае, таким его считают, — ответил цыган. — Во времена арабского владычества это место называли Ифрит-хамами, или Дьявольская Баня, а нынче окрестные места носят название Ла Фрита. Жители Сьерры-Морены страшатся приближаться к ним и по вечерам рассказывают друг другу о необыкновенных вещах, которые тут происходят. Но я не намерен выводить их из заблуждения и поэтому попросил, чтобы большая часть вашей свиты осталась за пределами долины, где я разбил свой лагерь.

— Дорогой друг, — ответил маркиз, — позволь только мне сделать исключение из этого закона для моей дочери и моего будущего зятя.

Вместо ответа вожак отвесил глубокий поклон и послал своих людей, чтобы они проводили к нам семью и нескольких слуг маркиза.

Пока цыган водил своих гостей по долине, Веласкес поднял камушек, присмотрелся к нему внимательно и сказал:

— Нет сомнения, что на любом из наших стекольных заводов можно было бы расплавить этот камушек на обычном огне; не потребуются добавлять к нему никаких иных ингредиентов. Здесь мы находимся в кратере потухшего вулкана. Он имеет форму опрокинутого конуса, и если бы

нам была известна длина стены, то можно было бы определить его глубину и подсчитать силу, потребовавшуюся для того, чтобы создать этот кратер. Об этом стоит еще поразмыслить.

Веласкес на минуту задумался, достал грифельную доску, начал что-то на ней писать, а затем прибавил:

— Мой отец создал чрезвычайно верную теорию о происхождении вулканов. По его мнению, мощь взрыва, возникающая в очаге вулкана, гораздо больше тех сил, которые мы приписываем то водяному пару, то пороху, и сделал отсюда вывод, что люди откроют когда-нибудь жидкости, действие которых истолкует им большинство явлений природы.

— Ты полагаешь поэтому, герцог, — сказала Ревекка, — что это озеро вулканического происхождения?

— Именно так, — ответил Веласкес, — род камня и форма озера служат этому достаточным доказательством. Судя по кажущейся величине предметов, которые мы видим на противоположном берегу, диаметр озера составляет около трехсот сажений; а так как угол наклона стенки конуса составляет примерно семьдесят градусов, то мы можем предположить, что очаг вулкана находился на глубине 413 сажений. Из этого следует, что вулкан изверг девять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи пятьдесят пять квадратных сажений материи. Я сказал вам уже, что силы природы, известные нам до сих пор, в каком бы количестве они ни были собраны, не в состоянии вызвать подобные последствия.

Ревекка собиралась уже что-то ответить на сию аргументацию, но тут вошел маркиз со своим семейством; так как разговор этот не был бы одинаково занимателен для всех, то вожак, желая положить предел математическим разглагольствованиям Веласкеса, обратился к своему гостю:

— Когда я знал тебя, сеньор, душу твою переполняли нежные чувства, и ты был прекрасен, как Амур. Союз твой с Эльвирой должен был стать чередой несказанных наслаждений. На жизненном пути ты срывал розы, не касаясь шипов.

— Не совсем так, — возразил маркиз. — Правда, нежные чувства заняли, быть может, слишком много места в моей жизни, но так как я не пренебрег ничем из того, что является долгом порядочного человека, то смело могу признаться в этой моей слабости. Мы сейчас находимся в месте, весьма благоприятствующем романтическим повествованиям, и, если хотите, я поведаю вам историю моей жизни.

Все общество с удовольствием приняло предложение маркиза, который начал такими словами:



История маркиза Торрес Ровельяс

Когда тебя отдали в коллегию театинцев, мы жили, как тебе известно, по соседству с твоей теткой Даланосой. Матушка моя часто ходила навещать Эльвиру, но никогда не брала меня с собой. Эльвира вступила в монастырь, делая вид, что хочет стать монахиней, и ей не подобало принимать визиты пылкого юноши. Мы терзались всеми муками разлуки, какие смягчали как можно более частыми письмами. Относила наши послания обычно моя матушка, хотя вначале всегда отказывалась делать это, придерживаясь мнения, что не так легко получить позволение на брак из Рима и что только после получения подобного позволения мы приобрели бы право переписываться. Однако, невзирая на все эти сомнения, она не перестала носить письма и доставлять мне ответы. Что же касается наследства Эльвиры, то никто не смел прикасаться к нему, ибо с момента ее пострижения это состояние должно было перейти к боковой линии семейства Ровельяс.

Тетка твоя говорила моей матери о своем дяде-театинце как о просвещенном и рассудительном человеке, который мог бы дать ей совет по поводу получения дозволения на брак. Матушка моя любезно поблагодарила твою тетку и написала отцу Сантесу, который нашел дело это чрезвычайно важным и вместо ответа прибыл в Бургос сам вместе с неким советником нунциатуры.

Этот последний принял вымышленную фамилию, считаясь со всеобщим желанием и необходимостью провести это дело втайне. Было решено, что Эльвира в течение полугода останется послушницей, после чего она покажет, что у нее прошло желание стать монахиней, и будет только жить в монастыре как особа высокого звания, с надлежащей свитой, то есть с женщинами, вместе с ней заключенными в обители; более того, она будет иметь отдельный дом вне монастыря, обставленный так, как если бы она в нем проживала. Пока в этом доме поселилась моя матушка и несколько правоведов, занимающихся уточнением подробностей опеки. Я должен был вместе с наставником отправиться в Рим, советник же нунциатуры вскоре собирался выехать вслед за нами. Это последнее намерение, однако, не было осуществлено, ибо меня признали слишком юным,

чтобы я посмел просить о дозволении на брак, и прошло два года, прежде чем я покинул Бургос.

В течение этих двух лет я каждый день виделся с Эльвирой в монастырской комнате для бесед, остальное же время посвящал писанию писем к ней или чтению романов, из коих, по большей части, черпал мысли для подкрепления моих любовных излияний. Эльвира читала те же самые книги и отвечала мне в том же духе. Вообще на всю эту переписку мы истратили не слишком много собственных мыслей, но зато чувства наши были истинными и неподдельными, и во всяком случае мы испытывали искреннейшее взаимное влечение. Решетка, отделявшая нас друг от друга, еще увеличивала нашу любовь; кровь кипела в наших жилах, согретая всем пламенем юности, и смятение наших чувств еще усугубляло сумятицу, которая и без того уже царилла в наших головах.

Настало время отъезда. Минута прощания была ужасна. Наша скорбь, незаученная и непритворная, и в самом деле граничила с безумием. Эльвира в особенности была в ужасном состоянии, опасались за ее здоровье. Мои страдания были не меньшими, но я переносил их храбрее, тем более, что развлеченная странствия их сильно смягчала. Многим я также был обязан моему ментору, который совсем не напоминал педанта, извлеченного из школьной пыли, но, напротив, служил прежде в войсках и некоторое время даже провел при дворе короля. Его звали Диего Сантес, и он был близким родственником театинца, носившего ту же фамилию. Человек этот, столь же быстрый, как и превосходно знающий светские обычаи, старался тысячами способов направить мою душу на стезю большей открытости, но склонность к иллюзиям уже слишком глубоко укоренилась во мне.

Мы прибыли в Рим и тотчас же отправились к монсиньору Рикарди, аудитору роты²; человек этот пользовался значительным влиянием; к нему чрезвычайно благоволили отцы-иезуиты, которые в те времена задавали тон на берегах Тибра. Монсиньор Рикарди, истинный князь церкви, мужчина гордого и надменного вида, с большим бриллиантовым крестом на груди, принял нас весьма любезно и сказал, что знает причину, по которой мы приехали в Рим; а затем прибавил, что дело наше требует тайны и что мы не должны слишком много бывать на людях.

— Однако, — присовокупил он, — вы поступите правильно, если часто будете приходить ко мне. Интерес, который я буду к вам проявлять, обратит на вас всеобщее внимание, а то, что вы будете избегать светских развлечений, покажет всем вашу скромность, что поможет вам предстать в благоприятном свете. Я же тем временем выясню отношение Святой Коллегии³ к вашему делу.

Мы последовали совету монсиньора Рикарди. С утра я осматривал римские древности, вечера же проводил на вилле, принадлежавшей почтенному Рикарди; вилла эта находилась неподалеку от палаццо

Барберини⁴. Принимала гостей маркиза Падули. Это была молодая вдова, которая жила у Рикарди, ибо не имела более близких родственников. Так, по крайней мере, говорили люди, истинной же правды никто не знал, так как Рикарди был родом из Генуи, а пресловутый маркиз Падули безвременно скончался, находясь на дипломатической службе за пределами Италии.

Молодая вдова обладала всеми качествами, какие необходимы для того, чтобы сделать пребывание в ее доме как можно более приятным для гостей. С обаятельной, необыкновенно располагающей внешностью она сочетала учтивость по отношению ко всем, учтивость, сдержанную и преисполненную достоинства. Однако мне показалось, что она поглядывает на меня с большей приязнью, чем на других гостей, и проявляет ко мне известную склонность, которая выдавала себя постоянно, но в мелочах, совершенно не заметных для остального общества. Я постиг эти тайные чувства, описанием которых переполнены все романы, и жалел маркизу Падули за то, что предметом ее пылкой страсти стал человек, который никоим образом не мог ответить ей взаимностью. Несмотря на это, я охотно вступал в разговор с маркизой и беседовал с ней о любимом моем предмете, то есть о любви, о разных способах любить, о различии между чувством и страстью, между постоянством и верностью. Когда я разрешал эти важные проблемы с хорошенькой итальянкой, мне и в голову не приходило, чтобы я мог каким бы то ни было образом нарушить верность Эльвире. Письма, посылаемые мною в Бургос, по-прежнему отличались все тем же пылом.

Однажды я отправился на виллу без моего ментора. Не застав Рикарди, я пошел в сад и забрел в грот, заросший густыми кустами жасмина и акации. Я застал там маркизу, погруженную в глубокое раздумье, из коего ее вывел шум, который я произвел, входя. Живое удивление, какое я прочел на ее лице, дало мне понять, что я был единственным предметом ее мечтаний. В глазах ее застыл испуг, казалось, она ищет спасения от опасности. Однако она пришла в себя, усадила меня рядом с собой и начала разговор обычным в Италии вопросом: *Lei a girato questa mattina?* — Гуляли ли вы нынче утром?

Я отвечал, что был на Корсо, где видел множество прекрасных женщин, красивейшей среди которых была маркиза Липари.

— Значит, сеньор, ты не знаешь более красивой? — спросила моя собеседница.

— Прости, сударыня, — ответил я, — я знаю в Испании одну молодую особу, гораздо более прекрасную.

Ответ этот был чем-то неприятен маркизе, ибо она вновь погрузилась в раздумье, опустила прекрасные свои глаза и с грустью стала глядеть в землю. Чтобы отвлечь ее, я завел обычный разговор о любовных чувствах; тогда она подняла на меня изнемогающий взор и сказала:

— Испытал ли ты когда-нибудь те чувства, которые ты так велико-
лепно описываешь?

— Без сомнения, — воскликнул я, — и даже во сто крат более живые,
во сто крат более нежные — и это именно к особе, о необыкновенной кра-
соте которой я уже говорил вам.

Едва я досказал эти слова, как лицо графини покрылось смертельной
бледностью; она упала, как будто без чувств. Никогда прежде не случал-
ось мне видеть женщин в подобном состоянии, и я сам не знал, как
быть; к счастью, я заметил двух служанок на противоположном конце
сада, подбежал к ним и послал их в грот, чтобы они спасли свою хозяйку.

Затем я вышел из сада, размышляя о том, что со мной произошло,
более всего дивясь могуществу любви и тому, что одна-единственная
искорка, запав в сердце, способна произвести в нем неописуемые опусто-
шения. Мне было жаль маркизу, я упрекал себя, что стал причиной ее
страданий, однако я не представлял себе, чтобы я ради этой итальянки
или ради другой женщины на свете мог бы позабыть Эльвиру.

На следующий день я отправился на виллу, но меня не приняли. Гос-
пожа Падули очень страдала; а в Риме только и было разговоров, что
о ее болезни, опасались даже за ее жизнь, я же вновь терзался мыслью,
что стал невольной причиной ее несчастья.

На пятый день после этого происшествия ко мне вошла молодая де-
вушка, закутанная в мантилью, которая закрывала все ее лицо. Незна-
комка сказала мне таинственным тоном:

— Сеньор чужестранец, некая умирающая дама непременно жаждет
тебя видеть; следуй за мной.

Я догадался, что речь идет о госпоже Падули, но не посмел проти-
виться желаниям умирающей. Экипаж дождался меня в конце улицы,
мы сели в него и приехали на виллу.

Через потайную калитку мы проникли в сад, вступили в какую-то тем-
ную аллею, а оттуда сперва длинным темным коридором, а потом через
анфиладу столь же темных комнат дошли до спальни маркизы. Госпожа
Падули лежала в постели, она протянула мне белоснежную руку, взгля-
нула на меня глазами, полными слез, и трепещущим голосом произнесла
несколько слов, которых я сперва даже не мог расслышать. Я взглянул
на нее. До чего же к лицу ей была эта бледность! Тайная мука искажала
ее черты; на устах, однако, блуждала ангельская улыбка. Та самая жен-
щина, которая несколько дней тому назад казалась такой здоровой и ве-
селой, теперь была на краю могилы и именно я был тем негодяем, кото-
рый скосил этот цветок в самом его расцвете; я должен был низвергнуть
в пропасть такое великое множество прелестей! При этой мысли ледяные
тиски сдавили мне сердце, неизъяснимая скорбь охватила меня; я подумал,
что, быть может, смогу несколькими словами спасти ее жизнь, а по-
сему упал перед ней на колени и прижал ее руку к моим устам.

Пальцы ее пылали; я полагал, что от лихорадки. Поднял глаза на больную и узрел, что она лежит полунагая. До этого самого мига я никогда не видел, чтобы у женщины было открыто что-то, кроме лица и рук. Взор мой помутился, и колени задрожали. Я изменил Эльвире, сам не ведая, как до этого дошло.

— Боже милостивый, — воскликнула итальянка, — ты сотворил чудо! Тот, кого я люблю, возвращает мне жизнь.

Исторгнутый из состояния полнейшей невинности, я погрузился в омут самых утонченных наслаждений. Я надеялся, что смогу вернуть маркизе здоровье, и надежда эта вселяла в меня счастье; я уже и сам не знаю, что я нес; я гордился тем, что чувства мои столь всемогущи, и эта ликующая гордость овладела всем моим существом; одно признание влекло за собой другие; я отвечал не спрошенный и спрашивал, не ожидая ответа. Маркиза явно обретала утраченные было силы. Так пролетело четыре часа, пока служанка не пришла дать нам знать, что пора расставаться.

Я брел к экипажу с известным трудом, принужденный опираться на руку девушки, которая бросала на меня взоры столь же пламенные, как и ее госпожа. Я был убежден, что добрая девушка таким образом выражает мне свою признательность за исцеление ее госпожи, и, осчастливленный моим успехом, обнимал ее от всего сердца. И в самом деле, признательность юной девицы непременно должна была быть безграничной, ибо она наградила меня столь же сердечным объятием, говоря:

— Придет еще и мой черед.

Однако, едва я сел в экипаж, как мысль, что я изменяю Эльвире, начала меня несказанно мучить.

— Эльвира, — возопил я, — дорогая моя Эльвира, я изменил тебе! Я недостойн тебя! . . . Да будет проклят миг, когда я дал уговорить себя вернуть здоровье маркизе!

Так высказал я все, что обычно говорится в подобных случаях, и явился домой с твердым решением не возвращаться больше к маркизе.

Когда гость наш досказывал эти слова, цыгане пришли к вожаку за приказаниями, и вожак попросил своего давнего друга, чтобы он благоволил отложить на следующий день дальнейшее продолжение своего рассказа, и ушел.

День сорок второй

На следующий день мы все собрались в той же самой пещере, и маркиз, видя, что мы с нетерпением ожидаем продолжения рассказа о его приключениях, начал так:

*Продолжение истории
маркиза Торрес Ровельяс*



Я уже говорил вам об угрызениях совести, какими я терзался, вспоминая, что изменил Эльвире. Я не сомневался, что служанка маркизы явится на следующий день, чтобы вновь проводить меня к постели своей госпожи, но поклялся себе, что приму ее как можно холоднее. Однако, к великому моему удивлению, Сильвия ни на завтра, ни в последующие дни не показалась. Наконец, неделю спустя, она пришла, раздетая гораздо больше, чем этого требовала ее привлекательная наружность. Я давно уже заметил, что служанка красивее госпожи.

— Сильвия, — сказал я, — уходи от меня. Ведь именно из-за тебя я изменил очаровательной женщине, в которую влюблен. Я думал, что спешу к умирающей, в то время, как ты привела меня к женщине, снедаемой жадной наслаждений. Хотя сердце мое невинно, я не могу сказать того же о себе самом.

— Мой юный чужестранец, — возразила Сильвия, — успокойся, ты невинен, в этом смысле можешь быть совершенно спокоен, но не думай, что я хочу проводить тебя к своей госпоже, которая покоится сейчас в объятиях монсиньора Рикарди.

— В объятиях своего дяди? — воскликнул я.

— Ничего подобного, Рикарди вовсе ей не дядя; иди за мной, я все тебе объясню.

Охваченный любопытством, я последовал за Сильвией. Мы сели в экипаж, приехали на виллу, вошли в сад, после чего прекрасная посланница проводила меня к себе, в крохотную туалетную комнатку, украшен-

ную баночками с помадой, гребнями и тому подобными принадлежностями. В глубине комнаты стояла белоснежная кровать, из-под которой выглядывала пара необычайно изящных туфельек. Сильвия сняла перчатки, мантилью и косынку, которой прикрывала грудь.

— Перестань, — воскликнул я, точно таким же образом соблазнила меня твоя госпожа!

— Госпожа моя, — возразила Сильвия, — прибегает к решительным средствам, без коих я пока могу обойтись.

Говоря это, она отворила шкафчик, достала фрукты, печенье, бутылку вина, поставила все это на стол, который придвинула к кровати, и сказала:

— Прости, прекрасный испанец, что я не могу предложить тебе стул, но сегодня утром у меня забрали последний; комнаты слуг обычно не очень богато обставлены. Поэтому садись рядом со мной и прими это скромное угощение, от всего сердца приглашаю тебя!

Я не мог ответить отказом и уселся поэтому рядом с любезной Сильвией, начал есть фрукты и пить вино, после чего попросил ее, чтобы она поведала мне историю своей госпожи, что она и сделала в таких словах:



*История монсеньора
Рикарди и Лауры Черелли,
именуемой маркизой Падули*

Рикарди, младший сын знатного генуэзского семейства, поддерживаемый своим дядей с материнской стороны, который был генералом иезуитов¹, рано вступил в орден и вскоре сделался прелатом. Привлекательная внешность и фиолетовые чулки² производили тогда особенное впечатление на всех римских женщин. Рикарди не преминул воспользоваться своими обворожительными качествами и, следуя примеру своих братьев по ордену, настолько далеко зашел в своих мирских утехах, что на тридцатом году жизни они ему успели надоесть и он вознамерился заняться более серьезными делами.

— Он, по-видимому, вовсе не думал отречься от женщин, но стал стремиться к тому, чтобы вступить в более продолжительные и более ров-

ные отношения. Он не знал, однако, с чего начать. В течение некоторого времени он был *cavaliere servente* * прекраснейших римлянок, но прекрасные дамы начали покидать его ради более юных прелатов; наконец ему надоели эти вечные прислуживания, вынуждающие его непрестанно юлить, крутиться и бегать. Содержанки также его не устраивали; они не принимают участие в жизни света, поэтому решительно неизвестно, о чем с ними говорить.

Измученный этими колебаниями, Рикарди возымел намерение, которое, впрочем, уже и до него и после него приходило в голову многим. Он решил подыскать маленькую девочку и воспитать ее на свой лад, чтобы она потом могла его очастливить. И в самом деле, какое несравненное наслаждение — взирать на юное существо, прелести души которого развиваются одновременно с прелестями тела. Что за счастье самому показывать ей свет, общество, восторгаться ее замечаниями, следить за первыми проблесками чувства, внушить ей свои убеждения — одним словом, создать из нее существо, всецело тебе преданное. Но как затем быть с таким очаровательным созданием? Многие женятся, чтобы избавиться от хлопот. Рикарди не мог этого сделать.

Преисполненный распутных намерений, прелат наш не пренебрегал, однако, своей карьерой. Один из его родственников, аудитор церковного суда, надеялся получить кардинальскую шляпу и ему было обещано, что он сможет тогда уступить место, которое он доселе занимал, своему племяннику. Следовало, однако, подождать года четыре, а может быть, и все пять. Поэтому Рикарди рассудил, что сможет тем временем навестить свой родной город и даже вообще попутешествовать.

В один прекрасный день, когда Рикарди проходил по улицам Генуи, к нему пристала юная, тринадцатилетняя девушка с корзинкой апельсин и с особенным очарованием просила его, чтобы он купил у нее несколько штук. Рикарди развратной дланью откинул растрепанные волосы, спадающие на личико девочки, и обнаружил черты, обещающие в будущем красоту необыкновенную. Он спросил у маленькой торговки, кто ее родители. Она ответила, что у нее есть только мать, очень бедная, которую зовут Бастиана Черелли. Рикарди велел ей проводить его к матери, назвал вдове свое имя и сказал, что у него есть дальняя родственница, чрезвычайно милосердная, которая из-за своей прихоти занимается воспитанием юных девиц и наделяет их приданым; после чего прибавил, что он постарается определить к ней маленькую Лауру.

Матушка Бастиана усмехнулась и ответила:

— Я не знакома с родственницей монсиньора, которая, безусловно, должна быть почтенной дамой, однако я слышала уже о твоем милосердии к юным девицам и охотно доверю тебе мою дочь. Я не знаю, воспи-

* Обожателем (итал.).

таешь ли ты ее в правилах добродетели, но, как бы то ни было, ты вырвешь ее из нищеты, которая нестерпимее всех порочных проступков.

Рикарди попросил ее поставить свои условия.

— Я не продаю своей дочери, — ответила она, — но приму любой подарок, который ты, монсиньор, захочешь мне предложить. Нужно ведь как-то жить, а нередко от голоду мне не хватает сил, чтобы трудиться.

В тот же день Рикарди отдал Лауру на воспитание одному из своих клиентов. Ей сразу намазали руки миндальным кремом, завили волосы локонами, на шею надели жемчужное ожерелье, на плечи накинули кружева. Девочка, взглянув в зеркало, не могла себя узнать, но с первого же дня догадалась, какое будущее ожидает ее, и старалась применить к своему положению.

А между тем сверстницы и сверстники Лауры, не зная, что с ней произошло, сильно о ней тревожились. Старательнее всех в поисках ее был Чекко Босконе, четырнадцатилетний мальчуган, сын грузчика, необычайно сильный для своих лет и безумно влюбленный в маленькую торговку апельсинами, которую ему часто случалось видеть то на улице, то у нас дома, ибо он был нашим дальним родственником. Я говорю нашим, потому что моя фамилия тоже Черелли, и я имею честь приходиться моей госпоже кузиной со стороны отца.

Мы тем больше тревожились о нашей кузине, что при нас о ней никогда не только не упоминали, но даже запретили произносить ее имя. Я занималась обычно шитьем грубого белья, Чекко же бегал на посылках в гавани, где в будущем должен был стать носильщиком. Окончив шитье, я ходила к нему на паперть одной из церквей и там горькими слезами оплакивала исчезнувшую Лауру. Однажды Чекко сказал:

— Мне взбрела в голову превосходная мысль. Последние дни шел проливной дождь и синьора Черелли совсем не выходила из дому; однако я убежден, что как только прояснится, она не утерпит и, если только Лаура находится в Генуе, пойдет ее проведать. Тогда я увяжусь вслед за ней, на почтительном расстоянии, конечно; вот так мы и узнаем, где скрывается Лаура.

Я одобрила это намерение. На следующий день тучи рассеялись, и я пошла к сеньоре Черелли. Я заметила, как она извлекала из старого шкафа еще более ветхую мантилью: недолго поговорила с синьорой и затем со всех ног побежала предупредить Чекко. Мы притаились в засаде и вскоре увидели выходящую из дому синьору Черелли. Тайком мы последовали за ней на другой конец города и, видя, что она входит в какой-то дом, снова спрятались. Спустя некоторое время синьора Черелли вышла и отправилась к себе домой. Мы входим в дом, избегаем по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, распахиваем дверь роскошной квартиры и посреди комнаты видим Лауру. Я бросаюсь ей на шею, но Чекко вырывает меня из ее объятий и припадает к ее устам. В этот миг

отворяются двери, ведущие в смежную комнату, и входит Рикарди. Я получила дюжину затрепанных, а Чекко — столько же пинков. Сбежались слуги, и в мгновение ока мы оказались на улице, побитые, изгнанные и наученные, что нам следует перестать интересоваться судьбой нашей кузины. Чекко нанялся юнгой на корабль мальтийских корсаров, и больше уже мы о нем не слышали, я же, однако, не оставила совсем желания встретиться с Лаурой, напротив, желание это во мне все более возрастало.

Я служила в разных домах и, наконец, попала к маркизу Рикарди, старшему брату прелата. Там много говорили о госпоже Падули, никто не понимал, где, собственно, прелат обнаружил эту родственницу. Все семейство долго не могло ни о чем узнать, пока, наконец, то, чего не смогли сделать господа, сделало любопытство прислуги. Мы, со своей стороны, предприняли розыски и вскоре обнаружили, что мнимая маркиза — это просто Лаура Черелли. Маркиз приказал нам хранить тайну и послал меня к своему младшему брату предупредить, чтобы тот удвоил осторожность, если не желает навлечь на себя большие неприятности.

Однако я не обещала тебе рассказывать о собственных моих приключениях, и я не должна еще пока говорить тебе о маркизе Падули, так как ты до сих пор знаешь только Лауру Черелли, отданную на воспитание к клиенту прелата Рикарди. Она недолго там оставалась; вскоре ее перевезли в маленькое местечко поблизости, где Рикарди часто ее навещал и после каждого своего пребывания там возвращался все более довольный своим творением.

Спустя два года Рикарди отправился в Лондон. Он путешествовал под вымышленным именем и выдавал себя за итальянского купца. Лаура сопровождала его, и ее принимали за его жену. Он повез ее в Париж и в другие большие города, где легче было сохранить инкогнито. Лаура с каждым днем становилась все милее и красивее, боготворила своего благодетеля, делая его счастливейшим из смертных. Так, с быстротой молнии пролетело три года. Дядя прелата Рикарди должен был получить кардинальскую шляпу и торопил племянника, требуя, чтобы тот как можно скорее вернулся в Рим. Рикарди отвез возлюбленную в свое поместье, неподалеку от Гориции. На следующий день по приезде туда он сказал ей:

— Я должен сообщить вам, сударыня, новость, как я полагаю, весьма приятную. Вы теперь — вдова маркиза Падули, который недавно скончался, находясь на службе у императора. Вот бумаги, подтверждающие мои слова. Падули был с нами в родстве. Надеюсь, что ты не отвергнешь, сударыня, моих просьб; благоволишь поехать в Рим и обрести пристанище под моим кровом.

Спустя несколько дней после этого Рикарди выехал.

Новоиспеченная маркиза, предоставленная своим собственным мыслям, начала размышлять о характере Рикарди, о своих отношениях с ним и

о том, что ей делать дальше. Спустя три месяца мнимый дядюшка вызвал ее к себе. Он был как бы весь озарен блеском своего нового сана: частица этого сияния пала и на Лауру, и отовсюду к ней стремились светские господа и дамы, спеша выразить ей свое уважение. Рикарди сообщил своему семейству, что принял к себе в дом вдову маркиза Падули, свою родственницу по женской линии.

Маркиз Рикарди никогда не слышал, чтобы Падули был женат. Поэтому он предпринял некие розыски, о которых я тебе уже говорила, и послал меня к новой маркизе, чтобы рекомендовать ей быть как можно осторожнее. Я совершила морское странствие, высадились в Чивитавеккиа и отправилась в Рим. Там я предстала перед маркизой, которая удалила слуг и бросилась в мои объятия. Мы начали вспоминать наши детские годы, мою мать, каштаны, которые мы грызли вместе; не забыли о маленьком Чекко; я рассказала, как бедный мальчик нанялся на пиратский корабль и пропал без вести. Лаура, растроганная, залилась слезами, так что я едва смогла ее успокоить. Она просила меня, чтобы я не позволила прелату себя узнать и чтобы я как можно старательнее изображала горничную. На случай, если бы меня выдал мой генуэзский выговор, мне было велено говорить, что я родом из окрестностей Генуи, а не из самого города.

У Лауры был уже готовый план действий. В течение двух недель она была необыкновенно весела и словоохотлива, но потом сделалась мрачной, задумчивой, капризной и потеряла охоту ко всему на свете. Рикарди пытался угождать ей всяческими способами, но, однако, не сумел вернуть ей прежней веселости.

— Возлюбленная моя Лаура, — сказал он ей однажды, — признайся, чего тебе тут недостает? Сравни свое нынешнее положение с тем, из которого я тебя извлек.

— Кто тебя просил меня из него извлекать? — возразила Лаура с величайшей свирепостью. — Да, мне жаль теперь моей тогдашней нищеты. Как мне быть со всеми этими великосветскими дамами? Я предпочла бы откровенные обиды их двусмысленным комплиментам. Ах, мои лохмотья! Как я теперь плачу о вас! Я не могу без слез подумать о моем черном хлебе, моих каштанах и о тебе, дорогой Чекко, ведь ты должен был взять меня в жены, как только стал бы носильщиком! С тобой я, может быть, испытала бы нужду, но никогда не испытала бы скорби и скуки; процессы завидовали бы моей доле.

— Лаура! Лаура! Что значат эти речи? — воскликнул Рикарди.

— Это голос природы, — ответила Лаура, — которая создала женщин, чтобы они становились женами и матерями, а отнюдь не племянницами распутных прелатов.

С этими словами она вышла в соседнюю комнату и заперлась там.

Рикарди был смущен; он выдавал госпожу Падули за свою племянницу и теперь трепетал при мысли, что эта неосторожная особа может открыть всю правду и испортить его виды на будущее. Притом он любил негодницу и был, к тому же, ревнив — одним словом, не знал, как вырваться из этого заколдованного круга.

На следующий день Рикарди, весь дрожа, вошел в комнату Лауры и, вопреки ожиданиям, был принят очень мило.

— Прости мне, дорогой дядюшка, — сказала она, — возлюбленный мой благодетель; я, неблагодарная, не вправе даже существовать. Я — создание твоих рук, ты изваял мою душу, я обязана тебе всем; прости странное мое поведение, которое никоим образом не шло от сердца.

Так наступило примирение. Спустя несколько дней Лаура сказала Рикарди:

— Я не могу быть с тобой счастливой. Ты слишком хозяин в этом доме, все в нем принадлежит тебе, тут я всецело твоя рабыня. Этот лорд, который нас навещает, подарил Бьянке Капуччи прекраснейшее имение во всем герцогстве Урбино. Вот что такое истинно любящий человек! Я же уверена, что если бы я тебя попросила подарить мне тот маленький баронат, в котором я провела три месяца, ты, несомненно, отказал бы мне в нем. А ведь это же завещательный отказ твоего дяди Камбиази, и ты можешь распоряжаться этим баронатом по своему усмотрению.

— Значит ты хочешь меня покинуть, — сказал Рикарди, — если так стремишься к независимости?

— Я хочу любить тебя еще больше, — возразила Лаура.

Рикарди не знал, согласиться или отказать; он любил, ревновал, страшился, как бы его авторитет не был подорван и как бы ему не угодить в зависимость от своей любовницы. Лаура читала в его душе и чуть было не довела его до крайности, но Рикарди обладал громадным влиянием в Риме, и достаточно было одного его слова, чтобы четверо сбирив схватили его племянницу и отвезли ее на длительное покаяние в какой-нибудь монастырь.

Лаура боялась такого оборота дел, и это удерживало ее; однако, чтобы настоять на своем, она представилась опасно больной. Она как раз раздумывала об этом намерении, когда ты вошел в грот.

— Как это, — воскликнул я, изумленный, — стало быть, она думала не обо мне?

— Нет, дитя мое, — сказала Сильвия, — она думала о прибыльном баронстве с двумя тысячами скудо годового дохода. Внезапно ей пришла в голову мысль — как можно быстрее представиться болящей и даже умирающей. Она овладела всеми тайнами притворства, подражая актрисам, которых повидала в Лондоне, и хотела только убедиться, удастся ли тебя обмануть. Итак, ты видишь, мой юный испанец, что ты угодил в сети, расставленные заранее, однако ты не вправе жаловаться, так же, впрочем,

как и моя госпожа, на завершение этой комедии. Я никогда не забуду, какой ты был хорошенький, когда, выйдя от Лауры, искал моей руки, чтобы на нее опереться. Я поклялась тогда, что настанет и мой черед.

Что же я могу вам еще сказать? Я выслушал Сильвию, смущенный, в единый миг утратив все свои иллюзии. Я не знал, что со мной творится. Сильвия воспользовалась моим состоянием, чтобы внести смятение в мои чувства. Это ей удалось без труда, она даже злоупотребила своим превосходством. Подконец, когда она провожала меня к экипажу, я не знал, следует ли мне терзаться новыми муками раскаяния, или же вовсе не упрекать себя ни в чем.

Когда маркиз дошел до этого места своей повести, цыган, которому пришлось разрешать важные дела, попросил его, чтобы он благоволил отложить продолжение рассказа на следующий день.



День сорок третий

Мы собрались, как обычно, и маркиз, видя, что все молча ожидают продолжения его повести, начал такими словами:

Продолжение истории маркиза Торрес Ровельяс



Я уже говорил вам, что, изменив Эльвире дважды, я после первого раза испытал болезненные угрызения совести, после второго же раза не знал, должен ли я снова упрекать себя или же вовсе перестать думать об этом. Впрочем, я могу вам ручаться, что по-прежнему любил мою кузину и писал ей столь же пламенные письма. Мой ментор, стремясь любой ценой исцелить меня от романтических чувств, позволял себе порою действия, которые несколько выходили за пределы его обязанностей. Притворяясь, что ни о чем не догадывается, он подвергал меня искушениям, которым я так и не сумел противостоять; однако любовь моя к Эльвире оставалась неизменной, и я с нетерпением дожидался мига, когда апостолическая канцелярия даст мне соизволение на вступление в брак.

Наконец, в один прекрасный день Рикарди велел призвать меня и Сантеса. У него был торжественный вид, и мы сообразили, что он собирается сообщить нам какую-то важную новость. Смягчив суровость лица кроткой улыбкой, он сказал:

— Дело ваше улажено, хотя и с немалым трудом. Правда, мы довольно легко даем такого рода соизволения обитателям некоторых католических стран, но все обстоит иначе, когда речь идет об Испании, где вера чище и принципы ее соблюдаются строже. Несмотря на это, его святейшество, принимая во внимание, что семейство Ровельяс учредило в Америке многочисленные богоугодные заведения и что заблуждение обоих детей было следствием несчастий вышеупомянутого семейства, а отнюдь не плодом развратного воспитания, его святейшество, повторяю, расторг узы кровного родства, какие вас соединяли между собой на земле. Они равно будут расторгнуты и в небесах; однако же, дабы не поощрять молодежь к впаде-

нию в подобные заблуждения, приказано вам носить на шее четки со ста зернами и ежедневно на протяжении трех лет читать молитвы. Кроме этого, вы должны воздвигнуть церковь для монахов-театинцев в Веракрус. А теперь я имею честь принести тебе, мой юный друг, так же, как и будущей маркизе, пожелания всяческих удач, благополучия и счастья.

Вы можете представить себе мое ликование. Со всех ног я побежал за бреве его святейшества, и спустя два дня после этого мы покинули Рим.

День и ночь мы скакали во весь опор и наконец остановились, добравшись до Бургоса. Я увидел Эльвиру, которая за это время стала еще прекраснее. Нам оставалось только просить двор о подтверждении разрешения на брак, но Эльвира уже вступила во владение своим состоянием, и поэтому мы не испытывали недостатка в друзьях. Мы получили вожделенное подтверждение, к коему двор присовокупил для меня титул маркиза Торрес Ровельяс. С тех пор все окружающие нас занимались исключительно платьями, нарядами, драгоценностями и тому подобными хлопотами, обычно доставляющими столько наслаждений молодой девушке, которой предстоит стать женою. Однако нежная Эльвира обращала мало внимания на эти приготовления и интересовалась только счастьем своего жениха. Наконец, наступил день нашей свадьбы. Он казался мне нестерпимо долгим, ибо обряд должен был состояться только вечером в часовне летнего дома, принадлежавшего нам, неподалеку от Бургоса.

Я прогуливался по саду, чтобы заглушить терзающее меня нетерпение, потом присел на скамью и начал размышлять о моем поведении, столь мало достойном того ангела, с которым я вскоре должен был сочетаться браком. Вспоминая все мои измены, я насчитал целую дюжину. Потом угрызения совести вновь овладели моей душой, и я, горько себя упрекая, сказал:

— Злополучный и неблагодарный, подумал ли ты о сокровище, которое тебе предназначено, о том божественном создании, которое дышит только для тебя, которое любит тебя больше самой жизни и не подарило никому даже ни слова?

Во время этих покаянных размышлений я услышал, как две горничные Эльвиры присели на скамью, приставленную к противоположной стороне шпалеры, и вступили между собой в беседу. Первые же слова сразу привлекли мое внимание.

— Ну что ж, Мануэла, — сказала одна из девушек, — разве наша госпожа не должна очень радоваться, что сможет любить на самом деле и дать истинные доказательства любви, вместо тех мелких знаков благосклонности, которыми она с такой щедростью награждала поклонников у решетки?

— Ты, конечно, имеешь в виду, — отвечала другая, — этого учителя игры на гитаре, который целовал ей украдкой руку, делая вид, что учит ее перебирать пальцами по струнам.

— Вовсе нет, — ответила первая, — я говорю о доброй дюжине любов-

ных интрижек, невинных, правда, но которыми наша госпожа забавлялась и которые, на свой лад, поощряла. Прежде всего тот маленький бакалавр, который ее учил географии, — о! он любил ее, как сумасшедший, да и она подарила ему за это прядь волос, так что на следующий день я прямо не знала, как мне ее причесывать. Потом тот красноречивый управитель, который докладывал ей о состоянии ее владения и о доходах. У этого ведь были свои приемы, он осыпал госпожу комплиментами и заставлял ее упиваться лестью. Она ему тоже подарила за это свой силуэт, сто раз протягивала ему сквозь решетку руку для поцелуя, а сколько цветов и букетов они друг другу посылали!

Я не помню сейчас продолжения этого разговора, но смею вас уверить, что и в самом деле набралась целая дюжина. Конечно, Эльвира оказывала своим поклонникам невинные знаки внимания, это были скорее ребячества, но Эльвира, такая, какой я ее себе воображал, не должна была позволить себе даже и малейшей тени неверности. Теперь я признаю, что рассуждения мои были совершенно вздорными. Эльвира с первых лет жизни говорила только о любви, мне следовало поэтому понять, что влюбленная в суесловия об этом предмете, она не только со мною одним станет рассуждать о нем. Я никогда не поверил бы в такое ее поведение, но, услышав об этом собственными ушами, ощутил себя разочарованным и погрузился в мрачные раздумья.

Тут мне дали знать, что все уже готово. Я вошел в часовню со столь изменившимся лицом, что это весьма удивило мою матушку и встревожило невесту. Сам священник смутился, не зная, должен ли он нас благословить. В конце концов он обвенчал нас, но могу вам смело признаться, что никогда столь вожделенный день не обманывал так возложенных на него надежд.

Ночью было иначе. Бог супружества озарил нас факелом своим и окутал вуалью своих юных услад. Все любовные интрижки улетучились из памяти Эльвиры, а неведомые ей доселе восторги наполнили ее сердце любовью и благодарностью. Она всецело принадлежала своему супругу.

На следующий день мы оба казались счастливыми, и разве я мог теперь, упорствуя, пребывать в прежней печали! Люди, которые прожили жизнь, знают, что среди всех ее даров нет ничего, что можно было бы сравнить со счастьем, которое дарует нам юная жена, принося на супружеское ложе столько неразгаданных тайн, столько невоплощенных мечтаний, столько сладчайших помыслов. Вся остальная жизнь — ничто в сравнении с этими днями, проведенными в чередовании свежих воспоминаний о недавних сладостных переживаниях с обольстительными картинами грядущего счастья, которые надежда рисует волшебнейшими красками.

Друзья нашего дома в течение некоторого времени предоставили нас самим себе; но когда они поняли, что мы уже в состоянии с ними разговаривать, начали пробуждать в нас жажду стяжания почестей.

Граф Ровельяс некогда надеялся получить титул гранда, и мы, по мнению наших друзей, должны были осуществить его намерение; нам следовало этого добиться не только ради нас самих, но и ради детей, которых небо должно было нам в будущем даровать. Каковы бы ни были последствия наших усилий, мы могли бы впоследствии пожалеть, что пренебрегли этим в свое время, а всегда лучше своевременно уберечь себя от возможных упреков в будущем. Мы были в возрасте, в котором люди склонны действовать, следуя советам окружающих, и посему позволили увести себя в Мадрид.

Вице-король, узнав о наших замыслах, прислал нам письмо, полное настоятельнейших рекомендаций. На первый взгляд нам все благоприятствовало, казалось, у нас были прочные виды на успех, но, увы, это были только виды, которые вскоре обернулись обольщениями придворной галантности и так никогда и не осуществились.

Надежды наши были обмануты, и это опечалило друзей нашего дома и, к несчастью, мою матушку, которая отдала бы все на свете, чтобы только увидеть своего маленького Лонсето испанским грандом. Вскоре бедная женщина захворала, недуг ее оказался затяжным, и она решила, что ей уже недолго осталось жить. Тогда, подумав прежде всего о спасении души, она решила, что ей следует каким-то образом доказать свою признательность достойным жителям городка Виллаки, которые относились к нам с такой любовью, когда мы были в беде. Матушка рада была бы что-нибудь сделать для алькада и приходского священника. У нее не было своих средств, но Эльвира охотно согласилась помочь ей ради столь благородной цели и послала подарки, еще более ценные, чем того желала моя матушка.

Старые наши друзья, узнав о счастье, которое им выпало, прибыли в Мадрид и окружили ложе своей благодетельницы. Матушка покидала нас счастливыми, богатыми и все еще любящими друг друга. Последние ее мгновения были исполнены сладости. Она мирно уснула вечным сном и еще в земной жизни удостоилась известной части наград, какие заслужила своими добродетелями и более всего — несказанной своей добротой.

Вскоре на нас посыпались несчастья. Двое сыновей, которых подарила мне Эльвира, после недолгой болезни покинули этот мир. С тех пор титул гранда перестал уже прельщать нас, мы прекратили дальнейшие хлопоты и решили отправиться в Мексику, так как состояние наших денежных дел требовало нашего присутствия там. Здоровье маркизы было значительно подорвано, и врачи полагали, что морское плаванье может вернуть ей силы. Мы отправились в путь и после десятидневного странствия, которое и в самом деле оказало весьма благотворное влияние на здоровье маркизы, высадились в Веракрус. Эльвира прибыла в Америку не только совершенно здоровая, но и более прекрасная, чем когда бы то ни было.

Мы застали в Веракрус одного из главных офицеров вице-короля, посланного приветствовать нас и проводить в город Мехико. Человек этот

много рассказывал нам о великолепии и благородстве графа де Пенья Велес и о нравах, какие царят при дворе. Мы знали уже о некоторых подробностях благодаря нашим связям в Америке. Вполне удовлетворив свою гордыню, вице-король разжег в себе яростную страсть к женщинам и, не сумев обрести счастья в супружестве, искал утешения в приятном и учтивом обхождении с женщинами, каким много лет тому назад отличалось испанское великосветское общество.

Мы недолго оставались в Веракрус и совершили путешествие в Мехико со всеческими удобствами. Как вам известно, столица эта расположена посреди озера; ночь уже спустилась, когда мы прибыли на берег. Вскоре мы заметили около сотни гондол, освещенных плашками. Прекраснейшая из них выплыла вперед, подошла к берегу, и мы увидели выходящего из нее вице-короля, который, обращаясь к моей жене, сказал:

— Дочь несравненной женщины, которую я не перестал доселе боготворить! Я полагал, что небо не позволило тебе вступить в союз со мной, но я вижу, что оно не намеревалось лишить свет прелестнейшего его украшения, за что я приношу ему благодарность. Гряди, прекрасная Эльвира, украшать наше полушарие, которое, обладая тобою, не будет иметь чему завидовать в Старом Свете.

Вице-король заметил, что Эльвира настолько изменилась, что он никогда бы ее не узнал.

— Однако, — добавил он, — я помню тебя гораздо более юной, и тебя не должно удивлять, что близорукий смертный в розе не узнает бутона.

Затем он оказал мне честь, заключив меня в объятия, и ввел нас обоих в свою гондолу.

После получасового плавания мы прибыли к плавучему острову, который благодаря хитроумному устройству выглядел как настоящий; там росли апельсиновые деревья и множество кустов, и, несмотря на это, остров держался на поверхности воды. Остров этот можно было направлять в разные стороны и, таким образом, наслаждаться всякий раз новым пейзажем. В Мексике нередко можно видеть подобного рода сооружения, называемые *chinampas* *. На острове стоял дом в виде ротонды, ярко освещенный и, как мы слышали уже издалека, оглашаемый бравурной музыкой. Вскоре мы заметили, что огни плашек сочетаются в форме монограммы Эльвиры. Приближаясь к берегу, мы увидели две группы мужчин и женщин, облаченных в роскошные, но странные наряды, на коих живые цвета разнообразных перьев соперничали с сиянием ослепительнейших драгоценностей.

— Сударыня, — сказал вице-король, — одну из этих групп составляют мексиканцы. Эта прекрасная женщина во главе их — маркиза Монтесума, последняя носительница великого имени, которое принадлежало некогда властелинам этой страны.¹ Политика мадридского правительства запрещает

* Сады (исп.).

ей пользоваться привилегиями, которые многие мексиканцы до сих пор считают законными. Зато она является царицей наших развлечений: это единственная почеть, которую мы вправе ей оказывать. Мужчины второй группы именуют себя перуанскими инками; узнав, что Дочь Солнца высидилась в Мексике, они пришли, дабы воскурить ей фимиам.

Пока вице-король осыпал мою жену подобными любезностями, я внимательно всматривался в нее, и мне показалось, что я замечаю в ее глазах какой-то огонь, вспыхнувший из искры себялюбия, которое за семь лет нашего совместного существования не нашло подходящего момента, чтобы разгореться и вспылать. И в самом деле, несмотря на все наше богатство, мы никогда не могли стать одними из первых в светском обществе Мадрида. Эльвира, занятая моей матушкой, детьми, недугами, не имела случая блеснуть; однако путешествие вместе со здоровьем вернуло ей былую прелесть. Оказавшись на высшей ступени нашего светского общества, она готова была, как мне думается, получить чрезмерное понятие о своей собственной персоне и возжаждать всеобщего внимания.

Вице-король провозгласил Эльвиру царицей перуанской, после чего сказал мне:

— Ты, несомненно, являешься первым подданным Дочери Солнца, но раз сегодня все здесь ряженые, то соблаговоли до конца бала подчиняться велениям другой властительницы.

Сказав это, он представил меня маркизе Монтесума и вложил ее руку в мою. Мы вступили в вихрь бала, обе группы стали танцевать, то вместе, то порознь, и взаимное их соперничество оживило атмосферу торжества.

Было решено продлить маскарад до самого конца сезона, таким образом я так и остался подданным наследственной владычицы Мексики, в то время как жена моя повелевала своими подданными с обворожительностью и прелестью, которые привлекли к себе мое внимание. Я должен, однако, описать вам дочь кациков, или, вернее, дать вам некоторое представление о ее внешности, хотя и не в состоянии словами изобразить ту дикую прелесть и то непрестанно изменяющееся выражение, какое страстная душа ее придавала ее лицу.

Тласкала Монтесума родилась в гористой области Мексики и вовсе не была смугла, как жители низин. Кожа ее была нежной, как у блондинки, хотя и темнее, а сияние ее оттеняли черные глаза, подобные драгоценным камням. Черты ее, выступающие менее, чем у европейнок, не были плоскими, как у людей, принадлежащих к американским племенам. В лице Тласкалы о них напоминали только губы, довольно полные, но великолепные, очаровывающие всякий раз, когда мимолетная улыбка придавала им прелести. Что до ее стана, то я ничего не могу сказать, рассчитываю всецело на ваше воображение, или, вернее, на изображение живописца, который вознамерился бы написать Диану или Аталанту². Все ее движения отличались чем-то особенным, в них прорывался могучий порыв страсти,

с усилием сдерживаемой. В ней не было ни отдохновения, ни усталости; покой ее был пронизан непрестанной внутренней тревогой.

Кровь рода Монтесумы слишком часто напоминала Тласкале, что она рождена для того, чтобы повелевать целой безмерной частью света. Подойдя к ней, вы сперва замечали высокомерный облик оскорбленной королевы, но едва только она отверзала уста, тотчас же сладостный взгляд приводил вас в восторг, и каждый покорялся очарованию ее речей. Когда она вступала в широко распахнутые двери дворца вице-короля, казалось, что она с негодованием взирает на равных себе, но вскоре все видели, что у нее нет равной. Сердца чувствительные признавали в ней повелительницу и припадали к ее стопам. Тласкаля переставала быть королевой, становилась женщиной и принимала принадлежащие ей по праву почести.

В первый же вечер меня поразила этот ее высокомерный характер. Я подумал, что должен сказать ей какую-то любезность, соответствующую характеру ее маскарадного костюма и званию первого подданного, которым меня удостоил вице-король, но Тласкаля весьма сурово приняла мои разглагольствования и сказала:

— Мишурная корона может льстить лишь тому, кто по рождению не призван восседать на престоле.

Говоря это, она бросила взгляд на мою жену. Эльвиру в этот миг окружали перуанцы и служили ей, преклонив колени. Гордость и радость привели Эльвиру в восторг; я устыдился за нее и в тот же вечер поговорил с ней об этом. Она рассеянно слушала мои замечания и холодно отвечала на мои любовные уверения. Себялюбие вошло в ее душу и заняло там место подлинной любви.

Упоение, вызванное всеобщей лестью, развеивается с трудом; Эльвира все больше в него погружалась. Вся Мексика разделилась на поклонников ее совершенной красоты и на почитателей несравненных прелестей Тласкали. Дни Эльвиры проходили в ликовании по поводу вчерашних успехов и в приготовлениях к успехам завтрашним. Очертя голову, она летела в омут бесчисленных развлечений. Я пытался ее удержать, но тщетно; я и сам чувствовал, что что-то толкает меня, но в противоположном направлении, к путям, весьма далеким от тех усыпанных цветами тропинок, по которым шла моя супруга.

Мне тогда не было еще и тридцати. Я находился в возрасте, когда чувства еще обладают всей юношеской свежестью, страсти же находятся во всем расцвете мужественных сил. Моя любовь, зародившаяся у колыбели Эльвиры, ни на миг не выходила за пределы мирка ребяческих понятий; разум же моей супруги, напичканный романическими бреднями, никогда не имел времени, чтобы дозреть. Мой разум был немногим яснее, однако тем уже превосходил ее, что без труда различал, что понятия Эльвиры не выходят из узкого круга мелкого тщеславия, иногда даже низкой клеветы, сплетен и наговоров, — одним словом, понятия ее обретаются

в том тесном кругу, в котором чаще слабохарактерность, чем слабость разума удерживает женщину. Исключения в этом смысле очень редки; я полагал даже, что их не существует вовсе, но убедился, что неправ, когда узнал Тласкалю.

Никакая ревность, никакое соперничество не находили доступа к ее сердцу. Все окружающие ее женщины имели равные права на ее благосклонность, и та, которая своему полу больше всего делала чести красотою, очарованием или чувствами, та возбуждала в ней сильнейший интерес. Она рада была бы видеть всех женщин около себя, заслужить их доверие и снискать их дружбу. О мужчинах она говорила редко и притом с превеликой скромностью, разве только тогда, когда дело шло об одобрении какого-нибудь благородного поступка. Свое восхищение она выражала искренне и даже с горячностью. Впрочем, чаще всего она беседовала о предметах общего характера и оживлялась только тогда, когда говорила о благосостоянии Мексики и о том, как обеспечить счастье ее жителей. Это была ее любимая тема, к которой она возвращалась столько раз, сколько находилось для этого поводов.

Многих мужчин, конечно, судьба их, а также характер обрекают влачить свое существование под эгидой того пола, которому придается приказывать, когда он не может повиноваться. Я был покорным поклонником Эльвиры, потом покладистым супругом, но она сама ослабила мои узы тем, что, казалось, придавала им слишком малую цену.

Балы и маскарады сменяли друг друга, и светские обязанности приковывали меня, если можно так выразиться, к особе Тласкали. В действительности сердце привязывало меня к ней еще больше, и первой переменной, какую я в себе подметил, был взлет моих помыслов и вознесение духа. Характер мой приобрел больше силы, воля — больше отваги. Я чувствовал потребность воплощения моих чувств в деянии и хотел обрести влияние на судьбы моих ближних.

Я просил и получил должность. Пост, доверенный мне, отдавал несколько провинций под мое управление; я заметил, что местные жители угнетены испанцами, и встал на защиту аборигенов. Я восстановил против себя могущественных вельмож, впал в немилость у правительства, двор начал мне угрожать; я отважно сопротивлялся. Мексиканцы меня любили, испанцы уважали, однако больше всего радовал меня живой интерес, какой я возбудил в душе любимой женщины. Правда, Тласкала обходилась со мной всегда с такой же сдержанностью, а быть может даже с еще большей, чем обычно, но взор ее искал моих очей, покоился в них с благосклонностью и отрывался от них с тревогой. Она мало говорила со мной, не упоминала о том, что я сделал для американцев, но всякий раз, как она ко мне обращалась, голос ее дрожал, слова замирали в груди, так что самый незначительный разговор приобретал характер доверительной беседы. Тласкала полагала, что обрела во мне душу, близкую своей. Она

ошибалась: это ее собственная душа перелилась в мою, придала мне вдохновения и наставила меня на стезю деяний. Меня самого покорила иллюзия — мне казалось, что я обладаю сильным характером. Мысли мои приобрели форму раздумий, представления о счастье Америки вырастали в дерзновенные планы, даже развлечения окрашивались в героические тона. Я преследовал в дебрях ягуаров и пум и вступал в единоборство с этими дикими bestиями. Чаще всего, однако, я устремлялся в далекие ущелья, и эхо было единственным наперсником любви, которую я не посмел открыть тайному предмету моего обожания.

Тласкала разгадала меня, я также полагал, что мне блеснул луч надежды, и мы могли легко выдать себя перед взорами пронизательной толпы. К счастью, мы избежали всеобщего внимания. Вице-король должен был уладить важные дела; это обстоятельство и прервало смену празднеств, каким он сам, а вслед за ним и вся Мексика самозабвенно предавались. Мы стали затем вести более мирную жизнь. Тласкала удалилась в дом, который принадлежал ей; дом этот был расположен к северу от озера. Сперва я посещал ее довольно часто, потом начал приходить каждый день. Я не могу объяснить вам нашего взаимного обхождения. С моей стороны это было обожание, дошедшее почти до фанатизма, с ее же — как будто священный огонь, пламя которого она оберегала сосредоточенно и беззаветно.

Признание во взаимном чувстве готово было сорваться с наших уст, но мы не смели его высказать. Состояние это было истинно чарующим, мы упивались его сладостью и боялись что бы то ни было изменить.

Когда маркиз дошел до этого места, цыгана отозвали по делам его табора, и нам пришлось отложить на следующий день удовлетворение нашего любопытства.



День сорок четвертый

Мы все собрались и, молча, ожидали начала рассказа. Маркиз уселся поудобнее и повел такую речь:



*Продолжение истории
маркиза Торрес Ровельяс*

Я говорил вам о моей любви к Тласкале, описал вам ее внешность и душу, а теперь вы еще лучше узнаете мою прекрасную мексиканку.

Тласкаля уважала истины нашей святой веры, но в то же время — глубоко чтит память своих предков и в этом причудливом и противоречивом соединении взглядов создала себе как бы свой особый рай, обретающийся не на земле и не на небе, но где-то между ними. Она даже до известной степени разделяла суеверия своих соотечественников; верила, что благородные тени царей ее племени во мгле ночной нисходят на землю и посещают древнее кладбище, расположенное в горах. Тласкаля ни за что на свете не пошла бы туда ночью. Иногда мы ходили туда днем и проводили там долгие часы. Тласкаля переводила мне иероглифы, высеченные на гробницах ее предков, и толковала их, согласно преданиям, в коих превосходно разбиралась.

Мы знали уже бóльшую часть надписей и, продвигаясь вперед в наших поисках, отыскивали новые, которые очищали от мха и побегов терновника. Однажды Тласкаля показала мне колючий кустарник и заметила, что он имеет здесь определенное значение, ибо тот, кто его посадил, решил сперва навлечь месть небес на тени недругов, и что я хорошо сделаю, если вырву это зловерное растение. Я взял топор из рук идущего за нами мексиканца и срубил злополучный куст. Тогда мы увидели камень, испещренный иероглифами гораздо более, нежели надгробья, которые мы осматривали до тех пор.

— Надпись эта, — сказала Тласкаля, — сделана уже после завоевания нашей страны. Мексиканцы чередовали тогда иероглифы с некоторыми

буквами алфавита, которые восприняли от испанцев. Надписи того времени легче прочесть.

И в самом деле, она начала читать, но с каждым новым словом все большая скорбь изображалась в чертах Тласкали, и вскоре она упала без чувств на гранитное надгробье, которое в течение двух столетий прикрывало собою то, что внезапно ужаснуло ее.

Тласкалю перенесли в дом, она немного пришла в себя, но разум ее помутился и она постоянно говорила нечто бессвязное. Я вернулся к себе в страшнейшем отчаянии, а на другой день получил письмо следующего содержания:

Алонсо, чтобы написать эти несколько слов, мне пришлось собрать все силы и помыслы свои. Письмо это вручит тебе старый Хоас, бывший мой учитель языка отцов моих. Проводи его к камню, который мы вчера нашли, и попроси, чтобы он тебе истолковал надпись. Взор мой меркнет, густой туман заволакивает мои глаза. Алонсо, ужасные призраки встают между нами — Алонсо, ты исчезаешь с глаз моих.

Хоас был одним из теоксиков, то есть потомков древних жрецов. Я проводил его на кладбище и показал ему злополучный камень. Он списал иероглифы и понес список к себе. Я пошел к Тласкале, но лихорадка ее не ослабевала; она смотрела на меня блуждающими глазами и не узнавала меня. Под вечер горячка несколько ослабела, однако лекарь просил меня, чтобы я не ходил к больной.

На другой день Хоас принес мне перевод мексиканской надписи в следующих словах:

Я, Коатрил, сын Монтесумы, схоронил здесь тело мерзостной Марины¹, которая отдала сердце и отчизну гнусному Кортесу, предводителю морских разбойников. Духи моих предков, вы, которые нисходите сюда во тьме ночной, верните на миг эти останки к жизни и заставьте их корчиться в страшных муках умирания. Духи моих предков, внимайте моему голосу, выслушайте мои проклятия. Взгляните на мои длани, дымящиеся от крови человеческих жертв!

Я, Коатрил, сын Монтесумы, и я отец; дочери мои блуждают по ледникам отдаленных гор. Красота — наследственное достояние нашего славного рода. Духи моих предков, если когда-нибудь дочь Коатрила или дочь его дочери или его сына, если когда-нибудь какая-нибудь женщина из моего рода отдаст сердце и прелести свои кому-нибудь из вероломного племени разбойников — пришельцев из-за моря; если среди женщин моей крови същется вторая Марина, — духи моих предков, спуститесь сюда во тьме ночной в образе пламенных змиев, растерзайте тело ее, раста-

щите куски его по всей земле, и тогда пусть каждая частица его изведает в отдельности боль смертельной агонии. Спуститесь во тьме ночной в образе коршунов с железными клювами, раскаленными в огне, растерзайте тело ее, развейте его в воздушном пространстве и тогда пусть каждая частица этого тела испытает ужас погибельной агонии. Духи моих предков, если вы не выполните желания моего — то я, с руками, обгаженными кровью человеческих жертв, призову против вас все могущество богов отмщения. И пусть они причинят вам подобные муки!

Это проклятие высек на камне я, Коатрил, сын Монтесумы, и посадил у надгробья куст Мескускальтры.

Немногого не доставало, чтобы эта надпись произвела на меня такое же впечатление, какое произвела она на Тласкалю. Я пытался убедить Хоаса в нелепости мексиканских суеверий, но вскоре заметил, что не следует задевать в нем эту струну. Старик подсказал мне другое средство, каким я мог бы внести успокоение в душу Тласкали.

— Я не сомневаюсь, — сказал он мне, — что духи царей нисходят на это кладбище и что они обладают властью причинять муки как живым, так и умершим, в особенности если кто призовет их к этому посредством заклятий, подобных тем, какие ты видишь высеченными на этом камне. Существуют, однако, вещи, способные ослабить эти ужасные последствия. Прежде всего, ты, сеньор, срезал зловеющий куст, посаженный у этой проклятой гробницы; затем, что же у тебя, сеньор, общего с дикими сообщниками Кортеса? Продолжай далее покровительствовать мексиканцам и будь уверен, что у нас есть средства умиловить духов и даже ужасных богов, которых почитали некогда в Мексике; богов, которых ваши священнослужители именуют сатанинскими духами.

Я посоветовал Хоасу столь откровенно не высказывать своих религиозных убеждений, в душе же решил воспользоваться первой же возможностью оказания услуг коренным обитателям Мексики. Случай этот мне вскоре представился. Вспыхнуло восстание в провинциях, завоеванных вице-королем; правда, это было только справедливое сопротивление гнету, противоречащему даже намерениям двора, но неумолимый вице-король не обращал на это внимания. Он возглавил армию, вторгся в Новую Мексику, разгромил восставших и захватил в плен двух кадиков, которых решил обезглавить в столице Нового Света. Им как раз собиравшись прочесть приговор, когда, выйдя на середину зала суда, я возложил руки на плечи обвиняемых и произнес следующие слова: *Los toco por parte de el Rey*, что означает: «Прикасаюсь к ним именем короля».

Эта старинная формула испанского права до нынешнего дня еще такую обладает силой, что ни один трибунал не отважился ее отклонить и откладывает исполнение всякого приговора. Однако применивший эту формулу отвечает собственной головой. Вице-король имел право назна-

читать мне то же самое наказание, какое должны были понести оба обвиняемых. Он не преминул воспользоваться этой привилегией, обошелся со мной со всей строгостью и приказал заключить меня в тюрьму, где, впрочем, протекли сладчайшие мгновения моей жизни.

Однажды ночью (а в темном моем подземелье стояла вечная ночь) я заметил в конце длинного коридора слабый и тусклый свет, который приближаясь ко мне все более, озарил пленительные черты Тласкали. Одно этого зрелища было довольно, чтобы тюрьма моя превратилась в райскую обитель. Но Тласкала украсила мою тюрьму не только присутствием своим: она принесла мне сладостную весть, признавшись мне в любви, столь же пылкой, как и моя.

— Алонсо, — сказала она, — добродетельный Алонсо, ты победил. Тени моих отцов умиротворены. То сердце, которым не должен был обладать ни один смертный, стало твоим, и оно — твоя награда за самопожертвенные деяния, которые ты не перестаешь совершать ради блага моих несчастных соотечественников.

Едва только Тласкала договорила эти слова, как упала в мои объятия без чувств и почти бездыханная. Я приписывал этот случай ее необычному волнению, но, увы, причина его была совсем иная и гораздо более опасная. Ужас, который Тласкала испытала на кладбище, горячка с бредом, в которую она затем погрузилась, надорвали ее здоровье.

Однако же возлюбленная моя раскрыла глаза, и небесная ясность, казалось, превратила мое подземелье в сияющий счастьем приют. Амур, божество древних, чтимый тогда всеми, ибо в те времена жили согласно законам природы и законам божественной любви, никогда ни в Пафосе² ни в Книде³ мощь твоя не оказывалась столь великой, как в этом мрачном узилище Нового Света! Подземелье мое стало твоим храмом, столб, к которому я был прикован, — твоим алтарем, а наши цепи — твоими венцами!

Чары эти доселе еще не развеялись, доселе еще они таятся в моем сердце, охлажденном годами, и когда мысль моя, убаюкиваемая воспоминаниями, хочет перенестись в страну обольщений прошлого, она не задерживается на первых мгновениях любовных восторгов в объятиях Эльвиры, ни на чувственных увлечениях страстной Лауры, но припадает к покрытым плесенью стенам тюрьмы.

Я сказал вам, что вице-король разгневался на меня с лютой яростью. Свирепость, которая его обуяла, подавила в его душе чувство справедливости и приязнь, какую он ко мне питал. Он направил в Европу легкий корабль и послал с ним рапорт, обвиняющий меня в подстрекательстве к мятежу. Однако, едва корабль пустился в путь, как доброта и справедливость одержали верх в сердце вице-короля, и он по-иному взглянул на мое дело. Если бы не боязнь разоблачить собственную ложь, он, конечно, послал бы второй рапорт, всецело противоположный первому;

однако он все же сразу отправил корабль с новыми депешами, которые должны были смягчить суровость предшествующих депеш.

Совет Индий, всегда необыкновенно медлительный во всех решениях своих, получил второй рапорт своевременно и наконец прислал ответ такой, на какой могли бы надеяться самые осмотрительные умы. Решение Совета, казалось, было следствием неумолимой суровости и приговаривало бунтовщиков к смертной казни. Но если бы вознамерились точно придерживаться его формулировок, оказалось бы более чем затруднительно найти виновных, вице-король же получил тайное предписание, запрещающее их искать. Нам огласили только официальную часть приговора, которая нанесла надорванному здоровью Тласкали последний удар. У несчастной хлынула кровь горлом; горячка, сперва медленная, вскоре, однако же, все сильнее развивающаяся. . .

Опечаленный старец не в силах был больше говорить, рыдания прервали его голос; он удалился, желая дать волю слезам, мы же остались, погруженные в торжественное молчание. Все мы вместе и каждый из нас в глубине души своей сокрушались о плачевной участи прекрасной мексиканки.

День сорок пятый

Мы собрались в обычное время и просили маркиза, чтобы он соблаговолил продолжать свой рассказ, что он и сделал в таких словах:

*Продолжение истории
маркиза Торрес Ровельяс*



Сказав вам, что впал в немнлость, я ни словом не обмолвился о том, что в течение всего этого времени делала моя жена. Эльвира сперва заказала себе несколько платьев из темных тканей, а затем удалилась в монастырь, где помещение для беседы с посетителями сразу же превратилось в некое подобие светской гостиной. Однако жена моя показывалась не иначе, как распустив волосы в знак скорби и комкая в руках носовой платочек. Доказательства столь неизменной привязанности сильно меня взволновали. Хотя и оправданный, однако же как ради соблюдения юридических формальностей, так и вследствие медлительности, от природы свойственной испанцам, я вынужден был еще четыре месяца пробыть в тюрьме. Едва получив свободу, я тотчас же отправился в монастырь, где жила маркиза, и привез ее домой, где в честь ее возвращения был устроен великолепный бал — но какой бал! Правый боже!

Тласкали уже не было в живых, и даже самые равнодушные со слезами на глазах вспоминали о ней. Вы можете представить себе мое горе; я сходил с ума и ничего вокруг себя не замечал. Только новое чувство, пробуждая былую надежду, вывело меня из этого плачевного состояния.

Человек молодой, одаренный счастливыми склонностями, пылает жаждой отличиться. На тридцатом году жизни он жаждет популярности, а позднее — уважения и почтения. Популярности я уже достиг, но, конечно, я не снискал бы ее, если бы людям было известно, в какой мере любовь повелевала всеми моими поступками. А между тем поступки мои приписывали редкостным добродетелям, свойственным необычайной мужественности характера. К этому присоединился известный род энту-

зиязма, какого обычно не жалеют для тех, которые в течение известного времени ценой собственной безопасности привлекали внимание света.

В Мексике, вкушая плоды популярности, я постиг, сколь высокое мнение составилось у людей обо мне, и лестные почести исторгли меня из недр глубокого отчаяния, в какое я был доселе погружен. Я чувствовал, что не заслуживаю еще такой популярности, но питал надежду, что окажусь достойным ее. Когда, истерзанные болью, мы видим перед собой только мрачное будущее, провидение, пекущееся о нашей судьбе, внезапно зажигает нежданные огни, которые вновь озаряют наш жизненный путь.

Я возымел намерение заслужить в собственных своих глазах ту популярность, которой я уже пользовался; я получил должность в управлении страной и исполнял свои обязанности с энергией и беспристрастием. Однако я был создан для любви. Образ Тласкали продолжал жить в моем сердце, и тем не менее я ощущал в нем пустоту. Я решил заполнить ее.

Когда тебе уже за тридцать, можно еще испытать сильную привязанность и даже возбудить ее, но горе человеку, который в этом возрасте хочет участвовать в младенческих забавах любви. Улыбка уже не играет на его устах, в глазах уже не сверкает чувствительная радость, с языка уже не срываются очаровательные нелепицы; он ищет способ понравиться, но нелегко ему удастся его найти. Пугливые и злорадствующие прелестницы видят это и быстрее легкокрылого ветерка ускользают от него, ища общества юноши.

В довершение всего, уж если изъясняться без всякой поэзии, я отнюдь не испытывал недостатка в возлюбленных, которые отвечали мне взаимностью, но нежность их обычно имела в виду иные цели и, как вы можете догадаться, они нередко покидали меня ради более молодых. Такое поведение порой уязвляло меня, но никогда не огорчало. Одни легкие узы я заменял другими, не более тяжкими, и смело признаюсь, что в отношениях этих познал больше наслаждений, чем разочарований.

Жене моей шел сороковой год; она сохранила еще много от былой своей красоты. Почести еще окружали ее, но они были теперь скорее проявлением почтения; люди теснились толпой, чтобы поговорить с ней, но уже не она была предметом этих разговоров. Свет еще не покидал ее, хотя для нее самой вся прелесть его уже была утрачена.

Между тем вице-король скончался. Эльвира, которая дотоле постоянно пребывала в его обществе, теперь пожелала принимать гостей у себя. Я тогда еще любил общество женщин и поэтому не без приятности думал, что стоит мне только спуститься этажом ниже, и я всегда найду оное. Маркиза стала для меня как бы новым знакомством. Она казалась мне привлекательной и желанной, и я старался добиться ее расположения. Дочь, которая сопровождает меня в этом странствии, — плод нашей возобновленной связи.

Однако поздние роды оказали пагубное влияние на здоровье маркизы. Она то и дело хворала и наконец стала страдать затяжным недугом, который и свел ее в могилу. Я искренне ее оплакивал. Она была первой моей возлюбленной и последней подругой. Нас соединяли узы кровного родства, я был обязан ей своим состоянием и положением — вот сколько было причин оплакивать эту утрату. Когда я потерял Тласкалю, меня еще обольщали все иллюзии жизни. Маркиза оставила меня одиноким, безутешным и к тому же в угнетенном состоянии, из которого ничто не могло меня вырвать.

Однако я сумел восстановить равновесие. Я выехал в мои поместья, поселился у одного из моих вассалов, дочь которого, еще слишком юная, чтобы обращать внимание на мой возраст, подарила мне чувство, напоминающее любовь, и позволила сорвать несколько цветов в последние, осенние дни моей жизни.

Потом пришла и моя пора; годы сковали льдом поток моих чувств, но нежность не покинула моего сердца. Привязанность к моей дочери живет всех моих бывших страстей. Единственное мое желание — видеть ее счастливой и умереть на ее руках. Я не могу жаловаться, милое дитя со своей стороны платит мне самой искренней взаимностью. Судьба ее уже обеспечена, обстоятельства, как мне кажется, благоприятствуют тому, что я обеспечил ее будущее, насколько возможно обеспечить его кому-нибудь из смертных. Мирно, хотя и не без сожаления, я расстанусь с этим миром, в коем, как всякий человек, я испытал немало горестей, но и много счастья.

Вот вся история моей жизни. Боюсь, однако, что она вам наскучила; во всяком случае, я вижу, что этот вот сеньор с некоторого времени предпочел предаться каким-то вычислениям.

И в самом деле, Веласкес извлек аспидную дощечку и тщательно что-то подсчитывал.

— Извини меня, сеньор, — отвечал наш математик, — рассказ твой живо меня увлек, и я не отвлекался от него ни на шаг. Следуя за тобой по твоему жизненному пути и видя, что одна и та же страсть возносила тебя ввысь, когда ты начинал продвигаться вперед, удерживала тебя на достигнутой высоте в середине твоей жизни и удерживает тебя еще на склоне дней твоих, я усматриваю в жизни твоей как бы некую замкнутую кривую, ордината которой, по мере продвижения на оси абсцисс, сначала возрастает, соответственно уравнению кривой, потом около середины обе оси почти равны друг другу, а затем уменьшаются прямо пропорционально предшествующему возрастанию.

— В самом деле, — возразил маркиз, — я полагал, что из приключений моих возможно извлечь определенный нравственный урок, но никогда не думал, чтобы можно было составить из них уравнение.

— Тут речь идет не о твоих приключениях, сеньор, — сказал Веласкес, — но о жизни человеческой вообще, о стойкости телесной и нравственной, возрастающей с годами, задерживающейся на миг, а потом понижающейся и тем самым, подобно другим силам, подчиняющейся некоему нерушимому закону, то есть известному соотношению между числом лет и мерой стойкости, обусловленной состоянием души. Я хотел бы истолковать все подробней. Допустим, что течение твоей жизни является большой осью эллипса, что эта большая ось делится на девяносто лет, которые тебе в миг рождения предстояло прожить, а половина малой оси оказалась разделена на пятнадцать равных отрезков. Обрати теперь внимание, что отрезки малой оси, изображающие градусы стойкости, не являются такими же самыми единицами, как части большой оси, обозначающие годы. Согласно природе эллипса, мы получаем кривую линию, быстро поднимающуюся по мере продвижения вперед; задерживающуюся на миг почти на месте, затем снижающуюся пропорционально предыдущему подъему.

Примем миг рождения за исходную точку координат, где x и y равняются еще нулю. Ты рождаешься, сеньор, и по прошествии одного года ордината составляет $\frac{31}{10}$. Затем ордината не будет уже превышать $\frac{31}{10}$. Отсюда разница от нуля до существа, лепечущего об элементарных понятиях, оказывается куда значительней любой позднейшей разницы.

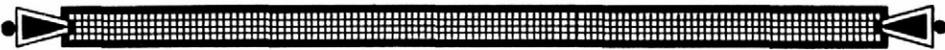
Человек двух, трех, четырех, пяти, шести, семи лет от роду имеет в качестве ординаты своей стойкости $\frac{44}{10}$, затем $\frac{54}{10}$, $\frac{62}{10}$, $\frac{69}{10}$, $\frac{75}{10}$, $\frac{80}{10}$, разница составляет, следовательно: $\frac{13}{10}$, $\frac{10}{10}$, $\frac{8}{10}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{5}{10}$.

Ордината четырнадцати лет составляет $\frac{109}{10}$, а сумма разностей во всем втором семилетии не превосходит $\frac{29}{10}$. На четырнадцатом году жизни человек только начинает быть юношей, он останется им еще и в 21 год, сумма разностей, однако, за эти семь лет составляет только $\frac{18}{10}$, а от 21 до 28 лет — $\frac{12}{10}$. Напоминаю вам, что моя кривая линия отражает только жизнь тех людей, страсти которых ничем не умеряются и которые являются наиболее стойкими, когда переступают сороковой год своего существования и приближаются к сорок пятому. Для тебя, сеньор, в жизни которого любовь была главным побуждением, наибольшая ордината должна была установиться по крайней мере десятью годами ранее, где-нибудь между тридцатым и тридцать пятым годом жизни. Ты должен был поэтому подниматься значительно быстрее. В самом деле, наибольшая твоя ордината совпадала с тридцать пятым годом жизни; итак, я строю твой эллипс на большой оси, разделенной на семьдесят лет. Отсюда ордината четырнадцати лет, которая у человека умеренного равняется $\frac{109}{10}$, у тебя составляет $\frac{120}{10}$; ордината 21 года вместо $\frac{127}{10}$ составляет у тебя $\frac{137}{10}$. Напротив, в 42 года у человека умеренного стойкость все еще возрастает, а у тебя уже понижается.

Благоволит на миг снова сосредоточить все свое внимание. На четырнадцатом году жизни ты любил молодую девушку, а когда тебе исполнилось двадцать один, ты становишься лучшим из мужей. На двадцать восьмом году жизни ты впервые злоупотребляешь доверием, но женщина, которую ты любил, обладает душой возвышенной, она вселяет в твою душу пламень, и на тридцатом году жизни ты с честью выступаешь на общественном поприще. Вскоре, однако, у тебя возникает стремление к любовным интрижкам, испытанное тобою уже на двадцать восьмом году жизни, ордината которого равна ординате сорока двух лет.

Засим ты вновь становишься хорошим мужем, каким был на двадцать первом году, ордината которого равна ординате сорока девяти лет. После этого ты выезжаешь к одному из своих вассалов, где загораешься любовью к юной девушке, такой, какую ты любил на четырнадцатом году жизни, ордината которого равна ординате пятидесяти шести лет. Прошу тебя, однако, милостивый маркиз, не огорчаться тем, что, разделяя большую ось твоего эллипса на семьдесят частей, я, тем самым, ограничиваю твою жизнь только этим числом лет. Напротив, ты можешь спокойно прожить девяносто лет и даже больше, но в таком случае эллипс твой превратится постепенно в кривую иного вида, близкую к цепной линии¹.

Говоря это, Веласкес поднялся, страшно размахивая руками, выхватил шпагу и начал чертить ею какие-то линии на песке и непременно изложил бы нам всю теорию кривых линий, именуемых цепными, если бы маркиз, как и остальное общество, мало интересуясь доказательствами нашего математика, не попросил бы разрешения отправиться на покой. Одна только Ревекка осталась. Веласкес не обратил внимания на уходивших, ему было достаточно присутствия прекрасной еврейки; он продолжал излагать ей свою хитроумную систему. Я долго слушал его, но, наконец, утомленный множеством ученых терминов и чисел, к которым я никогда не питал особого пристрастия, не смог превозмочь дремоту и пошел отдохнуть. А Веласкес все еще продолжал свои разглагольствования.



День сорок шестой

Мексиканцы, остававшиеся с нами дольше, нежели намеревались, решили, наконец, нас покинуть. Маркиз пытался уговорить вожака отправиться вместе с ними в Мадрид, дабы вести там жизнь, более соответствующую его происхождению, но цыган отказался наотрез. Он даже попросил маркиза, чтобы тот никогда о нем не упоминал и уважал тайну, которой он, Авадоро, окутал свое существование. Путешественники выразили будущему герцогу Веласкесу все уважение, которое они к нему питали, и оказали мне честь, ища моей дружбы.

Проводив их до выхода из долины, мы долго следили взором за отъезжающими. Когда я возвращался, мне пришло в голову, что кого-то недостает в караване; мне вспомнилась девушка, найденная под злосчастной виселицей Лос Эрманос, и я спросил вожака, что с ней случилось и в самом ли деле это вновь какое-то необычайное приключение, какие-то козни проклятых адских духов, которые так нам докучали. Цыган насмешливо усмехнулся и сказал:

— На сей раз ты ошибаешься, сеньор Альфонс, но такова уж человеческая природа, что, однажды вкусив чудес, она охотно причисляет к ним простейшие случаи жизни.

— Ты прав, — прервал его Веласкес, — к этим понятиям также возможно применить теорию геометрических прогрессий, первым выражением которых будет темный суевер, последним же — алхимик либо астролог. Между двумя этими основными проявлениями найдется еще пропасть места для множества предрассудков, обременяющих разум человечества.

— Ничего не имею против этой аргументации, — сказал я, — но все это мне еще не объясняет, кто была та девушка-незнакомка.

— Я послал одного из моих людей, — ответил цыган, — чтобы разузнать подробности о ней. Мне донесли, что это бедная сирота, которая после смерти возлюбленного помешалась и, не имея нигде пристанища, живет благодеяниями проезжающих или милосердием пастухов. Обычно она в одиночестве бродит по горам и спит там, где ее застанет ночь. Должно быть, в тот раз она забрела под виселицу Лос Эрманос и, не понимая, до чего ужасно сие место, спокойно заснула. Маркиз, проникшись состраданием, велел ухаживать за ней, но безумная, когда к ней вернулись силы, бежала из-под стражи и исчезла где-то в горах. Меня удивляет, что до сих пор вы еще ее нигде не встретили. Бедняжка кончит тем, что свалится где-нибудь с обрыва и погибнет понапрасну, хотя, признаюсь, не стоит жалеть о столь жалком существовании. Порою пастухи, разведя ночью костер, видят ее вдруг появляющейся у огня. Тогда Долорита, ибо так зовут эту несчастную, спокойно садится, всматривается

в одного из них, вдруг бросается ему на шею и называет его именем умершего возлюбленного. Сперва пастухи убегали от нее, но потом привыкли, спокойно позволяют ей скитаться и даже разделяют с ней трапезу.

Когда цыган так говорил, Веласкес рассуждал о силах, поглощающих друг друга, то есть взаимопоглощающих; о страсти, которая после долгой борьбы с разумом уничтожила его наконец — и — вооруженная скипетром нелепости — сама воцарилась в мозгу. Что до меня, то я удивился, услышав слова цыгана, ибо был убежден, что он не преминет воспользоваться случаем и снова расскажет нам какую-нибудь длиннейшую историю. Быть может, единственной причиной сокращения походов Долориты было появление вечного странника Агасфера, который быстрым шагом обходил гору. Каббалист начал произносить какие-то ужасные заклятья, но Агасфер долго на них не обращал внимания, наконец, как бы только из любезности по отношению к собравшимся, он приблизился к нам и сказал Узедэ:

— Кончилось твое владычество, ты утратил власть, которой оказался недостойным. Ужасное будущее ждет тебя.

Каббалист расхохотался во все горло, но, должно быть, смех не шел у него от души, ибо тоном, в котором слышалась мольба, он на неведомо мне наречии обратился к Агасферу.

— Хорошо, — ответил Агасфер, — сегодня еще, сегодня последний раз. Ты меня уже никогда не увидишь.

— Это неважно, — сказал Узедэ, — мы увидим, что станет позднее. А пока, старый наглец, воспользуйся недолгими минутами нашей прогулки и продолжай свою повесть. А мы уж как-нибудь сумеем убедиться, больше ли власти у шейха Таруданта, чем у меня. Впрочем, мне известны причины, по которым ты нас избегаешь, и будь уверен, что я их всем открою.

Несчастный бродяга метнул убийственный взор на каббалиста, но, видя, что не сможет ему сопротивляться, пошел, по обыкновению, между мной и Веласкесом и после минутного молчания повел такую речь:



*Продолжение истории
вечного странника Агасфера*

Я говорил вам, что именно тогда, когда я должен был достичь вождеденнейшей цели моих стремлений, возникла суматоха в храме и к нам пристал некий фарисей, называя меня мошенником. Как это обычно бывает в подобных случаях, я ответил ему, что он клеветник и что если он сразу же не уберется отсюда по своей собственной охоте, я прикажу своим людям выставить его за дверь.

— С меня довольно, — завопил фарисей, обращаясь к присутствующим, — негодный этот саддукей гнусно обманывает вас. Он распустил лживый слух, чтобы обогатиться за ваш счет; он пользуется вашим легковерием, но пора уже сорвать с него маску. Чтобы доказать вам справедливость моих слов, я предлагаю каждому в два раза большее количество золота за унцию серебра.

Таким образом этот фарисей все еще выгадывал двадцать пять процентов, но народ, побуждаемый корыстолюбием, начал толпиться вокруг него и вопить, что он — благодетель города, в то время как меня осыпали проклятиями. Постепенно головы разгорячились, люди от слов перешли к шумной драке, и в мгновение ока в храме поднялся такой крик, что один другого не мог понять. Видя, что надвигается страшная буря, я как можно скорей отослал домой сколько мог серебра и золота; однако, прежде чем слуги мои успели все забрать, разъяренные люди кинулись к меняльным столикам и начали хватать оставшиеся деньги. Я сопротивлялся изо всех сил, но тщетно: недруги одолевали. В единый миг наш храм сделался полем сражения. Не знаю, чем бы все это кончилось; быть может, я даже не ушел бы живым, ибо голова у меня была разбита в кровь, как вдруг вошел Пророк Назарейский со своими учениками.

Никогда я не забуду этого грозного и торжественного голоса, который мгновенно усмирил всю ссору. Мы ждали, в чью пользу он выскажется. Фарисей был убежден, что выиграет дело, но пророк восстал против обеих сторон и стал упрекать их в кощунстве, в осквернении храма господнего и в том, что презрели они создателя ради добра дьявольского. Слова его произвели сильное впечатление на собравшихся; храм начал наполняться людьми, среди которых было немало приверженцев нового

учения. Обе стороны уразумели, что от вмешательства третьей им будет только хуже. И в самом деле, они не ошибались, ибо возглас: «Прочь из храма!» вырвался как бы из одной груди. Народ на сей раз не думал уже о собственной корысти, но в пылу фанатизма начал опрокидывать меляльные столики и выгонять нас за двери.

На улице толчея все более возрастала, но народ больше обращал внимание на пророка, чем на нас; воспользовавшись всеобщим замешательством, я, крадучись, добрался домой. Я застал в дверях наших слуг: они только что вбежали со спасенными деньгами. Взглянув на мешки, я убедился в том, что, хотя и рухнули наши надежды на барыш, убытка, однако, не было никакого. При этой мысли я облегченно вздохнул.

Седекия уже знал обо всем. Сарра с тревогой дожидалась моего возвращения; увидев, что я весь в крови, она побледнела и бросилась мне на шею. Старик долго смотрел на меня, не говоря ни слова, тряс головой, как будто бы искал какую-то мысль, и, наконец, сказал:

— Я поклялся, что Сарра будет твоей, если ты удвоишь доверенную тебе сумму. Что же ты сделал с моими деньгами?

— Это не моя вина, — ответил я, — если непредвиденный случай опрокинул мои расчеты, я защищал твоё добро, не щадя собственной жизни. Ты можешь сосчитать твои деньги, ты ничего не потерял; более того, есть даже известная прибыль, о которой, однако, не стоит и говорить, ибо она не идет ни в какое сравнение с той, которая нас ожидала.

Тут внезапно счастливая идея пришла мне в голову, и, решив все сразу бросить на чашу весов, я прибавил:

— Если ты, однако, хочешь, чтобы нынешний день был днем прибыли, я могу иным способом восполнить ущерб.

— Как это? — воскликнул Седекия. — Понимаю, наверное снова какое-то предприятие, которое удастся так же, как и предыдущие.

— Нет, — возразил я, — ты убедишься, что я предлагаю подлинную ценность.

Сказав это, я поспешно вышел и миг спустя возвратился, неся подмышкой мой бронзовый ларец. Седекия испытующе на меня взглянул, улыбка надежды пролетела по устам Сарры, я же тем временем отворил ларчик, вынул находящиеся в нем бумаги и, разорвав их надвое, отдал старику. Седекия в одно мгновение сообразил, в чем дело; он судорожно сжал бумаги, выражение неизъяснимого гнева исказило его черты, он поднялся, хотел что-то сказать, но слова замерли у него в груди. Судьба моя должна была решиться. Я бросился к ногам старца и зарыдал.

Видя это, Сарра пала на колени рядом со мной и, сама не зная отчего, вся заплаканная, стала целовать руки своему деду. Старик свесил голову на грудь, тысячи чувств боролись в его душе; он молча разрывал бумаги в клочья; наконец он встал и поспешно вышел из комнаты. Мы остались одни, погруженные в горестнейшую неуверенность. Признаюсь,

что я утратил всякую надежду; однако после того, что произошло, понял, что я не должен оставаться больше в доме Седекии. В последний раз я взглянул на заплаканную Сарру и вышел, как вдруг увидел в прихожей необыкновенную возню и толчею. Я осведомился о причинах такого волнения, и мне с улыбкой ответили, что я меньше, чем кто другой, должен задавать подобные вопросы.

— Ведь, — прибавляли люди, — Седекия выдает за тебя свою внучку и велел насколько возможно ускорить приготовления к свадьбе.

Вы можете себе представить, как я из глубины отчаяния сразу пришел в состояние неопишемого счастья. Спустя несколько дней я взял Сарру в жены. Мне недоставало только, чтобы друг мой участвовал в столь замечательной перемене моей судьбы; но Герман, увлеченный учением пророка из Назарета, принадлежал к тем, которые изгоняли нас из храма; поэтому, несмотря на нашу дружбу, я порвал с ним всякие отношения и с тех пор совершенно потерял его из вида.

После того, как я испытал столько превратностей судьбы, мне казалось, что я начну наслаждаться мирной жизнью, тем более, что я отрекся от ремесла менялы, ибо опасное это занятие мне уже опротивело. Я хотел жить на проценты с моего состояния; но, чтобы не терять времени даром, решил давать деньги в рост. Не испытывая недостатка в клиентах, я извлекал большие барыши. Сарра с каждым днем все более услаждала мое существование, как вдруг неожиданный случай изменил все.

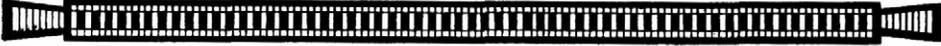
Но солнце уже заходит, приближается час вашего отдыха, меня же призывает могущественное заклятье, которому я не могу сопротивляться. Какое-то странное чувство переполняет мою душу: а что, если это конец моих страданий? Прощайте.

С этими словами бродяга скрылся в ближайшем ущелье. Меня удивили последние его слова, и я спросил каббалиста об их значении.

— Я сомневаюсь, — ответил Узед, — чтобы мы услышали продолжение приключений Агасфера. Негодяй этот, сколько раз ни доходит до эпохи, когда за нанесение обиды пророку он был обречен на вечное паломничество, обыкновенно исчезает, и уже никакими силами невозможно призвать его обратно. Последние его слова несколько меня не удивили. С некоторых пор я и сам замечаю, что бродяга сильно одряхлел и состарился, но, однако, к смерти это его отнюдь не приведет, ибо в противном случае что бы стало с вашим почтенным преданием?

Видя, что каббалист намерен шествовать по стезе замечаний, которых не следует слушать правоверным католикам, я прервал дальнейшую беседу, отдалился от прочего общества и вернулся в свой шатер.

Вскоре все возвратились, однако не отправились сразу на покой, ибо я долго еще слышал голос Веласкеса, развивающего перед Ревеккой нескончаемую цепь каких-то математических доказательств.



День сорок седьмой

На следующий день цыган сообщил нам, что он ждет нового подвоза товаров и ради безопасности решил некоторое время провести в этом месте. Мы с удовольствием приняли эту новость, ибо во всей горной цепи Сьерра-Морены невозможно было найти столь же чарующий уголок. Утром я отправился с несколькими цыганами на охоту в горы, возвратившись же к вечеру, присоединился к обществу и слушал продолжение рассказа вожака, который начал такими словами:

Продолжение истории цыганского вожака



Я вернулся в Мадрид с кавалером Толедо, который искренне собирался наверстать время и вознаградить себя за дни, проведенные в обители камедулов. Приключения Лопеса Суареса живо его заняли; в дороге я рассказывал ему еще некоторые подробности этих походов, кавалер внимательно слушал и, наконец, произнес:

— Вступая как бы в новую эпоху жизни после покаяния, следовало бы начать с того, чтобы сделать кому-нибудь добро. Мне жаль этого бедного юношу, который без друзей и знакомых, больной, брошенный, да к тому же еще и влюбленный, сам не знает, как быть в чужом городе. Аварито, ты проводишь меня к Суаресу, может быть, я ему окажусь полезным.

Намерение кавалера Толедо несколько меня не удивило: ведь я уже с давних пор имел возможность убедиться в его благородном образе мыслей и готовности оказать помощь ближним.

И в самом деле, приехав в Мадрид, кавалер тотчас же отправился к Суаресу. Я пошел вслед за ним. Сразу же, как только мы вошли, нас поразило странное зрелище. Лопес метался в жесточайшем приступе горячки. Глаза его были открыты, но он ничего не видел; иногда только бледная улыбка пролетала по его запекшимся губам, должно быть, при

мысли о возлюбленной Инес. В кресле, что стояло рядом с его ложем, развалился Бускерос; он даже не обернулся, когда мы вошли. Я подошел к нему и увидел, что он спит. Толедо приблизился к виновнику несчастий юного Суареса, схватил его за плечо и потряс. Дон Роке очнулся, протер глаза, вытаращил их и завопил:

— Что я вижу, сеньор дон Хосе здесь? Вчера я имел честь встретить на Прадо сиятельного герцога Лерму, который внимательно ко мне присматривался, очевидно, желая ближе со мной познакомиться. Если его герцогской милости потребуется мое содействие, благоволи, сеньор, засвидетельствовать благородному своему брату, что я в любую минуту готов к его услугам.

Кавалер Толедо остановил нескончаемый поток слов, льющийся из уст Бускероса, и заметил ему:

— Сейчас речь не о том. Я пришел узнать, как чувствует себя больной и не нужно ли ему чего?

— Больной чувствует себя прескверно, — ответил дон Роке, — а нужны ему прежде всего здоровье, радость, да еще в придачу — рука и сердце прекрасной Инес.

— Что касается первого, — прервал его Толедо, — то я тотчас же отправлюсь за лекарем моего брата, который слывет одним из самых сведущих в Мадриде.

— Что же касается второго, — прибавил Бускерос, — то ты ничем ему, сеньор, не можешь, ибо не возвратишь жизни его отцу; относительно же третьего, я могу тебя заверить, что не щаю усилий, чтобы осуществить его намерение.

— Что такое? — вскричал я. — Умер отец дон Лопеса?

— Вот именно, — ответил Бускерос, — внук того самого Иньиго Суареса, который, избородив множество морей, основал торговый дом в Кадисе. Больному было уже гораздо лучше, и вскоре к нему, конечно, совершенно вернулись бы прежние силы, если бы весть о кончине его родителя вновь не повергла бы его на ложе недуга. Однако, — продолжал Бускерос, обращаясь к Толедо, — если тебя, сеньор искренне занимает судьба моего друга, позволь мне сопровождать тебя в поисках лекаря и в то же время предложить тебе мои услуги.

С этими словами они оба вышли, я же остался при больном. Я долго всматривался в бледное его лицо, на коем страдания за столь короткий срок проложили сеть тончайших морщин, и в душе проклинал назойливого Бускероса, видя в нем причину всех несчастий злополучного Суареса. Больной уснул, я затаил дыхание, чтобы невольным движением не нарушить покоя несчастного юноши, как вдруг послышался стук в дверь. В раздражении я поднялся и, на цыпочках подойдя к двери, отворил. Я увидел уже немолодую, но очень приятной наружности женщину, ко-

торая, видя, что я приложил палец к губам в знак молчания, велела мне выйти к ней в прихожую.

— Мой юный друг, — сказала она мне, — не мог ли бы ты мне сказать, как сегодня чувствует себя сеньор Суарес?

— Мне кажется, что очень плохо, — ответил я, — но он только что уснул, и я надеюсь, что сон несколько подкрепит его силы.

— Мне говорили, что он необыкновенно страдает, — продолжала незнакомка, — и одна особа, которая принимает в нем искреннее участие, просила меня, чтобы я сама убедилась в том, каково состояние его здоровья. Будь столь любезен и, когда он проснется, передай ему эту записочку. Завтра я сама приду узнать, стало ли ему лучше.

Сказав это, дама исчезла, я же спрятал записочку в карман и вернулся в комнату.

Вскоре пришел Толедо с доктором: почтенный служитель Эскулапа напомнил мне с виду доктора Сангре Морено. Он остановился у ложа больного, после чего заявил, что в данную минуту ни за что не может ручаться, но что, однако, останется всю ночь около Суареса и наутро сможет дать окончательный ответ. Толедо по-дружески обнял его, велел не щадить никаких усилий, и мы вышли вместе, обещая себе, каждый в глубине души, завтра на рассвете вернуться. По дороге я рассказал кавалеру о визите незнакомки; он взял у меня записку и сказал:

— Я уверен, что это послание прекрасной Инес. Завтра, если Суарес будет чувствовать себя лучше, мы сможем вручить ему это послание. Я и в самом деле рад был бы полжизни отдать за счастье этого молодого человека, которому причинил столько страданий. Но уже поздно, нам после нашей поездки также необходим отдых. Пойдем, ты выступишься у меня.

Я охотно принял приглашение человека, к которому все сильнее привязывался, и, поужинав, вскоре уснул крепким сном.

Наутро мы пошли к Суаресу. По лицу врача я понял, что искусство одержало победу над недугом. Больной был еще очень слаб, но узнал меня и сердечно поздоровался. Толедо рассказал ему, каким образом сделался причиной его увечья; заверил, что применит все средства, чтобы вознаградить его за перенесенные им муки и просил, чтобы отныне Суарес изволил считать его своим другом. Суарес с благодарностью принял это предложение и подал кавалеру свою ослабевшую руку. Толедо вышел в другую комнату с лекарем; тогда, воспользовавшись случаем, я передал Суаресу записочку. Слова, заключающиеся в ней, оказались, должно быть, самым лучшим лекарством, ибо Лопес сел на постели, слезы хлынули у него из глаз; он прижал письмецо к сердцу и голосом, прерывающимся от рыданий, произнес:

— Великий боже, так значит ты не покинул меня, я не один на свете! Инес, моя дорогая Инес не забыла обо мне, она меня любит! Почтенная госпожа Авалос сама пришла осведомиться о моем здоровье.

— Именно так, сеньор Лопес, — ответил я, — но, ради всего святого, успокойся, внезапное волнение может тебе повредить.

Толедо услышал последние мои слова и вошел вместе с лекарем, который предписал больному прежде всего отдых, охлаждающее питье и удалился, обещая вернуться вечером. Миг спустя двери распахнулись, и мы увидели входящего Бускероса.

— Браво! — заорал он, — великолепно, наш больной, как вижу, нынче уже гораздо здоровее! Тем лучше, ибо вскоре мы сможем приступить к делу. В городе распространился слух, что дочка банкира на этих днях выходит замуж за герцога Санта Маура. Пускай себе болтают, что хотят: увидим, кто настоит на своем. Я как раз повстречал в трактире «Под золотым оленем» дворянина из свиты герцога и легко дал ему понять, что им незачем было приезжать сюда.

— Без сомнения, — прервал его Толедо, — и я полагаю, что сеньор Лопес не должен терять надежды, однако же, в этом случае я желал бы, чтобы вы, ваша милость, ни во что не вмешивались.

Кавалер произнес эти слова с заметным ударением. Дон Роке не посмел ему ничего на это ответить; я заметил только, что он с удовольствием смотрит на Толедо, прощающегося с Суаресом.

— Прекрасные речи ни к чему не приведут, — сказал дон Роке, когда мы остались одни, — тут нужно действовать и как можно скорее.

Когда назойливый идальго досказывал эти слова, я услышал стук в дверь. Я догадался, что это гопожа Авалос, и шепнул на ухо Суаресу, чтобы он спровадил Бускероса через задние двери, но тот обиделся на эти слова и сказал:

— Тут нужно действовать, я повторяю; если же это визит, имеющий отношение к главному нашему делу, то я должен при нем присутствовать или, по крайней мере, слышать весь разговор из другой комнаты.

Суарес метнул умоляющий взгляд на Бускероса, который, видя, что больной не слишком жаждет его присутствия, ушел в смежную комнату и скрылся за дверями. Госпожа Авалос недолго пробыла у нас, она с радостью приветствовала выздоровление Суареса, заверила его, что Инес не перестает думать о нем и любить его; что именно по просьбе Инес она пришла его навестить и что в конце концов Инес, которая встревожилась, когда узнала о новом несчастье, обрушившемся на него, решила нынче вечером навестить его вместе с теткой и словами утешения и надежды вселить в него отвагу, чтобы он смог перенести удары судьбы.

После того как госпожа Авалос ушла, Бускерос вновь ворвался в комнату и сказал:

— Что я слышал? Прекрасная Инес хочет навестить нас сегодня вечером? Вот это истинное доказательство любви! Бедная девушка не думает даже, что этим безрассудным поступком может погубить себя навеки:

но мы тут подумаем за нее. Сеньор дон Лопес, я бегу за моими друзьями, поставлю их в засаду и велю, чтобы они никого из посторонних не впускали в дом. Будь спокоен, я все это дело беру на себя.

Суарес хотел ему что-то ответить, но дон Роке выскочил, как ошпаренный. Видя, что над нами сгущаются новые тучи и что Бускерос снова задумал выкинуть какую-то штуку, я, не говоря ни слова больному, побежал со всех ног к Толедо и рассказал ему все, что случилось. Кавалер нахмурился, задумался и велел, чтобы я вернулся к Суаресу и заверил его, что он, Толедо, применит все средства, чтобы обезопасить его от нелепых выходов докучного Бускероса. Впрочем, мы услышали грохот подъезжающего экипажа. Миг спустя вошла Инес со своей тетужкой. Не желая быть навязчивым, я потихоньку выскользнул за дверь, как вдруг снизу до меня донеслись чьи-то раздраженные голоса. Я сбежал по лестнице и увидел Толедо, вступавшего в спор с каким-то незнакомцем.

— Сударь мой, — говорил чужеземец, — ручаюсь тебе, что могу сюда войти. Моя невеста назначает в этом доме любовные свидания какому-то мещанину из Кадиса, я знаю об этом наверняка. Приятель этого негодяя в трактире «Под золотым оленем» в присутствии моего дворецкого требовал каких-то шалопаев, которые должны были тут стоять на страже, чтобы кто-нибудь не спугнул голубка и горлицу!

— Извини, сеньор, — ответил Толедо, — но я ни под коим видом не могу позволить тебе войти в этот дом. Не спорю, что сюда минуту назад вошла молодая женщина, но это одна из моих родственниц, которую я никому не дам в обиду.

— Ложь! — вскричал незнакомец. — Женщина эта — Инес Моро, и она моя невеста.

— Сеньор, ты назвал меня лжецом, — сказал Толедо. — Я не собираюсь разбирать, прав ты или нет, но ты оскорбил меня и ты не ступишь ни шагу прежде, чем не дашь мне сатисфакции. Я — кавалер Толедо, брат герцога Лермы.

Незнакомец приподнял шляпу и ответил:

— Герцог Санта Маура к твоим услугам, сеньор.

С этими словами он распахнул плащ и обнажил шпагу. Фонарь, висевший над дверью, бросал свой тусклый свет на сражающихся. Я прислонился к стене, ожидая конца этого несчастного приключения. Вдруг герцог выпустил шпагу, схватился за грудь и упал навзничь. В этот самый миг, к счастью, лекарь герцога Лермы пришел проведать Суареса. Толедо проводил его к герцогу и с тревогой спросил, смертельна ли рана.

— Отнюдь нет, — отвечал лекарь. — Велите только его как можно скорее перенести в дом и перевязать, через несколько дней он будет здоров; шпага нисколько не задела легких.

Говоря это, он подал раненому нюхательную соль. Санта Маура открыл глаза; тогда кавалер подошел к нему и сказал:

— Ваша герцогская милость, вы не ошибались, прекрасная Инес здесь, у молодого человека, которого она любит больше жизни. По тому, что между нами произошло, я сужу, что ваша герцогская милость слишком благородны, чтобы желать принудить юную девушку вступить в союз вопреки велениям ее сердца.

— Сеньор кавалер, — слабым голосом возразил Санта Маура, — мне не к лицу сомневаться в истинности твоих слов, однако меня удивляет, что прекрасная Инес сама не предупредила меня, что сердце ее уже занято. Несколько слов из ее уст или несколько строк, начертанных ее рукою. . .

Герцог хотел продолжать, но вновь лишился чувств; его отнесли домой, Толедо же побегал сообщить Инес, чего требует ее поклонник, соглашаясь засим оставить ее в покое и отказаться от ее руки.

Что же мне вам еще сказать? Вы сами догадаетесь, каков был исход этого приключения. Суарес, убежденный во взаимности своей возлюбленной, быстро выздоравливал. Он утратил отца, но обрел друга и жену, ибо отец Инес не разделял ненависти, которую питал к нему покойный Гаспар Суарес, и охотно согласился на их брак. Молодые сразу же после венчания выехали в Кадис. Бускерос провожал их несколько миль за столичной заставой и сумел выудить у новобрачного за мнимые услуги кошелек, набитый золотом. Что до меня, то я полагал, что судьба никогда уже не сведет меня с несносным нахалом, к которому я испытывал невыразимое отвращение, но, увы, все произошло иначе.

С некоторых пор я заметил, что дон Роке часто поминает имя моего отца. Я предвидел, что знакомство это не может быть для нас полезно, и начал поэтому следить за каждым шагом предприимчивого идальго и узнал, что у Бускероса есть родственница по имени Гита Симьенто, которую он хочет непременно выдать за моего отца, зная, что дон Авадоро — человек состоятельный, а быть может, даже более богатый, чем все полагают.

И в самом деле, прекрасная Гита занимала уже квартиру в доме на узкой улочке, на которую выходил балкон дома моего отца.

Тетка моя была тогда в Мадриде. Я не смог утерпеть, чтобы ее не обнять. Почтенная госпожа Даланоса, увидя меня, растрогалась до слез, однако закланала, чтобы я нигде не показывался, пока не пройдет срок моего покаяния. Я рассказал ей о намерениях Бускероса. Она сочла, что их следует непременно пресечь, и отправилась за советом к дяде своему, достопочтенному театинцу Херонимо Сантесу, но тот упрямо отказывался помочь, считая, что, будучи монахом, он не должен заниматься светскими делами и что тогда только может вмешаться в семейные обстоятельства, когда речь идет о примирении повздоривших или о том, чтобы избежать соблазна, обо всех же случаях иного рода он и слышать не хотел. Мне оставалось действовать собственными средствами: я хотел обо всем по-

ведать кавалеру; но тогда мне пришлось бы ему сказать, кто я, чего, не нарушая принципов чести, я никоим образом не мог совершить. Поэтому я решил пока бдительно следить за Бускеросом, который после отъезда Суареса пристал к кавалеру Толедо, впрочем, с куда меньшей назойливостью, чем к юному негоцианту, и каждое утро приходил осведомляться, не требуются ли кавалеру его услуги.

Когда цыган досказывал эти слова, один из его банды явился, чтобы дать ему отчет о делах за день, и в этот день мы уже больше вожака не видели.



День сорок восьмой

На следующий день, когда мы все собрались вместе, цыган, уступая всеобщим настояниям, так продолжал рассказывать:



Продолжение истории цыганского вожака

Лопес Суарес уже две недели был счастливым супругом обворожительной Инес, Бускерос же, закончив сам, как ему казалось, это важное дело, пристал к кавалеру Толедо. Я предупредил кавалера о навязчивости этого прилипалы, но дон Роке и сам прекрасно чувствовал, что на сей раз ему следует быть осмотрительнее. Толедо разрешил ему приходить к себе, и Бускерос, знал, что, для того чтобы сохранить за собой это право, он не должен чрезмерно злоупотреблять им.

Однажды кавалер спросил у него о пресловутой любовной интриге, из которой герцог Аркос в течение стольких лет не мог выпутаться, и действительно ли та женщина была столь хороша, что сумела на такой продолжительный срок привязать к себе герцога.

Бускерос соорудил серьезную мину и сказал:

— Ваша милость, вы, без сомнения, глубоко убеждены в моей преданности вам, ибо благоволите меня спрашивать о тайне бывшего моего покровителя. С другой стороны, я настолько горжусь столь близким знакомством с вашей милостью, чтобы не сомневаться в том, что известного рода легкость, какую я заметил в вашем обхождении с женщинами, во всяком случае не коснется меня и что ваша милость не захочет подвергнуть опасности своего верного слугу, опрометчиво выдав его тайну.

— Сеньор Бускерос, — возразил кавалер, — я вовсе не просил тебя восхвалять меня в столь панегирических тонах.

— Я это знаю, — сказал Бускерос, — но панегирик вашему высочеству всегда оказывается на устах тех, кто удостоился чести познако-

миться с вами. Историю, о которой ваша милость изволит меня спрашивать, я начал рассказывать молодому негоцианту, коего мы недавно женили на прекрасной Инес.

— Но ты не закончил ее, Лопес Суарес повторил ее маленькому Аварито, который передал ее мне. Ты остановился на том, что Фраскета рассказывала тебе свою историю в саду, герцог Аркос же, переодетый в женское платье и выдававший себя за ее подругу, подошел к тебе и сказал, что ты должен ускорить отъезд Корнадеса и хочет, чтобы этот последний не ограничился простым паломничеством, но чтобы он некоторое время совершал покаяние в одном из святых мест.

— У вашей милости, — прервал Бускерос, — завидная память. В самом деле, именно с этими словами обратился ко мне сиятельный герцог: так как, однако, история жены уже известна вашей милости, то ради сохранения порядка мне следует приступить к истории мужа и рассказать, каким образом он свел знакомство с проклятым пилигримом по имени Эрвас.

Кавалер Толедо уселся и добавил, что завидует герцогу, ведь у него была такая любовница, как Фраскета, и что он, Толедо, всегда любил заносчивых и наглых женщин, но что та особа в этом смысле превзошла всех, каких он доселе знал. Бускерос двусмысленно улыбнулся, после чего повел такую речь:



История Корнадеса

Муж Фраскеты был сыном мещанина из Саламанки; фамилия его — Корнадес — была истинно знаменательной, ибо некая рогатость проглядывала уже и в самом звучании оной. Долгое время он занимал какую-то скромную должность в одной из городских канцелярий и одновременно вел мелкую оптовую торговлю, снабжая нескольких торговцев в розницу. Затем он получил значительное наследство и решил, подобно большинству родичей своих, предаться исключительно ничегонеделанию. Все занятие его состояло в посещении церквей, мест общественных сборищ, да еще в самозабвенном курении сигар.

Ваша милость скажет, конечно, что злополучный Корнадес, коему было присуще столь исключительное тяготение к покою, не должен был жениться на первой попавшейся шалунье, которая строила ему рожицы в окне; но в том-то, собственно, и заключается великая загадка сердца человеческого, что никто не поступает так, как должен поступать. Один все счастье свое усматривает в скорейшей женитьбе, всю жизнь свою обдумывает, кого ему выбрать в жены, и умирает, наконец, холостым; другой клянется никогда не жениться, и, несмотря на это, всю жизнь меняет жен. Вот так женился и наш Корнадес. Сначала счастье его было неописуемым; вскоре, однако, он начал задумываться и сокрушаться, в особенности, когда узрел, что у него на шее сидит не только женолюбивый граф де Пенья Флор, но сверх того еще и тень его, которая, к превеликому огорчению несчастного супруга, ускользнула из адского пекла. Корнадес погрузился и перестал разговаривать с людьми. Вскоре он велел стелить себе на ночь в кабинете, где стояла молитвенная скамеечка с пюпитром, чтобы удобнее было преклонять колени, обращаясь к господу, да еще кропильница. Днем он редко видел жену свою и чаще, чем когда-либо, ходил в церковь.

Однажды он стоял рядом с каким-то паломником, который вперил в него столь устрашающий, столь леденящий душу взор, что Корнадесу пришлось в величайшем смятении выйти из церкви. Вечером он вновь встретил его на прогулке и с тех пор встречал его везде и всюду. Где бы ни находился, где бы ни обретался несчастный увалень, неподвижный и пронизательный взор пилигрима вселял в его сердце невыразимую муку. Наконец, Корнадес, преодолев врожденную боязливость, сказал:

— Господин мой, я пожалуюсь на тебя алькаду, ежели ты не перестанешь меня преследовать.

— Преследовать! Преследовать! — возразил пилигрим мрачным, заморозившим голосом. — Я в самом деле преследую тебя, но куда же денутся твои сто дублонов, данные тобою в уплату за голову, и коварно умерщвленный человек, который умер без покаяния, ну что? Разве я не угадал?

— Кто ты? — спросил Корнадес, объятый страхом.

— Я проклят, — ответил пилигрим, — но возлагаю упования свои на милосердие божие. Слышал ли ты когда-нибудь об ученом Эрвасе?

— Мне прожужжали все уши, рассказывая его историю, — сказал Корнадес. — Это был безбожник, который плохо кончил.

— Да, это он самый, — сказал пилигрим. — Я его сын, с рождения проклятый и запятанный, как бы отмеченный некоей каиновою печатью, но зато взамен мне была дарована способность открывать пятна на челе грешников и наставлять их на стезю спасения. Идем со мною, несчастная игрушка сатаны, познакомимся поближе.

Пилигрим проводил Корнадеса в сад отцов-целестинов и, присев рядом с ним на скамью в одной из самых безлюдных и уединенных аллей, так начал ему рассказывать историю своего родителя:

*История Диего Эрваса,
рассказанная сыном его,
Проклятым Пилигримом*



Меня зовут Блас Эрвас. Отец мой, Диего Эрвас, в юном возрасте посланный в Саламанку, поразил весь тамошний университет необычайным рвением к наукам. Вскоре он намного опередил своих коллег, несколько же лет спустя знал больше всех своих профессоров. И тогда, запершись в своей каморке, где он корпел над глубочайшими творениями первейших знатоков во всех науках, он возымел благую надежду достичь такой же славы, как они, и вознамерился еще настолько прославить свое имя, дабы оно впоследствии упоминалось благодарными потомками вместе с именами знаменитейших ученых всех времен и народов.

С этой жаждой, как видишь, совершенно неумеренной, Диего сочетал еще и другую. Он хотел издавать свои творения анонимно и только тогда, когда ценность их будет всеми признана, открыть свое имя и прославиться сразу и навеки. Возмечтав об этом, он рассудил, что Саламанка — это отнюдь не тот небосклон, на коем великолепная звезда его судьбы могла бы обрести надлежащий блеск, и обратил свои взоры к Мадриду. Там, без сомнения, люди, отмеченные гением, умели снискать надлежащее им уважение, великие почести, высокое доверие министров и даже милость короля.

Диего вообразил затем, что только столица способна по справедливости оценить его необыкновенное дарование. Юный наш ученый неотступно размышлял о геометрии Картезиуса, анализе Гарриота¹, о произведениях Ферма² и Роберваля³. Он ясно видел, что великие эти гении, прокладывая дороги науки, все же двигались вперед неуверенным шагом. Он сочетал воедино все их открытия, присовокупил к оным соображения, кои до сих пор никому и в голову не приходили, и представил поправки к употребляемым тогда логарифмам. Эрвас около года трудился над своим детищем. В те времена сочинения геометрического характера писались только по-латыни; заботясь о большем распространении своего труда, Эрвас написал его по-испански; ради усиления же общего интереса он озаглавил этот труд следующим образом: «Открытие тайны анализа бесконечно малых, с присовокуплением известия о бесконечностях в каждом измерении».

Когда рукопись была уже завершена, мой отец как раз отметил свое совершеннолетие и получил по этому поводу уведомление от своих опекунов; одновременно они свидетельствовали ему, что его состояние, которое, как полагали вначале, равнялось восьми тысячам пистолей, по причине разных непредвиденных обстоятельств сократилось до восьмисот пистолей, каковые, после подписания им правительственной квитанции о выходе из-под опеки, немедленно будут ему вручены. Эрвас подсчитал, что ему потребуется именно восемьсот пистолей на оплату за издание его манускрипта, а также на расходы, связанные с поездкой в Мадрид; посему он с легкой душой подписал опекунскую квитанцию, получил деньги и представил рукопись в цензуру. Цензоры из богословского отделения начали было ставить ему препоны, поскольку анализ бесконечно малых величин, по их мнению, способен был привести к атомам язычника Эпикура⁴, учение коего было небезосновательно проклято церковью. Когда же им было объяснено, что речь в данном случае идет всего лишь об отвлеченных величинах, а вовсе не о неких материальных частицах, суровые цензоры смягчились и перестали упорствовать.

Из цензуры рукопись отправилась к типографщику. Это был испанский том *in octavo**, для обнародования коего следовало отлить недостающие алгебраические символы и прочие знаки. Таким образом, напечатание тысячи экземпляров обошлось юному автору в семьсот пистолей. Впрочем, Эрвас тем охотнее пожертвовал ими, что надеялся за каждый экземпляр получить по три пистоля, что обещало ему две тысячи пистолей чистого барыша. Хотя он не был корыстолюбив и не гнался за доходом, однако испытывал известную приятность, мечтая о заприходовании этой кругленькой суммы.

Печатание длилось свыше полугода. Эрвас сам держал корректуру, и нудное это занятие стоило ему больших усилий, нежели само сочинение. Наконец, самая вместительная повозка, какую только можно было найти в Саламанке, доставила к дверям его квартиры огромные тюки, содержащее коих, как он чистосердечно надеялся, обещало ему великую славу при жизни и бессмертие в грядущем.

На следующий день Эрвас, упоенный радостью и одурманенный надеждой, навьючил своим творением восемь мулов, сам сел на девятого и отправился в Мадрид. Прибыв в столицу, он спешился у лавки книгопродавца Морено и возвестил оному книжнику:

— Сеньор Морено, сии восемь мулов доставили девятьсот девяносто девять экземпляров ученого труда, тысячный экземпляр коего я имею честь вручить тебе безвозмездно. Сто экземпляров ты, сеньор, можешь продать ради собственного барыша за триста пистолей, а об остальных

* В одну восьмую (лат.).

благоволишь дать мне отчет. Я льщу себя надеждой, что на протяжении нескольких недель все книги будут раскуплены и что я смогу, следственно, предпринять второе издание, к коему непременно прибавлю некоторые соображения, каковые пришли мне в голову уже во время печатания.

Морено, казалось, усомнился, что книга будет так быстро распродана, но, увидав, что саламанские цензоры ее разрешили, приютил все восемь тюков в своем обширном складе и, заодно, выставил в лавке несколько экземпляров на продажу. Эрвас же отправился в трактир, где снял комнату и тотчас же погрузился в ученые соображения, которые намеревался присовокупить ко второму изданию.

По прошествии трех недель наш геометр рассудил, что самое время отправиться к Морено, дабы получить причитающееся за проданные книги, полагая, что он принесет домой по меньшей мере тысячу пистолей. Он отправился к книгопродавцу и с неслыханным сокрушением узнал, что доселе не продано еще ни одного экземпляра. Вскоре еще более чувствительный удар настиг его, ибо, вернувшись в трактир, он неожиданно-негаданно застал у себя в комнате придворного альгвазила, который без дальних разговоров велел ему сесть в наглухо запирающийся экипаж и незамедлительно доставил его прямо в Сеговийскую башню⁵.

Кажется странным, что с геометром обошлись как с государственным преступником, но причина этому была следующая: экземпляры, выставленные в лавке у Морено, попали вскоре в руки нескольких любопытствующих завсегдатаев оной лавки. Один из них, прочитав заглавие «Открытие тайны анализа», сказал, что это, по всей вероятности, какой-то противуправительственный пасквиль; другой, присмотревшись повнимательнее к заглавию, прибавил со злорадной усмешкой, что этот фолиант всенепременно есть не что иное, как сатира на дона Педро де Аланьес, министра финансов, потому что слово анализ — анаграмма фамилии Аланьес, а дальнейшая же часть заглавия «о бесконечностях в каждом измерении» явно относится к этому министру, который в материальном смысле был бесконечно малым и бесконечно тучным, нравственно же — бесконечно надменным и в то же время — бесконечно простодушным. По этой шутке легко сделать вывод, что завсегдатаям книжной лавки сеньора Морено можно было говорить все, что вздумается, и что правительство смотрело сквозь пальцы на вольные выходки этой маленькой хунты насмешников и краснобаев.

Люди, хорошо знающие Мадрид, знают также и то, что в известном смысле столичное простонародье равно высшим классам; его занимают те же самые события, оно разделяет те же самые мнения, а великосветские остроты и эпиграммы передаются из уст в уста и на самых бедных улицах испанской столицы. То же самое произошло с ехидными колкостями завсегдатаев книжной лавки сеньора Морено. Вскоре все цирюльники и брадобреи, а за ними и весь народ выучили эти остроты на память. С тех

самых пор министра Аланьеса называли уже не иначе, как сеньором «Анализ бесконечностей». Вельможа этот привык уже к неприязни, какую возбуждал в народе, и не обращал на нее ни малейшего внимания. Однако, задетый прозвищем, слишком часто достигающим его ушей, он осведомился однажды у своего секретаря, что оно, собственно, значит. Он получил ответ, что начало этой шутке положила некая математическая книга, которая продавалась у Морено. Министр, не входя в детали, приказал сперва посадить автора, а вслед за сим конфисковать издание.

Эрвас, не зная причины столь сурового наказания, запертый в Сеговийской башне, лишенный перьев и чернил, не ведая, когда его выпустят на свободу, решил, дабы сделать более приятным скучное свое времяпрепровождение, припомнить все свои познания, то есть вспомнить все, что он знал из каждой науки. И тогда он с величайшим удовлетворением уразумел, что ему и впрямь удалось сочетать в своей беспредельной памяти весь гигантский объем разнообразных познаний рода человеческого, и что он, Эрвас, смог бы, как некогда Пико делла Мирандола⁶, одержать победу на диспуте *De omni scibili* *.

Воспламененный жаждой прославить свое имя в ученом мире, он вознамерился создать труд, состоящий из целых ста томов, который должен был заключать в себе все, что в те времена знали люди. Он хотел издать его анонимно. Люди, без сомнения, должны были подумать, что произведение это — детище некоего ученого сообщества; вот тогда-то Эрвас и собирался открыть свое имя и мгновенно завоевать славу и репутацию всезнающего философа и универсального мудреца. Следует признать, что силы его ума и в самом деле соответствовали этому титаническому предприятию. Он сам прекрасно это чувствовал и всею душой предался намерению, которое льстило двум страстям его души: любви к наукам и любви к собственной персоне.

Шесть недель, таким образом, пробежали для Эрваса незаметно; когда этот срок миновал, правитель тюремного замка вызвал его к себе. Узник застал там первого секретаря министра финансов. Человек этот поклонился ему с известного рода почтением и сказал:

— Дон Диего, ты хотел войти в свет без всякого покровителя, что было чрезвычайно большим безрассудством, ибо, когда тебя обвинили, никто не стал тебя защищать. А обвинили тебя в том, что ты написал в виде «Анализа бесконечно малых» пасквиль на министра финансов; дон Педро де Аланьес, справедливо разгневанный, приказал сжечь весь тираж твоего труда, но, ограничившись сим удовлетворением, склонен простить тебя и предлагает тебе в своей канцелярии должность контадора. Тебе будут доверены известные счета, невероятная запутанность которых при-

* Обо всем, что можно знать (лат.).

чиняет нам большие хлопоты. Выйди из этого узилища, в которое ты никогда больше не вернешься.

Эрвас сперва впал в печаль, узнав, что сожжены 999 экземпляров его творения, которое стоило ему таких усилий, но, так как он теперь решил утвердить свою славу на ином основании, вскоре утешился и отправился занять предложенное ему место.

Там ему вручили реестры аннат, таблицы учета векселей со скидкой для тех, кто платит наличными, и другие тому подобные вычисления, которые он осуществил с невероятной, непостижимой и несказанной легкостью, сразу же снискав уважение приятно удивленного начальства. Ему тут же выплатили жалованье за четверть года вперед и предоставили квартиру в доме, принадлежавшем финансовому ведомству.

Едва цыган досказал эти слова, его вызвали по делам табора, и нам пришлось до следующих суток отсрочить удовлетворение нашего любопытства.

День сорок девятый

Поутру мы собрались в пещере; Ревекка заметила, что Бускерос с превеликой ловкостью сочинил свой рассказ.

— Заурядный интриган, — говорила она, — для устрашения Корнадеса ввел бы призраки, закутанные в саваны, призраки эти произвели бы на него мимолетное впечатление, которое, впрочем, развеялось бы после нескольких минут размышления. Однако хитроумный Бускерос поступает иначе: он старается воздействовать на Корнадеса одними только словами. Все знают историю безбожника Эрваса. Иезуит Гранада¹ привел ее в примечаниях к своему труду. Проклятый Пилигрим делает вид, что он сын Эрваса, дабы еще более ужаснуть робкую душу Корнадеса.

— Ты слишком поспешно выносишь свое суждение, — возразил старый вожак. — Пилигрим мог и в самом деле быть сыном атеиста Эрваса и нет сомнения, что того, о чем он говорит, ты не найдешь в легенде, о которой упоминаешь; мы встречаем там только некоторые подробности о смерти Эрваса. Но изволь терпеливо выслушать эту историю до самого конца.



Продолжение истории Диего Эрваса, рассказанной сыном его, Проклятым Пилигримом

Итак, Эрвасу возвратили свободу и обеспечили его средствами к существованию. Работа, которую требовали от него, отнимала у него едва несколько утренних часов, и поэтому он мог свободно предаться осуществлению своего великого намерения, напрягая все силы своего гения и наслаждаясь своими познаниями. Наш славянолюбивый сочинитель решил каждой науке посвятить по одному тому in octavo. Сочтя, что язык является свойством, присущим только человеку, он посвятил первый том всеобщей грамматике. Он изложил в ней бесконечно многообразные способы, посредством которых в разных языках выражаются различные части речи и оформляются разнообразные компоненты мыслительного процесса.

Затем от внутреннего мышления человека переходя к понятиям, которые ему внушают окружающие предметы, Эрвас посвятил второй том общему естествознанию, третий — зоологии, или науке о животных, четвертый — орнитологии, или ознакомлению с птицами, пятый — ихтиологии, или науке о рыбах, шестой — энтомологии, то есть науке о насекомых, седьмой — сколекологии, или науке о червях, восьмой — конхологии, или ознакомлению с раковинами, девятый — ботанике, десятый — геологии, то есть науке о строении Земли, одиннадцатый — литологии, или науке о камнях, двенадцатый — ориктологии, или науке об окаменелостях, тринадцатый — металлургии, искусству добывания и переработки металлов, четырнадцатый — докимастике, то есть пробирному искусству, способам испытания металлических руд на содержание в них металла.

Засим Эрвас вновь занялся человеком: пятнадцатый том заключал в себе физиологию, или науку о человеческом организме, шестнадцатый — анатомию, семнадцатый — миологию, то есть науку о мышцах, восемнадцатый — остеологию², девятнадцатый — неврологию, двадцатый — флебологию, то есть науку о системе вен.

Двадцать первый том был посвящен общей медицине, двадцать второй — нозологии, или науке о болезнях, двадцать третий — этиологии, то есть науке об их причинах, двадцать четвертый — патологии, или науке о страданиях, какие они, то есть недуги, вызывают, двадцать пятый — семиотике, или ознакомлению с симптомами недугов, двадцать шестой — клиникке, то есть учению о способах обращения с тяжелобольными, двадцать седьмой — терапевтике, или учению об исцелении (труднейшему из всех учений), двадцать восьмой — диететике, или ознакомлению с наилучшим образом питания, двадцать девятый — гигиене, то есть искусству сохранения здоровья, тридцатый — хирургии, тридцать первый — фармации, тридцать второй — ветеринарии. Далее следовали том тридцать третий, заключающий в себе общую физику, тридцать четвертый — физику специальную, тридцать пятый — экспериментальную физику, тридцать шестой — метеорологию, тридцать седьмой — химию, а потом шли лженауки, к которым привела все та же химия, а именно: тридцать восьмой том, посвященный алхимии, и тридцать девятый, касающийся проблем герметической философии³.

После естественных наук следовали другие, обусловленные состоянием войны; а ведь война, как полагают многие, также является присущим человеку свойством, посему том сороковой содержал в себе стратегию, или искусство воевать, сорок первый — кастраметацию, то есть искусство устройства лагерей, сорок второй — учение о фортификациях, сорок третий — подземную войну, или науку о минах, сапах и подкопах, сорок четвертый — пиротехнику, то есть науку об артиллерии, сорок пятый — баллистику, или искусство метания тяжелых тел. Правда, в последнее время место этого искусства заняла артиллерия, но Эрвас, если так можно выразиться, воскресил баллистику благодаря своим ученым исследованиям

о метательных машинах, катапультах и баллистах, употреблявшихся в древности.

Переходя к искусствам, которыми люди занимаются в мирное время, Эрвас посвятил сорок шестой том зодчеству, сорок седьмой — сооружению гаваней, сорок восьмой — кораблестроению и сорок девятый — навигации.

После этого, трактуя человека на сей раз как личность, входящую в состав общества, в пятидесятом томе Эрвас поместил законодательство, в пятьдесят первом — гражданское право, в пятьдесят втором — уголовное право, в пятьдесят третьем — государственное право, в пятьдесят четвертом — историю, в пятьдесят пятом — мифологию, в пятьдесят шестом — хронологию, в пятьдесят седьмом — искусство жизнеописания, в пятьдесят восьмом — археологию, или ознакомление с древностями, в пятьдесят девятом — нумизматику, в шестидесятом — геральдику, в шестьдесят первом — дипломатику, или учение о верительных грамотах и документах, в шестьдесят втором — дипломатию, или науку о снаряжении посольств и об улаживании политических дел, в шестьдесят третьем — идиоматологию, то есть всеобщее языкознание, и в шестьдесят четвертом — библиографию, или науку о рукописях, а также о книгах и прочих изданиях.

Затем обращаясь к отвлеченным умственным понятиям, он посвятил шестьдесят пятый том логике, шестьдесят шестой — риторике, шестьдесят седьмой — этике, или учению о нравственности, шестьдесят восьмой — эстетике, то есть анализу впечатлений, какие мы получаем посредством органов чувств.

Том шестьдесят девятый охватывал теософию, или исследование премудрости, проявляющейся в религии, семидесятый — общую теологию, семьдесят первый — догматику, семьдесят второй — топику полемики, или ознакомление с основными принципами ведения дискуссии, семьдесят третий — аскетику, которая учит о набожных упражнениях, семьдесят четвертый — экзегетику, или изложение книг Священного Писания, семьдесят пятый — герменевтику, которая эти книги толкует, семьдесят шестой — схоластику, которая является искусством доказательства в полнейшем отрыве от здравого смысла, и семьдесят седьмой — теологию мистики, или пантеизм спиритуализма.

От теологии Эрвас — быть может, чересчур отважно — перешел в семьдесят восьмом томе к онейромантии, или же к искусству толкования снов. Том этот принадлежал к числу наиболее занимательных разделов его испанского труда. Эрвас показывал в этом томе, каким образом лживые и пустопорожние иллюзии на протяжении долгих веков правили миром. Ибо мы убеждаемся из истории, что сон о тучных и тощих коровах⁴ изменил весь уклад и строй Египта, где арендуемые земельные владения стали с тех пор собственностью монарха. Спустя пятьсот лет мы видим Агамемнона⁵, рассказывающего свои сновидения собравшимся грекам. И, наконец, спустя

шесть веков после завоевания Трои⁶ толкование снов сделалось привилегией вавилонских халдеев и дельфийского оракула.

Семьдесят девятый том заключал в себе орнитомантию, или искусство гадать и ворожить по полету птиц, своеобразное искусство, в котором сильны были, в частности, сицилийские авгуры. Сенека оставил нам сведения об их обрядах.

Восьмидесятый том, самый ученый среди всех прочих, заключал в себе первые зачатки магии, доходя до времен Зороастра и Останеса⁷. Излагалась в нем история этой злополучной науки, которая, будучи истинным стыдом и позором нашего века, обесчестила его начало и до сих пор еще не вполне отвергнута.

Восемьдесят первый был посвящен каббале и разным способам гадания, как-то: рабдомантии, или предсказанию будущего с помощью бросаемых наземь палочек или жезлов, то есть жезлогаданию, а также хиромантии, геомантии⁸, гидромантии⁹ и тому подобным заблуждениям.

От всей этой малопочтенной ахинеи Эрвас внезапно переходил к самым непререкаемым истинам: том восемьдесят второй заключал в себе геометрию, восемьдесят третий — арифметику, восемьдесят четвертый — алгебру, восемьдесят пятый — тригонометрию, восемьдесят шестой — стереотомию, или науку о геометрических телах в применении к шлифованию камней, восемьдесят седьмой — географию, восемьдесят восьмой — астрономию вместе с псевдоученым ее детищем, известным под названием астрологии.

В восемьдесят девятом томе он поместил механику, в девяностом — динамику, или науку о действующих силах, в девяносто первом — статику, то есть учение о силах, пребывающих в равновесии, в девяносто втором — гидравлику, в девяносто третьем — гидростатику, в девяносто четвертом — гидродинамику, в девяносто пятом — оптику и науку о перспективе, в девяносто шестом — диоптрику, в девяносто седьмом — катоптрику¹⁰, в девяносто восьмом — аналитическую геометрию, в девяносто девятом — элементарные понятия о дифференциальном исчислении, и, наконец, сотый том заключал в себе анализ бесконечностей, который, согласно Эрвасу, был искусством искусств и последним пределом, которого мог достичь разум человеческий*.

Глубочайшее знакомство с сотней различных наук могло бы иному показаться превосходящим умственные силы одного человека. Не подлежит, однако, сомнению, что Эрвас о каждой из этих наук написал один том, который начинался с истории данной науки, а завершался замечаниями, преисполненными истинной проникательности, о способах обогащения и — если так можно выразиться — расширения во всех направлениях пределов человеческих познаний.

* В 1780 году испанский экс-иезуит, по фамилии Эрвас, издал в Риме двадцать томов in quarto, заключающих в себе трактаты о различных науках. Происходит он из рода нашего Эрваса (примечание Я. Потоцкого).

Эрвас сумел совершить все это благодаря свойственному ему умению беречь время и особенно благодаря величайшему порядку в распределении оною времени. Он вставал всегда вместе с солнцем и готовился к служебным занятиям в канцелярии, обдумывая дела, которые ему предстояло разрешить. Затем он заходил к министру за полчаса до прихода всех прочих и с пером в руке ждал, когда пробьет назначенный час, — ждал с пером в руке и с головой, свободной от каких бы то ни было мыслей, касающихся его грандиозного творения. Как только раздавался бой часов, Эрвас начинал свои расчеты и завершал их с неизменною быстротой.

Затем он направлялся к книгопродавцу Морено, доверие коего сумел себе завоевать, брал книги, которые ему были нужны, и возвращался домой. Вскоре он выходил из дому, чтобы чем-нибудь подкрепить свои силы, возвращался к себе в первом часу дня и трудился до восьми часов вечера. После трудов праведных он играл в пелоту с соседскими мальчишками, выпивал чашку шоколада и шел спать. Воскресенье он проводил на свежем воздухе, обдумывая труды, предстоящие ему на следующей неделе.

Таким образом Эрвас мог посвятить примерно три тысячи часов в год исполнению и завершению своего универсального труда, что за полтора десятилетия составило в сумме сорок пять тысяч часов. В самом деле, необыкновенный этот труд был закончен втихомолку, так что решительно никто в Мадриде не подозревал о его существовании, ибо нелюдимый Эрвас ни с кем не вдавался в долгие разговоры, никому не говорил о своем труде, желая внезапно удивить мир, развернув перед изумленными очами последнего бесконечное множество своих поразительных познаний. Он завершил труд одновременно с завершением тридцать девятого года своего земного существования и необыкновенно радовался тому, что начнет сороковой год, находясь на пороге заслуженной и безмерной славы.

Тем не менее некая печаль сжимала его сердце. Привычка к непрестанному труду, поддерживаемая всесильным упованием, была для него, необходимого и одинокого, как бы милым обществом, заполняющим без остатка все дни его жизни.

Теперь же он утратил это воображаемое общество, и скука, которой он доколе никогда не испытывал, начала ему досаждать. Состояние это, совершенно новое для Эрваса, выбило его из привычной ему колеи, вырвало из привычного русла той умозрительной жизни, которую он вел доселе.

Он перестал искать одиночества, и с тех пор его часто видели во всех общественных местах. Казалось, будто ему до смерти хочется заговорить со всеми, но, не будучи ни с кем знаком и не имея привычки к ведению беседы, бедняга Эрвас пятился назад, не сказав ни слова. Впрочем, он утешался мыслью, что скоро Мадрид узнает его, будет искать его и говорить только о нем одном.

Снедаемый жадной развлечений, Эрвас решил навестить свои родные края, то самое безвестное местечко, которое он так надеялся прославить.

Вот уже пятнадцать лет единственной забавой, которую он себе позволял, была игра в пелоту с соседскими мальчуганами; теперь его радовала мысль, что он сможет предаться этому развлечению в местах, где он провел свои ранние детские годы.

Перед отъездом, однако, он захотел еще разок налюбоваться видом своих ста томов, расположенных в образцовом порядке на одном большом столе. Рукопись была такого же формата, в каком труд должен был выйти из печати, и Эрвас доверил ее переплетчику, веля ему оттиснуть на корешке каждого тома название соответствующей науки и порядковый номер, начиная с первого на всеобщей грамматике и кончая сотым на анализе бесконечностей. Спустя три недели переплетчик принес книги, стол же был уже приготовлен. Эрвас устал на нем великолепную шеренгу томов, оставшимися же черновиками и копиями с превеликой радостью растопил печь. Засим он запер двери на двойные засовы, наложил на них свою сургучную печать и отбыл в Астурию.

И в самом деле, зрелище родимых краев наполнило душу Эрваса невыразимым наслаждением; тысячи воспоминаний, равно сладостных и невинных, вызывали у него слезы радости, источник коих, как казалось, должны были осушить до дна двадцать лет сухого и изнурительного книгочинства. Наш плодовитый автор охотно провел бы остаток дней своих в родном местечке, но стотомный труд призывал его обратно в Мадрид. И вот он отправляется в столицу, прибывает к себе домой, находит в полной неприкосновенности сургучную печать на дверях, отворяет их... и видит сто своих томов растерзанными в клочья, вырванными из переплетов, со страницами, перемешанными и разбросанными по полу в неимовернейшем беспорядке. Ужасное это зрелище мгновенно помрачило его рассудок; он рухнул на пол среди обрывков своего титанического труда; рухнул наземь и тут же лишился чувств.

Увы! Причина этой катастрофы была следующая: Эрвас до того никогда не питался дома, поэтому крысам, столь многочисленным в других мадридских домах, незачем было заглядывать в его жилье, ибо они нашли бы там только несколько исписанных перьев. Но обстоятельства изменились, когда в комнату внесли сто томов, пропитанных свежим крахмальным клейстером, тем более, что в тот же самый день автор и законный владелец этой сотни томов опрометчиво выехал на лоно природы. Крысы, привлеченные благоуханием крахмального клея и поощренные молчанием, царившим в покинутой квартире, собрались гурьбой, перевернули, погрызли и растерзали тома свежепереплетенного манускрипта...

Эрвас, придя в себя, увидел, как одно из этих безжалостных чудовищ уволакивает в свою нору заключительные страницы его «Анализа»; Эрвас, должно быть, никогда доселе не гневался ни на кого, но теперь он уже не мог сдерживать внезапного гнева; он накинулся на пожирателя своей транс-

цендентальной геометрии, но, не изловив его, стал биться головой об стенку и вновь упал без чувств.

Снова придя в себя, он собрал обрывки, разбросанные по всей комнате, швырнул их в сундук, после чего сел на крышку сего хранилища и предался мрачнейшим раздумьям. Вскоре его всего насквозь пробрала и прохватила дрожь, и бедный ученый впал в желчную лихорадку, сопряженную с сонливостью и горячкой. Несчастливого отдали в руки врачей.

Цыгана позвали по делам его орды, и он отложил на следующий день продолжение своего повествования.

День пятидесятый

Наутро вожак, увидев, что все уже в сборе, повел такую речь:

*Продолжение истории
Диего Эрваса,
рассказанной сыном его,
Проклятым Пилигримом*



Эрвас, обесславленный крысами и покинутый лекарями, нашел, однако, поддержку у женщины, которая ухаживала за ним в дни недуга. Она не жалела усилий, и вскоре благодетельный кризис спас ему жизнь. Это была девица тридцати лет от роду, по имени Марика, которая из жалости пришла ухаживать за ним, вознаграждая тем предупредительность и учтивость, которые Эрвас проявлял, когда по вечерам нередко беседовал с ее отцом, старым сапожником, обитавшим по соседству. И теперь, выздоровев, наш ученый почуствовал, что обязан ее отблагодарить.

— Марика, — сказал он ей, — ты спасла мне жизнь и услаждаешь ныне дни моего выздоровления. Скажи, что я могу для тебя сделать?

— Ты мог бы, сеньор, осчастливить меня, — отвечала она, — но я не смею сказать, каким образом.

— Говори, — прервал ее Эрвас, — и будь уверена, что я сделаю все, что будет в моих силах.

— А если бы, — сказала Марика, — я попросила, чтобы ты на мне женился?

— С величайшей охотой и от всей души, — ответил Эрвас. — Ты будешь кормить меня, когда я буду здоров, будешь ухаживать за мной в дни болезни и отстоишь мое жилье от крыс, если я на какое-то время выеду из дому. Да, Марика, я женюсь на тебе, как только ты сама этого захочешь, и чем раньше это случится, тем лучше.

Эрвас, еще не вполне восстановивший свои силы, приподнял крышку сундука, заключающего в себе остатки энциклопедии. Он хотел собрать ненужные, исписанные бумаги и впал в рецидив, который весьма подорвал его силы. Выздоровев и окончательно придя в себя, он тотчас же отпра-

вился к министру финансов, коему заявил, что трудился свыше пятидесяти лет и воспитал учеников, которые в состоянии его заменить; заявил также, что надорвал себе здоровье, и попросил уволить его со службы и назначить ему пожизненную пенсию, равную половине его оклада. В Испании подобной милости нетрудно добиться. Эрвас получил, чего хотел, и женился на Марике.

Тогда наш ученый совершенно изменил свой прежний образ жизни. Он снял квартиру в отдаленной части города и решил не выходить из дому, пока не восстановит свои сто томов. Крысы безжалостно изгрызли всю бумагу, прилегающую к корешкам томов, и оставили только сильно поврежденные внешние половины страниц; однако Эрвасу этого было вполне достаточно, чтобы припомнить все остальное. Так он начал восстанавливать свой исполинский труд. А между тем он совершил еще и иное совсем другого рода деяние, Марика произвела на свет меня, меня, Проклятого Пилигрима. Ах, увы, день моего рождения, конечно, праздновали в адских безднах; вечное пламя сей жуткой резиденции вспыхнуло новым сиянием, а дьяволы удвоили муки проклятых, дабы тем больше наслаждаться их воплями, хрипами и стенаниями.

Пилигрим, договорив эти слова, казалось, погрузился в глубокое отчаяние, залился слезами и потом, обращаясь к Корнадесу, молвил:

— Нынче я уже не в силах больше рассказывать. Приходи сюда завтра в это самое время, но не смей не явиться, ибо речь идет здесь о твоём спасении или погибели.

Корнадес вернулся домой с душой, исполненной ужаса; среди ночи покойник Пенья Флор вновь разбудил его и считал у него над самым ухом все дублоны, с первого до сотого. Наутро Корнадес отправился в сад отцов-целестинов и застал там уже Проклятого Пилигрима, который продолжал свой рассказ следующим образом:

Спустя несколько часов после моего появления на свет, мать моя умерла. Любовь и дружба были знакомы Эрвасу лишь по определению этих двух чувств, помещенному им в шестьдесят седьмом томе его грандиозного труда. Потеря супруги доказала ему, однако, что и он также был создан для дружбы и любви. И в самом деле, на сей раз он впал в еще более глубокую печаль, чем тогда, когда крысы сожрали его многотомное творение. Маленький домик Эрваса сотрясаясь от воплей, какими я оглашал его. Невозможно было дольше оставлять меня в нем. Дед мой, сапожник Мараньон, принял меня к себе, счастливый тем, что будет под кровом своим воспитывать внука, который является отпрыском контадора и дворянина. Дед мой, добропорядочный ремесленник, был человеком с достатком. Он послал меня в школу, а когда мне исполнилось шестнадцать, одел меня в изысканный наряд и позволил наслаждаться ничегонеделанием, разгули-

вая по улицам Мадрида. Он считал, что достаточно вознагражден за свои труды уже тем, что вправе говорить мимоходом и вскользь: *Mio nieto, el hijo del contador* — мой внук, сын контадора. Но позволь мне вернуться к моему отцу и к его, хорошо тебе известной, горестной судьбе. О, если бы она могла послужить назиданием и примерным уроком безбожникам!

В течение восьми лет Диэго Эрвас восполнял пробелы, причиненные крысами. Труд его был уже почти завершен, когда из иноземных газет, попавших в его руки, он узнал, что за последние годы наука заметно продвинулась вперед. Эрвас вздохнул, ибо необходимо было расширить труд; однако, так как он не хотел, чтобы творение его было неполным, ему пришлось присовокупить к каждой науке совсем недавние, вновь совершенные открытия. Работа эта отняла у него еще четыре года; так он провел двенадцать лет, почти не выходя из дому и вечно корпя над творением своим.

Сидячий образ жизни окончательно подорвал его здоровье. Он стал испытывать боли в бедрах, боль в крестце; его мучили камни в мочевом пузыре, и, помимо всего прочего, у него замечались еще и иные симптомы — зловещие предвестники подагры. Однако стотомная энциклопедия была, наконец, завершена. Эрвас пригласил к себе книгопродавца Морено, сына того самого, который некогда выставил на продажу приснопамятный и злополучный «Анализ», и сказал ему:

— Сеньор Морено, ты видишь перед собой сто томов, которые объемлют собой всю беспредельность познаний человеческих. Энциклопедия сия принесет честь твоему торговому делу, и я даже смело могу сказать — всей Испании. Я не требую платы за рукопись; благоволи только все милосерднее предать ее тиснению, чтобы достопамятный мой труд не пропал напрасну.

Морено перелистал все тома, внимательно просмотрел их один за другим и сказал:

— Я охотно возьмусь напечатать этот труд, но тебе, дон Диэго, придется сократить его до двадцати пяти томов.

— Оставь меня в покое, — возразил Эрвас, придя в глубочайшее негодование, — оставь меня, возвращаясь в твою лавчонку и печатай всяческую срамную писанину, романную или глупо-ученую, которая решительно позорит Испанию. Оставь меня наедине с моими камнями в мочевом пузыре и моим гением, за который человечество, если бы оно только могло узнать о моем существовании, наградило бы меня почестями и окружило бы всеобщим уважением. Но теперь я уже ничего не требую от людей, а тем более — от книгопродавцев. Оставь меня в покое!

Морено ушел, Эрвас же впал в мрачнейшую меланхолию. У него неотступно стояли перед глазами его сто томов, детища его гения, зачатые с наслаждением, произведенные на свет в муках, хотя и не без удовольствия, а теперь — тонущие в волнах забвения. Он видел, что попусту растратил всю свою жизнь и подорвал существование свое в настоящем и бу-

дущем. Именно тогда разум его, изощренный непрестанным проникновением в тайны природы, к несчастью, стал углубляться в бездны человеческих бедствий, и Эрвас, измеряя эти глубины, открывал повсюду зло, ничего не видел, кроме зла; и вот он воззвал в душе:

— Творец зла, кто ты таков?

Эрвас сам устрасился этой мысли и решил установить, должно ли зло, чтобы существовать, быть прежде сотворенным. Вскоре он начал размышлять об этой загадке в более широком смысле. Он обратился к силам природы и приписал материи энергию, которая, как ему казалось, объясняла все на свете, устрняя малейшую необходимость признать существование создателя.

Что же касается человека и животных, то он приписывал начало их существования изначальной кислоте, которая, вызывая ферментацию материи, придает ей постоянные формы, почти так же, как кислоты кристаллизуют щелочные и земные начала в подобные себе многогранники. Он считал губчатую материю, порождаемую влажной древесиной, звеном, соединяющим кристаллизацию окаменелостей с растительным и животным царствами и выявляющим если не тождественность этих процессов, то, по крайней мере, их весьма близкое сходство.

Эрвас, преисполненный познаний, без труда обосновал свою ложную систему софистическими доводами, направленными к затмению умов. Так, например, он находил, что мулы, происходящие от двух видов животных, могут быть сравниваемы с солями, возникающими от смешения начал, кристаллизация коих не является прозрачной. Реакция некоторых минералов, образующих пену в сочетании с кислотами, представлялась ему напоминающей ферментацию слизистых растений; эти последние он считал началом жизни, которая, вследствие отсутствия благоприятных обстоятельств, не смогла развиваться в большей степени.

Эрвас подметил, что кристаллы в процессе образования оседают в наиболее освещенных областях раствора и с трудом образуются в темноте. Поскольку, однако, свет содействует равным образом и растительности, он счел световой флюид одним из элементов, из которых слагается универсальная кислота, оживляющая и животворящая природу. Он видел также, что от воздействия света, по прошествии некоторого времени лакмусовая бумага краснеет, и это был для него еще один повод признать свет кислотой*.

Эрвас знал, что в высоких географических широтах, то есть близ полюсов, кровь, вследствие царящего там холода, подвержена ощелачиванию и что для того, чтобы справиться с этим состоянием, следует добавлять

* Эрвас умер примерно в 1660 году: следовательно, его познания в области физики были более чем ограниченны. Универсальная кислота Эрваса напоминает ту изначальную кислоту, о которой говорит Парацельс (*Примечание Я. Потоцкого*).

в пищу кислоты. На основании этого он сделал предположение, что поскольку кислота способна в известных случаях заменять тепло, то последнее должно быть своего рода кислотой или, по крайней мере, одним из элементов универсальной кислоты.

Эрвас узнал, что грозы подкисляют вино и вызывают его брожение. Он читал в «Санхуниатоне», что при сотворении мира грома небесные вдохнули жизнь в существа, предназначенные для жизни, и злосчастный наш ученый не страшился опереться на эту языческую космогонию, чтобы доказать, что материя молнии могла привести в действие рождающую кислоту, бесконечно разнообразную, но непрестанно создающую одни и те же формы.

Стремясь проникнуть в тайну творения, Эрвас должен был воздать всю хвалу творцу, и он так бы и поступил, но его ангел-хранитель покинул его, и разум ученого Эрваса, помраченный гордыней познания, также оставил его, превратив его тем самым в безоружную игрушку надменных духов, падение коих повлекло за собой гибель света.

Увы! В то время, когда Эрвас возносил свои грешные мысли превыше сферы человеческого разумения, близкое уничтожение грозило его брэнной земной оболочке. В довершение зла, к затяжным его недугам прибавились острые болезни. Боли в бедрах усилились, и у него отнялась правая нога; камни начали пробивать мочевой пузырь; подагра, поражающая руки, искривила пальцы левой и начала угрожать пальцам правой, и, ко всему в придачу, жесточайшая меланхолия подорвала в одно и то же время силы его души и тела. Он страшился свидетелей своего унижения, оттолкнул мои старания помочь ему и не хотел меня видеть вовсе. Некий дряхлый инвалид употребил остатки сил своих на уход за ним. Наконец и этот последний занемог, и родителю моему пришлось примириться с моим присутствием.

Вскоре деда моего Мараньона также поразила гнилая горячка. Проболел он только пять дней и, почувствовав, что смерть близка, призвал меня к себе и сказал:

— Блас, дорогой мой Блас, я хочу тебя благословить перед кончиной. Ты родился от ученого отца, но хорошо бы, если бы небо уделило ему поменьше этой учености. Впрочем, к счастью для тебя, дед твой — человек простой в вере и в поступках и воспитал тебя в такой же простоте. Не дай твоему отцу сойти с пути истинного: вот уже несколько лет он вовсе не заботится о религии, и мнений его устыдился бы не один еретик. Блас, не доверяй мудрости людской; спустя несколько мгновений я стану мудрее, чем все философы на свете! Блас, благословляю тебя — умираю.

И в самом деле, сказав это, он испустил дух.

Я исполнил свой последний долг и возвратился к отцу, которого не видел уже четыре дня. Тем временем старый инвалид также преставился, и братья милосердия занялись его погребением. Я знал, что отец мой остался

в одиночестве, и хотел позаботиться о нем, но, когда я вошел к нему, необычайное зрелище поразило мой взор, и я застыл в прихожей, охваченный невыразимым ужасом.

Мой отец сбросил все платье и завернулся в простыню, словно в саван. Он сидел, вперив взор в догорающие закатные лучи. Долгое время он молчал, затем возвысил голос и изрек:

— Звезда, меркнувший луч которой в последний раз отразился в моих очах, зачем ты озарила день моего рождения? Разве я хотел явиться на свет? И для чего я пришел в этот мир? Люди сказали мне, что у меня есть душа, и я занялся воспитанием ее, пренебрегая своим телом. Я усовершенствовал свой разум, но крысы сожрали мой труд, а книготорговцы погнушались им. Ничего от меня не останется, я исчезаю весь, без следа, как если бы никогда не являлся на свет. Небытие, поглотит добычу свою!

Эрвас некоторое время был погружен в мрачные размышления, затем взял кубок, наполненный, как мне показалось, старым вином; возвел очи горé и произнес:

— Боже, ежели ты существуешь, смилуйся над моей душой, если я обладаю оной!

Сказав это, он осушил кубок и поставил его на стол; затем приложил руку к сердцу, как если бы ощутил в нем болезненное стеснение. Рядом был приготовлен другой стол, устланный подушками; Эрвас растянулся на нем, скрестил руки на груди и не произнес более ни слова.

Ты удивляешься, что, видя все эти приготовления к самоубийству, я не выхватил у него кубок и не позвал на помощь. Сейчас я и сам этому удивляюсь, но в то же время помню, что какая-то сверхъестественная сила приковала меня к месту, так что я не мог сделать ни малейшего движения. Только волосы мои встали дыбом от ужаса.

Братья милосердия, которые похоронили нашего инвалида, нашли меня именно в таком состоянии. Они увидели, что отец мой лежит на столе, закутанный в саван, и спросили меня, скончался ли он. Я ответил, что ничего об этом не знаю. Тогда они спросили, кто окутал его в саван. Я сказал, что он сделал это сам. Они осмотрели тело и увидели, что он мертв. Заметили стоящий рядом кубок с остатками какого-то питья и забрали его с собой, чтобы убедиться, нет ли в нем следов отравы, после чего вышли, явно негодуя и оставив меня в неопишимо угнетенном состоянии. Наконец явились люди из церковного прихода, они спрашивали меня о том же самом и, уходя, ворчали:

— Он умер, как жил; погребение его не наше дело.

Я остался наедине с усопшим. Совершенно утратил отвагу, а вместе с ней способность чувствовать и мыслить. Бросился в кресло, в котором еще недавно восседал мой отец, и снова впал в оцепенение.

Ночью небо покрылось тучами, и внезапная буря распахнула окно. Голубоватая молния пролетела рядом со мной и погрузила комнату в еще

большую тьму, чем прежде. В этой тьме я заметил как бы некие фантастические образы; тело моего отца издало долгий протяжный стон, далекое эхо которого разнеслось в пространстве. Я хотел встать, но не мог двинуться, как если бы я был прикован к месту. Ледяная дрожь пробежала по моим членам, кровь лихорадочно забилась в жилах, фантастические видения объяли мою душу, и сразу же я погрузился в сон.

Вдруг я вскочил: я увидел шесть длинных восковых свеч, зажженных вокруг тела моего отца, и какого-то человека, сидящего напротив меня, который, казалось, дожидался момента моего пробуждения. Он выглядел благородно и величественно. Роста он был высокого, черные, слегка курчавые волосы падали ему на лоб; взгляд у него был быстрый и пронизательный и в то же время привлекательный и кроткий. На нем были брыджи и серый плащ, похожий на те, какие носят сельские дворяне.

Незнакомец, заметив, что я проснулся, улыбнулся мне учтиво и сказал:

— Сын мой — так я называю тебя, ибо считаю тебя как бы принадлежащим мне — господь и люди покинули тебя, а земля не хочет принять в свое лоно мудреца и виновника дней твоих; однако мы тебя никогда не покинем.

— Ты говоришь, сеньор, — возразил я, — что бог и люди покинули меня. Что касается этих последних, ты прав, но я думаю, однако, что бог никогда не может покинуть ни одно из творений своих.

— Возражение твое в известном смысле не лишено основания, — прервал незнакомец, — и как-нибудь в другой раз я обстоятельней поясню и истолкую тебе все это. А пока, чтобы ты убедился, насколько глубоко мы в тебе заинтересованы, прими этот кошелек с тысячью пистолей. У молодого человека должны быть страсти и средства для их удовлетворения. Не жалея золота и всегда рассчитывай на нас.

С этими словами незнакомец хлопнул в ладоши, и шесть слуг в масках унесли тело Эрваса. Свечи погасли, и в комнате вновь воцарилась тьма. Я не стал оставаться в ней дольше: наощупь добрался до дверей, вышел на улицу и, только увидев небо, усеянное звездами, перевел дух. Тысяча пистолей, которую я ощущал в кармане, придавала мне отваги. Я пробежал через весь Мадрид и очутился на краю Прадо, в уголке, где позднее было водружено исполинское изваяние Кибелы¹. Там я улегся на скамью и вскоре заснул беспробудным сном.

Цыган, досказав эти слова, просил нашего разрешения отложить дальнейший рассказ на следующий день, и в самом деле, в этот день мы его больше не видели.



День пятьдесят первый

Мы собрались в обычное время. Ревекка обратилась к старому вожаку, говоря, что история Диего Эрваса, хотя и известная ей отчасти, все же чрезвычайно ее заинтересовала.

— Мне думается, впрочем, — добавила она, — что слишком много было потрачено сил для обмана бедного супруга, которого можно было спроводить гораздо проще. Возможно, однако, что история атеиста рассказывалась для того, чтобы и так уже оробевшая душа Корнадеса прониклась еще большим страхом.

— Позволь мне сделать замечание, — возразил вожак, — что ты преждевременно судишь о событиях, о которых я имею честь рассказывать. Герцог Аркос был великим и благородным сеньором, а посему, чтобы подольститься к нему, можно было выдумывать и представлять разных лиц; с другой стороны, у меня нет ни малейшего основания предполагать, что именно для этого Корнадесу была рассказана история Эрваса-младшего, о которой ты никогда доселе не слыхала.

Ревекка уверила вожака, что его рассказ ее чрезвычайно занимает, после чего старик так продолжал свою речь:



История Бласа Эрваса, или Проклятого Пилигрима

Я уже сказал тебе, что улегся и заснул на скамье в конце главной аллеи на Прадо. Солнце стояло уже довольно высоко, когда я проснулся. Как мне показалось, я проснулся оттого, что меня задела по лицу платочком, ибо, пробудившись окончательно, я увидел юную девушку, которая отгоняла мух от моего лица, чтобы они не мешали мне спать. Однако я удивился еще больше, заметив, что голова моя мягко покоится на коленях другой юной девушки, дыхание которой я ощущал в своих волосах. Пробуждаясь, я не сделал ни одного резкого движения, и поэтому я смело мог, притворяясь спящим, оставаться в прежнем положении. Я закрыл глаза и вскоре услы-

шал голос, довольно приятный, впрочем, в котором звучал упрек, обращенный к моим нянюшкам:

— Селия, Сорилья, что вы тут делаете? Я думала, что вы еще в церкви, а между тем застаю вас тут за прекрасным богослужением.

— Но, маменька, — возразила девушка, служившая мне подушкой, — разве ты не говорила нам, что поступки являются такой же заслугой, как и молитва? А разве это не милосердный поступок — продлить сон бедному юноше, который, должно быть, провел очень скверную ночь?

— Конечно, — прозвучал в ответ голос, на этот раз скорее со смехом, чем с упреком, — конечно, и в этом есть заслуга. Вот мысль, которая больше доказывает вашу простоту, нежели набожность, но теперь, моя милосердная Сорилья, положи ласково голову этого юноши на скамью — и возвратимся домой.

— Ах, любимая маменька, — возразила юная девушка, — взгляни, как он мирно спит. Вместо того, чтобы его будить, ты бы лучше поступила, если бы развязала эти брыжки, которые его душат.

— Ну как же, — сказала мать, — красивые вы мне даете поручения! Но и в самом деле, у этого юноши чрезвычайно привлекательная наружность.

Одновременно рука ее деликатно потрепала меня под подбородком, развязывая брыжки.

— Так ему даже больше к лицу, — заметила Селия, которая до сих пор не промолвила ни слова, — теперь ему вольнее дышится; так добрые поступки сразу же влекут за собой награду.

— Замечание это, — сказала мать, — свидетельствует в пользу твоего рассудка, но не следует простираť милосердия слишком далеко. Ну, Сорилья, положи ласково эту красивую голову на скамью и идемте домой.

Сорилья осторожно подложила обе руки под мою голову и отодвинула назад колени. Тогда я подумал, что не стоит уже дольше притворяться спящим; я сел и открыл глаза. Мать вскрикнула, дочка хотели бежать. Я задержал их.

— Селия, Сорилья, — сказал я, — вы столь же прекрасны, как и невинны; ты же, госпожа, которая кажешься мне их матерью потому только, что прелести твои более развиты, позволь, чтобы перед тем, как вы меня покинете, я отдал мимолетную дань восхищению, в какое вы все трое меня приводите.

И в самом деле, я говорил им чистую правду. Селия и Сорилья были бы совершеннейшими красавицами, если бы их возраст позволил развиваться их прелестям, мать же их, которой не было еще тридцати лет, казалось, успела пережить только свою двадцать пятую весну.

— Сеньор кавалер, — сказала эта последняя, — если ты только притворялся спящим, то ты мог убедиться в невинности моих дочурок и составить благоприятное мнение об их матери. Я не боюсь теперь перемены твоего

мнения, если я попрошу тебя, чтобы ты соблаговолил проводить нас домой. Знакомство, начатое столь удивительным образом, заслуживает того, чтобы превратиться в доверительную и тесную дружбу.

Я отправился с ними, и мы пришли в их дом, окна которого выходили на Прадо. Дочки умчались на кухню, чтобы приготовить шоколад, мать же, усадив меня рядом с собою, сказала:

— Ты в доме, быть может, несколько чрезмерно роскошном по нашему нынешнему положению, но я сняла его еще в более благополучные времена. Теперь я с превеликой охотой сдала бы внаем первый этаж, но не смею этого сделать. Обстоятельства, в которых я нахожусь, не позволяют мне видеть никого.

— Госпожа, — ответил я, — у меня тоже есть причины жить в уединении и, если бы вы ничего не имели против, я с величайшей охотой занял бы *suarto principal*, то есть первый этаж.

С этими словами я вытащил кошелек, и вид золота устранил возражения, которые незнакомка могла бы мне сделать. Я заплатил вперед за три месяца за стол и квартиру. Мы договорились, что обед будут приносить ко мне в комнату и что верный слуга будет мне прислуживать и ходить в город с моими поручениями.

Когда Селия и Сорилья возвратились с шоколадом, им сообщили об условиях нашего соглашения. Взгляды их, казалось, овладевали целиком моей особой; но взор матери ревниво отказывал им в правах на меня. Я заметил это состязание кокеток и исход его предоставил провидению, сам же занялся исключительно устройством моего нового жилья. Мне не пришлось слишком долго ждать, ибо в нем нашлось все необходимое для удобного и приятного существования. То Сорилья приносила мне чернила, то Селия приходила поставить на моем столе лампу и уложить книги. Они ни о чем не забывали. Они являлись ко мне порознь, а когда порою сталкивались, то тогда, боже мой, сколько было смеху, шуток и веселья! Матушка, в свою очередь, тоже занялась моим устройством, в частности, моей постелью: велела постлать простыни голландского полотна, принести красивое шелковое одеяло и целый ворох подушек.

Хлопоты эти заняли у меня все утро. Наступил полдень. Мне накрыли стол в моей комнате. Я был в восторге. С наслаждением взирал я на эти очаровательные создания, которые, все втроем, наперебой ухаживали за мной и с благодарностью принимали малейшее выражение признательности с моей стороны. Но всему свое время; и я с наслаждением принялся утолять голод, не заботясь пока ни о чем другом.

Отобедав, я взял шляпу и шпагу и отправился в город. Никогда еще я не гулял с таким удовольствием, как тогда. Я был независим, карманы мои были набиты деньгами, я ощущал себя преисполненным здоровья, жизни и благодаря ухаживаниям трех женщин воображал о себе бог весть

что. Но ведь обычно молодежь ценит себя именно настолько, насколько получает в этом смысле подтверждение от особ прекрасного пола.

Я зашел к ювелиру, где накупил перстеньков, оттуда же отправился в театр. Под вечер, вернувшись к себе, я увидел трех женщин у дверей дома. Они мирно сидели там; Сорилья пела, подыгрывая себе на гитаре, а остальные две плели сетки для волос.

— Сеньор кавалер, — сказала мне мать, — ты поселился в нашем доме, оказываешь нам безграничное доверие и, однако, не спрашиваешь, кто мы такие. Я, однако, не намерена ничего от тебя скрывать. Узнай поэтому, сеньор, что меня зовут Инес Сантарес и что я вдова Хуана Сантареса, коррехидора Гаваны. Он женился на мне, не имевшей состояния, и такой же меня оставил с двумя дочерьми, которых ты здесь видишь, без всяких средств к существованию. Когда я овдовела, нужда повергла меня в величайшие хлопоты, и я сама не знала, как быть, когда неожиданно получила письмо от моего отца. Ты позволишь мне умолчать о его имени. Увы! Он тоже всю жизнь боролся с судьбой и, наконец, как он мне сообщал в своем письме, фортуна улыбнулась ему, и он был назначен казначеем военного ведомства. Одновременно с этим он прислал мне вексель на две тысячи пистолей и велел немедленно вернуться в Мадрид. Я приехала, чтобы узнать, что отец мой обвинен в растрате доверенных ему государственных средств и даже в государственной измене и что его посадили в Сеговийскую башню. Тем временем этот дом был уже снят для нас, я въехала и живу в величайшем уединении, никого не видя, за исключением одного молодого чиновника из канцелярии военного министерства. Он приходит сообщать мне о ходе дела моего отца. Кроме него, никто не знает о нашем родстве с несчастным узником.

Досказав эти слова, госпожа Сантарес залилась слезами.

— Не плачь, милая мама, — сказала ей Селия, — как все на свете, и огорчения кончатся когда-нибудь. Видишь, мы уже встретили этого молодого сеньора, наружность которого столь привлекательна. Счастливое это событие, кажется, предвещает добро.

— В самом деле, — прибавила Сорилья, — с тех пор, как он поселился у нас, в нашем уединении уже нет ничего печального.

Госпожа Сантарес взглянула на меня печально и нежно. Дочки тоже, после чего опустили глаза, зарделись, смуглились и предались мечтам. Не было сомнения, все три влюбились в меня; сознание этого наполнило грудь мою счастьем.

В это время к нам подошел какой-то стройный высокий юноша. Он взял госпожу Сантарес за руку, отвел ее в сторону и долго вел с ней тихий разговор. Вернувшись с ним, она сказала мне:

— Сеньор кавалер, вот дон Крестобаль Спарадос, о котором я тебе говорила; единственный человек, с которым мы видимся в Мадриде. Я хотела также и ему сделать приятное, познакомив его с тобой, но, хотя

мы и живем под одним кровом, я до сих пор не знаю, с кем имею честь беседовать.

— Госпожа, — ответил я, — я дворянин, родом из Астурии, зовут меня Леганьес.

Я подумал, что поступлю благоразумнее, не называя фамилию Эрвас, которая могла быть известной моим собеседникам.

Молодой Спарадос смерил меня с головы до пят дерзким взглядом и, казалось, отказывал мне даже в поклоне. Мы вошли в дом, где госпожа Сантарес велела подать легкий ужин — печенье и фрукты. Я все еще был главным предметом ухаживаний трех красавиц, но заметил, что и для вновь прибывшего не жалели взоров и улыбок. Меня задело это, и по-сему, желая обратить на себя все внимание, я удвоил любезности и старался, насколько мог, проявить все свое остроумие. Когда триумф мой сделался очевидным, дерзкий дон Кристобаль закинул правую ногу на левое колено и, рассматривая подошву своего сапога, изрек:

— В самом деле, с тех пор, как сапожник Мараньон перешел в лучший мир, в Мадриде невозможно отыскать пару приличных сапог!

Говоря это, он глядел на меня с издевкой и явным презрением.

Сапожник Мараньон приходился мне дедом с материнской стороны; он воспитал меня, и я хранил в сердце своем величайшую благодарность к нему. Но, несмотря на это, мне казалось, что мое генеалогическое древо обезображено его скромным именем. Я рассудил, что разоблачение тайны моего рождения погубило бы меня в глазах моих милых хозяек. Я тут же утратил всякую веселость. Я бросал на дону Кристобала то презрительные, то горделивые и надменные взгляды. Решил запретить ему переступить порог нашего дома. Когда он ушел, я побежал за ним, желая ему об этом сказать. Догнал его в конце улицы и высказал ему все, что перед тем сложил в уме. Я полагал, что он разгневется, но он, напротив, изобразил любезность и взял меня за подбородок, как будто желая приласкать. Внезапно он рванул меня вверх с такой силой, что земля ушла у меня из-под ног, а потом выпустил, подсекая мне ноги. Я свалился прямо в сточную канаву, да еще лицом вниз. Сперва я не знал, что со мной стряслось, вскоре, однако, поднялся, покрытый грязью и снедаемый невыразимой яростью.

Я вернулся домой. Женщины отправились на покой, но я тщетно пытался заснуть. Две страсти терзали меня: любовь и ненависть. Последняя касалась только дону Кристобала, первая же витала между тремя красавицами в некой сладостной нерешимости. Селия, Сорилья и их матушка по очереди занимали мое воображение; прелестные их образы сливались в моих грезах и всю ночь напролет тревожили меня. Я уснул лишь под утро, и было уже поздно, когда я пробудился. Открыв глаза, я увидел прекрасную госпожу Сантарес, сидящую у моих ног. Она казалась заплаканной.

— Мой юный гость, — молвила она, — я пришла к тебе за помощью. Подлые люди требуют от меня денег, которых я не в состоянии заплатить. Увы! У меня долги, но разве я могла оставить этих бедных малюток без одежды и пропитания? Бедняжкам и без того приходится во всем себе отказывать.

Тут госпожа Сантарес стала всхлипывать, и глаза ее, полные слез, невольно обратились к моему кошельку, который лежал на столике, тут же рядом со мной. Я постиг эту невысказанную просьбу. Высыпал золото на столик, разделил его на две половинки и одну из них предложил госпоже Сантарес. Она и не надеялась на столь необыкновенное великодушие. Сперва она онемела от изумления, потом взяла меня за руки, начала восторженно целовать их, прижимая к сердцу; после чего собрала пистолы, твердя:

— Ах, мои дети, дорогие мои дети!

Вскоре явились дочки и тоже покрыли мои руки поцелуями. Все эти свидетельства признательности разожгли во мне кровь, и без того уже взволнованную ночными грезами.

Я оделся наспех и хотел выйти на террасу нашего дома. Проходя мимо комнаты девушек, я услышал, как они плакали и, рыдая, должно быть, обнимали друг друга. Мгновение я прислушивался, а потом вошел внутрь. Селия, заметив меня, сказала:

— Выслушай меня, наш любимый, дорогой, драгоценнейший гость! Ты находишь нас в состоянии величайшего волнения. Со времени нашего рождения ни одна тучка не омрачала наших взаимных чувств. Узы любви соединяли нас прочнее, чем узы крови. С мгновения твоего прибытия все изменилось. Ревность вкралась в наши сердца, и, быть может, мы возненавидели бы друг друга, однако кроткий характер Сорильи предупредил ужасное несчастье. Она бросилась в мои объятия, наши слезы смешались, и сердца открылись. Ты, возлюбленный наш гость, должен довершить остальное. Поклянись равно любить нас обеих и поровну делить между нами свои ласки.

Что я должен был ответить на столь пламенную и настойчивую просьбу? По очереди в объятиях своих я успокоил обеих девушек. Осушил их слезы, и печаль их уступила место нежнейшему безумию.

Мы вышли вместе на террасу, где госпожа Сантарес вскоре присоединилась к нам. Радость избавления от долгов озарила ее лицо. Она пригласила меня к обеду и прибавила, что рада бы провести со мной весь день. Доверие и интимность, подобные старой дружбе, сопровождали нашу трапезу. Прислугу удалили, и девушки по очереди прислуживали нам. Госпожа Сантарес, ослабев от пережитых волнений, выпила две рюмки старого вина из Роты. Отуманенные ее глаза еще больше засияли после этого, и она так оживилась, что теперь дочки могли бы возыметь повод ревновать, однако почтение, которое они оказывали матери, не позволяло

этому чувству вкрасться в их сердца. Вино взволновало кровь госпожи Сантарес, но, несмотря на это, поведение ее оставалось сугубо безупречным.

Что касается меня, то мысль сделаться соблазнителем вовсе не приходила мне в голову. Пол и возраст были нашими соблазнителями. Сладостные соблазны природы придавали нашему обхождению неизъяснимую прелесть, так что мы с досадой помышляли о разлуке. Заходящее солнце чуть было не разлучило нас, но я заказал прохладительные напитки у кондитера по соседству. Все с удовольствием приветствовали их появление, ибо таким образом мы могли и дальше оставаться вместе.

Однако едва мы сели за стол, как двери открылись и вошел дон Кристоаль Спарадос. Вторжение французского дворянина в гарем султана не произвело бы на восточного владыку более неприятного впечатления, чем то, какое испытал я, увидев дону Кристоаля.

Милая госпожа Сантарес и ее дочери не были, правда, моими женами и не составляли моего гарема, но сердце мое в известном смысле завладело ими и пренебрежение моими правами причиняло мне смертельную боль.

Но дон Кристоаль не обратил на меня ни малейшего внимания, поклонился дамам, отвел госпожу Сантарес в конец террасы, долго с ней беседовал, после чего, не приглашенный, подсел к столу. Ел, пил и помалкивал; когда, однако, беседа коснулась боя быков, он оттолкнул свою тарелку и, стукнув кулаком по столу, изрек:

— Клянусь святым Кристоалем, моим покровителем, почему я должен протирать штаны в этом проклятом министерстве? Я предпочел бы быть последним тореадором в Мадриде, чем председательствовать в кортесах Кастилии! ¹

Говоря это, он вытянул руку, как если бы хотел пронзить быка, и выставил, к нашему удивлению, гигантские мышцы. Затем, чтобы показать свою силу, он посадил всех трех женщин в одно кресло и стал их носить по комнате.

Дон Кристоаль находил в этой забаве такое удовольствие, что старался, насколько возможно, ее продлить. Наконец, он взял шляпу и направился к выходу. До сих пор он не обращал на меня ни малейшего внимания, теперь, однако, обратившись ко мне, сказал:

— Эй, послушай, мой высокоорожденный друг, скажи мне, кто после смерти сапожника Мараньона тачает самые лучшие сапоги?

Женщинам слова эти показались еще одной шутовской выходкой, каких множество слетало с уст дону Кристоаля, я же мгновенно впал в ярость. Я схватил шпагу и побежал за доном Кристоалем. Догнал его в конце переулка, и став перед ним, вскричал:

— Дерзкий шут, ты заплатишь мне за все свои подлые оскорбления? Дон Кристоаль схватился было за эфес шпаги, но, заметив на земле

обломок палки, подобрал его, ударил по моему клинку и выбил у меня шпагу из рук. Затем он ринулся на меня, схватил за шиворот, поднес к сточной канаве и швырнул туда так же, как и накануне, но только с еще большей силой, так что я довольно долго лежал оглушенный, не зная, что со мной творится.

Кто-то взял меня за руку, чтобы помочь мне подняться; я узнал того самого дворянина, который велел унести тело моего отца и дал мне тысячу пистолей. Я бросился к его ногам, он ласково меня поднял и велел мне следовать за ним. Мы шли в молчании и приблизились к мосту на Мансанаресе, где нас уже ожидала пара вороных. Полчаса мы скакали галопом вдоль реки и наконец остановились у ворот покинутого дома, двери которого сами собой распахнулись перед нами. Мы вошли в просторную комнату, обитую темной саржей и озаренную серебряными светильниками. Когда мы расположились в креслах, незнакомец обратился ко мне с такою речью:

— Сеньор Эрвас, ты видишь, какие дела творятся на сем свете, устройство которого, коему везде дивятся, ни в коей мере не отличается, однако, справедливым распределением благ. Одним природа дала восемьсот фунтов силы, другим — восемьдесят. К счастью, изобретено вероломство, которое отчасти восстанавливает равновесие.

С этими словами незнакомец выдвинул ящик комода, достал из него кинжал и прибавил:

— Взгляни на это оружие, — лезвие его, имеющее форму оливы, завершается острием, которое тоньше волоса. Прощай, юноша, не забывай истинного твоего друга — дона Белиала де Геенна². Если я тебе понадоблюсь, приходи в полночь к мосту на Мансанаресе, трижды хлопни в ладоши и сразу же увидишь вороных. Погоди, я позабыл о важнейшем обстоятельстве. Вот тебе еще один кошелек, быть может, тебе понадобится золото.

Я поблагодарил великодушного и щедрого дона Белиала де Геенна, оседлал вороного скакуна, какой-то негр сел верхом на другого, и мы прибыли к мосту, где нужно было расстаться.

Я возвратился в мое жилище. Растянулся на постели и заснул, но страшные сновидения терзали меня. Я сунул кинжал под подушку; мне казалось, что он выходит оттуда и вонзается в самое средоточие моего сердца. Мне снился также дон Кристоаль, похищающий трех красавиц из-под самого моего носа.

Наутро сумрачная печаль овладела мною, и присутствие девушек не могло ее развеять. Старания их развеселить меня дали совершенно обратный результат, и ласки мои стали менее невинными. Оставшись один, я выхватил кинжал и стал грозить им дону Кристоалью, которого, как мне мнилось, я непрестанно вижу перед собой.

Ненавистный наглец к вечеру явился вновь и вновь не обращал на меня ни малейшего внимания, но зато тем больше ухаживал за дамами. Поддразнивал их, а когда они капризничали и дулись, развлекался и посмеивался. Его глуповатые остроты нравились им больше, чем моя изысканная учтивость.

Я велел принести ужин, более утонченный, чем обычно; дон Кристобаль съел почти все сам. Затем он взял шляпу и, внезапно обратившись ко мне, сказал:

— Мой благородный друг, скажи мне, что означает сей кинжал за твоим поясом? Ты лучше бы сделал, если бы заткнул вместо него сапожное шило!

Сказав это, он раскатисто захохотал и вышел.

Я кинулся за ним, и, догнав его на повороте улицы, изо всех сил ударил его в грудь кинжалом, метя в сердце. Но мошенник оттолкнул меня с такой же силой, с какой я на него напал. Потом он обернулся ко мне и невозмутимо произнес:

— Ты что ж, молокосос, разве не знаешь, что я ношу на груди стальную кольчугу?

С этими словами он ухватил меня за шиворот и опять швырнул в сточную канаву, но на этот раз к великому моему удовлетворению, ибо я был даже рад, что не совершил убийства.

Я выбрался из канавы, довольно весело поднялся на ноги, вернулся домой и, улегшись в постель, быстро заснул и спал гораздо лучше, чем прошлой ночью.

Наутро женщины нашли меня более спокойным, чем накануне, и выразили мне свою радость по этому поводу. Однако я не посмел остаться у них вечером. Страшился, что не сумею взглянуть в глаза человеку, которого хотел убить. Целый вечер я в ярости расхаживал по улицам Мадрида, не переставая думать о волке, который влез в мою овчарню.

В полночь я подошел к мосту и трижды хлопнул в ладоши; явились воронье, я вскочил на моего и поскакал вслед за проводником до самого дома дона Белиала де Геенна.

Двери распахнулись передо мною сами собой, мой покровитель вышел мне навстречу, ввел меня в ту же самую комнату и произнес с некоторой издевкой в голосе:

— Ну что, мой юный друг, убийство нам не удалось? Не обращай на это внимания: была бы охота, а дело будет! Впрочем, мы уже подумали о том, чтобы избавить тебя от назойливого соперника. Властям предрешено, что дон Кристобаль Спарадос выдавал государственные тайны; и теперь он заключен в ту же самую тюрьму, где пребывает отец госпожи Сантарес. Отныне от тебя зависит воспользоваться своим счастьем лучше, чем до сих пор. Прими от меня в подарок эту бонбоньерку,

в ней находятся конфетки необыкновенного свойства³, попотчуй ими своих любезных хозяек и сам съешь несколько штук.

Я взял бонбоньерку, от которой исходило необыкновенно приятное благоухание, и сказал дону Белиалу:

— Я не знаю, что ты, сеньор, называешь пользоваться счастьем. Я был бы чудовищем, если бы пожелал злоупотребить доверием матери и невинностью ее дочек. Я не столь двуличен, как ты, сеньор, полагаешь.

— Я полагаю, — возразил дон Белиал, — что ты не лучше и не хуже всех остальных детей Адама. Люди заурядные терзаются сомнениями перед тем, как совершить преступление, а совершив его, испытывают угрызения совести, думая, что благодаря этому смогут удержаться на стезе добродетели. Они уберегли бы себя от этих пренеприятных чувств, если бы пожелали объяснить себе, что есть добродетель. Они считают добродетель идеальной ценностью, существование которой принимают на веру и тем самым помещают ее в число предрассудков, которые, как ты знаешь, представляют собой суждения, не основанные на предшествующем проникновении в суть вещей.

— Сеньор дон Белиал, — ответил я, — мой отец дал мне однажды шестьдесят седьмой том своего труда, заключающий в себе основы учения о нравственности. Предрассудок, согласно ему, не является суждением, не подкрепленным предшествующим проникновением в суть вещей, но суждением, уже вынесенным еще до нашего появления на свет и переданным нам, так сказать, по наследству. Привычки детских лет заронили в нашу душу первые семена этих суждений; пример развивает их, знакомство же с делом укрепляет. Действуя в соответствии с ними, мы становимся порядочными людьми; делая больше, чем велят законы, мы обретаем добродетель.

— Определение это, — изрек дон Белиал де Геенна, — не столь уж худо и делает честь твоему батюшке. Он хорошо писал, еще лучше мыслил. Кто знает, быть может, и ты пойдешь по его стопам. Однако вернемся к твоему определению. Я согласен с тобой, что предрассудки являются суждениями, уже вынесенными заранее, но это не повод, почему бы мы сами не могли судить, если мы ощущаем в себе сформированное суждение о вещах и предметах. Уже стремящийся проникнуть в суть вещей подвергает предрассудки критике и исследует, являются ли законы равно обязательными для всех. Поступая таким образом, ты увидишь, что законный порядок изобретен лишь на пользу тем холодным и ленивым характерам, которые только от уз Гименея ожидают еще не испытанных ими чувств истинного наслаждения, а благосостояния — от бережливости и трудов праведных. Иначе, однако, обстоит дело с гениями, с характерами страстными, алчущими золота и наслаждений, с людьми, которые бы жаждали или жаждут в единый миг поглотить целые годы. Что же создал для них твой общественный порядок? Они проводят жизнь

в тюрьмах и кончают ее в муках. К счастью, законы человеческие являются чем-то иным, нежели то, за что они себя выдают. Это всего лишь рогатки, наткнувшись на кои, прохожий сворачивает на иную стезю; но те, которые хотят их преодолеть, перескакивают через них или же подлезают под них. Предмет этот, однако, завел бы меня слишком далеко, а ведь уже поздно. Прощай, мой юный друг, отведай моих конфеток и всегда рассчитывай на мою помощь.

Я простился с сеньором доном Бедиалом и вернулся домой. Мне отворили, я бросился на постель и пытался заснуть. Бонбоньерка стояла рядом со мной и распространяла сладчайший запах. Я не смог противиться искушению, съел две конфетки и, заснув, провел весьма тревожную ночь.

В обычное время пришли мои юные подружки. Они заметили, что взор мой странно изменился, как если бы я и в самом деле глядел на них иными глазами. Мне казалось, что все их волнения возникают вследствие безудержной похоти, как если бы они жаждали произвести впечатление на мои чувства; словам их, даже самым незначительным, я придавал подобное же значение. Все в них привлекало мое внимание и погружало меня в бездну помыслов, о каких доселе я не имел ни малейшего понятия.

Сорилья заметила бонбоньерку. Съела две конфетки и дала несколько сестре. Вскоре иллюзии мои стали явью. Тайнственное внутреннее чувство овладело обеими сестрами, которые и предались ему невольно. Они и сами испугались этого и убежали, гонимые остатками стыдливости, в которой проглядывала еще некая дикость.

Вошла их матушка. С того мгновения, когда я освободил ее от кредиторов, обращение ее со мною приобрело характер невыразимой нежности. Нежность ее на мгновение меня успокоила, но вскоре я взглянул на нее тем же самым взором, что и на дочерей. Она постигла, что со мной творится, смутилась, и взгляд ее, избегая моего взгляда, упал на злополучную бонбоньерку. Она взяла несколько конфеток и ушла; вскоре однако, вернулась, осыпала меня ласками и сжала в своих объятиях, называя сыном.

Покинула она меня с явной неохотой, с трудом пересиливая себя. Смятение моих чувств доходило до безумия. Я ощущал, как некое пламя разливается в моих жилах; едва видел окружающие меня предметы, какая-то мгла застилала мне глаза.

Я хотел выйти на террасу. Двери в комнате девушек были приоткрыты, я не смог удержаться и вошел. Чувства их были еще в большем смятении, чем мои. Я испугался, хотел вырваться из их объятий, но у меня не хватило сил. Мать вошла в комнату, упреки замерли на ее устах, а вскоре она утратила уже право в чем бы то ни было упрекать нас.

Извини, сеньор дон Корнадес, — прибавил пилигрим, — извини, что я говорю тебе о вещах, рассказ о которых уже сам по себе — смертный грех. Но история эта необходима ради твоего спасения, а я решил вырвать тебя из когтей гибели и уповаю, на то, что осуществляю свое намерение. Помни, явись сюда завтра в тот же час.

Корнадес вернулся домой, где ночью вновь его преследовала тень покойного графа де Пенья Флор.

Цыган, досказав эти слова, вынужден был расстаться с нами и отложить дальнейшее повествование на следующий день.



День пятьдесят второй

Мы собрались в обычное время, и старый вожак, уступая нетерпению слушателей, поспешил продолжить историю, которую Бускерос поведал некогда по просьбе кавалера Толедо.



Продолжение истории цыганского вожака

Как только Корнадес пришел в назначенное время, Пилигрим стал рассказывать дальше так:



Продолжение истории Проклятого Пилигрима

Бонбоньерка моя опустела, конфетки были все съедены, но взоры наши выдавали сжигавшие нас желания и жажду оживить угасший пламень. Наши помыслы вскармливались порочными воспоминаниями, а в нашей усталости была своя греховная прелесть.

Тяжкий проступок или злодеяние непременно заглушают естественные чувства. Госпожа Сантарес, всецело предавшись распутным влечениям плоти, забыла, что отец ее еще в темнице и что, быть может, ему уже подписан смертный приговор. Я тем меньше думал об этом, когда стран-

ное обстоятельство, о котором я сейчас тебе расскажу, напомнило мне об этом.

Однажды вечером ко мне вошел какой-то незнакомец, старательно кутавшийся в широкий плащ. Я немного испугался его, тем более, что он скрывал лицо под маской. Таинственный человек жестом велел мне сесть и, сам сделав то же самое, сказал:

— Сеньор Эрвас, ты, кажется, друг госпожи Сантарес, и поэтому я хочу с тобой поговорить искренне и откровенно. Дело серьезное, и мне не хотелось бы улаживать его с женщиной. Госпожа Сантарес доверилась ветреннику по имени дон Кристобаль Спарадос. Сейчас он в тюрьме вместе с сеньором Гораньесом, отцом твоей хозяйки. Безумец этот полагал, что владеет тайной, известной лишь нескольким вельможам, но он ошибается; зато я знаю ее во всех подробностях. Изложу тебе ее вкратце: через неделю, считая с нынешнего дня, спустя полчаса после захода солнца я пройду мимо ваших дверей и трижды произнесу имя заключенного: Гораньес, Гораньес, Гораньес. После третьего раза ты вручишь мне кошелек с тремя тысячами пистолей. Сеньор Гораньес не находится уже в Севильской башне, его перевезли в мадридскую тюрьму. Участь его должна решиться также неделю спустя, считая с нынешнего дня до полуночи тех же суток. Вот и все, что я должен был тебе сказать.

С этими словами незнакомец в маске поднялся и ушел.

Я знал, а скорее догадывался, что госпожа Сантарес не располагала никакими средствами, и решил прибегнуть к милости дон Белиала. Я сообщил моей хозяйке, что дон Кристобаль попал под подозрение и не может больше у нее бывать, но что у меня есть знакомые в министерстве и я надеюсь на счастливый исход моих стараний. Надежда спасти жизнь отцу наполнила душу госпожи Сантарес величайшей радостью. Она присоединила признательность ко всем прочим чувствам, какие питала ко мне. Ее преданность казалась мне теперь менее порочной. Столь великое благодеяние в ее глазах совершенно снимало с нее всякий грех. Новые наслаждения заполнили все наше время.

Я вырвался на одну ночь, чтобы сходить к дону Белиалу.

— Я ждал тебя, — сказал он мне. — Я знал, что сомнения твои продлятся недолго, а угрызения совести забудутся еще быстрее. Все сыны Адама вылеплены из одной и той же глины. Но я не ожидал, что тебе так скоро наскучат все те наслаждения, которых никогда не испытывали даже короли этого маленького шарика, ибо они не знали моих конфеток.

— Увы, сеньор дон Белиал, — ответил я, — ты наполовину высказал правду, но что до нынешнего моего образа жизни, то он мне нисколько не наскучил. Напротив, я опасаясь, что если бы я его несколько изменил, жизнь утратила бы для меня всю свою прелесть.

— Несмотря на это, — молвил дон Белиал, — ты пришел ко мне за тремя тысячами пистолей, с помощью которых ты хочешь купить свободу

сеньору Гораньесу. Ты, конечно, не знаешь, что как только он будет оправдан, он тотчас же перевезет в свой дом дочь и внучек, которых уже с давних пор предназначал в жены двум молодым чиновникам своей канцелярии. Ты увидишь в объятиях этих счастливых мужей два восхитительных создания, которые пожертвовали тебе свою невинность и вместо всякой награды желали только известной доли в наслаждениях, источником которых был ты сам. Более вдохновленная взаимным соперничеством, нежели ревностью, каждая из них находила награду в счастье, причиной которого была, и без зависти наслаждалась счастьем, которым дарила тебя другая. Матушка их, более опытная, но не менее страстная, благодаря моим конфеткам могла без обиды взирать на счастье дочерей. После таких мгновений что ты станешь делать с остальной твоей жизнью? Быть может, пойдешь искать узаконенных наслаждений супружества или вздыхать по чувствам кокетки, которая не обещает тебе даже тени усад, каких ни один смертный до тебя не испытывал.

Тут дон Белиал внезапно изменил тон и сказал:

— Но нет, я не прав. Отец госпожи Сантарес и вправду невиновен, и свобода его зависит от тебя. Наслаждение от совершения доброго деяния должно превзойти все другие наслаждения.

— Сеньор дон Белиал, — сказал я, — ты с необычайной холодностью говоришь о добрых поступках, однако весьма пылко о наслаждениях, которые, в конечном счете, являются грехами. Кто-нибудь мог бы подумать, что ты жаждешь моей гибели, и мог бы возомнить, что ты не кто иной, как. . .

Дон Белиал не дал мне закончить.

— Я, — сказал он, — один из главных членов могущественного общества, которое поставило целью осчастливить людей и освободить их от бессмысленных предрассудков, которые они всасывают с молоком матери и которые потом становятся препятствием для всех их стремлений. Мы выпустили в свет уже множество мудрых книг, где самым очевидным образом доказываем, что себялюбие является основным принципом всех людских деяний¹ и что милосердие, привязанность детей к родителям, горячая и чувствительная любовь, милость королей — только утонченные формы себялюбия. Итак, если себялюбие является основой всех людских деяний, то удовлетворение наших стремлений должно быть, следовательно, единственной их целью. Это прекрасно знали законодатели и поэтому так составили законы, чтобы можно было их обойти, чем люди также не преминули воспользоваться.

— Как, сеньор дон Белиал, — прервал я его, — разве ты не считаешь, что справедливость и несправедливость являются истинными ценностями?

— Это, — возразил он, — ценности относительные. Я лучше поясню тебе это с помощью притчи, слушай только со вниманием:

«Маленькие мухи ползали по верхушкам куколя — густой и высокой сорной травы. Одна из них сказала другим: «Взгляните на этого тигра, лежащего рядом с нами. Он — кротчайшее из животных, ибо никогда не причиняет нам никакого зла; и в то же время, напротив, баран — это дикий зверь, который, если бы сюда пришел, тотчас же сожрал бы нас вместе с травой, служащей нам прибежищем. Но тигр справедлив и отомстил бы за нашу смерть».

Из этого ты можешь сделать вывод, мой юный друг, что все понятия о справедливости и несправедливости, эле и добре — понятия относительные, а никоим образом не абсолютные или же всеобщие. Я согласен с тобой, что существует своего рода дурацкое наслаждение, связанное с тем, что называют добрыми делами. Ты непременно испытываешь его, спасая невинно обвиненного Гораньеса. Ты не должен ни мгновения колебаться, если даже тебе уже наскучило его семейство. Остановись, у тебя есть на то достаточно времени. Ты должен вручить незнакомцу деньги в субботу, спустя полчаса после захода солнца. Приходи сюда в ночь с пятницы на субботу, три тысячи пистолей будут ждать тебя ровно в полночь. А пока я прощаюсь с тобой; прими, пожалуйста, еще одну бонбоньерку с конфетками.

Я вернулся домой и по дороге съел несколько конфет. Госпожа Сантарес и ее дочери еще не спали, ожидали меня. Я хотел говорить о несчастном узнике, но мне не дали на это времени. . . Однако зачем мне рассказывать о столь позорных поступках? Достаточно тебе знать, что, распустив удила похоти, мы утратили меру времени и не считали дней. Об узнике мы совершенно забыли.

Суббота близилась к концу. Солнце, заходящее за тучи, казалось, бросало по небу кровавые отблески. Внезапные молнии вселили в меня тревогу, я пытался вспомнить последний разговор с доном Белиалом. Вдруг я услышал глухой загробный голос, троекратно повторяющий:

— Гораньес! Гораньес! Гораньес!

— Праведное небо! — воскликнула госпожа Сантарес, — кто это, небесный или адский дух со мной и возвещает о смерти моего бедного отца?

Я потерял сознание. Придя в себя, побежал к Мансанаресу, желая в последний раз просить дону Белиала сжалиться. Альгвасилы задержали меня и привели на незнакомую мне улицу, в дом, также мне не знакомый, но в котором я вскоре опознал тюрьму. Меня заковали в цепи и бросили в мрачное подземелье. Я услышал рядом с собой лязг цепей.

— Это ты, юный Эрвас? — спросил мой товарищ по несчастью.

— Да, — ответил я, — я Эрвас и узнаю по голосу, что говорю с доном Кристобалем Спарадосом. Знаешь ли ты что-нибудь о Гораньесе? Был ли он невиновен?

— Он был невиннее всех на свете, — ответил дон Кристобаль, — но обвинитель расставил столь хитроумные силки, что мог по своему жела-

нию погубить его или спасти. Он вымогал у него три тысячи пистолей. Гораньес не мог нигде их достать и только что удавился в тюрьме. Мне дали на выбор подобную же смерть или пожизненное заключение в замке Лараке на побережье Африки. Я выбрал это последнее в надежде, что при первой же возможности улизну и тогда перейду в магометанство. Что до тебя, мой друг, то тебя вскоре поведут пытать, чтобы допросить о вещах, о которых ты не имеешь ни малейшего понятия. Ты жил под одним кровом с госпожой Сантарес, и они решили, что ты сообщник ее отца.

Представь себе человека, дух и тело которого изнежились и расслабились в наслаждениях и которому внезапно угрожают длительные и жестокие муки. Мне казалось, что я уже испытываю боль от пыток. Волосы у меня встали дыбом, тревога сковала мое тело, руки и ноги мои отказались служить и начали судорожно подрагивать.

Надзиратель вошел в подземелье за Спарадосом, который, уходя, бросил мне кинжал. У меня даже не было сил его поднять, не говоря о том, чтобы пробиваться на волю с его помощью. Отчаяние мое дошло до такой степени, что самая смерть не смогла бы меня успокоить.

— Ах, Белиал! — возопил я, — Белиал, я отлично знаю, кто ты, и однако призываю тебя.

— Иду на твой зов, — крикнул нечистый дух. — Возьми этот кинжал, добудь кровь из пальца и подпиши бумагу, которую я тебе подаю.

— О, мой ангел-хранитель, — возопил я, — неужели ты уже совсем покинул меня?

— Слишком поздно ты его призываешь! — закричал сатана, скрежеща зубами и изрыгая пламя. И тут же вонзил когти мне в лоб.

Я ощутил жгучую боль и лишился чувств, вернее, впал в неизъяснимый восторг. Внезапный свет озарил подземелье. Златокрылый херувим показал мне зеркало и молвил:

— Ты видишь на своем челе перевернутое *Tau*. — Это знак проклятия. Ты узришь его на лбах других грешников, приведешь двенадцать из них на стезю спасения и лишь тогда сам на нее возвратишься. Облачись в эти одежды паломника и следуй за мной!

Я проснулся или, скорее, мне показалось, что я пробуждаюсь; в самом же деле я находился уже не в темнице, а на дороге в Галисию. На мне было странническое платье.

Вскоре я увидел процессию пилигримов, идущих к святому Иакову Компостельскому. Я присоединился к ним и обошел все святые места в Испании. Хотел перейти в Италию и посетить Лорето². Я был тогда в Астурии — путь мой, таким образом, лежал через Мадрид. Прибыв в этот город, я пошел на Прадо, желая отыскать дом госпожи Сантарес. Однако я не нашел его, хотя узнал все соседние дома. Мне это доказало, что я все еще во власти сатаны. Я не посмел продолжать свои поиски.

Я посетил несколько церквей, после чего отправился в Буэн Ретиро. В саду я не застал никого, кроме человека, сидящего на отдаленной скамье. Большой мальтийский крест, вышитый на его плаще, возвестил мне, что он принадлежит к числу лиц, возглавлявших этот орден. Он сидел неподвижно, как бы погруженный в раздумья.

Когда я приблизился к нему, мне показалось, что я вижу под его ногами разверзшуюся бездну, в которой лицо его отражается в перевернутом виде, как это происходит с сидящим над водой. Однако бездна сия была наполнена пламенем.

Едва я прошел несколько шагов вперед, этот мираж исчез, но, присмотревшись к незнакомцу, я заметил, что у него на лбу перевернутое Тау, знак проклятия, который херувим показал мне в зеркале на моем собственном челе.

Когда цыган досказывал эти слова, некий человек из его табора пришел дать ему отчет о событиях, происшедших за день, и рассказчик вынужден был расстаться с нами.

День пятьдесят третий

На следующий день старый вожак, повторяя слова Бускероса, так продолжал свою речь:

Я сразу понял, что передо мной один из двенадцати грешников, которых я должен был обратить на стезю избавления. Я стремился завоевать его доверие. Намерение мое увенчалось полнейшим успехом, и когда незнакомец убедился, что мною руководит не одно только любопытство, он однажды, уступая моим настоятельным просьбам, так начал рассказывать о своих приключениях:



История Командора Торальвы

Я вступил в Мальтийский орден еще совсем ребенком, ибо меня записали на службу в качестве пажа. Покровители, которые у меня были среди придворных, исходатайствовали для меня на двадцать пятом году командование галерой, великий магистр же, раздавая год спустя назначения, доверил мне лучшую командорию, а именно — Арагонскую. Я мог (да и теперь еще могу) добиваться высших орденских званий¹ но, так как их можно достичь лишь в преклонном возрасте и так как до тех пор мне нечего было бы делать, я последовал примеру наших бальи, которые, быть может, должны были бы подать мне лучший пример, — одним словом, предался любовным интрижкам. Правда, я уже тогда считал их грехом, но пусть бы я никогда не совершил большего! Причиной греха, который ныне лежит на моей совести, достойная всяческих наказаний вспыльчивость, из-за которой я оскорбил то, что священнее всего в нашей вере. С испугом и отвращением я воскрешаю в себе эти воспоминания, но не следует опережать события.

Ты, конечно, знаешь, что у нас на Мальте есть несколько дворянских семейств, которые не входят в орден и не имеют никаких сношений с рыцарями какой бы то ни было степени. Они только при-

знают верховную власть великого магистра и капитула, составляющего его совет.

За этим классом следует второй, который занимает должности и ищет протекции у рыцарей. Женщины, принадлежащие к этому классу, зовутся по-итальянски *onorate*, что означает «уважаемые». Они в самом деле заслуживают этого титула благодаря своему пристойному поведению и, если уж все договаривать до конца, они этим обязаны покрову тайны, какой они окутывают свои любовные похождения.

Долгий опыт научил этих дам «онорате», что соблюдение тайны чуждо характеру мальтийских рыцарей французского происхождения; во всяком случае, необычайно редко бывает, чтобы кто-нибудь из них сочетал скромность и способность хранить тайну с прочими присущими им великолепными качествами, каковыми они вообще отличаются. Поэтому молодые люди этой нации, приученные в других краях к большому успеху у женщин, на Мальте вынуждены были иметь дело с уличными девками. Немецким рыцарям, впрочем, менее многочисленным, больше везло у женщин «онорате», и они были обязаны этим, как мне думается, своим бело-розовым физиономиям. За ними следуют испанцы, главным преимуществом которых является их определенный и твердый характер.

Французские рыцари мстят «оноратам», издеваясь над ними всяческим образом и разоблачая их тайные любовные интрижки, но, так как французы живут всегда обособленно и не хотят учиться итальянскому языку, на котором говорит весь остров, никто не обращает внимания на их досужие сплетни.

Мы жили себе спокойно с нашими дамами-«оноратами», когда однажды французский корабль привез к нам командора де Фуке, из древнего рода сенешалей Пуату, происходящего от герцогов Ангулемских. Командор был уже однажды на Мальте и прославился множеством дуэлей. Теперь он прибыл, добываясь командования над всеми галерами. Ему было уже тридцать шесть лет, и поэтому надеялись, что он уже образумился. И в самом деле, он перестал быть крикуном и спорщиком, но зато стал надменным, гордым, мятежным и желал, чтобы его уважали больше, чем даже самого великого магистра.

Командор распахнул двери своего дома для всех. Французские кавалеры толпами собирались у него. Мы редко когда к нему заходили и в конце концов совершенно с ним порвали, так как у него всегда велись неприятные для нас разговоры, между прочим, и о мальтийских дамах-«оноратах», которых мы искренне уважали и любили. Когда командор выходил из дому, его вечно окружал целый рой молодых караванистов². Командор вел их в Тесный переулок, показывал места, где он сражался на дуэлях, и рассказывал о своих поединках во всех подробностях.

Я должен тебе сказать, что, согласно нашим обычаям, дуэли на Мальте запрещены везде, за исключением Тесного переулка, прохода

между домами, в который не выходит ни одно окно. Он и в самом деле тесен и узок: ширины его хватает лишь на то, чтобы два человека могли стать лицом к лицу и скрестить шпаги. Однако ни один из них не может отступить. Противники становятся поперек переулка, а их друзья задерживают прохожих, чтобы дуэлянтам не помешали. Обычай этот был введен некогда во избежание преднамеренных убийств, ибо человек, который знает, что у него есть смертельный враг, не пойдет по Тесному переулку, если же убийство происходит где-нибудь в другом месте, то его нельзя уже выдать за убийство на дуэли.

Наконец, под страхом смертной казни запрещается проходить по Тесному переулку с кинжалом. Итак, ты видишь, что дуэль на Мальте не только терпима, но даже дозволена, хотя дозволение это и не объявлено во всеуслышание. Кавалеры, со своей стороны, не только не злоупотребляют этим дозволением, но даже говорят о нем с известного рода возмущением как о преступлении против христианского милосердия, преступлении, особенно нетерпимом на Мальте, в самой резиденции ордена.

Прогулки командора по Тесному переулку были поэтому неуместны, и ничего удивительного, что они повлекли за собой дурные последствия: французы-караванисты сделались забияками, к чему, впрочем, и без того имели врожденную склонность. Их дурные обычаи с каждым днем проявлялись все больше. Кавалеры-испанцы еще более отделились от них, и, наконец, они собрались у меня, спрашивая, что они должны делать для того, чтобы прекратить ссоры, которые становились невыносимыми. Я поблагодарил моих соотечественников за честь, которую они мне оказали, а также и за доверие. Я обещал им, что переговорю об этом с командором и представлю ему поведение молодых французов как своего рода злоупотребление, распространению коего только он один может воспрепятствовать благодаря высокому уважению и почтению, какими его окружают все три языка его народа³. Я обещал себе, что сделаю это с должной учтивостью, к которой командор был столь чувствителен, однако не питал надежды, чтобы дело обошлось без поединка. Однако я думал об этом без всякого сокрушения, так как подобная дуэль, принимая во внимание ее причину, была бы для меня весьма почетной. Наконец, я полагал, что таким образом умерю отвращение, которое с давних пор испытывал к командору.

Тогда была как раз Страстная неделя⁴, поэтому было решено, что лишь две недели спустя я побеседую с командором. Мне кажется, что ему сообщили о моем намерении и что он хотел его предупредить, ища со мной ссоры.

Наступила Страстная Пятница. Ты знаешь, что, согласно испанскому обычаю, в этот день подают святую воду обожаемой особе, следуя за ней из храма в храм. В известном смысле побуждают к этому ревность и опасение, как бы кто-нибудь другой не подал воды и таким образом не

попытался свести знакомство с дамой. Обычай этот существует также и на Мальте. В соответствии с ним, я и пошел вслед за некоей молодой «оноратой», которую боготворил уже несколько лет. Но в первой же церкви, в которую она вошла, командор подошел к ней, опередив меня. Он стал между нами, обратясь ко мне спиной, и сделал несколько шагов, явно намереваясь наступить мне на ногу. Поведение это привлекло внимание нескольких присутствовавших кавалеров.

Выйдя из храма, я с равнодушным видом подошел к командору, как бы желая поговорить с ним о предметах маловажных. Я осведомился у него, в какую церковь он думает теперь отправиться. Он назвал мне храм какого-то святого. Я предложил ему проводить его кратчайшим путем, и так, что он не заметил, завел его в Тесный переулок. Остановившись там, я выхватил шпагу, уверенный в том, что никто нам не помешает, ибо в тот день все молились в храмах.

Командор также выхватил шпагу, но опустил ее острие.

— Как, — сказал он, — в Страстную Пятницу?

Я и слушать его не хотел.

— Благоволи вспомнить, — прибавил он, — что вот уже шесть лет, как я не исповедовался. Меня повергает в ужас состояние моей совести. Через три дня...

Обычно я мирного нрава, а ты знаешь, что такие люди, доведенные до крайности, не могут уже опомниться. Я вынудил командора драться со мной, но — удивительная вещь — какой-то испуг выразился в его лице. Он оперся о стену и, как бы предвидя, что упадет, заранее искал опоры.

В самом деле, с первого же удара я вонзил ему шпагу в грудь. Он наклонил острие, пошатнулся и произнес голосом умирающего:

— Я прощаю тебя, и пусть небо тоже пожелает тебя простить. Отнеси мою шпагу в Тет-Фуке и вели отслужить за упокой моей души сто обеден в часовне замка.

С этими словами он испустил дух. В первое мгновение я не обратил внимания на его предсмертные слова, и если позднее они вспомнились мне, то потому только, что я их снова услышал. Я совершил декларацию в общепринятой форме и могу сказать, что в глазах света поединок этот нисколько мне не повредил. Командора недолго любили и считали, что он заслужил подобную участь; я же полагал, однако, что согрешил перед господом, нарушив святость таинств, и испытывал поэтому горестные угрызения совести. Продлилось это целую неделю.

В ночь с пятницы на субботу я внезапно проснулся и, когда огляделся вокруг, мне показалось, что я нахожусь не в своей комнате, но лежу на мостовой в Тесном переулке. Я весьма удивился этому, когда ясно увидел командора, опершегося о стену. Видение, казалось, было исполнено сверхъестественной мощи и произнесло:

— Снеси мою шпагу в Тет-Фуке и вели отслужить за упокой моей души сто обеден в часовне замка.

Едва я услышал эти слова, как погрузился в летаргический сон. Наутро я проснулся в своей комнате и в собственной постели, но сохранил неизгладимое воспоминание о моем видении.

На следующую ночь я приказал слуге спать в моей комнате и мне ничего не привиделось. Вся неделя прошла спокойно, но в ночь с пятницы на субботу у меня снова было такое же видение, с той только разницей, что слуга мой лежал на мостовой в нескольких шагах от меня. Призрак командора явился мне и повторил те же самые слова. С тех пор каждую пятницу у меня бывало такое же видение. Слуге моему снилось, что он лежит на мостовой в Тесном переулке, но и только; командора он не видел и не слышал.

Сначала я не знал, что такое Тет-Фуке, куда, согласно предсмертной воле командора, я должен был снести его шпагу. Кавалеры из Пуату сказали мне, что это замок, расположенный в трех милях от Пуатье⁵, в лесу; что рассказывали об этом замке в тех краях много необыкновенного и что люди ходили туда, чтобы поглядеть на кое-какие занятные предметы, как, например, на вооружение Фуке-Тайфера и оружие убитых им рыцарей; что, наконец, согласно обычаю, принятому в семействе Фуке, там складывали оружие, которое служило членам семьи в битвах или на дуэлях. Все это сильнейшим образом меня заинтересовало, но я должен был, однако, подумать сперва о своей совести.

Я отправился в Рим, покаяться в своих грехах перед великим исповедником и не утаил от него, что за видение постоянно меня преследует. Он не отказал мне в отпущении грехов, но дал мне его условно. Отбыв покаяние, я должен был не забывать о ста мессах в часовне замка Тет-Фуке. Небеса тем временем приняли мою жертву, и с той минуты, как я исповедался, призрак командора перестал меня мучить. Шпагу его привез с Мальты и тотчас же после покаяния отправился во Францию.

Когда я прибыл в Пуатье, там уже знали о кончине командора, и я заметил, что его жалели не больше, чем на Мальте. Я оставил в городе слуг, сам же облачился в платье пилигрима и нанял проводника. Я считал, что мне следует отправиться в замок пешком, впрочем, дорога в Тет-Фуке была совершенно не пригодной для экипажей.

Мы застали ворота запертыми, долго звонили и кричали, наконец показался мажордом. Он был единственным обитателем Тет-Фуке, кроме отшельника, который присматривал за часовней и которого мы как раз нашли молящимся. Когда он пробормотал свои установленные молитвы, я сказал ему, что пришел просить его отслужить сто месс. Говоря это, я положил пожертвование на алтарь, хотел также оставить на нем и шпагу командора, но мажордом объявил мне, что следует снести ее в арсенал или оружейную палату, где, согласно обычаю, всегда склады-

вали оружие всех Фуке, погибших в боях, так же как и оружие умерщвленных ими противников. Я отправился вслед за мажордомом в оружейную палату и в самом деле увидел там множество шпаг различных размеров и многочисленные портреты, начиная с изображения Фуке-Тайфера, герцога Ангулемского, того самого, который возвел замок Тет-Фуке для своего побочного сына; этот сын и стал впоследствии сенешалем Пуату и родоначальником семейства Фуке из Тет-Фуке.

Портреты сенешала и его супруги висели по обеим сторонам большого камина, расположенного в углу арсенала. Лица выглядели на них как живые. Другие портреты были также превосходно писаны, каждый в манере своего времени, однако ни один из них так не поражал воображения, как портрет Фуке-Тайфера. Картина была в натуральную величину. Рыцарь стоял во весь рост; он был в колете из буйволовой кожи; в одной руке держал шпагу, другой же брал щит, подаваемый ему конюшим. Большая часть шпаг висела, расположенная хитроумным узором вокруг этого портрета.

Я попросил мажордома, чтобы он велел развести огонь и подать мне ужин.

— Согласен, что касается ужина, — ответил он, — но что касается ночлега, то я посоветовал бы тебе, мой пилигрим, чтобы ты лучше провел ночь у меня в комнате.

Я спросил его о причинах подобной осторожности.

— Не нужно об этом спрашивать, — возразил мажордом, — доверься мне, прикажи постлать себе рядом с моей постелью.

Я принял его предложение с тем большей охотой, что была как раз пятница и я страшился появления моего призрака.

Мажордом вышел, чтобы похлопотать об ужине, я же начал приглядываться к оружию и портретам, которые, как я уже сказал, были изображены необычайно живо. Чем более день склонялся к концу, тем больше одежды, писанные темными красками, сливались воедино с сумрачным фоном портретов; пламя камина ярко озаряло одни только лица. Было в этом нечто, вселяющее ужас; быть может, впрочем, я слишком далеко дал увлечь себя воображению, ибо состояние совести моей поддерживало меня в непрестанной тревоге.

Мажордом принес ужин, состоявший из форелей, выловленных в соседнем ручье. Подали также бутылку неплохого вина. Мне хотелось, чтобы отшельник сел с нами за стол, но святой отец питался одними только отварными кореньями.

У меня было обыкновение ежедневно читать молитвенник, как пристало члену ордена, тем более испанцу. Я достал молитвенник и четки; сказал мажордому, что, так как мне еще не хочется спать, я стану молиться в оружейной палате до поздней ночи, и просил его, чтобы он мне только указал мою комнату.

— Чрезвычайно охотно, — ответил он, — отшельник придет в полночь молиться в часовню. Тогда ты спустишься вот по этой узенькой лестнице и не сможешь миновать моей комнаты: двери ее я оставляю открытыми. Помни только, не оставайся здесь после полуночи.

Мажордом вышел. Я начал молиться, подбрасывая время от времени поленья в огонь. Однако я не смел слишком внимательно смотреть на стены, ибо портреты, как мне казалось, оживают. Как только я взглядывал на какой-нибудь из них, мне тут же чудилось, что портрет подмигивает мне и рот его кривится. В особенности сенешаль и его жена, вернее, лики их, смутно темнеющие по обеим сторонам камина, то и дело метали на меня гневные взоры, после чего взглядывали друг на друга. Внезапный порыв ветра, который с такой силой ударил в окна, что оружие на стене зазвенело, удвоил мою тревогу. Но я не переставал горячо молиться.

Наконец мне послышался голос отшельника, распевającego псалмы, и, когда пение прекратилось, я сошел по лесенке, намереваясь направиться в комнату мажордома. В руке у меня был огарок свечи, ветер задул его, и я вернулся, чтобы снова зажечь его, но каково же было мое удивление, когда я увидел сенешаля и его супругу, которые вышли из рам и сели перед камином. Они доверительно беседовали друг с другом, и можно было ясно слышать их слова:

— Душа моя, — говорил сенешаль, — что ты думаешь об этом кастильце, который безжалостно умертвил командора, не позволив ему даже исповедаться?

— Я думаю, милостивый мой супруг и повелитель, — возразил призрак женщины, — что это с его стороны величайший грех и великая подлость. Надеюсь, однако, что это не пройдет ему даром: милостивый Тайфер, конечно, не выпустит этого подлого кастильца из замка — он непременно сдавит ему руку.

Меня охватил безмерный ужас; я бросился на лестницу, хотел наощупь найти дорогу к дверям мажордома, но тщетно. В руке я все еще держал свечу; я подумал о том, чтобы ее зажечь, и, немного успокоившись, попытался объяснить себе, что это мое разгоряченное воображение создало те призраки, которые привиделись мне перед камином. Я вернулся и, став в дверях арсенала, убедился, что перед камином действительно никого нет. Я смело вошел в оружейную палату, но, пройдя несколько шагов, — что я увидел посреди залы? Милостивый Тайфер стоял в боевой позиции, направив на меня острие своей шпаги. Я хотел бежать на лестницу, но в дверях возник призрак конюшего, который швырнул к моим ногам перчатку.

Не зная, как быть, я схватил первую попавшуюся шпагу со стены и бросился на моего призрачного противника. Мне казалось уже, что я рассек его надвое, но в тот же самый миг я получил удар под сердце,

который обжег меня, подобно каленому железу. Кровь моя хлынула на паркет, и я лишился чувств.

Наутро я проснулся в комнате мажордома, который, увидев, что я не возвращаюсь, пришел за мною со святой водой. Он нашел меня распростертым без сознания на полу. Я взглянул на свою грудь и не обнаружил на ней никакой раны; удар, который был якобы нанесен, мне просто померещился. Мажордом ни о чем меня не расспрашивал, но посоветовал немедленно покинуть замок.

Я последовал его совету и отправился в путь, намереваясь достичь Испании. Спустя неделю, я остановился в Байонне. Я прибыл туда в пятницу и остановился в трактире. Среди ночи я внезапно проснулся и увидел перед собой милостивого Тайфера, который направил на меня шпагу. Я прогнал его, осенив себя крестным знаменем, и привидение развеялось, как дым. Однако я ощутил такой же удар, как в замке Тет-Фуке. Мне показалось, что кровь заливает меня; я хотел звать на помощь, соскочить с постели, но и то и другое было невозможно. Эти невыразимые мучения длились до первых петухов; тогда я заснул, но наутро здоровье мое было в самом плачевном состоянии. С тех пор каждую пятницу то же самое видение повторяется, никакие богоугодные деяния не в силах его развеять. Печаль моя сведет меня в могилу; я лягу в нее прежде, чем смогу освободиться от власти сатаны; слабый проблеск упования на милосердие господне поддерживает меня еще и придает мне силы сносить мои страдания.

На этом командор Торальва закончил свою историю, или, вернее, Проклятый Пилигрим, который, рассказав ее Корнадесу, так продолжал затем повествовать о своих собственных приключениях:

— Командор Торальва был человеком набожным, хотя и надругался над священными принципами религии, принудив к дуэли противника, которому не позволил даже свести счеты с совестью. Я легко убедил его, что если он воистину стремится избавиться от искушений сатаны, то ему следует посетить святые места, где грешники всегда находят утешение и милосердие.

Торальва послушался моего совета, и мы вместе посетили святые места в Испании. Затем мы отправились в Италию. Побывали в Лорето и в Риме. Великий исповедник⁶ дал ему не только условное, но и полное отпущение грехов, к которому присовокупил еще и прощение грехов от папы. Торальва, совершенно освободившийся, отправился на Мальту, я же прибыл в Мадрид, а оттуда — в Саламанку.

Когда я увидел тебя, я заметил на твоем челе знак проклятия, и мне была явлена вся твоя история. Граф де Пенья Флор действительно вознамерился оболыстить и совратить всех женщин, но доселе еще не обо-

льстил и не совратил. Пока он грешил лишь в помыслах своих, душа его не была еще в опасности; но вот уже два года, как он пренебрегает обязанностями религии и как раз должен был исполнить эти обязанности, когда ты приказал его убить, или, вернее, способствовал его смерти. Вот причина, по которой привидение тебя преследует. Есть только один способ обрести покой. Ты должен последовать примеру командора. Я послужу тебе проводником, ибо от этого зависит и мое собственное спасение.

Корнадес дал себя убедить. Он посетил святые места в Испании, затем отправился в Италию, и два года ушло у него на паломничество. Госпожа Корнадес провела все это время в Мадриде, где поселились ее мать и сестра.

Вернувшись в Саламанку, Корнадес нашел свой дом в образцовом порядке. Жена его, ставшая еще прекрасней, чем когда бы то ни было, весьма услаждала его существование. Спустя два месяца она еще раз съездила в Мадрид, чтобы посетить мать и сестру, после чего вернулась в Саламанку и осталась там уже навсегда, тем более, что герцогу Аркосу вскоре доверили пост посла в Лондоне.

Тут кавалер Толедо сказал:

— Сеньор Бускерос, я не намерен позволить тебе продолжать, но я непременно должен узнать, что же в конце концов произошло с госпожой Корнадес?

— Она овдовела, — ответил Бускерос, — после чего вторично вышла замуж и с тех пор ведет себя самым примерным образом. Но что я вижу? Вот и она сама направляется в нашу сторону, и, если я не ошибаюсь, идет прямо к твоему дому.

— Что ты говоришь? — вскричал Толедо. — Но ведь это госпожа Ускарис. Ах, подлая! Убедила меня, что я первый ее любовник, ну, она дорого мне за это заплатит!

Кавалер, стремясь остаться наедине со своей возлюбленной, поторопился спровадить нас.

День пятьдесят четвертый

Наутро мы собрались в обычное время и, попросив цыгана, чтобы он благоволил продолжать рассказ о своих приключениях, получили следующий ответ:

Продолжение истории цыганского вожака



Тоledo, узнавший подлинную историю госпожи Ускарис, в течение некоторого времени забавлялся, рассказывая ей о некоей Фраскете Корнадес, как о женщине, приводящей его в восторг, как об особе, с которой он рад был бы познакомиться, ибо только она одна могла бы его осчастливить и привязать к себе, чтобы он окончательно остепенился. Наконец ему наскучили любовные ласки, так же, как и сама госпожа Ускарис.

Семейство его, бывшее весьма в чести при дворе, выхлопотало ему кастильское приорство, которое тогда как раз оказалось вакантным. Кавалер поспешил на Мальту, чтобы получить новое назначение, я же потерял единственного покровителя, который мог бы помочь мне расстроить коварные замыслы Бускероса, направленные против моего отца. Я вынужден был оставаться бездеятельным наблюдателем этой интриги и никак не мог ей воспротивиться. Вот как все происходило.

Я уже говорил вам в начале моего повествования, что отец мой каждое утро, желая насладиться свежим воздухом, сживал на балконе, выходящем на улицу Тоledo, затем перебирался на другой балкон, который выходил в переулок, и как только замечал напротив соседей, тотчас же приветствовал их, говоря «агур». Неохотно возвращался он в комнаты, если ему не удавалось приветствовать соседей. Последние, чтобы его долго не задерживать, обычно любезно и успешно отвечали на его приветствие; кроме этого, он не имел с ними никаких отношений. Эти учтивые соседи, однако, съехали, и место их заняли дамы Симьенто,

дальние родственницы дона Роке Бускероса. Госпожа Симьенто, тетка, сорокалетняя особа с прекрасным цветом лица и сладостным, но благородным взором, и барышня Симьенто, племянница, рослая, волоокая девица со стройным станом и точеными плечами. Обе женщины въехали, как только квартира освободилась, и на следующий день мой отец, выйдя на балкон, был очарован их пленительной внешностью. По своему обыкновению, он поздоровался с ними, они же поклонились ему как можно учтивее. Этот сюрприз доставил моему родителю несказанное наслаждение, тем не менее он удалился в свои покои, а вскоре и обе женщины также удалились к себе.

Взаимный обмен любезностями длился всего неделю, по прошествии которой отец мой обнаружил в комнате барышни Симьенто некий предмет, который в величайшей степени заинтересовал его. Это был изящный стеклянный шкафчик, наполненный хрустальными баночками и хрустальными флаконами. Одни из них, казалось, содержали в себе какие-то яркие краски; другие — песок, золотой, серебряный и голубой; наконец, третьи — золотистый лак. Шкафчик стоял перед самым окном. Барышня Симьенто в одном только легком корсаже приходила то за одним, то за другим флаконом и алебастровыми плечами своими затмевала великолепные краски, которые она доставала из шкафа. Что, однако, она с ними делала, отец мой не мог угадать, не имея же обычая о чем бы то ни было спрашивать, предпочитал оставаться в неизвестности.

В один прекрасный день барышня Симьенто уселась у окна и начала писать. Чернила были слишком густы; и вот она долила в них воды и развела их до такой степени, что они сделались никуда не годными. Мой отец, побуждаемый свойственной ему от природы любезностью, наполнил флакон чернилами и послал их соседке. Служанка вместе с благодарностью принесла ему картонную коробочку, содержащую дюжину палочек лака разных цветов: каждую палочку украшали надписи или эмблемы, мастерски исполненные.

Родитель мой наконец узнал, чем занимается барышня Симьенто. Труд этот, напоминавший его собственное занятие, был как бы окончательным завершением деятельности, которой он предавался. Усовершенствование производства лака, согласно мнению истинных знатоков, ценилось еще выше, чем приготовление чернил. Отец, преисполненный удивления, склеил конверт, надписал на нем адрес своими великолепными чернилами и запечатал его новым лаком. Печать вышла совершенно изумительным образом. Он положил конверт на стол и долго всматривался в неповторимое произведение рук своих.

Вечером отец отправился к книгопродавцу Морено, где застал незнакомого ему господина, который принес похожую коробочку со столькими же палочками лака. Присутствующие взяли его на пробу и не могли

достаточно нахвалиться совершенством изделия. Мой батюшка провел там целый вечер, ночью же грезил только о лаке.

Наутро он, как обычно, поздоровался с соседками; он хотел сказать им даже больше, раскрыл рот, но ничего не сказал и ушел к себе в комнату, однако сел так, чтобы иметь возможность видеть, что делается у барышни Симьенто. Служанка стирала пыль с мебели, прекрасная же племянница с помощью увеличительного стекла следила за мельчайшими пылинками, а когда ей удавалось таковые обнаружить, приказывала служанке вытирать еще раз. Отец, необыкновенно любящий порядок, увидел в соседке родственную душу и начал особенно уважать барышню Симьенто.

Я говорил вам, что главным занятием моего отца было курение сигарок и пересчитывание прохожих или же черепиц дворца герцога Альбы; однако с некоторых пор он не посвящал уже, как прежде, целых часов этому своеобразному развлечению, а высиживал за ним всего лишь несколько минут, ибо могущественное обаяние привлекало его непрестанно к балкону, выходящему в переулок.

Бускерос первый заметил сию перемену и при мне не однажды ругался, что вскоре дон Фелипе вернется к своей родовой фамилии и избавится от прозвища дель Тинтеро Ларго. Хотя я и мало интересовался финансовой стороной существования, однако все же догадывался, что женитьба моего отца ни в коем случае не может быть для меня полезна, и поэтому снова побежал к тетке Даланосе, заклиная ее, чтобы она непременно постаралась помешать этому злу. Тетка моя искренне огорчилась, услышав эту весть, и снова отправилась к дяде Сантесу; но монах-театинец отвечал ей, что супружество есть божественное таинство, которому он не вправе воспрепятствовать, что он, однако, будет настороже, дабы мне ни в чем не причинили зла.

Кавалер Толедо уже с давних пор выехал на Мальту, и я в полнейшем бессилии вынужден был взирать на все это, а иногда даже и действовать себе во вред, когда проныра Бускерос посылал меня с письмами к своим родственникам, ибо сам он у них не бывал.

Госпожа Симьенто никогда не выходила из дому и никого у себя не принимала. Мой отец, со своей стороны, все реже выходил в город. Никогда прежде он не отрекся бы от своего театра и не изменил бы установленному порядку дня, теперь, однако, пользовался легчайшим насморком или простудой и сиднем сидел дома. При этом он не мог оторваться от окна, выходящего в переулок, и смотрел, как барышня Симьенто аккуратно расставляет свои флакончики или перекладывает палочки лака. Вид белоснежных рук, постоянно мелькающих перед его глазами, распалил его воображение до такой степени, что он не мог уже думать ни о чем другом.

Вскоре новый предмет еще более возбудил его любопытство. Это был котелок, чрезвычайно похожий на тот, в каком он приготавливал свои чернила, но гораздо меньших размеров и водруженный на железный треножник. Лампа, зажженная под ним, поддерживала постоянное умеренное тепло. Вскоре прибавилось еще два таких же котелка.

На следующий день отец мой, выйдя на балкон и сказав «агур», раскрыл рот, желая осведомиться, что, собственно, означают эти котелки, но так как у него не было привычки разговаривать, то он ничего не сказал и ушел к себе. Терзаемый любопытством, он решил послать барышне Симьенто еще одну бутылку своих чернил. В благодарность он получил три флакона, наполненные разноцветными чернилами: красными, зелеными и небесно-голубыми.

Под вечер отец отправился к книгопродавцу Морено. Он застал там некоего чиновника из министерства финансов, который держал под мышкой доклад о кассовых операциях. В докладе этом некоторые колонки заполнены были красными чернилами, заглавия выведены голубыми, а разлиновано все — зелеными чернилами. Чиновник доказывал, что только он один владеет тайной изготовления такого рода чернил и что в Мадриде никто не в состоянии похвалиться подобными. При этих словах какой-то незнакомец обратился к моему батюшке и сказал:

— Сеньор Авадоро, ты, который так восхитительно изготавлиешь черные чернила, неужели ты не знаешь способов изготовления цветных чернил?

Мой отец терпеть не мог, когда его о чем-нибудь спрашивали, и к тому же легко смущался. Однако он раскрыл рот, чтобы ответить, но ничего не сказал, ибо предпочел сбегать к себе домой и принести флаконы к Морено. Присутствующие не могли достаточно надивиться совершенству чернил, чиновник же просил разрешения взять немножко на пробу к себе домой. Отец, осыпанный похвалами, в душе передавал их барышне Симьенто, фамилии которой он, впрочем, до сих пор еще не знал. Возвратившись к себе, он раскрыл книжку с рецептами и нашел два рецепта голубых чернил, три — зеленых, и семь — красных. Такое количество рецептов сразу перемешалось у него в голове, ведь он не умел связать двух мыслей, только прекрасные плечи юной соседки живо рисовались в его разгоряченном воображении. Чувства его, как будто дремавшие, внезапно пробудились, и он ощутил все их могущество.

На следующее утро, здороваясь с обеими соседками, он решил непременно узнать, как их фамилия, и раскрыл уже рот, чтобы их об этом спросить, но снова ничего не сказал и возвратился в свои покои. Затем он вышел на балкон, выходящий на улицу Толедо, откуда заметил человека, прилично одетого и держащего в руках бутылку. Он понял, что это некто, жаждущий чернил, и перемешал оные в котле, чтобы налить пришельцу самые лучшие. Кран от котла находился на одной трети высоты, так что

вся мусть оставалась внизу. Незнакомец вошел, но, вместо того чтобы уйти, когда отец наполнил ему его бутылку, преспокойно поставил ее на стол, уселся и попросил разрешения выкурить сигару. Отец хотел что-то ответить, но ничего не сказал, незнакомец же достал из кармана сигару и прикурил ее от лампы, стоящей на столе.

Незнакомцем этим был негодник Бускерос.

— Сеньор Авадоро, — сказал он моему отцу, — ты занимаешься производством жидкости, которая нанесла немалый урон роду человеческому. Ведь какое множество заговоров, предательств, мошенничеств было совершено с помощью этого зловредного раствора, какое множество вредоносных книжек вышло в свет именно при посредстве чернил, я не говорю уже о любовных записочках и связанных с ними покушениях на счастье и честь законных мужей. Каково же твое мнение об этом, сеньор Авадоро? Ты не отвечаешь, ибо ты привык к молчанию. Пустяки, неважно, что ты ничего не говоришь, зато я болтаю за двоих, такая уж у меня привычка. А ты знаешь, сеньор Авадоро, садись, кстати, вот на этот стул, я сейчас изложу тебе вкратце свою идею. Утверждаю, что из этой бутылки чернил выйдет. . .

С этими словами Бускерос толкнул бутылку, и чернила пролились на колени моего батюшки, который, не говоря ни слова, поспешил обтереться и переодеться. Возвратившись, он застал Бускероса со шляпой в руке, жаждущего с ним попроситься. Отец, ослесливленный предстоящим избавлением от нахала, распахнул перед ним дверь. И в самом деле, Бускерос вышел, но миг спустя вернулся.

— Извини, сеньор Авадоро, — сказал он, — но мы оба забыли, что бутылка пуста, однако не трудись, я сам сумею ее наполнить.

Бускерос взял воронку, вставил ее в бутылку и отвернул кран. Когда бутылка наполнилась, отец снова пошел распахнуть перед ним дверь. Дон Роке выскочил весьма торопливо, как вдруг отец мой заметил, что кран отвернут и чернила льются прямо на пол. Он побежал закрыть кран, а в этот самый миг Бускерос снова вернулся и, делая вид, что не замечает урона, причиненного им, поставил бутылку на стол, развалился в том же самом кресле, вытащил сигару из кармана и прикурил от лампы.

— Правда ли, сеньор Авадоро, — обратился он к моему батюшке, — что у тебя был сыночек, который утонул в этом самом котле? Если бы несчастный малюток умел плавать, он непременно спасся бы. Где же ты, сеньор, раздобыл этот котел? Я уверен, что в Тобосо. Превосходная глина, точь-в-точь такую употребляют при изготовлении селитры. Твердая, как камень, позволь, попробую.

Мой отец хотел помешать пробе, но Бускерос ударил веселкой по котлу и разбил его вдребезги. Чернила хлынули рекой, залили моего отца и все, что находилось в комнате, не исключая даже и Бускероса, которого также сильно забрызгали.

Отец, который редко когда раскрывал рот, на сей раз стал кричать во все горло. Соседки показались на балконе.

— Ах, почтенные дамы, — завопил Бускерос, — с нами произошел несчастный случай, большой котел разбился и залил всю комнату чернилами. Сеньор Тинтеро не знает, где преклонить голову. Окажите нам христианское милосердие и приютите нас в вашем жилище.

Соседки, казалось, согласились с радостью и отец, вопреки своему смущению, испытал приятное чувство при мысли, что приблизится к очаровательной незнакомке, которая издали простирала к нему белоснежные руки и улыбалась с неизъяснимой прелестью.

Бускерос набросил моему отцу плащ на спину и проводил его в дом Симьенто. Едва отец успел туда войти, как ему пришлось принять неприятного посланца. Торговец шелками и прочей мануфактурой, лавка которого была расположена под квартирой отца, прибыл с донесением, что чернила протекли на его нежный товар, причинили необычайный ущерб, в особенности светлым шелкам, и что поэтому он уже послал за чиновниками, дабы составить опись причиненных ему убытков. Одновременно домовладелец предупредил моего отца, что больше не потерпит его у себя.

Отец, изгнанный из своего жилья и выкупавшийся в чернилах, разумеется, загрустил; выражение лица его было, пожалуй, печальнейшее на свете.

— Не стоит огорчаться, сеньор Авадоро, — сказал ему неунывающий Бускерос. — У этих дам во дворе есть просторная квартира, которая им несколько не нужна; вели немедленно перенести в нее свои вещи. Тебе будет там необычайно удобно, в довершение ты найдешь там в изобилии чернила, красные, голубые, зеленые, гораздо лучшие, чем твои черные. Однако я советую тебе в течение некоторого времени не выходить из этого дома, ибо если бы ты пошел к Морено, то каждый приставал бы там к тебе, умоляя рассказать историю с разбитым котлом, а я ведь знаю, что ты не охотник до долгих разговоров. Взгляни, все окрестные зеваки, все бездельники в околотке глазеют уже в твоей квартире на чернильный потоп; завтра во всем городе ни о чем другом и говорить не станут!

Отец ужаснулся. Но один ласковый взгляд барышни Симьенто вернул ему отвагу, и он отправился устраиваться в новой своей обители. Он недолго оставался в одиночестве; госпожа Симьенто зашла к нему и сказала, что, посоветовавшись с племянницей, решила сдать ему cuarto principal, то есть жилье, выходящее на улицу. Отец, который с истинным упоением привык считать прохожих или черепицы на кровле дворца герцога Альбы, охотно согласился на замену. Его просили только о дозволении оставить цветные чернила на прежнем месте. Отец кивком выразил свое согласие.

Котелки стояли в средней комнате; барышня Симьенто входила, выходила, брала краски, не произнося ни слова, так что во всем доме царило

глубочайшее молчание. Никогда отец не был столь счастлив. Так прошло восемь дней. На девятый Бускерос навестил моего отца и сказал ему:

— Сеньор Авадоро, я пришел сообщить тебе о благополучном исполнении желаний, которые ты явно испытывал, но которые доселе не отваживался высказать. Ты тронул сердце барышни Симьенто, ты получишь ее руку и сердце; но ты должен прежде подписать эту бумагу, которую я захватил с собой, если ты хочешь, чтобы в воскресенье было сделано оглашение о желающих вступить в брак.

Отец, чрезвычайно удивленный, хотел ответить, но Бускерос не дал ему на то времени и продолжал:

— Сеньор Авадоро, твоя будущая женитьба ни для кого не тайна. В Мадриде о ней только и говорят. Если ты имеешь намерение ее отложить, то родители барышни Симьенто собираются у меня и тогда ты придешь и сам изложишь им причины промедления. Это шаг, которого ты никак не сможешь избежать.

Отец похолодел при мысли, что должен будет что-то разъяснить всему семейству Симьенто; он хотел что-то сказать, но дон Роке вновь перебил его и произнес.

— Я отлично понимаю тебя, ты хочешь услышать о своем счастье из уст самой барышни Симьенто. Вот и она; я оставляю вас одних.

Барышня Симьенто вошла в превеликом смущении, не смея поднять глаз на моего отца; взяла несколько красок и молча начала их смешивать. Робость ее вселила отвагу в душу дона Фелипе, он впился в нее глазами и не мог оторвать их. На сей раз он смотрел на нее совершенно по-иному.

Бускерос оставил на столе бумаги, необходимые для оглашения о желании вступить в брак. Барышня Симьенто приблизилась, трепеща, взяла их в руки, прочла, после чего прикрыла глаза рукой и уронила несколько слезинок. Отец с тех пор, как умерла его супруга, и сам никогда не плакал, и никому не давал повода для плача. Слезы, вызванные им, тем сильнее его тронули, что он не мог точно угадать их причину. Он ломал голову, плачет ли барышня Симьенто из-за самого содержания бумаги, или же просто оттого, что эта бумага еще не подписана. Хочет ли она сочетаться с ним браком или не хочет? Однако она непрестанно плакала. Слишком жестоким было бы позволить ей плакать дальше. Но, чтобы заставить ее объяснить, в чем дело, следовало вступить с ней в разговор, а посему отец мой взял перо и подписался. Барышня Симьенто поцеловала ему руку, взяла бумагу и вышла; вернулась она в обычное время и, не говоря ни слова, занялась изготовлением небесно-голубого лака. Отец в это время курил сигару и задумчиво пересчитывал черепицы дворца герцога Альбы. В полдень пришел брат Херонимо Сантес и принес с собой брачный контракт, в котором, впрочем, не был забыт и я. Отец подписал контракт, барышня Симьенто также его подписала, поцеловала моему отцу руку и молча занялась изготовлением своего лака.

С момента гибели исполинской чернильницы отец не смел показываться в театре, а тем более у книгопродавца Морено. Такое уединение начинало ему уже понемногу наскучивать. Три дня прошло после подписания контракта. Бускерос пришел уговаривать моего отца, чтобы тот отправился с ним на прогулку. Отец дал себя уговорить, и они поехали на другой берег Мансанареса. Вскоре они остановились перед маленькой церквучкой францисканцев. Дон Роке высадил моего отца, они вместе вошли в храм божий, где застали барышню Симьенто, которая их уже дожидалась. Отец раскрыл рот, собираясь сказать, что, по его мнению, они выехали только затем, дабы подышать свежим воздухом, но ничего не сказал, взял барышню Симьенто под руку и повел ее к алтарю.

Выйдя из храма, новобрачные сели в роскошный экипаж и возвратились в Мадрид, в прекрасный дом, где ожидал их великолепный бал. Госпожа Авадоро открыла его в паре с каким-то молодым человеком необыкновенно приятной наружности. Они танцевали фанданго, поощряемые шумными рукоплесканиями.

Мой отец тщетно искал в своей супруге ту тихую и кроткую девушку, которая целовала ему руки с таким глубоким смирением. Вместо этого с неописуемым изумлением он узрел женщину живую, шумливую и ветреную. Он ни с кем не заговаривал, а так как никто ни о чем его не спрашивал, молчание было единственным его утешением.

Накрыли на стол, подали холодное мясо и прохладительные напитки; отец, которого сморила дремота, осмелился спросить, не пора ли уже возвращаться домой. Ему ответили, что он находится в собственной своей квартире. Отец подумал, что дом этот представляет собственную часть приданого его жены: он приказал показать себе спальню и прилег отдохнуть.

Наутро дон Роке разбудил новобрачных.

— Сеньор, возлюбленный мой кузен, — сказал он моему отцу, — я называю тебя так, поскольку жена твоя — ближайшая моя родственница, какая у меня есть на этом свете. Матушка ее происходит из семейства Бускеросов из Леона. До сих пор я не хотел напоминать тебе о твоих денежных делах, но с нынешнего дня собираюсь заняться ими больше, чем своими собственными, ибо, по правде говоря, у меня нет никаких собственных финансовых дел. Что же касается твоего состояния, сеньор Авадоро, то я узнал точнейшим образом о твоих доходах и о том, каким образом ты их в течение шестнадцати лет тратишь.

Вот бумаги относительно твоего наличного имущества. Когда ты вступил в первый брак, у тебя было четыре тысячи годового дохода, сумма, которую, к слову сказать, ты не умел тратить как следует. Ты брал для своих нужд шестьсот пистолей, двести же предназначал на воспитание сына. Тебе оставалось три тысячи двести пистолей, которые ты поместил в торговом банке, процент же с них отдавал театинцу Херонимо

на милосердные дела. Я никоим образом тебя за это не порицаю, но, слово чести, жаль мне теперь бедняков, ибо им придется отныне обходиться без вспомоществования с твоей стороны.

Впредь мы сами сумеем израсходовать твои четыре тысячи пистолей годового дохода, что же касается пятидесяти одной тысячи двухсот пистолей, твоего вклада в торговом банке, то мы ими распорядимся вот каким образом: за этот дом — восемнадцать тысяч пистолей — это многовато, признаю, но тот, кто продал этот дом, приходится мне сродни, а мои родичи это отныне и твои родичи, сеньор Авадоро. Ожерелья и кольца, которые сеньора Авадоро вчера надевала, обошлись в восемь тысяч пистолей, — ну, допустим, в десять, — позднее я объясню тебе причину этого. У нас остаются еще двадцать три тысячи пистолей. Проклятый театинец припрятал пятнадцать тысяч для своего бездельника-сына на случай, если бы тот когда-нибудь отыскался. Пять тысяч на мебелировку и прочее устройство твоего дома — будет не слишком много, ведь, говоря откровенно, все приданое твоей жены состоит из полудюжины рубашек и стольких же пар чулок. Ты скажешь мне, что, таким образом, тебе остаются еще три тысячи двести пистолей, с которыми ты и сам не знаешь как быть. Чтобы избавить тебя от излишних хлопот, я беру их у тебя в долг под проценты, о которых мы уж как-нибудь договоримся. Вот здесь, сеньор Авадоро, доверенность, благоволи же ее подписать.

Мой отец не мог прийти в себя от изумления, в которое повергли его слова Бускероса, он раскрыл рот, чтобы что-нибудь ответить, но, не зная, с чего начать, отвернулся к стене и нахлобучил ночной колпак на глаза.

— Напрасный труд, — сказал Бускерос, — ты не первый, который хотел спрятаться от меня в свой ночной колпак и прикинуться, что спит. Я знаю все эти увертки и всегда таскаю свой ночной колпак в кармане на всякий случай; вот я сейчас растянусь на кушетке, давай оба хорошенько поспим, выспимся, а проснувшись, вернемся снова к нашей доверенности, или также, если бы это тебе больше пришлось по душе, соберем моих и твоих родичей и поглядим, нельзя ли все эти дела уладить как-нибудь иначе.

Отец мой, уткнув голову между подушками, начал размышлять о своем положении и о средствах, с помощью которых он мог бы обрести покой. Он подумал, что, предоставив жене совершеннейшую свободу, он, пожалуй, сумеет вернуться к прежнему образу жизни, снова сможет ходить в театр, к книгопродавцу Морено и даже наслаждаться изготовлением чернил. Его несколько утешила эта мысль, он открыл глаза и дал знак, что подпишет доверенность.

Он и в самом деле подписал ее и захотел подняться с постели.

— Погоди вставать, сеньор Авадоро, — сказал ему Бускерос, — прежде, чем ты встанешь, ты должен решить, что ты будешь делать в течение всего дня. Я тебе помогу и надеюсь, что ты будешь доволен планом, который

я тебе представляю, тем более, что этот день откроет собой ряд столь же приятных, сколь и разнообразных развлечений. Прежде всего я принес тебе пару стеганых гамаш и весь наряд для верховой езды; чудесный скакун ждет тебя у ворот, — давай прогуляемся по Прадо, куда и сеньора Авадоро вскоре прибудет в карете. Ты убедишься, сеньор дон Фелипе, что у супруги твоей в городе есть превосходные и родовитые друзья, которые вскоре станут также и твоими друзьями. Правда, они с некоторых пор немного охладели к ней, но теперь, видя ее в союзе с человеком, столь почтенным, как ты, несомненно позабудут о предубеждении, которое они прежде испытывали по отношению к ней. Повторяю тебе, первые вельможи будут искать твоего расположения, льстить тебе, заискивать, обнимать тебя, да что я говорю — душить тебя в пылких дружеских объятиях!

При этих словах Бускероса отец мой окончательно сомлел или, вернее, впал в состояние полнейшего оцепенения. Бускерос не заметил этого и продолжал следующим образом:

— Некоторые из этих господ окажут тебе честь, добиваясь приглашения на твои обеды. Именно так, сеньор Авадоро, они окажут тебе эту честь, и я думаю, что не обманусь в тебе. Ты увидишь, как твоя жена умеет принимать гостей. Честное слово, ты не узнаешь смиренной лакировщицы! Ты ничего мне на это не отвечаешь, сеньор Авадоро, и ты прав, что не перебиваешь меня. Так, например, ты любишь испанскую комедию, но готов побиться об заклад, что ты никогда не бывал на итальянской опере, которой восхищается весь двор. Ну, ладно, нынче вечером ты пойдешь в оперу и угадай, в чью ложу? В ложу дона Фернандо де Тас, великого конюшего, ни больше, ни меньше. Оттуда мы отправимся на бал к тому же самому господину, где ты встретишь все придворное общество. Все будут с тобой беседовать, приготовься отвечать.

Отец мой тем временем пришел в чувство, однако холодный пот выступил у него на лбу, руки окоченели, шею свела судорога, голова упала на подушки, он ужасно вытаращил глаза, из груди его вырвался внезапный вздох — одним словом, у него начались корчи. Бускерос заметил, наконец, какие последствия вызвали его слова, стал звать на помощь, сам же отправился на Прадо, куда и моя мачеха вскоре за ним поспешила.

Отец впал в своего рода летаргию. Когда к нему вернулись силы, он перестал узнавать всех, кроме жены и Бускероса. Едва только он их замечал, ярость изображалась в его чертах, в остальном же он был спокоен, молчал и не хотел подниматься с постели. Когда порой ему приходилось ненадолго вставать, он казался озябшим и стучал зубами битый час. Вскоре проявления слабости стали еще разительнее. Больной мог принимать пищу лишь чрезвычайно малыми порциями. Судорожные спазмы сжимали ему горло, язык опух и одеревенел, глаза потеряли блеск, взор сделался блуждающим, а темножелтая кожа покрылась белыми крапинками.

Я получил доступ к нему в дом, прикидываясь слугой, и проникнутый грустью, смотрел, как прогрессирует недуг. Тетка Даланоса, которой я открыл свою тайну, бодрствовала при нем ночи напролет, но больной ее не узнавал; что же касается моей мачехи, то видно было, что ее присутствие ему весьма вредит, так что брат Херонимо уговорил ее, чтобы она выехала в провинцию, куда вслед за ней поспешил и Бускерос.

Я придумал последнее средство, которое могло бы вывести отца из злополучной меланхолии, и средство это и в самом деле помогло, хотя и ненадолго. Однажды отец сквозь приоткрытые двери увидел в соседней комнате котел, точь-в-точь как тот, которым он некогда пользовался для приготовления чернил; рядом с котлом был поставлен столик с разными склянками и весами для отмеривания ингредиентов. Тихая веселость озарила лицо моего батюшки, он встал, подошел к столику, попросил поставить ему кресло, но, так как силы его были чрезвычайно подорваны, заниматься приготовлением чернил приходилось кому-нибудь другому; впрочем, отец внимательнейшим образом присматривался к его манипуляциям. Наутро он смог уже сам заняться возделенной работой, а следующий же день состояние его значительно улучшилось, но спустя несколько дней появилась горячка, совершенно чуждая прежнему течению недуга. Симптомы как будто отнюдь не были тяжелыми, однако упадок сил оказался настолько значительным, что больной утратил всякую способность к сопротивлению. Отец мой тихо угас, даже не узнав меня, хотя окружающие всяческими способами пытались напомнить ему о моем существовании.

Так умер человек, который не принес с собою в свет той степени нравственных и телесных сил, которые могли бы обеспечить ему хотя бы заурядную твердость духа. Инстинкт, если можно так выразиться, побудил его избрать себе род прозябания, соответствующий возможностям его робкой души и вялого тела. Он погиб, когда его хотели швырнуть в волны действительного существования.

Но мне пора уже вернуться к собственным моим приключениям. Наконец истек двухлетний срок моего покаяния. Трибунал инквизиции, по ходатайству брата Херонимо, позволил мне вновь называться собственным именем, при условии, что я приму участие в экспедиции на мальтийских галерах. С радостью я принял этот приказ, надеясь, что встречу с командором Толедо уже не как слуга, но почти как равный.

Кстати, мне отчаянно надоели нищенские лохмотья. Я роскошно экипировался, примеряя наряды в доме тетки Даланосы, которая умирала от восхищения. Я выехал на заре, чтобы скрыть от любопытных глаз мою удивительную метаморфозу. Сел на корабль в Барселоне и после непродолжительного плавания прибыл на Мальту. Встреча с кавалером доставила мне большее удовольствие, чем я предполагал. Толедо заверил меня, что маскарад мой никогда его не обманывал и что он намеревался подарить мне свою дружбу, как только я вернусь в первобытное состояние.

Кавалер командовал флагманской галерой, он взял меня на борт своего корабля, и мы крейсировали по морю четыре месяца подряд, не нанеся особого урона берберийским корсарам, которые на легких своих суденышках шутя ускользали от нас.

Здесь кончается история моих детских лет. Я поведал вам ее со всеми подробностями, ибо доселе они хранятся в моей памяти. Мне кажется, что я вижу перед собой келью моего ректора у театинцев в Бургосе, а в ней суровую фигуру непреклонного отца Санудо; мне кажется, что я грызу каштаны на паперти храма святого Роха и простираю руки к благородному Толедо.

Я не поведаю вам с такими же подробностями о приключениях моей молодости. Сколько я ни переношусь воображением в эти чудеснейшие времена моей жизни, я вижу только сумятицу многообразных страстей и слышу раскаты гроз. Завеса глубочайшего забвения скрывает от меня чувства, которые наполняли душу мою и увлекали ее мгновенным счастьем. Правда, я замечаю проблески любви, увенчанной взаимностью, пробивающиеся ко мне сквозь мглу минувших дней, но предметы этой любви смешиваются, и я вижу только отуманенные образы прекрасных, умиленных женщин, веселых девушек, бросающихся мне на шею, обнимая меня лилейными руками, вижу даже, как сумрачные дуэньи, не в силах воспротивиться естественным чарам юности и тронутые зрелищем пылкого и нежного чувства, изменяют своему долгу и соединяют влюбленных, которых им полагалось бы разлучить навеки. Я вижу вожделенную лампу, которой мне подают условный сигнал из окна: потайные лестницы, ведущие меня к заветным дверям. Мгновения эти — наслаждение во всем его могуществе. Бьет четыре, начинает светать, нужно расставаться, ах! и в разлуке тоже есть своя неизъяснимая сладость.

Думается мне, что на всем белом свете история любовных свиданий повсюду одинакова. Повествование мое могло бы показаться вам не особенно занятным, но полагаю, что вы охотно послушаете историю первых моих чувств. Подробности их удивительны, я мог бы даже счесть их чудесными. Сегодня, однако, уже слишком поздно; я должен еще распорядиться делами моего табора, поэтому разрешите мне продолжение отложить на завтра.



День пятьдесят пятый

Мы собрались в обычную пору, и цыган, у которого было свободное время, так продолжал свой рассказ:

Продолжение истории цыганского вожака



Год спустя кавалер Толедо принял на себя главное командование галерами, брат же его прислал ему на расходы шестьсот тысяч пиастров. У Мальтийского ордена было тогда шесть галер, к которым Толедо прибавил еще две, снаряженные им на собственный счет. Рыцарей собралось шестьсот. Это был цвет европейской молодежи. Тогда во Франции как раз начали давать войску форменные мундиры, что дотоле не было в обычае. Толедо дал нам мундир полуфранцузский, полуиспанский. Мы носили пурпурный кафтан, черные латы с мальтийским крестом на груди, брыджи и испанскую шляпу. Этот необыкновенно красивый наряд был нам очень к лицу. Куда мы только ни прибывали, женщины словно прилипали к окнам, дуэньи же бегали с любовными записочками, которые нередко по ошибке отдавали кому-нибудь другому. Ошибки такие становились причиной забавнейших недоразумений. Мы прибывали поочередно во все гавани Средиземного моря, и всюду ожидали нас новые торжества.

В разгаре всех этих торжеств и развлечений начался двадцатый год моей жизни: Толедо был старше меня десятью годами. Великий магистр присвоил ему звание великого бальи и пожаловал ему субприорат Кастилии. Он покинул Мальту, осыпанный этими новыми почестями, и уговорил меня сопровождать его в странствии по Италии. Мы сели на корабль и благополучно прибыли в Неаполь. Не скоро бы мы оттуда выбрались, если бы обворожительного Толедо было так же легко удержать, как легко он давал поймать себя в сети очаровательных прелестниц; но друг мой в высокой степени обладал искусством покидать надоевших возлюбленных,

отнюдь не порывая с ними добрых отношений. Таким образом он забросил неаполитанские романы, чтобы завязать новые узлы — то во Флоренции и Милане, то в Венеции и Генуе, — так что только на следующий год мы прибыли в Мадрид.

Как только мы оказались в столице, Толедо отправился представиться королеве, а затем, взяв красивейшего скакуна из конюшни своего брата, герцога Лермы, велел оседлать для меня другого, не менее великолепного, и мы поехали на Прадо, где смешались с кавалькадой всадников, гарцующих у дверей экипажей, в которых катались знатные дамы.

Роскошный экипаж привлек наше внимание. Это была открытая коляска, в которой сидели две женщины в полутрауре. Толедо узнал надменную княжну Авила и подъехал, чтобы поздороваться с нею. Вторая из женщин повернулась к нему, он совершенно не знал ее, и она, казалось, очаровала его своей красотой.

Незнакомка эта была прекрасная герцогиня Медина Сидония, которая, покинув домашнее затворничество, возвращалась в свет. Она узнала прежнего своего узника и приложила палец ко рту, давая знак, чтобы я не выдал ее тайны. Затем она обратила прекрасные очи свои на Толедо, лицо которого выражало серьезность и робость, каких я никогда не замечал в нем ни при ком из женщин. Герцогиня Сидония сообщила, что не вступит уже во второе супружество; княжна Авила же, что никогда не выйдет замуж. Пред лицом столь непреклонно принятых решений следовало признать, что мальтийский рыцарь прибыл необычайно своевременно. Обе строгие дамы необыкновенно мило приняли Толедо, который учтиво поблагодарил их за любезность; а герцогиня Сидония, притворяясь, что видит меня впервые в жизни, успела обратить на меня внимание своей подруги. Таким образом возникли две пары, которые непрестанно встречались в вихре всяческих светских развлечений. Толедо, любимый в сотый раз в жизни, влюбился в первый раз. Я старался сложить знаки внимания к ногам княжны Авила. Однако прежде, чем я приступлю к рассказу об истории наших отношений с этой дамой, мне следует сказать вам несколько слов о положении, в котором она тогда находилась.

Князь Авила, отец ее, скончался в то время, когда мы с Толедо находились на Мальте. Смерть вельможи всегда производит на людей большое впечатление, его падение волнует их и поражает. В Мадриде помнили инфанту Беатрису и тайную ее связь с герцогом. Стали поговаривать о сыне их, с особой коего были якобы связаны дальнейшие упования и судьбы этого семейства. Полагали, что завещание покойного герцога объяснит эту тайну, но всеобщие ожидания оказались тщетными, ибо завещание ничего не объяснило. Двор хранил молчание, а между тем горделивая княжна Авила явилась в свет еще более надменной, еще более пренебрегая поклонниками и презирая супружество, чем когда-либо прежде.

Хотя я был из хорошей дворянской семьи, тем не менее по испанским понятиям не могло быть и речи о каком бы то ни было равенстве между мною и княжной, к которой я мог приблизиться только как молодой человек, ищущий покровительства, чтобы сделать карьеру. Толедо был как бы рыцарем прекрасной Сидонии, я же — как бы пажом ее подруги.

Подобная роль не могла быть для меня неприятной; я мог, не обнаруживая своей страсти, предупреждать любые желания восхитительной Мануэлы, выполнять ее повеления — одним словом, посвятить себя всецело служению ей. Верно следуя велениям моей повелительницы, я старался ни единым словом, взглядом или вздохом не выдать чувств моего сердца. Боязнь, как бы не оскорбить ее и не вызвать запрета видеться с ней (а такой запрет легко мог после этого возникнуть), придавала силы в обуздании страсти. Герцогиня Сидония старалась, сколько могла, поднять и возвысить меня в глазах своей подруги, но милости, которых она для меня добилась, ограничились только несколькими любезными улыбками, выражающими холодную благосклонность.

Подобное положение длилось более года. Я видел княжну в церкви, на Прадо, получал ее приказания на весь день, но никогда нога моя не переступала порога ее дома. Однажды она велела позвать меня к себе. Я стал ее склонившейся над пальцами; она окружена была целой свитой прислужниц. Указав мне стул, она бросила на меня надменный взгляд и сказала:

— Сеньор Авадоро, я оскорбила бы память моих предков, кровь которых течет в моих жилах, если бы не использовала все влияние моего семейства, дабы вознаградить тебя за услуги, которые ты ежедневно мне оказываешь. Дядя мой, герцог Сорриенте, сделал мне такое же замечание и жалует тебе место полковника в полку, шефом которого он состоит. Я надеюсь, что ты окажешь ему честь, приняв это звание. Подумай об этом.

— Сударыня, — отвечал я, — я соединил свою будущность с судьбой кавалера Толедо и не жажду иных званий, кроме тех, которые он сам для меня исходатайствует. Что же касается услуг, какие я имею счастье ежедневно оказывать вашей княжеской светлости, то сладчайшей для меня наградой будет позволение не переставать их оказывать.

Княжна ничего мне на это не ответила, только легким кивком дала понять, что я могу быть свободным.

Спустя неделю я вновь был призван к высокомерной княжне. Она приняла меня так же, как в первый раз, и сказала:

— Сеньор Авадоро, я не могу допустить, чтобы ты мог превзойти в великодушии князей Авила, герцогов Сорриенте и прочих грандов, принадлежащих к моему роду. Я собираюсь предоставить тебе новые возможности, благоприятствующие твоему счастью. Некий дворянин, семейство которого предано нашему роду, приобрел значительное состояние в Мексике. У него есть единственная дочь, и он дает ей в приданое миллион...

Я не позволил княжне завершить эти слова и, встав, с негодованием заявил:

— Хотя кровь Авила и Сорiente не течет в моих жилах, однако сердце, какое во мне бьется, расположено слишком высоко, чтобы миллион мог до него дотянуться.

Я хотел уйти, но княжна велела мне остаться, она удалила женщин в соседнюю комнату, оставив двери приотворенными, и сказала:

— Сеньор Авадоро, одну только награду я могу тебе предложить: рвение, которое ты проявляешь, исполняя мои желания, позволяет мне надеяться, что ты на сей раз не откажешься. Речь идет об оказании мне важной услуги.

— В самом деле, — ответил я, — это единственная награда, которая может меня осчастливить. Никакой иной награды я не желаю и, право же, принять не могу.

— Приблизься, — говорила дальше княжна, — я не хочу, чтобы нас слышали в соседней комнате. Авадоро, ты, должно быть, знаешь, что отец мой тайно был супругом инфанты Беатрисы и, быть может, тебе говорили даже тайком, якобы он имел от нее сына. Мой отец сам распустил эти слухи, чтобы сбить придворных с толку, ибо на самом деле он оставил дочь, которая живет и воспитывается в одном из монастырей неподалеку от Мадрида. Умирая, отец мой открыл мне тайну ее происхождения, о которой она и сама не знает. Он рассказал мне также о замыслах, которые он имел относительно нее, но смерть положила конец всему. Невозможно было бы возобновить всю сеть тщеславных интриг, которую князь сплел ради достижения своих целей. Полного узаконения моей сестры добиться невозможно, и первый же шаг, который бы мы предприняли в этом направлении, мог бы повлечь за собой гибель этой несчастной. Недавно я побывала у нее. Леонора — простая, добрая и веселая девушка. Я полюбила ее от всего сердца, но настоятельница столько наговорила мне о ее необычайном сходстве со мной, что я не смела больше возвращаться туда. Несмотря на это, я намекнула, что искренне жажду ей покровительствовать, и что она — один из плодов бесчисленных романов, которые отец мой имел в своей молодости. Несколько дней тому назад мне донесли, что двор начал разузнавать о ней в монастыре; весть эта встревожила меня, и поэтому я решила перевезти ее в Мадрид.

На заброшенной улице, которая даже и называется Ретрада, у меня есть невзрачный домик. Я велела снять дом напротив и прошу тебя, чтобы ты в нем поселился и стерег сокровище, которое я тебе доверяю. Вот адрес твоего нового жилища, а вот письмо, которое ты отдашь настоятельнице урсулинок из Пеньона. Ты возьмешь с собой четырех всадников и экипаж с двумя мулами. Дуэнья приедет с моей сестрой и будет жить с ней под одним кровом. Со всеми делами обращайся к ней, в дом же ты не должен

входить. Дочь моего отца и инфанты не должна давать даже мнимых поводов, которые могли бы повредить ее репутации.

Сказав это, княжна легонько кивнула. Это был для меня знак уходить. Я покинул ее и отправился сперва в мое новое жилище, которое показалось мне удобно и даже весьма роскошно обставленным. Я оставил там двух верных слуг и возвратился в жилье, которое занимал у Толедо. Что же касается дома, оставшегося мне в наследство после кончины отца, то я сдал его внаем за четыреста пиастров.

Я осмотрел также дом, предназначенный для Леоноры. Я застал в нем двух служанок и старого слугу семейства Авила, который не носил ливреи. Дом был обильно и изящно обставлен и там было все, что требуется для порядочного хозяйства.

На следующий день я взял с собой четырех всадников, экипаж и поспешил в монастырь в Пеньон. Меня ввели в помещение для беседы, где настоятельница уже ожидала меня. Она прочла письмо, улыбнулась и вздохнула.

— Сладчайший Иисусе, — сказала она, — сколько же это грехов творится на свете! До чего я счастлива, что его покинула! Например, барышня, за которой ты приезжаешь, кавалер мой, до того похожа на княжну Авила, что два изображения сладчайшего Иисуса не могут быть так похожи друг на друга. Кто же родители этой юной девушки, ни одна душа не ведает. Покойный князь Авила, богородица, воссияй над его душою...

Настоятельница никогда не прекратила бы своей болтовни, но я дал ей понять, что должен как можно скорее исполнить поручение, и вот она кивнула мне головой, прибавила несколько «увы» и «сладчайший Иисусе», после чего велела мне поговорить с привратницей.

Я отправился к воротам. Вскоре вышли две женщины с закрытыми лицами и, не говоря ни слова, сели в экипаж. Я вскочил на коня и поспешил вслед за ними, также ни к кому не обращаясь. Когда мы прибыли в Мадрид, я несколько опередил экипаж и приветствовал обеих женщин у дверей дома. Сам я не вошел в дом вслед за ними, но отправился в свое жилище, откуда видел, как мои путешественницы устраивались и располагались у себя.

В самом деле, я нашел большое сходство между княжной и Леонорой с той, однако, разницей, что у Леоноры цвет лица был блее, волосы совершенно светлые и фигура немного полней. Так по крайней мере мне показалось из моего окна, но из-за того, что Леонора ни на миг не присела, я не смог лучше ее разглядеть. Счастливая, что вырвалась из монастыря, она предавалась неумеренной радости. Обегала дом от чердака до подвалов, восторгаясь хозяйственной утварью, приходя в восхищение от простой глиняной сковородки на трех ножках или котелка. Она задавала тысячу

вопросов дуэнье, которая не могла за ней поспеть, и заперла, наконец, жалюзи на ключ, так что я с тех пор уже ничего не видел.

После полудня я пошел к княжне и сообщил ей о своих действиях. Она приняла меня с обычным холодным достоинством.

— Сеньор Авадоро, — сказала она, — Леоноре суждено осчастливить кого-нибудь своею рукой и сердцем. Согласно нашим обычаям, ты не можешь у нее бывать, если даже тебе суждено будет стать ее мужем, однако я скажу дуэнье, чтобы она открывала одну из створок жалюзи со стороны твоих окон, но взамен этого требую, чтобы твои жалюзи были всегда заперты. Ты будешь давать мне отчет обо всех поступках Леоноры, хотя, быть может, знакомство с тобой было бы для нее опасным, в особенности если у тебя такое отвращение к супружеству, какое я несколько дней тому назад в тебе заметила.

— Сударыня, — ответил я, — я говорил только, что в выборе не стану руководствоваться корыстью, хотя, правду сказать, признаюсь, что решил никогда не жениться.

Я вышел от княжны и отправился к Толедо, которому, однако, не повеял своих тайн, после чего вернулся в свою квартиру на улице Ретрада. Жалюзи напротив и даже окна были открыты. Старый слуга Андрадо играл на гитаре, Леонора же танцевала болеро с живостью и изяществом, которых я никогда не ожидал бы от воспитанницы кармелиток, ибо там она провела первые годы жизни и только после смерти князя ее отдали к урсулинкам. Леонора резвилась и проказничала, желая непременно заставить свою дуэнью танцевать с Андрадо. Я не мог надивиться, что у серьезной и холодной княжны такая бойкая и веселая сестра. При всем том их сходство было поразительным. Я безумно любил княжну, поэтому живая картина ее прелестей сильно меня занимала. Когда я так предавался наслаждению, любуясь Леонорой, дуэнья заперла жалюзи, и я больше ничего не увидел.

На следующий день я пошел к княжне и рассказал ей о вчерашних моих наблюдениях. Я не утаил неизъяснимого наслаждения, какое испытал, взирая на невинные забавы ее сестры, осмелился даже приписать мой восторг сходству с княжной, которое я усмотрел в Леоноре.

Слова эти отдаленно напоминали признание в любви. Княжна нахмурилась, взглянула еще холоднее, чем обычно, и сказала:

— Сеньор Авадоро, если и существует сходство между двумя сестрами, прошу, чтобы ты никогда не соединял их вместе в твоих восхвалениях. А пока — жду тебя завтра утром. Я намереваюсь уехать на несколько дней и хотела бы перед дорогой с тобой поговорить.

— Госпожа, — отвечал я, — я должен был бы погибнуть под ударами твоего гнева: черты твои запечатлелись в душе моей, как образ некоего божества. Я знаю, что слишком большое расстояние нас разделяет, чтобы я смел посвятить тебе свои чувства. Сегодня, однако, я внезапно нахожу

изображение твоей божественной красоты в особе молодой, веселой, искренней, прямой и откровенной, так кто же запретит мне, сударыня, обожествовать в ней тебя?

С каждым моим словом черты княжны становились все более суровыми. Я думал, что она прикажет мне уйти и не показываться больше ей на глаза; но она только повторила мне, чтобы я завтра вернулся.

Я отобедал с Толедо, вечером же вернулся на свою новую квартиру. Окна напротив были отворены, так что я ясно мог видеть, что творится во всем доме. Леонора стояла у кухонного стола и заправляла олью-подриду. Ежеминутно она просила у дуэньи совета, резала мясо и укладывала его на блюде, без конца смеясь и являя живейшую радость. Затем она накрыла стол белой скатертью и поставила на нем два скромных прибора. На ней был пристойный корсаж, а рукава рубашки были закатаны до самых локтей.

Потом окна и жалюзи были затворены и заперты, но то, что я увидел, произвело на меня сильное впечатление, ибо какой молодой человек может хладнокровно взирать на подобного рода сцены домашней жизни. Именно подобные картины служат причиной того, что люди женятся.

На следующий день я пошел к княжне; сам уже не ведаю, что я ей говорил. Казалось, она вновь опасается объяснения в любви.

— Сеньор Авадоро, — сказала она, прерывая мои излияния, — я уезжаю, как я тебе уже вчера сказала, чтобы провести некоторое время в княжестве Авила. Я позволила моей сестре совершать прогулки после захода солнца, однако, все же не отходя далеко от дома. Если тебе захочется к ней подойти, я предупредила дуэнью, чтобы она не запрещала тебе с ней разговаривать так долго, как только ты сам захочешь. Старайся изучить сердце и характер этой юной особы, ты дашь мне потом отчет о них.

После этих слов она легким кивком велела мне уйти. С болью я расстался с княжной, ведь я любил ее от всего сердца. Ее необыкновенная гордыня меня не оскорбляла, ибо я полагал, что если она захочет отдать кому-либо свое сердце, то выберет, конечно, возлюбленного более низкого сословия, как это обычно делается в Испании. Я воображал, что, быть может, даже и меня она когда-нибудь полюбит, хотя обхождение ее со мной должно было развеять все мои надежды. Одним словом, весь день я размышлял о княжне, но вечером начинал думать о ее сестрице. Я пошел на улицу Ретрада. В ярком лунном сиянии я увидел Леонору, сидящую с дуэньей на скамье у самых дверей. Дуэнья заметила меня, подошла ко мне, пригласила, чтобы я сел рядом с ее воспитанницей, сама же ушла. После непродолжительного молчания Леонора сказала:

— Сеньор, ведь ты тот самый молодой человек, с которым мне позволено видаться? Я могу рассчитывать на твою дружбу?

Я ответил утвердительно и прибавил, что дружба моя никогда не предаст и не обманет.

— Превосходно, — сказала она, — в таком случае благоволи сказать мне, как меня зовут.

— Леонора, — ответил я.

— Я не об этом спрашиваю, — прервала она, — ведь у меня должна быть еще и фамилия. Я уже не та простушка, какой я была у кармелиток. Там я думала, что мир состоит только из монахинь и исповедников, но теперь я знаю, что есть жены и мужья, которые никогда их не покидают, что дети носят фамилию отца. Вот потому-то я и стремлюсь узнать, как моя фамилия.

Так как кармелитки в некоторых монастырях живут по весьма строгому уставу, то меня и не удивило это наивное неведение, столь удивительное у двадцатилетней девушки. Я ответил поэтому, что, увы, не знаю ее фамилии. Потом я сказал, что видел, как она танцует в своей комнате, и что на-верное не у кармелиток она научилась танцевать.

— Нет, — ответила она, — князь Авила поместил меня у кармелиток, но после его кончины меня отвезли к урсулинкам, где одна из воспитанниц обучила меня танцам, другая — пению; о том же, как мужья живут со своими женами, все мне говорили, вовсе не считая этого тайной. Что до меня, то я хотела бы обязательно иметь фамилию, но для этого мне необходимо выйти замуж.

Потом Леонора говорила мне о театре, о прогулках, бое быков и проявила страстное желание увидеть все эти вещи. С тех пор я несколько раз с ней говорил, но всегда вечером. Неделю спустя я получил от княжны письмо следующего содержания:

Приближая тебя к Леоноре, я надеялась пробудить в ней известную склонность к тебе. Дуэнья ручается мне, что мои надежды исполнились. Если преданность, какую ты всегда мне оказывал, является искренней, ты женишься на Леоноре. Подумай, что отказ будет для меня оскорблением.

Я ответил ей такими словами:

Сударыня!

Преданность моя вашей светлости является единственным чувством, которое наполняет мою душу. Чувства, которые мне следовало бы испытывать по отношению к супруге, конечно, не нашли бы уже в ней места. Леонора заслуживает мужа, который любил бы только ее одну.

И получил следующий ответ:

Излишне было бы дольше скрывать от тебя, что ты для меня опасен и что твой отказ доставил мне высочайшую радость, какую я когда-либо в жизни испытала. Но я решила, однако, преодолеть себя. Даю тебе на вы-

бор: или вступить в брак с Леонорой или также навсегда быть отторгнутым от меня, а быть может даже изгнанным из Испании. Ты знаешь, что семейство мое пользуется немалым влиянием при дворе. Не пиши мне больше, я отдала дуэнье соответствующие распоряжения.

Хотя я и был влюблен в княжну, столь необузданная гордыня сильно меня уязвила. Сперва я хотел во всем признаться кавалеру Толедо и прибегнуть к его опеке, воспользовавшись его покровительством, но кавалер, без памяти влюбленный в герцогиню Сидония, был чрезвычайно привязан к ее подруге и никогда бы ничего против нее не предпринял. Поэтому я решил молчать и вечером сел у окна, чтобы присмотреться к моей будущей супруге.

Окна были открыты, мне ясно было видно все жилье. Леонора сидела посреди комнаты, ее окружали четыре женщины, которые наряжали ее. На ней было белое атласное платье, расшитое серебром, венок из цветов на голове и бриллиантовое ожерелье. Длинная белая фата покрывала ее с головы до пят.

Меня удивили эти приготовления; вскоре удивление мое еще возросло. В глубине комнаты поставили стол, украсили его, подобно алтарю, и зажгли на нем свечи. Вошел священник с двумя господами, которые, казалось, должны были стать свидетелями обряда, не хватало только жениха. Я услышал стук в мои двери и голос дуэньи, которая говорила мне:

— Тебя ждут, сеньор. А может быть ты намереваешься воспротивиться приказам княжны?

Я пошел вслед за дуэньей. Невеста не сняла фаты; ее руку вложили в мою, словом, нас поженили. Свидетели пожелали мне счастья так же, как и моей супруге, лица которой они не видели, и ушли. Дуэнья повела нас в комнату, слабо озаренную лучами луны, и заперла за нами двери.

Когда цыган досказывал эти слова, некий человек из его табора потребовал его присутствия. Авадоро ушел, и больше в тот день мы уже его не видели.

День пятьдесят шестой

Мы собрались в обычный час, и цыган, у которого оказалось свободное время, так продолжал нам рассказывать:



Продолжение истории цыганского вожака

Я рассказал вам о моем удивительном бракосочетании. Образ нашей супружеской жизни был столь же своеобразен. После захода солнца поднимались жалюзи, и я видел всю внутренность ее жилья, однако жена моя не выходила из дому, и я не имел возможности подойти к ней. Только в полночь дуэнья приходила за мной и выпроваживала меня под утро.

Спустя неделю после этого события княжна вернулась в Мадрид. Я предстал перед ней, весьма смущенный. Я кощунственно надругался над любовью, которою пылал к ней, и теперь упрекал себя самым горестным образом. Она, напротив, относилась ко мне с несказанной благосклонностью. Всякий раз, как она оставалась со мной наедине, она оставляла былой холодный способ обхождения, я был для нее братом и другом.

Однажды вечером, возвращаясь к себе, я как раз запираю двери, когда почувствовал, что кто-то тянет меня за полу. Я обернулся и узнал Бускероса.

— Наконец-то ты мне попался, сеньор, — сказал он. — Кавалер Толедо жалуется, что давно тебя не видел, уверяет, что ты скрываешься от него и что он не может догадаться, какими важными делами ты занят. Я попросил его дать мне двадцать четыре часа, по истечении которых обещал ему обо всем точно доложить. Предприятие мое увенчалось успехом. Но ты, барчук, не забывай о почтении, какое ты мне обязан оказывать, ибо я женился на твоей мачехе.

Эти последние слова напомнили мне, в какой большой мере Бускерос повинен в смерти моего отца; я не мог удержаться от того, чтобы не

выразить к нему отвращения и досады, и мне не без труда удалось от него избавиться.

На следующий день я пошел к княжне и рассказал ей об этой злополучной встрече. Она показалась мне весьма огорченной.

— Бускерос, — сказала она, — шпион и соглядатай, от внимания которого ничто не ускользнет. Нужно удалить Леонору из-под его наблюдения. Сегодня же я отправлю ее в замок Авила. Не сердись на меня, Авадоро, я делаю это ради вашего общего счастья.

— Госпожа, — ответил я, — неперенным условием счастья является исполнение желаний, я же никогда не желал себе стать супругом Леоноры. Несмотря на это, я должен признаться, что теперь привязался к ней и любовь моя с каждым днем возрастает, если вообще дозволено мне применить это выражение, ибо я никогда не вижу ее днем.

В тот же самый вечер я отправился на улицу Ретрада, но никого там не застал. Двери и окна были заперты.

Спустя несколько дней Толедо велел позвать меня к себе в кабинет и сказал:

— Я говорил о тебе королю. Государь посылает тебя с депешами в Неаполь. Питерборо¹, этот почтенный англичанин, по делам чрезвычайной важности намерен встретиться со мной в Неаполе. Его величество не желает, чтобы я совершил эту поездку, итак, ты должен меня заменить. Однако, — прибавил он, — мне кажется, что этот замысел тебя не увлекает.

— Бесконечно благодарен за милость его королевскому величеству, — отвечал я, — но у меня в Мадриде есть покровительница, без согласия которой я ничего не отважусь предпринять.

Толедо улыбнулся и молвил:

— Я говорил уже об этом с княжной; сегодня же отправляйся к ней.

Я пошел к княжне, которая мне сказала:

— Дорогой Авадоро, тебе известно теперешнее положение испанской монархии. Король на краю могилы², и вместе с ним угасает австрийская ветвь. В столь критических обстоятельствах всякий истинный испанец должен забыть о себе и воспользоваться любым случаем послужить своему отечеству. Жена твоя находится в безопасном месте. Леонора не будет тебе писать, ибо она писать не умеет; кармелитки не обучили ее этому искусству. Я заменю ее и, если можно верить дуэнье, скоро сообщу тебе вести, которые еще крепче привяжут тебя к ней.

Сказав это, княжна потупилась и зарделась, после чего дала мне знак уйти.

Я отправился к министру за инструкциями, которые касались внешней политики и охватывали также управление королевством Неаполитанским, ибо королевство сие хотели любыми способами привлечь на сторону Испа-

нии. Я выехал на следующий день и совершил поездку с возможной поспешностью.

Я начал выполнять данные мне поручения с рвением, естественным для исполнителя первой в своей жизни дипломатической миссии, однако в часы, свободные от занятий, воспоминания о Мадриде всецело занимали мои помыслы. Как бы то ни было, княжна любила меня, она сделала мне признание; однако, породнившись со мною, исцелилась от страсти, тысячи доказательств коей я получал. Леонора, таинственное божество моих ночей, руками Гименея подала мне чашу наслаждения. Воспоминание о ней царило и в моих помыслах, и в сердце моем. Скорбь о ней превратилась почти в отчаяние. Ко всему прочему прекрасному полу, за исключением этих двух женщин, я был совершенно равнодушен.

Письма от княжны приходили ко мне вместе с бумагами от министра. Они не были подписаны, и почерк был явно изменен. Я узнал, что Леонора забеременела, но что она больна и силы ее подорваны. Вскоре до меня дошли вести, что я сделался отцом и что Леонора неимоверно страдает. Новости, которые я получил о ее здоровье, казалось, готовили меня к страшному удару, который должен был вскоре обрушиться на меня.

Потом я увидел Толедо, приехавшего ко мне тогда, когда я менее всего ожидал этого. Он бросился в мои объятия.

— Я прибыл, — сказал он, — по королевским делам, но на самом деле меня прислали княжна и герцогиня.

С этими словами он вручил мне письмо, которое я, трепеща, вскрыл. Я предвидел его содержание. Княжна сообщала мне о кончине Леоноры и присоединяла утешения нежнейшей дружбы.

Толедо, который с давних пор оказывал на меня большое влияние, употребил его для того, чтобы успокоить меня. Я, правду сказать, не узнал Леоноры, но она была моей женой и мысль о ней сочеталась со сладчайшими воспоминаниями о кратковременном нашем союзе. Хотя боль прошла, я постоянно был печален и измучен.

Толедо взял на себя все дела, а когда они были закончены, мы вернулись в Мадрид. Неподалеку от ворот столицы кавалер вышел из экипажа и кружным путем привел меня на кладбище кармелиток. Там он показал мне урну черного мрамора. На пьедестале мерцало имя Леоноры Авадоро. Я оросил надгробье горестными слезами и несколько раз возвращался к нему, прежде чем пошел поздороваться с княжной. Она не поставила мне этого в вину, напротив, в первую же нашу встречу после моего возвращения проявила ко мне симпатию, граничащую с нежностью. Княжна провела меня в задние комнаты своего дома и показала ребенка в колыбели. Волнение мое достигло высочайшей степени. Я упал на колени, княжна подала мне руку и велела подняться, после чего жестом приказала уйти.

На следующий день я побывал у министра, который представил меня его королевскому величеству. Толедо, отправляя меня в Неаполь, искал

повода, чтобы исходатайствовать для меня какую-нибудь милость. Я был удостоен звания рыцаря ордена Калатравы. Хотя это отличие и не ставило меня на равную ногу с первейшими вельможами, однако весьма ощутимо к ним приближало. С тех пор княжна, герцогиня Сидония и Толедо всячески старались доказать, что считают меня равным себе. Наконец, им я был обязан всей моей судьбой, поэтому они с приятным чувством удовлетворения взирали на мой стремительный взлет.

Вскоре за тем княжна Авила велела мне уладить некое дело, которое было у нее в Совете Кастилии. Я выполнил ее поручение с осмотрительностью, которая еще более увеличила уважение ко мне со стороны моей покровительницы. С каждым днем княжна становилась ко мне все благоклонней. И тут начинается удивительнейшая часть всей этой истории.

Возвратившись из Италии, я перебрался в старую свою квартиру у кавалера Толедо, но, тем не менее, сохранил прежнюю, на улице Ретрада. Я оставил там слугу, которого звали Амвросио. Дом напротив, тот самый, в котором меня обвенчали, был заперт, в нем никто не жил. Однажды утром пришел Амвросио, прося меня, чтобы я прислал на его место кого-нибудь похрабрее, потому что в доме напротив после полуночи творятся престранные вещи. Я хотел, чтобы он мне объяснил, в чем состоят эти явления, но Амвросио стал уверять меня, что со страху ни на что не смотрел, что вообще ни за какие сокровища на свете не решился бы провести ночь в моем доме ни сам, ни вместе с кем-нибудь другим.

Слова эти возбудили мое любопытство. Я решил в ближайшую же ночь своими глазами во всем убедиться. Внутри дома оставалось еще немного мебели, я перебрался туда после ужина. Велел одному из слуг лечь спать в прихожей, сам же занял комнату, окна которой смотрели на прежний дом Леоноры. Я выпил несколько чашек черного кофе, чтобы не заснуть, и дождался полночи. Это был час, когда, по словам Амвросио, появлялись духи. Чтобы их не спугнуть, я задул свечу. Вскоре в доме напротив я увидел свет, который переходил с этажа на этаж и из комнаты в комнату.

Жалюзи не позволяли мне видеть, каков источник этого света, однако на следующий день я пошел к княжне за ключами от ее дома и отправился его осмотреть. Я не нашел никакой утвари, никакого следа чьего бы то ни было пребывания. Отцепил по одной жалюзи на каждом этаже и ушел.

Вечером я отправился на свой наблюдательный пункт, а в полночь тот же самый свет вновь вспыхнул в доме напротив. На этот раз, однако, я заметил, откуда исходил этот свет. Женщина в белом со светильником в руках медленным шагом обошла все комнаты первого этажа, перешла на второй и исчезла. Светильник слишком тускло озарял ее, чтобы я мог различить черты ее лица, однако по светлым волосам я узнал Леонору.

На следующий день я поспешил к княжне, но не застал ее дома. Пошел в комнату моей дочери; нашел там нескольких женщин, необычайно смущенных и встревоженных. Сперва они не хотели мне ничего сказать, потом

кормилица призналась, что ночью вошла какая-то женщина в белом со светильником в руке; она долго глядела на ребенка, благословила его и ушла. Потом княжна возвратилась домой, велела меня позвать и сказала:

— У меня есть известные причины, по которым я не хочу, чтобы твое дитя дольше оставалось здесь. Я велела, чтобы ребенку приготовили жилье в доме по улице Ретрада. Там с этих пор дитя твое будет жить с кормилицей и женщиной, которую считают его матерью. Я хотела тебе в этом самом доме предложить квартиру, но боюсь, что это может стать причиной ненужных толков.

Я ответил ей, что сохранию жилище напротив и иногда буду там ночевать.

Мы исполнили волю княжны и перенесли ребенка в дом по улице Ретрада. Я позаботился, чтобы девочку поместили в комнате, выходящей на улицу, и чтобы не запирали жалюзи. Когда пробило полночь, я подошел к окну. Увидел в комнате напротив ребенка, спящего рядом с кормилицей. Женщина в белом появилась со светильником в руке, приблизилась к колыбели, долго глядела на девочку, благословила ее, после чего подошла к окну и стала пристально смотреть на меня. Миг спустя она вышла, и я увидел свет во втором этаже; наконец она выбралась на крышу, легко пробежала по ней, перепрыгнула на соседнюю крышу и исчезла с глаз моих.

Признаюсь, что я был сильно всем этим смущен. На следующий день я с нетерпением дожидался полночи. Как только пробило двенадцать, я сел около окна. Вскоре я увидел уже не женщину в белом, а какого-то хромого карлика с синеватым лицом; вместо одной ноги у него была деревяшка, в руке он держал светильник. Он приблизился к ребенку, внимательно всмотрелся в него и потом, поджав ноги, уселся в окне и начал столь же внимательно ко мне присматриваться. Вскоре он соскочил с окна или, вернее, соскользнул на улицу и стал стучаться у моих дверей. Стоя у окна, я спросил его, кто он и что ему нужно. Вместо ответа он сказал:

— Дон Хуан Авадоро, возьми шпагу и следуй за мной.

Я поступил, как он хотел, спустился на улицу и увидел карлу в двадцати шагах передо мной, ковляющего на своей деревяшке и указывающего мне дорогу фонарем. Пройдя около ста шагов, он свернул влево и ввел меня в заброшенную часть города, которая простиралась между улицей Ретрада и рекой Мансанарес. Мы прошли под сводом и оказались на патио, усаженном деревьями. Патио — это дворик, в который не въезжают экипажи. В глубине дворика находился маленький готический фасад, представляющий собою как бы вход в некую часовню. Из-за колонны показалась женщина в белом, карлик осветил фонарем мое лицо.

— Это он! — воскликнуло привидение. — Он самый, мой муж! Мой дражайший супруг!

— Госпожа, — ответил я, — я был убежден, что ты скончалась.

И в самом деле, это была Леонора, я узнал ее по звуку голоса, а еще больше по страстным объятиям, из-за внезапности коих я не задумался даже над необычностью этого события. Впрочем, у меня не было на это времени, ибо Леонора тут же выскользнула из моих объятий и растворилась во мгле. Я не знал, как мне быть; к счастью, карлик осветил мне дорогу своим фонарем, и я последовал за ним через развалины и по заброшенным улицам, как вдруг фонарь его погас. Я стал призывать карлика, но он не отвечал на мои крики, ночь была совершенно непроглядная, и я решил лечь на землю и дожидаться утра.

Проснулся я, когда солнце было уже высоко. Я лежал под сенью урны из черного мрамора, на которой я прочел надпись золотыми буквами «Леонора Авадоро». Не было сомнений, я провел ночь у надгробья моей жены. Я вспомнил происшедшие события и, признаюсь, что воспоминание о них сильно меня смутило. С давних пор уже я не приближался к суду покаяния. Я пошел к театинцам и попросил в исповедники моего деда, фра Херонимо. Мне сказали, что он занемог, и я попросил поэтому дать мне другого исповедника. Я спросил у него, могут ли злые духи принимать человеческий образ.

— Несомненно, — отвечал он. — Святой Фома в своей «Сумме» упоминает о призраках подобного рода. Дело тут идет об исключительном грехе, который не всякий исповедник вправе отпустить. Когда человек долго не причащается, дьяволы приобретают необычайное влияние на него; они являются ему в образе женщин и вводят его во искушение. Если ты полагаешь, сын мой, что повстречал такие видения, то отправляйся к великому исповеднику. Не трать времени, никто не знает своего смертного часа.

Я отвечал, что мне было дивное явление, которое, может быть, оказалось только обманом чувств, после чего попросил его, чтобы он позволил мне прервать исповедь.

Я пошел к Толедо, который объявил, что поведет меня на обед к княжне Авилы, где будет также герцогиня Сидония. Он заметил, что я рассеян, и осведомился о причине этого. В самом деле, я был задумчив и отвечал на вопросы невпопад. Обед у княжны не развеял моей грусти, однако же веселость Толедо и обеих дам была такой необычайной, что и мое чело разгладилось.

За обедом я заметил многозначительные знаки и улыбки, которые, казалось, относились ко мне. Мы встали из-за стола, но вместо того, чтобы пройти в гостиную, перешли в более отдаленные покои. Затем Толедо запер дверь на ключ и сказал:

— Благородный рыцарь ордена Калатравы, преклони колени перед женщиной, которая вот уже более года — твоя жена. Я надеюсь, ты не скажешь, что догадывался об этом. Люди, которым ты захотел бы рассказать о своих приключениях, могли бы раскрыть тайну, и потом мы больше всего были озабочены тем, чтобы задушить подозрения в зачатке,

и до сих пор наши усилия увенчались успехом. Правда, тайны надменного князя Авила отлично нам послужили. На самом деле у него был сын, которого он хотел узаконить, но сын этот умер, князь же тогда потребовал от дочери, чтобы она никогда не вступала в супружество и таким образом оставила бы все состояние герцогам Сорриенте, которые являются младшей линией князя Авила.

Высокомерная наша княжна ни за что на свете не признала бы ничьей власти над собой, но с момента нашего возвращения с Мальты высокомерие ее весьма ослабело, и ей грозило полное поражение. К счастью, у княжны Авила есть подруга, которая является также и твоей подругой, дорогой Авадоро. Она поделилась с ней своими замыслами, и тогда мы вместе составили военный совет. Мы изобрели, а вернее, выдумали Леонору, дочь покойного князя и инфанты, Леонору, которая была всего только княжной, надевшей светлый парик, набеленной и округлившейся при помощи толщинки. Ты, однако, не смог узнать гордой своей повелительницы в скромной воспитаннице кармелиток. Я присутствовал на нескольких репетициях этой роли и признаюсь, что тоже дал бы себя ввести в заблуждение.

Княжна, видя, что ты отвергаешь самые блестящие матримониальные предложения единственно из желания служить ей, решила сочетаться с тобою браком. Вы — супруги пред лицом Божиим и церковью, но не перед людьми и напрасно пытались бы доказать факт вашего супружества. Таким образом княжна сдержала слово, данное покойному князю.

Небо освятило ваш союз, вследствие чего княжна вынуждена была провести несколько месяцев в деревне, скрываясь от взоров света. Бускерос прибыл в Мадрид, я велел ему следить за тобой, и под предлогом необходимости ускользнуть от пронизательности вездесущего шпиона мы отправили Леонору в деревню. Затем нам удалось послать тебя в Неаполь, ибо мы не знали, как успокоить твои волнения, связанные с состоянием твоей супруги, княжна же только тогда хотела все тебе открыть, когда живое доказательство вашей любви упрочит твои права на нее.

А теперь, дорогой Авадоро, умоляю тебя простить меня. Я вонзил кинжал в твое сердце, сообщив тебе о смерти особы, которая никогда не существовала. Однако искренняя твоя печаль не пропала втуне. Княжна была тронута, убедившись, что ты любил ее в двух столь разных обликах.

Вот уже неделю она жаждет все это раскрыть тебе, но тут вновь вся вина падает на меня. Я настоял, чтобы вызвали Леонору с того света. Княжна согласилась взять на себя роль женщины в белом, но это не она с такой легкостью бегала по крышам. Леонорой этой был маленький трубочист, савояр родом. Этот же плутишка прошлой ночью пришел изображать хромого беса. Он уселся на окне и спустился на улицу с помощью шнура, привязанного к оконной ставне.

Я не знаю, что творилось в подворье у кармелиток, но нынешним утром вновь приказал следить за тобой и узнал, что ты долго стоял на коленях в исповедальне. Я не люблю иметь дела с церковью и страшился, чтобы шутка не зашла слишком далеко. Поэтому я перестал противиться желаниям княжны, и мы решили, что еще сегодня ты обо всем узнаешь.

С такими словами обратился ко мне Толедо, но я мало его слушал. Преклонил колени у ног Мануэлы, сладостное смущение изображалось в ее чертах, я ясно читал в них признание поражения. Свидетелями моей победы были только двое, но это несколько не обескураживало меня, и счастье мое несколько не умалялось. Я достиг вершин в любви, в дружбе и даже в самопоении. Что за миг для молодого человека!

Когда цыган досказывал эти слова, ему дали знать, что пора заняться делами табора. Я обратился к Ревекке и заметил ей, что мы выслушали повествование о сверхъестественных приключениях, которые, однако, были истолкованы нам самым обычным образом.

— Ты прав, — ответила она, — быть может, и твои приключения окажется возможным объяснить таким же образом.

День пятьдесят седьмой

Мы ожидали каких-то важных событий. Цыган, отправив посланцев в разные стороны, с нетерпением дожидался их возвращения, а на вопросы когда мы тронемся в путь, отвечал, качая головой, что не может назвать точного срока. Пребывание в горах начинало мне уже наскучивать, я рад был бы как можно скорее прибыть в свой полк, но, вопреки самым искренним желаниям, должен был задержаться еще на некоторое время. Дни наши проходили весьма однообразно, зато вечерние сборища скрашивало присутствие старого вожака, в котором я всякий раз обнаруживал все новые достоинства. Заинтересованный дальнейшими его приключениями, я на этот раз сам попросил его, чтобы он удовлетворил наше любопытство, что он и сделал в следующих словах:



Продолжение истории цыганского вожака

Вы вспоминаете мой обед в обществе княжны, герцогини Сидония и моего друга Толедо, обед, за которым я впервые узнал, что высокомерная Мануэла — моя жена. Нам подали экипажи, и мы отправились в замок Сорриенте. Там меня ждал новый сюрприз. Та самая дуэнья, которая прислуживала лже-Леоноре на улице Ретрада, представила мне маленькую Мануэлу. Дуэнью звали донья Росальба, и девочка считала ее матерью.

Замок Сорриенте расположен на берегу Тахо, в одном из самых очаровательных уголков на свете. Однако пленительные чары природы недолго занимали мое воображение. Родительские чувства, любовь, дружба, сладостное доверие, взаимная непритворная учтивость улаживали наше времяпрепровождение.

То, что мы в этой краткой жизни называем счастьем, заполняло все мои мгновения. Так прошло, насколько я помню, около шести недель. Нужно было возвращаться в Мадрид. Поздно вечером мы прибыли

в столицу. Я сопровождал княжну до ее дворца и даже ввел ее на лестницу. Она была сильно взволнована.

— Дон Хуан, — сказала она мне, — в Сорриенте ты был супругом Мануэлы, в Мадриде ты еще вдовец после кончины Леоноры.

Когда она произносила эти слова, я заметил какую-то тень, мелькнувшую за перилами лестницы. Я схватил тень за шиворот и подтащил к фонарю. Загадочная тень оказалась не кем иным, как доном Бускеросом. Я уже собрался было вознаградить его за шпионство, когда один взгляд княжны удержал мою руку. Взгляд этот не ускользнул от внимания Бускероса. Он соорудил привычную дерзкую мину и сказал:

— Госпожа, я не смог воспротивиться искушению взглянуть на миг на совершенство твоей особы и, конечно, никто не обнаружил бы меня в моем убежище, если бы сияние твоей красоты, как самое солнце, не озарило бы сии ступени.

Сказав этот комплимент, Бускерос поклонился чуть не до земли и ушел.

— Боюсь, — сказала княжна, — не донеслись ли мои слова до любопытных ушей этого негодяя. Иди, дон Хуан, поговори с ним и постарайся, чтобы у него в голове не укрепились ненужные догадки.

Случай этот, казалось, сильно обеспокоил княжну. Я покинул ее и нашел Бускероса на улице.

— Милостивый пасынок мой, — сказал он мне, — ты чуть было не исколотил меня палкой и, без сомнения, поступил бы очень худо. Прежде всего ты нарушил бы долг почтения по отношению ко мне, как мужу той, которая была твоей мачехой; затем, ты должен знать, что я уже не второразрядный прислужник, каким ты меня некогда звал. С тех пор я выбился в люди, и кабинет министров и даже двор узнали цену моим талантам. Герцог Аркос вернулся из Лондона и теперь в фаворе. Госпожа Ускарис, прежняя его возлюбленная, овдовела и в тесной дружбе с моей женой. Теперь мы задираем нос и никого не боимся.

Но ты, любимый пасынок мой, объясни, что такое тебе говорила княжна? Мне казалось, вы отчаянно боялись, чтобы я вас не подслушал. Предупреждаю тебя, что мы не слишком любим ни князей Авилы, ни герцогов Сидония, ни даже самого твоего Толедо, этого баловня судьбы и женщин! Госпожа Ускарис не может ему простить, что он ее бросил. Я никак не пойму, зачем это вы ездили в Сорриенте; однако во время вашего отсутствия вами тщательно занимались. Вы об этом ничего не знаете, вы невинны, как младенцы. Маркиз Медина, действительно ведущий свой род от герцогов Сидония, жаждет для своего сына титула герцога и руки молодой герцогини. Малютке еще не исполнилось одиннадцати, но это не беда. Маркиз с давних пор находится в дружбе с герцогом Аркосом, который, как известно, является любимцем кардинала Портокарреро¹, а этот последний — человек всемогущий при дворе —

как-нибудь уж все это устроит; ты можешь заверить в этом свою княжну.

Но погоди еще, милостивый государь, пасынок мой, не думай, что я не узнаю в тебе маленького нищего с паперти святого Роха. Ты, впрочем, был тогда в неладах со святейшей инквизицией, а я мгновенно становлюсь нелюбопытным, когда заходит речь о делах, имеющих касательство к сему трибуналу. А теперь прощай, до свиданья!

Бускерос ушел, я же убедился, что он по-прежнему такой же пролаза и все так же навязчив, с той только разницей, что теперь он подвизается в гораздо более высоких сферах.

На следующий день я обедал с княжной, герцогиней Сидония и Толедо. Я сообщил им о вчерашнем моем разговоре. Рассказ мой произвел большее впечатление на слушателей, нежели я ожидал. Толедо, который не был уже столь красив, как прежде, и не имел уже прежнего вкуса к поклонницам, охотно попытался бы удовлетворить свою жажду почестей, но, к несчастью, министр, на которого он возлагал надежды, граф Оропеса, оставил службу. Поэтому он подумал о том, чтобы избрать другой путь. Возвращение герцога Аркоса и та милость, в которой герцог был у кардинала, отнюдь не радовали Толедо.

Герцогиня Сидония, казалось, с ужасом ожидала мгновения, когда она станет пользоваться лишь пожизненной рентой. Княжна Авила же всякий раз, как при ней упоминали о дворе или о милостях двора, принимала еще более надменный вид, чем когда-либо прежде. В такие мгновения я замечал, что неравенство состояний дает себя чувствовать даже у людей, связанных узами дружбы и доверия.

Спустя несколько дней, когда мы обедали у герцогини Сидония, конюший герцога Веласкеса сообщил нам, что нас посетит его господин. Карлос Веласкес был тогда в расцвете сил. Лицо у него было прекрасное, а французский наряд, от которого он так никогда не пожелал отказаться, выгодно отличал его от других. Выговор также отличал его от испанцев, которые часто почти ничего не говорят и, должно быть, именно поэтому столь привязаны к гитарам и сигарам. Веласкес, напротив, свободно переходил с предмета на предмет и всегда находил удобный случай, чтобы сказать какую-нибудь изящную любезность по адресу наших дам.

Несомненно, Толедо был гораздо умнее Веласкеса, но разум проявляется время от времени, говорливость же, напротив — совершенно неисчерпаема.

Беседа с Веласкесом очень пришлась нам по вкусу, он сам даже заметил, что слушатели его к нему не равнодушны. Тогда, обратившись к герцогине Сидония, он с громким смехом сказал:

— В самом деле, я должен признать, что это было бы восхитительно.

— О чем это вы? — спросила герцогиня.

— Да, сударыня, — ответил Веласкес, — вы красивы и молоды так, как многие другие женщины: но, без сомнения, вы были бы самой молодой и самой красивой из всех тещ.

Герцогиня до сих пор никогда не задумывалась об этом. Ей было двадцать восемь. Очень юные женщины были гораздо моложе ее; таким образом это был бы новый способ помолодеть.

— Верь мне, госпожа, — прибавил Веласкес, — я говорю чистейшую правду. Король велел мне просить у тебя руки твоей дочери для молодого маркиза Медины. Его королевское величество чрезвычайно жаждет, чтобы высокий род ваш не угас. Все гранды умеют ценить эту заботливость. Что же касается тебя, госпожа, то ничто не может сравниться с прелестной живой картиной, какую представила бы ты, ведя свою дочурку к алтарю. Всеобщее внимание должно будет разделиться между вами обеими. На твоём месте я появился бы в таком же наряде, как наряд дочери: в белом атласном платье, расшитом серебром. Я советую выписать материю из Парижа. Я укажу госпоже на сей предмет наимоднейшие лавки. Я обещал уже нарядить жениха на французский лад, он будет в светлом парике. Прощайте, сударыня; Портокарреро хочет использовать меня для поручений; я жажду, чтобы он всегда давал мне поручения, столь же приятные, как это.

Сказав это, Веласкес взглянул поочередно на обеих дам, давая каждой из них понять, что она произвела на него большее впечатление, нежели ее соседка, поклонился несколько раз, крутнулся на пятке и отбыл. Тогда во Франции это почему-то называлось изысканными великосветскими манерами.

После ухода герцога Веласкеса наступило долгое молчание. Дамы погрузились в размышления о платьях, расшитых серебром, Толедо же, по видимому, начал размышлять относительно обстоятельств, в которых тогда находилась Испания, и наконец воскликнул:

— Как это, неужели он не собирается воспользоваться услугами никого, кроме подобных Аркосов и Веласкесов, самых легкомысленных людей во всей Испании? Если французская партия так понимает эти вещи, придется обратить свои взоры к Австрии.

И в самом деле, Толедо тотчас же отправился к графу Гарраку², который был тогда послом австрийского императора в Мадриде. Дамы покатали на Прадо, я же последовал за ними верхом.

Вскоре мы встретили богатейший экипаж, в котором, важничая, расположились госпожа Ускарис и госпожа Бускерос. Герцог Аркос ехал рядом с ними верхом. Бускерос, который также верхом спешил за герцогом, в тот день получил орден Калатравы и носил его на груди. Я остолбенел от этого зрелища.

У меня был орден Калатравы, и я полагал, что мне дали его в награду за мои заслуги и более всего за прямоту и честность в поведении, которые

привлекали ко мне сердца знатных и могущественных друзей. Теперь, видя такой же орден на груди человека, которого я презирал больше всех на свете, я признаюсь вам, что был совершенно сбит с толку. Я застыл на месте, как прикованный, когда увидел экипаж госпожи Ускарис. Объехав кругов Прадо и видя по-прежнему на том самом месте, где меня перед тем покинул, Бускерос приблизился ко мне и доверительно заметил:

— Теперь ты убеждаешься, друг мой, что разные пути приводят к одной и той же цели. И я, так же точно, как и ты, сделался кавалером ордена Калатравы.

Я задрожал от негодования.

— Признаю и убеждаюсь, — отвечал я, — но являешься ты или не являешься кавалером, сеньор Бускерос, предупреждаю тебя, что если я когда-нибудь встречу тебя шпионящим в домах, в которых я бываю, то я поступлю с тобой как с последним прохвостом.

Бускерос состроил сладчайшую мину и сказал:

— Возлюбленный мой пасынок, я должен был бы потребовать от тебя объяснений, но я не могу на тебя гневаться и всегда буду твоим другом. В доказательство этого я хотел бы потолковать с тобой о некоторых необычайно важных обстоятельствах, касающихся тебя, в частности, касающихся и княжны Авила. Если это тебя интересует и ты хочешь послушать, отдай твою лошадь стремянному и пойдем со мной в соседнюю кондитерскую.

Движимый любопытством и заботой о спокойствии дорогой моему сердцу особы, я дал себя уговорить. Бускерос велел принести прохладительные напитки и понес нечто совершенно бессвязное. Мы были одни, вскоре, однако, явилось несколько офицеров валлонской гвардии. Они присели к столу и приказали принести шоколаду.

Бускерос склонился ко мне и вполголоса сказал:

— Дорогой друг, ты немного разгневался, так как думал, что я с дурными целями прокрался в переднюю к княжне Авила; однако же я услышал там несколько слов, которые с тех пор все время вертятся у меня в голове.

Тут проныра Бускерос стал смеяться во весь рот, то и дело искоса посматривая на валлонских офицеров, после чего продолжал следующим образом:

— Возлюбленный мой пасынок, княжна говорила тебе: «Там супруг Мануэлы, здесь ты вдовец после кончины Леоноры».

Сказав это, Бускерос снова начал хохотать, да так, что чуть не лопнул и при этом все время поглядывал на валлонов. Несколько раз он повторил ту же игру. Валлоны встали, отошли в угол и явно заговорили о нас. Тогда Бускерос внезапно сорвался с места и, ни слова не говоря, вышел. Валлоны подошли к моему столику, и один из них, обращаясь ко мне с превеликой любезностью, произнес:

— Мои товарищи и я хотели бы узнать, что ваш спутник усмотрел в нас столь необыкновенно смешного?

— Сеньор кавалер, — ответил я ему, — вопрос ваш вполне уместен. В самом деле, спутник и родич мой лопался от смеха, причины коего совершенно непонятны мне самому. Могу, однако, ручаться, что предмет нашего разговора отнюдь не имел отношения к вам и беседа шла о делах семейного порядка, в которых невозможно было усмотреть решительно ничего смешного.

— Сеньор кабальеро, — возразил валлонский офицер, — я должен признать, что ответ твой не вполне меня удовлетворил, хотя он и делает мне бесспорную честь. Я пойду, передам твой ответ моим товарищам.

Валлоны, казалось, стали советоваться между собой и спорить с тем, который говорил со мной. Минуту спустя тот же самый офицер вновь подошел ко мне и сказал:

— Товарищи мои и я не пришли к единодушному заключению относительно последствий, которые должны проистечь из милостиво сделанного мне тобою, сеньор кабальеро, объяснения. Товарищи мои полагают, что мы должны ограничиться твоим объяснением. К несчастью, я противоположного мнения, то есть, все это меня настолько огорчает, что, желая избежать возникновения ссоры, я предложил каждому из них в отдельности дать мне сатисфакцию. Что же касается тебя, сеньор кабальеро, то я считаю, что ты должен отправиться к сеньору Бускеросу, но смею полагать, что репутация, которой этот последний пользуется, вынуждает меня отнюдь не видеть ни малейшей чести в дуэли с ним. С другой стороны, ты, сеньор, сидел вместе с доном Бускеросом за столиком и даже, когда тот смеялся, смотрел на нас. Поэтому я полагаю, что, не придавая ни в коей мере какого бы то ни было значения всей этой пустяшной истории, нам следует завершить наше объяснение той самой шпагой, которая у каждого из нас висит на боку.

Товарищи капитана сперва хотели его убедить, что решительно не из-за чего драться ни с ними, ни со мной: но, видя, с кем они имеют дело, перестали, наконец, отговаривать забияку, и один из них любезно предложил мне быть моим секундантом.

Мы все отправились на поле боя. Я легко ранил капитана, но в то же самое мгновение получил в правую сторону груди удар, который ощутил всего лишь как булавочный укол. Вскоре, однако, меня пробрала смертельная дрожь, и я упал без чувств.

Когда цыган дошел до этого места своего повествования, его прервали, и он должен был пойти заняться делами табора.

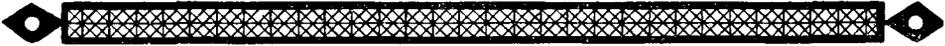
Каббалист обратился ко мне и сказал:

— Если я не ошибаюсь, офицером, который ранил сеньора Авадоро, был именно твой отец.

— Ты нисколько не ошибаешься, — ответил я, — хроника дуэлей, составленная моим отцом, упоминает об этом, и отец мой прибавляет, что, опасаясь ненужной ссоры с офицерами, которые не разделяли его мнения, он в тот же самый день дрался с тремя из них и ранил их.

— Сеньор капитан, — сказала Ревекка, — твой отец дал доказательство необычайной предусмотрительности: из боязни ненужной ссоры он четырежды дрался на дуэли в один и тот же день.

Шутка, которую отпустила Ревекка по адресу моего отца, пришлась мне весьма не по душе, и я уже было хотел ей что-то ответить, когда все общество внезапно разошлось и собралось вновь лишь на следующий день.



День пятьдесят восьмой

Вечером цыган следующим образом продолжал свой рассказ:

Придя в чувство, я заметил, что из обеих рук мне пускают кровь. Будто сквозь туман, увидел княжну, герцогиню Сидония и Толедо; у всех у них на глазах были слезы. Я вновь потерял сознание. В течение шести недель я находился в состоянии, напоминающем беспробудный сон и даже смерть. Опасались за мое зрение — ставни постоянно были притворены, а во время перевязок мне завязывали глаза.

В конце концов мне разрешили смотреть и говорить. Мой лекарь принес мне два письма; первое было от Толедо, который сообщал мне, что выехал в Вену, но с какой миссией, я не мог угадать. Другое письмо было от княжны Авила, но писано не ее рукой. Она писала, что на улице Ретрада предпринимались розыски и что, более того, начали даже шпионить за ней в ее собственном доме. Выведенная из терпения, она уехала в свои поместья или же, как принято выражаться в Испании, в свои владения. Когда я прочел оба эти письма, лекарь велел снова притворить ставни и предоставил меня моим собственным мыслям. В самом деле, на этот раз я серьезно задумался о своем положении. Доселе жизнь казалась мне тропинкой, усыпанной розами; теперь я впервые ощутил шипы.

Спустя пятнадцать дней мне было разрешено проехать по Прадо. Я хотел выйти из экипажа и пройтись, но мне не хватило сил, и я присел на скамью. Вскоре ко мне подошел тот самый валлонский офицер, который был моим секундантом. Он сказал мне, что противник мой все время, пока моей жизни угрожала опасность, был в ужаснейшем отчаянии и что он умоляет разрешить ему обнять меня. Я согласился, мой противник бросился к моим ногам, прижал меня к сердцу и, уходя, сказал мне голосом, прерывающимся от слез:

— Сеньор Авадоро, предоставь мне возможность драться за тебя на дуэли, это будет прекраснейший день в моей жизни.

Вскоре затем я увидел Бускероса, который подошел ко мне с привычной беспцеремонностью и сказал:

— Возлюбленный мой пасынок, ты получил несколько чрезмерно суровый урок. По правде говоря, это я должен был его тебе преподать, но, конечно, у меня бы это вышло далеко не столь блистательно.

— Драгоценнейший мой отчим, — ответил я ему, — я вовсе не жалею о рану, которую мне нанес тот мужественный офицер. Я ношу шпагу, предвидя, что нечто подобное может со мной случиться. Что же касается твоего вклада в эту историю, то я полагаю, что нужно бы тебя вознаградить, исколотив как следует твою шкуру палкой.

— Пустяки, возлюбленный мой пасынок, — перебил меня Бускерос, — это последнее отнюдь не является необходимым и в настоящую минуту нарушает даже правила хорошего тона и благоприличия. С тех пор, как мы расстались, я сделался важной персоной: чем-то вроде вице-министра второго разряда. Я должен рассказать тебе это с некоторыми подробностями.

Его преосвященство кардинал Портокарреро, увидав меня несколько раз в свите герцога Аркоса, благоволил улыбаться мне особенно мило. Это вселило в меня отвагу, и я начал поздравлять его в дни аудиенции. Однажды его преосвященство подошел ко мне и сказал вполголоса:

— Я знаю, сеньор Бускерос, что ты один из тех людей, которые лучше всего осведомлены обо всем, что делается в городе.

На это я ответил с необычайной находчивостью и остроумием:

— Ваше преосвященство, венецианцы, которые считаются неплохими правителями своей страны, причисляют сию осведомленность к качествам, которые необходимы всякому человеку, желающему заниматься государственными делами.

— И они совершенно правы, — прибавил кардинал, после чего поговорил еще с несколькими лицами и ушел. Спустя четверть часа ко мне подошел горфмаршал и сказал:

— Сеньор Бускерос, его преосвященство велел мне пригласить тебя к обеду, и, как мне кажется, после трапезы хочет даже с тобой побеседовать. Предупреждаю тебя, однако, сеньор, чтобы в подобном случае ты не слишком затягивал разговор, ибо их преосвященство много кушают и потом не в силах удержаться, чтобы не заснуть.

Я поблагодарил гофмаршала за дружеский совет и остался обедать вместе с несколькими другими сотрапезниками. Кардинал почти без посторонней помощи изволили скушать целую щуку. После обеда он приказал позвать меня к себе в кабинет.

— Ну что же, сеньор дон Бускерос, — сказал он, — ты не узнал в эти дни ничего занимательного?

Вопрос кардинала поверг меня в немалое смущение, ибо в действительности ни в тот день, ни в предшествующие ему я ничего не обнаружил занятного. Однако, поразмыслив немного, я ответил:

— Ваше преосвященство, на днях я узнал о существовании ребенка, в жилах которого течет кровь австрийского дома!

Кардинал чрезвычайно удивился.

— Да, да, именно так, — прибавил я, — ваше преосвященство благоволит припомнить, что князь Авила был в тайной связи с инфантой Беатрисой. От этой связи после него осталась дочка по имени Леонора, которая вышла замуж и имела ребенка. Леонора умерла, ее погребли в монастыре кармелиток. Я видел ее надгробье, которое впоследствии исчезло бесследно.

— Это может сильно повредить семействам Авила и Сорриенте, — заметил кардинал.

Его преосвященство, быть может, сказал бы еще больше, но съеденная им щука ускорила наступление сна, и я счел за благо удалиться. Все это происходило недели три тому назад. В самом деле, дорогой мой пасынок, надгробья уже нет там, где я его недавно видел. А я ведь ясно прочел на нем «Леонора Авадоро». Я удержался от того, чтобы упомянуть в разговоре с его преосвященством это имя не потому, что хотел сберечь сию тайну, но просто отложил это донесение на более позднее время.

Лекарь, сопровождавший меня на прогулке, отстал было от меня на несколько шагов. Вдруг он заметил, что я побледнел и вот-вот лишусь чувств. Он сказал Бускеросу, что долг вынуждает его прервать наш разговор и проводить меня домой. Мы вернулись: врач прописал мне прохладительное питье и велел прикрыть ставни. Тогда я предался раздумьям; некоторые соображения заставили меня почувствовать себя необычайно униженным.

— Во так, — сказал я себе, — так всегда происходит с теми, которые сближаются с высшими, чем они сами. Княжна вступает со мной в брак, ни в какой мере не являющийся официальным, и из-за какой-то вымышленной Леоноры я попадаю в подозрение у властей и вынужден выслушивать сплетни из уст человека, которого презираю от всей души. С другой стороны, я не могу оправдаться, не выдавая княжны, которая слишком горда, чтобы когда-нибудь признаться в связи со мной.

Затем я подумал о маленькой двухлетней Мануэле, которую я прижимал к груди своей в Сорриенте и которую не смел назвать своей дочерью. — Любимое мое дитя! — вскричал я, — какое же будущее тебе готовит судьба? Быть может, монастырь? Но нет, я — твой отец, и, когда дело будет идти о твоей судьбе, я сумею преодолеть все людские расчеты. Я стану твоим покровителем, хотя бы мне пришлось поплатиться за это собственной жизнью.

Мысль о моем ребенке растрогала меня; я залился слезами, а вскоре потом и кровью, поскольку рана моя раскрылась. Я позвал хирурга и цирюльника, мне сделали новую перевязку, после чего я написал княжне и отправил это письмо с одним из ее слуг, которого она при мне оставила.

Спустя два дня после этого я снова отправился на Прадо. Вокруг себя я увидел необыкновенную суматоху. Мне сказали, что король умирает. Я сделал отсюда вывод, что мое дело, быть может, будет забыто, и не ошибся. Король скончался на следующий день¹. Я тут же послал другого гонца, чтобы сообщить об этом княжне.

Через два дня после этого было вскрыто королевское завещание², и все узнали, что дон Филипп Анжуйский призывается на престол. Тайну престолонаследия сумели хорошо сохранить при жизни монарха, так что весть эта, распространившись мгновенно, невероятно поражала всех.

Я отправил к княжне третьего гонца. Она ответила мне сразу на все три моих письма и назначила свидание в замке Сорриенте. Как только я почувствовал себя несколько окрепшим, я выехал в Сорриенте, куда княжна прибыла спустя два дня после моего приезда.

— Нам благополучно удалось выйти из трудного положения, — сказала она мне, — этот негодяй Бускерос был на верном пути, и все непременно окончилось бы разоблачением нашего брака. Я бы умерла от огорчения. Чувствую, что я неправа, но, когда я презираю супружество, мне кажется, что я возвышаюсь над нашим слабым полом и даже над вашим. Несчастливая гордыня овладела моей душой, и если бы я даже употребила все свои силы, чтобы ее преодолеть, клянусь тебе, что это было бы напрасно.

— А дочка твоя? — перебил я. — Какова будет ее судьба? Неужели я ее уже больше никогда не увижу?

— Ты увидишь ее, — сказала княжна, — но теперь не напоминай мне о ней. Верь мне, что я больше, чем ты можешь себе представить, страдаю от необходимости скрывать ее от глаз света.

И в самом деле, княжна страдала, однако к моим страданиям прибавлялось еще и унижение. Моя гордость также сочеталась с любовью, которую я питал к княжне. За свой грех я получал заслуженное возмездие.

Австрийская партия назначила Сорриенте местом всеобщего съезда. Я увидел одного за другим прибывающих: графа Оропесу, герцога Инфантадо, графа Мельсара и множество других замечательных лиц; я не упоминаю уже о таких, которые казались мне подозрительными. Среди этих последних я приметил некоего Узеду, который выдавал себя за астролога и усиленно втирался ко мне в доверие.

Наконец, прибыл некий австриец по фамилии Берлепш, любимец вдовствующей королевы³ и исполнявший обязанности посла с момента отъезда графа Гарраха. Несколько дней прошло в совещаниях; под конец состоялось торжественное заседание вокруг большого стола, крытого зеленым сукном. Княжна была допущена к совещаниям, и я убедился, что гордыня, а, скорее всего, желание вмешиваться в государственные дела всецело овладели ее душой.

Граф Оропеса, обращаясь к Берлепшу, сказал:

— Сеньор, ты видишь здесь собравшимися тех, с кем последний австрийский посол держал совет относительно испанских дел. Мы не французы, не австрийцы, мы — испанцы. Если король французский примет завещание, его внук, несомненно, станет нашим королем. Мы не пытаемся предвидеть событий, которые могли бы произойти из этого, однако могу ручаться, что никто из нас не начнет гражданской войны.

Берлепш заверил, что вся Европа вооружится и никогда не потерпит, чтобы семейство Бурбонов получило власть над столь обширными держа-

вами. Затем он высказал пожелание, чтобы господа, принадлежащие к австрийской партии, послали в Вену своего уполномоченного. Граф Оропеса взглянул на меня, и я уже подумал, что он представит меня, но он погрузился в раздумья и потом ответил, что еще не наступило время предпринять столь решительный шаг.

Берлепш заявил, что оставит кого-нибудь в стране; впрочем, ему нетрудно было заметить, что господа, присутствующие на этом заседании, ожидают только благоприятной минуты для открытого выступления.

Когда заседание окончилось, я пошел в сад встретиться с княжной и рассказал ей, что граф Оропеса взглянул на меня, когда зашла речь о посылке уполномоченного в Австрию.

— Сеньор дон Хуан, — сказала она, — я признаюсь, что мы уже говорили о тебе в этом смысле и что, более того, я сама предложила тебя. Ты любишь ставить мне в укор мое поведение. Тут не о чем говорить — я виновата, но сперва попытаюсь объяснить тебе мое положение. Я не была создана для любви, однако твоя любовь тронула мое сердце. Прежде, чем навсегда оставить любовные наслаждения, я хотела сперва их испытать. Ну что ты скажешь? Они ни в чем не изменили моего образа мыслей. Права, которые я тебе предоставила, права на власть над моим сердцем и самой особой моей, хотя и слабые, теперь не могут уже больше существовать. Я стерла малейшие их следы. Я намерена теперь провести несколько лет в свете и, если можно, влиять на судьбы Испании. Затем я заложу основу ордена благородных девиц, первой настоятельницей которого буду сама.

Что же касается тебя, сеньор дон Хуан, то ты поедешь к приору Толедо, который уже покинул Вену и отправился на Мальту. Однако, так как дела партии, в которую ты вошел, могли бы подвергнуть тебя опасности, я покупаю все, что у тебя есть, и обеспечиваю его ценность моими именами в Португалии и в королевстве Альгарве. Это не единственная мера предосторожности, сеньор дон Хуан, какую ты должен предпринять. Есть в Испании места, неизвестные правительству, где в безопасности можно провести всю жизнь. Я поручу тебя кому-нибудь, кто покажет тебе эти места. Пускай мои слова не удивляют тебя, сеньор дон Хуан. Прежде я проявляла к тебе большую нежность, но меня беспокоили шпионские выходки Бускероса, и намерение мое неколебимо.

Сказав это, княжна предоставила меня моим собственным мыслям, которые отнюдь не благоприятствовали сильному миру сего.

— Пусть они все погибнут, — воскликнул я, — эти полубоги, для которых все прочие смертные — ничто. Я стал игрушкой женщины, которая испробовала на мне, создано ли ее сердце для любви, и которая обрекает меня на изгнание, считая меня чрезвычайно осчастливленным уже тем, что я могу посвятить себя ее делу и делу ее друзей! Но ничего из этого не выйдет. Благодаря моей незначительности я смогу еще жить в покое.

Я произнес последние слова довольно громко, как вдруг чей-то голос ответил мне:

— Нет, сеньор Авадоро, ты не сможешь жить спокойно.

Я обернулся и увидел в дверях того самого астролога Узеду, о котором вам уже говорил.

— Сеньор дон Хуан, — сказал он мне, — я выслушал некоторую часть твоего монолога и могу уверить тебя, что в бурные времена никто не сумеет найти покоя. Тебя оберегает могущественное покровительство, и ты не должен пренебрегать им. Поезжай в Мадрид, соверши продажу, которую тебе предложила княжна, и оттуда отправляйся в мой замок.

— Не напоминай мне о княжне, — прервал я его, негодуя.

— Ну ладно, — сказал астролог, — в таком случае поговорим о твоей дочери, которая в этот миг находится в моем замке.

Мне захотелось обнять ребенка, и гнев мой утих, с другой же стороны, мне действительно не следовало покидать моих покровителей. Я отправился в Мадрид и объявил, что уезжаю в Америку. Отдал мой дом и все прочее имущество в руки поверенного княжны и пустился в дорогу со слугой, которого мне навязал Узед. Разными окольными путями мы добрались до замка, в котором вы побывали и в котором познакомились с его сыном, присутствующим здесь благородным каббалистом. Астролог встретил меня у ворот и сказал:

— Сеньор дон Хуан, здесь я больше не Узед, но Мамун Бен Герс, еврей по религии и происхождению.

Засим он проводил меня в свою обсерваторию, рабочий кабинет и показал мне все прочие покои своей таинственной резиденции.

— Благоволи объяснить мне, — сказал я ему, — основано ли твое искусство на чем-либо истинном, осязательном и реальном. Ибо мне говорили, что ты звездочет и даже чернокнижник.

— Ты хочешь попробовать, — прервал меня Мамун. — Взгляни в это венецианское зеркало, я же тем временем пойду, прикрою шторы.

Сперва я ничего не заметил, однако спустя мгновение фон зеркала, казалось, стал медленно проясняться. Я увидел княжну Мануэлу с ребенком на руках.

Когда цыган окончил эти слова и все напрягли слух, заинтригованные тем, что же произойдет дальше, один из его табора пришел дать ему отчет в том, что сделано за день. Вожак удалился, и в этот день мы его уже больше не видели.



День пятьдесят девятый

Мы с нетерпением ждали следующего вечера. Цыган застал нас уже давно собравшимися. Довольный интересом, который мы проявили к его рассказу, он даже не заставил себя упрашивать, и сам начал свое повествование такими словами:



Продолжение истории цыганского вожака

Я сказал вам уже, что взором так и впился в громадное венецианское зеркало и увидел в нем княжну с ребенком на руках. Миг спустя видение исчезло. Мамун отворил ставни, и тогда я сказал:

— Милостивый государь чернокожничник, я полагаю, что для того, чтобы очаровать мой взор, тебе не потребовалось соучастия злых духов. Я знаю княжну, она уже однажды ввела меня в заблуждение гораздо более удивительным способом. Одним словом, если только я видел в зеркале ее образ, то не сомневаюсь, что и она сама также находится в этом замке.

— Ты несколько не ошибаешься, — ответил Мамун, — и мы тотчас же пойдем к ней завтракать.

Он отворил потайную дверь и упал к ногам моей супруги, которая не могла скрыть своего волнения. Впрочем, она тут же пришла в себя и сказала:

— Дон Хуан, я должна была высказать тебе все то, о чем я тебе говорила в Сорiente, ибо все это было правдой. Намерения мои окончательны, однако после твоего отъезда я упрекала себя за свою черствость. Врожденный инстинкт моего пола отрывается от всякого поступка, в котором можно было бы усмотреть бессердечие. Побуждаемая этим инстинктом, я решила ожидать здесь тебя и в последний раз попрощаться с тобою.

— Госпожа, — отвечал я княжне — ты была единственной мечтой моей жизни, и ты мне заменишь всякую иную явь. Забудь навеки дон Хуана в грядущих путях своей изменчивой судьбы. Я согласен с этим, но помни, что я оставляю мое дитя тебе.

— Ты скоро увидишь нашу дочь, — прервала меня княжна, — и мы вместе доверим ее тем, которые должны будут заняться ее воспитанием.

Что же мне вам еще сказать? Мне казалось тогда, да и сейчас все еще кажется, что княжна была права. В самом деле, мог ли я обитать под одним кровом с ней, будучи и не будучи ее супругом в одно и то же время? Если бы даже нам удалось скрыть свои отношения от любопытствующего света, то мы все же не сумели бы укрыться от нашей челяди, и тогда тайну уже невозможно было бы уберечь. Нет сомнения, что после этого судьба княжны должна была перемениться; мне казалось поэтому, что справедливость на ее стороне. Я покорился и вскоре затем должен был повидать мою маленькую Ундину. Так мы называли ее, — она была окрещена водой, а не святым елеем.

Все мы собрались за обедом, Мамун обратился к княжне.

— Госпожа, я думаю, что следовало бы поставить в известность сеньора о некоторых обстоятельствах, о коих он обязан узнать, и, если ты разделяешь мое мнение, я этим займусь.

Княжна согласилась. Тогда Мамун, обратившись ко мне, произнес следующие слова:

— Сеньор дон Хуан, ты ходишь по земле, непроницаемой для обыкновенного взора; земле, хранящей множество тайн. В недрах этой горной цепи расположены обширные пещеры и подземелья. Обитают в них мавры, которые со времен изгнания их единоверцев из Испании никогда не покидали этих пещер. В этой долине, простирающейся перед твоим взором, ты увидишь людей, которых ошибочно считают цыганами; одни из них магометане, другие христиане, третьи же вообще не исповедуют никакой религии. На вершине этого утеса ты видишь звонницу, увенчанную крестом. Это обитель доминиканцев¹. У святейшей инквизиции есть веские причины смотреть сквозь пальцы на то, что здесь творится, доминиканцы же обязались не видеть ничего. В доме, где ты находишься, обитают израэлиты. Каждые семь лет испанские и португальские евреи собираются здесь, чтобы праздновать субботний год². Ныне они отмечают его в четверста тридцать восьмой раз, считая с юбилейного года³, который отметил Иисус Навин⁴. Я уже сказал тебе, сеньор Авадоро, что среди мнимых цыган из долины одни являются магометанами, другие христианами, третьи же вообще не исповедуют никакой веры. На самом же деле эти последние — язычники, происходящие от древних жителей Карфагена. В царствование дона Филиппа II было сожжено несколько сот таких семей, только некоторые укрылись на берегах маленького озера, сотворенного,

как говорят, извержением вулкана. У доминиканцев из монастыря есть там своя часовенка.

Вот, сеньор Авадоро, что придумали мы для маленькой Ундины, которая никогда не узнает о своем происхождении: дуэнья, женщина всецело преданная княжне, считается ее матерью. Для дочери твоей возведен красивый домик на берегу озера; доминиканцы из монастыря приобщат ее к религии. Все прочее — в руках божиих. Никто из слишком любопытных не сможет посещать берега озера Ла Фрита.

Когда Мамун говорил это, княжна уронила несколько слезинок, я же не смог сдержать рыданий. На следующий день мы отправились к озеру, около которого мы теперь находимся, и поселили в том краю маленькую Ундину. На следующий день княжна вновь обрела былую надменность, и я признаюсь, что прощание наше было не слишком трогательным. Я не стал задерживаться дольше в замке, сел на корабль, высадился в Сицилии, где договорился с падроном Сперонарой, который взялся переправить меня на Мальту.

Там я отправился к приору Толедо. Благородный друг мой нежно обнял меня, ввел в уединенный покой и запер за собой двери. Спустя полчаса дворецкий приора принес мне обильную еду, под вечер же пришел сам Толедо, неся под мышкой большую пачку писем, или, как их называют политики, депеш. На следующий день я ехал уже с миссией к эрцгерцогу дону Карлосу⁵.

Я застал его императорское высочество в Вене. Как только я вручил ему депеши, меня сразу же заперли в уединенной комнате, так же точно, как на Мальте. Час спустя эрцгерцог собственной персоной явился ко мне, ввел к императору и молвил:

— Имею честь представить вашему императорско-апостолическому величеству⁶ маркиза Каstellи, сардинского дворянина, и заодно просить для него звания камергера.

Император Леопольд⁷, придав своей нижней губе как можно более приятное выражение, спросил меня по-итальянски, давно ли я покинул Сардинию.

Я не привык беседовать с монархами и вместо ответа поклонился ему до земли.

Превосходно, — изрек император, — я присоединяю вашу милость к свите моего сына.

Таким образом я сразу, волей-неволей, сделался маркизом Каstellи и сардинским дворянином.

В тот же вечер меня стала терзать ужасающая головная боль, на следующий день началась горячка, а спустя еще два дня — оспа. Я заразился ею в некоем трактире в Каринтии. Болезнь моя была бурной и весьма опасной, однако я выздоровел и даже не без некоторой выгоды для себя, ибо в результате маркиз Каstellи оказался несколько не похо-

жим на дона Авадоро и, сменив фамилию, я сменил заодно и внешность. Теперь менее чем когда-либо во мне смогли бы опознать ту Эльвиру, которая в былые времена должна была стать вице-королевой Мексики.

Как только я выздоровел, мне вновь доверили тайную переписку с Испанией.

Между тем дон Филипп Анжуйский царствовал в Испании, в обеих Индиях и даже в сердцах своих подданных. Но я не пойму, какой бес вселяется именно в такие мгновения в души владык, в их деяния и поступки. Король дон Филипп и королева, его супруга, стали как бы первыми подданными герцогини Орсини⁸. Кроме того, в Государственный Совет допускали французского посла кардинала д'Эстре⁹, что в высшей степени оскорбляло испанцев. С другой стороны, король французский Людовик XIV, полагая, что ему все дозволено, расположил в Мантуе французский гарнизон. Тогда эрцгерцог дон Карлос возымел надежду царствовать.

Однажды вечером, в самом начале 1703 года, эрцгерцог велел позвать меня. Он сделал несколько шагов ко мне, соизволил меня обнять и даже нежно прижать к груди. Подобный прием предвещал мне нечто необычайное.

— Кастелли, — сказал эрцгерцог, — не получал ли ты каких-нибудь известий от приора Толедо?

Я ответил, что доселе никаких известий от него не имел.

— Это был замечательный человек, — молвил эрцгерцог миг спустя.

— Как это — «был»? — прервал я его.

— Да, — отвечал эрцгерцог, — был; приор Толедо скончался на Мальте от гнилой горячки, но ты обретешь во мне второго Толедо. Плаксивай твоего друга и храни мне верность.

Искренними слезами оплакал я утрату друга и постиг, что теперь мне уже до конца моих дней суждено оставаться сардинским дворянином Кастелли. Невольно я сделался слепым орудием в руках эрцгерцога.

На следующий год мы отправились в Лондон. Оттуда эрцгерцог последовал в Лиссабон, я же поехал присоединиться к войскам лорда Питерборо, с которым, как я вам уже об этом говорил, некогда имел честь познакомиться в Неаполе. Я был рядом с ним, когда, принудив Барселону к сдаче, он показал свой характер, совершив благородное деяние, прославившее его повсюду. В момент капитуляции некоторые отряды союзных войск вошли в город и начали повальный грабеж. Герцог Пополи, который тогда командовал от имени короля дон Филиппа, пожаловался на это лорду.

— Позволь мне на недолгий срок вступить в город с моими англичанами, — сказал Питерборо, — и я ручаюсь, что все приведу в порядок.

Он поступил, как сказал, после чего покинул город и предложил ему почетную капитуляцию.

Вскоре эрцгерцог, овладев почти всей Испанией, прибыл в Барселону. Я вновь занял место в его свите, по-прежнему под именем маркиза Ка-стелли. Однажды вечером, прогуливаясь в свите эрцгерцога по главной площади, я заметил человека, чья походка, то медленная, то вдруг уско-ряющаяся, напомнила мне дона Бускероса. Я приказал следить за ним. Мне донесли, что это какой-то субъект с фальшивым носом, который уверяет, что его зовут доктор Робусти. Я ни минуты не сомневался, что это мой мерзавец и прохвост, который проник в город, чтобы шпионить.

Я рассказал об этом эрцгерцогу, который уполномочил меня посту-пить с лазутчиком так, как мне заблагорассудится. Сначала я велел запереть негодяя на гауптвахте, а затем в час парада расставил от гаупт-вахты до самой гавани в две шеренги гренадеров, предварительно снабдив каждого из них гибким березовым прутом. Один от другого был постав-лен на дистанции, не служащей помехой вольным движениям правой руки. Дон Бускерос, выйдя с гауптвахты, сообразил, что все эти приго-товления касаются его собственной драгоценной особы и что он является, если так можно выразиться, королем этого праздника. Он пустился бежать во всю прыть, однако ему все-таки вцепили по крайней мере две сотни горячих. В порту он повалился прямо в шлюпку, в которой и был доставлен на борт фрегата, где ему дозволено было приняться за лечение своей многотрадной спины.

Пора было уже заняться делами табора; цыган покинул нас, отложив продолжение своих приключений на будущий день.

День шестидесятый

На следующий день цыган так продолжал свой рассказ:



Продолжение истории цыганского вожака

В продолжение десяти лет я непрестанно пребывал при эрцгерцоге. Печально прошли лучшие годы моей жизни, хотя, правду сказать, не веселее прошли они и для всех прочих испанцев. Беспорядки, которые, казалось, вот-вот кончатся, все не прекращались. Сторонники дона Филиппа сокрушались из-за его пристрастия к герцогине Орсини, партии же дона Карлоса также нечем было особенно восторгаться. Обе партии совершили множество ошибок; чувство усталости и досады охватило всех.

Княжна Авила, в течение долгого времени бывшая душою австрийской партии, возможно, перешла бы на сторону дона Филиппа, но ее оскорбляло высокомерие герцогини Орсини. Наконец эта последняя вынуждена была на некоторое время покинуть арену своих деяний и отправиться в Рим; вскоре, однако, она возвратилась, торжествующая более, чем когда бы то ни было. Тогда княжна Авила уехала в Альгарву и посвятила себя основанию обители. Герцогиня Сидония потеряла дочь и зятя. Род Сидония окончательно угас, имения перешли к семейству Медина Сели, герцогиня же выехала в Андалузию.

В 1711 году эрцгерцог вступил на престол, унаследовав его от своего брата Иосифа¹—и стал императором под именем Карла VI. Зависть Европы, вместо того, чтобы избрать своим предметом Францию, обратилась теперь на эрцгерцога. Державы не желали, чтобы от Испании до Венгрии все было подвластно одному скипетру. Австрийцы покинули Барселону и оставили в ней маркиза Кастелли, к которому жители города питали безграничное доверие. Я пытался образумить их, но действия мои оказались бесплодными. Не понимаю, что за ярость овладела душами каталонцев: они возомнили, что смогут дать отпор всей Европе.

В разгар этих событий я получил письмо от княжны Авила. Она подписывалась уже «игуменя из Валь-Санто». В письме было всего лишь несколько слов:

Как только сможешь, поезжай к Узде и постарайся повидать Ундину. Сперва, однако, не забудь поговорить с настоятелем доминиканцев.

Герцог Пополи, главнокомандующий войсками короля дон Филиппа, осадил Барселону. Прежде всего он приказал соорудить виселицу вышиной в двадцать пять футов, предназначенную для маркиза Каstellи. Я созвал именитых граждан Барселоны и обратился к ним с такими словами:

— Господа, я умею ценить честь, которую мне приносит ваше доверие, но я не военачальник и не гожусь вам в командующие. С другой стороны, если когда-нибудь вы будете вынуждены капитулировать, в качестве первого условия капитуляции вам прикажут выдать меня, что, несомненно, будет для вас весьма оскорбительно. Поэтому лучше мне с вами распрощаться и навсегда покинуть вас.

Когда народ однажды попадает на стезю безрассудств, он с восторгом увлекает за собой как можно больше людей и полагает при этом, что много выигрывает, отказав кому-либо из них в разрешении отбыть во свояси. Поэтому мне не было дозволено выехать, но решение мое созрело уже давно. Нанятое заранее судно ожидало меня у берегов; в полночь я поднялся на борт и к вечеру следующего дня высадился в Флориано, рыбацьем селении в Андалузии.

Щедро наградив моряков, я отослал их, сам же пустился в горы. Я долго не мог отыскать дороги, наконец нашел замок Узеды и самого хозяина замка, который, несмотря на всю свою астрологию, с превеликим трудом сумел меня припомнить.

— Сеньор дон Хуан, — сказал он, — или, пожалуй, сеньор Каstellи, дочь твоя здорова и несказанно прекрасна. Относительно же всего прочего потолкуешь с приором доминиканцев.

Спустя два дня прибыл почтенный монах, который сказал мне:

— Сеньор кавалер, святейшая инквизиция, членом коей я являюсь, полагает, что на многие вещи в этих горах ей следует смотреть сквозь пальцы. Она поступает таким образом, надеясь обратить на путь истинный заблудших агнцев, обитающих здесь в значительном числе. Пример их имел для юной Ундины пагубные последствия. Впрочем, это девица престранного характера и образа мыслей. Когда мы излагали ей основания святой нашей веры, она слушала нас со вниманием и по ней нельзя было заметить, что она сомневается в справедливости наших слов; вскоре, однако, она приняла участие в магометанских молениях и даже в празднествах язычников. Иди, сеньор кавалер, к озеру Ла Фрита и так как ты имеешь на нее право, постарайся испытать ее сердце.

Я поблагодарил почтенного доминиканца и отправился на берег озера. Пришел на мысок, расположенный с севера. Увидел парус, скользящий по воде с быстротой молнии. Присмотрелся — и восхитился устройством сего кораблика. Это была лодка, узкая и длинная, снабженная двумя шестами, которые, служа ей противовесом, предохраняли ее от опрокидывания. Стройная и крепкая мачта поддерживала трехугольный парус, юная же девушка, опираясь на весла, казалось, улетала, легчайшими движениями бороздя поверхность вод. Своеобразный этот кораблик причалил к месту, где я стоял. Юная девушка вышла из него; руки и ноги ее были обнажены, зеленое шелковое платье облегло ее тело, волосы ниспадали буйными локонами на белоснежную шею; порой она встряхивала ими, как гривой. Вид ее напомнил мне диких обитателей Америки.

— Ах, Мануэла, — вскричал я, — Мануэла, ведь это наша дочь?!

И в самом деле, это была она. Я направился в ее жилище. Дуэнья Ундины умерла несколько лет тому назад, тогда княжна сама прибыла в Ла Фрита и вверила дочь одному валлонскому семейству. Однако Ундина не желала признавать над собой ничьей власти. Вообще она мало разговаривала, взбиралась на деревья, карабкалась на утесы и прыгала в озере. При всем том она была весьма смышленной. Так, например, она сама придумала тот хитроумный кораблик, который я вам только что описал. Одно лишь слово принуждало ее к послушанию. В ней жила память об отце, и когда хотели, чтобы она что-то сделала, ей приказывали именем отца. Вскоре я добрался до ее жилища; сразу же решено было ее позвать. Она пришла, трепеща всем телом, и пала передо мной на колени. Я прижал ее к сердцу, приласкал, но не сумел вырвать у нее ни единого слова.

После обеда Ундина снова ушла в свою лодку; я сел в лодку вместе с ней, она налегла на весла и выплыла на середину озера. Я старался завязать с ней разговор. Тогда она отложила весла и, казалось, слушала меня внимательно. Мы находились в восточной части озера, подле обступающих ее крутых и обрывистых скал.

— Милая Ундина, — сказал я, — внимательно ли слушала ты поучения святых отцов из монастыря? Ундина, ведь ты все же разумное существо, ты обладаешь душой, и религия должна озарять твой жизненный путь.

Когда я так с наилучшими намерениями принялся делать ей свои отеческие наставления и предостережения, она неожиданно бросилась в воду и исчезла с моих глаз. Я был охвачен тревогой, со всех ног кинулся к ее жилищу и стал звать на помощь. Мне ответили, что опасаться нечего, что вдоль скал есть пещеры или подземелья, сообщающиеся между собой. Ундине были известны эти проходы; она ныряла, исчезала и, спустя несколько часов, возвращалась домой. Она и в самом деле вскоре вернулась, но на сей раз я уже не повторял своих предостережений и на-

ставлений. Ундина, как я уже сказал, была вполне разумна и понятлива, но, воспитанная как бы в пустыне, предоставленная самой себе, она не имела никакого понятия о том, как вести себя в обществе людей.

Спустя несколько дней какой-то монастырский служка пришел ко мне с поручением от княжны, или, вернее, от настоятельницы Мануэлы. Он должен был вручить мне ряску, похожую на свою, и проводить к ней. Мы шли вдоль берега моря до самого устья Гвадианы, откуда добрались до Альгарвы и прибыли, наконец, в Валь Санта. Монастырь был уже почти полностью возведен. Княжна приняла меня в помещении для беседы с посетителями; приняла с обычным достоинством; однако, отослав свидетелей, не смогла удержаться от слез. Развелись ее горделивые мечтания, остались только горестные сожаления о невозвратимых порывах любви. Я хотел поговорить с ней об Ундине; настоятельница, вздохнув, попросила меня отложить этот разговор на завтра.

— Поговорим о тебе, — сказала она мне, — друзья твои не забыли о твоей судьбе. Твое состояние в их руках удвоилось; но дело в том, под каким именем ты сможешь им воспользоваться, ибо невозможно, чтобы ты и дальше выдавал себя за маркиза Каstellи. Король не прощает тех, которые принимали участие в каталонском мятеже.

Мы долго беседовали об этом, но так и не смогли прийти к какому бы то ни было окончательному решению. Спустя несколько дней Мануэла отдала мне секретное письмо, полученное от австрийского посла. Письмо было составлено в лестных выражениях; в нем содержалось адресованное мне приглашение прибыть в Вену. Признаюсь, что немногое в жизни так ошастливило меня, как это послание. Я ревностно служил императору, и благодарность его была для меня самой сладостной наградой.

Однако я не дал завлечь себя обольстительным надеждам, ведь мне были отлично знакомы придворные нравы. Мне дозволялось быть в милости у эрцгерцога, который претендовал на престол, но я не мог надеяться на то, что меня станут терпеть рядом с первым монархом христианского мира. Больше всего я страшился некоего австрийского вельможи, который всегда пытался мне вредить. Это был тот самый граф Альтгейм, который впоследствии приобрел такое влияние. Тем не менее я отправился в Вену и обнял колени его апостолического величества. Император благоволил советовать со мной, не лучше ли мне оставить себе прежнюю фамилию Каstellи, чем возвращаться к своей, и предложил мне значительный пост в своем государстве. Доброта его меня растрогала, но тайное предчувствие предостерегало меня, что я никогда не воспользуюсь этой милостью.

В ту пору несколько испанских вельмож покинуло навсегда отечество и поселилось в Австрии. Среди них были графы Лорнос, Ойас, Васкес, Тарука и несколько других. Я хорошо их знал, и все они уговаривали меня последовать их примеру. Таково было и мое намерение; но тайный

недруг, о котором я уже говорил вам, не дремал. Он узнал обо всем, что произошло во время аудиенции, данной мне императором, и тотчас же уведомил об этом испанского посла. Посол полагал, что долг дипломата велит ему преследовать меня. Как раз в это время происходили важные переговоры. Посол стал выдумывать препятствия и к представленным им препонам присовокупил еще соображения о моей особе и о роли, которую я играл. Вскоре я заметил, что положение мое совершенно изменилось. Мое присутствие, казалось, приводит в замешательство обходительных царедворцев-дипломатов. Я предвидел подобную метаморфозу и потому не слишком огорчился. Я попросил дать мне прощальную аудиенцию. Мне ее дали, ни о чем не вспоминая. Я выехал в Лондон и лишь несколько лет спустя вернулся в Испанию.

Я нашел настоятельницу в самом плачевном состоянии — бледную и изнуренную.

— Дон Хуан, — сказала она мне, — ты должен был заметить, как время изменило меня. И в самом деле, я чувствую, что скоро кончится моя жизнь, завершится мое брэнное существование, которое уже ничем меня не привлекает. Правый боже! Какое множество укоров ты вправе мне сделать! Послушай, дон Хуан, моя дочь умерла язычницей, а внучка моя — магометанка. Мысль эта убивает меня, возьми, читай.

Сказав это, она подала мне письмо от Узеды, изложенное в следующих словах:

Госпожа моя и преподобная настоятельница!

Отправившись навестить мавров в их пещерах, я узнал, что какая-то женщина непременно хочет со мной поговорить. Я вошел вслед за ней в ее жилище, где она мне сказала: «Сеньор астролог, ты, который знаешь все, объясни мне случай, который произошел с моим сыном. Набегавшись за целый день среди ущелий и пропастей в наших горах, он пошел к удивительно красивому источнику. Оттуда вышла к нему какая-то девушка необычайной красоты, в которую сын мой влюбился, хотя и полагал, что имеет дело с волшебницей. Мой сын отправился в далекое странствие и просил меня, чтобы я всяческим образом старалась развеять эту тайну».

Так сказала мне мавританка, я же тотчас же догадался, что волшебница эта была наша Ундина, которая имела привычку нырять в некоторые подводные пещеры и выплывать с другой стороны — из источника. Я сказал в ответ мавританке несколько ничего не значащих слов, чтобы ее успокоить, сам же отправился к озеру. Пытался выспросить все у Ундины, но тщетно: ты же знаешь, госпожа, ее отвращение к разговорам. Вскоре, однако, уже не потребовалось ни о чем спрашивать, стан ее выдавал тайну. Я поселил ее в моем замке, где она благополучно произвела на свет дочку. Желая возвратиться к озеру, она вскоре убежала из замка,

вновь повела прежний дикий образ жизни и спустя еще несколько дней заболела и скончалась. Наконец, ибо я должен во всем признаться, не помню, чтобы она когда-либо отдала предпочтение той или иной религии. Что же до ее дочери, то, происходя по отцу от чистойшей мавританской крови, она должна непременно сделаться магометанкой. В противном случае мы могли бы навлечь на всех нас мщение обитателей подземелья.

— Ты убедился, дон Хуан, — прибавила княжна в глубочайшем отчаянии, — сколь несчастна я должна быть. Дочь моя умерла язычницей, моя внучка должна стать мусульманкой!... Великий боже, сколь сурово ты караешь меня!

Досказав эти слова, цыган заметил, что уже поздно, и ушел к своим людям, мы же все отправились на покой.



День шестьдесят первый

Мы предвидели, что приключения цыгана близятся к концу, и поэтому с тем большим нетерпением дожидались вечера и, напрягая все наше внимание, воистину превратились в слух, когда вожак начал следующим образом:



Продолжение истории цыганского вожака

Знатная настоятельница Валь Санто, быть может, не пала бы под бременем угрызений, но она назначила себе суровое покаяние, тяготам которого ее изнуренный организм не смог сопротивляться. Я видел, как она медленно угасает, и не решался ее покинуть. Мое монашеское облачение позволяло мне в любое время входить в монастырь, и однажды несчастная Мануэла испустила дух на моих руках. Герцог Сорриенте, наследник княжны, находился тогда в Валь Санто. Вельможа этот вел себя со мной чрезвычайно откровенно.

— Мне известны, — сказал он мне, — связи, которые у тебя были с австрийской партией, к коей ты и сам принадлежал. Если когда-нибудь тебе понадобится какая-либо услуга, прошу тебя, благоволи обратиться ко мне. Я буду считать это милостью для себя. Что же до открытых взаимоотношений с тобой, ты несомненно понимаешь, что, так как нам обоим не следует подвергать себя опасности, мы никоим образом не можем в них вступать.

Герцог Сорриенте был прав. Я был как бы одним из утраченных форпостов австрийской партии. Меня выставляли вперед, чтобы потом покинуть, если этого потребует необходимость. У меня оставалось еще значительное состояние, которое, кстати, легко было переправить, ибо все оно находилось в руках братьев Моро. Я хотел выехать в Рим или в Англию, но, когда дело шло о том, чтобы предпринять решительные шаги, не мог собраться с духом. Я содрогался при самой мысли о возвращении

к светской жизни. Презрение к светским условностям стало, в известном смысле, моим душевным недугом.

Узда, видя, что я колеблюсь и не знаю, как быть, уговорил меня поступить на службу к шейху Гомелесов.

— Что это за служба? — осведомился я у него. — Не противоречит ли она в чем-либо спокойствию моего отечества?

— Ни в чем, — ответил он. — Мавры, скрывающиеся в этих горах, готовят переворот в исламе; ими движут политика и фанатизм. Для достижения этой цели они обладают безмерными средствами. Некоторые знатнейшие семейства Испании, собственной корысти ради, вошли с ними в связь. Инквизиция вымогает у них значительные суммы и позволяет им за то творить в недрах такие деяния, которых она не стала бы терпеть на поверхности земли. Одним словом, дон Хуан, поверь мне, попробуй, какова жизнь, которую мы ведем в наших долинах.

Устав от света, я решил последовать совету Узды. Цыгане-мусульмане и цыгане-язычники приняли меня как человека, которому суждено быть их вожаком, и принесли мне присягу на верность. Но окончательно повлияли на мое решение цыганки. В особенности две из них приглянулись мне, одну звали Китта, а другую — Зитта. Обе были необыкновенно хороши, и я не знал, которую выбрать. Они заметили мои колебания и вывели меня из затруднения, сказав, что многоженство у них дозволено и что не требуется никакого религиозного обряда для освящения супружеской связи.

Со стыдом признаю, что этот коварный разврат соблазнил меня. Увы, есть только один способ шествовать по стезе добродетели: нужно избегать любых тропинок, которых добродетель не озаряет своим ослепительным светом. Если человек скрывает свое имя, поступки или намерения, вскоре ему придется скрывать от света и самое свое существование. Союз мой с княжной оттого только был предосудителен, что мне приходилось его скрывать, и все тайны моей жизни стали неизбежным следствием этого тайного союза. Более невинная прелесть удерживала меня в этих долинах, а именно — прелесть житья, какое в них всегда вели. Небосклон, вечно простирающийся над нашими головами, прохлада пещер и лесов, благовонный воздух, хрустальные воды, цветы, распускающиеся всюду, куда мы ни ступим, и, наконец, — сама природа, облаченная во всевозможные соблазны, — все это залечивало раны моей души, измученной светом, его шумом и сумятицей.

Жены мои подарили мне двух дочурок. Тогда я стал уделять больше внимания голосу своей совести. Я видел терзания и угрызения Мануэлы, которые свели ее в могилу. Я решил, что мои дочери не будут ни магометанками, ни язычницами. Мне надлежало опекать их, итак, нечего было раздумывать — я остался на службе у Гомелесов. Мне доверяли чрезвычайно важные дела и громадные денежные суммы. Я был богат, ничего не же-

лал для себя, но с дозволения того, у кого я был под началом, я, сколько мог, старался делать добро. Мне часто удавалось избавлять людей от великих несчастий.

Вообще я вел в недрах земли такую же жизнь, какую вел некогда на земной поверхности. Я вновь стал дипломатическим агентом. Несколько раз я ездил в Мадрид и совершил несколько путешествий вне пределов Испании. Этот деятельный образ жизни вернул мне утраченную было отвагу. Он мне все больше приходился по душе.

А между тем дочери мои подрастали. Во время последней моей поездки я взял их с собой в Мадрид. Два молодых человека хорошего рода сумели привлечь к себе их сердца. Семьи этих молодых людей находятся в сношениях с обитателями наших подземелий, и мы не боимся, что они выболтают то, что дочери мои могли бы им рассказать о наших долинах. Как только я их обеих выдам замуж, я тотчас же вступаю под сень какой-нибудь святой обители, где спокойно буду ожидать завершения моей жизни, которую, хотя она не вполне была свободна от заблуждений, я все же не могу назвать порочной. Вы хотели, чтобы я рассказал вам о своих приключениях, я хочу, чтобы вы теперь не сожалели о вашем любопытстве.

— Я хотела бы только, — сказала Ревекка, — узнать, что стало с Бускеросом.

— Сейчас я тебе об этом расскажу, — ответил цыган. — Порка в Барселоне отучила его от шпионства, но, так как его пороли под именем Робусти, он полагал, что порка сия ничем не могла повредить репутации Бускероса. Поэтому он смело предложил свои услуги кардиналу Альберони¹ и в его правление сделался путаником второго разряда, похожим в этом на своего покровителя, который был путаником перворазрядным.

Засим Испанией управлял другой авантюрист, по фамилии Риперда². Под его эгидой Бускерос пережил еще несколько золотых деньков, но время, которое кладет предел наиболагоднейшим карьерам, лишила Бускероса ног. Разбитый параличом, он велел носить себя на Пласа дель Соль и там все еще развивал привычную свою деятельность, останавливая прохожих и по мере возможности вмешиваясь в их дела. Последний раз я видел его в Мадриде, бок о бок с забавнейшей в мире фигурой, в которой я узнал поэта Агудеса. Преклонные лета лишили его зрения, и бедняга утешался мыслью, что Гомер также был слепцом. Бускерос пересказывал ему городские сплетни, Агудес излагал их в стихотворной форме, и порою люди слушали его не без приятности, хотя в нем осталась лишь жалкая тень былых дарований.

— Сеньор Авадоро, — спросил я в свою очередь, — что же стало с дочерью Ундины?

— Ты узнаешь об этом позднее, а пока соизволь заняться приготовлениями к твоему отъезду.

Мы отправились в поход и после долгого странствия добрались до глубокой долины, со всех сторон опоясанной скалами. Когда были разбиты шатры, вожак пришел ко мне и сказал:

— Сеньор Альфонс, возьми свою шляпу и шпагу и следуй за мной.

Мы прошли еще сто шагов и оказались перед отверстием в скале, сквозь которое я увидел длинную, темную галерею.

— Сеньор Альфонс, — обратился ко мне вожак, — мы знаем твою отвагу, впрочем, ты не впервые совершаешь этот путь. Войдя в эту галерею ты так же, как и в прошлый раз, отправься в недра земли. Прощай, тут мы уже должны расстаться.

Памятуя первое свое странствие, я спокойно шел в течение нескольких часов во тьме. Наконец я заметил огонек и добрался до надгробия, где увидел того же самого молящегося старого дервиша. Услышав легкий шум, который я произвел входя, дервиш повернулся ко мне и приветливо сказал:

— Здравствуй, юноша! С искренним удовольствием я вновь вижу тебя здесь. Ты сумел сдержать свое слово относительно определенной части нашей тайны, а теперь мы откроем тебе ее всю и просим тебя сохранять молчание. А пока отдохни и подкрепи свои силы.

Я сел на камень, и дервиш принес мне корзинку, в которой я нашел мясо, хлеб и вино. Когда я поел, дервиш толкнул одну из стен гробницы, повернул ее на петлях и показал мне винтовую лестницу.

— Сойди туда, — сказал он мне, — и ты увидишь, что тебе придется делать.

Я насчитал еще около тысячи ступеней во тьме и оказался в пещере, озаренной несколькими светильниками. Я увидел каменную скамью, на которой лежали в определенном порядке стальные долота и молотки из того же самого металла. Перед скамьей поблескивала золотая жила шириной с человеческое тело. Металл был темно-желтого цвета и казался совершенно чистым. Я понял, чего от меня хотят. Хотя, чтобы я вырубил себе этого золота, сколько смогу.

Я взял долото левой, молот же правой рукой и за короткое время сделался весьма проворным рудокопом; долота тупились и мне часто приходилось их сменять. По истечении трех часов я добыл больше золота, чем в одиночку смог бы поднять.

Тогда я обнаружил, что пещера наполняется водой; я взошел на ступени лестницы, но вода все время поднималась, и мне пришлось совершенно оставить пещеру. В склепе я застал дервиша; он благословил меня и указал на винтовую лестницу, ведущую вверх, по этой лестнице я и должен был теперь пойти. Я начал подниматься и, пройдя вновь, наверное, около тысячи шагов, очутился в круглой зале, озаренной множеством светильников, сияние коих отражалось в слюдяных и опаловых плитках, которыми были выложены стены.

В глубине залы высился золотой престол, на котором восседал старец в белоснежном тюрбане. Я узнал в нем отшельника из долины. Мои кузины в богатых нарядах стояли рядом с ним. Несколько дервишей в белых одеяниях обступили их с обеих сторон.

— Молодой назарянин, — молвил мне шейх, — ты узнаешь во мне отшельника, который принимал тебя в долине Гвадалквивира, но в то же время ты догадываешься, что я — великий шейх Гомелесов. Ты вспоминаешь, конечно, твоих двух жен. Пророк благословил их набожность, обе они скоро станут матерями и смогут укрепить племя, коему суждено возвратит халифат семейству Али³. Ты не обманул наших надежд, вернулся в табор и ни единым словом не обмолвился о том, что с тобой происходило в наших подземельях. Пусть Аллах ниспустит розу счастья на твою главу!

Сказав это, шейх сошел с трона и обнял меня, кузины мои совершили то же самое. Дервишей отослали, и мы перешли в другую комнату, где в глубине был накрыт ужин. Там не было уже никаких торжественных речей и уговоров, никаких попыток обратить меня в магометанство. Мы весело провели вместе немалую часть ночи.



День шестьдесят второй

На следующее утро меня снова послали в копи, где я вновь добыл такое же количество золота, что и накануне. Вечером я пошел к шейху и застал у него обеих моих жен. Я просил его, чтобы он соблаговолил удовлетворить мое любопытство, ибо мне хотелось узнать о многих вещах, в особенности же о его собственных приключениях. Шейх ответил, что и в самом деле настало время, когда надлежит открыть мне всю тайну, и начал такими словами:

История великого шейха Гомелесов



Ты видишь во мне пятьдесят второго преемника Масуда Бен-Тахера, первого шейха Гомелесов, который возвел замок Кассар, исчезал в последнюю пятницу каждого месяца и появлялся только в следующую пятницу.

Твои кузины уже рассказали тебе кое о чем: я завершу их повесть и открою тебе все наши тайны. Мавры уже в течение нескольких лет находились в Испании, когда впервые их осенила мысль — устремиться в долину Альпухары. Долину эту населял тогда народ, называемый турдулами или турдетанами¹. Сами себя они называли таршиш² и считали, что некогда их предки обитали в окрестностях Кадиса. Они сохранили множество слов из своего древнего языка, на котором умели даже писать. Письмена этого языка испанцы обозначали особым названием — дескуносеидас. Во времена владычества римлян, а затем визиготов турдетане были обязаны приносить большую дань, но зато сохраняли полную независимость и исповедовали свою старую веру. Они чтили господина под именем Яхх и приносили ему жертвы на горе, прозванной Гомелес Яхх, что означало на их языке «Гора Яхха». Арабские завоеватели, недруги христиан, еще больше ненавидели язычников или тех, которые считались таковыми.

Однажды Масуд в подземельях замка нашел камень, испещренный древними письменами. Он приподнял его и увидел винтовую лестницу, ведущую внутрь горы; он велел принести себе факел и сам вошел в недра горы. Он обнаружил покои, проходы, коридоры, но, боясь заблудиться, вернулся. На следующий день он снова побывал в подземелье и увидел под ногами некие камушки — полированные и поблескивающие. Он собрал их, отнес к себе и убедился, что это чистое золото. Спустился в третий раз и, идя по следу золотого песка, добрался до той самой золотой жилы, в которой ты трудился. Он остолбенел при виде стольких богатств. Как можно скорее он возвратился и предпринял все меры предосторожности, какие только мог придумать, чтобы утаить от света свое сокровище. У входа в подземелье он приказал построить часовню и сделал вид, что хочет в ней вести отшельническую жизнь, предаваясь молитве и размышлениям. А между тем без устали разрабатывал золотую жилу и добывал драгоценный металл как можно в больших количествах. Труд его продвигался необычайно медленно, ибо он не только не смел взять себе помощника, но к тому же еще должен был тайком изготавливать стальные орудия, необходимые ему для его трудов в заповедных рудных недрах.

Масуд увидел тогда, что богатства сами по себе вовсе не дают власти, ибо перед ним было больше золота, чем имелось в сокровищницах всех земных владык. Добыча золота, однако, сопряжена была у него с неслыханными трудностями; кроме того, он не знал, как поступить с этим золотом и где его спрятать.

Масуд был ревностным последователем пророка и пылким приверженцем Али. Он уверился, что сам пророк открыл ему и дал это золото ради возвращения халифата своему семейству, то есть потомкам Али, и затем — усилиями потомков Али — для обращения всего света в мусульманство. Мысль эта всецело завладела им. Он предался ей с тем большим пылом, что род Омейядов в Багдаде захирел и ослаб, и явилась надежда возвращения престола потомкам Али. И в самом деле, Абсиды истребили Омейядов, но для рода Али в этом не было никакой пользы, даже напротив, ибо один из Омейядов вступил в Испанию и стал калифом Кордовы.

Масуд, видя, что он более, чем когда-либо, окружен недругами, умел тщательно таиться. Он отказался даже от исполнения своих намерений, но придал им форму, которая, если так можно выразиться, сохраняла их на будущее. Он выбрал шесть начальников семейств из своего племени, связал их священной присягой и, открыв им тайну золотой жилы, сказал:

— Вот уже десять лет я владею этим сокровищем и не могу найти ему ни малейшего применения. Если бы я был моложе, я мог бы собрать воинов и владычествовать с помощью меча и злата. Но я открыл мои богатства слишком поздно. Меня знают как приверженца Али и

поэтому прежде, чем я успел бы собрать своих сторонников, я непременно был бы убит. Я питаю надежду, что пророк возвратит когда-нибудь халифат своему семейству и что тогда весь свет будет исповедовать его веру. Время еще не пришло, однако следует его подготовить. У меня есть связи в Африке, где я тайно поддерживаю приверженцев Али; необходимо и в Испании также утвердить могущество нашего племени. Более же всего мы должны таить наши средства. Нам не следует всем носить одну и ту же фамилию. Итак, ты, родич мой Зегрис, со всем своим родом поселишься в Гранаде. Мои останутся в горах и сохраняют фамилию Гомелесов. Другие удалятся в Африку и там возьмут в жены дочерей Фатимидов. Особенно следует заняться молодым поколением, способствовать углублению его образа мышления и подвергать разнообразным испытаниям. Ежели когда-нибудь среди сего поколения отыщется юноша, одаренный недюжинными способностями и отвагой, тогда он постарается свергнуть с престола Аббасидов, совершенно истребить Омейядов и возвратит халифат потомкам Али. По моему мнению, грядущий завоеватель должен будет принять титул махди,³ то есть Двенадцатого имама, и применить к себе предсказание пророка, который предрек, что «солнце взойдет на западе».

Таковы были намерения Масуда. Он записал их в книгу и с тех пор ничего не предпринимал, не выслушав совета шести начальников племени. Затем он сложил свой сан и одному из них доверил звание великого шейха и замок Кассар-Гомелес. Восемь шейхов сменилось друг за другом. Зегрисы и Гомелесы приобрели прекраснейшие имения в Испании, некоторые из них перебрались в Африку, где заняли важные должности и породнились с самыми могущественными семействами.

Уже истекал второй век хиджры,⁴ когда один из Зегрисов осмелился провозгласить себя махди, или законным вождем. Он основал столицу в Кайруане, в одном дне пути от Туниса, завоевал всю Африку и стал главой рода калифов Фатимидов. Шейх Кассар-Гомелеса послал ему множество золота, однако должен был более, чем когда-либо, скрываться во мраке тайны, ибо христиане одержали верх и возникла опасность, как бы Кассар не попал в их руки. Вскоре у шейха явилась новая забота. Ею было внезапное возвышение Абенсеррагов, рода, недружелюбного нашему и совершенно отличного от нас характера и образа мыслей.

Зегрисы и Гомелесы были дикими, замкнутыми в себе и рьяными в вопросах веры: напротив, Абенсерраги действовали кротко, были общительны с женщинами и дружелюбны по отношению к христианам. Они в некоторой степени проникли в нашу тайну и стали строить нам всевозможные козни.

Преемники Махди завоевали Египет, и их признали в Сирии так же, как в Персии. Могущество Аббасидов было потрясено до основания и

рухнуло окончательно. Туркоманские князьки овладели Багдадом, но, несмотря на это, исповедание Али распространялось мало, и суннитское исповедание все еще имело над ним перевес.

В Испании Абенсерраги все более пренебрегали обычаями. Женщины показывались, не закрывая лица, мужчины же вздыхали у их ног. Шейхи Кассара не выходили больше из замка и не прикасались к золоту. Положение это длилось долго, наконец Зегрисы и Гомелесы, стремясь уберечь веру и королевство, объединились против Абенсеррагов и перебили их на Львином Дворе, в собственном их дворце, прозванном Альгамброй.

Несчастное это событие лишило Гранаду значительной части защитников и ускорило ее падение. Долины Альпухары, по примеру остальной страны, покорились победителям. Шейх Кассар-Гомелеса разрушил свой замок и скрылся в глубинах подземелья, в тех самых покоях, где ты видел братьев Зото. Шесть семей скрылось вместе с ним в недрах земли, остальные же спрятались в прилегающих пещерах, выходы из коих открывались в других долинах.

Иные из Зегрисов и Гомелесов приняли христианскую веру или сделали вид, что обратились в христианство. В их числе было семейство негоциантов Моро, которые сперва владели торговым домом в Гранаде, а затем сделались придворными банкирами. Они не боялись недостатка средств, ибо имели к своим услугам все сокровища подземелья. Связи с Африкой непрерывно продолжались, в особенности же с королевством Туниса. Все шло довольно благоприятно до времени правления Карла, императора и короля испанского. Вера пророка, которая уже не блистала в Азии столь великолепно, как во времена калифов, распространялась теперь в Европе, поддерживаемая завоеваниями оттоманских турок.

В эту эпоху раздор, разрушающий все на земле, проник и под землю, в наши пещеры. Теснота еще более разожгла взаимные наши распри. Сефи и Биллах поссорились из-за сана шейха, сана, которого и в самом деле стоило добиваться, ибо он давал право распоряжаться неисчерпаемыми копиями. Сефи, убежденный в своей слабости, хотел перейти на сторону христиан; Биллах вонзил ему кинжал в грудь, после чего задумался над тем, как обеспечить безопасность всех Гомелесов. Тайна подземелья была переписана на пергамент, и пергамент сей был разрезан на шесть лент или поясков, перпендикулярных к строкам текста. Поэтому только сложив все ленты вместе, можно было прочесть написанное. Каждую ленту доверили одному из шести предводителей семейств — по одной ленте каждому из шести — и под страхом смертной казни было запрещено передавать их другим. Посвященный в тайну носил ленту на правом плече. Биллах сохранил право жизни и смерти над всеми обитателями подземелья и его окрестностей. Кинжал, который он вонзил в грудь

Сефи, стал знаком его власти и переходил по наследству его преемникам. Установив таким образом суровый порядок в подземельях, Биллах с неутомимой энергией занялся делами Африки. Гомелесы обладали в ней несколькими престолами. Они стали владыками Таруданта и Тлемсена, но африканцы — люди легкомысленные, повинующиеся прежде всего голосу страсти, поэтому деятельность Гомелесов в этой части света никогда не давала таких результатов, на какие следовало бы надеяться.

Почти в это же время началась гонения на мавров, оставшихся в Испании. Биллах ловко воспользовался этим обстоятельством. С неслыханным хитроумием он организовал систему взаимной опеки между подземельем и людьми, занимающими высокие должности. Эти полагали, что они покровительствуют всего лишь нескольким мавританским семьям, желающим оставаться в покое, в действительности же они помогали и содействовали стремлениям шейха, который в награду открыл им свой кошелек. Я читал также в наших летописях, что Биллах установил, а, вернее, восстановил испытания, которым должна была подвергаться молодежь, чтобы показать свой характер и доказать свою отвагу. Испытания эти до Биллаха были преданы забвению. Вскоре мавры были изгнаны. Шейха подземелья звали Кадер. Это был мудрый человек, который не пренебрегал никакими средствами, которые только могли бы обеспечить безопасность всех Гомелесов. Банкиры Моро создали товарищество людей значительных, которые делали вид, что проявляют сострадание к маврам, и в самом деле оказывали им тысячи услуг, но отнюдь не бескорыстно: они велили себе щедро платить.

Мавры, изгнанные в Африку, унесли с собой дух отщепенца, неустанно их вдохновляющий: можно было подумать, что вся эта часть света восстанет и обрушится на Испанию; но вскоре африканские государства высказали свое мнение, противное намерениям этих злополучных изгнанников. Напрасно во внутренних войнах щедро лилась кровь; тщетно шейхи подземелья рассыпали золото: неумолимый Мулай Исмаил⁵ воспользовался вековыми распрями и основал государство, существующее и донныне.

Тут я перехожу к моменту моего рождения и буду отныне рассказывать уже о самом себе.

Когда шейх досказал эти слова, было сообщено, что ужин уже на столе, и этот вечер прошел у нас так же, как и предыдущий.

День шестьдесят третий

С утра меня снова послали в подземелье. Сколько смог, столько золота я добыл: впрочем, я уже привык к этой работе, ибо целые дни проводил только за ней. По вечерам я ходил к шейху, где заставал моих кузин. Я просил его, чтобы он соизволил мне дальше рассказать свои приключения, что он и сделал в таких словах:



Продолжение истории шейха Гомелесов

Я познакомил тебя с историей наших подземелий, насколько она знакома мне самому, теперь же расскажу собственные мои приключения. Я родился в большой пещере, примыкающей к той, в которой мы теперь находимся. Свет попадал в нее наклонно, неба вовсе не было видно, но мы выбирались из расщелин в скалах, чтобы дышать свежим воздухом, и над нами тогда синел клочок небосвода, а порою нам удавалось даже увидеть солнце. На поверхности мы возделывали крохотную клумбу, на которой сажали цветы. Мой отец был одним из шести предводителей семейств. Поэтому он вместе со всей своей семьей обитал в подземелье. Родичи его жили в долинах, и все считали их христианами. Некоторые поселились в предместье Гранады, называемом Альбайсин¹. Ты знаешь, что там вовсе нет домов, а жители обосновались в гротах на склоне горы². Некоторые из этих своеобразных жилищ соединялись с известными пещерами, которые тянулись до самого нашего подземелья. Окрестные жители каждую пятницу сходились к нам на совместную молитву; жители более отдаленных мест прибывали только по большим праздникам.

Мать говорила со мной по-испански, отец же по-арабски, вот почему я прекрасно знал оба этих языка, в особенности же — второй из них. Я выучил на память коран и часто погружался в комментарии к нему. С юных лет я был ревностным магометанином, чрезвычайно

приверженным к исповеданию Али; к христианам мне привили неукротимую ненависть. Все эти чувства, если можно так выразиться, родились вместе со мной и возрастали в сумраке наших пещер.

Мне исполнилось восемнадцать, и мне казалось, что вот уже несколько лет, как пещеры гнетут меня и душат. Я рвался на вольный воздух; ощущение это повлияло на мое здоровье, я слабел, таял, готов был задохнуться на глазах, и матушка моя первая заметила это мое состояние. Она стала изучать мое сердце; я рассказал ей все, что чувствовал. Описал ей терзающую меня духоту и в особенности странную сердечную тревогу, для которой я не смог найти слов. И еще я прибавил, что непременно жажду надыхаться иным воздухом: увидеть небо, леса, горы, людей; и что я умру, если мне не разрешат этого. Матушка залилась слезами и сказала:

— Дорогой Масуд, болезнь твоя обычна среди нас. Я сама страдала ею, и тогда мне разрешили совершить несколько поездок. Я побывала в Гранаде и еще дальше. Но с тобой дело обстоит по-иному. Относительно тебя имеются серьезные намерения; вскоре тебя отправят в свет и к тому же гораздо дальше, чем бы мне того хотелось. Однако же зайди ко мне завтра на рассвете, я постараюсь устроить все так, чтобы ты смог надыхаться свежим воздухом.

На следующий день я явился на свидание, назначенное мне матушкой.

— Дорогой Масуд, — обратилась она ко мне, — ты хочешь подышать воздухом более свежим, нежели тот, каким ты дышишь в наших пещерах, а посему вооружись терпением. Если ты в течение некоторого времени проползешь вон под той скалою, то попадешь в чрезвычайно глубокую и узкую лошину, но воздух в ней вольнее, чем у нас. Кое-где ты сможешь даже вскарабкаться на утесы и увидишь под ногами беспредельный кругозор. Эта выдолбленная дорога сначала была расщелиной, которая растрескалась в разных направлениях. Это — лабиринт перекрещивающихся тропинок; так вот, возьми несколько угольков и, когда увидишь перед собой распутье, отметь ту дорогу, по которой ты шел; только действуя таким образом, ты не заблудишься. Возьми с собой этот узелок с припасами; что касается воды, ты ее будешь иметь в избытке. Надеюсь, что тебе никто не встретится. На всякий случай, однако, заткни за пояс ятаган. Я многих восстанавливаю против себя, потворствуя твоим желаниям, поэтому также не оставайся наверху слишком долго.

Я поблагодарил свою добрую матушку, пополз под скалою, выбрался в узкий выдолбленный проход, однако же поросший травюю. Потом я увидел маленький залив, вода в нем была превосходна; далее же — скрещивающиеся ущелья. Я шел в течение значительной части дня. Журчание ручья привлекло мое внимание, я зашагал вниз по его тече-

нию и пришел к заливу, в который ниспадал ручей. Это было место поразительной красоты. Несколько мгновений я стоял, остолбенев от изумления, потом голод начал меня мучить; я достал из узелка припасы, совершил омовение, предписанное законом пророка, и стал подкреплять свои силы. Окончив мою трапезу, я вновь совершил омовение, подумал о возвращении в подземелье и отправился той же самой дорогой.

Вдруг я услышал дивное журчание воды, обернулся и увидел выходящую из водопада женщину. Мокрые волосы ее покрывали почти всю, впрочем, на ней было зеленое шелковое платье, прилегающее к телу. Колдунья, выйдя из воды, скрылась в кустах, после чего вышла в сухом платье и с волосами, навитыми на гребень.

Она поднялась на скалу, как будто желая налюбоваться видом, затем вернулась к источнику, из которого только что вышла. В произвольном порыве я хотел ее удержать и преградил ей путь. Сперва она испугалась, но я упал на колени, и покорная эта поза ее несколько успокоила. Она приблизилась ко мне, взяла меня за подбородок, приподняла мою голову и поцеловала в лоб. Внезапно она с быстротой молнии бросилась в воду и исчезла. Я был уверен, что это волшебница, или — как их называют в наших арабских сказках — пери. Однако, когда я подошел к кусту, за которым она скрылась, я нашел на нем платье, повешенное как будто для просушки.

Мне незачем было дольше ожидать, и я вернулся в подземелье. Обнял мою матушку, но не рассказал ей о приключении, которое со мной произошло, ибо прочел в наших газетях³, что волшебницы любят, когда встречи с ними сохраняют в тайне. Между тем матушка моя, видя меня столь необычайно оживленным, радовалась, что свобода, которую она мне предоставила, оказала на меня столь благотворное действие.

На следующий день я вернулся к источнику. Так как я сперва отметил это место угольком, то теперь без труда нашел его. Став у цели, я начал громко призывать колдунью и просить прощения за то, что осмелился совершить омовение в ее источнике. И на сей раз, однако, я совершил омовение в ручье, после чего разложил свои припасы, которых, руководимый таинственным предчувствием, принес с собой на двоих. Я еще не успел приступить к своему пиру, как услышал шум в источнике и из него вышла волшебница, смеясь и обрызгивая меня водой.

Она побежала к кусту, надела сухое платье и села рядом со мной. Ела как простая смертная, но не произнесла ни слова. Я вообразил себе, что таков обычай волшебниц, и ничего против него не имел.

Дон Хуан Авадоро познакомил тебя со своими приключениями, поэтому ты вспоминаешь, конечно, что моя волшебница была его дочерью

Ундиной, которая ныряла под своды скал и из своего озера выплывала в залив.

Ундина была непорочна, а, вернее, не ведала ни греха, ни невинности. Наружность ее была такой пленительной, обхождение таким простым и привлекательным, что в грезах видя себя мужем волшебницы, я страстно влюбился в нее. Это продолжалось целый месяц. Однажды шейх велел призвать меня. Я застал у него собравшимися всех шестерых предводителей семейства. Среди них был и мой отец.

— Сын мой, — сказал он мне, — ты покинешь наши пещеры и отправишься в те счастливые края, где исповедуют веру пророка.

Слова эти остановили кровь в моих жилах. Мне было все равно: умереть или разлучиться с волшебницей.

— Дорогой отец, — вскричал я, — позволь мне никогда не покидать этих подземелий.

Едва я произнес эти слова, как увидел все кинжалы занесенными над своей головою.

Отец, казалось, первым был готов пронзить мое сердце.

— Я согласен умереть, — сказал, я, — но позволь мне сперва поговорить с матерью.

Мне была оказана эта милость; я кинулся в ее объятия и рассказал ей мои приключения с волшебницей. Матушка очень удивилась и ответила:

— Дорогой Масуд, я не думала, что волшебницы существуют на свете. Впрочем, я в этом не разбираюсь, но неподалеку отсюда обитает один необычайно мудрый еврей, которого я об этом спрошу. Если та, которую ты любишь, волшебница, то она везде и повсюду сумеет найти тебя. Однако, с другой стороны, ты знаешь, что малейшее непослушание карается у нас смертью. Старейшины наши возымели относительно тебя великие намерения, повинуйся им как можно покорнее и старайся заслужить их благосклонность.

Слова моей матушки произвели на меня сильное впечатление. Я обрадовался, что ведь и в самом деле — волшебницы всемогущи и что моя колдунья отыщет меня хотя бы на краю света. Я пошел к отцу и дал присягу слепо повиноваться любым приказам.

На следующий день я выехал вместе с неким жителем Туниса по имени Сид-Ахмед, который сначала отвез меня в свой родной город, один из роскошнейших на свете. Из Туниса мы отправились в Загуан, маленький городок, славящийся изготовлением алых шапочек, известных под названием фесок. Мне сказали, что неподалеку от гор находится странное здание, состоящее из молельни и галереи, обступающей полукругом маленький бассейн. Вода струей выливается из капеллы и наполняет бассейн. В древние времена вода из бассейна входила в акведук, по которому она текла в Карфаген. Говорили также, что капелла посвящена

какому-то божеству источника. Безумный, я вообразил себе, что божество это — моя волшебница. Я отправился к источнику и начал призывать ее изо всех сил. Лишь эхо было мне ответом. Говорили мне также в Загуане о Дворце духов⁴, руины которого находились в нескольких милях от городка, в глубине пустыни. Я пошел туда и увидел круглое здание, возведенное с необычайным вкусом. Я заметил какого-то человека, сидящего на руинах и рисующего. Я спросил его по-испански, правда ли, что духи возвели этот дворец. Он усмехнулся и ответил мне, что это театр, в котором древние римляне устраивали битвы диких зверей, и что место это, ныне называющееся эль-Джем, было некогда той самой проглавленной Замой⁵. Объяснение путешественника нисколько меня не увлекло; я предпочел бы встретить духов, которые поведали бы мне о моей колдунье.

Из Загуана мы отправились в Кайруан, прежнюю столицу могущественных махди. Это был огромный город с сотней тысяч жителей, мятежных, прирожденных бунтовщиков, в любой момент готовых восстать. Мы провели там целый год. Из Кайруана мы перебрались в Гадамес, маленькое независимое государство, которое составляло часть Белед-эль-Джери, или Страны Фиников. Так называют земли, простирающиеся между хребтом Атласских гор и песчаной пустыней Сахарой. Финиковые пальмы настолько пышно растут в этих краях, что одно дерево может целый год кормить человека воздержанного, а из таких и состоит тамошний народ. Однако там нет недостатка и в других средствах пропитания, как злак, называемый дурро, а также длинноногие и почти голые бараны, мясо которых воистину превосходно.

Мы встретили в Гадамесе множество мавров родом из Испании. Не было среди них ни Зегрисов, ни Гомелесов, много, однако, было семейств, искренне к нам привязанных; во всяком случае, это была страна беженцев. Не прошло и году, как я получил от моего отца письмо, завершающееся следующими словами:

«Матушка велит тебе сказать, что волшебницы — это обыкновенные женщины и что у них даже есть дети». Я понял, что моя волшебница была такой же простой смертной, как и я, и мысль эта несколько успокоила мое воображение.

Когда шейх досказывал эти слова, один из дервишей возвестил нам, что ужин уже на столе, и мы весело пошли к столу.

День шестьдесят четвертый

На следующий день я не преминул отправиться в рудник, где ревностно трудился, как самый заправский рудокоп. Вечером пошел к шейху и просил его, чтобы он соизволил продолжать свой рассказ, что он и сделал в таких словах:



Продолжение истории шейха Гомелесов

Я говорил тебе, что получил от отца письмо, из которого узнал, что волшебница моя — обыкновенная женщина. Я находился тогда в Гадамесе. Сид-Ахмет отправился со мной в Фесан, страну большую, чем Гадамес, но менее плодородную, где все обитатели чернокожие. Оттуда мы отправились в оазис Аммона, где должны были дожидаться вестей из Египта.

Люди, посланные нами, возвратились две недели спустя с восемью дромадерами. Поступь этих животных невозможно было выносить, однако нужно было терпеть это в течение восьми часов непрерывно. Когда мы останавливались, каждому дромадеру давали шарик из риса, камеди и кофе; мы отдыхали в течение четырех часов и затем вновь пустились в путь.

На третий день мы остановились в Бахр-бела-ма, или на Море без воды. Это — широкая песчаная долина, усеянная ракушками; мы не заметили никаких следов растений или животных. Вечером мы прибыли на берег озера, вода которого насыщена едким натром¹, являющимся своего рода солью. Там мы покинули наших проводников и дромадеров; ночью мы оставались одни — Сид-Ахмет и я. На рассвете к нам прибыло восемь рослых силачей, они посадили нас на носилки, чтобы перенести через озеро.

Они медленно шли гуськом, так как брод оказался очень узким. Соль осыпалась у них под ногами, которые были обвязаны кожами, чтобы пре-

дохранить их от ран и ссадин. Таким образом нас несли более двух часов.

Озеро выходило в долину, над коей высились две скалы белого гранита, а затем исчезло под гигантским сводом, созданным природою, но завершенным руками человеческими.

Тут проводники развели огонь и пронесли нас еще около ста шагов до своего рода пристани, где ожидала лодка. Проводники предложили нам легкий завтрак, сами же подкреплялись, потягивая и куря гашиш, то есть вытяжку из конопляного семени. Затем они разожгли смоляной факел, далеко озаряющий пространство вокруг, и прицепили этот факел к кормилу лодки. Мы сели в лодку, наши проводники превратились в гребцов и весь остаток дня плыли с нами по подземному каналу. К вечеру мы прибыли к бассейну, где канал разделялся на несколько рукавов. Сид-Ахмет сказал мне, что здесь начинается прославленный в древности лабиринт² Озимандии. Теперь сохранилась только подземная часть сооружения, соединяющаяся с пещерами Луксора и со всеми подземельями Фиваиды.

Лодку задержали у входа в одну из обитаемых пещер, кормчий пошел за едой для нас, после чего мы завернулись в наши хайки³ и заснули в лодке.

На следующий день наши люди снова взялись за весла. Лодка наша плыла под обширными галереями, выложенными плоскими плитами необычайных размеров; некоторые из них сверху донизу были испещрены иероглифами.

Наконец мы прибыли в гавань и отправились в местный гарнизон. Командующий гарнизоном провел нас к своему начальнику, который представил нас шейху Друзов.

Шейх дружелюбно протянул мне руку и сказал:

— Молодой андалузец, братья наши из Кассар-Гомелеса лестно отзываются о тебе. Так пусть на челе твоём почиет благословение пророка.

Сид-Ахмета шейх знал, казалось, с давних пор. Был накрыт ужин, после чего вошли какие-то странно одетые люди и стали объясняться с шейхом на непонятном для меня языке. Они кипели от ярости и злобы, указывая на меня, как будто обвиняя меня в каком-то преступлении. Я бросил взгляд на товарища по путешествию, но тот куда-то исчез. Шейх впал в неудержимый гнев. Меня схватили, сковали мне кандалами руки и ноги и бросили в узилище.

Это была пещера, выдолбленная в скале, кое-где прерываемая соединяющимися друг с другом углублениями. Светильник озарял вход в мое подземелье; я заметил пару пронзительных и наводящих ужас глаз и под ними ужасную пасть, сверкающую чудовищными зубами. Крокодил вполз до половины в мою пещеру и как будто собирался поглотить меня. Я был

скован, не мог двинуться, а потому произнес молитву и стал дожидаться смерти.

Однако крокодил этот тоже был прикован цепью — это было испытание, которому хотели подвергнуть мою отвагу. Друзы составляли тогда многочисленную секту на Востоке. Основание ее связывают с именем некоего фанатика, прозываемого Дарази⁴, который на самом деле был всего лишь орудием в руках Хакима Биамриллаха, третьего халифа Фатимидов в Египте.

Властелин этот, известный своим безбожием, пытался непременно восстановить древние суеверия, входящие в ритуал культа Изиды. Он приказал считать себя воплощением божества и предавался отвратительнейшим распутствам, на которые давал соизволения также своим приверженцам. В ту эпоху не были еще вполне отменены древние мистерии и их совершали в подземельях лабиринта. Калиф велел посвятить себя в их тайну, но пал, не успев завершить безумных своих предприятий. Сторонники его, преследуемые и гонимые, укрылись в лабиринте.

Ныне они исповедуют чистойшую магометанскую веру, но приспособленную к секте Али, исповедание коей некогда приняли Фатимиды. Они взяли имя Друзов, дабы избежать ненавистного всем имени Хакимитов. Друзы из древних мистерий оставили только обычай подвергать испытаниям. Я присутствовал при некоторых и заметил средства физического воздействия, над которыми несомненно задумались бы первейшие европейские ученые; кроме того, мне кажется, что у Друзов существует несколько степеней посвящения в тайну, о которых я не имею ни малейшего понятия. Впрочем, я был тогда слишком юн, чтобы исследовать их. Весь год я провел в подземельях лабиринта, часто ездил в Каир, где останавливался у людей, соединенных с нами неким таинственным союзом.

Собственно говоря, мы странствовали единственно для того, чтобы познакомиться со скрытыми недругами господствовавшего тогда суннитского исповедания. Мы отправились в путь в Маскат, где имам⁵ явно высказался против суннитов. Прославленный этот священнослужитель принял нас весьма учтиво, он показал нам список арабских племен, приверженных ему, и заявил, что без труда может изгнать суннитов из Аравии. Однако учение его противоречило исповеданию Али, поэтому мы не могли действовать с ним заодно.

Оттуда мы поплыли в Бассору и через Шираз прибыли в государство Сафавидов⁶. Тут и в самом деле мы всюду нашли исповедание Али господствующим, но персы предались роскоши, были поглощены внутренними распрями и раздорами и посему мало заботились о распространении ислама за пределами своей страны. Нам предложили посетить езидов, населяющих вершины Ливана. Езидами называли разного рода сектантов;

эти, в частности, известны были еще под именем Мутавали. Из Багдада же мы направились путем, проходящим по пустыне, и прибыли в Тад-мору, которую вы называете Пальмирой, откуда написали шейху езидов. Он прислал нам лошадей, верблюдов и вооруженный конвой.

Мы увидали все племя, собравшееся в пустыне неподалеку от Баальбека. Там мы испытали истинное наслаждение. Сто тысяч фанатиков, завывая, возглашали проклятия Омару⁷ и хвалы в честь Али. Совершались печальные церемонии, изображающие мучения и гибель Хуссейна⁸, сына Али. Езиды ножами кромсали себе плечи и руки, некоторые, вдохновляемые восторгом и рвением, даже перерезали себе жилы и умирали, захлебываясь в собственной крови.

Мы пробыли у езидов дольше, чем предполагали, и получили, наконец, известия из Испании. Родители мои уже умерли, и шейх вознамерился усыновить меня.

После четырехлетних странствий я в конце концов благополучно вернулся в Испанию. Вскоре я узнал о вещах, в которые не были посвящены даже предводители семейств. Хотели, чтобы я сделался махди. Сперва я должен был объявиться в Ливане. Египетские Друзы высказались в мою пользу, Кайруан также перешел на мою сторону; во всяком случае, этот последний город я должен был избрать своей столицей. Перенеся туда сокровища Кассар-Гомелеса, я мог бы вскоре стать могущественнейшим властелином на земле.

Все это было неплохо придумано, но, во-первых, я был еще слишком молод, во-вторых, не имел никакого понятия о войне. Поэтому было решено, что я, не мешкая, отправлюсь в оттоманское войско, которое тогда вело бои с немцами⁹. Обладая миролюбивым характером, я хотел противиться этим намерениям, но нужно было повиноваться. Меня снарядили, как пристало знатному воителю, я отправился в Стамбул и присоединился к свите визиря. Некий немецкий военачальник по имени Евгений¹⁰ разбил нас на голову и вынудил визиря отступить за Туну или Дунай. Затем мы хотели вновь начать наступательную войну и перейти в Семиградье. Мы двинулись вперед вдоль Прута, когда венгры с тыла напали на нас, отрезали от рубежей страны и разбили на голову. Я получил две пули в грудь, и меня бросили на поле брани, сочтя погибшим.

Татары-кочевники подняли меня, перевязали мои раны и питали меня одним только несколько скисшим кобыльим молоком. Напиток этот, смело могу сказать, спас мне жизнь. Однако в течение года я был настолько слаб, что не мог бы оседлать коня, и когда орда снималась со стойбища, меня укладывали на повозку с несколькими старухами, которые ухаживали за мной.

Разум мой, так же как и тело, испытывал упадок сил, и я не мог ни слова выучить по-татарски. Прошло два года, прежде чем я встретил

мулла, знающего арабский язык. Я сказал ему, что я мавр из Андалузии и что я умоляю, чтобы мне было дозволено вернуться в отечество. Мулла поговорил обо мне с ханом, который дал мне денег на дорогу.

Наконец, я добрался до наших пещер, где уже с давних пор меня считали погибшим. Прибытие мое вызвало всеобщую радость. Один только шейх не радовался, видя меня таким слабым, с подорванным здоровьем. Теперь меньше, чем когда-либо, я был способен сделаться махди. Однако от нас был отправлен посол в Кайруан, дабы исследовать тамошнее состояние умов, ибо хотели начать как можно скорее.

Посол возвратился шесть недель спустя. Все окружили его с чрезвычайным любопытством, как вдруг, не закончив рассказа, он упал без чувств. Ему оказали помощь, он пришел в сознание, хотел говорить, но не мог собраться с мыслями. Поняли только, что в Кайруне свирепствует моровое поветрие. Его хотели удалить, но было уже слишком поздно: сородичи мои прикасались к путешественнику, переносили его вещи, и сразу все обитатели пещер стали жертвами ужасного бедствия.

Это было в субботу. В следующую пятницу, когда мавры из долин сошлись на молитву и принесли для нас пищу, они нашли только трупы, среди которых ползал я с большим наростом на левой стороне груди. Однако я избежал смерти.

Не боясь уже заразы, я взялся хоронить умерших. Раздевая трупы шести предводителей семейств, я нашел шесть пергаментных лент, сложил их вместе и открыл тайну неисчерпаемых копей. Шейх перед смертью открыл водопровод и затопил рудники, я же спустил воду и некоторое время любовался зрелищем своих богатств, не смея прикоснуться к ним. Жизнь моя было жестокой и бурной, мне был нужен отдых и сан махди не обладал в моих глазах ни малейшей привлекательностью.

Кроме того для меня оставалось тайной, каким образом можно было бы прийти к соглашению с Африкой. Магометане, обитающие в долине, решили с тех пор молиться у себя; итак, я был один во всем подземелье. Я вновь затопил копи, забрал сокровища, найденные в пещере, тщательно промыл их в уксусе и отправился в Мадрид под видом магометанского торговца драгоценностями родом из Туниса.

Впервые в жизни увидел я христианский город; меня поразила свобода женщин, и я возмущен был легкомыслием мужчин. С тоской вздыхал я, мечтая переселиться в какой-либо магометанский город. Я хотел уехать в Стамбул, жить там в роскошном забвении и время от времени возвращаться в пещеры, когда это будет необходимо для возобновления моих денежных средств.

Таковы были мои намерения. Я полагал, что никто обо мне не ведает, но заблуждался. Чтобы лучше сойти за торговца, я отправлялся в общественные аллеи и выкладывал там все свои сокровища. Я установил на них постоянную цену и никогда не торговался. Этим я, вовсе о том не

думая, вызвал к себе всеобщее уважение и обеспечил себе выгоды, о которых отнюдь не хлопотал. А между тем, куда бы я ни пошел, на Прадо или в Буэн Ретиро, или же в какое-либо иное публичное место, повсюду за мной следил какой-то человек, быстрые и пронизательные глаза которого, казалось, читали в моей душе.

Человек этот непрестанно глядел на меня, и взоры его повергали меня в несказанную тревогу.

Тут шейх погрузился в раздумье, как бы припоминая испытанное им впечатление, но в этот миг нам дали знать, что ужин уже на столе, и поэтому он отложил продолжение рассказа на следующий день.



День шестьдесят пятый

Я спустился в копи и вновь принялся за дело. Добыл уже немалое количество великолепнейшего золота; вечером, в награду за мое прилежание, почтенный шейх так благоволил продолжать свой рассказ:

Продолжение истории шейха Гомелесов



Я говорил тебе, что в Мадриде, куда бы я ни пошел, какой-то незнакомец постоянно следил за мной: он не сводил с меня глаз и этим вверг меня в неизъяснимую тревогу. Однажды вечером я решился, наконец, обратиться к нему.

— Что тебе от меня надо? — сказал я ему. — Хочешь ли ты меня поглотить своим взором? Что ты хочешь сделать со мной?

— Ничего, — отвечал незнакомец. — Я только хочу тебя убить, если ты выдашь тайну Гомелесов.

Эти несколько слов объяснили мне мое положение. Я понял, что должен забыть покой, и мрачная тревога, неотвязная подруга любых сокровищ, овладела моей душой.

Было уже довольно поздно. Незнакомец пригласил меня к себе, велел подать ужин, потом тщательно запер двери и, упав передо мной на колени, молвил:

— Властелин пещеры, я твой вассал, прими мое уважение; но если ты изменишь долгу своему, я убью тебя, как Биллах Гомелес убил некогда Сефи.

Я попросил моего необыкновенного вассала, чтобы он соизволил подняться, сесть и рассказать, кто он такой. Незнакомец, повинувшись моим желаниям, начал такими словами:



История рода Узед

Род наш — один из древнейших на свете, но так как мы не любим кичиться нашим происхождением, то ограничиваемся тем, что выводим наше начало от Авишуя, сына Финееса¹, внука Елеазара и правнука Аарона, который был братом Моисея и первосвященником Израиля. Авишуй был отцом Буккия, дедом Озии, прадедом Зерахии, прапрадедом Мераиофа, который был отцом Амарии, дедом Ахимааза, прадедом Азарии и прапрадедом Азарии второго.

Азария был первосвященником прославленного Храма Соломонова² и оставил после себя записки, которые несколько его потомков продолжали вести после его кончины. Соломон, столько сделавший ради чести Адоная, опозорил под кснецю свою старость, позволяя своим женам публично поклоняться идолам³. Азария хотел сперва обличить это преступное безбожие, но поразмыслил и уразумел, что монархи в старости должны все же относиться с известной снисходительностью к своим женам. Поэтому он начал смотреть сквозь пальцы на злоупотребления, которым не мог воспрепятствовать, и умер первосвященником.

Азария был отцом Амарии второго, дедом Садока, прадедом Ахитува, прапрадедом Селлума, который был отцом Хелкии, дедом Азарии третьего, прадедом Сераии и прапрадедом Иоседека, пошедшего в вавилонское пленение.

У Иоседека был младший брат по имени Овадий, от которого мы, собственно, приходим. Тому не было еще и пятнадцати лет, когда его отдали в свиту слуг царя и сменили ему имя на Сабдек. Были там и другие юные евреи, которым также сменили имена. Четверо из них⁴ не хотели есть из царской кухни из-за нечистого мяса, которое на ней готовлялось, поэтому они питались кореньями и водой и тем не менее, однако, отличались тучностью. Сабдек сам съедал предназначенные для них блюда, но несмотря на это, все больше худел.

Навуходоносор⁵ был великим монархом, но, быть может, чрезмерно ублажающим свою гордыню. Он увидел как-то в Египте колоссы⁶ в шестьдесят футов высоты и повелел, чтобы было сооружено его изваяние такой же величины⁷, чтобы эту фигуру позолотили, и приказал всем па-

дать перед ней на колени. Молодые евреи, которые не хотели есть нечистое мясо, отказались также отбивать поклоны. Сабдек, не взирая на это, ревностно отвешивал поклоны и более того: в собственноручных записках наказал своим потомкам, чтобы они всегда преклоняли колени перед царями, их статуями, фаворитами, любовницами и даже перед их комнатными собачками.

Овадий, или Сабдек, был отцом Салатиэля, жившего во времена Ксеркса⁸, которого вы должны называть Широэсом, евреи же называли Агасфером. У этого персидского царя был брат Аман⁹, человек надиво горделивый и надменный. Аман объявил, что тот, кто не захочет одбивать ему поклонов, будет повешен: Салатиэль первый падал перед ним лицом во прах; когда же Амана повесили, Салатиэль первый преклонил колени пред Мардохеем.

Салатиэль был отцом Малакиэля и дедом Зафед, который обитал в Иерусалиме, в ту пору, когда Неемия¹⁰ был правителем города. Еврейские женщины и девушки были не слишком хороши собой, мужчины отдавали предпочтение моавитянкам и аздотянкам¹¹, Зафед взял в жены двух аздотянок. Неемия проклял его, вытолкнул его кулаками, и, как даже сам этот святой человек¹² говорит в своей истории, вырвал у него клочок волос из бороды. Однако Зафед в записках своих велит своим потомкам, чтобы они отнюдь не обращали внимания на пересуды евреев, когда им, оным потомкам, нравятся какие-нибудь иные женщины.

Зафед был отцом Наасона, дедом Элфада, прадедом Зоровита, который был отцом Элухана и дедом Узавита. Этот последний жил во времена, когда евреи начали восставать против Маккавеев. Узавит от природы был противником войны, поэтому он забрал все, что имел, и укрылся в Казiate, испанском городе, населенном тогда карфагенянами.

Узавит был отцом Ионафана и дедом Каламиля, который, узнав, что в стране все спокойно, возвратился в Иерусалим, однако сохранил свой дом в Казiate и другие имения, которые приобрел некогда в окрестностях этого города. Ты припоминаешь, что во времена вавилонского пленения род наш распался на две ветви. Иоседек, глава старшей линии, был честным и набожным иудеем, и все его потомки также пошли по его стопам. Я не понимаю, почему между этими двумя линиями возникла такая яростная вражда, вспыхнула такая взаимная ненависть, но старшая линия вынуждена была перебраться в Египет и там посвятила себя служению богу израилеву, во храме, воздвигнутом Иниасом. Линия эта угасла или, вернее, остановилась в особе Агасфера, известного под прозвищем Вечного Жида.

Каламиль был отцом Элифа, дедом Элизиба и прадедом Эфраима, во времена которого цезарю Калигуле вздумалось водрузить свое изваяние в иерусалимском храме.

Собрался весь синедрион; Эфраим, который также принадлежал к его составу, утверждал, что во храме следует водрузить не только изваяние цезаря, но заодно уж и изваяние его коня, который к тому же ведь и так уже был консулом; однако Иерусалим восстал против проконсула Петрония, и цезарь отказался от своих намерений.

Эфраим был отцом Небайота, при котором Иерусалим восстал против Веспасиана¹³, Небайот не ожидал дальнейшего развития событий и переехал в Испанию, где, как я уже говорил, у нас было значительное состояние. Небайот был отцом Юсуба, дедом Симрана и прадедом Рефайи, который был отцом Еэмии, а этот последний стал придворным звездочетом Гундерика¹⁴, короля вандалов.

Еэмия был отцом Эсбана, дедом Уза и прадедом Еримота, который был отцом Амата и дедом Альмета. Во времена этого последнего Юсуф Бен-Тахер вторгся в Испанию, желая завоевать страну и обратить ее народ в мусульманство, Альмет предстал перед вождем мавританским, прося, чтобы он дозволил ему, Альмету, перейти в веру пророка.

— Ты, конечно, знаешь, мой друг, — отвечал ему вождь, — что в дни Страшного суда все евреи будут превращены в ослов и станут перевозить правоверных в рай; если же ты перейдешь в нашу веру, нам когда-нибудь может не хватить вьючных животных.

Отповедь эта была не слишком учтива. Альмет, однако, радовался приему, который оказал ему Масуд, брат Юсуфа. Масуд удерживал его при себе и время от времени отправлял с различными поручениями в Африку и Египет.

Альмет был отцом Суфи, дедом Гуни и прадедом Ессера, который был отцом Шаллума, первого сарафа или, иными словами, казначея при дворе махди. Шаллум поселился в Кайруане и произвел на свет сыновей — Махира и Махаба. Первый остался в Кайруане, другой же прибыл в Испанию, поступил на службу к Кассар-Гомелесам и поддерживал связь между ними и Египтом и вообще Африкой.

Махаб был отцом Иофелета, дедом Малкнея, прадедом Бехреза и прапрадедом Дехода, который был отцом Сахамера, дедом Суаха, прадедом Ахия, прапрадедом Бера, который имел сына Абдона. Абдон, видя, что мавры изгнаны из всей Испании, за два года до завоевания Гранады перешел в христианскую веру. Король Фердинанд был его крестным. Несмотря на это, Абдон, оставаясь на службе у Гомелесов, в старости отрекся от назарейского пророка и вернулся к вере предков.

Абдон был отцом Махритала и дедом Азаэля, из-за которого Биллах, последний законодатель жителей пещер, умертвил дрогнувшего Сефи.

Однажды шейх Биллах велел призвать Азаэля и обратился к нему с такими словами:

— Ты знаешь, что я убил Сефи, пророк преподелил ему сию смерть, желая возратить халифат семейству Али. Я создал сообщество,

состоящее из четырех семейств: Езидов на Ливане, Халилов в Египте и Бен-Азаров в Африке. Предводители трех вышеупомянутых семейств клянутся за себя и своих потомков, что поочередно каждые три года будут присылать в наши пещеры человека отважного, мудрого, знающего свет, проникательного и даже хитрого. Обязанностью его будет смотреть, все ли в пещерах наших находится в должном порядке, в случае же измены предписаниям он будет иметь право убить шейха и шестерых предводителей семейств, одним словом, всех, которые оказались бы виновными. В награду за свою службу он получит семьдесят тысяч кусков чистого золота, или, считая по-вашему, сто тысяч цехинов.

— Могущественный шейх, — ответил Азаэль, — ты упомянул только три семьи: которая же будет четвертой?

— Твоя, — сказал Биллах, — и ты будешь получать за это ежегодно тридцать тысяч кусков чистого золота, но должен будешь, однако, взять на себя поддержание связей, писание писем и даже войти в число правителей пещеры. Если ты в чем бы то ни было сойдешь с пути истинного, одно из трех семейств будет обязано тотчас же тебя убить.

Азаэль хотел было поразмыслить, но корыстолюбие одержало верх в его душе, и он обязался за себя и за своих потомков. Азаэль был отцом Герсома. Три семейства, посвященные в тайну, каждые три года получали по семьдесят тысяч кусков чистого золота. Герсом был отцом Мамуна, то есть моим. Верный обязательствам моего деда, я ревностно служил владыкам пещеры и даже со времен морового поветрия из моих собственных денежных средств выплачивал Бен-Азарам причитающиеся им семьдесят тысяч кусков золота. Теперь я прихожу бить тебе челом и принести тебе уверения в неизменной моей верности.

— Мамун, — сказал я, — сжался надо мною! У меня и так уже в груди две пули, и я вовсе не гожусь ни в шейхи, ни в махди.

— Что касается махди, — ответил Мамун, — будь спокоен, никто об этом не думает; однако ты не можешь отказать от принятия звания и обязанностей шейха, ежели не хочешь, чтобы через три недели ты и твоя дочь были умерщвлены родом Халилов.

— Моя дочь? — воскликнул я в изумлении.

— Вот именно, — сказал Мамун, — та самая, которую родила тебе колдунья.

Подали ужин, и шейх прервал свой рассказ.

День шестьдесят шестой

Еще один день я провел в руднике, вечером же шейх, уступая моим просьбам, так соизволил продолжать свою речь:



Продолжение истории шейха Гомелесов

Выбора не было, и мы с Мамуном стали продолжать прежние деяния Кассар-Гомелеса, завязали сношения с Африкой и с важнейшими испанскими семействами. Шесть мавританских семейств поселилось в пещерах; но африканским Гомелесам не везло: дети мужского пола у них умирали в младенчестве или рождались слабоумными. Я сам от двенадцати моих жен имел только двоих сыновей, которые оба умерли. Мамун уговорил меня сделать выбор между Гомелесами-христианами и даже среди тех, которые по женской линии происходят от нашей крови и могут перейти в веру пророка.

Таким образом Веласкес имел право на то, чтобы быть усыновленным нами; я предназначил ему в жены свою дочь, ту самую Ревекку, которую ты видел в цыганском таборе. Она воспитывалась у Мамуна, который выучил ее разным наукам и каббалистическим выражениям.

После кончины Мамуна сын его стал владельцем замка Узед; с ним-то мы и уговорились обо всех подробностях того, как принять тебя; мы надеялись, что ты перейдешь в магометанскую веру или, по крайней мере, что ты станешь отцом, и в этом последнем смысле наши надежды исполнились.

Детей, которых кузины твои носят под сердцем своим, все будут считать происходящими от чистой крови Гомелесов. Ты должен был прибыть в Испанию. Дон Энрике де Са, правитель Кадиса, является одним из посвященных в тайну, и это он рекомендовал и даже навязал тебе Лопеса и Москито, которые покинули тебя близ источника Алькорнокес. Несмотря на это, ты отважно проследовал дальше, вплоть до Вента

Кемада, где застал своих кузин; но, усыпленный с помощью сонного питья, наутро пробудился под виселицей братьев Зото. Оттуда ты прибыл в мою отшельническую обитель, где нашел ужасного бесноватого Пачеко, который на самом деле всего только прыгун-бискаец. Несчастный выбил себе глаз, совершая опасный прыжок и, будучи калекой, прибег к нашему милосердию. Я полагал, что печальная его история произведет на тебя известное впечатление и что ты выдашь тайну, доверенную тебе под присягой твоими кузинами; но ты верно сдержал свое слово чести. На следующий день мы подвергли тебя гораздо более ужасному испытанию: лже-инквизиции, угрожая тебе страшнейшими пытками, но не смогли, однако, поколебать твою отвагу.

Мы стремились ближе познакомиться с тобой и отправили тебя в замок Узеды. Там с садовой террасы тебе показалось, что ты узнал твоих двух кузин. Это и в самом деле были они. Однако, войдя в шатер цыгана, ты увидел только его дочерей, с которыми, будь уверен, ты ничего общего не имел.

Мы вынуждены были довольно долго удерживать тебя среди нас и опасались, чтобы ты не заскучал. Поэтому мы и изобретали для тебя всяческие развлечения, и так, например, Узед, воспользовавшись семейными рукописями, выучил одного старика, из числа подвластных мне, истории Вечного Странника Агасфера, которую тот тебе верно пересказал. На этот раз удовольствие сочеталось с поучением.

Теперь ты знаешь уже всю тайну нашей подземной жизни, которая, конечно, недолго уже будет продолжаться. Вскоре ты услышишь, что землетрясения разрушили эти горы; в этих целях мы приготовили огромные запасы взрывчатых веществ, но это будет уже последним нашим бегством.

Иди же теперь, Альфонс, туда, куда тебя призывает свет. Ты получил от нас вексель на неограниченную сумму, неограниченную — во всяком случае — в сравнении с желаниями, которые мы в тебе усмотрели; помни, что вскоре уже подземелье исчезнет совершенно; подумай поэтому о том, чтобы обеспечить себе независимую судьбу. Братья Моро дадут тебе к этому средства.

Еще раз прощаюсь с тобой; обними своих жен. Лестница в две тысячи ступеней приведет тебя к развалинам Кассар-Гомелеса, где ты найдешь проводников, которые будут сопровождать тебя до Мадрида.

Прощай, прощай!

Я двинулся по винтовой лестнице и, едва завидя солнечный свет, сразу же заметил своих слуг — Лопеса и Москито, которые некогда бросили меня у источника Алькорнокес. Оба с радостью поцеловали мне руки и проводили к старой башне, где меня уже ожидал ужин и удобная постель.

На следующий день, не задерживаясь, мы двинулись в дальнейший путь. Вечером прибыли в венту в Карденас, где я застал Веласкеса, погруженного в какую-то ученую проблему, напоминающую квадратуру круга. Знатный математик сперва не мог узнать меня, и мне пришлось постепенно напоминать ему всяческие случаи, происшедшие во время его пребывания в Альпухаре. Тогда он обнял меня, изливая душу в выражениях радости, которую он испытал от нашей встречи, но в то же время поведал мне о печали, в которую его повергла разлука с Лаурой Узеда, ибо так он называл Ревекку.

Эпilog



венедиктаго июня 1739 года я прибыл в Мадрид. На следующий день я получил от братьев Моро письмо с черной печатью, предвещающей мне какое-то горестное событие. И в самом деле, я узнал из этого послания, что отец мой скончался от апоплексического удара, матушка же, сдав в аренду наше поместье Ворден, удалилась в один из брюссельских монастырей, где желала мирно существовать на свою пожизненную ренту.

День спустя, сам Моро пришел ко мне, рекомендуя как можно тщательней соблюдать тайну.

— Пока ты, сеньор, — сказал он, — знаешь только некоторую часть наших тайн, но вскоре ты узнаешь обо всем. В настоящую минуту все посвященные в тайну занимаются размещением своих денежных средств в различных странах, и если бы кто-нибудь из них по каким-либо несчастным обстоятельствам утратил деньги, тогда все прочие тотчас же пришли бы ему на помощь. У тебя, сеньор, был дядя — брат твоего отца — в Индиях; он умер, не оставив тебе почти никакого наследства. Я распустил слух, что ты унаследовал значительное состояние, дабы никто не поражался твоему внезапному обогащению. Нужно будет приобрести имения в Брабанте, в Испании и даже в Америке; разреши мне заняться этим. Что касается тебя самого, сеньор, то я знаю твою отвагу и не сомневаюсь, что ты взойдешь на корабль «Святой Захарий», отплывающий с припасами в Картахену, которой угрожает адмирал Вернон¹. Британский кабинет отнюдь не жаждет войны², лишь общественное мнение усиленно его к ней склоняет. Мир, однако, близок, и если ты упустишь этот случай присмотреться к войне, то, конечно, второй такой возможности так легко не найдешь.

Намерения, изложенные мне банкиром Моро, были уже с давних пор согласованы с моими покровителями. Я сел на корабль со своей ротой, которая входила в состав батальона, набранного из разных полков. Плаванье наше прошло благополучно; мы прибыли в самое время и заперлись в крепости с мужественным Эславой³. Англичане сняли осаду, и в 1740 году, в марте месяце, я вернулся в Мадрид.

Неся однажды караул при дворе, я заметил среди свиты королевы молодую женщину, в которой тотчас же узнал Ревекку. Мне сказали, что это некая принцесса из Туниса, которая, чтобы перейти в нашу веру, бежала из своего отечества. Король был ее крестным и пожаловал ей титул принцессы Альлухары, после чего герцог Веласкес попросил ее руки. Ре-

векка заметила, что мне рассказывают о ней, и взглянула на меня умоляюще, как бы прося, чтобы я сохранил тайну.

Засим двор перенес свое местопребывание в Сан-Ильдефонсо⁴, я же с моей ротой стал на квартиры в Толедо.

Я снял дом в узком переулке, неподалеку от рынка. Напротив меня жили две женщины, у каждой из них был ребенок, мужа же их, как все считали — офицеры флота, находились тогда в море. Женщины эти жили в совершеннейшем уединении и, казалось, занимались только своими детьми, которые и впрямь были прекрасны, как ангелочки. Целый день обе матери только и делали, что баюкали их, купали, одевали и кормили. Трогательное зрелище материнской привязанности настолько покорило меня, что я не в силах был оторваться от окна. Впрочем, мною руководило еще и любопытство: мне так хотелось рассмотреть лица моих соседок, но они всегда тщательно их закутывали. Так прошло две недели. Комната, окна которой выходили на улицу, принадлежала детям, и женщины в ней не ели, впрочем, однажды вечером я заметил, что в ней накрывают стол и как бы готовятся к некоему торжеству.

У самого конца стола поставили высокий стул, украшенный венком из цветов; так было обозначено место короля этого праздника; по обеим сторонам сего престола поставили высокие стульчики, на которые посадили детей. Затем пришли мои соседки и жестами начали просить меня, чтобы я их посетил. Я колебался, не зная как быть, но вдруг они откинули покрывала, и я узнал Эмину и Зибельду. Я провел с ними полгода.

А между тем прагматическая санкция и споры о наследстве Карла VI⁵ зажгли в Европе пожар войны, в которой и Испания вскоре приняла весьма деятельное участие. Я оставил моих кузин и был прикомандирован в качестве адъютанта к инфанту дону Филиппу⁶. Всю войну я оставался при этом принце, а когда был заключен мир, мне было присвоено звание полковника.

Мы находились в Италии, уполномоченный дома братьев Моро прибыл в Парму для списания некоторых сумм и приведения в порядок финансовых дел этого герцогства. Однажды ночью человек этот пришел ко мне и таинственно объявил, что меня с нетерпением ждут в замке Узедо и что я должен тотчас же пуститься в путь. Сказав это, он рекомендовал мне одного из посвященных в тайну, с которым я должен был встретиться в Малаге.

Я попрощался с инфантом, сел на корабль в Ливорно и после десятидневного плаванья прибыл в Малагу. Вышеупомянутый человек, предупрежденный о моем прибытии, уже дожидался меня на пристани. В тот же день мы выехали и на завтра прибыли в замок Узеды.

Я застал там многочисленное общество: прежде всего — шейха, дочь его Ревекку, Веласкеса, каббалиста, цыгана с двумя дочерьми и зятьями, троих братьев Зото, мнимого бесноватого и, наконец, десятка полтора ма-

гометан из трех родов, посвященных в тайну. Шейх объявил, что так как мы все в сборе, мы тотчас же отправимся в подземелье.

И в самом деле, как только наступила ночь, мы пустились в путь и прибыли к месту назначения на рассвете. Сошли в подземелье и в течение известного времени отдыхали. Затем шейх собрал нас всех и с такими словами обратился к нам, повторяя то же самое по-арабски для магометан:

— Золотые копи, которые на протяжении примерно тысячи лет составляли, так сказать, достояние и состояние нашего семейства, казались неисчерпаемыми. Убежденные в этом, предки наши решили употребить добытое в них золото на распространение ислама, в частности исповедания Али. Они были только хранителями этого сокровища, сбережение коего стоило им стольких трудов и стараний. Я сам испытал в своей жизни тысячи ужаснейших беспокойств. Стремясь раз и навсегда избавиться от страха, который с каждым днем казался мне все более нестерпимым, я захотел убедиться, являются ли копи действительно неисчерпаемыми. Я пробуравил скалу в нескольких местах и обнаружил, что золотая жила со всех сторон уже иссякает. Сеньор Моро изволил заняться подсчетом оставшихся нам богатств и доли их, приходящейся на каждого из нас. По его расчетам оказалось, что каждый из главных наследников получит миллион цехинов, сонаследники же — по пятьдесят тысяч. Все золото из копи добыто и сложено в пещере, далеко отстоящей от сих мест. Сперва я провожу вас в копи, где вы убедитесь в правдивости моих слов, после этого каждый приступит к принятию своей части.

Мы спустились по винтовой лестнице, пришли к надгробью, оттуда же в копи, которую и в самом деле нашли выработанной полностью. Шейх торопил нас возвращаться как можно скорей. Оказавшись наверху, мы услышали ужасный грохот. Шейх возвестил нам, что взрывчатые вещества подняли в воздух всю ту часть подземелья, из которой мы только что вышли. Затем мы отправились в пещеру, где было сложено остальное золото. Африканцы взяли свои доли, Моро же взял мою и почти всех европейцев.

Я возвратился в Мадрид и был представлен королю, который принял меня с несказанной добротой. Я приобрел большие поместья в Кастилии, получил титул графа де Пенья Флорида и занял свое место среди первейших кастильских *titulados*. При моих богатствах заслуги мои также приобрели большую ценность. На тридцать шестом году жизни я стал генералом.

В 1760 году мне было доверено командование эскадрой, с поручением заключить мир с берберийскими государствами. Я поплыл сперва в Тунис, надеясь, что встречу там меньше всего трудностей и что пример этого государства увлечет за собою другие. Я бросил якорь у пристани близ города и выслал офицера с уведомлением о моем прибытии. Об этом в городе уже знали, и всю бухту Голетта усеяли нарядные лодки, которые должны были доставить меня вместе с моей свитой в Тунис.

На следующий день меня представили дею. Это был двадцатилетний юноша прекрасной и величавой наружности. Меня приняли со всяческими почестями, и я получил приглашение на вечер в замок, называемый Мануба. Меня проводили в уединенную беседку в саду и заперли двери на ключ. Отворились потайные дверцы. Дей вошел, преклонил колени и поцеловал мне руку.

Скрипнули другие дверцы, и я увидел трех женщин с закрытыми лицами. Они отбросили покрывала; я узнал Эмину и Зибельду. Эта последняя вела за руку юную девушку, мою дочь. Эмина была матерью молодого дея. Я не стану описывать, до какой степени простиралось во мне чувство отеческой привязанности. Радость мою омрачала только мысль, что дети мои исповедуют веру, неприязненную моей. Я высказал это свое горестное чувство.

Дей признался мне, что сильно привязан к своей религии, но что сестра его, Фатима, воспитанная невольницей-испанкой, в глубине души — христианка. Мы решили, что дочь моя переселится в Испанию, примет там крещение и станет моей наследницей.

Все это совершилось в продолжении года. Король сообразовал быть крестным Фатимы и пожаловал ей титул принцессы Орана. В следующем году она вышла замуж за старшего сына Веласкеса и Ревекки, который был моложе ее дзумя годами.

Я обеспечил ей все мое состояние, доказав, что у меня нет близких родственников с отцовской стороны и что юная мавританка, которая мне сродни через Гомелесов, является единственной моей наследницей. Еще молодой и в расцвете сил, я подумывал, однако, о месте, которое бы позволило мне вкушать сладость отдохновения. Место губернатора Сарагосы было свободно, я просил и получил его.

Возблагодарив его королевское величество и попрощавшись с ним, я отправился к братьям Моро, прося вернуть мне запечатанный свиток, который четверть века назад я передал им на хранение. То был дневник шестидесяти шести начальных дней моего пребывания в Испании.

Я собственноручно переписал этот дневник и положил в железную шкатулку, где его когда-нибудь обнаружат мои наследники.

ПРИЛОЖЕНИЯ

И. Ф. БЭЛЗА

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ

1

В известном отрывке, относящемся к последним месяцам жизни Пушкина, появляется герой «Рукописи, найденной в Сарагосе» Яна Потоцкого:

Альфонс садится на коня;
Ему хозяин держит стремя.
«Сеньор, послушайте меня:
Пускаться в путь теперь не время,
В горах опасно, ночь близка,
Другая вента далека.
Останьтесь здесь: готов вам ужин;
В камине разложен огонь;
Постеля есть — покой вам нужен,
А к стойлу тянется ваш конь».
— «Мне путешествие привычно
И днем и ночью — был бы путь, —
Тот отвечает, — неприлично
Бояться мне чего-нибудь.
Я дворянин, — ни черт, ни воры
Не могут удержать меня,
Когда спешу на службу я».
И дон Альфонс коню дал шпоры
И едет рысью. Перед ним
Одна идет дорога в горы
Ущельем тесным и глухим.
Вот выезжает он в долину;
Какую ж видит он картину?
Кругом пустыня, дичь и голь,
А в стороне торчит глаголь,
И на глаголе том два тела
Висят. Закаркав, отлетела
Ватага черная ворон,
Лишь только к ним подъехал он.
То были трупы двух гитанов,
Двух славных братьев-атаманов,
Давно повешенных и там
Оставленных в пример ворам.
Дождями небо их мочило,

А солнце знойное сушило,
 Пустынный ветер их качал,
 Клевать их ворон прилетал.
 И шла молва в простом народе,
 Что, обрываясь по ночам,
 Они до утра на свободе
 Гуляли, мстя своим врагам.

Альфонсов конь всхрапел и боком
 Прошел их мимо, и потом
 Понесся резво, легким скоком,
 С своим бесстрашным седоком.

В комментарии к данному стихотворению говорится: «Начало незавершенного замысла. Некоторые детали сближают данное стихотворение с эпизодами из французского романа Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагоссе»...¹

Возникает, однако, вопрос, действительно ли можно говорить о «незавершенном замысле», т. е., действительно ли думал Пушкин о поэтической «транскрипции» произведения Потоцкого, немислимо трудной из-за композиционной сложности «Рукописи». Не будет ли правильнее предположить, что здесь, так же, как и в «отрывке» «Сто лет минуло, как тевтон», обычно квалифицируемом как начало перевода «Конрада Валленрода»², Пушкин наметил принципиально новый жанр краткого поэтического отображения крупного многообразного произведения? Примером плодотворного развития этого жанра может служить едва ли не лучшее стихотворение Т. Г. Шевченко «З передсвіта до вечора», которое вряд ли можно рассматривать как поэтический перевод отрывка из «Слова о полку Игореве», тем более, что в «Слове» адекватного отрывка нет, так же точно, как нет в «Рукописи, найденной в Сарагоссе» места, соответствующего пушкинскому стихотворению «Альфонс садится на коня».

Пушкин знал не только роман Потоцкого, но и его научные труды, на один из которых он ссылается, в частности, в своем «Путешествии в Арзрум», где говорится: «По свидетельству Плиния, Кавказские ворота, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелье замкнуто было настоящими воротами деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, течет река Дириодонис. Тут была воздвигнута и крепость для отражения набегов диких племен; и проч. Смотрите путешествие графа

¹ А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, том третий. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949, стр. 524.

² Такая трактовка «отрывка» восходит, как известно, к прижизненной публикации 1829 г.



ЯН ПОТОЦКИЙ

Портрет работы неизвестного художника

И. Потоцкого, коего ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы»³.

Как отмечают комментаторы Пушкина⁴, в данном случае он имел в виду посмертно изданную в 1829 г. на французском языке книгу Яна Потоцкого «Путешествие в степях Астрахани и Кавказа». Не лишено интереса также и то обстоятельство, что в свое время Потоцкий посвятил целую книгу секте езидов, так заинтересовавшей Пушкина, что он приложил к «Путешествию в Арзрум» заметку о ней, написанную итальянским миссионером падре Маурицио Гарзони и включенную во французском переводе в книгу Ж. Ж. Руссо «Описание Багдадского пашалыка» (1809). Это лишний раз свидетельствует о разносторонности интересов Пушкина, внимание которого привлекла и незаурядная личность Яна Потоцкого, читателем которого, как известно, был и П. А. Вяземский.

2

Свыше ста лет тому назад славившийся тогда польский историк и публицист Михал Балиньский (1794—1864) писал в своем очерке, вошедшем в собрание его сочинений: «В первом ряду ученых людей восемнадцатого века в Европе в качестве историка находится вне всякого сомнения граф Ян Потоцкий. Его многочисленные труды, посвященные путешествиям и историческим исследованиям, отмечены чертами тщательной добросовестности как в путевых записях, так и в исторических разысканиях, а, помимо этого — совершенной неутомимости в труде»⁵.

Но, несмотря на то, уже в 20-е годы прошлого столетия ученые труды Потоцкого переиздавались в разных странах⁶, они вскоре были почти со-

³ «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VI, стр. 652. Далее будет пояснено, почему Пушкин пишет об «испанских романах» Потоцкого во множественном числе. Примечательно, что, описывая быт и нравы людей, с которыми поэт встречался во время путешествия, он, так же, как Потоцкий, обращал особенное внимание на их религиозные верования (к пушкинскому «Путешествию», как известно, приложена «Notice sur la secte des yésides» — «Заметка о секте езидов»).

⁴ Там же, стр. 652.

⁵ «Pisma historyczne Michała Balińskiego», t. III. Jan Potocki. Wedrownik, literat i dziejopis. Warszawa, 1843, str. 137.

⁶ Так, например, в 1823 г. в Петербурге вышло третье издание «Археологического Атласа Европейской России, сочиненного графом Иваном Потоцким». В 1829 г. французский историк-ориенталист Жюль Кляпрот, много сделавший для увековечения памяти Потоцкого (в 1824 г. он опубликовал описание архипелага Потоцкого, а за год до этого посвятил его памяти описание путешествия на Кавказ, в частности, в Грузию), переиздал в Париже со своими комментариями и картами «Voyage dans les Steps d'Astrakhan et du Caucase. Histoire primitive des peuples qui ont habité anciennement ces contrées. Nouveau Périphe du Pont-Euxin, par le Comte Jean Potocki» («Путешествие в Астраханские степи и на Кавказ. Первобытная история тамошних древних племен. Новый Перипл Понта Эвксинского, [сочиненный] графом Яном Потоцким»).

всем забыты, а имя этого поразительного человека начало выплывать из сумрака забвения только как имя автора «Рукописи, найденной в Сарагосе». Между тем личность и деятельность Потоцкого заслуживают самого пристального внимания как одного из самых выдающихся людей Века Просвещения в Польше и подлинного основоположника славистики.

Ян Потоцкий, родившийся 8 марта 1761 г. в Пикове под Винницей, был старшим сыном коронного⁷ кравчего графа Юзефа Потоцкого и его жены Терезы Оссолинской. Вместе со своим младшим братом Северином Ян Потоцкий провел годы юности в Женеве и Лозанне. Именно в Швейцарии получил он разностороннее образование, благодаря чему привлек к себе внимание в польской столице и, подобно Огиньскому, рано выделился среди польской молодежи. Потоцкому не было еще и двадцати лет, когда он приехал в Варшаву из Вены, где учился в военно-инженерной академии. Станислав Август очень рано счел возможным доверять ему ответственные поручения политического характера. Вскоре юноша был награжден учрежденным королем орденом святого Станислава.

В эти варшавские годы, точнее в 1783 г. Ян Потоцкий женился на княжне Юлии Любомирской, дочери великого коронного маршала Станислава и, следовательно, племяннице упоминаемого в «Пане Тадеуше» князя Адама Казимежа Чарторьского, генерала земель подольских, писателя, вошедшего в историю польского Века Просвещения и, last not least, масона, а также политического деятеля, своеобразными вехами весьма сложной карьеры которого были полученный в юности орден Андрея Первозванного, а на склоне лет — звание фельдмаршала Австрийской империи.

Адам Казимеж Чарторьский, который одно время был претендентом на польский престол, часто упоминается в истории польской культуры как arbiter elegantiarum, уделявший особое внимание театру. Недаром «отец польского театра» Войцех Богуславский, говоря об Адаме Чарторьском, как о «неоценимом для национальной сцены счастье, покровителе всех тогдашних ученых, знатоке всех наук», называет период наиболее тесного сотрудничества князя Адама с театром «золотым веком отечественной сцены»⁸. Многие высказывания Адама Чарторьского, содержащиеся, на-

⁷ Напомним, что Речь Посполитая делилась на земли Короны (т. е. принадлежавшие собственно Польше) и Литвы. Наименования подавляющего большинства придворных должностей, разделенные в Короне и Литве, превратились постепенно в придворную титулатуру, не связанную с выполнением функций, предусмотренных названиями данных должностей, и Юзефу Потоцкому не приходилось «рушить жаркое и пироги» во время королевской трапезы. Он принадлежал к той части магнатской фамилии Потоцких, многие представители которой вошли в историю Польши. Эта ветвь имела герб Пилава (причудливый семиконечный крест). Другие ветви фамилии пользовались иным гербом.

⁸ W. Bogusławski. Dzieje teatru narodowego. Przemyśl, 1884, str. 15. О популярности пьес Чарторьского свидетельствует хотя бы тот факт, что в сезоне 1775—1776 на варшавской сцене 13 раз шли пьесы Францишка Богомольца и 27 раз — пьесы Чарторьского. См. Zofia Zahrałówna. Wstęp. В кн.: Adam Kazimierz Czartoryski.

пример, в его «Письмах Досвядчиньского», которые содержат резкие выпады против «польских парижан», явно перекликаются с «Приключениями Миколая Досвядчиньского» величайшего представителя Века Просвещения в Польше — Игнация Красицкого.

Трудно сказать, разумеется, как протекал процесс приобщения Яна Потоцкого к идеям польских просветителей. Нет сомнения, однако, что идеи эти оказали на него сильнейшее воздействие. Читая «Рукопись, найденную в Сарагосе», мы не раз вспоминаем свободомысле, которым отличался будущий архиепископ гнезненский (на этот высокий пост Красицкий был назначен в 1795 г.) и, вместе с тем, автор «Декана из Бадахоса» — беспримерного в истории польской литературы образца «кошунственной» насмешки над высшим духовенством. Но для польских просветителей характерны были стремления не только обличительные, но и познавательные.

3

С юных лет Ян Потоцкий стал поклонником «музы дальних странствий». Но путешествия свои он предпринимал не для развлечения (в чем упрекал «польских парижан» Чарторьский), а для широко задуманных исторических, географических и этнографических исследований и обобщений. Разнообразнейшие познания, приобретенные Яном Потоцким в те годы, когда «знал он муки голода и жажды, сон тяжелый, бесконечный путь», отразились в «Рукописи, найденной в Сарагосе».

Получив первоначальное образование, достаточно, правда, широкое, в Лозанне и Женеве, юноша поступил в ряды армии Священной римской империи. Еще состоя на военной службе, он побывал в Италии, Сицилии и на Мальте, откуда направился в Тунис, образы которого впоследствии столь причудливо преломились в «Рукописи» через четверть века после этого первого большого путешествия Потоцкого. Ко времени этого путешествия относятся и первые контакты автора «Рукописи» с орденом мальтийских рыцарей, не раз упоминаемым на страницах романа. Нужно сказать, что многие представители семьи Потоцких облачались в орденский черный плащ с восьмиконечным белым крестом. Век Просвещения характеризуется вообще расширением связей польских патриотов с орденом, масонскими и другими организациями, хотя связи эти не всегда были глубокими. Очень сомнительно, например, что Станислав Август, протектор польского «Великого Востока» и его приближенные (в том числе Чарторьский и Немцевич) достаточно хорошо ориентировались (в отличие, скажем, от Эльснера, учителя Шопена) в политике руководителей

Komedie Warszawa, 1955, str. 34. См. также Karyna Wierzbicka. Źródła do historii teatru Warszawskiego od roku 1762 do roku 1833, cz. II. Wrocław, 1955, str. 174, 175, 178.

польского масонства, продолжавшего, несомненно, существовать и после указа Александра I о закрытии русских и польских масонских лож.

Ничего определенного о связях Яна Потоцкого, как, впрочем, и многих других лиц, с орденом мальтийских рыцарей мы не знаем. Напомним, однако, что судьбы этого ордена отличались сложностью. Первоначально (т. е. уже в XI веке) это был духовный рыцарский орден иоаннитов, названный так, ибо патроном ордена был провозглашен Иоанн Креститель. История этого древнейшего ордена, организационная структура которого была установлена возглавившим его в 1118 г. провансальским рыцарем Раймундом дю Пюи, привлекала особенное внимание Яна Потоцкого, который знал о постепенном преобразовании ордена госпитальеров, в свое время опекавших пилигримов, направлявшихся в Святую землю, о соперничестве его с орденом тамплиеров и о трагических событиях, подорвавших мощь обоих орденов на рубеже XIII и XIV столетий, т. е. о битве под Триполисом (в Сирии) в 1289 г., в которой погиб цвет иоаннитского рыцарства, и о варварской расправе над тамплиерами, учиненной в 1307—1314 гг. Фальшивомонетчиком (под этой кличкой был известен король Франции Филипп IV) и папой Климентом V, навеки заклеяменными в «Божественной Комедии».

В 1530—1798 гг. иоанниты, ранее находившиеся на Кипре, а вскоре после начала процесса тамплиеров перебравшиеся на о. Родос, владели Мальтой и с тех пор называются мальтийскими рыцарями. В XVIII веке связи ордена с Польшей особенно укрепились. Характер этих связей не может считаться окончательно выясненным, однако император Павел I, став протектором, а затем и великим магистром «державного ордена», видимо, возлагал надежды на то, что именно орден может сыграть большую роль в инкорпорации Польши в Российскую империю и поэтому содействовал учреждению в Польше великого приорства ордена, предложив племяннику последнего польского короля, князю Станиславу Понятовскому, пост великого приора ордена⁹. Известно также, что князь Август Сулковский (предок легендарного адъютанта Наполеона и, возможно, побочный сын Августа II) был великим комтуром и наследственным командором ордена мальтийских рыцарей. Серьезного внимания заслуживает таинственная поездка Михала Клеофаса Огиньского на Мальту в 1796 г. (т. е. до захвата ее англичанами) по пути в Константинополь, где, как известно, он был на протяжении некоторого времени представителем польской эмиграции.

Итак, едва ли можно было уже говорить о «борьбе с неверными», предписанной уставом Раймунда дю Пюи. Вернее всего предположить, что ве-

⁹ Marian Brandys. Nieznany książę Poniatowski. Warszawa, 1960, str. 198—199; Bogusław Leśnodorski. Książę Rzeczypospolitej. — «Nowa Kultura» 12.III.1961. Речь идет об основателе поныне существующего рода князей Понятовских ди Монте Ротондо.

ликий (генеральный) капитул ордена, так же, как в свое время руководители ордена тамплиеров, ставил перед собой задачи мировоззренческого характера, отличавшиеся от тех официальных деклараций, которые стали всеобщим достоянием с 1834 г., когда великий магистр мальтийского ордена обосновался в Риме и начал пользоваться всеми правами главы суверенного государства¹⁰, опираясь, вместе с тем, на традиции ордена, основанного в Иерусалиме в 1048 г. Посвящение Яна Потоцкого в рыцари мальтийского ордена, несомненно, должно привести к предположению, что деятельность этого благородного и высокообразованного человека в той или иной мере была связана с философско-этическими концепциями, созревшими в ордене, но не оглашавшимися великим капитулом.

Говоря об этих концепциях, нельзя не отметить, что творчество Яна Потоцкого, в той или иной мере знакомого с ними, вместе с тем было теснейшим образом связано с идеями польского Века Просвещения, который, как не раз уже подчеркивалось, так много почерпнул из трудов французских просветителей. Трудно оспаривать наличие польско-французских идейно-эстетических контактов, установившихся уже в середине XVIII века, — тогда, когда юный Красицкий был еще «*non tonsuratus*». Но изучение этих контактов показывает, что на развитие философско-этической мысли Запада (в частности, на Спинозу) огромное влияние имели воззрения польских мыслителей, известных под именем «польских ариан» или «польских братьев». Их труды, изданные в Амстердаме в 1656 г. («*Biblioteca Fratrum polonorum*»), сыграли немаловажную роль в развитии интеллектуальной жизни Запада, в той или иной мере откликавшегося на выдвигавшиеся Шимоном Будным (1535?—1596), Марцином Чеховицем (1532—1613) и другими деятелями польского арианства¹¹ требования социальных и религиозных реформ. Левое крыло «польских ариан» выступало против папской власти и прокламировало социальные реформы, включая освобождение крестьян.

Ян Потоцкий полагал, что решение самых разнообразных проблем, волновавших его сильный и глубокий ум, может быть найдено лишь путем изучения знаний, накопленных во многих странах, по которым он скитался так много лет. Вскоре после возвращения из средиземноморского путешествия Потоцкий отправился в Турцию и Египет, а затем некоторое время пробыл в Голландии, переживавшей тогда один из самых трудных

¹⁰ Корона и все прочие регалии «державного ордена св. Иоанна Иерусалимского», врученные Павлу I, находились некоторое время в Петербурге.

¹¹ Через два года после амстердамской публикации, т. е. в 1658 г., сейм Речи Посполитой принял решение о высылке из страны всех лиц, причастных к арианскому движению, развивавшемуся на протяжении целого века («польских ариан» не следует смешивать с антиринитариями — отрицавшими на основании учения «еретика» Ария (ок. 270—336) божественность Троицы). «Польские ариане» уже были на пути к материалистическому мировоззрению.

периодов своей истории. В 1784—1788 гг. Потоцкий жил преимущественно в Париже, где встречался с многочисленными представителями науки, литературы и искусства. Именно в Париже он подготовил описание своего путешествия, опубликованное в Варшаве в 1788 г. на французском языке, а в следующем году вышедшее там же вторым изданием «в вольной типографии на бумаге отечественного производства» (w drukarni wolnej na krajowym papierze).

Это второе издание «Путешествия в Турцию и в Египет, совершенного в 1784 г.» («Voyage en Turquie et en Egipte, fait en l'année 1784» с дополнением «Путешествия в Голландию» — «Voyage en Hollande, fait pendant la révolution de 1787») Потоцкий напечатал уже в собственной типографии, оборудованной в октябре 1788 г. в его варшавской резиденции — дворце на улице Рымарской, неподалеку от дворца князей Огиньских. В 1789 г. вышел и польский перевод данного дополненного труда Потоцкого, сделанный тогда еще совсем молодым писателем и путешественником Юльяном Урсыном Немцевичем (1757—1841), впоследствии соратником и адъютантом Косцюшко. Вместе с Немцевичем Потоцкий был избран депутатом Четырехлетнего (так называемого Великого) Сейма, деятельность которого началась в 1788 г. Еще до этого избрания, в апреле того же года, Потоцкий опубликовал свой знаменитый мемориал «Ne res publica detrimenti cariat»¹², призывавший короля, сейм и общественность осознать угрозу, нависшую над страной, и немедленно начать строить укрепления вдоль польско-прусской границы. В дальнейшем Потоцкий так же, как Немцевич, требовал осуществления социальных реформ, раскрепощения крестьян, формирования народных боевых дружин и выдачи им оружия, (что, как известно, побоялись сделать даже руководители восстания 1830—1831 гг.).

В просуществовавшей до февраля 1791 г. типографии Потоцкого было напечатано свыше 200 публикаций. То были почти исключительно патриотические обращения к общественности, политические памфлеты и стихи, авторами которых были как сам Потоцкий, так и Красицкий, Немцевич и другие видные деятели польского Просвещения. Необходимо подчеркнуть, что именно после возвращения Потоцкого из Парижа его научная деятельность теснейшим образом сочеталась с политической, в области которой его стремления нельзя не связать с такими выдающимися памятниками польской общественно-политической мысли, как «Предостережения Польше» (1790) Станислава Сташица (1755—1826) и «Последнее предостережение Польше» (1790) Гуго Коллонтая (1750—1812). Беспokoйство все более и более овладевало польскими патриотами, тревожившимися

¹² Название этого мемориала было почерпнуто из традиционного наказа, дававшегося консулам Рима: «Videant consules, ne quid res publica detrimenti cariat» (Пусть заботятся консулы о том, чтобы республика не потерпела ущерба).

о судьбах Родины и предвидевшими приближение национальной катастрофы, разразившейся после восстания 1794 г. и подготовленной не только внешними врагами, но и той магнато-шляхетской верхушкой страны, которая усиливала феодальную анархию, постепенно расшатывавшую национальное единство Речи Посполитой.

Свершения французской революции привлекли внимание Потоцкого, и в начале 1791 г. он вновь направился в Париж, где пробыл почти целый год. По возвращении он вновь занялся политико-публицистической деятельностью, опубликовав избранные «Афоризмы о свободе», где подвел, в частности, итоги существования Четырехлетнего сейма и остановился на конституции 3 мая. Последующие события (недолговечная Тарговицкая конфедерация, которая по существу была антиконституционным заговором польских магнатов, поддержанных Екатериной II, присоединение к этому заговору Станислава-Августа, последовавшее за этим отречение его от престола и разделы Польши) принесли много трагических переживаний Потоцкому, увидевшему, как рушатся патристические чаяния польских просветителей, и решившему посвятить себя научным изысканиям во имя процветания польской нации.

4

Уже в «Путешествии в Турцию и Египет», написанном в эпистолярном жанре, определяется широкий круг интересов автора, беседующего с греками и турками, вспоминающего Вергилия (одиннадцатому письму предпослан эпитафия из второй песни «Энеиды»), Сафо, героев Троянской войны, влетающего в свои «Письма» сведения из истории стран Ближнего и Среднего Востока и небольшие новеллы, действие которых происходит в этих странах. Напомним, однако, что не только это «Путешествие», но и опубликованный во Флоренции в 1803 г. трактат о египетских династиях, основанный на второй книге Манефона (*Dynasties du second livre de Manethon*)¹³, писались Потоцким до великих открытий Шампольона, справедливо считающегося основоположником современной египтологии. Впрочем, в «Путешествии» (в отличие от «Династий») Потоцкий и не претендует на какую бы то ни было компетентность в области египтологии, над материалами которой он, кстати сказать, не раз задумывался, ставя

¹³ Вторая книга египетского первосвященника и историка Манефона (его имя, видимо, звучало Мер-не-Тхути, т. е. «возлюбленный Тотом»), жившего при фараоне Птолемеи I (ок. 360—283), посвящена истории XII—XIX династий, иначе говоря, — Среднего царства. На протяжении многих веков труд Манефона подвергался многочисленным искажениям и обработкам, появлялись также фальсификации, выдававшиеся за отрывки из этого труда. См.: В. В. Струве. Манефон и его время. — «Записки коллегии востоковедов», тт. III—IV.

вопрос об их подлинности. Появление «Династий» нельзя не поставить в связь с резко возросшим в XVIII в. интересом к истории и культуре Древнего Египта, — достаточно назвать хотя бы известные польским просветителям труды дом Бернара де Монфокона (de Montfaucon, 1655—1741) и немецкого ученого Пауля Эрнеста Яблонского (Яблоньского, 1693—1767), который, заметим попутно, был поляком по происхождению.

Интерес Потоцкого к Востоку, о чем свидетельствует, в частности, «Рукопись, найденная в Сарагосе», не ослабевал до конца его дней. Но если говорить о научных занятиях автора «Рукописи», то нетрудно заметить, что они сосредоточились преимущественно в области истории славянских народов. Если, например, в развитии египтологии «Династии» Потоцкого не сыграли сколько-нибудь значительной роли, то работы, посвященные славянским народам, имели настолько серьезное значение, что не будет преувеличением, как уже было сказано, назвать Потоцкого первым по времени славистом, подлинным зачинателем в той области науки, которая с течением времени получила название славяноведения. Недаром Пушкин, пристально следивший за мировым литературным процессом, вспоминал в своем «Путешествии в Арзрум» описание путешествия Потоцкого, «коего ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы».

Биографы Потоцкого не без основания отмечают, что обращению его к славянской тематике предшествовало появление «Истории польского народа» профессора иезуитской коллегии в Варшаве, епископа Адама Нарушевича (1733—1796). Этот труд, подводивший итоги исследованиям многих польских историков, не содержал, однако, почти никаких достоверных сведений о древнейшей истории Польши и других славянских стран. Между тем уже в ранних трудах Потоцкого достаточно отчетливо выдвигается концепция этнического единства славянских народов. Эта концепция, намеченная в книге «Recherches sur la Sarmatie» («Исследования о Сарматии»), которая вышла из печати в 1789 г., получила развитие в последующих трудах Потоцкого, включая «Fragments historiques et géographiques sur la Scythie, la Sarmatie et les Slaves» («Исторические и географические этюды о Скифии, Сарматии и славянах», 1796).

Воспитанный на Западе и даже не очень хорошо владевший польским языком, Потоцкий, тем не менее, стремился показать могущество, значение в судьбах человечества и самобытность славянских народов, миграцию которых он считал доказанной на основании собранного им обширнейшего материала, охватывавшего почти полторы тысячи лет древнейшей истории славянских, вернее праславянских, народов. Некоторые его взгляды близки к «паннонской» теории «прародины славян», пришедших с юга, по мнению Потоцкого, занимавшегося преимущественно в то время народами, заселявшими обширные пространства между Лабой и Днпром. Нельзя не отметить, однако, ошибок, допускаявшихся польским исследо-

вателем в результате не критического отношения к некоторым археологическим материалам, в частности, к полабским божкам, «открытым» в конце XVII в., но оказавшимся, как это выяснилось впоследствии, поддельными¹⁴. Тем не менее, труды Потоцкого, созданные в 80-х—90-х годах XVIII века, как отметил Пушкин, представляли значительный интерес и, более того, положили начало изучению доисторического прошлого славянских народов.

Вслед за этими трудами возникли исследования ученого, явившиеся результатом изучения доступной ему литературы и путешествий, предпринятых по России. Так, в 1797—1798 гг. Потоцкий совершил длившееся почти целый год путешествие в Астрахань и на Кавказ. При жизни автора описание этого путешествия, также предпринятого с целью изучения древнеславянских памятников, не было опубликовано. Лишь в 1827 г. упоминавшийся уже Жюль Кляпрот напечатал в одном из парижских журналов первые главы итинерария Потоцкого под названием «*Voyage à Astrakhan et dans les cantons voisins, en 1797*» («Путешествие в Астрахань и соседние области, [совершенное] в 1797 г.»), а в 1829 г. издал также в Париже полностью «*Voyage dans les steps à Astrakhan et du Caucase*» [«Путешествие в Астраханские степи и на Кавказ»], снабдив эту публикацию, открывающуюся авторским комментарием к хронике Дитера Мерзбургского¹⁵, не только комментариями, но и биографией Потоцкого.

Но неутомимый путешественник не завершил этим странствием своего жизненного пути. В 1802 г. появляется его «*Histoire primitive des peuples de la Russie*» («Начальная история народов России»), а в 1805 г. Потоцкий направляется на Дальний Восток в качестве научного руководителя дипломатической миссии графа Головкина. Мы не располагаем сведениями о том, вел ли Потоцкий и на этот раз дневник. Официальный рапорт он представил министру иностранных дел Российской империи князю Адаму Чарторыскому, которому он послал также с дороги несколько писем¹⁶.

¹⁴ Потоцкий сделал тщательно выполненные зарисовки шести божков, а также множества ножей, якобы применявшихся при жертвоприношениях, и других культовых принадлежностей (также поддельных). См.: Jan Potocki. Podróże. Zebrał i opracował Leszek Kukulski. Warszawa, 1959, str. 253. Книга «*Voyage dans quelques parties de la Basse-Saxe pour la recherche des antiquités slaves ou vendes*» («Путешествие в некоторые области Нижней Саксонии для исследования древностей славян, или вендов»), вышла из печати в Гамбурге в 1795 г. Путешествие было предпринято в 1794 г.

¹⁵ Во второй части своего труда Потоцкий приводит обширные отрывки «Славянской хроники» Гельмольда, доведенной, как известно, до 1171 г.

¹⁶ См.: В. Францев. Последнее ученое путешествие графа Яна Потоцкого 1805—1806. Прага, 1938. «*Mémoire sur l'expédition en Chine*» («Мемориал о поездке в Китай») опубликован как в работе Францева, так и в кн.: Władysław Kotwicz. Jan hrabia Potocki i jego podróże do Chin. [Wilno, 1935], а в сокращенном польском переводе в упоминавшейся уже кн.: Jan Potocki. Podróże.



РАЗВАЛИНЫ ВОСТОЧНОЙ ГРОБНИЦЫ

Рисунок Потоцкого

К этому времени Потоцкий был уже тайным советником Российской империи и кавалером ордена Владимира первой степени, звезда которого видна на портрете Потоцкого, приписываемом Гойе.

Независимо от того, как закончилась миссия графа Головкина, официальной целью которой было торжественное извещение манчжурского императорского дома о вступлении на трон Александра I, а неофициальной — расширение русско-китайских связей, Потоцкий решил вернуться из «Тартарии», как тогда называли Монголию, и 24 февраля обратился в Петербург с просьбой об освобождении его от обязанностей научного руководителя миссии.

Просьба эта рассматривалась в Петербурге почти два месяца, и, наконец, князь Чарторьский 1 мая 1806 г. уведомил Потоцкого о том, что ему разрешается вернуться. 14 мая Потоцкий писал Чарторьскому из Омска, что он решил побывать в Оренбурге, Симбирске («чтобы посмотреть на слияние Волги и Камы, ибо это, как будто, прекрасное зрелище») и Владими́ре, а там дожидаться соответствующих официальных распоряжений.

Итак, в Петербург Потоцкий вернулся, «пространством и временем полный». Достойна внимания его универсальность и стремление объединить древнюю историю с новой. В «Путешествии в Астраханские степи и на Кавказ» имеется, например, датированная 12 октября (ст. ст. 1797 г.) запись о том, что Потоцкий «начал чертить большую карту Сибири, объясняющую четвертую книгу Геродота»¹⁷. Примечательна первая запись (15 мая того же года), в этом «Путешествии», гласящая: «Расскажу обо всем, что придется мне увидеть; иногда добавлю замечания, которые, как я надеюсь, заинтересуют даже знатоков, так как не будут случайными: я буду писать их в убеждении, что каждая правда о человеке или природе настолько важна, что для ее углубления нужно охотно отказаться от отдыха или развлечения»¹⁸.

Нельзя не заметить, что «еретические» слова «правды о человеке или природе» прямо перекликаются с мятежными мыслями, противопоставлявшимися уже в средние века «откровению», содержащемуся в книгах Ветхого и Нового заветов. Было бы большой натяжкой, разумеется, говорить о прямом противопоставлении. Однако установившаяся с юных лет связь Яна Потоцкого с иоаннитами не прерывалась.

Видимо, многие историки, писавшие о «масонстве» в общих чертах, не имели о нем никакого понятия, а в лучшем случае ориентировались на «официальные» нормы тайных обществ и орденов, поневоле игнорируя истинные, всегда глубоко завуалированные формы деятельности великих (или генеральных) капитулов. До сих пор мы не располагаем достоверными сведениями о «тайном учении» тамплиеров, а распространенные сведения о Павле как великом магистре мальтийского ордена св. Иоанна Иерусалимского носят шутовской характер (достаточно вспомнить книгу Н. К. Шильдера), хотя капитул, видимо, имел достаточно серьезные основания, чтобы, вручая меч и корону ордена «графу Северному», преступить требования celibата и верности догматам и обрядной уставности римско-католической церкви.

Необходимо подчеркнуть различие между многотысячной массой членов духовно-рыцарских (да, собственно, и монашеских) орденов и лицами, стоявшими на высших ступенях их иерархии и являвшимися истинными хранителями тайных догм, отразившихся, как справедливо указывают историки, и в учении «польских ариан». Не представляется необходимым делать здесь отступление в эту сторону. Однако нельзя забывать о компетентности Яна Потоцкого во многих областях, ибо в противном случае крайне трудно будет понять шифр «Рукописи, найденной в Сарагосе» — произведения уникального не только в польской, но и в мировой литературе.

¹⁷ Jan Potocki. Podróże, str. 340.

¹⁸ Там же, стр. 273.

5

Прежде чем обращаться непосредственно к «Рукописи», следует выяснить вопрос, имел ли Потоцкий творческие навыки в области художественной литературы. Ответ на этот вопрос дают уже «восточные рассказы», содержащиеся (начиная с седьмого письма) в раннем описании «Путешествия в Турцию и Египет», созданном Потоцким еще в юношеском возрасте. Некоторые характерные черты этих рассказов уже как бы предвосхищают отдельные эпизоды «Рукописи» (достаточно вспомнить рассказ «Абдул и Зейла», содержащийся в восьмом письме). В 1792 г. Потоцкий написал шесть маленьких пьес, по жанру приближающихся к *commedia dell'arte*. Особой художественной ценности они не представляют, а поэтому долгое время находились в забвении после того, как Потоцкий напечатал их в своей варшавской типографии в 1793 г.¹⁹ Только в 1967 г. в ланьцуцком замке, когда-то бывшем резиденцией князей Любомирских, родителей первой жены Яна Потоцкого, состоялась польская премьера (!) написанной им вскоре после «Парадов» «Комедии с ариетками в 2 актах», называемой также «Цыганами из Андалузии». Либретто этой «Комедии с ариетками» в стихах написал сам Ян Потоцкий. Итак, литературные навыки в самых разнообразных жанрах были приобретены Потоцким еще до того, как он обратился к работе над «Рукописью». Кроме того не лишне напомнить, что к началу XIX века Ян Потоцкий был одним из крупнейших и разносторонних ориенталистов мира.

Было бы, однако, ошибочным думать, что «Рукопись» создавалась в качестве свода познаний, — пусть даже в беллетризованном виде — приобретенных автором во время своих длительных путешествий и ученых занятий.

Остановимся прежде всего на истории памятника. В конце 1804 г., еще до того, как отправиться в свое последнее далекое путешествие, Потоцкий уже получил из своей петербургской типографии сто экземпляров «Рукописи, найденной в Сарагосе», однако без титульного листа, замененного надписью над текстом: «Manuscrit trouvé à Saragosse»²⁰.

Тщательно изучивший сложную историю издания «Рукописи» польский исследователь Лешек Кукульский утверждает, что печатание петер-

¹⁹ Собрание этих пьес («Parady») в польском переводе Юзефа Моджевского и с содержательной вступительной статьей Лешка Кукульского было издано в Варшаве в 1966 г.

²⁰ Михал Балиньский пишет, что в Петербурге хранилось несколько рукописных копий произведения Потоцкого. «Одна из них была даже послана в Париж, должна быть напечатана, но попала в руки некоторых лиц, которые должны были ее просмотреть, прежде чем она пошла бы в печать. Петербургское издание содержало только начало «Рукописи», а именно дни 1—13.» (Michał Baliński. Pisma historyczne. Warszawa, 1843, tom III, str. 199).

бургского издания второго тома «Рукописи» автор, отправляясь в путь, прервал на 48 странице. Первый том этого издания был переведен с печатного текста или с рукописи на немецкий язык Фридрихом Аделунгом (бывшим директором немецкого театра в Петербурге) и издан в Лейпциге в 1809 или 1810 г. под названием «Abentheuer in der Sierra Morena. Aus den Papieren des Grafen von + + +. I Band». («Приключения в Сьерра-Морене. Из бумаг графа фон + + +. том I).

Когда зародился замысел «Рукописи» и даже когда Потоцкий начал работу над нею, в настоящее время установить не возможно. Можно предполагать, что в 1803 г. были созданы первые «дни» произведения, писавшиеся, по всей вероятности, в Италии, где Потоцкий провел несколько месяцев, начиная с 1803 г. и кончая весной 1804 г. Несмотря на то, что, как уже было сказано, научные интересы Потоцкого в то время сосредоточились преимущественно в области славистики, Древний (или применяя термин Б. А. Тураева, классический) Восток не переставал привлекать внимание польского исследователя, доказательством чему служат хотя бы его работы, вскоре появившиеся в Петербурге²¹, где он был в 1806 году избран почетным членом Академии Наук.

О связях Потоцкого с русским масонством мы почти ничего не знаем, хотя в биографии автора «Рукописи» иногда мелькают имена членов различных лож вплоть до Великого мастера ложи Палестины графа Михала (Михаила Юрьевича) Вельгорского, друга Пушкина. Еще более частыми были встречи Потоцкого с членами польских масонских лож и мальтийского ордена. Но, несмотря на то, что Потоцкий был принят в варшавское «Общество друзей науки», многие члены которого были связаны с различными масонскими организациями, «Общество» вынесло категорическое решение о том, чтобы новому изданию «Истории польского народа» Нарушевича не были предпосланы изыскания Потоцкого о древнейшем периоде этой истории. Такое решение означало, что значение Потоцкого как первого слависта не было признано его соотечественниками, — во всяком случае, теми, кто представлял польскую науку в названном «Обществе».

Решение «Общества» было, несомненно, ударом для Потоцкого, который в последней четверти XVIII в. и в начале XIX в. переживал мучительные колебания, связанные отчасти с появлением «Гения христианства» Шатобриана в конце 1802 г. Августинианское «Credo, quia absurdum» было чуждо польскому Веку Просвещения, одним из блистательнейших представителей которого был Ян Потоцкий. Но Шатобриан и его многочисленные последователи отрицали рационалистические концепции Просве-

²¹ «Chronologie des deux premiers livres de Manethon», par le Comte Jean Potocki. St. Petersburg, 1805. «Examen critique du Fragment Egyptien connu sous le nom d'ancienne chronique», par le Comte Jean Potocki. St. Petersburg, 1808.

щения и возрождали религиозную мистику, отбрасывая человеческую мысль чуть ли не к Средневековью. Потоцкий очень хорошо понимал, что прямое выступление против католической реакции было немислимо в те времена, когда на Западе заключался конкордат, а на Востоке «дней александровых прекрасное начало» постепенно приобретало все более и более отчетливо выражавшуюся мистическую окраску.

Второй том «Рукописи» так и не был напечатан в Петербурге. По возможности, Потоцкий продолжал свою деятельность как историк. Но отдельные части «Рукописи» все же появились при его жизни. В 1813 г. в Париже были изданы четыре тома повести «Авадоро, испанской повести» — «Avadoro, histoire espagnole, par M[onsieur] L[e] C[omte] J[ean] P[otocki]». Paris, chez M. Gide-fils. Эта повесть охватывает дни 12—56 «Рукописи».

В следующем году анонимно, даже без инициалов автора, были опубликованы в трех томиках «Десять дней из жизни Альфонса ван Вордена» («Dix journées de la vie d'Alphonse van Worden». Paris, chez M. Gide-fils), 1814.

Данное издание в той или иной мере охватывает дни 1—10 и 14 «Рукописи», оригинальный (французский) текст которой никогда не был опубликован полностью и даже не был найден, несмотря на поиски различных лиц, в том числе графини Эдлинг, предпринятые по просьбе Пушкина.

Вскоре после появления «Десяти дней жизни Альфонса ван Вордена» Потоцкий опубликовал напечатанные в кременецкой лицейской типографии две части составленных им «Основ хронологии» («Principes de la chronologie». A Kzemiań, 1814—1815). 2 декабря (20 ноября) 1815 г., находясь в своем имении Уладовке (под Бердичевом), Потоцкий вызвал своего капеллана и велел ему благословить серебряный шарик, снятый с сахарницы. Затем он удалился к себе в библиотеку, вложил этот шарик в ствол пистолета и выстрелил себе в висок. В следующем году «Виленский дневник» поместил его краткий некролог²².

Затем началось бесславное обкрадывание мертвого мастера. Вначале парижский литератор Шарль Нодье включил в свой сборник «Infernaliana» («Адские рассказы») «Историю Тибальда», целиком взятую из «Рукописи», но выданную им за свой собственный рассказ. Несколько позже, в середине 30-х годов прошлого века, Морис Кузен, выступавший под именем графа Куршан (Courchamps), поступил точно так же, украв другой отрывок из «Рукописи» для своих «Мемуаров маркизы де Креки» и

²² «Dziennik Wileński», 1816, t. III, str. 296. В этом некрологе ошибочно указано, что Потоцкий скончался в Севериновке (также под Бердичевом).

озаглавив этот отрывок «Рай земной». Вскоре он начал на страницах французской «La Presse» публиковать «Неизвестные дневники Калиостро». Первая часть этих дневников называлась «Le Val funeste» («Печальная долина»), вторая — «Histoire de don Benito d'Almusenar». На этот раз парижская пресса разоблачила плагиатора, установив, что первая часть «Дневников Калиостро» это — «Десять дней жизни Альфонса ван Вордена», а вторая — «Авадоро». (Кузен изменил, правда, некоторые собственные имена и название местности.) В 1841 г. состоялся судебный процесс, окончившийся для Кузена плачевно, после чего «Десять дней» были переизданы в Париже с указанием имени настоящего автора²³.

Впрочем, не все писатели, занимавшиеся плагиатом у Потоцкого, платились за это. «Великий приор Мальты», опубликованный Уошингтоном Ирвингом (1783—1859) под своим именем, был заимствован из «Рукописи». Впрочем, список авторов, заимствовавших сюжеты у Яна Потоцкого, далеко не исчерпывается названными именами. . .

В 1847 г. Эдмунд Хоецкий (известный во Франции под псевдонимом Шарль Эдмон) закончил перевод «Рукописи» на польский язык и опубликовал его в Лейпциге в шести томах под названием «Rękopis znaleziony w Saragossie. Romans wydany pośmiertnie z dzieł hr. Jana Potockiego». К сожалению, комментариев к этому изданию Хоецкий не приложил, а полный французский оригинал, которым он, несомненно, располагал, так и не нашелся.

Перевод Хоецкого неоднократно переиздавался (в частности, в Народной Польше в 1950, 1956 и 1965 гг.) Особенно велики в деле популяризации и изучения обширного наследия Потоцкого заслуги современного польского исследователя Лешка Кукульского, который написал вступительные статьи не только к «Рукописи», но к пьесам Потоцкого и к упоминавшейся антологии «Путешествия», а также обширный комментарий к «Рукописи».

Лешек Кукульский, работая над новым изданием «Рукописи, найденной в Сарагосе», использовал многочисленные источники, в том числе наиболее ранее петербургское издание, парижское и лейпцигское издания, а также такие рукописные материалы, как чистовой автограф дней 31—40, хранящийся в Краковском воеводском архиве на Вавеле, и находящиеся там же разрозненные черновики.

В основу нашего издания положен редуцированный таким образом текст последнего варшавского издания: Jan Potocki. Rękopis znaleziony

²³ Называвшийся уже нами биограф Потоцкого Михал Балиньский сообщил после этого: «Не отрывки, не отдельные части, но все своеобразное произведение Яна Потоцкого, огромный и чрезвычайно интересный роман, будет опубликован со всеми пояснениями. Это — большая услуга, которую муж ученый и покровительствующий наукам окажет памяти Потоцкого и обществу». («Pisma historyczne Michała Balińskiego», str. 203).

w Saragossie. Tekst przygotował, posłowiem i przypisami opatrzył Leszek Kukulski. «Czytelnik», 1965.

6

Не представляется вполне убедительной версия о самоубийстве Потоцкого, совершенном якобы в результате невыносимых головных болей. Потоцкий во время своих скитаний прошел через самые разнообразные испытания, всевозможные лишения, не раз тяжело болел и был человеком во всех отношениях закаленным. Возникает поэтому предположение, что самоубийство его, совершенное примерно в тот же период времени, когда Огиньский писал свой «Мрачный марш», было в какой-то мере связано с гибелью надежд на возрождение Польши, существовавших во время Венского конгресса. Рядом с «властителем слабым и лукавым» на конгрессе тогда сидел князь Адам Чарторыцкий, который не раз выслушивал из уст своего августейшего друга планы восстановления Польши, о которых Александр часто говорил и с Огиньским, как явствует из опубликованных дневников автора «Прощания с родиной», вызвавших впоследствии такую ярость Николая I. Обо всех этих переговорах, обещаниях и посулах «кочующего деспота», конечно, хорошо знал и, быть может, даже кое-чему верил Ян Потоцкий, испытавший, разумеется, такое же горькое разочарование, как и другие польские патриоты, отшатнувшиеся от российского престола. Как уже говорилось, ученые занятия графа Потоцкого продолжались, когда возник замысел «Рукописи, найденной в Сарагосе». Но, быть может, капеллан благословил серебряную пулю тогда, когда Потоцкому

И ночи, и дни примелькались,
Как дольные тени волхву...

Ян Потоцкий принадлежал к числу энциклопедически образованных людей своего времени. Несмотря на сюжетную концовку, трудно сказать, является ли «Рукопись, найденная в Сарагосе», законченным произведением или размышления автора должны были получить свое продолжение в тех ненаписанных страницах, которые были только задуманы. Вполне вероятно, что версия об этих нерожденных страницах принадлежит к числу таких же легенд, как записанная в дневнике Сабины Гжегожевской легенда о речи, сочиненной Яном Потоцким во сне на турецком языке для своего родственника, посла Речи Посполитой Петра Потоцкого, который должен был на следующий день предстать перед повелителем Блистательной порты.

Но все же концепция «Рукописи», несмотря на крайнюю сюжетную запутанность романа, выступает достаточно отчетливо. Отметим, прежде всего, крайнее своеобразие романа, позволяющее говорить, например, о воздействии Сервантеса. В самом деле, в уста Веласкеса автор влагает, на-

пример, следующие слова: «Все приключения цыгана начинаются прямолинейно, и слушатель думает, что скоро дойдет до конца; однако, ничего подобного не происходит: одна история порождает другую, из которой выходит третья, — что-то вроде тех остатков частного, которые в известных случаях можно делать до бесконечности» . . . На Западе такой жанр получил название «шкатулочного романа» (одна шкатулка заключена в другую, заключающую, в свою очередь, в себе третью, и т. п.) Разделение на дни, в свою очередь, вызывает воспоминание о бесконечных ночах Шехеразады.

Но образ скитающегося Альфонса ван Вордена все же получает настолько интенсивное развитие в «Рукописи», что постепенно делается центральным. Именно поэтому образ этот, обрамленный фантастикой, подчас весьма страшной (мотивы призраков, двух висельников и т. п.), приобретает такое значение, и ему, по существу, и посвящается стихотворение Пушкина. Куда же мчится, куда, вернее, обречен мчаться Альфонс ван Ворден?

Нет никакой надобности, разумеется, пересказывать содержание «Рукописи». Нельзя, однако, не подчеркнуть, что Потоцкий, создавая по существу, первый польский роман, вложил в него сложное и запутанное содержание, в той или иной мере связанное с его собственными скитаниями и размышлениями. Это не значит, конечно, что «Рукопись» автобиографична. Но, странствуя по различным странам, Потоцкий думал о возникновении различных религий, о том, какая роль приписывалась в них откровению. Тезис «Credo, quia absurdum» делался все менее и менее приемлемым для человека Века Просвещения, каким был Потоцкий. И здесь возникают некоторые параллели, напрашивающиеся в связи с приобщением польского ученого и писателя к герметическим учениям тайных обществ и орденов. Естественнее и безопаснее всего было, разумеется, вплести элементы этих учений в фантастический роман.

Приведем хотя бы один пример такого приема. Дон Белиал де Геенна, иными словами, сам Сатана, говорит: «Я — один из главных членов могоушественного сообщества, которое поставило себе целью осчастливить людей и избавить их от неразумных предрассудков, которые они восприняли с молоком своих матерей и которые потом мешают им осуществить свои намерения». Эти слова самым непосредственным образом перекликаются с тамплиеровским учением о дуализме, включающим веру в Бафомета, т. е. в злое начало. Иными словами, вера в Провидение сменяется пониманием противоборствующих сил добра и зла. Заметим попутно, что и дантовский Ад был сотворен «высшей мудростью» (*la somma sapienza*) и «пророс главою семью семь вселенных» в образе Люцифера, который, следовательно, был не просто владыкою преисподней.

«Рукопись» — произведение зашифрованное. Все таинственное в ней подчинено, по существу, морально-этическому началу, непреодолимо вы-

двигавшемуся на первый план в ту эпоху, когда создавалось это удивительное произведение. Это начало воплощено в силе, заставляющей, как подчеркнул Пушкин, мчаться Альфонса ван Воргена в любое время, в любую погоду и переживать любые приключения, заслоняющие порой (и в этом заключается великое искусство шифровальщика) основную концепцию романа и усложняющие его композицию — достаточно сказать, что дон Хуан де Авадоро, бывший придворный императора, а затем предводитель цыганской банды, фигурирует в семнадцати повестях, разбросанных в разных «днях».

Но с Авадоро не связаны ни основной сюжетный стержень, ни основная мысль романа — о возвышении рода человеческого, которое должно наступить после того, как появятся на свет первые потомки Альфонса ван Воргена, судьба которого переплетается с судьбой загадочного рода благородных Гомелесов, обитающих преимущественно в недрах гор Альпухары, но встречающихся и в иных местах, как среди христиан, так и среди мусульман. Можно понять, что в образе Гомелесов и главного героя «Рукописи» Потоцкий хотел изобразить те возможности, которые таит в себе человечество, ожидающее преображающей силы. В этом отношении «Рукопись» до известной степени близка не только к «Божественной Комедии», прозвучавшей как истступленный призыв такой силы, но и к «Волшебной флейте» Моцарта, который привел героев своей оперы в царство мудрого Заратро, победившего чары «царицы ночи».

Философско-этические концепции «Рукописи» неизбежно приводят к экскурсам в область религиозных верований, в значительной степени связанным с появлением Агасфера, но встречающимся и в других эпизодах. Нельзя забывать, что экскурсии эти носят чрезвычайно своеобразный характер, вплоть до неожиданных дифирамбов египетскому монотеизму и к объяснению возникновения религий, как тяготения человека к добру. Видимо, дело здесь не только в том, что «Рукопись» писалась до открытий Шампольона и до трудов последующих блистательных поколений египтологов, но и в том, что Потоцкий порой крайне свободно обращался с историей религий, совершенно сознательно рассматривая религиозные верования как мифотворчество. Даже ветхозаветные книги интерпретируются Потоцким далеко не в духе ортодоксальной теологии, не говоря уже об истории упоминаемых им сект, хотя автор «Рукописи» превосходно знал Бероса и Манефона. Более того, жанр «Рукописи» временами позволяет говорить о близости к апокалиптике, т. е. к литературе, развивавшейся в Иудее до разрушения Титом Иерусалима и широко оперировавшей загадочными сказаниями, притчами и т. п. И, тем не менее, громадная эрудиция автора — только материал для литературного произведения, в котором, видимо, на первый план выдвигаются этические проблемы.

Нет сомнения, что Потоцкий был прямым предшественником Гофмана, положив начало сочетанию бытовых и фантастических элементов, подчи-

ненному философско-этическому замыслу. В «Рукописи, найденной в Сарагосе» основным приемом можно считать вторжение фантастики в повествование о вполне обыденных событиях. Такое сочетание делается постепенно традиционным у Гофмана, сильно развивавшего сатирически-обличительные стороны этого приема. Но у Потоцкого религиозные верования и предания постепенно входят в область фантастики, теряя свою первоначальную культовую функцию, и вряд ли это каждый раз требует специальных комментариев. И не было ли горькой иронией то, что, готовясь совершить смертный грех самоубийства, граф Потоцкий велел своему капеллану благословить серебряную пулю — орудие этого греха?

Польские литературоведы отмечают ряд сюжетных заимствований у Потоцкого — в пьесе «Трижды три» знаменитого комедиографа Александра Фредо (1793—1876), в «Баденских вечерах» Юзефа Максимилиана Оссолинского (1748—1826). Видимо, усердными читателями Потоцкого были Мицкевич (не под влиянием ли топонимики «Рукописи» возникла баллада «Альпухара?»), Словацкий и другие польские романтики. Но все же не занимательность взаимно переплетающихся сюжетов «Рукописи» составляет ее основу, заключающуюся прежде всего в философской значительности произведения, все более и более привлекающего к себе внимание в наши дни.

Наиболее серьезны в области изучения наследия Потоцкого заслуги польского литературоведа Лешка Кукульского, подготовившего к печати издания и «Рукописи», и пьес, и описаний путешествий Потоцкого. Комментарии Кукульского к «Рукописи» частично использованы в нашем издании.

«Рукопись, найденная в Сарагосе» все еще не может считаться достаточно изученной. Причудливое сочетание изложения древнеегипетских и иудейских верований с озорными эпизодами в стиле «воровского романа», описание дворцовых интриг, утонченная эротика, экзотический фон действия, в сложных перипетиях которого временами довольно трудно разобраться, — все это подчинено, по-видимому, одной цели, одной рационалистической концепции, порожденной мучительными, но плодотворными философскими поисками Века Просвещения.

7

Остановимся на некоторых особенностях «Рукописи, найденной в Сарагосе». Очень соблазнительно отнести книгу Потоцкого к жанру романа-фантазмагории. Напомним, например, что герой, засыпающий в конце «первого дня» в объятиях сестер-мавритунок (принцесс Туниса) Эмины и Зибельды, просыпается на следующее утро (т. е. в начале «второго дня») под виселицей Лос Эрманос, а рядом с ним лежат тела «двух славных братьев-атаманов», сорвавшиеся с этой виселицы. Впоследствии разбойник

Зото уверяет Альфонса ван Вордена, что братья его вообще никогда не были казнены, а власти, разыскивавшие их, повесили вместо них двух пастухов.

Так или иначе, линия Эмины и Зибельды прослеживается как сквозная, вплоть до эпилога романа.

На протяжении всей «Рукописи, найденной в Сарагосе» Потоцкий не раз возвращается к проблеме религиозных распри и вражды. Но, видимо, проблема эта получает окончательное решение именно в эпилоге, когда Альфонс ван Ворден повествует о своей родительской любви и к сыну-мусульманину, и к дочери, решившей принять христианство. Иными словами, дети, родившиеся у Эмины и Зибельды, ставших женами Альфонса, уже преодолели антагонизм, возникший в результате непримиримости церковных догматов. Это — очень важная линия сюжетного развития «Рукописи», получающая вполне законченное идейное завершение, подготовленное идиллией встречи отца-католика с детьми и женами-магометанками.

Другая, столь же важная линия развития, касается уже не веротерпимости, а сословных проблем, так волновавшая еще «польских братьев». Здесь нельзя не вспомнить дантовский тезис о «*cor gentile*»: сердце, а не происхождение делают человека благородным. В этом отношении очень поучительна история герцогини Медина Сидония (вероятно, Потоцкий сознательно воспользовался этим титулом знатнейшего испанского рода): она счастлива, когда предается охватившему ее чувству любви, и погибает, когда приносит его в жертву сословным предрассудкам. Не менее поучительна история цыганского вожака, в свое время занимавшего высокое положение при дворе, но сохранившего «благородное сердце» после всех жизненных катастроф, — именно это завоевывает ему симпатии читателей, так же, по существу, как и другому представителю «дна» — разбойнику Зото.

Вообще говоря, сюжетный мотив «падения вельможи» не раз встречается в «Рукописи»: такова, например, поучительная история отчима донна Хуана Авадоро. Даже пурпурная лента высокого ордена Калатравы не спасла его от жалкой участи, описанной в романе. Особого внимания заслуживает образ Ундины, высокому происхождению которой поэтически противопоставляется счастье единения с природой. Итак, в том будущем, о котором мечтал Ян Потоцкий, совершенно исчезают религиозные и сословные противоречия.

Однако Потоцкий в отдельных образах романа признает существование суеверий: в одном из рассказов («День десятый») прекрасная Орландина превращается в самого Люцифера и впиается зубами в горло влюбленного в нее Тибальда, который погибает от общения с «неключимой силой». Эта мнимая сила ощущается и в других эпизодах романа, но именно в эпизодах, потому что вся устремленность «Рукописи» заклю-

чается не в этих фантазмагориях, а в оптимистических концепциях, восходящих к учению «социниан»²⁴, т. е. польских братьев, — трактуемому Потоцким широко и свободно.

Итак, «Рукопись» нельзя отнести к жанру романа-фантазмагории. Было бы ошибочным, однако, преувеличивать значение оптимистических или фантастических линий сюжетного развития романа. Помимо пародийно-таинственных появлений злых и добрых духов, рожденных, конечно же, воображением человека, Потоцкий пишет и о попытках ученых систематизировать все науки, включая и «тайные». Такова «История Диего Эрваса» («День сорок девятый»), которая, как подчеркнуто в примечании автора, была написана под впечатлением появления двадцатитомного (в действительности — двадцатидвухтомного) энциклопедического труда «Идея Вселенной, которая содержит историю жизни человека, основные понятия космографии, восторженное путешествие по миру планет и историю Земли». Автором этого труда был испанский ученый-иезуит Пандура Лоренсо Эрвас (1735—1809), современник Потоцкого.

Но в «Рукописи» описание этого «стотомного» труда приобретает пародийный, можно даже сказать раблезианский характер, причем несколько томов посвящается магии, включая оперативную, о чем, конечно, и не помышлял библиотекарь Квиринала. Эти страницы «Рукописи» вызывают в памяти горький скепсис того трактата «О недостоверности и тщете наук и искусств» Агриппы Неттесгеймского, который, по-видимому, своеобразно преломился и в первом монологе Фауста. Такое сочетание высокого гуманизма и трагического скепсиса (который, возможно, и привел Потоцкого к самоубийству), вообще говоря, характерно для «Рукописи».

Нет сомнения, что роман Потоцкого оказал сильнейшее воздействие на мировой литературный процесс, — вероятнее всего, через Гофмана, хорошо знакомого с варшавскими, а также с немецкими литературными кругами.

Не раз высказывались предположения о том, что Потоцкий имел намерение не останавливаться на шестьдесят шестом «дне» и написать продолжение «Рукописи», развивая характер героя, несколько искусственно оборвавшийся в «Заключении».

Нельзя сказать, повторяем, ничего определенного о существовании такого замысла у Потоцкого. Он видел, что родине его предстоят тягчайшие испытания, и, вероятно, не верил посулам «кочующего деспота», как не верил в свое время обещаниям императора французов. В этом отношении крайне показательны мотивы клятвопреступления и предательства не раз появляющиеся на страницах «Рукописи».

²⁴ От имени Ф. Социна, мысли которого развивали Шимон Будный и другие «польские братья», изгнанные из страны за радикализм своих взглядов в 1658 г.

После появления в свет сумрачного «Стилоса Александрии» Владимира Маккавейского поэт опубликовал стихотворение, начинавшееся так:

Я все числа исчислил, я все меры измерил,
Кончен долгий и скучный и пытающий счет,
Я когда-то чему-то поклонялся и верил. . .

То, во что верил и чему поклонялся Ян Потоцкий, запечатлелось в его романе, в котором в сложной форме получили развитие образы, отразившие столь близкое к нашему Пушкину стремление к знанию, равенству и братству людей. Именно эти образы, которые можно назвать движущими силами всей фабулы «Рукописи, найденной в Сарагосе», делают произведение польского писателя близким и дорогим нашему времени.

ПРИМЕЧАНИЯ

Предисловие

¹ Участвовал в осаде Сарагосы... — В феврале 1809 г. наполеоновские войска, вторгшиеся в Испанию, после двухмесячной осады захватили Сарагосу, город в Арагоне. Решающую роль в штурме сыграла польская кавалерия, которая еще в ноябре 1808 г. открыла Наполеону дорогу на Мадрид (ставшая знаменитой в истории военного искусства атака в Сомосьерре, в горах Сьерра-Гвадаррама).

День первый

- ¹ Олавидес Пабло Антонио (1725—1803), наместник Андалузии. После того, как в 1767—76 гг. роздал крестьянам земли, конфискованные у церкви, был обвинен инквизицией в ереси и заключен в монастырь, из которого ему удалось бежать во Францию.
- ² Фраза эта имеет два смысла: «Гитаны из Сьерра-Морены испытывают влечение к человеческому мясу (мужской плоти)».
- ³ Св. Иаков Компостельский пользовался в Испании необыкновенной популярностью и считался патроном страны. Его имя в испанском звучании «Сантьяго» было военным кличем в битвах с маврами, а гробница в Галисии, где, по преданию, погребено его тело — одним из самых почитаемых мест паломничества.
- ⁴ Святая Германдад (исп. «братство») — общество, возникшее в XII в. для охраны паломников в Компостеллу. Затем переросло в организацию политическую, которой руководила инквизиция. Нередко выражением «Санта Германдад» определялась инквизиция в целом (разг.).
- ⁵ Филипп V Анжуйский (1683—1746) — внук Людовика XIV, был провозглашен испанским королем в 1701 г.
- ⁶ Капитана валлонской гвардии... — Валлонцы — жители одной из южных бельгийских провинций, находившихся до 1714 г. под испанским владычеством.
- ⁷ Народ еретический... — Среди населения Нидерландов только голландцы были протестантами; валлоны и фламандцы — католиками.
- ⁸ Мадонна из Аточи — образ мадонны с младенцем, написанный, по преданию, апостолом Лукой с натуры, одна из самых почитаемых святынь в романских странах.
- ⁹ На чистейшем кастильском наречии... — Кастильский диалект постепенно стал основной общенационального испанского языка, подобно тому, как тосканское наречие легло в основу итальянского языка. Объединение Кастилии с Арагоном произошло в 1479 г.
- ¹⁰ На берберийском побережье... — т. е. на берегах Северной Африки.
- ¹¹ Оля-подрида — национальное испанское блюдо, в которое входят различные сорта мяса, приготовленные особым образом.
- ¹² ... исповедуют веру отцов... — Потомки мавров были вынуждены принять христианскую веру и подчиняться испанским обычаям, т. к. мусульманам («неверным») запрещалось жить в Испании, где инквизиция, созданная в 1478 г., ожесточенно их преследовала.
- ¹³ Абенсerraги — знатный мавританский род из Гранады, сыгравший значительную роль в борьбе мавров против испанцев, закончившейся в 1492 г. падением Гранады.
- ¹⁴ Дей — титул властителей Туниса и Триполитании.

- ¹⁵ *Лейли и Меджнун* — древнеарабская легенда о двух влюбленных, имена которых стали нарицательными. Юноша Кейб (иначе Музд) был прозван «Меджнуном» (т. е. одержимым), хотя древнейшие кодексы этого памятника говорят о его поэтическом даровании, а не о любви. В 1188 г. создал поэму о двух «бессмертных влюбленных», вызвавшую многочисленные подражания.
- ¹⁶ *Бен Омар* — Омар ибн аль Фарид (1181—1235) — арабский поэт.
- ¹⁷ *Аверроэс* (Аверроис) — латинизированная форма имени Ибн Рошда (1126—1198), арабского философа и естествоиспытателя эпохи расцвета арабской культуры, прославившегося, в частности, своими комментариями к Аристотелю, упоминающимися у Данте («Ад» IV, 144 и др.).
- ¹⁸ *Корейш* — одно из арабских племен, населявших Мекку и ее окрестности. Из этого племени происходил Магомет.
- ¹⁹ *Бани Хамам-Неф* — местность к югу от Туниса, известная теплыми минеральными источниками еще с древности.
- ²⁰ *Так же, как и в семействе пророка...* — Поскольку единственной из детей Магомета, пережившей его, была дочь Фатима, потомков ее некоторые мусульманские секты считали единственными наследниками Магомета, как духовного вождя ислама.
- ²¹ *Юсуф Бен-Тажер* — предводитель арабов, который в 711 г. начал завоевание Испании: носил имя аль Тарик. Он разбил войска визиготов и занял Кордову и Толедо. По имени аль Тарика арабы назвали южный мыс Иберийского полуострова «горой Тарика» — Джебель-аль-Тарик.
- ²² *Калиф* (халиф, от арабск. «преемник»). — Калифы соединяли светскую и духовную власть в первых государствах, образованных арабами после Магомета. Первые калифы происходили из семейства Магомета, и их столицей была Медина. Затем халифатом овладела династия Омейядов, правившая в Дамаске (661—749 гг.).
- ²³ *Альпухара* — возвышенность, расположенная к югу от гор Сьерра-Невада; Потопкий, однако, обозначает этим именем восточную часть горной цепи Сьерра-Морены.
- ²⁴ *Королевство Гранады*. — В объединенной Испании, возникшей в результате союза нескольких независимых государств, отдельные области еще в течение долгого времени обычно назывались королевствами.
- ²⁵ *Визиготы* — одно из германских племен; вытесненные в эпоху переселения народов из родных мест, они в V—VIII вв., т. е. до создания Кордовского халифата, обладали Иберийским полуостровом.
- ²⁶ *Турдулы* — туземное иберийское племя, некогда населявшее северную Андалузию в окрестностях нынешней Кордовы. Сохранились эпические и исторические памятники этого племени, отличавшегося высоким культурным уровнем.
- ²⁷ *Двенадцатый имам*. — После смерти Магомета и первых четырех «правверных» калифов (Абу-бекр, Омар, Отман, Али; 632—660) в лоне ислама возникла секта шиитов (арабск. шиат — сторонник [Али]), которая в противоположность секте суннитов не признавала омейядских калифов законными преемниками Магомета как духовного главы ислама. По мнению шиитов-имамитов на титул имама (арабск. имам — вождь) имели право только Али, зять Магомета, два его сына — Хассан и Хуссейн, а также девять потомков Хуссейна. Двенадцатый в этой череде — Мохаммед Абуль Кассим, правнук Али, родившийся в 872 г., восьмилетним мальчиком исчез при таинственных обстоятельствах. Шииты-имамиты верили, что он скрывается, чтобы выступить в конце света как махди (арабск. «ведомый» [пророком]), который продолжит деяния Магомета, обращая «неверных».
- ²⁸ *Антихрист*. — Согласно верованиям мусульман, в конце света, в миг светопрествления должно появиться одноглазое чудовище, соответствующее библейскому антихристу. В сорок дней оно завоеует всю землю, но падет от руки махди.

- ²⁹ *Семь братьев*. — Из христианского мифа о Иосифе и его братьях к магометанам проникла легенда о семи братьях, которые в 251 г. бежали от религиозных преследований императора Деция. Согласно корану (сура 18,8—25), братья, не желая отречься от Аллаха и запятнать себя идолопоклонством, укрылись в пещере, вдали от людей, где с ними была собака.
- ³⁰ *Кордова не получила своих калифов* (вернее эмиров). — В 749 г. Аббасидам, шиитской династии, удалось низложить суннитскую династию калифов Омейядов. Победа Аббасидов стала началом распада всеарабского халифата. Абд-эр-Рахман, внук последнего омейядского калифа, бежав из Дамаска в Испанию, в 756 г. провозгласил себя эмиром Кордовы, независимым от багдадского халифата, просуществовавшего до 1258 г. С 929 г. эмиры Кордовы начали именоваться калифами.
- ³¹ *Гонзальв, Фернандес Гонсало де Кордова* (1453—1515) — командующий испанскими войсками, который в 1492 г. завоевал Гранаду, последний клочок Иберийского полуострова, оставшийся под властью мавров.
- ³² *Карл I Габсбург* — царствовал в Испании в 1516—1556 гг. Под именем Карла V был одновременно императором Священной римской империи германской нации. Резиденцией его преимущественно был Мадрид, который, однако, сделался официальной столицей Испании только в 1561 г.
- ³³ *Филипп II* — сын и преемник Карла I, царствовал в Испании в 1556—1598 гг. Под давлением инквизиции издал в 1566 г. приказ, повелевающий всем морискам (так называли мавров, перешедших в католичество) отказаться от арабского языка и национальных костюмов. Это вызвало восстание морисков в Гранаде; испанцы потопили его в крови, отдав затем морисков под надзор инквизиции. Одновременно всех мавров-магометан начали переселять в Африку.
- ³⁴ *Великий инквизитор* — возглавлял инквизицию, имеющую целью искоренение ересей. Функции инквизиторов, начиная с 1232 г., по распоряжению папы Григория IX, исполняли доминиканцы. В Испании инквизиция существовала с XIII в., была ликвидирована лишь в 1820 г. В 1478 г. по приказу Фердинанда V и Изабеллы, в Испании, с согласия папы Сикста IV, были созданы специальные инквизиционные учреждения, отличавшиеся особой жестокостью, которая проявлялась при малейшем подозрении в «ереси». С 1483 г. великим инквизитором Испании был Томас де Торквемада (1420—1498).

День второй

- ¹ *Эспонхадо* — род бисквитного печенья.
- ² *Коррехидор* — чиновник, исполнявший обязанности администратора и судьи.
- ³ *Гранд первого класса*. — Гранды — высшая ступень аристократической (с XVI в. — исключительно придворной) иерархии в Испании; существовало три класса грандов, причем представители первого (высшего) класса обладали привилегией в присутствии короля не снимать шляпы.

День третий

- ¹ *Бургундский округ*. . . — Преемник Карла V, император Максимилиан I, разделил Священную римскую империю на 10 округов. В 1548 г. Бургундия перестала входить в состав империи.
- ² *Война за наследство* (1701—1714) — война, которая велась в основном между Англией и Францией за господство в колониях, на море и на европейских рынках, после того, как испанское правительство, ослабленное внутренним кризисом, все больше подпадало под влияние Франции.

- ³ *Оидор* — судья военного трибунала.
- ⁴ *Суд чести*. — В юрисдикцию «суда чести», иначе называвшегося «трибуналом маршалов Франции», начиная с первых десятилетий XVII в. входили спорные вопросы чести высшего французского дворянства. Вскоре после основания этого трибунала были разработаны и утверждены королем права и полномочия этого суда.
- ⁵ *Галликанская церковь* — возникла во Франции в XIII в. и просуществовала до XVIII в. Отстаивала независимость французской католической церкви от папства. Тезисы галликанизма были окончательно сформулированы в 1408 г.
- ⁶ *Наместник коннетаблии*. — После упразднения кардиналом Ришелье должности коннетабля Франции (1627), его права, относящиеся к суду над военными, перешли к коннетаблии — учреждению, президентом которого был старейшина маршалов Франции. Звание коннетабля, которое с XI в. носил верховный главнокомандующий королевских войск во Франции, временно было восстановлено Наполеоном I.
- ⁷ *Божьи суды* (лат. *ordalia*). — Существовали в средние века и применялись в тех случаях, когда обвиняемый не признавал себя виновным. Были различные виды божьего суда, начиная от поединка, когда невиновность доказывалась исходом боя и кончая испытанием огнем, водой и т. п.

День пятый

- ¹ Так называемый *Пробковый монастырь* святого Креста (от порт. *convento da cortica*) был основан в 1560 г.
- ² *Бетийское золото*. — В период существования Римской империи Андалузия называлась Бетийской Испанией. Горы Андалузии и поныне называются Бетийскими.
- ³ *Неаполитанская унция* — золотая монета весом в 25,5 г. В Сицилии унция была монетной единицей до 1865 г.
- ⁴ *Ибо это город пограничный*. . . — Беневенто принадлежал испанскому престолу, но был окружен землею Неаполитанского королевства.
- ⁵ *Корсо* (ит. «прогулка») — большая центральная улица города; в переносном смысле прогулка по городу.
- ⁶ *Сбирь* — полицейские в Ватиканском государстве до 1809 г. В дальнейшем это слово примнялось в переносном смысле для обозначения человека, осуществляющего физическую расправу.
- ⁷ *Таро* — серебряная монета, весом $1/70$ золотой унции.
- ⁸ *Дехин* (дукат) — старинная золотая монета, чеканка которой началась в Венеции в 1284. Быстро распространилась в Европе.

День шестой

- ¹ *Вице-король Сицилии* — титул наместника Сицилии в период вхождения ее в испанское королевство, т. е. до 1713 г.
- ² *Скудо* — итальянская серебряная монета весом около 24 г.
- ³ *Галиот* — парусный корабль среднего тоннажа, вооруженный легкой артиллерией.

День седьмой

- ¹ *Нотабль* — член совета нотаблей, существовавшего при короле Франции с XIV в. до 1787 г., в состав которого входили представители духовенства, дворянства и горожан.
- ² *Пиастр* — испанская серебряная монета, в прошлом равноценная итальянскому скудо.

День девятый

- ¹ *Пустынники Фиваиды*, жившие в Верхнем Египте, известны как первые христианские отшельники.
- ² *Вечный жид* — персонаж одной из поздниххристианских легенд, повествующих о человеке по имени Агасфер, который в то мгновение, когда Христос, неся свой крест, остановился, чтобы отдохнуть, якобы крикнул: «Иди, иди!»; в ответ на это Христос, как гласит легенда, ответил: «И ты иди». Эти слова превратились в заклятье, заставившее того человека бесконечно скитаться по всей земле, тщетно мечтая о смерти. Некоторые люди Средневековья и даже позднего Возрождения уверяли, что встречали Агасфера.
- ³ *Каббалистика* (от древнеевр. каббала) — средневековое религиозное учение, основанное в значительной степени на числовой мистике и получившее распространение среди приверженцев иудаизма, а также среди некоторых сторонников христианства и ислама. Время возникновения и первых толкований Каббалы (книги «Зогар», «Сеифер Йецира») в точности неизвестно.
- ⁴ *Адонай* (евр. господин, господь мой) — одно из семи имен бога в Библии.
- ⁵ *Элоим* — одно из семи имен бога.
- ⁶ «*Песнь Песней*» — собрание древних любовных песен и стихов, включенное в Библию, создание которого приписывалось царю Израиля и Иудеи Соломону, сыну Давида.
- ⁷ *Диоскуры* — Кастор и Полидевк — в греческой мифологии сыновья Зевса и Леды, герои-близнецы.
- ⁸ *Кабирь* — древнегреческие божества, очевидно, фригийского происхождения. Первоначально считались божествами плодородия; их культ тесно связан с культом Деметры.
- ⁹ *Енох* — библейский пророк, упоминаемый в книге Бытия (V, 18—24).
- ¹⁰ *Илия* — библейский пророк, упоминаемый в Четвертой книге Царств.
- ¹¹ *Эргоры* — ангелы, ставшие супругами дочерей библейского Сета.
- ¹² *Нефилимы* — библейские персонажи — гиганты, дети ангелов и земных дев: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны божи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им» («Бытие», VI, 4).

День десятый

- ¹ *Хаптелиус* — латинизированная форма имени Эбергарда Вернера Хаптеля (1647—1690), известного немецкого писателя.
- ² *Франциск I* (1494—1547) — французский король (с 1515 г.) из династии Валуа. Его политика была направлена на укрепление централизации и принципов абсолютизма.
- ³ *Ливр* — денежная единица и серебряная монета во Франции в средние века.
- ⁴ *Бискайское наречие* — один из баскских диалектов.

День одиннадцатый

- ¹ *Симон Маг* — волшебник, упоминаемый в «Деяниях апостолов» (VIII, 9—24), обладавший, в частности, как утверждают некоторые апокрифы, способностью левитации — парения в воздухе. Имя Симона Мага окружено множеством легенд, причем некоторые из них приписывают ему попытки создания гностицизма и объединения христианской религии с тайными учениями Востока.

- ² *Аполлоний Тианский* — полулегендарный философ (I в.), имя которого связывается с неопифагорейской школой, упоминаемый во многих апокрифах. Ему приписываются различные чудеса, в том числе воскрешения из мертвых.
- ³ *Филострат*, Флавий (170—245 г. н. э.) — автор биографии Аполлония Тианского.
- ⁴ *Эмпузы* — так в греческой мифологии назывались призрачные женщины ужасающего вида.
- ⁵ *Ларвы* — в древнеримской мифологии не нашедшие себе покоя души умерших, блуждающие по земле.
- ⁶ *Ламии* — в древнегреческой мифологии — эмпузы-вампиры, чаще всего появлявшиеся красивым юношам.
- ⁷ *Плиний Младший* (ок. 61—ок. 113 н. э.) — древнеримский государственный деятель и писатель, усыновленный племянник Плиния Старшего, ученого и писателя, погибшего в 79 г. при извержении Везувия.
- ⁸ *Аэндорская волшебница* упоминается в Библии (Первая Книга царств, 28), где говорится о ее пророческом даре и беседе ее с царем Саулом, для которого она вызвала призрак Самуила.

День тринадцатый

- ¹ *Арахна* — мифологическая Индийская пряжа, поспорившая с Афиной, которая превратила ее в паука.
- ² *Фридрих IV* (1452—1504) — король Неаполя и Сицилии (1496—1501).
- ³ *Пий III* — римский папа (1503).

День четырнадцатый

- ¹ *Зороастр* — греческая форма имени мифического персидского пророка Заратуштры, которому приписывается создание маздеизма, дуалистической древнеиранской религии, оказавшей влияние на иудаизм и христианство.

День шестнадцатый

- ¹ *Пистоль* — старинная испанская золотая монета, равная двойному эскудо; введена Филиппом II.
- ² *Алькад* (алькальд, от арабск. «аль-кади» — судья) — старшина общины, выполняющий судебные функции.
- ³ *Публий Овидий Назон* (43 до н. э.—17 н. э.) — римский поэт, автор многочисленных произведений, объединенных в сборники и поэмы. В 8 г. н. э. был сослан на берег Дуная, где и умер. Сюжеты «Метаморфоз» — одной из наиболее крупных поэм Овидия — оказали большое влияние на позднейшую литературу.

День семнадцатый

- ¹ *Карл II* (1661—1700) — король Испании (1665—1700), последний испанский Габсбург.

День девятнадцатый

- ¹ *Филипп IV* (1605—1665) — испанский король (1621—1665). В период его правления усугубился кризис испанского абсолютизма, и страна пришла к экономическому и политическому упадку, потеряв в 1640 г. Португалию, а в 1648 г. — Нидерланды.

- ² *Вобан*, Себастьян ле Претр (1633—1707) — французский военный инженер и экономист, маршал Франции.
- ³ *Скарамуш* — персонаж итальянской комедии масок.
- ⁴ *Люлли*, Жан Батист (1632—1687) — выдающийся французский композитор и театральный деятель, итальянец по происхождению, создатель многих опер и особого типа увертюры — законченного музыкального произведения.
- ⁵ *Братья Бернулли* — Яков (1654—1706), швейцарский математик в Базеле, один из создателей теории вероятностей, и Жан (1667—1748), также математик, профессор в Гронингене, а с 1705 г. в Базеле. Оба много сделали для развития вариационного исчисления.
- ⁶ *Этеокл и Полиник* — в греческой мифологии сыновья Эдипа, пошедшие друг на друга войной после смерти отца.
- ⁷ *Николай Бернулли* (1687—1759) — сын Якова Бернулли, тоже математик.
- ⁸ *Маркиз де Л'Опиталь*, Гильом Франсуа (1661—1704) — французский математик.

День двадцатый

- ¹ *Орден салезианок* — поныне существующий монашеский орден, основанный в 1610 г. епископом жевенским св. Франсуа Салезием (1567—1622) и св. Жанной Франсуазой де Шантань.

День двадцать первый

- ¹ *Первосвященник Ананий IV* — верховный жрец иерусалимского храма, переселившийся в середине II в. до н. э. с группой своих единомышленников в Нижний Египет и обосновавшийся там вблизи Гелиополиса, северо-восточнее Каира, ставшего впоследствии римской колонией.
- ² *Птолемей Филометор* — царь Египта (181—146 до н. э.).
- ³ *Клеопатра* (69—30 до н. э.) — последняя царица Египта (51—30 до н. э.) из династии Птолемеев. В ходе династической борьбы с братом-соправителем Птолемеем Дионисом была изгнана из Египта, а затем провозглашена царицей в 47 г. Цезарем. После разгрома Октавианом Августом египетского флота и бегства его в битве при Акциуме (31 г. до н. э.) покончила с собой.
- ⁴ *Октавиан Август* (63 г. до н. э.—14 г. н. э.) — первый римский император, родственник Цезаря, усыновленный им. При нем был завершен длительный период гражданских войн и установлен политический строй, получивший название принципата, при котором республиканские учреждения сохранились лишь формально, а вся полнота власти принадлежала принцепсу, впоследствии императору.
- ⁵ *Флавий*. — Иосиф Флавий (ок. 37—ок. 100) — еврейский историк и военачальник. Участвовал в иудейской войне (66—73), которую впоследствии описал в труде «Иудейская война». Им написаны и другие произведения.
- ⁶ *Плутарх* (ок. 46—126) — древнегреческий писатель. Занимал ряд административных должностей. Прославился своими «Сравнительными жизнеописаниями», в которых даются параллельные биографии выдающихся греческих и римских деятелей (по 23). «Жизнеописания» содержат большой материал, который использовали многие позднейшие писатели, в частности, Шекспир. Имя Плутарха стало нарицательным для обозначения собраний биографии (например, «Новый Плутарх» Йозефа Хормайера).
- ⁷ ... те две знаменитые жемчужины. . . — Речь идет о жемчужинах, которые Клеопатра, по преданию, растворила в уксусе и выпила в честь Антония во время одного из пиршеств.

- ⁸ *Жители Александрии поднялись...* — Речь идет об осаде Александрии, в которой тогда находились Цезарь и Клеопатра.
- ⁹ *Птолемей Младший* (59—44 до н. э.) — брат, а впоследствии супруг Клеопатры, убитый по ее приказанию (ср. прим. 3).
- ¹⁰ *Цезарион* — сын Цезаря и Клеопатры; был убит по приказанию Октавиана Августа.
- ¹¹ *Священный город* — т. е. Иерусалим.
- ¹² *Цезарь провозглашен пожизненным диктатором...* — Хотя формально республика по окончании гражданской войны продолжала существовать, Цезарь стал носителем «империя», т. е. высшей военной власти, что ознаменовало превращение римской республики в монархию.
- ¹³ *Бел*. — Как утверждает в своей хронике историк Талл из Милета (I в. н. э.), легендарный основатель ассирийского царства.
- ¹⁴ *Сезострис* (Сенусерт III) — фараон Древнего Египта (Среднее Царство). Имя этого легендарного фараона — властителя полумира — было окружено различными легендами.
- ¹⁵ *Кир Старший* (ок. 558—529 до н. э.) — древнеперсидский царь, основатель династии Ахеменидов.
- ¹⁶ *Талант золота* — наиболее крупная античная денежно-вещевая единица.
- ¹⁷ *...впряженные в колесницу римских военачальников...* — Существовал обычай, согласно которому колесницу победителя-триумфатора при торжественном въезде в Рим везли побежденные.
- ¹⁸ *...в своей тускуланской вилле...* — В Тускулануме находились виллы многих богатых римлян, в том числе и Цицерона. Во времена борьбы Помпея и Цезаря Цицерон удалился на свою виллу и занимался литературными трудами. Один из них — «Тускуланские беседы» — назван по имени этой виллы.
- ¹⁹ *Антоний, Марк* (83—30 до н. э.) — римский политический деятель и полководец. После убийства Цезаря стремился стать его преемником. В борьбе за власть с Октавианом потерпел поражение в битве при Акциуме (31 г. до н. э.) и покончил жизнь самоубийством.
- ²⁰ *Аттик, Тит Помпоний* (ок. 109—32 г. до н. э.). Долгое время жил в Афинах, где с ним познакомился и подружился Цицерон. Известно большое количество писем последнего к Аттику, посвященных самым разнообразным вопросам.
- ²¹ *...В наряде Изиды...* — Речь идет об описанной Плутархом первой встрече Антония с Клеопатрой, представшей перед ним в одеянии Изиды.
- ²² *Серендиб* (санскр.) — Цейлон.
- ²³ *Лепид, Марк Эмилий Младший* (89—12 до н. э.) — политический деятель древнего Рима, сторонник Юлия Цезаря.

День двадцать второй

- ¹ *Артемизия* — сестра-жена Мавсола, владыки Карии. После его смерти воздвигла ему пышное надгробие — мавсолей, считавшийся одним из семи чудес света.
- ² «Кичливые» (Пушкин) *парфяне* — племена, которые вели полукочевой образ жизни и находились в древности в северо-восточном Иране. В середине III в. до н. э. было создано парфянское королевство, которое, будучи ослаблено внутренними раздорами, вскоре было завоевано персами.
- ³ *Ирод I Великий* (73—4 гг. до н. э.) — царь иудейский. После военной кампании на Ближнем Востоке Антоний склонил римский сенат оставить Ирода царем Иудеи.
- ⁴ *Дарики* — древнеперсидские золотые монеты, названные в честь царя Дария, введшего их в употребление.

- ⁵ *Аристобул III* (52—35 гг. до н. э.) — Очень короткое время, по повелению Антония и Клеопатры, был верховным жрецом в Египте.
- ⁶ *Преемник Аарона* — т. е. верховный еврейский жрец.
- ⁷ *Сион* — символическое название Иерусалима.
- ⁸ *Антоний выехал в Армению...* — Имеется в виду восточный поход Антония (36 г. до н. э.) в сопровождении Клеопатры.
- ⁹ *Фарисеи* (евр. *haberim*) — основанная во II в. до н. э. наиболее консервативная религиозно-политическая партия. Состоявшая из жрецов и богатых людей, располагала большинством в т. наз. синедрионе до его ликвидации в 70 г. По свидетельству Иосифа Флавия, количество фарисеев доходило до 8000.
- ¹⁰ *Саддукеи* — еврейская религиозно-политическая партия, представлявшая интересы родовой и финансовой олигархии. Эта партия располагала большинством в т. наз. малом синедрионе. Саддукеи стремились не к мистическому, а рационалистическому истолкованию Библии (выражение «книжники и фарисеи» в первой своей части относится именно к саддукеям).
- ¹¹ *Префект* — один из высших чиновников в древнем Риме, выполнявший административные и военные функции.
- ¹² *Тертуллиан*, Квинт Септимий Флоренс (ок. 160—225 гг. н. э.) — христианский церковный писатель и юрист. Боролся с римскими епископами, претендовавшими на верховную власть.

День двадцать третий

- ¹ *Шебека*. — В средние века так назывался двух- или трехмачтовый корабль, приспособленный для дальнего плавания.
- ² *Урсулинки* — монашеский орден, основанный в 1535 г. Аньелой Меричи в Брешии.
- ³ *Аллоидиальное имущество* — т. е. наследственное, а не ленное.
- ⁴ *Конхология* — наука о раковинах.
- ⁵ *Сарабанда* — медленный, торжественный танец в трехдольном размере. Название его, возможно, происходит от слов «крестный ход» (*sacra bande*).
- ⁶ *Пассье* — старинный бретонский танец в трехдольном размере, но в очень быстром темпе.
- ⁷ *Бурре* — старофранцузский народный танец, также в быстром темпе, но в двухдольном размере.

День двадцать четвертый

- ¹ *Кассини*, Джованни Доменико (1625—1712) — французский физик и астроном, открывший первое кольцо и спутников Сатурна.
- ² *Гюйгенс*, Христиан (1629—1695) — голландский математик, физик и астроном, автор волновой теории света.
- ³ «*Всеобщая арифметика*» — имеются в виду кембриджские лекции Ньютона (1642—1727), собранные в изданные в 1707 г.
- ⁴ *Непир*, Джон (1550—1617) — шотландский математик, введший понятие логарифма и первый опубликовавший таблицы логарифмов.
- ⁵ *Локк* Джон (1632—1704) — английский философ-сенсуалист, автор «Размышлений о разуме человека», в которых рассматривается вопрос о взаимоотношениях и границах человеческого интеллекта.

День двадцать пятый

- ¹ *Теория Динострата*. — Динострат — греческий математик (IV в. до н. э.), пытавшийся решить задачу квадратуры круга. Лишь в 1883 г. была доказана невозможность решения этой задачи.
- ² *Оскуляционные линии* (от лат. *osculatio* — поцелуй) — «лобзательные» линии, линии поцелуев.

День двадцать шестой

- ¹ *Пенитенциарий* (в монашеских орденах) — лицо, ведающее наказаниями.
- ² *Химическая медицина*. — После исследований Парацельса (1493—1541) одни представители медицины пытались объяснить все болезни химическими явлениями (ятрохимия), другие — физическими (ятрофизика).
- ³ *Полуметаллы* — не употребляемое в настоящее время определение хрупких металлов, не поддающихся ковке.

День двадцать седьмой

- ¹ *Золотое Руно* — Орден Золотого Руна, учрежденный в 1429 г. в Бургундии, считался высшим европейским орденом.

День двадцать восьмой

- ¹ *Дом Педро де Браганца* — король Португалии (1683—1706 гг.), представитель династии Браганца, царствовавшей в 1640—1910 гг.
- ² *Малин* — один из крупнейших городов Фландрии.
- ³ *Коимбра* в описываемое время действительно была маленьким городом, лишь впоследствии превратившимся в один из культурных центров Португалии.
- ⁴ *Век Сатурна и Реи* — легендарный «золотой век» человечества.
- ⁵ *Великий маршал Арагона* — в данном случае великий судья, должность которого существовала и после объединения Кастилии с Арагоном до 1591 г. Обладал неограниченной властью, вплоть до права отмены королевских приказов.

День двадцать девятый

- ¹ *Память героя, чье имя ты носишь...* — Фернандо Альварес, герцог Альба де Толедо (1508—1582), испанский полководец, участвовавший во многих войнах и известный своей жестокостью (см. напр. «Легенду об Уленшпигеле» Шарля де Костера).
- ² *... более высокородными, чем сам король...* — Остатки войска визиготов, разгромленного войсками мавров, укрылись в горах Астурии; астурийские дворяне, возводящие свой род к визиготским вождям, называют себя «благородными готами» (*illustres godos*), считая свой род более древним, чем Габсбурги, генеалогия которых начинается задолго до 1273 г., когда граф Рудольф был избран немецким королем.
- ³ *Волнения в Бискайе* — речь идет о волнениях, вызванных в Бискайе, обитатели которой (баски), пользовавшиеся особыми привилегиями, дарованными им еще королями Кастилии в 1379 г., защищали эти права от посягательств испанских королей.

⁴ *Тарок* — род игры в карты.

⁵ *Серали Бардо и Манубы*. — Бардо — зимняя, Мануба — летняя резиденции деев; обе находятся в окрестностях Туниса.

День тридцать первый

¹ *Иаков, проснувшись...* — В Библии описывается так называемое «видение лестницы», которая во сне, привидевшемся патриарху Иакову, вела до самого неба (Бытие, 28, 12—17).

² *Вефиль, что означает Дом Господень*. — Вефили — камни, считавшиеся священными: «И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на верх его. И нарек имя месту тому: Вефиль; а прежнее имя того города было: Луз... то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим» (Бытие, 28, 18—19, 22).

³ *Санхуниатон* — легендарный финикийский мудрец, которому ошибочно приписывали произведения, в действительности возникшие в эллинистическую эпоху.

⁴ *Иудейское царство — разделенное...* — После смерти царя Соломона его государство распалось в 935 г. на две части: Израиль (на севере) и Иуда.

⁵ *Пророки... начали его утешать*. — Речь идет о пророчествах, в частности, Иезекииля (VI в. до н. э.), возвещавших грядущее возвращение евреев из вавилонского плена, но, вместе с тем, содержащих и обличения.

⁶ *Под эгидой македонцев*. — После смерти Александра Македонского (323 до н. э.), т. е. в т. наз. «эпоху диадохов» (т. е. «преемников»), за обладание Палестиной боролись сирийская династия Селевкидов, основанная одним из диадохов (Селевком I Никатором) и египетская династия Лагидов, основанная Птолемеем I Лагом, полководцем Александра.

⁷ *«Театрум эуропеум»* — историческая хроника, инициатором которой был Иоганн Филипп Абелин. В 1627—1728 гг. вышел 21 том.

⁸ *Мальтийский крест*. — Одежнием рыцарей мальтийского ордена был черный плащ с белым крестом слева.

День тридцать второй

¹ *Сен-Жермен (ок. 1710—1784)* — загадочный персонаж (упоминается в «Пиковой даме»), принимавший по неизвестным причинам различные имена. Есть предположение, что граф Сен-Жермен был принцем крови, т. к. при некоторых дворах, в частности при французском, ему воздавали королевские почести. Его музыкальные произведения опубликованы под этим именем.

² *Херемон* — искаженное имя греческого философа-стоика Хайремона, автора «Истории Египта» и астрологического трактата о кометах, содержавшего тексты заклинаний небесных тел.

³ ... *монастыря камедулов*. — Монашеский орден камедулов (молчальников) был основан в 1012 г. Ромуальдом из Равенны.

День тридцать третий

¹ *Тот, трижды великий* — египетский бог, впоследствии отождествленный с Гермесом Трисмегистом, которому приписывалось авторство так называемых «герметических» книг, числом 42, упоминаемых Манефоном (см. статью). До нас дошла только часть этих книг, т. наз. «Поймандрес» (греч. «пастыри людей»). «Трактат о божественной

мощи и мудрости», написанный в форме диалогов. Существуют и другие «герметические» тексты, в подавляющем большинстве апокрифические. В переносном смысле герметикой называется какое-либо тайное учение. Тот занимал одно из первых мест в египетской мифологии, хотя представление о нем, видимо, менялось: в древнейших текстах пирамид он фигурирует в качестве союзника злого Сета.

- ² *Озимандия* — так греческие историки называли египетского фараона Рамзеса II, правившего в XIII до н. э.
- ³ *Повторю тебе поучения моих наставников.* — Как здесь, так и в Дне тридцать четвертом, Херемон основывается на древнеегипетском религиозном учении, содержащемся в известном трактате греческого философа-мистика Ямвлиха (III—IV в.) «О мистериях египтян».
- ⁴ *Дукат* — золотая монета весом в 3,5 г.
- ⁵ *Прославлен в наших романах.* — О Буэн Ретиро вспоминает Лопе де Вега в своей поэме, написанной в 1631 г.
- ⁶ ...*формула бинорма* — ничего общего с приведенной в тексте формулой не имеет.

День тридцать четвертый

- ¹ *Теургия* — «герметические» знания, применяемые к сверхъестественным силам.
- ² *Первый Меркурий.* — Был период развития египетской мифологии, когда Тот Первый считался воплощением божественной мудрости, а Тот Третий — земным воплощением этой мудрости.
- ³ *Саркофаг Озириса.* — Здесь имеется в виду древнеегипетский миф об Озирисе, которого злой бог Тифон (Сет) заманил в саркофаг, который был затем залит оловом и брошен в Нил. Когда Изиде удалось найти тело Озириса, Тифон растерзал его и разбросал его части по всему Египту. Существуют и другие версии о «гробнице Озириса», находившейся, по преданию, в Абидосе.

День тридцать пятый

- ¹ *Жрецы Аписа* — т. е. священного быка.
- ² *Метампсихоз* — вера в переселение душ.
- ³ *Элевсин* — город в Аттике; там происходили знаменитые мистерии, посвященные богине плодородия Деметре и ее дочери Персефоне. Сущность этих мистерий до настоящего времени остается неизвестной, хотя археологические находки позволили исследователям сделать ряд предположений.
- ⁴ *Баубо.* — Речь идет о легендарном персонаже, более известном под именем Ямбе. Так звали женщину, которая развеселила Деметру, разыскивающую Персефону. Рассказ Ямбе, отличавшийся фривольностью, был изложен размером, в дальнейшем получившем название ямбического (применялся как в стихах, так и в хореографии, — например, в ямбических танцах Сиракуз).
- ⁵ *Написал книгу о природе богов* — «De natura deorum» (45 г. до н. э.). Был авгуром — т. е. жрецом, предсказывавшим будущее по полету птиц.
- ⁶ *Мневис.* — Существуют сведения, что в Гелиополисе почитали черного быка Мневиса, считавшегося отцом священного белого быка Аписа. Конечно, в Древнем Египте Вахх не был известен.
- ⁷ *Митра* — староперсидское божество солнца. Культ Митры получил распространение в греко-римском мире в первых веках н. э. В христианской религии *евхаристией* называют таинство пресуществления хлеба и вина.

- ⁸ *Св. Юстин-мученик* — ученый грек-теолог, который путем сопоставления христианского учения с языческими доказывал, что последние были делом рук дьявола.
- ⁹ *...воскресает из мертвых...* — Имеются в виду Озирис, Вахх-Дионис (воскрешенный Зевсом), Аттис, Адонис и др.
- ¹⁰ *Терапевты* — в данном случае имеется в виду описанная философом-неоплатоником Филоном Александрийским (20 г. до н. э. — 50 н. э.) еврейская секта аскетов-отшельников.
- ¹¹ *Дублон* — двойной дукат.

День тридцать шестой

- ¹ *Писание Моисеево* — т. е. Пятикнижие (Бытие, Исход, Левит, Книга Числ и Второзаконие), являющееся основой Ветхого Завета.
- ² *Ессее* — члены тайного еврейского религиозного общества, возникшего около 150 г. до н. э. и призывавшего к любви к ближним, общности имущества и смирению. Происхождение этого названия до сих пор не установлено.
- ³ *Сабейзм* — обожествление небесных тел и поклонение им. В тексте описано сложное положение в области религиозных верований в I в. до н. э. и распространение учения Платона о необходимости господства «философской элиты».

День тридцать седьмой

- ¹ *Тут церковь приходит на помощь моей геометрии...* — Имеются в виду работы английского философа Джона Локка.
- ² *Ибо если человек и в самом деле является единственным в своем роде на этой земле...* — одно из основных положений философии Рене Декарта (1596—1650), связанное с его учением о дуализме человеческого существа, состоящего из души и тела, по картезианскому (Картезиус — латинизированное имя Декарта) учению, опирающемуся на тезис: «Я мыслю, следовательно, — существую». Веласкес развивает именно этот тезис.
- ³ *Плиний, Кай Секунд Старший* (24—79 гг. н. э.) — знаменитый римский ученый, погибший при извержении Везувия.
- ⁴ *Асимптота* — геометрический термин, обозначающий прямую линию, к которой максимально приближается данная кривая.

День тридцать восьмой

- ¹ *Гимн Аполлону* — Имеется в виду один из гомеровских гимнов, обычно исполнявшихся перед декламацией поэм Гомера. До нас дошли как текст, так и мелодия этого гимна, авторство которого не установлено.
- ² *Alkalia* — щелочи, считавшиеся до 1807 г. элементами.

День тридцать девятый

- ¹ *Иегошуа* (Иешуа) — еврейская форма имени Иисуса, означающая «Ягве [одно из семи имен бога] спасает».
- ² *Перевод Семидесяти* (Septuaginta) — перевод Ветхого Завета на греческий язык, выполненный в III в. до н. э. в Александрии, по преданию, семидестью (точнее, семидестью двумя) переводчиками-теологами по распоряжению Птолемея II (285—246).

- ³ *Тиберий* — римский император, царствовал в 14—37 гг. н. э. См. о нем высказывание Пушкина в письме к А. А. Дельвигу от 23 июля 1825 г. (Пушкин, Собр. соч., т. X, стр. 157).
- ⁴ *Сестерций* — римская серебряная монета.
- ⁵ ... о *сумятице, которую ты устроил в храме* — имеется в виду описанный в Евангелии от Матфея (21, 12—13) эпизод с изгнанием торгашей и менял из храма.
- ⁶ *Мужчина с туловищем коня* — т. е. кентавр.
- ⁷ *Бриарей* — упоминаемый Гомером в «Илиаде» сторукий гигант.

День сороковой

- ¹ *Калатрава* — испанский рыцарский орден, основанный в 1158 г. для борьбы с маврами. Так назывался также один из высших испанских орденов, имевший вид золотого ромба с орнаментированным пурпурным крестом на ленте такого же цвета. Такой же крест зеленого цвета, на фоне такого же золотого ромба, но на зеленой ленте был принят в качестве ордена Алькантары, испанского рыцарского ордена, основанного в 1176 г.
- ² *Писарро, Франсиско (1475—1541)* — испанский конквистадор, завоеватель Перу (1531—1533).
- ³ *Альмагро, Диего (1475—1538)* — испанский конквистадор, завоеватель Чили, советник Писарро, который убил его.

День сорок первый

- ¹ *Калипсо* — Гомер («Одиссея», V) описывает семилетнее пребывание Одиссея у очаровавшей его нимфы Калипсо на острове Огигия.
- ² *Рота* — высший орган понтификального правосудия в Ватикане, описанный современным польским писателем Тадеушом Брезой в романе «Лабиринт».
- ³ *Святая Коллегия*, — т. е. коллегия кардиналов.
- ⁴ *Палаццо Барберини* — дворец, в сооружении которого по заказу знатного рода Барберини, принимал участие знаменитый зодчий Джованни Лоренцо Бернини (1590—1682).

День сорок второй

- ¹ *Генерал иезуитов* — т. е. глава ордена иезуитов, избираемый пожизненно.
- ² *Фиолетовые чулки* имели право носить только епископы.

День сорок третий

- ¹ *Монтесума*. — Речь идет о Монтесуме II (1466—1520), правившем государством ацтеков в Мексике с 1502 г.
- ² *Аталанта* — в греческой мифологии аркадская царевна, которая состязалась со своими женихами в беге; с помощью Афродиты Гиппомен победил ее.

День сорок четвертый

- ¹ *Марина* — заложница, затем возлюбленная Кортеса, помогавшая ему в покорении Мексики.
- ² *Пафос* — святилище на Кипре, место культа Афродиты.

- ³ *Книд* — старинный город в Малой Азии (Кария), где находилось святилище Афродиты и ее статуя работы Праксителя (т. наз. Афродита Книдская).

День сорок пятый

- ¹ *Цепная линия*. — В данном случае, кривая, имеющая такой вид, какой принимает гибкий и тяжелый шнур, свободно повешенный за оба конца.

День сорок восьмой

- ¹ *Гарриот*, Томас (1560—1621) — английский математик, труды которого имели большое значение для развития алгебры.
- ² *Ферма*, Пьер (1601—1665) — гениальный французский математик, особенно много сделавший для развития теории чисел. Т. наз. «великая теорема Ферма», записанная им без сопроводительных вычислений, до сих пор не получила общего доказательства, хотя эмпирически достоверность ее бесспорна.
- ³ *Роберваль Жиль Персон* (1602—1675) — известный французский математик.
- ⁴ *Эпикур* из Самоса (341—270 г. до н. э.) — греческий философ, последователь атомистики Демокрита.
- ⁵ ... в *Сеговийскую башню* — т. е. в старинную тюрьму, в которую бросал узников еще *Торквемада*.
- ⁶ *Пико делла Мирандола*, Джовани (1463—1494) — выдающийся итальянский ученый и писатель.

День сорок девятый

- ¹ *Гранада*, Якуб (1572—1632) — испанский иезуит-теолог, автор известных комментариев к трудам Фомы Аквинского.
- ² *Остеология* — наука о костях.
- ³ *Герметическая философия* — здесь имеется в виду черная магия.
- ⁴ *Сон о тучных и тощих коровах...* (а также о семи тучных и семи тощих колосьях) — сон фараона, который истолковал младший сын Иакова Иосиф, как предзнаменование грядущих семи урожайных и семи голодных лет (Бытие, 41).
- ⁵ *Агамемнон*. — В «Илиаде» содержится повествование о том, как Зевс отомстил Агамемнону за обиду, причиненную Ахиллесу, послав ему видение во сне, предвещавшее победу. Обманутый этим видением, Агамемнон решил в тот же день начать битву, рассказав о своем сне вождям и всему войску.
- ⁶ Речь идет о событиях, описанных в той же «Илиаде».
- ⁷ *Останес из Мидии* — полубогородный халдейский чернокожничник, упоминающийся у нескольких раннехристианских отцов церкви.
- ⁸ *Геомантия* — гадание по земле или песку.
- ⁹ *Гидромантия* — гадание по воде.
- ¹⁰ *Катоптрика* — созданный Евклидом раздел оптики, посвященный вопросам отражения света.
- ¹¹ *Эрвас Пандура* Лоренсо (1735—1809) — см. статью; срвн. прим. на стр. 452, противоречащее прим. на стр. 445.

День пятидесятый

- ¹ *Изваяние Кибелы*. — Посреди Мадридской площади Кибелы находится Источник Кибелы, представляющий собой статую фригийской богини плодородия на колеснице, влекомой двумя львами. Сооружен в XVIII в.

День пятьдесят первый

- ¹ *Кортесы Кастилии* — трехпалатный парламент старой Кастилии, состоявший из палат: дворянства, духовенства и представителей городов.
- ² *Белиал (Велиал) де Гесна* — князь тьмы. В соответствии с демонологическим учением, естественно, находился в «геенне огненной». Такая форма его имени представляет собой пародиремый Потоцким дворянский титул. В кумранских документах Белиал именуется врагом Ягве и проклинается ессеями как злой дух, воле которого подчиняются многие люди.
- ³ *Конфетки необыкновенного свойства* — по-итальянски «дьяволинн» — сильно возбуждающее средство, оказывающее, вместе с тем, разрушающее действие на почки.

День пятьдесят второй

- ¹ *Себялюбие является основой всех людских деяний...* — формулировка английского философа Гоббса (1588—1679), получившая развитие в трудах Джона Локка (см. прим. 5 к «Дню 24»).
- ² *Лорето* — местность в Средней Италии, куда, по преданию, был перенесен домик, где родилась дева Мария. Там же находится ее образ, считающийся чудотворным.

День пятьдесят третий

- ¹ *Арагонская командория*. — Командории входили в округа, подведомственные бальи. причем эти последние входили в приораты, в свою очередь объединявшиеся в великие приораты. Великие приораты объединялись по языковому принципу, в силу которого они подчинялись 8 высшим сановникам мальтийского ордена (Прованс, Овернь, Франция, Италия, Арагон, Германия и Англия, а с 1464 г. и Кастилия).
- ² *Караванисты* — рыцари мальтийского ордена, в прежнее время охранявшие караваны судов, направлявшихся через Средиземное море в Иерусалим. Автор «Рукописи, найденной в Сарагосе» в юные годы был таким караванистом и служил на упоминаемых далее мальтийских галерах.
- ³ *Три языка его народа*. — Имеется в виду административное разделение мальтийского ордена (Прованс, Овернь и Франция).
- ⁴ *Страстная неделя* — последняя неделя т. наз. Великого поста. Все богослужения на этой неделе, включая траурное в Страстную пятницу, посвящены крестным страданиям и смерти Христа.
- ⁵ *Пуатье (Poitiers)* — бывшая столица провинции Пуату.
- ⁶ *Великий исповедник*. — Так называемый кардинал великий пенитенциарий, стоявший во главе специального учреждения папской курии, дававшего отпущение грехов в особо серьезных случаях.

День пятьдесят шестой

- ¹ *Питерборо, Чарлз Мордаунт (1658—1735)* — английский государственный деятель и военачальник.
- ² *Король на краю могилы...* — Речь идет о тяжелобольном короле Карле II. *Угасает австрийская ветвь* — т. е. умирает последний Габсбург, занимавший испанский престол.

День пятьдесят седьмой

- ¹ *Портокарреро*, Луис Мануэль Фернандес (1635—1709) — кардинал-архиепископ Толедо, в 1699 г. ставший первым министром Карла II.
- ² *Гаррах*, Фердинанд Бонавентура (1637—1706) — одно время был императорским послом в Мадриде.

День пятьдесят восьмой

- ¹ *Король скончался на следующий день* ... — Карл II умер 1 ноября 1700 г.
- ² *Было вскрыто королевское завещание* ... — Дегенеративный Карл II умер бездетным; согласно его завещанию, трон перешел к принцу Филиппу д'Анжу, внуку Людовика XIV, что было поводом к войне за наследство.
- ³ *Вдовствующая королева* ... — Речь идет о второй жене Карла II Марии Анне фон Пфальцнейбург (1667—1740).

День пятьдесят девятый

- ¹ *Обитель доминиканцев*. — Так называется монашеский орден, основанный св. Домиником Гусманом (ок. 1170—1221). Вскоре после смерти он был канонизирован, а члены основанного им ордена приобрели особую власть в учреждениях инквизиции, в частности испанской.
- ² *Субботний год* ... — По словам Тацита, евреи каждый седьмой год считают «субботним» и воздерживаются от работы.
- ³ *Юбилейный год*. — В древние времена отмечался по истечении семи «субботних» лет.
- ⁴ *Иисус (Навин)* ... — В Ветхом Завете описывается, как стены Иерихона рухнули от звука труб, применявшихся во время юбилейного года, после седьмого ежедневного шествия трубачей вокруг города (Книга Иисуса Навина, 6, 1—20).
- ⁵ *Дон Карлос*. — Имеется в виду Карл VI (1685—1740), сын императора Леопольда I, избранный императором в 1711 г., а до этого носивший титул эрцгерцога, т. е. наследного принца.
- ⁶ *Вашему императорско-апостолическому величеству*. — Титул апостолического величества был пожалован папой в XI в. королю Стефану Венгерскому. Испанский король именовался «католическим величеством», а французский — «христианнейшим величеством».
- ⁷ *Леопольд I Габсбург (1640—1705)* — был императором в 1658—1705 гг. Наследственной чертой Габсбургов была сильно выступающая челюсть.
- ⁸ *Орсини*, Мария Анна (1642—1722) — овдовев, приехала в Париж, откуда вместе со двором Филиппа д'Анжу переехала в Испанию в качестве главной камер-фрейлины королевы. Играла большую роль в политической жизни Эскуриала, сооруженного по повелению Филиппа II в качестве королевской резиденции.
- ⁹ *Д'Эстре*, Сезар (1628—1714) — кардинал, занимавшийся также дипломатической деятельностью, в частности, при дворе Филиппа V в первые годы его царствования.

День шестидесятый

- ¹ *Иосиф I Габсбург (1678—1711)* — сын и наследник Леопольда I; был императором в период 1705—1711 гг.

День шестьдесят первый

- ¹ *Альберони*, Джулио (1664—1752) — кардинал, был представителем герцога Пармского в переговорах о браке племянницы герцога Пармского Елизаветы Фарнезе с Филиппом V. Впоследствии стал советником королевы.
- ² *Риперда*, Ян Виллем (1680—1737) — полковник голландской армии. С 1715 г. — посланник в Мадриде, где начал интриговать против Альберони и, перейдя на испанскую службу, добился его падения.
- ³ *Али* — четвертый калиф в Медине (656—661), зять Магомета.

День шестьдесят второй

- ¹ *Турдестане* — иберийское племя, некогда обитавшее в окрестностях Кадикса и Севильи.
- ² *Таршиш* — иначе Кадис, основанный в 1100 г. до н. э. финикийцами под названием Гадир. Некоторое время был карфагенской колонией, затем вошел в состав Римской империи под названием Гадес, эксплуатировавшей его знаменитые серебряные копи.
- ³ *Махди* (араб.) — Во время войн суннитской династии Омейядов среди шиитов возникла вера в избавителя (махди), который станет продолжателем дела Магомета. См. прим. 27 к «Дню первому».
- ⁴ *Хиджра* (гиджра) — начало мусульманского летосчисления (15 июля 622 г.), т. е. со дня бегства Магомета из Мекки в Медину.
- ⁵ *Мулай Исмаил* (1646—1727) — с 1672 г. был властителем Марокко. Отличался крайней жестокостью.

День шестьдесят третий

- ¹ *Альбайсин* — самая старая часть Гранады, в которой некогда жила мавританская аристократия.
- ² *В гротах на склоне горы.* — Вблизи Гранады существует Баррио де Сантьяго, в котором вместо домов находятся пещеры, ушедшие в землю. До недавних пор там жили цыгане.
- ³ *Газель* — лирическое стихотворение, состоящее из 5—18 двустиший, связанных между собою рифмами. Из персидской поэзии эта форма перешла в арабскую.
- ⁴ *... в Загуане о Дворце духов.* — В Загуане в эль-Джеме находятся руины римского амфитеатра начала III в.
- ⁵ *Зама* — старинный карфагенский город, прославившийся победой римлян, предводительствуемых Публием Корнелием Сципионом в борьбе с Ганнибалом во II Пунической войне.

День шестьдесят четвертый

- ¹ *Нагром.* — В Ливийской пустыне, в 40 км к северу от Каира, находятся несколько озер, сильно насыщенных натрием.
- ² *Прославленный в древности лабиринт...* — По описанию, египетский лабиринт насчитывал 3000 помещений, из которых 1000 находилось под землей.
- ³ *Хаик* — верхняя одежда, употребляемая в Северной Африке: полоса ткани, спирально обвиваемая вокруг тела.

- ⁴ *Дарази*. — Магомет ибн Исмаил эд Дарази во втором десятилетии XI в. провозгласил фатимидского калифа Хакима Биамриллаха (996—1020) божеством; после смерти Хакима Дарази скрылся в Сирии, где организовал секту хакимитов (друзов), которые верили, что Хаким не умер, а только исчез, чтобы появиться во время светопреставления.
- ⁵ *Имам* — у шиитов религиозный иерарх.
- ⁶ *Сафавиды* — династия, царствовавшая в Персии с начала XVI в.
- ⁷ *Омар*. — Амр ибн эль Ас (ум. в 664) — арабский вождь, который был союзником Моавии в борьбе за захват калифской власти.
- ⁸ *Хуссейн*. — Хассан, старший сын Али, был отравлен; младший, Хуссейн, после смерти Моавии направился в Ирак, чтобы с помощью своих сторонников захватить халифат. Он погиб в битве под Кербелой (680), и халифат остался в семье Омейядов.
- ⁹ *Вело бои с немцами*. — В 1715 г. Турция начала войну с Венецией, а годом позже выступила против Австрии. Потерпев несколько поражений, Турция заключила в 1718 г. мирный договор, уступив Австрии часть Сербии с Белградом.
- ¹⁰ *Евгений (Ойген) Савойский* (1663—1736) — австрийский фельдмаршал, прославившийся в войнах с Блистательной Портой. В 1716 г. разгромил турецкие войска в Венгрии, а в 1717 г. занял Белград.

День шестьдесят пятый

- ¹ *Авишуя, сын Финесса*. — Первые представители рода Узедов от Аарона до Иозедекки повторяют в общем перечень потомков Аарона.
- ² ... *прославленного Храма Соломонова*. — Храм Соломона, описанный в Третьей Книге царств, был сооружен в X в. до н. э., разрушен Навуходоносором в VI в. до н. э., а после восстановления совершенно разрушен римским императором (тогда он был наследником престола) Титом в 70 г. н. э.
- ³ ... *публично поклоняться идолам*. . . — «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. . .» (Третья Книга царств, 11, 4).
- ⁴ ... *четверо из них*. . . — В т. наз. Пророчестве Даниила четверо юношей из княжеских еврейских родов воздерживались, в соответствии с предписаниями своей религии, от вкушения свинины и ограничивали себя овощами, но, несмотря на это, не похудели, (Книга Даниила, 1, 6—16).
- ⁵ *Навуходоносор II Великий* — вавилонский царь (ок. 605—562 до н. э.). В 587 г. покорил царство иудейское, разрушил Иерусалим, а евреев увел в рабство (т. наз. «плен вавилонский»).
- ⁶ *Колоссы*. . . — Две скульптуры, обе представляющие сидящего фараона Аменофиса III перед его храмом в Фивах.
- ⁷ ... *его изваяние такой же величины*. — Книга Даниила 3, 1.
- ⁸ *Ксеркс* (в Ветхом Завете — Агашферош, Агасферус, Асферус) — царь персидский (485—465 до н. э.), сын и преемник Дария I, потерпевший в 480 г. поражение в войне с Грецией («греко-персидские войны»).
- ⁹ *Аман*. — Фавориту Ксеркса Аману поклонялись все придворные, кроме Мардохея; оскорбленный этим, он получил от Ксеркса разрешение истребить всех евреев. Однако приказы Амана отменили благодаря вмешательству Эсфири, сестры Мардохея и супруги Ксеркса. Сам Аман попал в немилость и был повешен.
- ¹⁰ *Неемия* — наместник Иудеи в середине V в. до н. э., предполагаемый автор книги Ветхого Завета, названной его именем.

- ¹¹ ... *Моавитянки и азотянки*... — Еврейские религиозные предписания запрещали вступать в брак с представителями племени Моав, Азотос (Ашдот) и Аммон, ибо племена эти поклонялись своим божествам и не призывали Иеговы.
- ¹² ... *сам этот святой человек*... — В «Книге Неемии» (13, 25) сказано: «Я сделал за это выговор, и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волосы...»
- ¹³ *Тит Флавий Веспасиан* (9—79 н. э.) — был римским императором в 69—79 гг. В 66 г. возглавил римские легионы в Еврейской войне. Его сын и преемник Тит в 70 г. разрушил Иерусалим.
- ¹⁴ *Гундерик*, — Германское племя вандалов под командованием Гундерика пересекло в 409 г. Пиренеи и осело в Испании. Гундерик скончался в 427 г., а через два года вандалы, имя которых, как известно, стало нарицательным, под командованием его брата и преемника Гензериха, направились в Африку.

Эпилог

- ¹ *Вернон Эдуард* (1684—1757) — английский адмирал. Безуспешно осаждал в 1739 г. Карфаген.
- ² ... *британский кабинет отнюдь не жаждет войны*... — Премьер-министр Англии сэр Роберт Уолпол, граф Оксфорд (1676—1745) действительно стремился сохранить мир с Испанией, но под давлением парламента начал войну, неудачи в которой привели к отставке Уолпола в 1742 г.
- ³ *Эслава Себастьян* (1714—1789) — испанский вице-король Новой Гренады (т. е. Колумбии).
- ⁴ *Сан-Ильдефонсо*. — В 1721—1723 гг. Филипп V построил в Сан-Ильдефонсо дворец, ставший его излюбленной резиденцией.
- ⁵ ... *споры о наследстве Карла VI*... — В 1713 г. император Карл VI опубликовал так называемую прагматическую (т. е. законополагающую) санкцию, провозглашавшую нераздельность австрийских земель, а также закон о престолонаследии, предусматривавший право наследственности на основе первородства как по мужской линии, так и по женской (в отличие от т. наз. салического закона, существовавшего во Франции и запрещавшего женщинам наследовать престол).
- ⁶ *Инфант дон Филипп* (1720—1765) — сын Филиппа V; участвовал в войне за наследство, по окончании ее получил Пармское герцогство (в соответствии с Аахенским договором 1748 г.).

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯНА ПОТОЦКОГО

- 1761 8 марта В имении Пиково (под Винницей) у коронного кравчего графа Юзефа Потоцкого (герба Пилава) и его жены Анны Терезы, урожденной Оссолинской, родился первенец Ян.
- 1772 Первый раздел Польши.
- 1773—1776 Потоцкий вместе со своим младшим братом Северином находится в Швейцарии (вначале в Лозанне, затем в Женеве) и получает разностороннее образование под руководством М. дезАра, с которым встречается и в последующие годы жизни.
- 1778 Потоцкий поступает на службу в армию священной Римской империи в качестве младшего офицера инженерных войск и проводит несколько месяцев в Вене. Он посещает также Италию, Сицилию и Мальту, где поступает в новичиат Мальтийского ордена.
- 1779—1780 В качестве «караваниста» мальтийского флота Потоцкий плавает в Средиземном море под австрийским, венецианским, неаполитанским флагами. Он не участвует в битве с «неверными» (в данном случае, с берберийскими корсарами), но приближается к берегам Африки. Затем он возвращается в Польшу и, состоя в Польской армии, почти все время проводит в библиотеках, приобретая все более и более широкие познания и сближаясь с масонскими кругами, но не порывая, однако, связи с мальтийским орденом.
- 1783 Потоцкий начинает систематически изучать древнюю историю славянских народов.
- 1784 Поездка в Париж через Молдавию, Валахию, Турцию и Египет.
- 1785 Женитьба на княжне Юлии Любомирской, дочери великого коронного гетмана Станислава Любомирского. Вторая поездка в Париж и встреча с Маратом.
- 1786 Рождение первого сына — Альфреда.
- 1787 Издание «Путешествия в Турцию и Египет в 1784 г.» на французском языке в Варшаве. Поездка в Голландию.
- 1788, октябрь Заканчивается оборудование типографии Потоцкого в Варшаве. Там печатается второе издание «Путешествия» с дополнением «Путешествия в Голландию, совершенного во время революции 1787 г.». Потоцкий избран депутатом Четырехлетнего («Великого») сейма Речи Посполитой. Рождение второго сына — Артура.
- 1789 Выход из печати дополненного издания «Путешествия» в польском переводе Юльяна Урсына Немцевича.
- 1788—1791 Типография Потоцкого выпускает около 200 публикаций, преимущественно патриотического характера, включая мемориал Потоцкого «*Ne res publica detrimenti capiat*».
- 1789—1792 Потоцкий публикует четыре тома своих «Исследований о Сарматии» и одновременно штудирует труды французских энциклопедистов.
- 1791 Путешествие по Востоку и Испании. Встречи с Гойей. Поездка в Англию.
- 1793 Издание «Парадов» (6 небольших пьес).

- 1794 Публикация пьесы «Цыгане в Андалузии». Смерть Юлии Потоцкой.
- 1794—1795 Восстание Косцюшко. Отречение Станислава-Августа.
- 1796 В Брауншвейге печатаются четырехтомные «Исторические и географические этюды о Скифии, Сарматии и Славянах» Потоцкого, которые отчетливо ставят вопрос о «прародине славян», решая его в духе «паннонской теории».
- 1797—1798 Путешествие по Украине и Кавказу с целью продолжения исследований и обоснования выводов Потоцкого.
- 1798 Второй брак Потоцкого. Он женится на своей двоюродной сестре Констанции, дочери Феликса Потоцкого, маршалка Тарговицкой конфедерации.
- 1801 Рождение третьего сына — Бернарда. Свидание с Павлом I как с великим магистром Мальтийского ордена.
- 1802 В Петербурге выходит из печати на французском языке «Первоначальная история народов России». Александр I присваивает Потоцкому звание тайного советника и награждает его орденом Владимира I степени. Встречи с Михалом Клеофасом Огиньским.
- 1803 Во Флоренции выходит из печати книга Потоцкого «Династии второй книги Манефона» (Среднее царство).
- 1804 В Петербурге анонимно появляются первые главы «Рукописи».
- 1805 Прервав печатание второго тома «Рукописи», Потоцкий возглавляет научную часть миссии, направленную в Китай по инициативе министра иностранных дел Российской империи кн. Адама Чарторыского.
- 1806 Миссия достигает Урги (Улан-Батор), но летом вынуждена вернуться в Петербург. Академия наук избирает Потоцкого своим почетным членом.
- 1807 и сл. Потоцкий безуспешно старается добиться в Варшаве признания своих историко-археологических концепций.
- 1810 В Петербурге публикуется «Археологический атлас Европейской России, сочиненный графом Иваном Потоцким».
- 1810 Фридрих Аделунг публикует в Лейпциге первый том «Рукописи».
- (1809?)
- 1813 В Париже публикуется часть «Рукописи» (дни 12—56) в четырех томах под названием «Авадоро».
- 1814 В Париже выходят из печати «10 дней из жизни Альфонса ван Вордена». В лицейской гимназии в Кременце печатаются «Основы хронологии четырнадцати веков, предшествовавших «Олимпиаде народов».
- 1815 В Кременце печатается вторая часть «Оснoв».
- 1814—1815 Венский конгресс и крушение надежд на восстановление государственной самостоятельности Польши.
- 1815
- 2 декабря
(20 ноября) Самоубийство Яна Потоцкого в Уладовке (близ Бердичева).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ЯН ПОТОЦКИЙ. <i>Портрет, приписываемый Гойе (Фронтиспис)</i>	
ЯН ПОТОЦКИЙ. <i>Портрет работы неизвестного художника</i>	573
РАЗВАЛИНЫ ВОСТОЧНОЙ ГРОБНИЦЫ. <i>Рисунок Потоцкого</i>	583

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
<i>День первый</i>	6
История Эмины и сестры ее Зибельды	14
История замка Кассар-Гомелес	17
<i>День второй</i>	21
История бесноватого Пачеко	24
<i>День третий</i>	29
История Альфонса ван Вордена	30
История Тривульцио из Равенны	36
История Ландульфа из Феррары	39
<i>День четвертый</i>	45
<i>День пятый</i>	48
История Зото	50
<i>День шестой</i>	57
Продолжение истории Зото	57
<i>День седьмой</i>	69
Продолжение истории Зото	69
<i>День восьмой</i>	78
Рассказ Пачеко	80
<i>День девятый</i>	83
История каббалиста	85
<i>День десятый</i>	93
История Тибальда де ла Жакьера	95
История прекрасной девушки из замка Сомбр Рош	98
<i>День одиннадцатый</i>	104
История лицеиста Мениппа	105
История философа Афинодора	107
<i>День двенадцатый</i>	111
История Пандесовны, вожака цыган	112
История Джулио Ромати	120
<i>День тринадцатый</i>	124
Продолжение истории цыганского вожака	124
Продолжение истории Джулио Ромати	125
История принцессы Монте Салерно	130
<i>День четырнадцатый</i>	136
История Ревекки	136

<i>День пятнадцатый</i>	147
Продолжение истории цыганского вожака	148
История Марии де Торрес	150
<i>День шестнадцатый</i>	156
Продолжение истории цыганского вожака	156
Продолжение истории Марии де Торрес	157
<i>День семнадцатый</i>	166
Продолжение истории Марии де Торрес	166
<i>День восемнадцатый</i>	172
Продолжение истории цыганского вожака	174
История графа де Пенья Велес	175
<i>День девятнадцатый</i>	186
История геометра	187
<i>День двадцатый</i>	200
Продолжение истории цыганского вожака	202
<i>День двадцать первый</i>	207
История вечного странника Агасфера	207
<i>День двадцать второй</i>	213
Продолжение истории вечного странника Агасфера	213
<i>День двадцать третий</i>	221
Продолжение истории Веласкеса	221
<i>День двадцать четвертый</i>	226
Продолжение истории Веласкеса	226
<i>День двадцать пятый</i>	234
Продолжение истории Веласкеса	235
<i>День двадцать шестой</i>	243
Продолжение истории цыганского вожака	243
<i>День двадцать седьмой</i>	258
Продолжение истории цыганского вожака	258
История герцогини Медина Сидония	261
<i>День двадцать восьмой</i>	267
Продолжение истории цыганского вожака	267
Продолжение истории герцогини Медина Сидония	267
История маркиза де Валь Флорида	270
<i>День двадцать девятый</i>	279
Продолжение истории цыганского вожака	279
Продолжение истории герцогини Медина Сидония	280
История Эрмосито	285
<i>День тридцатый</i>	298
<i>День тридцать первый</i>	301
Продолжение истории вечного странника Агасфера	302
Продолжение истории цыганского вожака	305

<i>День тридцать второй</i>	311
Продолжение истории вечного странника Агасфера	311
Продолжение истории цыганского вожака	314
История Лопеса Суареса	316
История семейства Суарес	318
<i>День тридцать третий</i>	322
Продолжение истории вечного странника Агасфера	322
Продолжение истории цыганского вожака	325
Продолжение истории Лопеса Суареса	325
<i>День тридцать четвертый</i>	331
Продолжение истории вечного странника Агасфера	331
Продолжение истории цыганского вожака	334
Продолжение истории Лопеса Суареса	334
<i>День тридцать пятый</i>	339
Продолжение истории вечного странника Агасфера	339
Продолжение истории цыганского вожака	342
Продолжение истории Лопеса Суареса	342
История донна Роке Бускероса	345
История Фраскеты Салеро	349
<i>День тридцать шестой</i>	358
Продолжение истории вечного странника Агасфера	358
Продолжение истории цыганского вожака	360
Продолжение истории Лопеса Суареса	361
<i>День тридцать седьмой</i>	364
<i>День тридцать восьмой</i>	370
Продолжение истории вечного странника Агасфера	370
<i>День тридцать девятый</i>	375
Продолжение истории вечного странника Агасфера	375
<i>День сороковой</i>	384
<i>День сорок первый</i>	387
История маркиза Торрес Ровельяс	390
<i>День сорок второй</i>	395
Продолжение истории маркиза Торрес Ровельяс	395
История монсиньора Рикарди и Лауры Черелли, именуемой маркизой Падули	396
<i>День сорок третий</i>	403
Продолжение истории маркиза Торрес Ровельяс	403
<i>День сорок четвертый</i>	412
Продолжение истории маркиза Торрес Ровельяс	412
<i>День сорок пятый</i>	417
Продолжение истории маркиза Торрес Ровельяс	417
<i>День сорок шестой</i>	422
Продолжение истории вечного странника Агасфера	424

<i>День сорок седьмой</i>	427
Продолжение истории цыганского вожака	427
<i>День сорок восьмой</i>	434
Продолжение истории цыганского вожака	434
История Корнадеса	435
История Диего Эрваса, рассказанная сыном его — Проклятым Пилигримом	437
<i>День сорок девятый</i>	442
Продолжение истории Диего Эрваса, рассказанной сыном его — Проклятым Пилигримом	442
<i>День пятидесятый</i>	449
Продолжение истории Диего Эрваса, рассказанной сыном его — Проклятым Пилигримом	449
<i>День пятьдесят первый</i>	456
История Бласа Эрваса или Проклятого Пилигрима	456
<i>День пятьдесят второй</i>	468
Продолжение истории цыганского вожака	468
Продолжение истории Проклятого Пилигрима	468
<i>День пятьдесят третий</i>	474
История командора Торальвы	474
<i>День пятьдесят четвертый</i>	483
Продолжение истории цыганского вожака	483
<i>День пятьдесят пятый</i>	495
Продолжение истории цыганского вожака	495
<i>День пятьдесят шестой</i>	504
Продолжение истории цыганского вожака	504
<i>День пятьдесят седьмой</i>	512
Продолжение истории цыганского вожака	512
<i>День пятьдесят восьмой</i>	519
<i>День пятьдесят девятый</i>	525
Продолжение истории цыганского вожака	525
<i>День шестидесятый</i>	530
Продолжение истории цыганского вожака	530
<i>День шестьдесят первый</i>	536
Продолжение истории цыганского вожака	536
<i>День шестьдесят второй</i>	541
История великого шейха Гомелесов	541
<i>День шестьдесят третий</i>	546
Продолжение истории шейха Гомелесов	546

<i>День шестьдесят четвертый</i>	551
Продолжение истории шейха Гомелесов	551
<i>День шестьдесят пятый</i>	557
Продолжение истории шейха Гомелесов	557
История рода Узеда	558
<i>День шестьдесят шестой</i>	562
Продолжение истории шейха Гомелесов	562
Эпилог	565
Приложения	
<i>И. Ф. Бэла. «Рукопись, найденная в Сарагосе»</i>	571
Примечания	596
Основные даты жизни и деятельности Яна Потоцкого	616
Список иллюстраций	618

Ян Потоцкий
РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ

*Утверждено к изданию
редколлекцией серии „Литературные памятники“
Академии наук СССР*

Редактор издательства *О. К. Логинова*
Художник *Г. Клодт*
Технический редактор *В. В. Тарасова*

Сдано в набор 4/IV 1968 г. Подписано к печати 24 IX 1968 г.
Формат бумаги 70 × 90¹/₁₆. Бумага № 1. Тираж 30000 экз.
Усл. печ. л. 45,78 Уч.-изд. л. 39,3. Тип. зак. № 1046.

Цена 2 р. 60 к.

Издательство «Наука»,
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

1-я тип. издательства «Наука».
Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12